
А Куприн

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

А. И. КУПРИН

Собрание сочинений

В ШЕСТИ ТОМАХ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА — 1958

А. И. КУПРИН

Собрание сочинений

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1905—1914

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА—1958

Подготовка текста — В. Мишина

Примечания — И. Корецкой

Оформление художника
Н. Шишловского

ШТАБС-КАПИТАН РЫБНИКОВ

I

В тот день, когда ужасный разгром русского флота у острова Цусима приближался к концу и когда об этом кровавом торжестве японцев проносились по Европе лишь первые, тревожные, глухие вести, — в этот самый день штабс-капитан Рыбников, живший в безыменном переулке на Песках, получил следующую телеграмму из Иркутска:

«Вышлите немедленно листы следите за больным уплатите расходы».

Штабс-капитан Рыбников тотчас же заявил своей квартирной хозяйке, что дела вызывают его на день — на два из Петербурга, и чтобы поэтому она не беспокоилась его отсутствием. Затем он оделся, вышел из дому и больше уж никогда туда не возвращался.

И только спустя пять дней хозяйку вызвали в полицию для снятия показаний об ее пропавшем жильце. Честная, толстая, сорокапятилетняя женщина, вдова консисторского чиновника, чистосердечно рассказала все, что ей было известно: жилец ее был человек тихий, бедный, глуповатый, умеренный в еде, вежливый; не пил, не курил, редко выходил из дому и у себя никого не принимал.

Больше она ничего не могла сказать, несмотря на весь свой почтительный ужас перед жандармским

ротмистром, который зверски шевелил пышными подусниками и за скверным словом в карман не лазил.

В этот-то пятидневный промежуток времени штабс-капитан Рыбников обегал и объездил весь Петербург. Повсюду: на улицах, в ресторанах, в театрах, в вагонах конок, на вокзалах появлялся этот маленький, черномазый, хромой офицер, странно болтливый, растрепанный и не особенно трезвый, одетый в общеармейский мундир со сплошь красным воротником — настоящий тип госпитальной, военно-канцелярской или интендантской крысы. Он являлся также по нескольку раз в главный штаб, в комитет о раненых, в полицейские участки, в комендантское управление, в управление казачьих войск и еще в десятки присутственных мест и управлений, раздражая служащих своими бестолковыми жалобами и претензиями, своим унизительным попрошайничеством, армейской грубостью и крикливым патриотизмом. Все уже знали наизусть, что он служил в корпусном обозе, под Ляояном контужен в голову, а при Мукденском отступлении ранен в ногу. Почему он, черт меня возьми, до сих пор не получает пособия?! Отчего ему не выдают до сих пор суточных и прогонных? А жалованье за два прошлых месяца? Абсолютно он готов пролить последнюю, черт ее побери, каплю крови за царя, престол и отечество, и он сейчас же вернется на Дальний Восток, как только заживет его раненая нога. Но — сто чертей! — проклятая нога не хочет заживать... Вообразите себе — нагноение! Да вот, посмотрите сами. — И он ставил больную ногу на стул и уже с готовностью засучивал кверху панталоны, но всякий раз его останавливали с брезгливой и сострадательной стыдливостью. Его суетливая и нервная развязность, его запуганность, странно граничившая с наглостью, его глупость и привязчивое, праздное любопытство выводили из себя людей, занятых важной и страшно ответственной бумажной работой.

Напрасно ему объясняли со всевозможной кротостью, что он обращается в неподлежащее место, что ему надобно направиться туда-то, что следует представить такие-то и такие-то бумаги, что его известят о ре-

зультате, — он ничего, решительно ничего не понимал. Но и очень сердиться на него было невозможно: так он был беззащитен, пуглив и наивен, и, если его с досадой обрывали, он только улыбался, обнажая десны с идиотским видом, торопливо и многократно кланялся и потирал смущенно руки. Или вдруг произносил заискивающим хриплым голосом:

— Пожалуйста... не одолжите ли папиросочку? Смерть покурить хочется, а папирос купить не на что. Яко наг, яко благ... Бедность, как говорится, не порок, но большое свинство.

Этим он обезоруживал самых придирчивых и мрачных чиновников. Ему давали папироску и позволяли присесть у краешка стола. Против воли и, конечно, небрежно ему даже отвечали на его назойливые расспросы о течении военных событий. Было, впрочем, много трогательного, детски-искреннего в том болезненном любопытстве, с которым этот несчастный, замурзанный, обнищавший раненый армеец следит за войной. Просто-напросто, по человечеству, хотелось его успокоить, осведомить и ободрить, и оттого с ним говорили откровеннее, чем с другими.

Интерес его ко всему, что касалось русско-японских событий, простирался до того, что в то время, когда для него наводили какую-нибудь путаную деловую справку, он слонялся из комнаты в комнату, от стола к столу, и как только улавливал где-нибудь два слова о войне, то сейчас же подходил и прислушивался со своей обычной напряженной и глуповатой улыбкой.

Когда он, наконец, уходил, то оставлял по себе вместе с чувством облегчения какое-то смутное, тяжелое и тревожное сожаление. Нередко чистенькие, выхоленные штабные офицеры говорили о нем с благородной горечью:

— И это русские офицеры! Посмотрите на этот тип. Ну, разве не ясно, почему мы проигрываем сражение за сражением? Тупость, бестолковость, полное отсутствие чувства собственного достоинства... Бедная Россия!..

В эти хлопотливые дни штабс-капитан Рыбников нанял себе номер в грязноватой гостинице близ вокзала. Хотя при нем и был собственный паспорт запасного офицера, но он почему-то нашел нужным заявить, что его бумаги находятся пока в комендантском управлении. Сюда же в гостиницу он перевез и свои вещи — портплед с одеялом и подушкой, дорожный несессер и дешевый новенький чемодан, в котором было белье и полный комплект штатского платья.

Впоследствии прислуга показывала, что приходил он в гостиницу поздно и как будто под хмельком, но всегда аккуратно давал швейцару, отворявшему двери, гривенник на чай. Спал не более трех-четырех часов, иногда совсем не раздеваясь. Вставал рано и долго, часами, ходил взад и вперед по комнате. В полдень уходил.

Время от времени штабс-капитан из разных почтовых отделений посылал телеграммы в Иркутск, и все эти телеграммы выражали глубокую заботливость о каком-то раненом, тяжело больном человеке, вероятно, очень близком сердцу штабс-капитана.

И вот с этим-то суетливым, смешным и несуразным человеком встретился однажды фельетонист большой петербургской газеты Владимир Иванович Щавинский.

II

Перед тем как ехать на бега, Щавинский завернул в маленький, темный ресторанчик «Слава Петрограда», где обыкновенно собирались к двум часам дня, для обмена мыслями и сведениями, газетные репортеры. Это была довольно беспардонная, веселая, циничная, всезнающая и голодная компания, и Щавинский, до известной степени аристократ газетного мира, к ней, конечно, не принадлежал. Его воскресные фельетоны, блестящие и забавные, но не глубокие, имели значительный успех в публике. Он зарабатывал большие деньги, отлично одевался и вел широкое знакомство. Но его хорошо принимали и в «Славе Петро-

града», за его развязный, острый язык и за милую щедрость, с которой он ссужал братьев писателей маленькими золотыми. Сегодня репортеры обещали достать для него беговую программу с таинственными пометками из конюшни.

Швейцар Василий, почтительно и дружелюбно улыбаясь, снял с Щавинского пальто.

— Пожалуйте, Владимир Иванович. Все в сборе-с. В большом кабинете у Прохора.

И толстый, низко-стриженый рыжеусый Прохор также фамильярно-ласково улыбался, глядя, по обыкновению, не в глаза, а поверх лба почетному посетителю.

— Давненько не изволили бывать, Владимир Иванович. Пожалуйте-с. Все свои-с.

Как и всегда, братья писатели сидели вокруг длинного стола и, торопливо макая перья в одну чернильницу, быстро строчили на длинных полосах бумаги. В то же время они успевали, не прекращая этого занятия, поглощать растегаи и жареную колбасу с картофельным пюре, пить водку и пиво, курить и обмениваться свежими городскими новостями и редакционными сплетнями, не подлежащими тиснению. Кто-то спал камнем на диване, подстелив под голову носовой платок. Воздух в кабинете был синий, густой и слоистый от табачного дыма.

Здороваясь с репортерами, Щавинский заметил среди них штабс-капитана в общеармейском мундире. Он сидел, расставив врозь ноги, опираясь руками и подбородком на эфес огромной шашки. При виде его Щавинский не удивился, как привык ничему не удивляться в жизни репортеров. Он бывал свидетелем, что в этой путаной бесшабашной компании пропадали по целым неделям: тамбовские помещики, ювелиры, музыканты, танцмейстеры, актеры, хозяева зверинцев, рыбные торговцы, распорядители кафешантанов, клубные игроки и другие лица самых неожиданных профессий.

Когда дошла очередь до офицера, тот встал, приподнял плечи, оттопырив локти, и отрекомендовался хриплым, настоящим армейским пропойным голосом:

— Хемм!.. Штабс-капитан Рыбников. Очень приятно. Вы тоже писатель? Очень, очень приятно. Уважаю пишущую братию. Печать — шестая великая держава. Что? Не правда?

При этом он осклаблялся, щелкал каблуками, крепко тряс руку Щавинского и все время как-то особенно смешно кланялся, быстро сгибая и выпрямляя верхнюю часть тела.

«Где я его видел? — мелькнула у Щавинского беспокойная мысль. — Удивительно кого-то напоминает. Кого?»

Здесь в кабинете были все знаменитости петербургского репортажа. Три мушкетера — Кодлубцев, Ряжкин и Попов. Их никогда не видали иначе, как вместе, даже их фамилии, произнесенные рядом, особенно ловко укладывались в четырехстопный ямб. Это не мешало им постоянно ссориться и выдумывать друг про друга случаи невероятных вымогательств, уголовных подлогов, клеветы и шантажа. Присутствовал также Сергей Кондрашов, которого за его необузданное сладострастие называли «не человек, а патологический случай». Был некто, чья фамилия стерлась от времени, как одна сторона скверной монеты, и осталась только ходячая кличка «Матаня», под которой его знал весь Петербург. Про мрачного Свищева, писавшего фельетончики «По камерам мировых судей», говорили в виде дружеской шутки: «Свищев крупный шантажист, он меньше трех рублей не берет». Спавший же на диване длинноволосый поэт Пеструхин поддерживал свое утлое и пьяное существование тем, что воспевал в лирических стихах царские дни и двунадесятые праздники. Были и другие, не менее крупные имена: специалисты по городским делам, по пожарам, по трупам, по открытиям и закрытиям садов.

Длинный, вихрястый, угреватый Матаня сказал:

— Программу вам сейчас принесут, Владимир Иванович. А покамест рекомендую вашему вниманию храброго штабс-капитана. Только что вернулся с Дальнего Востока, где, можно сказать, разбивал в пух и прах желтолицего, косоглазого и коварного врага. Ну-с, генерал, валяйте дальше.

Офицер прокашлялся и сплюнул в бок на пол.

«Хам!» — подумал Щавинский, поморщившись.

— Русский солдат это, брат, не фунт изюму! — воскликнул хрипло Рыбников, громыхая шашкой. — Чудо-богатыри, как говорил бессмертный Суворов. Что? Не правду я говорю? Одним словом... Но скажу вам откровенно: начальство наше на Востоке не годится ни к черту! Знаете известную нашу поговорку: каков поп, таков приход. Что? Не верно? Воруют, играют в карты, завели любовниц... А ведь известно: где черт не поможет, бабу пошлет.

— Вы, генерал, что-то о съемках начали, — напомнил Матаня.

— Ага, о съемках. Мерси. Голова у меня... Дер-р-балызнул я сегодня. — Рыбников метнул быстрый острый взгляд на Щавинского. — Да, так вот-с... Назначили одного полковника генерального штаба произвести маршрутную рекогносцировку. Берет он с собой взвод казаков — лихое войско, черт его побери... Что? Не правда?.. Берет он переводчика и едет. Попадает в деревню. «Как название?» Переводчик молчит. «А ну-ка, ребятушки!» Казаки его сейчас нагайками. Переводчик говорит: «Бутунду». А «бутунду» по-китайски значит: «не понимаю». «Ага, заговорил, сукин сын!» И полковник пишет на кроки: «Деревня Бутунду». Опять едут — опять деревня. «Название?» — «Бутунду». — «Как? Еще Бутунду?» — «Бутунду». Полковник опять пишет: «Бутунду». Так он десять деревень назвал «Бутунду», и вышел он, как у Чехова: «Хоть ты, говорит, — Иванов седьмой, а все-таки дурак!»

— А-а! Вы знаете Чехова? — спросил Щавинский.

— Кого? Чехова? Антошу? Еще бы, черт побери!.. Друзья! Пили мы с ним здорово... Хоть ты, говорит, и седьмой, а все-таки дурак...

— Вы с ним там на Востоке виделись? — быстро спросил Щавинский.

— Как же, обязательно на Востоке. Мы, брат, бывало, с Антон Петровичем... Хоть ты и седьмой, а...

Пока он говорил, Щавинский внимательно наблюдал за ним. Все у него было обычное, чисто армейское: голос, манеры, поношенный мундир, бедный и грубый

язык. Щавинскому приходилось видеть сотни таких забулдыг-капитанов, как он. Так же они осклаблялись и чертыхались, расправляли усы влево и вправо молодцеватыми движениями, так же вздергивали вверх плечи, оттопыривали локти, картинно опирались на шашку и щелкали воображаемыми шпорами. Но было в нем и что-то совсем особенное, затаенное, чего Щавинский никогда не видал и не мог определить — какая-то внутренняя напряженная, нервная сила. Было похоже на то, что Щавинский вовсе не удивился бы, если бы вдруг этот хрипящий и пьяный бурбон заговорил о тонких и умных вещах, непринужденно и ясно, изящным языком, но не удивился бы также какой-нибудь безумной, внезапной, горячечной, даже кровавой выходке со стороны штабс-капитана.

В лице его поражало Щавинского то разное впечатление, которое производили его фас и профиль. Сбоку это было обыкновенное русское, чуть-чуть калмыковатое лицо: маленький выпуклый лоб под уходящим вверх черепом, русский бесформенный нос сливой, редкие, жесткие черные волосы в усах и на бороденке, голова коротко остриженная, с сильной проседью, тон лица темно-желтый от загара... Но, поворачиваясь лицом к Щавинскому, он сейчас же начинал ему кого-то напоминать. Что-то чрезвычайно знакомое, но такое, чего никак нельзя было ухватить, чувствовалось в этих узеньких, зорких, ярко-кофейных глазках с разрезом наискось, в тревожном изгибе черных бровей, идущих от переносья кверху, в энергичной сухости кожи, крепко обтягивавшей мощные скулы, а главное, в общем выражении этого лица — злобного, насмешливого, умного, пожалуй, даже высокомерного, но не человеческого, а скорее звериного, а еще вернее — лица, принадлежащего существу с другой планеты.

«Точно я его во сне видел», — подумал Щавинский. Всматриваясь, он невольно прищурился и наклонил голову набок.

Рыбников тотчас же повернулся к нему и захохотал нервно и громко:

— Что вы на меня любуетесь, господин писатель? Интересно? Я, — он возвысил голос и с смешной гордостью ударил себя кулаком в грудь. — Я штабс-капитан Рыбников. Рыб-ни-ков! Православный русский воин, не считая, бьет врагов. Такая есть солдатская русская песня. Что? Не верно?

Кодлубцев, бегая пером по бумаге и не глядя на Рыбникова, бросил небрежно:

— И, не считаясь, сдается в плен.

Рыбников быстро бросил взгляд на Кодлубцева, и Щавинский заметил, как в его коричневых глазах блеснули странные желто-зеленые огоньки. Но это было только на мгновение. Тотчас же штабс-капитан захохотал, развел руками и звонко хлопнул себя по ляжкам.

— Ничего не поделаешь — божья воля. Недаром говорится в пословице: нашла коса на камень. Что? Не верно? — Он обратился вдруг к Щавинскому, слегка потрепал его рукою по колену и издал губами безнадежный звук: фить! — Мы все авось, да кое-как, да как-нибудь — тяп да ляп. К местности не умеем применяться, снаряды не подходят к калибрам орудий, люди на позициях по четверо суток не едят. А японцы, черт бы их побрал, работают, как машины. Макаки, а на их стороне цивилизация, черт бы их брал! Что? Не верно я говорю?

— Так что они, по-вашему, пожалуй, нас и победят? — спросил Щавинский.

У Рыбникова опять задергались губы. Эту привычку уже успел за ним заметить Щавинский. Во все время разговора, особенно когда штабс-капитан задавал вопрос и, насторожившись, ждал ответа или нервно оборачивался на чей-нибудь пристальный взгляд, губы у него быстро дергались то в одну, то в другую сторону в странных гримасах, похожих на судорожные злобные улыбки. И в то же время он торопливо облизывал концом языка свои потрескавшиеся сухие губы, тонкие, синеватые, какие-то обезьяньи или козлиные губы.

— Кто знает! — воскликнул штабс-капитан. — Один бог. Без бога ни до порога, как говорится. Что? Не верно? Кампания еще не кончена. Все впереди.

Русский солдат привык к победам. Вспомните Полтаву, незабвенного Суворова... А Севастополь! А как в двенадцатом году мы прогнали величайшего в мире полководца Наполеона. Велик бог земли русской! Что?

Он заговорил, а углы его губ дергались странными, злобными, насмешливыми, нечеловеческими улыбками, и зловещий желтый блеск играл в его глазах под черными суровыми бровями.

Щавинскому принесли в это время кофе.

— Не хотите ли рюмочку коньяку? — предложил он штабс-капитану.

Рыбников опять слегка похлопал его по колену.

— Нет, спасибо, голубчик. Я сегодня черт знает сколько выпил. Башка трещит. С утра, черт возьми, наклюкался. Веселие Руси есть пити. Что? Не правда? — воскликнул он вдруг с лихим видом и внезапно пьяным голосом.

«Притворяется», — подумал Щавинский.

Но почему-то он не хотел отстать и продолжал угощать штабс-капитана.

— Может быть, пива? Красного вина?

— Нет, покорно благодарю. И так пьян. Гран мерси [1].

— Сельтерской воды?

Штабс-капитан оживился.

— Ах, да, да! Вот именно... именно сельтерской... стаканчик не откажусь.

Принесли сифон. Рыбников выпил стакан большими, жадными глотками. Даже руки у него задрожали от жадности. И тотчас же налил себе другой стакан. Сразу было видно, что его уже долго мучила жажда.

«Притворяется, — опять подумал Щавинский. — Что за диковинный человек! Он недоволен, утомлен, но ничуть не пьян».

— Жара, черт ее побери, — сказал Рыбников хрипло. — Однако я, господа, кажется, мешаю вам заниматься.

— Нет, ничего. Мы привыкли,— пробурчал Ряжкин.

---

[1] Большое спасибо *(франц.)*.

— А что, нет ли у вас каких-нибудь свежих известий с войны? — спросил Рыбников. — Эх, господа! — воскликнул он вдруг и громыхнул шашкой. — Сколько бы мог я вам дать интересного материала о войне! Хотите, я вам буду диктовать, а вы только пишите. Вы только пишите. Так и озаглавьте: «Воспоминания штабс-капитана Рыбникова, вернувшегося с войны». Нет, вы не думайте — я без денег, я задаром, задаром. Как вы думаете, господа писатели?

— Что ж, это можно, — вяло отозвался Матаня, — как-нибудь устроим вам интервьюшку... Послушайте, Владимир Иванович, вы ничего не знаете о нашем флоте?

— Нет, ничего; а разве что есть?

— Рассказывают что-то невозможное. Кондрашов слышал от знакомого из морского штаба. Эй! Патологический случай, расскажи Щавинскому!

«Патологический случай», человек с черной трагической бородой и изжеванным лицом, сказал в нос:

— Я не могу, Владимир Иванович, ручаться. Но источник как будто достоверный. В штабе ходит темный слух, что бóльшая часть нашей эскадры сдалась без боя. Что будто бы матросы перевязали офицеров и выкинули белый флаг. Чуть ли не двадцать судов.

— Это действительно ужасно, — тихо произнес Щавинский. — Может быть, еще неправда? Впрочем, теперь такое время, что самое невозможное стало возможным. Кстати, вы знаете, что делается в морских портах? Во всех экипажах идет страшное, глухое брожение. Морские офицеры на берегу боятся встречаться с людьми своей команды.

Разговор стал общим. Эта пронырливая, вездесущая, циничная компания была своего рода чувствительным приемником для всевозможных городских слухов и толков, которые часто доходили раньше до отдельного кабинета «Славы Петрограда», чем до министерских кабинетов. У каждого были свои новости. Это было так интересно, что даже три мушкетера, для которых, казалось, ничего не было на свете святого и значительного, заговорили с непривычной горячностью.

— Носятся слухи о том, что в тылу армии запас-

ные отказываются повиноваться. Что будто солдаты стреляют в офицеров из их же собственных револьверов.

— Я слышал, что главнокомандующий повесил пятьдесят сестер милосердия. Ну, конечно, они были только под видом сестер.

Щавинский оглянулся на Рыбникова. Теперь болтливый штабс-капитан молчал. Сузив глаза, налегши грудью на эфес шашки, он напряженно следил поочередно за каждым из говоривших, и на его скулах под натянутой кожей быстро двигались сухожилия, а губы шевелились, точно он повторял про себя каждое слово.

«Господи, да кого же, наконец, он напоминает?» — в десятый раз с нетерпением подумал фельетонист.

Это так мучило его, что он пробовал прибегнуть к старому знакомому средству: притвориться перед самим собой, что он как будто совсем забыл о штабс-капитане, и потом вдруг внезапно взглянуть на него. Обыкновенно такой прием довольно быстро помогал ему вспомнить фамилию или место встречи, но теперь он оказывался совсем недействительным.

Под его упорным взглядом Рыбников опять обернулся, глубоко вздохнул и с сокрушением покрутил головой.

— Ужасное известие. Вы верите? Что? Если даже и правда, не надо отчаиваться. Знаете, как мы, русские, говорим: бог не выдаст, свинья не съест. То есть я хочу сказать, что свинья — это, конечно, японцы.

Теперь он упорно выдерживал пристальный взгляд Щавинского, и в его рыжих звериных глазах фельетонист увидел пламя непримиримой, нечеловеческой ненависти.

В эту минуту спавший на диване поэт Пеструхин вдруг приподнялся, почмокал губами и уставился мутным взглядом на офицера.

— А, японская морда, ты еще здесь? — сказал он пьяным голосом, едва шевеля ртом. — Поговори у меня еще!

И опять упал на диван, перевернувшись на другой бок.

«Японец! — подумал с жутким любопытством Щавинский. — Вот он на кого похож». — И Щавинский сказал протяжно, с многозначительной вескостью:

— Однако вы фру-укт, господин штабс-капитан!

— Я? — закричал тот. Глаза его потухли, но губы еще нервно кривились. — Я — штабс-капитан Рыбников! — Он опять со смешной гордостью стукнул себя кулаком по груди. — Мое русское сердце болит. Позвольте пожать вашу правую руку. Я под Ляояном контужен в голову, а под Мукденом ранен в ногу. Что? Вы не верите? Вот я вам сейчас покажу.

Он поставил ногу на стул и стал засучивать кверху свои панталоны.

— Ну вас, бросьте, штабс-капитан. Верим, — сказал, морщась, Щавинский.

Но тем не менее из привычного любопытства он успел быстро взглянуть на ногу Рыбникова и заметить, что этот штабс-капитан армейской пехоты носит нижнее белье из прекрасного шелкового трико.

В это время в кабинет вошел посыльный с письмом к Матане.

— Это для вас, Владимир Иванович, — сказал Матаня, разорвав конверт. — Программа из конюшни. Поставьте за меня, пожалуйста, один билет в двойном на Зенита. Я вам во вторник отдам.

— Поедемте со мной на бега, капитан? — предложил Щавинский.

— Куда? На бега? С моим удовольствием. — Рыбников шумно встал, опрокинув стул. — Это где лошади скачут? Штабс-капитан Рыбников куда угодно. В бой, в строй, к чертовой матери! Ха-ха-ха! Вот каков. Что? Не правда?

Когда они уже сидели на извозчике и ехали по Кабинетской улице, Щавинский продел свою руку под руку офицера, нагнулся к самому его уху и сказал чуть слышно:

— Не бойтесь, я вас не выдам. Вы такой же Рыбников, как я Вандербильт. Вы офицер японского

генерального штаба, думаю, не меньше чем в чине полковника, и теперь — военный агент в России...

Но Рыбников не слышал его слов за шумом колес или не понял его. Покачиваясь слегка из стороны в сторону, он говорил хрипло с новым пьяным восторгом:

— З-значит, мы с вами з-закутили! Люблю, черт! Не будь я штабс-капитан Рыбников, русский солдат, если я не люблю русских писателей! Славный народ! Здорово пьют и знают жизнь насквозь. Веселие Руси есть пити. А я, брат, здорово с утра дерябнул.

III

Щавинский — и по роду его занятия и по склонностям натуры — был собирателем человеческих документов, коллекционером редких и странных проявлений человеческого духа. Нередко в продолжение недель, иногда целых месяцев, наблюдал он за интересным субъектом, выслеживая его с упорством страстного охотника или добровольного сыщика. Случалось, что такой добычей оказывался, по его собственному выражению, какой-нибудь «рыцарь из-под темной звезды» — шулер, известный плагиатор, сводник, альфонс, графоман — ужас всех редакций, зарвавшийся кассир или артельщик, тратящий по ресторанам, скачкам и игорным залам казенные деньги с безумием человека, несущегося в пропасть; но бывали также предметами его спортивного увлечения знаменитости сезона — пианисты, певцы, литераторы, чрезмерно счастливые игроки, жокеи, атлеты, входящие в моду кокотки. Добившись во что бы то ни стало знакомства, Щавинский мягко и любовно, с какой-то обволакивающей паучьей манерой овладевал вниманием своей жертвы. Здесь он шел на все: просиживал целыми ночами без сна с пошлыми, ограниченными людьми, весь умственный багаж которых составлял — точно у бушменов — десяток-другой зоологических понятий и шаблонных фраз; он поил в ресторанах отъявленных дураков и негодяев, терпеливо выжидая, пока в опьяне-

нии они не распустят пышным махровым цветом своего уродства; льстил людям наобум, с ясными глазами, в чудовищных дозах, твердо веря в то, что лесть — ключ ко всем замкам; щедро раздавал взаймы деньги, зная заранее, что никогда их не получит назад. В оправдание скользкости этого спорта он мог бы сказать, что внутренний психологический интерес значительно превосходил в нем те выгоды, которые он потом приобретал в качестве бытописателя. Ему доставляло странное, очень смутное для него самого наслаждение проникнуть в тайные, недопускаемые комнаты человеческой души, увидеть скрытые, иногда мелочные, иногда позорные, чаще смешные, чем трогательные, пружины внешних действий — так сказать, подержать в руках живое, горячее человеческое сердце и ощутить его биение. Часто при этой пытливой работе ему казалось, что он утрачивает совершенно свое «я», до такой степени он начинал думать и чувствовать душою другого человека, даже говорить его языком и характерными словечками, наконец он даже ловил себя на том, что употребляет чужие жесты и чужие интонации. Но, насытившись человеком, он бросал его. Правда, иногда за минуту увлечения приходилось расплачиваться долго и тяжело.

Но уж давно никто так глубоко, до волнения, не интересовал его, как этот растерзанный, хриплый, пьяноватый общеармейский штабс-капитан. Целый день Щавинский не отпускал его от себя. Порою, сидя бок о бок с ним на извозчике и незаметно наблюдая его, Щавинский думал решительно:

«Нет, не может быть, чтобы я ошибался, — это желтое, раскосое, скуластое лицо, эти постоянные короткие поклоны и потирание рук, и вместе с тем эта напряженная, нервная, жуткая развязность... Но если все это правда и штабс-капитан Рыбников действительно японский шпион, то каким невообразимым присутствием духа должен обладать этот человек, разыгрывающий с великолепной дерзостью среди бела дня, в столице враждебной нации, такую злую и верную карикатуру на русского забубенного армейца! Какие страшные ощущения должен он испытывать, балансируя

весь день, каждую минуту над почти неизбежной смертью».

Здесь была совсем уже непонятная для Щавинского очаровательная, безумная и в то же время холодная отвага, был, может быть, высший из всех видов патриотического героизма. И острое любопытство вместе с каким-то почтительным ужасом все сильнее притягивали ум фельетониста к душе этого диковинного штабс-капитана.

Но иногда он мысленно одергивал себя:

«А что, если я сам себе навязал смешную и предвзятую мысль? Что, если я, пытливый сердцеведец, сам себя одурачил просто-напросто закутившим гоголевским капитаном Копейкиным? Ведь на Урале и среди оренбургского казачества много именно таких монгольских шафранных лиц». И тогда он еще внимательнее приглядывался к каждому жесту и выражению физиономии штабс-капитана, чутко прислушивался к звукам его голоса.

Рыбников не пропускал ни одного солдата, отдававшего ему честь, и сам прикладывал руку к козырьку фуражки с особенно продолжительной, аффектированной тщательностью. Когда они проезжали мимо церквей, он неизменно снимал шапку и крестился широко и аккуратно и при этом чуть-чуть косил глазом на своего соседа — видит тот или нет?

Однажды Щавинский не вытерпел и сказал:

— Однако вы набожны, капитан.

Рыбников развел руками, комично ушел головой в поднятые плечи и захрипел:

— Ничего не поделаешь, батенька. Привык в боях. Кто на войне не был, богу не маливался. Знаете? Прекрасная русская поговорка. Там, голубчик, поневоле научишься молиться. Бывало, идешь на позицию — пули визжат, шрапнель, гранаты... эти самые проклятые шимозы... но ничего не поделаешь — долг, присяга — идешь! А сам читаешь про себя: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси...»

И он дочитал до самого конца всю молитву, старательно отчеканивая каждый звук.

«Шпион!» — решил Щавинский.

Но он не хотел оставить свое подозрение на половине. Несколько часов подряд он продолжал испытывать и терзать штабс-капитана. В отдельном кабинете, за обедом, он говорил, нагибаясь через стол за стаканом вина и глядя Рыбникову в самые зрачки:

— Слушайте, капитан, теперь нас никто не слышит, и... я не знаю, какое вам дать честное слово, что никто в мире не узнает о нашем разговоре. Я совсем бесповоротно, я глубоко убежден, что вы — японец.

Рыбников опять хлопнул себя по груди кулаком.

— Я штабс...

— Нет, нет, оставим эти выходки. Своего лица вы не спрячете, как вы ни умны. Очертание скул, разрез глаз, этот характерный череп, цвет кожи, редкая и жесткая растительность на лице, все, все несомненно указывает на вашу принадлежность к желтой расе. Но вы в безопасности. Я не донесу на вас, что бы мне за это ни обещали, чем бы мне ни угрожали за молчание. Уже по одному тому я не сделаю вам вреда, что все мое сердце полно бесконечным уважением перед вашей удивительной смелостью, я скажу даже больше — полно благоговением, — ужасом, если хотите. Я, — а ведь я писатель, следовательно человек с воображением и фантазией, — я не могу себе даже представить, как это возможно решиться: за десятки тысяч верст от родины, в городе, полном ненавидящими врагами, ежеминутно рискуя жизнью, — ведь вас повесят без всякого суда, если вы попадетесь, не так ли? — и вдруг разгуливать в мундире офицера, втесываться без разбора во всякие компании, вести самые рискованные разговоры! Ведь маленькая ошибка, оговорка погубит вас в одну секунду. Вот, полчаса тому назад, вы вместо слова рукопись сказали — манускрипт. Пустяк, а очень характерный. Армейский штабс-капитан никогда не употребит этого слова применительно к современной рукописи, а только к архивной или к особенно торжественной. Он даже не скажет: рукопись, а сочинение. Но это пустяки. Главное, я не могу постигнуть этого постоянного напряжения ума и воли, этой дьявольской траты душевных сил. Разучиться думать

по-японски, совсем забыть свое имя, отожествиться с другой личностью. Нет, нет, это положительно выше всякого героизма, о котором нам говорили в школах. Милый мой, не лукавьте со мною. Клянусь, я не враг вам.

Он говорил это совсем искренно, весь воспламененный и растроганный тем героическим образом, который ему рисовало воображение. Но штабс-капитан не шел и на лесть. Он слушал его, глядя слегка прищуренными глазами в бокал, который он тихо двигал по скатерти, и углы его синих губ нервно передергивались. И в лице его Щавинский узнавал все ту же скрытую насмешку, ту же упорную, глубокую, неугасимую ненависть, особую быть может, никогда не постижимую для европейца, ненависть мудрого, очеловеченного, культурного, вежливого зверя к существу другой породы.

— Э, бросьте вы, благодетель, — возразил небрежно Рыбников. — Ну его к дьяволу! Меня и в полку дразнили японцем. Что там! Я — штабс-капитан Рыбников. Знаете, есть русская поговорка: рожа овечья, а душа человечья. А вот я расскажу вам, у нас в полку был однажды случай...

— А вы в каком полку служили? — внезапно спросил Щавинский.

Но штабс-капитан как будто не расслышал. Он начал рассказывать те старые, заезженные, похабные анекдоты, которые рассказываются в лагерях, на маневрах, в казармах. И Щавинский почувствовал невольную обиду.

Один раз, уже вечером, сидя на извозчике, Щавинский обнял его за талию, притянул к себе и сказал вполголоса:

— Капитан... нет, не капитан, а наверно полковник, иначе бы вам не дали такого серьезного поручения. Итак, скажем, полковник: я преклоняюсь пред вашей отвагой, то есть, я хочу сказать, перед безграничным мужеством японского народа. Иногда, когда я читаю или думаю об единичных случаях вашей чертовской храбрости и презрения к смерти, я испытываю дрожь восторга. Какая, например, бессмертная кра-

сота и божественная дерзость в поступке этого командира расстрелянного судна, который на предложение сдаться молча закурил папироску и с папироской в зубах пошел ко дну. Какая необъятная сила и какое восхитительное презрение к врагам! А морские кадеты, которые на брандерах пошли на верную смерть с такой радостью, как будто они отправились на бал? А помните, как какой-то лейтенант — один, совсем один, — пробуксировал на лодке торпеду к окончанию порт-артурского мола? Его осветили прожекторами, и от него с его торпедой осталось только большое кровавое пятно на бетонной стене, но на другой же день все мичманы и лейтенанты японского флота засыпали адмирала Того прошениями, где они вызывались повторить тот же безумный подвиг. Что за герои! Но еще великолепнее приказ Того о том, чтобы подчиненные ему офицеры не смели так рисковать своей жизнью, которая принадлежит не им, а отечеству. Ах, черт, красиво!

— По какой это мы улице едем? — прервал его Рыбников и зевнул. — После маньчжурских сопок я совсем забыл ориентироваться на улице. У нас в Харбине...

Но увлекшийся Щавинский продолжал, не слушая его:

— Помните вы случай, когда офицер, взятый в плен, разбил себе голову о камень? Но что всего изумительнее — это подписи самураев. Вы, конечно, не слыхали об этом, господин штабс-капитан Рыбников? — спросил Щавинский с язвительным подчеркиванием. — Ну да, понятно, не слыхали... Генерал Ноги, видите ли, вызвал охотников идти в первой колонне на ночной штурм порт-артурских укреплений. Почти весь отряд вызвался на это дело, на эту почетную смерть. И так как их оказалось слишком много и так как они торопились друг перед другом попасть на смерть, то они просили об этом письменно, и некоторые из них, по древнему обычаю, отрубали себе указательный палец левой руки и прикладывали его к подписи в виде кровавой печати. Это делали самураи!

— Самураи! — повторил Рыбников глухо.

В горле у него что-то точно оборвалось и захлестнулось. Щавинский быстро оглядел его в профиль. Неожиданное, не виданное до сих пор выражение нежной мягкости легло вокруг рта и на дрогнувшем подбородке штабс-капитана, и глаза его засияли тем теплым, дрожащим светом, который светится сквозь внезапные непроливающиеся слезы. Но он тотчас же справился с собой, на секунду зажмурился, потом повернул к Щавинскому простодушное, бессмысленное лицо и вдруг выругался скверным, длинным русским ругательством.

— Капитан, капитан, что это с вами? — воскликнул Щавинский почти в испуге.

— Это все в газетах наврали, — сказал Рыбников небрежно, — наш русский солдатик ничем не хуже. Но, конечно, есть разница. Они дерутся за свою жизнь, за славу, за самостоятельность, а мы почему ввязались? Никто не знает! Черт знает почему! Не было печали — черти накачали, как говорится по-русски. Что? Не верно? Ха-ха-ха.

На бегах Щавинского несколько отвлекла игра, и он не мог все время следить за штабс-капитаном. Но в антрактах между заездами он видел его изредка то на одной, то на другой трибуне, вверху, внизу, в буфете и около касс. В этот день слово «Цусима» было у всех на языке — у игроков, у наездников, у букмекеров, даже у всех таинственных рваных личностей, обыкновенно неизбежных на бегах. Это слово произносили и в насмешку над выдохшейся лошадью, и в досаде на проигрыш, и с равнодушным смехом и с горечью. Кое-где говорили страстно. И Щавинский видел издали, как штабс-капитан с его доверчивой, развязной и пьяноватой манерой заводил с кем-то споры, жал кому-то руки, хлопал кого-то по плечам. Его маленькая прихрамывающая фигура мелькала повсюду.

С бегов поехали в ресторан, а оттуда на квартиру к Щавинскому. Фельетонист немного стыдился своей роли добровольного сыщика, но чувствовал, что не в силах отстать от нее, хотя у него уже начиналась усталость и головная боль от этой тайной, напряженной борьбы с чужой душою. Убедившись, что лесть

ему не помогала, он теперь пробовал довести штабс-капитана до откровенности, дразня и возбуждая его патриотические чувства.

— Да, но все-таки жаль мне бедных макаков! — говорил он с ироническим сожалением. — Что там ни рассказывай, а Япония в этой войне истощила весь свой национальный гений. Она, по-моему, похожа на худенького, тщедушного человека, который в экстазе и опьянении или от хвастовства взял и поднял спиною двадцать пудов, надорвал себе живот и вот уже начинает умирать медленной смертью. Россия, видите, это совсем особая страна — это колосс. Для нее маньчжурские поражения все равно, что кровесосные банки для полнокровного человека. Вот увидите, как она поправится и зацветет после войны. А Япония захиреет и умрет. Она надорвалась. Пусть мне не говорят, что там культура, общая грамотность, европейская техника. Все-таки в конце концов японец — азиат, получеловек, полуобезьяна. Он и по типу приближается к обезьяне так же, как бушмен, туарег и ботокуд. Стоит обратить внимание на камперов угол его лица. Одним словом — макаки. И нас победила вовсе не ваша культура или политическая молодость, а просто какая-то сумасшедшая вспышка, эпилептический припадок. Вы знаете, что такое raptus, припадок бешенства? Слабая женщина разрывает цепи и разбрасывает здоровенных мужчин, как щепки. На другой день она не в силах поднять руку. Так и Япония. Поверьте, после ее героического припадка наступит бессилие, маразм. Но, конечно, раньше она пройдет через полосу национального хвастовства, оскорбительной военщины и безумного шовинизма.

— Вер-р-но! — кричал на это штабс-капитан Рыбников в дурацком восторге. — Что верно, то верно. Вашу руку, мусьё писатель. Сразу видно умного человека.

Он хрипло хохотал, отплевывался, хлопал Щавинского по коленам, тряс его за руку. И Щавинскому вдруг стало стыдно за себя и за свои тайные приемы проницательного сердцеведа.

«А что, если я ошибаюсь, и этот Рыбников — самый что ни на есть истый распехотный армейский пропойца? Фу ты, черт! Да нет, это невозможно. И если возможно, то, боже мой, каким дураком я себя веду!»

У себя на квартире он показал штабс-капитану свою библиотеку, коллекцию старинного фарфора, редкие гравюры и двух породистых сибирских лаек. Жены его — маленькой опереточной артистки — не было в городе.

Рыбников разглядывал все это с вежливым, но безучастным любопытством, в котором хозяину казалось даже нечто похожее на скуку, даже на холодное презрение. Между прочим, Рыбников открыл книжку какого-то журнала и прочел из нее вслух несколько строчек.

«Это он, однако, сделал ошибку!» — подумал Щавинский, когда услышал его чтение, чрезвычайно правильное, но деревянное, с преувеличенно-точным произношением каждой буквы, каким щеголяют первые ученики, изучающие чужой язык. Но, должно быть, Рыбников и сам это заметил, потому что вскоре захлопнул книжку и спросил:

— Вы ведь сами писатель?

— Да... немного...

— А вы в каких газетах пишете?

Щавинский назвал. Этот вопрос Рыбников предлагал ему за нынешний день в шестой раз.

— Ах, да, да, да. Я позабыл, я уже спрашивал. Знаете что, господин писатель?

— Именно?

— Сделаем с вами так: вы пишите, а я буду диктовать... То есть не диктовать... О нет, я никогда не посмею. — Рыбников потер руки и закланялся торопливо. — Вы, конечно, будете излагать сами, а я вам буду только давать мысли и некоторые... как бы выразиться... мемуары о войне. Ах, сколько у меня интересного материала!..

Щавинский сел боком на стол и посмотрел на штабс-капитана, лукаво прищурив один глаз.

— И, конечно, упомянуть вашу фамилию?

— А что же? Можете. Я ничего не имею против.

Так и упомяните: сведения эти любезно сообщены штабс-капитаном Рыбниковым, только что вернувшимся с театра военных действий.

— Так-с, чудесно-с. Это вам для чего же?

— Что такое?

— Да вот непременно, чтобы вашу фамилию? Или это вам нужно будет впоследствии для отчета? Что вот, мол, инспирировал русские газеты?.. Какой я ловкий мужчина? А?

Но штабс-капитан, по своему обыкновению, ушел от прямого ответа.

— А может быть, у вас нет времени? Заняты другой работой? Тогда — и ну их к черту, эти воспоминания. Всего не перепишешь, что было. Как говорится: жизнь пережить — не поле перейти. Что? Не правду я говорю? Ха-ха-ха!

В это время Щавинскому пришла в голову интересная затея. У него в кабинете стоял большой белый стол из некрашеного ясеневого дерева. На чистой, нежной доске этого стола все знакомые Щавинского оставляли свои автографы в виде афоризмов, стихов, рисунков и даже музыкальных нот. Он сказал Рыбникову:

— Смотрите, вот мой альбом, господин капитан. Не напишете ли вы мне что-нибудь на память о нашем приятном (Щавинский учтиво поклонился) и, смею льстить себя надеждой, не кратковременном знакомстве?

— Отчего же, я с удовольствием, — охотно согласился Рыбников. — Что-нибудь из Пушкина или из Гоголя?

— Нет... уж лучше что-нибудь сами.

— Сам? Отлично.

Он взял перо, обмакнул, подумал и приготовился писать. Но Щавинский вдруг остановил его:

— Мы с вами вот как сделаем лучше. Нате вам четвертушку бумаги, а здесь, в коробочке, кнопки. Прошу вас, напишите что-нибудь особенно интересное, а потом закройте бумагой и прижмите по углам кнопками. Я даю вам честное слово, честное слово писателя, что в продолжение двух месяцев я не притро-

нусь к этой бумажке и не буду глядеть, что вы там написали. Идет? Ну, так пишите. Я нарочно уйду, чтоб вам не мешать.

Через пять минут Рыбников крикнул ему:

— Пожалуйте!

— Готово? — спросил Щавинский, входя.

Рыбников вытянулся, приложил руку ко лбу, как отдают честь, и гаркнул по-солдатски:

— Так точно, ваше благородие.

— Спасибо! Ну, а теперь поедем в Буфф или еще куда-нибудь, — сказал Щавинский. — Там будет видно. Я вас сегодня целый день не отпущу от себя, капитан.

— С моим превеликим удовольствием, — сказал хриплым басом Рыбников, щелкая каблуками.

И, подняв кверху плечи, он лихо расправил в одну и другую сторону усы.

Но Щавинский невольно обманул штабс-капитана и не сдержал своего слова. В последний момент, перед уходом из дома фельетонист спохватился, что забыл в кабинете свой портсигар, и пошел за ним, оставив Рыбникова в передней. Белый листок бумаги, аккуратно приколотый кнопками, раздразнил его любопытство. Он не устоял перед соблазном, обернулся поворовски назад и, отогнув бумагу, быстро прочитал слова, написанные тонким, четким, необыкновенно изящным почерком:

«Хоть ты Иванов 7-й, а дурак!..»

IV

Много позднее полуночи они выходили из загородного кафешантана в компании известного опереточного комика Женина-Лирского, молодого товарища прокурора Сашки Штральмана, который был известен повсюду в Петербурге своим несравненным уменьем рассказывать смешные сценки на злобу дня, и покровителя искусств — купеческого сына Карюкова.

Было не светло и не темно. Стояла теплая, белая, прозрачная ночь с ее нежными переливчатыми кра-

сками, с перламутровой водой в тихих каналах, четко отражавших серый камень набережной и неподвижную зелень деревьев, с бледным, точно утомленным бессонницей небом и со спящими облаками на небе, длинными, тонкими, пушистыми, как клочья растрепанной ваты.

— Куда ж мы поедем? — спросил Щавинский, останавливаясь у ворот сада. — Маршал Ояма! Ваше просвещенное мнение?

Все пятеро замешкались на тротуаре. Ими овладел момент обычной предутренней нерешительности, когда в закутивших людях физическая усталость борется с непреодолимым раздражающим стремленьем к новым пряным впечатлениям. Из сада непрерывно выходили посетители, смеясь, напевая, звонко шаркая ногами по сухим белым плитам. Торопливой походкой, смело свистя шелком нижних юбок, выбегали шансонетные певицы в огромных шляпах, с дрожащими брильянтами в ушах, в сопровождении щеголеватых мужчин в светлых костюмах, украшенных бутоньерками. Эти дамы, почтительно подсаживаемые швейцарами, впархивали в экипажи и в пыхтящие автомобили, непринужденно расправляли вокруг своих ног платья и быстро уносились вперед, придерживая рукой передний край шляпы. Хористки и садовые девицы высшего разбора разъезжались на простых извозчиках, сидя с мужчиной по одной и по две. Другие — обыкновенные, панельные проститутки — шныряли тут же около деревянного забора, приставая к тем мужчинам, которые расходились пешком, и в особенности к пьяным. Их лица в светлом, белом сумраке майской ночи казались, точно грубые маски, голубыми от белил, рдели пунцовым румянцем и поражали глаз чернотой, толщиной и необычайной круглостью бровей; но тем жалче из-под этих наивно-ярких красок выглядывала желтизна морщинистых висков, худоба жилистых шей и ожирелость дряблых подбородков. Двое конных городовых, непристойно ругаясь, то и дело наезжали на них опененными мордами своих лошадей, от чего девицы визжали, разбегались и хватались за рукава прохожих. У решетки, ограждающей канал, толпилось

человек двадцать — там происходил обычный утренний скандал. Мертвецки пьяный безусый офицерик буянил и делал вид, что хочет вытащить шашку, а городовой о чем-то его упрашивал убедительным фальцетом, прилагая руку к сердцу. Какая-то юркая, темная и нетрезвая личность в картузе с рваным козырьком говорила слащаво и подобострастно: «Ваше благородие, плюньте на их, не стоит вам внимать обращение. Лучше вы вдарьте мине в морду, позвольте, я вам ручку поцелую, ваше благородие». А в задних рядах сухопарый и суровый джентльмен, у которого из-под надвинутого на нос котелка виднелись только толстые черные усы, гудел невнятным басом: «Чего ему в зубы смотреть! В воду его, и крышка!»

— А в самом деле, майор Фукушима,— сказал актер. — Надо же достойно заключить день нашего приятного знакомства. Поедемте к девочкам. Сашка, куда?

— К Берте? — ответил вопросом Штральман.

Рыбников захихикал и с веселой суетливостью потер руки.

— К женщинам? А что ж, за компанию — говорит русская пословица — и жид удавился. Куда люди, туда мы. Что, не правда? Ехать так ехать — сказал попугай. Что? Ха-ха-ха!

С этими молодыми людьми его познакомил Щавинский, и они все вместе ужинали в кафешантане, слушали румын и пили шампанское и ликеры. Одно время им казалось смешным называть Рыбникова фамилиями разных японских полководцев, тем более что добродушие штабс-капитана, по-видимому, не имело границ. Эту грубую и фамильярную игру начал Щавинский. Правда, он чувствовал по временам, что поступает по отношению к Рыбникову некрасиво, даже, пожалуй, предательски. Но он успокаивал свою совесть тем, что ни разу не высказал вслух своих подозрений, а его знакомым они вовсе не приходили в голову.

В начале вечера он наблюдал за Рыбниковым. Штабс-капитан был шумнее и болтливее всех: он ежеминутно чокался, вскакивал, садился, разливал вино по скатерти, закуривал папиросу не тем концом. Однако Щавинский заметил, что пил он очень мало.

Рыбникову опять пришлось ехать на извозчике вместе с фельетонистом. Щавинский почти не был пьян — он вообще отличался большой выносливостью в кутежах, но голова у него была легкая и шумная, точно в ней играла пена от шампанского. Он поглядел на штабс-капитана сбоку. В неверном, полусонном свете белой ночи лицо Рыбникова приняло темный, глиняный оттенок. Все впадины на нем стали резкими и черными, морщинки на висках и складки около носа и вокруг рта углубились. И сам штабс-капитан сидел сгорбившись, опустившись, запрятав руки в рукава шинели, тяжело дыша раскрытым ртом. Все это вместе придавало ему измученный, страдальческий вид. Щавинский даже слышал носом его дыхание и подумал, что именно такое несвежее, кислое дыхание бывает у игроков после нескольких ночей азарта, у людей, истомленных бессонницей или напряженной мозговой работой. Волна добродушного умиления и жалости прилила к сердцу Щавинского. Штабс-капитан вдруг показался ему маленьким, загнанным, трогательно-жалким. Он обнял Рыбникова, привлек к себе и сказал ласково:

— Ну, ладно, капитан. Я сдаюсь. Ничего не могу с вами поделать и извиняюсь, если доставил вам несколько неприятных минут. Вашу руку.

Он отстегнул от своей визитки бутоньерку с розой, которую ему навязала в саду продавщица цветов, и вдел ее в петлицу капитанского пальто.

— Это в знак мира, капитан. Не будем больше изводить друг друга.

Извозчик остановился у каменного двухэтажного особняка с приличным подъездом, с окнами, закрытыми сплошь ставнями. Остальные приехали раньше и уже их дожидались. Их пустили не сразу. Сначала в тяжелой двери открылось изнутри четырехугольное отверстие, величиной с ладонь, и в нем на несколько секунд показался чей-то холодный и внимательный серый глаз. Потом двери раскрылись.

Это учреждение было нечто среднее между дорогим публичным домом и роскошным клубом — с шикарным входом, с чучелом медведя в передней, с коврами, шел-

ковыми занавесками и люстрами, с лакеями во фраках и перчатках. Сюда ездили мужчины заканчивать ночь после закрытия ресторанов. Здесь же играли в карты, держались дорогие вина и всегда был большой запас красивых, свежих женщин, которые часто менялись.

Пришлось подниматься во второй этаж. Там наверху была устроена широкая площадка с растениями в кадках и с диванчиком, отделенная от лестницы перилами. Щавинский поднимался под руку с Рыбниковым. Хоть он и дал себе внутренно слово — не дразнить его больше, но тут не мог сдержаться и сказал:

— Взойдемте на эшафот, капитан!

— Я не боюсь, — сказал тот лениво. — Я и так хожу каждый день на смерть.

Рыбников слабо махнул рукой и принужденно улыбнулся. Лицо его вдруг сделалось от этой улыбки усталым, каким-то серым и старческим.

Щавинский посмотрел на него молча с удивлением. Ему стало стыдно своей назойливости. Но Рыбников тотчас же вывернулся.

— Ну да, на смерть. Солдат всегда должен быть готов к этому. Что поделаешь? Смерть — это маленькое неудобство в нашей профессии.

В этом доме Щавинский и меценат Карюков были свои люди и почетные завсегдатаи. Их встречали с веселыми улыбками и глубокими поклонами.

Им отвели большой, теплый кабинет, красный с золотом, с толстым светло-зеленым ковром на полу, с канделябрами в углах и на столе. Подали шампанское, фрукты и конфеты. Пришли женщины — сначала три, потом еще две, — потом все время одни из них приходили, другие уходили, и все до одной они были хорошенькие, сильно напудренные, с обнаженными белыми руками, шеями и грудью, одетые в блестящие, яркие, дорогие платья, некоторые в юбках по колено, одна в коричневой форме гимназистки, одна в тесных рейтузах и жокейской шапочке. Пришла также пожилая полная дама в черном, что-то вроде хозяйки или домоправительницы, — очень приличная на вид, с лицом лимонно-желтым и дряблым, которая все время

смеялась по-старчески приятно, ежеминутно кашляла и курила не переставая. Она обращалась с Щавинским, с актером и меценатом с милым, непринужденным кокетством дамы, годящейся им в матери, хлопала их по рукам платком, а Штральмана — очевидно, любимца — называла Сашкой.

— Ну-с, генерал Куроки, выпьем за блестящие успехи славной маньчжурской армии. А то вы сидите и киснете, — сказал Карюков.

Щавинский перебил его, зевнув:

— Будет вам, господа. Кажется, уж должно бы надоесть. Вы злоупотребляете добродушием капитана.

— Нет, я не сержусь, — возразил Рыбников, — выпьемте, господа, за здоровье наших милых дам.

— Лирский, спой что-нибудь, — попросил Щавинский.

Актер охотно сел за пианино и запел цыганский романс. Он, собственно, не пел его, а скорее рассказывал, не выпуская изо рта сигары, глядя в потолок, манерно раскачиваясь. Женщины вторили ему громко и фальшиво, стараясь одна поспеть раньше другой в словах. Потом Сашка Штральман прекрасно имитировал фонограф, изображал в лицах итальянскую оперу и подражал животным. Карюков танцевал фанданго и все спрашивал новые бутылки.

Он первый исчез из комнаты с рыжей молчаливой полькой, за ним последовали Штральман и актер. Остались только Щавинский, у которого на коленях сидела смуглая белозубая венгерка, и Рыбников рядом с белокурой полной женщиной в синей атласной кофте, вырезанной четырехугольником до половины груди.

— Что ж, капитан, простимся на минутку, — сказал Щавинский, поднимаясь и потягиваясь. — Поздно. Вернее, надо бы сказать, рано. Приезжайте ко мне в час завтракать, капитан. Мамаша, вы вино запишите на Карюкова. Если он любит святое искусство, то пусть и платит за честь ужинать с его служителями. Мои комплименты.

Белокурая женщина обняла капитана голой рукой за шею и сказала просто:

— Пойдем и мы, дуся. Правда, поздно.

V

У нее была маленькая, веселая комнатка с голубыми обоями, бледно-голубым висячим фонарем; на туалетном столе круглое зеркало в голубой кисейной раме, на одной стене олеографии, на другой стене ковер, и вдоль его широкая металлическая кровать.

Женщина разделась и с чувством облегчения и удовольствия погладила себя по бокам, где сорочка от корсета залегла складками. Потом она прикрутила фитиль в лампе и, севши на кровать, стала спокойно расшнуровывать ботинки.

Рыбников сидел у стола, расставив локти и опустив на них голову. Он, не отрываясь, глядел на ее большие, но красивые ноги с полными икрами, которые ловко обтягивали черные ажурные чулки.

— Что же вы, офицер, не раздеваетесь? — спросила женщина. — Скажите, дуся, отчего они вас зовут японским генералом?

Рыбников засмеялся, не отводя взгляда от ее ног.

— Это так — глупости. Просто, они шутят. Знаешь стихи: смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно...

— Дуся, вы меня угостите еще шампанским? Ну, если вы такой скупой, то я спрошу хоть апельсинов. Вы на время или на ночь?

— На ночь. Иди ко мне.

Она легла с ним рядом, торопливо бросила через себя на пол папиросу и забарахталась под одеялом.

— Ты у стенки любишь? — спросила она. — Хорошо, лежи, лежи. У, какие у тебя ноги холодные! Ты знаешь, я обожаю военных. Как тебя зовут?

— Меня? — он откашлялся и ответил неверным тоном. — Я — штабс-капитан Рыбников. Василий Александрович Рыбников.

— А, Вася! У меня есть один знакомый лицеистик Вася — прелесть, какой хорошенький!

Она запела, ежась под одеялом, смеясь и жмурясь:

Вася, Вася, Васенька,
Говоришь ты басенки,

— А знаешь, ей-богу, ты похож на япончика. И знаешь на кого? На микаду. У нас есть портрет. Жаль, теперь поздно, а то я бы тебе показала. Ну, вот прямо как две капли воды.

— Что ж, очень приятно, — сказал Рыбников и тихо обнял ее гладкое и круглое плечо.

— А может, ты и правда японец? Они говорят, что ты был на войне, — это правда? Ой, милочка, я боюсь щекотки. А что, страшно на войне?

— Страшно... Нет, не особенно. Оставим это, — сказал он устало. — Как твое имя?

— Клотильда. Нет, я тебе скажу по секрету, что меня зовут Настей. Это только мне здесь дали имя Клотильда. Потому что мое имя такое некрасивое... Настя, Настасья, точно кухарка.

— Настя? — переспросил он задумчиво и осторожно поцеловал ее в грудь. — Нет, это хорошо. На-стя, — повторил он медленно.

— Ну вот, что хорошего? Вот хорошие имена, например, Мальвина, Ванда, Женя, а то вот еще Ирма... Ух, дуся! — Она прижалась к нему. — А вы симпатичный... Такой брюнет. Я люблю брюнетов. Вы, наверно, женаты?

— Нет, не женат.

— Ну вот, рассказывайте. Все здесь прикидываются холостыми. Наверно, шесть человек детей имеете?

Оттого что окно было заперто ставнями, а лампа едва горела, в комнате было темно. Ее лицо, лежавшее совсем близко от его головы, причудливо и изменчиво выделялось на смутной белизне подушки. Оно уже стало непохоже на прежнее лицо, простое и красивое, круглое русское сероглазое лицо, — теперь оно сделалось точно худее и, ежеминутно и странно меняя выражение, казалось нежным, милым, загадочным и напоминало Рыбникову чье-то бесконечно знакомое, давно любимое, обаятельное, прекрасное лицо.

— Как ты хороша! — шептал он. — Я люблю тебя... я тебя люблю...

Он произнес вдруг какое-то непонятное слово, совершенно чуждое слуху женщины.

— Что ты сказал? — спросила она с удивлением.

— Нет, ничего... ничего. Это — так. Милая! Женщина! Ты — женщина... Я люблю тебя...

Он целовал ей руки, шею, волосы, дрожа от нетерпения, сдерживать которое ему доставляло чудесное наслаждение. Им овладела бурная и нежная страсть к этой сытой, бездетной самке, к ее большому, молодому, выхоленному, красивому телу. Влечение к женщине, подавляемое до сих пор суровой аскетической жизнью, постоянной физической усталостью, напряженной работой ума и воли, внезапно зажглось в нем нестерпимым, опьяняющим пламенем.

— У тебя и руки холодные, — сказала она с застенчивой неловкостью. Было в этом человеке что-то неожиданное, тревожное, совсем непонятное для нее. — Руки холодные — сердце горячее.

— Да, да, да... Сердце, — твердил он, как безумный, задыхаясь и дрожа. — Сердце горячее... сердце...

Она уже давно привыкла к внешним обрядам и постыдным подробностям любви и исполняла их каждый день по нескольку раз — механически, равнодушно, часто с молчаливым отвращением. Сотни мужчин, от древних старцев, клавших на ночь свои зубы в стакан с водой, до мальчишек, у которых в голосе бас мешается с дискантом, штатские, военные, люди плешивые и обросшие, как обезьяны, с ног до головы шерстью, взволнованные и бессильные, морфинисты, не скрывавшие перед ней своего порока, красавцы, калеки, развратники, от которых ее иногда тошнило, юноши, плакавшие от тоски первого падения, — все они обнимали ее с бесстыдными словами, с долгими поцелуями, дышали ей в лицо, стонали от пароксизма собачьей страсти, которая — она уже заранее знала — сию минуту сменится у них нескрываемым, непреодолимым отвращением. И давно уже все мужские лица потеряли в ее глазах всякие индивидуальные черты — и точно слились в одно омерзительное, но неизбежное, вечно склоняющееся к ней, похотливое, козлиное мужское лицо с колючим слюнявым ртом, с затуманенными глазами, тусклыми, как слюда, перекошенное, обезображенное гримасой сладострастия, которое ей

было противно, потому что она его никогда не разделяла.

К тому же все они были грубы, требовательны и лишены самого простейшего стыда, были большей частью безобразно смешны, как только может быть безобразен и смешон современный мужчина в нижнем белье. Но этот маленький пожилой офицер производил какое-то особенное, новое, привлекательное впечатление. Все движения его отличались тихой и вкрадчивой осторожностью. Его ласки, поцелуи и прикосновения были невиданно нежны. И между тем он незаметно окружал ее той нервной атмосферой истинной, напряженной, звериной страсти, которая даже на расстоянии, даже против воли, волнует чувственность женщины, делает ее послушной, подчиняет ее желаниям самца. Но ее бедный маленький ум, не выходивший за узкие рамки обихода публичного дома, не умел сознать этого странного, волнующего очарования. Она могла только шептать, стыдясь, счастливая и удивленная, обычные пошлые слова:

— Какой вы интересный мужчина! Вы мой цыпаляля? Да?

Она встала, потушила лампу и опять легла возле него. Сквозь щели между ставнями и стеной тонкими полосами белело утро, наполняя комнату синим туманным полусветом. Где-то за перегородкой торопливо стучал будильник. Кто-то пел далеко-далеко и грустно.

— Когда ты еще придешь? — спросила женщина.

— Что? — сонно спросил Рыбников, открывая глаза. — Когда приду? Скоро... Завтра...

— Ну да... обманываешь. Нет, скажи по правде — когда? Я без тебя буду скучать.

— Мм... Мы придем скучать... Мы им напишем... Они остановятся в горах... — бормотал он бессвязно.

Тяжелая дремота сковывала и томила его тело. Но, как это всегда бывает с людьми, давно выбившимися из сна, он не мог заснуть сразу. Едва только сознание его начинало заволакиваться темной, мягкой и сладостной пеленой забвения, как страшный внутренний толчок вдруг подбрасывал его тело. Он со стоном вздрагивал, широко открывал в диком испуге глаза и

тотчас же опять погружался в раздражающее переходное состояние между сном и бодрствованием, похожее на бред, полный грозных, путаных видений.

Женщине не хотелось спать. Она сидела на кровати в одной сорочке, обхватив голыми руками согнутые колени, и с боязливым любопытством смотрела на Рыбникова. В голубоватом полумраке его лицо еще больше пожелтело, обострилось и было похоже на мертвое. Рот оставался открытым, но дыхания его она не слышала. И на всем его лице — особенно кругом глаз и около рта — лежало выражение такой измученности, такого глубокого человеческого страдания, какого она еще никогда не видала в своей жизни. Она тихо провела рукой по его жестким волосам и лбу. Кожа была холодна и вся покрыта липким потом. От этого прикосновения Рыбников задрожал, испуганно вскрикнул и быстрым движением поднялся с подушек.

— А!.. Кто это? Кто? — произносил он отрывисто, вытирая рукавом рубашки лицо.

— Что с тобой, котик? — спросила женщина участливо. — Тебе нехорошо? Может быть, дать тебе воды?

Но Рыбников уже овладел собой и опять лег.

— Нет, благодарю!.. Теперь хорошо... Мне приснилось... Ложись спать, милая девочка, прошу тебя.

— Когда тебя разбудить, дуся? — спросила она.

— Разбудить... Утром... Рано взойдет солнце, и приедут драгуны... Мы поплывем... Знаете? Мы поплывем через реку.

Он замолчал и несколько минут лежал тихо. Но внезапно его неподвижное мертвое лицо исказилось гримасой мучительной боли. Он со стоном повернулся на спину, и странные, дико звучащие, таинственные слова чужого языка быстро побежали с его губ.

Женщина слушала, перестав дышать, охваченная тем суеверным страхом, который всегда порождается бредом спящего. Его лицо было в двух вершках от нее, и она не сводила с него глаз. Он молчал с минуту, потом опять заговорил длинно и непонятно. Опять помолчал, точно прислушиваясь к чьим-то словам. И вдруг женщина услышала произнесенное громко,

ясным и твердым голосом, единственное знакомое ей из газет японское слово:

— Банзай!

Сердце ее так сильно трепетало, что от его толчков часто и равномерно вздрагивало плюшевое одеяло. Она вспомнила, как сегодня в красном кабинете Рыбникова называли именами японских генералов, и слабое, далекое подозрение уже начинало копошиться в ее темном уме.

Кто-то тихонько поцарапался в дверь. Она встала и отворила ее.

— Клотильдочка, это ты?—послышался тихий женский шепот.—Ты не спишь? Зайди ко мне на минуточку. У меня Ленька, угощает абрикотином. Зайди, милочка!

Это была Соня Караимка — соседка Клотильды, связанная с нею узами той истеричной и слащавой влюбленности, которая всегда соединяет попарно женщин в этих учреждениях.

— Хорошо. Я сейчас приду. Ах, я тебе расскажу что-то интересное. Подожди, я оденусь.

— Глупости! Не надо. Перед кем стесняться, перед Ленькой! Иди, как есть.

Она стала надевать юбку.

Рыбников проснулся.

— Ты куда? — спросил он сонно.

— Я сейчас, мне надо, — ответила она, поспешно завязывая тесемку над бедрами. — Спи себе. Я сию минуту вернусь.

Но он уже не слыхал ее последних слов, потому что густой черный сон сразу потопил его сознание.

VI

Ленька был кумиром всего дома, начиная от мамаши и кончая последней горничной. В этих учреждениях, где скука, бездействие и лубочная литература порождают повышенные романтические вкусы, наибольшим обожанием пользуются воры и сыщики благодаря своему героическому существованию, полному захватывающих приключений, опасности и риска.

Ленька появлялся здесь в самых разнообразных костюмах, чуть ли не гримированным, был в некоторых случаях многозначительно и таинственно молчалив, и, главное — это все хорошо помнят — он неоднократно доказывал, что местные городовые чувствуют к нему безграничное уважение и слепо исполняют его приказания. Был случай, когда он тремя-четырьмя словами, сказанными на загадочном жаргоне, в один миг прекратил страшный скандал, затеянный пьяными ворами, и заставил их покорно уйти из заведения. Кроме того, у него временами водились большие деньги. Поэтому немудрено, что к Генриетте, или, как он ее называл, Геньке, с которою он «крутил любовь», относились здесь с завистливым почтением.

Это был молодой человек со смуглым веснушчатым лицом, с черными усами, торчащими вверх, к самым глазам, с твердым, низким и широким подбородком и с темными, красивыми, наглыми глазами. Он сидел теперь на диване без сюртука, в расстегнутом жилете и развязанном галстуке. Он был строен и мал ростом, но выпуклая грудь и крепкие мускулы, распиравшие рукава рубашки у плеч, говорили об его большой силе. Рядом с ним, с ногами на диване, сидела Генька, напротив — Клотильда. Медленно потягивая красными губами ликер, он рассказывал небрежно, наигранным фатовским тоном:

— Привели его в участок. Паспорт при нем: Корней Сапетов, колпинский мещанин, или как там его. Ну, конечно, обязательно пьян, каналья. «Посадить его в холодную для вытрезвленья». Обыкновенный принцип. Но в эту самую минуту я случайно прихожу в канцелярию пристава. Гляжу — ба-ба-ба! Старый знакомый, Санька Мясник. Тройное убийство и взлом святого храма. Сейчас сделал издали глазами намек дежурному околоточному и, как будто ничего себе, вышел в коридор. Выходит ко мне околоточный. «Что вы, Леонтий Спиридонович?» — «А ну-ка, отправьте этого красавца на минуточку в сыскную». Привели его. У мерзавца ни один мускул на лице не дрогнул. Я этак посмотрел ему в глаза и го-во-рю... — Ленька значительно постучал костяшками пальцев по столу. —

«Давно ли, Санечка, пожаловали к нам из Одессы?» Он, конечно, держит себя индифферентно — валяет дурака. Никаких. Тоже субъект! «Не могу знать, какой-такой Санька Мясник. Я такой-то». Тут я подхожу к нему, хвать его за бороду! — трах! Борода остается у меня в руках. Привязная!.. «Сознаёшься, сукин сын?» — «Не могу знать». Кэ-эк я его, прохвоста, врежу в переносье, прямым штосом — р-раз! Потом — два! В кровь! «Сознаёшься?» — «Не могу знать». — «А — так ты так-то! Я до сих пор гуманно щадил тебя. А теперь пеняй на себя. Позвать сюда Арсентия Блоху». Был у нас такой арестант, до слез этого Саньку ненавидел. Я, брат, уж только знаю ихние взаимные фигель-мигели. Привели Блоху. «Ну, так и так, Блоха. Кто сей самый индивидум?» Блоха смеется: «Да кто же иной, как не Санька Мясник? Как ваше здоровье, Санечка? Давно ли к нам припожаловали? Как вам фартило в Одестах?» Ну, уж тут Мясник сдался. «Берите, говорит, Леонтий Спиридонович, ваша взяла, от вас никуда не уйдешь. Одолжите папиросочку». Ну, конечно, я ему папироску дал. Я им в этом никогда не отказываю из альтруизма. Повели раба божьего. А на Блоху он только поглядел. И я подумал: «Ну, уж, должно быть, Блохе не поздоровится. Наверно, его Мясник пришьет».

— Пришьет? — шепотом, с ужасом, с подобострастием и уверенностью спросила Генька.

— Абсолютно пришьет. Амба. Этот такой!

Он самодовольно прихлебнул из рюмки. Генька, которая глядела на него остановившимися испуганными глазами с таким вниманием, что даже рот у нее открылся и стал влажным, хлопнула себя руками по ляжкам.

— Ах ты, боже ж мой! Какие ужасы! Ну, подумай только, Клотильдочка! И ты не боялся, Леня?

— Ну вот!.. Стану я всякой рвани бояться.

Восторженное внимание женщин раззудило его, и он стал врать о том, что где-то на Васильевском острове студенты готовили бомбы, и о том, как ему градоначальник поручил арестовать этих злоумышленников. А бомб там было — потом уж это оказалось — две-

надцать тысяч штук. Если б все это взорвалось, так не только что дома этого, а, пожалуй, и пол-Петербурга не осталось бы...

Дальше следовал захватывающий рассказ о необычайном героизме Леньки, который сам переоделся студентом, проник в «адскую лабораторию», подал кому-то знак из окна и в один миг обезоружил злодеев. Одного он даже схватил за рукав в тот самый момент, когда тот собирался взорвать кучу бомб.

Генька ахала, ужасалась, шлепала себя по ногам и то и дело обращалась к Клотильде с восклицаниями:

— Ах, ну и что же это такое, господи? Нет, ты подумай только, Клотильдочка, какие подлецы эти студенты. Вот уж я их никогда не уважала.

Наконец, совсем растроганная, очарованная своим любовником, она повисла у него на шее и стала его громко целовать.

— Ленечка, моя дуся! Даже страшно слушать! И как это ты ничего не боишься?

Он самодовольно взвинтил свой левый ус вверх и обронил небрежно:

— Чего ж бояться? Раз умирать. За то и деньги получаю.

Клотильду все время мучила ревнивая зависть к подруге, обладавшей таким великолепным любовником. Она смутно подозревала, что в рассказах Леньки много вранья, а между тем у нее было сейчас в руках нечто совсем необыкновенное, чего еще ни у кого не бывало и что сразу заставило бы потускнеть впечатление от Ленькиных подвигов. Она колебалась несколько минут. Какой-то отголосок нежной жалости к Рыбникову еще удерживал ее. Но истерическое стремление блеснуть романтическим случаем взяло верх, и она сказала тихо, глухим голосом:

— А знаешь, Леня, что я тебе хотела сказать? Вот у меня сегодня странный гость.

— Мм? Думаешь, жулик? — спросил снисходительно Ленька.

Генька обиделась.

— Что-о? Это, по-твоему, жулик? Тоже скажешь! Пьяный офицеришка какой-то.

— Нет, ты не говори, — с деловой важностью перебил ее Ленька, — бывают, которые и жулики офицерами переодеваются. Ну, так что ты хотела сказать, Клотильда?

Тогда она рассказала подробно, обнаружив большую, мелочную, чисто женскую наблюдательность, обо всем, что касалось Рыбникова: о том, как его называли генералом Куроки, об его японском лице, об его странной нежности и страстности, об его бреде и наконец о том, как он сказал слово «банзай».

— Слушай, ты не врешь? — спросил быстро Ленька, и в его темных глазах зажглись острые искры.

— Вот ей-богу! Не сойти мне с места! Да ты посмотри в замок — я открою ставню. Ну, вот — две капли воды — японец!

Ленька встал, неторопливо, с серьезным видом, надел сюртук и заботливо ощупал левый внутренний карман.

— Пойдем, — сказал он решительно. — С кем он приехал?

Из всей ночной компании остались только Карюков и Штральман. Но Карюкова не могли добудиться, а Штральман, с оплывшими красными глазами, еще полупьяный, ворчал неразборчиво:

— Какой офицер? Да черт с ним совсем. Подсел он к нам в Буффе, откуда он взялся, никто не знает.

Он тотчас стал одеваться, сердито сопя. Ленька извинился и вышел. Он уже успел разглядеть в дверную щелку лицо Рыбникова, и хотя у него оставались кое-какие сомнения, но он был хорошим патриотом, отличался наглостью и не был лишен воображения. Он решил действовать на свой риск. Через минуту он был уже на крыльце и давал тревожные свистки.

VII

Рыбников внезапно проснулся, точно какой-то властный голос крикнул внутри его: встань! Полтора часа сна совершенно освежили его. Прежде всего он подозрительно уставился на дверь: ему почудилось,

что кто-то следил за ним оттуда пристальным взглядом. Потом он оглянулся вокруг. Ставня была полуоткрыта, и оттого в комнате можно было разглядеть всякую мелочь. Женщина сидела напротив кровати у стола, безмолвная и бледная, глядя на него огромными светлыми глазами.

— Что случилось? — спросил Рыбников тревожно. — Послушай, что здесь случилось?

Она не отвечала. Но подбородок у нее задрожал, и зубы застучали друг о друга.

Недоверчивый, жестокий блеск зажегся в глазах офицера. Он весь перегнулся вперед с кровати и наклонил ухо по направлению к двери. Чьи-то многочисленные шаги, очевидно, непривычные к осторожности, приближались по коридору и вдруг затихли у двери.

Рыбников мягким, беззвучным движением спрыгнул с кровати и два раза повернул ключ. Тотчас же в дверь постучали. Женщина с криком опрокинулась головой на стол, закрыв лицо ладонями.

В несколько минут штабс-капитан оделся. В двери опять постучали. С ним была только фуражка. Шашку и пальто он оставил внизу. Он был бледен, но совершенно спокоен, даже руки у него не дрожали, когда он одевался, и все движения его были отчетливо-неторопливы и ловки. Застегивая последнюю пуговицу сюртука, он подошел к женщине и с такой страшной силой сжал ее руку выше кисти, в запястье, что у нее лицо мгновенно побагровело от крови, хлынувшей в голову.

— Ты! — сказал он тихо, гневным шепотом, не разжимая челюстей. — Если ты шевельнешься, крикнешь, я тебя убью!..

В дверь снова постучались. И глухой голос произнес:

— Господин, соблаговолите, пожалуйста, отворить.

Теперь штабс-капитан не хромал больше. Он быстро и беззвучно подбежал к окну, мягким, кошачьим движением вскочил на подоконник, отворил ставни и одним толчком распахнул рамы. Внизу под ним белел мощеный двор с чахлой травой между камнями и торчали вверх ветви жидких деревьев. Он не колебался ни секунды, но в тот самый момент, когда он, сидя боком

на железной облицовке подоконника, опираясь в нее левой рукой и уже свесив вниз одну ногу, готовился сделать всем телом толчок, — женщина с пронзительным криком кинулась к нему и ухватила его за левую руку. Вырываясь, он сделал неловкое движение и вдруг с слабым, точно удивленным криком, неловко, нерасчетливо полетел вниз на камни.

Почти одновременно ветхая дверь упала внутрь в комнату. Первым вбежал, задыхаясь, с оскаленными зубами и горящими глазами Ленька. За ним входили, топоча и придерживая левыми руками шашки, огромные городовые. Увидав открытое окно и женщину, которая, уцепившись за раму, визжала не переставая, Ленька быстро понял все, что здесь произошло. Он был безусловно смелым человеком и потому, не задумываясь, не произнеся ни слова, точно это заранее входило в план его действий, он с разбегу выпрыгнул в окошко.

Он упал в двух шагах от Рыбникова, который лежал на боку неподвижно. Несмотря на то, что у Леньки от падения гудело в голове, несмотря на страшную боль, которую он ощущал в животе и пятках, он не потерялся и в один миг тяжело, всем телом навалился на штабс-капитана.

— А-а! Вре-ошь — хрипел он, тиская свою жертву с бешеным озлоблением.

Штабс-капитан не сопротивлялся. Глаза его горели непримиримой ненавистью, но он был смертельно бледен, и розовая пена пузырьками выступала на краях его губ.

— Не давите меня, — сказал он шепотом, — я сломал себе ногу.

ТОСТ

Истекал двухсотый год новой эры. Оставалось всего пятнадцать минут до того месяца, дня и часа, в котором, два столетия тому назад, последняя страна с государственным устройством, самая упрямая, консервативная и тупая из всех стран, — Германия, — наконец решилась расстаться со своей давно устаревшей и смешной национальной самобытностью и, при ликовании всей земли, радостно примкнула к всемирному анархическому союзу свободных людей. По древнему же, христианскому летоисчислению теперь был канун 2906 года.

Но нигде не встречали нового, двухсотого года с таким гордым торжеством, как на Северном и Южном полюсах, на главных станциях великой Электроземномагнитной Ассоциации. В продолжение последних тридцати лет много тысяч техников, инженеров, астрономов, математиков, архитекторов и других ученых специалистов самоотверженно работали над осуществлением самой вдохновенной, самой героической идеи II-го века. Они решили обратить земной шар в гигантскую электромагнитную катушку и для этого обмотали его с севера до юга спиралью из стального, одетого в гуттаперчу троса, длиною около четырех миллиардов километров. На обоих полюсах они воздвигли электроприемники необычайной мощности и, наконец, соединили между собою все уголки земли бесчислен-

ным множеством проводов. За этим удивительным предприятием тревожно следили не только на земле, но и на всех ближайших к ней планетах, с которыми у обитателей земли поддерживались постоянные сообщения. Многие глядели на затею Ассоциации с недоверием, иные с опасением и даже с ужасом.

Но истекший год был годом, полным блестящей победы Ассоциации над скептиками. Неистощимая магнитная сила земли привела в движение все фабрики, заводы, земледельческие машины, железные дороги и пароходы. Она осветила все улицы и все дома и обогрела все жилые помещения. Она сделала ненужным дальнейшее употребление каменного угля, залежи которого уже давно иссякли. Она стерла с лица земли безобразные дымовые трубы, отравлявшие воздух. Она избавила цветы, травы и деревья — эту истинную радость земли — от грозившего им вымирания и истребления. Наконец она дала неслыханные результаты в земледелии, подняв повсеместно производительность почвы почти в четыре раза.

Один из инженеров Северной станции, избранный на сегодня председателем, встал со своего места и поднял кверху бокал. Все тотчас же замолкли. И он сказал:

— Товарищи! Если вы согласны, то я сейчас же соединюсь с нашими дорогими сотрудниками, работающими на Южной станции. Они только что сигнализировали.

Огромная зала Совещания бесконечно уходила вдаль. Это было великолепное здание из стекла, мрамора и железа, все украшенное экзотическими цветами и пышными деревьями, скорее похожее на прекрасную оранжерею, чем на общественное место. Снаружи его стояла полярная ночь, но благодаря действию особых конденсаторов яркий солнечный свет весело заливал и зелень растений, и столы, и лица тысячи пирующих, и стройные колонны, поддерживавшие потолок, и чудесные картины, и статуи в простенках. Три стены залы Совещания были прозрачны, но четвертая, спиной к которой помещался председатель, представляла собою

белый четырехугольный экран, сделанный из необыкновенно нежного, блестящего и тонкого стекла.

И вот, получив согласие общества, председатель дотронулся пальцем до маленькой кнопки, заключенной в столе. Экран мгновенно осветился ослепительным внутренним светом и сразу точно растаял, а за ним открылся такой же высокий, уходящий вдаль прекрасный стеклянный дворец, и так же, как и здесь, сидели за столами сильные, красивые люди, с радостными лицами, в легких сверкающих одеждах. И те и другие, разделенные расстоянием в двадцать тысяч верст, узнавали друг друга, улыбались друг другу и в виде приветствия подымали кверху бокалы. Но из-за общего смеха и восклицаний они пока еще не слышали голосов своих далеких друзей.

Тогда опять встал и заговорил председатель, и тотчас замолчали его друзья и сотрудники на обоих концах земного шара.

И он сказал:

— Дорогие мои сестры и братья! И вы, прелестные женщины, к которым теперь обращена моя страсть! И вы, сестры, прежде любившие меня, вы, к которым мое сердце преисполнено благодарностью! Слушайте. Слава вечно юной, прекрасной, неисчерпаемой жизни. Слава единственному богу на земле — Человеку. Воздадим хвалу всем радостям его тела и воздадим торжественное, великое поклонение его бессмертному уму!

Вот гляжу я на вас — гордые, смелые, ровные, веселые, — и горячей любовью зажигается моя душа! Ничем не стеснен наш ум, и нет преград нашим желаниям. Не знаем мы ни подчинения, ни власти, ни зависти, ни вражды, ни насилия, ни обмана. Каждый день разверзает перед нами целые бездны мировых тайн, и все радостнее познаем мы бесконечность и всесильность знания. И самая смерть уже не страшит нас, ибо уходим мы из жизни, не обезображенные уродством старости, не с диким ужасом в глазах и не с проклятием на устах, а красивые, богоподобные, улыбающиеся, и мы не цепляемся судорожно за жалкий остаток жизни, а тихо закрываем глаза, как утомленные путники. Труд наш —

это наслаждение. И любовь наша, освобожденная от всех цепей рабства и пошлости, — подобна любви цветов: так она свободна и прекрасна. И единственный наш господин — человеческий гений!

Друзья мои! Может быть, я говорю давно известные общие места? Но я не могу поступить иначе. Сегодня с утра я читал, не отрываясь, замечательную и ужасную книгу. Эта книга — История революций XX столетия.

Часто мне приходило в голову: не сказку ли я читаю? Такой неправдоподобной, такой чудовищной и нелепой казалась мне жизнь наших предков, отдаленных от нас девятью веками.

Порочные, грязные, зараженные болезнями, уродливые, трусливые — они были похожи на омерзительных гадов, запертых в узкую клетку. Один крал у другого кусок хлеба и уносил его в темный угол и ложился на него животом, чтобы не увидал третий. Они отнимали друг от друга жилища, леса, воду, землю и воздух. Кучи обжор и развратников, подкрепленные ханжами, обманщиками, ворами, насильниками, натравляли одну толпу пьяных рабов на другую толпу дрожащих идиотов и жили паразитами на гное общественного разложения. И земля, такая обширная и прекрасная, была тесна для людей, как темница, и душна, как склеп.

Но и тогда среди покорных вьючных животных, среди трусливых пресмыкающихся рабов вдруг подымали головы нетерпеливые гордые люди, герои с пламенными душами. Как они рождались в тот подлый, боязливый век, — я не могу понять этого! Но они выходили на площади и на перекрестки и кричали: «Да здравствует свобода!» И в то ужасное кровавое время, когда ни один частный дом не был надежным убежищем, когда насилие, истязание и убийство награждались по-царски, эти люди в своем священном безумии кричали: «Долой тиранов!»

И они обагряли своей праведной горячей кровью плиты тротуаров. Они сходили с ума в каменных мешках. Они умирали на виселицах и под расстрелом. Они отрекались добровольно от всех радостей жизни, кроме одной радости — умереть за свободную жизнь грядущего человечества.

Друзья мои! Разве вы не видите этого моста из человеческих трупов, который соединяет наше сияющее настоящее с ужасным, темным прошлым? Разве вы не чувствуете той кровавой реки, которая вынесла все человечество в просторное, сияющее море всемирного счастья?

Вечная память вам, неведомые! вам, безмолвные страдальцы! Когда вы умирали, то в прозорливых глазах ваших, устремленных в даль веков, светилась улыбка. Вы провидели нас, освобожденных, сильных, торжествующих, и в великий миг смерти посылали нам свое благословение.

Друзья мои! Пусть каждый из нас тихо, не произнеся ни слова, наедине с собственным сердцем, выпьет бокал в память этих далеких мучеников. И пусть каждый почувствует на себе их примиренный, благословляющий взгляд!..

И все выпили молча. Но женщина необычайной красоты, сидевщая рядом с оратором, вдруг прижалась головой к его груди и беззвучно заплакала. И на вопрос его о причине слез, она ответила едва слышно:

— А все-таки... как бы я хотела жить в то время... с ними... с ними...

УБИЙЦА

Говорили о теперешних событиях: о казнях и расстрелах, о заживо сожженных, об обесчещенных женщинах, об убитых стариках и детях, о нежных свободолюбивых душах, навсегда обезображенных, затоптанных в грязь мерзостью произвола и насилия.

Хозяин дома сказал:

— Как изменился масштаб жизни — страшно подумать! Давно ли? — лет пять тому назад — все русское общество волновалось и ужасалось по поводу какого-нибудь одиночного случая насилия. Городовые избили в кутузке чиновника, земский начальник арестовал приезжего студента за непочтение. А теперь! Там расстреляна целая толпа без предупреждения; там казнили по ошибке одного однофамильца вместо другого; там стреляют людей просто так себе, от нечего делать, чтобы разрядить заряд; там хватают и секут нагайками молодого человека, секут без всякого повода, для дарового развлечения солдатам и офицерам. И уже — вот! — это не возбуждает в нас ни удивления, ни переполоха. Все стало привычным...

Кто-то нервно завозился в углу дивана. Все обернулись туда, чувствуя, что этот человек сейчас заговорит, хотя не видели его. И он начал говорить тихим, преувеличенно-ровным тоном, но с такими частыми паузами между словами и с такими странными вздрагиваниями

в голосе, что всем стало ясно, как трудно ему сдерживать внутреннее волнение и скорбь.

— Да... я вот что хотел... По-моему, это... неправда, что можно... привыкнуть к этому. Я понимаю еще убийство... из мести — тут есть какая-то громадная... какая-то звериная радость. Понимаю убийство в гневе, в ослеплении страстью, из ревности. Ну, наконец, убийство на дуэли... Но когда люди делают это механически... без раздражения, без боязни какой бы то ни было ответственности.., и не ожидая даже сопротивления... нет, это для меня так же дико, ужасно и непостижимо, как непостижима для меня психология палача... Когда я читаю или думаю о погромах, об усмирительных экспедициях или о том, как на войне приканчивают пленных, чтобы не обременять ими отряда, я теряю голову. Я стою точно над какой-то черной, смрадной бездной, в которую способна падать иногда человеческая душа... И я ничего не понимаю... мне жутко и гадко... до тошноты... но... странное, мучительное, больное любопытство приковывает меня... к ужасу... ко всей безмерности этого падения.

Он помолчал немного, прерывисто вздохнул, и когда опять заговорил, то по его изменившемуся голосу, ставшему внезапно глухим, можно было догадаться, что он закрыл глаза руками.

— Ну, что же... все равно... я это должен рассказать... На моей душе тоже лежит этот давнишний кровавый бред... Около десяти лет тому назад я совершил убийство... Я никому до сих пор не говорил... но... все равно... Видите ли — у меня в имении, в людской избе, жила кошка. Такая худая, маленького роста, заморыш... скорее похожая на котенка... белой шерсти... но так как она жила всегда под печкой, то всегда была грязно-серой, какой-то голубой...

Все это произошло зимой... да, поздней зимой. Было утро — чудесное, тихое, безветренное. Светило солнце, уже теплое, и на снег было невозможно смотреть, так он сверкал. В этот год навалило снегу необыкновенно много, — и все мы ходили на лыжах. И вот в это утро я надел лыжи и пошел осмотреть плодовый питомник, который за ночь попортили зайцы. Я двигался тихонько

вдоль правильных рядов молодых яблонек, и, как теперь помню, — снег казался розовым, а тени от маленьких деревьев лежали совсем голубые и такие прелестные, что хотелось стать на колени около них и уткнуться лицом в пушистый снег.

И вот ко мне подходит старый работник Языкант. Его как-то иначе звали, но такое уж у него было прозвище. Идем с ним рядом, — он тоже на лыжах, — говорим о том, о сем. Вдруг он засмеялся:

— А наша кошенка, барин, без ноги осталась.

Я спросил: почему?

— Да, должно быть, попала в волчий капкан. Полноги начисто.

Тогда я захотел поглядеть на нее, и мы пошли к людской избе. Вскоре нам дорогу пересек тоненький следок из частых красных пятнышек. Он вел к завалинке, под которой сидела раненая кошка. Увидев нас, она зажмурилась, жалобно разинула рот и длинно мяукнула. Мордочка у нее была необыкновенно худенькая и грязная. Правая передняя лапка была перекушена повыше коленного сустава и странно торчала вперед, точно раненая рука, и из нее редкими каплями капала кровь и высовывалась наружу белая тонкая косточка.

Я приказал Языканту:

— Поди ко мне в спальню и принеси ружье. Оно на ковре, над кроватью.

— Да что ей сделается? Залижет! — возразил рабочий.

Но я настоял на своем. Мне хотелось прекратить мучение изуродованного животного. Кроме того, я был уверен, что рана непременно будет гноиться и кошка все равно издохнет от заражения крови.

Языкант принес ружье. Один его ствол был заряжен мелкой дробью для рябчиков, другой волчиной картечью. Я поманил кошку — кись, кись, кись. Она тихо замяукала и сделала несколько шагов. Тогда я зашел вправо, так, чтобы она пришлась ко мне левым боком, прицелился и выстрелил. До животного было не более шести-семи шагов, и сейчас же после выстрела мне показалось, что в боку у нее образовалась черная дыра величиною в моих два кулака. Но я не убил ее. Она

пронзительно закричала и бросилась бежать от меня с необыкновенной быстротой, совсем не прихрамывая.

Я видел, как она перебежала широкий, шагов в полтораста, двор и юркнула в темный четырехугольник открытой сушилки. Мне сделалось стыдно, и досадно, и противно. Я побежал вслед за нею. По дороге моя нога выскочила из лыжного стремени. Я упал боком в снег и насилу выбрался. Движения мои были неловки, в рукав полушубка набрался снег, а руки сильно дрожали.

Я вошел в сушилку. Там было совсем темно. Я хотел покликать кошку, но почему-то застыдился. Но вдруг я услышал наверху тихое, злобное урчание. Я поглядел вверх и увидел только ее глаза — две зеленых горящих точки. Она сидела на печке.

Я выстрелил по этим точкам наугад, почти не целясь. Кошка фыркнула, закричала, заметалась... Потом затихла... Я уже хотел уйти, но опять с печки послышалось длительное, злое урчание. Я оглянулся. Два зеленых огонька светились из темноты с выражением такой дьявольской ненависти, что волосы у меня на голове зашевелились и кожа на темени похолодела.

Я быстро пошел домой. Готовых ружейных патронов у меня больше не было, но зато был револьвер Смита и Вессона и к нему целая коробка патронов. Я зарядил все шесть гнезд и вернулся в сушилку.

Кошка издали встретила меня своим ужасным урчаньем. Я выпустил в нее все шесть патронов, потом вернулся домой, опять зарядил оружие и снова сделал шесть выстрелов. И каждый раз бешеное фырканье, царапанье и метанье на печке, мучительные крики и потом два зеленых огня и яростное долгое урчанье.

Мне уже не было ее жалко, но и не было во мне раздражения. Я точно отупел, и холодная, тяжкая, ненасытная потребность убийства управляла моими руками, ногами, всеми моими движениями. Но сознание мое спало, окутанное какой-то грязной, скользкой пеленой. И самому мне было холодно, и в груди и в животе я чувствовал противную щекочущую близость обморока. И я не мог остановиться.

Помню я также, что светлое, милое зимнее утро как-то странно изменилось и потемнело; пожелтел снег,

посерело небо, а во мне самом было деревянное, скучное равнодушие ко всему — и к небу, и к солнцу, и к деревьям, с их чистыми голубыми тенями.

Я возвращался из дому к сушилке в третий раз и опять с заряженным револьвером. Но из сушилки вышел Языкант, держа в руке за задние ноги что-то красное, истерзанное, с вывалившимися кишками, кричащее.

Увидев меня, он сказал грубо:

— Чего уж там... не надо... иди... я сам...

Он старался не глядеть мне в глаза, но я ясно увидел вокруг его рта выражение сурового отвращения, и я знал, что это отвращение относится ко мне.

Он зашел за угол и, сильно размахнувшись, ударил кошку головой о бревно. И все было кончено...

Рассказывающий помолчал немного. Слышно было, как он сморкался и возился на диване. Потом он продолжал еще тише, чем прежде, с оттенком тоски и недоумения:

— Так вот... Целый день этот кровавый сон не выходил из моей головы. И ночью я долго не спал и все думал о грязной белой кощенке. И все ловил себя на той мечте, что я опять иду на сушилку, и опять слышу страдальческое и злобное урчание, вижу эти зеленые точки, полные ужаса и ненависти, и все стреляю, стреляю в них... Я должен признаться, господа... что это — самое тяжелое, самое отвратительное впечатление из всей моей жизни!.. Мне вовсе не жаль этой шелудивой белой кошки... Нет... Мне приходилось стрелять лосей, медведя... Три года тому назад я пристрелил на скачках лошадь. Наконец я был на войне, черт возьми!.. Нет, нет, это не то. Но до конца моих дней я не забуду, как внезапно со дна моей души поднялась и завладела ею, ослепила, залила ее какая-то темная, подлая, но в то же время непреодолимая, неведомая, грозная сила. Ах, этот кровавый туман, это одеревенение, это обморочное равнодушие, это тихое влечение убивать!..

Он опять примолк. Чей-то низкий голос произнес из дальнего угла:

— Да, правда... Какое тяжелое воспоминание.

Но тот, что рассказывал, вдруг перебил его с горячностью:

— Нет, нет, вы подумайте только, вы ради бога подумайте об этих несчастных, которые шли и убивали, убивали, убивали. Я думаю, день им казался черным, как ночь! Я думаю, их тошнило от крови, но они все равно не могли остановиться. Они могли в эти дни спать, есть, пить, даже разговаривать, даже смеяться, но это были не они, а владевший ими дьявол с мутными глазами и с липкой кожей... Я говорю «несчастные», потому что воображаю себе их не сейчас, а потом, гораздо позднее, когда они будут стариками. Ведь они никогда, никогда не забудут той мерзости и того ужаса, которые в эти дни навеки исковеркали и опоганили их души. И я воображаю себе их длинные, бессонные старческие ночи, их отвратительные сны! Им все будет грезиться, что они идут по длинным унылым дорогам, под темным небом, и что по обеим сторонам пути стоят бесконечной цепью обезоруженные, связанные люди, и они бьют их, стреляют в них, разбивают головы прикладами... И нет уже в убийцах ни гнева, ни сожаления, ни раскаяния, но не могут они остановиться, ибо кровавый грязный бред овладел их мозгом. И они будут просыпаться в ужасе, будут дрожать, увидев свое отражение в зеркале, будут плакать и богохульствовать и будут завидовать тем, чью жизнь еще раньше, еще в цвете лет, прекратила мстительная рука. Но дьявол, выпивший их душу, никогда не оставит их. И даже в предсмертной агонии их глаза будут видеть пролитую ими кровь.

РЕКА ЖИЗНИ

I

Хозяйская комната в номерах «Сербия». Желтые обои; два окна с тюлевыми грязными занавесками; между ними раскосое овальное зеркало, наклонившись под углом в 45 градусов, отражает в себе крашеный пол и ножки кресел; на подоконниках пыльные, бородавчатые кактусы; под потолком клетка с канарейкой. Комната перегорожена красными ситцевыми ширмами. Меньшая, левая часть — это спальня хозяйки и ее детей, правая же тесно заставлена всякой случайной разнофасонной мебелью, просиженной, раскоряченной и хромоногой. По углам комнаты свален беспорядочно всяческий, покрытый паутиной, хлам: астролябия в рыжем кожаном чехле и при ней тренога с цепью, несколько старых чемоданов и сундуков, бесструнная гитара, охотничьи сапоги, швейная машина, музыкальный ящик «Монопан», фотографический аппарат, штук пять ламп, груды книг, веревки, узлы белья и многое другое. Все эти вещи были в разное время задержаны хозяйкой за неплатеж или покинуты сбежавшими жильцами. От них в комнате негде повернуться.

«Сербия» — гостиница третьего разбора. Постоянные жильцы в ней редкость, и те — проститутки. Преобладают случайные пассажиры, приплывающие в город

по Днепру: мелкие арендаторы, евреи-комиссионеры, дальние мещане, богомольцы, а также сельские попы, которые наезжают в город с доносами или возвращаются домой после доноса. Занимаются также номера в «Сербии» парочками из города на ночь и на время.

Весна. Четвертый час дня. Занавески на открытых окнах тихо колеблются. В комнате пахнет керосиновым чадом и тушоной капустой. Это хозяйка разогревает на машинке бигос по-польски из капусты, свиного сала и колбасы с громадным количеством перца и лаврового листа. Она вдова лет тридцати шести — сорока, видная, крепкая, проворная женщина. Волосы, которые она завивает на лбу в мелкие кудерьки, тронуты сильной сединой, но лицо у нее свежее, чувственный большой рот красен, а темные, совсем молодые глаза влажны и игриво-хитры. Имя-отчество ее Анна Фридриховна — она полунемка, полуполька из Остзейского края, но близкие знакомые называют ее просто Фридрихом, и это больше идет к ее решительному характеру. Она гневлива, крикунья и страшная сквернословка; дерется иногда со своими швейцарами и с подгулявшими жильцами; может выпить наряду с мужчинами и до безумия любит танцы; переходы от ругани к смеху у нее мгновенны. К законам она чувствует мало уважения, принимает гостей без паспортов, а неисправного жильца собственноручно «выкидает на улицу», как она сама выражается, то есть в отсутствие жильца отпирает его номер и выносит его вещи в коридор или на лестницу, а то и в свою комнату. Полиция с ней дружна из-за ее гостеприимства, живого характера и в особенности из-за той веселой, легкой, бесцеремонной и бескорыстной податливости, с которой она отвечает на каждое мимолетное мужское чувство.

У нее четверо детей. Двое старших, Ромка и Алечка, еще не пришли из гимназии, а младшие — семилетний Адька и пятилетний Эдька, здоровые мальчуганы со щеками, пестрыми от грязи, от лишаев, от размазанных слез и от раннего весеннего загара, — торчат около матери. Они оба держатся руками за край стола и попрошайничают. Они всегда голодны, потому что их мать

насчет стола беспечна: едят кое-как в разные часы, посылая в мелочную лавочку за всякой всячиной.

Вытянув губы трубой, нахмурив брови, глядя исподлобья, Адька гудит угрюмым басом:

— Ишь ты кака-ая, не даешь попробовать...

— Да-ай попло-обуву-уть, — тянет за ним в нос Эдька и чешет босой ножкой икру другой ноги.

За столом у окна сидит поручик запаса армии Валерьян Иванович Чижевич. Перед ним домовая книга, в которую он вписывает паспорты постояльцев. Но после вчерашнего работа идет у него плохо, буквы рябят и расползаются, дрожащие пальцы не ладят с пером, а в ушах гудит, как осенью в телефонном столбе. Временами ему кажется, что голова у него начинает пухнуть, пухнуть, и тогда стол с книгой, с чернильницей и с поручиковой рукой уходят страшно далеко и становятся совсем маленькими, потом, наоборот, книга приближается к самым его глазам, чернильница растет и двоится, а голова уменьшается до смешных и странных размеров.

Наружность поручика Чижевича говорит о бывшей красоте и утраченном благородстве: черные волосы ежиком, но на затылке просвечивает лысина, борода острижена по-модному, острым клинышком, лицо худое, грязное, бледное, истасканное, и на нем как будто написана вся история поручиковых явных слабостей и тайных болезней.

Положение его в номерах «Сербия» сложное: он ходит к мировым судьям по делам Анны Фридриховны, репетирует ее детей и учит их светским манерам, ведет квартирную книгу, пишет счета постояльцам, читает по утрам вслух газету и говорит о политике. Ночует он обыкновенно в одном из пустующих номеров, а в случае наплыва гостей — и в коридоре на древнем диване, у которого пружины вылезли наружу вместе с мочалкой. В последнем случае поручик аккуратно развешивает над диваном, на гвоздиках, все свое имущество: пальто, шапку, лоснящийся от старости, белый по швам, но чистенький сюртучок, бумажный воротник «Монополь» и офицерскую фуражку с синим околышем, а записную книжку и платок с чужой меткой кладет под подушку.

Вдова держит своего поручика в черном теле. «Женись — тогда я тебе все заведу, — обещает она, — полную кипировку и что нужно из белья, и ботинки с калошами приличные. Все у тебя будет, и даже по праздникам будешь носить часы моего покойника с цепью». Но поручик покамест все еще раздумывает. Он дорожит свободой и слишком высоко ценит свое бывшее офицерское достоинство. Однако кое-что старенькое из белья покойника он донашивает.

II

Время от времени в хозяйском номере происходят бури. То, бывает, поручик при помощи своего воспитанника Ромки продаст букинисту кипу чужих книг, то перехватит, пользуясь отсутствием хозяйки, суточную плату за номер, то заведет втайне игривые отношения с горничной. Как раз накануне поручик злоупотребил кредитом Анны Фридриховны в трактире напротив; это всплыло наружу, и вот вспыхнула ссора с руганью и с дракой в коридоре. Двери всех номеров раскрылись, и из них выглянули с любопытством мужские и женские головы. Анна Фридриховна кричала так, что ее было слышно на улице:

— Вон отсюда, разбойник, вон, босявка! Я все кровные труды на тебя потратила! Ты моих детей кровную копейку заедаешь!..

— Нашу копейку заедаешь! — орал гимназист Ромка, кривляясь за материнской юбкой.

— Заеда-аешь! — вторили ему в отдалении Адька с Эдькой.

Швейцар Арсений молча, с каменным видом, сопя, напирал грудью на поручика. А из номера девятого какой-то мужественный обладатель великолепной раздвоенной черной бороды, высунувшись из дверей до половины в нижнем белье и почему-то с круглой шляпой на голове, советовал решительным тоном:

— Арсень! Дай ему между глаз.

Таким образом поручик был вытеснен на лестницу. Но так как на эту же лестницу отворялось широкое

окно из коридора, то Анна Фридриховна еще продолжала кричать вслед поручику, свесившись вниз:

— Каналья, шарлатанщик, разбишака, босявка киевская!

— Босявка! босявка! — надсаживались в коридоре мальчишки.

— И чтобы ноги твоей больше здесь не было! И вещи свои паршивые забирай с собой! Вот они, вот тебе, вот!

В поручика полетели сверху позабытые им впопыхах вещи: палка, бумажный воротничок и записная книжка. На последней ступеньке поручик остановился, поднял голову и погрозил кулаком. Лицо у него было бледно, под левым глазом краснела ссадина.

— Под-дождите, сволочи, я все докажу кому следует. Ага! Сводничают! Грабят жильцов!..

— А ты иди, иди, пока цел, — говорил сурово Арсений, наваливаясь сзади и тесня поручика плечом.

— Прочь, хам! Не имеешь права касаться офицера! — воскликнул гордо поручик. — Я все знаю! Вы здесь без паспорта пускаете! Укрываете! Краденое укрываете... Пристано...

Но тут Арсений ловко обхватил поручика сзади, дверь со звоном и с дребезгом хлопнула, два человека, свившись клубком, выкатились на улицу, и уже оттуда донеслось гневное:

— ...держательствуете!

Сегодня утром, как это всегда бывало и раньше, поручик Чижевич явился с повинной, принеся с собою букет наломанной в чужом саду сирени. Лицо у него утомлено, вокруг ввалившихся глаз тусклая синева, виски желты, одежда нечищена, в голове пух. Примирение идет туго. Анна Фридриховна еще недостаточно насладилась униженным видом своего любовника и его покаянными словами. Кроме того, она немного ревнует Валерьяна к тем трем ночам, которые он провел неизвестно где.

— Нюничка, а куда же... — начинает поручик необыкновенно кротким и нежным, даже слегка дрожащим фальцетом.

— Что та-ко-е? Кто это вам здесь за Нюничка! — презрительно обрывает его хозяйка. — Всякий гицель и тоже — Нюничка!

— Нет, видишь ли, я только хотел спросить тебя, куда выписать Прасковью Увертышеву, тридцати четырех лет? Тут нет пометки.

— Ну и выписывай на толчок. И себя туда же можешь выписать. Одна компания. Или в ночлежку.

«Стерва!» — думает поручик, но только глубоко и покорно вздыхает:

— Какая ты сегодня нервная, Нюничка!

— Нервная... Какая бы я там ни была, а я знаю про себя, что я женщина честная и трудящая... Прочь, вы, байструки! — кричит она на детей, и вдруг — шлеп! шлеп! — два метких удара ложкой влетают по лбу Адьке и Эдьке. Мальчики хнычут.

— Проклятое мое дело, и судьба моя проклятая... — ворчит сердито хозяйка. — Как я за покойным мужем жила, я никакого горя себе не видела. А теперь, что ни швейцар — так пьяница, а горничные все воровки. Цыц, вы, проклятики!.. Вот и эта Проська, двух дней не прожила, а уж из номера двенадцатого у девушки чулки стащила. А то еще бывают некоторые другие, которые только по трактирам ходят за чужие деньги, а дела никакого не делают...

Поручик очень хорошо знает, на кого намекает Анна Фридриховна, но сосредоточенно молчит. Запах бигоса вселяет в него кое-какие далекие надежды. В это время дверь отворяется и входит, не снимая с головы фуражки с тремя золотыми позументами, швейцар Арсений. У него наружность скопца и альбиноса и все нечистое лицо в буграх. Он служит у Анны Фридриховны по крайней мере в сороковой раз и служит до первого запоя, пока хозяйка собственноручно не прибьет его и не прогонит, отняв сначала у него символ власти — фуражку с позументами. Тогда Арсений наденет белую кавказскую папаху на голову и темно-синее пенсне на нос, будет куражиться в трактире напротив, пока весь не пропьется, а под конец загула будет горько плакать перед равнодушным половым о своей безнадежной любви к Фридриху и будет угрожать смертью поручику

Чижевичу. Протрезвившись, он явится в «Сербию» и упадет хозяйке в ноги. И она опять примет его, потому что новый швейцар, заменивший Арсения, уже успел за этот короткий срок обворовать ее, напиться и наскандалить и даже попасть в участок.

— Ты что? С парохода? — спрашивает Анна Фридриховна.

— Да. Привел шесть богомольцев. Насилу отнял у Якова из «Коммерческой». Он уже их вел, а я подошел к одному и говорю на ухо: «Мне, говорю, все равно, идите хоть куда хотите, а как вы люди в здешних местах неизвестные и мне вас ужасно жалко, то я вам скажу, чтобы вы лучше за этим человеком не ходили, потому что у них в гостинице на прошлой неделе богомольцу одному подсыпали порошку и обокрали». Так и увел их. Яков потом мне кулаком издальки грозился. Кричит: «Ты постой у меня, Арсений, я тебя еще споймаю, ты моих рук не убежишь!» Но только я ему и сам, если придется...

— Ладно! — прерывает его хозяйка. — Большое мне дело до твоего Якова. По скольку сговорились?

— По тридцать копеек. Ей-богу, барыня, как ни уговаривал, больше не дают.

— У, дурень ты, ничего не умеешь. Отведи им номер второй.

— Всех в один?

— Дурак: нет, каждому по два номера. Конечно в один. Принести им матрацев, из старых, три матраца принести. А на диван — скажи, чтобы не смели ложиться. Всегда от этих богомольцев клопы. Ступай!

По уходе его поручик замечает вполголоса нежным и заботливым тоном:

— Я удивляюсь, Нюточка, как это ты позволяешь ему входить в комнату в шапке. Это же все-таки неуважение к тебе, как к даме и как к хозяйке. И потом — посуди мое положение: я офицер в запасе, а он все-таки... нижний чин. Неудобно как-то.

Но Анна Фридриховна набрасывается на него с новым ожесточением.

— Нет, уж ты, пожалуйста, не суйся, куда тебя не спрашивают. О-фи-цер! Таких офицерей много у Тере-

щенки в приюте ночует. Арсений человек трудящий, он свой кусок зарабатывает... не то что... Прочь, вы, лайдаки! Куда с руками лезете!

— Да-а... не дае-ешь! — гудит Адька.

— Не да-е-ос!..

Между тем бигос готов. Анна Фридриховна гремит посудой на столе. Поручик в это время старательно припал головой к домовой книге. Он весь ушел в дело.

— Что ж, садись, что ли, — отрывисто приглашает хозяйка.

— Нет, спасибо, Нюточка. Кушай сама. Мне что-то не очень хочется, — говорит Чижевич, не оборачиваясь, сдавленным голосом и громко глотает слюну.

— А ты иди, когда говорят. Тоже, скажите, задается. Ну, иди!..

— Сейчас, сию минуту, Нюничка. Вот только последний листок дописать. По удостоверению, выданному из Бильдинского волостного правления... губернии... за номером 2039... Готово. — Поручик встает и потирает руки. — Люблю я поработать.

— Хм! Тоже работа! — презрительно фыркает хозяйка. — Садись.

— Нюничка, и если бы... одну... маленькую...

— Обойдется и без.

Но так как мир почти уже водворен, то Анна Фридриховна достает из шкафа маленький пузатый граненый графинчик, из которого пил еще отец покойного. Адька размазывает капусту по тарелке и дразнит брата тем, что у него больше. Эдька обижается и ревет:

— Адьке больсе полози-ила. Да-а!

Хлоп! — звонкий удар ложкой поражает Эдьку в лоб. И тотчас же, как ни в чем не бывало, Анна Фридриховна продолжает разговор:

— Рассказывай! Тоже мастер врать. Наверно, валялся у какой-нибудь.

— Нюничка! — восклицает поручик укоризненно и, оставив есть, прижимает руки — в одной из них вилка с куском колбасы — к груди. — Чтобы я? О, как ты меня мало знаешь. Я скорее дам голову на отсечение, чем позволю себе подобное. Когда я тот раз от тебя ушел, то так мне горько было, так обидно! Иду я по

улице и, можешь себе представить, заливаюсь слезами. Господи, думаю, и я позволил себе нанести ей оскорбление. Кому-у! Ей! Единственной женщине, которую я люблю так свято, так безумно...

— Хорошо поешь, — вставляет польщенная, хотя все еще немного недоверчивая хозяйка.

— Да! ты не веришь мне! — возражает поручик с тихим, но глубоким трагизмом. — Ну что ж, я заслужил это. А я каждую ночь приходил под твои окна и в душе творил молитву за тебя. — Поручик быстро опрокидывает рюмку, закусывает и продолжает с набитым ртом и со слезящимися глазами: — И я все думал, что если бы случился вдруг пожар или напали разбойники. Я бы тогда доказал тебе. Я бы с радостью отдал за тебя жизнь... Увы, она и так недолга, — вздыхает он. — Дни мои сочтены...

В это время хозяйка роется в кошельке.

— Скажите, пожалуйста! — возражает она с кокетливой насмешкой. — Адька, вот тебе деньги, сбегай к Василь Василичу за бутылкой пива. Только скажи, чтобы свежего. Живо!

Завтрак уже окончен, бигос съеден и пиво выпито, когда появляется развращенный гимназист приготовительного класса Ромка, весь в мелу и в чернилах. Еще в дверях он оттопыривает губы и делает сердитые глаза. Потом швыряет ранец на пол и начинает завывать:

— Да-а... без меня все поели. Я голодный, как со-ба-а-ака...

— А у меня еще есть, а я тебе не дам, — дразнит его Адька, показывая издали тарелку.

— Да-а-а... Это сви-инство, — тянет Ромка. — Мама, вели А-адьке...

— Молчать! — вскрикивает пронзительно Анна Фридриховна. — Ты бы еще до ночи шлялся. Вот тебе пятачок. Купи колбасы, и довольно с тебя.

— Да-а, пятачок! Сами с Валерьяном Иванычем бигос едят, а меня учиться заставляют. Я как соба-а-а...

— Вон! — кричит Анна Фридриховна страшным голосом, и Ромка поспешно исчезает. Однако он успевает схватить с полу ранец: в голове у него мгновенно родилась мысль — пойти продать свои учебники на

толкучке. В дверях он сталкивается со старшей сестрой Алечкой и, пользуясь случаем, щиплет ее больно за руку. Алечка входит, громко жалуясь:

— Мама, вели Ромке, чтобы он не щипался.

Она хорошенькая тринадцатилетняя девочка, начинающая рано формироваться. Она желто-смуглая брюнетка, с прелестными, но не детскими темными глазами. Губы у нее красные, полные и блестящие, и над верхней губкой, слегка зачерненной легким пушком, две милые родинки. Она общая любимица в номерах. Мужчины дарят ей конфеты, часто зазывают к себе, целуют и говорят бесстыдные вещи. Она все знает, что может знать взрослая девушка, но никогда в этих случаях не краснеет, а только опускает вниз свои черные длинные ресницы, бросающие синие тени на янтарные щеки, и улыбается странной, скромной, нежной и в то же время сладострастной — какой-то ожидающей улыбкой. Ее лучшая приятельница — девица Женя, квартирующая в номере двенадцатом, тихая, аккуратная в плате за квартиру, полная блондинка, которую содержит какой-то купец-дровяник, но которая, в свободные дни водит к себе кавалеров с улицы. Эту особу Анна Фридриховна весьма уважает и говорит про нее: «Ну что ж, что Женечка девка, зато она женщина самостоятельная».

Увидев, что завтрак съеден, Алечка вдруг делает одну из своих принужденных улыбок и говорит тонким голоском, громко и несколько театрально:

— Ах, вы уже позавтракали. Я опоздала. Мама, можно мне пойти к Евгении Николаевне?

— Ах, иди, куда хочешь!

— Мерси.

Она уходит. После завтрака водворяется полный мир. Поручик шепчет на ухо вдове самые пылкие слова и жмет ей под столом круглое колено, а она, раскрасневшись от еды и от пива, то прижимается к нему плечом, то отталкивает его и стонет с нервным смешком:

— Да Валерьян! Да бесстыдник! Дети!

Адька и Эдька смотрят на них, засунув пальцы в рот и широко разинув глаза. Мать вдруг набрасывается на них:

— Идите гулять, лаборданцы. И-я вас. Расселись, точно в музее. Марш, живо!

— Когда я не хочу гулять, — гудит Адька.

— Я не хоц-у-у.

— Я вот вам дам — не хочу. Две копейки на леденцы — и марш!

Она запирает за ними дверь, садится к поручику на колени, и они начинают целоваться.

— Ты сердишься, мое золотце? — шепчет ей на ухо поручик.

Но в дверь стучат. Приходится отпирать. Входит новая горничная, высокая, мрачная, одноглазая женщина, и говорит хрипло, с свирепым выражением лица:

— Там двенадцатый номер самовар требует, и чай, и сахар.

Анна Фридриховна нетерпеливо выдает все, что нужно. Поручик, раскинувшийся на диване, говорит томно:

— Я бы отдохнул немного, Нюничка. Нет ли свободного номера? Здесь все люди толкутся.

Свободный номер оказывается только один — пятый, и они отправляются туда. Номер в одно окно, темный, узкий и длинный, как кегельбан. Кровать, комод, облупленный коричневый умывальник и ночной столик составляют всю его меблировку. Хозяйка и поручик опять начинают целоваться, причем стонут, как голуби весною на крыше.

— Нюничка, если ты меня любишь, мое сокровище, пошли за папиросами «Плезир», шесть копеек десяток, — вкрадчиво говорит поручик, раздеваясь.

— Потом...

Весенний вечер быстро темнеет, и вот на дворе уже ночь. В окно слышны свистки пароходов на Днепре, и скользит далекий запах травы, пыли, сирени, нагретого камня. Вода звонкими каплями мерно падает внутри умывальника. Но в дверь опять стучатся.

— Кто там? Какого черта все шляетесь! — кричит разбуженная Анна Фридриховна. Она босиком вскакивает с кровати и гневно распахивает дверь. — Ну, что еще нужно?

Поручик Чижевич стыдливо натягивает на голову одеяло.

— Студент спрашивает номер, — суфлерским шепотом говорит за дверью Арсений.

— Какой студент? Скажи ему, что остался только один номер и то в два рубля. Он один или с женщиной?

— Один.

— Так и скажи. И паспорт и деньги вперед. Знаю я этих студентов.

Поручик поспешно одевается. Благодаря привычке он делает свой туалет в десять секунд. Анна Фридриховна в это время ловко и быстро оправляет постель. Возвращается Арсений.

— Заплатил вперед, — говорит он мрачно. — И паспорт вот.

Хозяйка выходит в коридор. Волосы у нее разбились и прилипли ко лбу, на пунцовых щеках оттиснулись складки подушки, глаза необычайно блестят. За ее спиной поручик бесшумной тенью пробирается в хозяйский номер.

У окна на лестнице дожидается студент. Он светловолосый, худощавый, уже немолодой человек с длинным, бледным, болезненно-нежным лицом. Голубоватые глаза смотрят точно сквозь туман, добродушны, близоруки и чуть-чуть косят. Он вежливо кланяется хозяйке, отчего та смущенно улыбается и защелкивает верхнюю кнопку на блузке.

— Мне бы номер, — говорит он мягко, точно робея. — Мне надо ехать. И еще бы я попросил свечку, перо и чернила.

Ему показывают кегельбан. Он говорит:

— Прекрасно, лучше нельзя требовать. Здесь чудесно. Только вот, пожалуйста, перо и чернила.

От чаю и от белья он отказывается. Ему все равно.

III

В хозяйском номере горит лампа. На открытом окне сидит, поджавши ноги, Алечка и смотрит, как колышется внизу темная, тяжелая масса воды, освещенной электричеством, как тихо покачивается жидкая, мерт-

венная зелень тополей вдоль набережной. На щеках у нее горят два круглых, ярких, красных пятна, а глаза влажно и устало мерцают. Издалека, с той стороны реки, где сияет огнями кафешантан, красиво плывут в холодеющем воздухе резвые звуки вальса.

Пьют чай с покупным малиновым вареньем. Адька и Эдька накрошили себе в чашки черного хлеба, сделали тюрю, измазали ею щеки, лбы и носы и делают друг другу рожи, пуская пузыри в блюдечко. Ромка, вернувшийся с синяком под глазом, торопливо, со свистом тянет чай из блюдечка. Поручик Чижевич, расстегнув жилет и выпустив наружу бумажную грудь манишки, благодушествует среди этой домашней идиллии, полулежа на диване.

— Все номера, слава богу, заняты, — вздыхает мечтательно Анна Фридриховна.

— А что? Все моя легкая рука! — говорит поручик. — Как я пришел, так и дело пошло.

— Ну да, рассказывай.

— Нет, ей-богу, у меня рука необыкновенно легкая. У нас в полку, когда, бывало, капитан Горжевский мечет банк, то всегда сажает меня около себя. Эх, как у нас в полку здорово резались в карты! Этот самый Горжевский, еще подпоручиком, выиграл во время турецкой войны двенадцать тысяч. Пришел наш полк в Букарешт. Ну, конечно, денег у господ офицерства гибель, девать было некуда, женщин нет. Начали картеж. И вдруг Горжевский налетает на шулера. Прямо по морде видать, что шулер, но так ловко передергивает, что невозможно уследить...

— Подожди, я сейчас приду, — перебивает его хозяйка, — мне только надо выдать полотенце.

Она уходит. Поручик подкрадывается к Алечке и близко наклоняется к ней. Ее прекрасный профиль, темный на фоне ночи, тонко, серебристо и нежно очерчен сиянием электрических фонарей.

— О чем, Алечка, задумалась? Или, может быть, *о ком?* — спрашивает он сладко, с дрожью в голосе.

Она отворачивается от него. Но он быстро приподнимает ее толстую косу, целует ее под волосы в теплую тонкую шейку и жадно нюхает запах ее кожи.

— Я маме скажу, — шепчет Алечка, не отодвигаясь.

Дверь отворяется, — это возвратилась Анна Фридриховна. Поручик тотчас же начинает говорить неестественно громко и развязно.

— Действительно, славно в такую чудную, весеннюю ночь прокатиться на лодке с любимым существом или близким другом. Да, Нюничка, так вот я продолжаю. Таким образом Горжевский пропускает целых шесть тысяч, черт побери! Наконец его кто-то надоумил, он и говорит: «Баста! Я так не буду играть. А вот не угодно ли, прибьем колоду гвоздем к столу и будем отрывать по карте?» Тот было на попятный. Но Горжевский вынул револьвер: «Или играй, собака, или пулю в лоб!» Ничего не поделаешь, шулер сел и, главное, так растерялся, что позабыл, что сзади него зеркало, а Горжевский сидит напротив, и ему в зеркало все карты партнера видны. И Горжевский не только свои отыграл, но еще выиграл чистых одиннадцать тысяч. Он даже велел этот гвоздь оправить в золото и теперь носит при часах, в виде брелока. Очень оригинально.

IV

В это время в пятом номере сидит на кровати студент. Перед ним на ночном столике свеча и лист почтовой бумаги. Студент быстро пишет, на минуту останавливается, шепчет что-то про себя, покачивает головой, напряженно улыбается и опять пишет. Вот он глубоко обмакнул перо в чернила, потом зачерпнул им, как ложечкой, жидкого стеарина около фитиля и сует эту смесь в огонь. Она трещит и брызжет во все стороны бойкими синими огоньками. Этот фейерверк напоминает студенту что-то смешное, полузабытое из далекого детства. Он глядит на пламя свечки,躲 косяглаза и рассеянно и печально улыбаясь. Потом вдруг, точно очнувшись, встряхивает головой, вздыхает и, быстро обтерши перо о рукав синей рубашки, продолжает писать:

«Ты скажи им все, что скажет тебе мое письмо и чему, я знаю, ты поверишь. Меня они все равно не поймут, а у тебя есть слова, простые и понятные для них. Странно одно: вот я пишу тебе и знаю, что через десять — пятнадцать минут я застрелюсь, и эта мысль совсем не страшит меня. Но когда седой огромный жандармский полковник весь побагровел и с руганью затопал на меня ногами, я растерялся. Когда он закричал, что мое упорство напрасно и только губит меня и моих товарищей и что Белоусов, и Книгге, и Соловейчик сознались, то я подтвердил. Я, не боящийся смерти, испугался окрика этого тупого, ограниченного человека, закостеневшего в своем профессиональном апломбе. И что всего подлее: ведь он на других не смел кричать, а был любезен, предупредителен и слащав, как провинциальный зубной врач — был даже либерален. Во мне же он сразу понял уступчивую и дряблую волю. Это чувствуется между людьми без слова, с одного взгляда.

Да, я сознаю, что все это вышло дико, и презренно, и смешно, и отвратительно. Но иначе не могло быть, и если бы повторилось, то вышло бы по-прежнему. Отчаянной храбрости боевые генералы очень часто боятся мышей. Они иногда даже бравируют этой маленькой слабостью. А я с печалью говорю, что больше смерти боюсь этих деревянных людей, жестко застывших в своем миросозерцании, глупо-самоуверенных, не знающих колебаний. Если бы ты знал, как робею я и стесняюсь перед монументальными городовыми, перед откормленными, мордатыми петербургскими швейцарами, перед барышнями в редакциях журналов, перед секретарями в судах, перед лающими начальниками станций! Когда мне однажды пришлось свидетельствовать в участке подпись, то один вид толстого пристава с рыжими подусниками в ладонь, с выпяченной грудью и с рыбьими глазами, который все время меня перебивал, не дослушивал, на минуты забывал о моем присутствии или вдруг притворялся непонимающим самой простой русской речи, — один его вид привел меня в такой гадкий трепет, что я сам

слышал в своем голосе заискивающие, рабские интонации.

Кто виноват в этом? Я тебе скажу: моя мать. Это она была первой причиной того, что вся моя душа загажена, развращена подлой трусостью. Она рано овдовела, и мои первые детские впечатления неразрывны со скитаньем по чужим домам, клянченьем, подобострастными улыбками, мелкими, но нестерпимыми обидами, угодливостью, попрошайничеством, слезливыми, жалкими гримасами, с этими подлыми уменьшительными словами: кусочек, капелька, чашечка чайку... Меня заставляли целовать ручки у благодетелей — у мужчин и у женщин. Мать уверяла, что я не люблю того-то и того-то лакомого блюда, лгала, что у меня золотуха, потому что знала, что от этого хозяйским детям останется больше и что хозяевам это будет приятно. Прислуга втихомолку издевалась над нами: дразнила меня горбатым, потому что я в детстве держался сутуловато, а мою мать называли при мне приживалкой и салопницей. И сама мать, чтобы рассмешить благодетелей, приставляла себе к носу свой старый, трепанный кожаный портсигар, перегнув его вдвое, и говорила: «А вот нос моего сыночка Левушки». Они смеялись, а я краснел и бесконечно страдал в эти минуты за нее и за себя и молчал, потому что мне в гостях запрещалось говорить. Я ненавидел этих благодетелей, глядевших на меня, как на неодушевленный предмет, сонно, лениво и снисходительно совавших мне руку в рот для поцелуя, и я ненавидел и боялся их, как теперь ненавижу и боюсь всех определенных, самодовольных, шаблонных, трезвых людей, знающих все наперед: кружковых ораторов, старых, волосатых, румяных профессоров, кокетничающих невинным либерализмом, внушительных и елейных соборных протопопов, жандармских полковников, радикальных женщин-врачей, твердящих впопыхах куски из прокламаций, но с душой холодной, жестокой и плоской, как мраморная доска. Когда я говорю с ними, я чувствую, что на моем лице лежит противной маской чужая, поддакивающая, услужливая улыбка, и презираю себя за свой заиски-

вающий тонкий голос, в котором ловлю отзвук прежних материнских ноток. Души этих людей мертвы, мысли окоченели в прямых, твердых линиях, и сами они беспощадны, как только может быть беспощаден уверенный и глупый человек.

От семи до десяти лет я пробыл в закрытом благотворительном казенном пансионе с фребелевской системой воспитания. Там классные дамы, озлобленные девы, все страдавшие флюсом, насаждали в нас почтение к благодетельному начальству, взаимное подглядывание и наушничество, зависть к любимчикам и — главное — самое главное — тишайшее поведение; мы же, мальчишки, сами собою, культивировали воровство и онанизм. Потом из милости меня приняли в казенный пансион при гимназии. Там было все, что бывает в казенных пансионах. Обыски и шпионство со стороны надзирателей, бессмысленный зубреж, куренье в третьем классе, водка в четвертом, в пятом — первая публичная женщина и первая нехорошая болезнь.

Дальше вдруг повеяло новыми, молодыми словами, буйными мечтами, свободными, пламенными мыслями. Мой ум с жадностью развернулся им навстречу, но моя душа была уже навеки опустошена, мертва и опозорена. Низкая неврастичная боязливость впилась в нее, как клещ в собачье ухо: оторвешь его, останется головка, и он опять вырастет в целое гнусное насекомое.

Не я один погиб от этой моральной заразы. Я, может быть, был слабейшим из всех. Но ведь все прошлое поколение выросло в духе набожной тишины, насильственного почтения к старшим, безличности и безгласности. Будь же проклято это подлое время, время молчания и нищенства, это благоденственное и мирное житие под безмолвной сенью благочестивой реакции! Потому что тихое оподление души человеческой ужаснее всех баррикад и расстрелов в мире.

Странно: когда я один на один с моей собственной волей, я не только не трус, но я даже мало знаю людей, которые так легко способны рисковать жизнью. Я ходил по карнизам от окна к окну на пятиэтажной

высоте и глядел вниз, я заплывал так далеко в море, что руки и ноги отказывались служить мне, и я, чтобы избегнуть судороги, ложился на спину и отдыхал. И многое, многое другое. Наконец через десять минут я убью себя, а это тоже ведь чего-нибудь да стоит. Но людей я боюсь. Людей я боюсь! Когда я слышу, как пьяные ругаются и дерутся на улице, я бледнею от ужаса в своей комнате. А когда я ночью, лежа в постели, представляю себе пустую площадь и несущийся по ней с грохотом взвод казаков, я чувствую, как сердце у меня перестает биться, как холодеет все мое тело, и мои пальцы судорожно корчатся. Я на всю жизнь испуган чем-то, что есть в большинстве людей и чего я не умею объяснить. Таково было и все молодое поколение предыдущего, переходного времени. Мы в уме презирали рабство, но сами росли трусливыми рабами. Наша ненависть была глубока, страстна, но бесплодна, и была похожа на безумную влюбленность кастрата.

Но ты все поймешь и все объяснишь товарищам, которым я перед смертью говорю, что люблю их и уважаю, несмотря ни на что. Может быть, они поверят тебе, что я умер вовсе не потому, что невольно и низко предал их. Я знаю, что нет в мире ничего страшнее этого страшного слова «предатель», которое, идя от уст к ушам, от уст к ушам, заживо умерщвляет человека. О, я сумел бы загладить мою ошибку, не будь я рожден и воспитан рабом человеческой наглости, трусости и глупости. Но именно оттого, что я таков, я и умираю. В теперешнее страшное, бредовое время позорно и тяжело и прямо невозможно жить таким, как я.

Да, мой дорогой, я в последние годы очень много слышал, видел и читал. Я говорю тебе: над нашей родиной прошло ужасное вулканическое извержение. Вырвалось пламя долго сдержанного гнева и потопило все: боязнь завтрашнего дня, почтение к предкам, любовь к жизни, мирные сладости семейного благополучия. Я знаю о мальчиках, почти детях, которые отказывались надевать повязку на глаза перед расстрелом. Я сам видел людей, перенесших пытки и не ска-

завших ни слова. И все это родилось внезапно, появилось в каком-то бурном дыхании. Из яиц индюшек вдруг выклевывались орлята. Как недолог, но как чудесен и героичен был их полет к пылающему солнцу свободы! Я видел, как в детях, в гимназистах, в школьниках просыпалось и загоралось священное уважение к своему радостному, гордому, свободному «я», именно к тому, что из нас вытравила духовная нищета и трепетная родительская мораль. Ну — и к черту нас!

Сейчас без восьми девять. Ровно в девять — со мной будет кончено. Собака лает на дворе — раз, два, потом помолчит и — раз, два, три. Может быть, когда угаснет мое сознание и вместе с ним навеки исчезнет для меня все: города, площади, пароходные свистки, утра и вечера, номера гостиниц, тиканье часов, люди, звери, воздух, свет и тьма, время и пространство, и не будет ничего, даже не будет мысли об этом «ничего», — может быть, эта собака долго будет лаять нынешним вечером — сначала два раза, потом три.

Девять без пяти минут. Смешная идея меня занимает. Я думаю: мысль человека — это как бы ток от таинственного, еще неведомого центра, это какая-то широкая напряженная вибрация невесомой материи, разлитой в мировом пространстве и проникающей одинаково легко между атомами камня, железа и воздуха. Вот мысль вышла из моего мозга, и вся мировая сфера задрожала, заколебалась вокруг меня, как вода от брошенного камня, как звук вокруг звенящей струны. И мне думается, что вот человек уходит, сознание его уже потухло, но мысль его еще остается, еще дрожит в прежнем месте. Может быть, мысли и сны всех людей, бывших до меня в этой длинной, мрачной комнате, еще реют вокруг меня и тайно направляют мою волю? И, может быть, завтра случайный посетитель этого номера задумается внезапно о жизни, о смерти, о самоубийстве, потому что я оставлю здесь после себя мою мысль? И, почем знать, может быть, не завися ни от веса, ни от времени, ни от преград материи, мои мысли в один и тот же момент ловятся таинственными, чуткими, но бессозна-

тельными приемниками в мозгу обитателя Марса, так же как и в мозгу собаки, лающей на дворе? Ах, я думаю, что ничто в мире не пропадает — ничто! — не только сказанное, но и подуманное. Все наши дела, слова и мысли — это ручейки, тонкие подземные ключи. Мне кажется, я вижу, как они встречаются, сливаются в родники, просачиваются наверх, стекаются в речки — и вот уже мчатся бешено и широко в неодолимой Реке жизни. Река жизни — как это громадно! Все она смоет рано или поздно, снесет все твердыни, оковавшие свободу духа. И где была раньше отмель пошлости — там сделается величайшая глубина героизма. Вот сейчас она увлечет меня в непонятную, холодную даль, а может быть, не далее как через год, она хлынет на весь этот огромный город и потопит его и унесет с собою не только его развалины, но и самое его имя!

А может быть, все это смешно, что я пишу. Осталось две минуты. Горит свечка, часы торопливо постукивают передо мною. Собака все еще лает. А что, если ничего не останется ни от меня, ни во мне, но останется только одно, самое последнее ощущение — может быть, боль, может быть, звук выстрела, может быть, голый, дикий ужас, но останется навсегда, на тысячи миллионов веков, возведенных в миллиардную степень?

Стрелка дошла. Сейчас мы все это увидим. Нет, подожди: какая-то смешная стыдливость заставила меня встать и запереть дверь на ключ. Прощай. Еще два слова: а ведь темная душа собаки должна быть гораздо более восприимчива к вибрациям мысли, чем человеческая... Не оттого ли они и воют, почуяв покойника. А? Вот и эта собака, что лает внизу. Теперь она уже чувствует тревогу. Но через минуту от центральной батареи моего мозга побегут страшными скачками новые чудовищные токи и коснутся бедного мозга собаки. И она завоет в нестерпимом, слепом ужасе... Прощай. Иду».

Студент запечатал письмо, аккуратно заткнул для чего-то пробкой чернильницу, встал с кровати и достал из кармана тужурки браунинг. Перевел предо-

хранитель с «sûr» на «feu»[1]. Расставив ноги для устойчивости, зажмурился. И вдруг, быстро поднеся обеими руками револьвер к правому виску, он нажал гашетку.

— Что это? — тревожно спрашивает Анна Фридриховна.

— А это твой студент застрелился, — небрежно шутит поручик. — Такие все сволочи — эти студенты...

Но Анна Фридриховна вскакивает и бежит в коридор, поручик лениво следует за ней. Из номера пятого кисло пахнет газами бездымного пороха. Смотрят в замочную щелку — студент лежит на полу.

Через пять минут у подъезда гостиницы уже стоит черная, густая, жадная толпа, и Арсений с озлоблением гонит посторонних с лестницы. В гостинице суета. Слесарь взламывает дверь запертого номера, дворник бежит за полицией, горничная — за доктором. Через некоторое время появляется околоточный надзиратель, высокий, тонкий молодой человек с белыми волосами, белыми ресницами и белыми усами. Он в мундире и в широчайших шароварах, спускающихся до половины лакированных сапог. Он тотчас же напирает грудью на публику и, выкативши светлые глаза, гремит начальственно:

— Ос-сади назад! Р-р-разойдись! Я не понимаю, господа, что т-тут вы нашли любопытного? Ровно ничего. Господин... убедительно прошу... А еще, кажется, интеллигентный человек, в котелке... Что-с? А вот я тебе покажу полицейский произвол-с. Михальчук, заметь этого. Эй, мальчишка, куда лезешь. Я-ть!..

Дверь взломана. В номер входят: надзиратель, Анна Фридриховна, поручик, четверо детей, понятые, городовой, два дворника — впоследствии доктор. Студент лежит на полу, уткнувшись лицом в серый коврик перед кроватью, левая рука у него подогнута под грудь, правая откинута, револьвер валяется в стороне. Под головой лужа темной крови, в правом виске

---

[1] «Безопасно»... «огонь» *(франц.)*.

круглая маленькая дырочка. Свеча еще горит, и часы на ночном столике поспешно тикают.

Составляется короткий протокол в казенных словах, и к нему прилагается оставленное самоубийцей письмо... Двое дворников и городовой несут труп вниз по лестнице. Арсений светит, высоко подняв лампу над головой. Анна Фридриховна, надзиратель и поручик смотрят сверху из окна в коридоре. Несущие на повороте разладились в движениях, застряли между стеной и перилами, и тот, который поддерживал сзади голову, опускает руки. Голова резко стукается об одну ступеньку, о другую, о третью.

— Так его! Так его! — озлобленно кричит из окна хозяйка. — Так ему и надо, подлецу! Я еще на чай дам!

— Какие вы кровожадные, мадам Зигмайер, — игриво замечает надзиратель и, закрутив ус, скашивает глаза на его кончик.

— А еще бы! Теперь в газету из-за него попадешь. Я женщина бедная, трудящая, а теперь из-за него люди будут мою гостиницу обегать.

— Это конечно, — любезно соглашается надзиратель. — И удивляюсь я на этих господ студентов. Учиться не хочут, красные флаги какие-то выбрасывают, стреляются. Не хочут понять, каково это ихним родителям. Ну, еще бедные — черт с ними, прельщаются на жидовские деньги. Но ведь и порядочные туда же, сыновья дворян, священников, купцов... Нар-род! Однако, мадам, пожелав вам всего хорошего...

— Нет, нет, нет, нет, ни за что! — схватывается хозяйка. — У нас сейчас ужин... селедочка. А так я вас ни за что не пущу.

— Собственно говоря... — мнется околоточный. — А впрочем, пожалуй. Я, признаться, и так хотел зайти напротив к Нагурному перехватить чего-нибудь. Наша служба, — говорит он, вежливо пропуская даму в дверь, — наша служба тяжелая. Иногда и целый день во рту куска не бывает.

За ужином все трое пьют много водки. Анна Фридриховна, вся раскрасневшаяся, с сияющими гла-

зами и губами, как кровь, сняла под столом одну туфлю и горячей ногой в чулке жмет ногу околоточному. Поручик хмурится, ревнует и все пытается рассказать о том, как «у нас в полку». Околоточный же не слушает его, перебивает и рассказывает о потрясающих случаях «у нас в полиции». Каждый из них старается быть как можно небрежнее и невнимательнее к другому, и оба они похожи на двух только что встретившихся во дворе кобелей.

— Вот вы все — «у нас в полку», — говорит, глядя не на поручика, а на хозяйку, надзиратель. — А позвольте полюбопытствовать, почему вы вышли из военной службы?

— Позвольте-с, — возражает обидчиво поручик. — Однако я вас не спрашиваю, как вы дошли до полиции? Как дошли вы до жизни такой?

Но тут Анна Фридриховна вытаскивает из угла музыкальный ящик «Монопан» и заставляет Чижевича вертеть ручку. После небольших упрашиваний околоточный танцует с нею польку — она скачет, как девочка, а на лбу у нее прыгают крутые кудряшки. Затем вертит ручку околоточный, а танцует поручик, прикрутив руку хозяйки к своему левому боку и высоко задрав голову. Танцует и Алечка с опущенными ресницами и своей странной, нежно-развратной улыбкой на губах.

Околоточный уже окончательно прощается, когда появляется Ромка.

— Да-а... Я студента провожал, а вы без меня-а-а. Я, как соба-а-ака...

А то, что было прежде студентом, уже лежит в холодном подвале анатомического театра, на цинковом ящике, на льду,— лежит, освещенное газовым рожком, обнаженное, желтое, отвратительное. На правой голой ноге выше щиколки толстыми чернильными цифрами у него написано 14. Это его номер в анатомическом театре..

ОБИДА

Истинное происшествие

Был июль, пять часов пополудни и страшная жара. Весь каменный огромный город дышал зноем, точно раскаленная печь. Белые стены домов сияли нестерпимо для глаз. Асфальтовые тротуары размягчились и жгли подошвы. Тени от акаций простерлись по плитяной мостовой, жалкие, измученные, и тоже казались горячими. Бледное от солнечных лучей море лежало неподвижно и тяжело, как мертвое. По улицам носилась белая пыль.

В это время в одном из частных театров, в фойе, заканчивала свою очередную работу небольшая комиссия из местных адвокатов, которая взялась бесплатно вести дела жителей, пострадавших от последнего еврейского погрома. Их было девятнадцать человек, все помощники присяжных поверенных, люди молодые, передовые и добросовестные. Заседание не требовало никакой нарядности, и потому преобладали легкие, пикейные, фланелевые и люстриновые костюмчики. Сидели, где кому пришлось, по двое и по трое, за мраморными столиками, а председатель помещался за пустующим прилавком, где раньше, еще зимой, продавались конфеты.

Зной, лившийся в открытые окна вместе с ослепительным светом и уличным грохотом, совсем изморил

молодых адвокатов. Заседание велось лениво и немного раздраженно.

Высокий молодой человек с белыми усами и редкими волосами на голове, председатель собрания, сладострастно мечтал о том, как он поедет сейчас на новом, только что купленном велосипеде на дачу и как он быстро разденется и, еще не остывший, потный, бросится в чистое, благоуханное, прохладное море. При этих мыслях все его тело расслабленно потягивалось и вздрагивало. В то же время, нетерпеливо передвигая перед собою бумаги, он говорил вялым голосом:

— Итак, господа, дело Рубинчика ведет Иосиф Морицович. Может быть, у кого-нибудь есть еще заявления к порядку дня?

Самый младший товарищ — маленький, толстенький, очень черный и очень живой караим — произнес вполголоса, но так, что его все услышали:

— К порядку дня теперь самое лучшее квас со льдом...

Председатель взглянул на него строго, вбок, но сам не мог удержаться от улыбки. Он уже вздохнул и даже положил обе руки на стол, чтобы подняться и объявить заседание закрытым, как театральный сторож, стоявший у дверей, вдруг отделился от них и сказал:

— Ваше благородие... там пришли каких-то семь. Просют впустить.

Председатель нетерпеливо обежал глазами товарищей.

— Господа, как?

Послышались голоса:

— К следующему заседанию. Баста.

— Пусть изложат письменно...

— Да ведь, если скоро. Решайте поскорее.

— А ну их! Фу ты, господи, какое пекло!

— Пустите их,— раздраженно кивнул головой председатель. — И потом, пожалуйста, принесите мне нарзану! Только холодного, будьте добры.

Сторож открыл дверь и сказал в коридор:

— Пожалуйте. Разрешили.

И вот в фойе, один за другим, вошло семь самых неожиданных, самых неправдоподобных личностей.

Сначала показался некто рослый, самоуверенный, в щегольской сюртучной паре цвета морского песка, в отличном белье — розовом с белыми полосками, с пунцовой розой в петличке. Голова у него, глядя спереди, была похожа формой на стоячий боб, а сбоку — на лежачий. Лицо украшалось крутыми, воинственными толстыми усами и остренькой модной бородкой. На носу темно-синее пенсне, на руках палевые перчатки, в левой руке черная с серебром трость, в правой — голубой носовой платок.

Остальные шестеро производили странное, сумбурное и пестрое впечатление. Точно все они впопыхах перемешали не только одежды, но и руки, и ноги, и головы. Здесь был человек с великолепным профилем римского сенатора, но облаченный почти в лохмотья. Другой носил на себе франтовской фрачный жилет, из-за круглого выреза которого пестрела грязная малорусская рубаха. Здесь были асимметричные лица арестантского типа, но глядевшие с непоколебимой самоуверенностью. И все эти люди, несмотря на видимую молодость, очевидно, обладали большим житейским опытом, развязностью, задором и каким-то скрытым подозрительным лукавством.

Барин в песочном костюме свободно и ловко поклонился головой и сказал полувопросительно:

— Господин председатель?

— Да, это я, —ответил тот. — Что вам угодно?

— Мы, вот все, кого вы перед собою видите,— начал барин спокойным тоном и, обернувшись назад, обвел рукой своих компаньонов, — мы являемся делегатами от соединенной Ростовско-Харьковской и Одесса-Николаевской организации воров.

Юристы зашевелились на своих местах. Председатель откинулся назад и вытаращил глаза.

— Организации кого-о? — спросил он врастяжку.

— Организации воров, — повторил хладнокровно джентльмен в песочном костюме. — Что касается до меня, то мои товарищи сделали мне высокую честь, избрав меня представителем делегации.

— Очень... приятно, — сказал председатель неуверенно.

— Благодарю вас. Все мы семеро суть обыкновенные воры, конечно, разных специальностей. И вот организация уполномочила нас изложить перед вашим почтенным собранием,— джентльмен опять сделал изящный поклон,— нашу почтительную просьбу о помощи.

— Я не понимаю, собственно говоря, какое отношение... — развел руками председатель. — Но, однако, прошу вас, продолжайте.

— Дело, с которым мы имеем смелость и честь обратиться к вам, милостивые государи, — дело очень ясное, очень простое и очень короткое. Оно займет не более шести-семи минут времени, о чем считаю долгом заранее предупредить ввиду позднего времени и тридцати семи градусов, которые показывает Реомюр в тени. — Оратор слегка откашлялся и поглядел на отличные золотые часы. — Видите ли: за последнее время в местных газетах, в отчетах о прискорбных и ужасных днях последнего погрома, довольно часто стали появляться указания на то, что в число погромщиков, науськанных и нанятых полицией, в это отребье общества, состоявшее из пропойц, босяков, сутенеров и окраинных хулиганов, входили также и воры. Сначала мы молчали, но, наконец, сочли себя вынужденными протестовать пред лицом всего интеллигентного общества против такого несправедливого и тяжкого обвинения. Я хорошо знаю, что с законной точки зрения мы — преступники и враги общества. Но вообразите себе хоть на одно мгновение, господа, положение этого врага общества, когда его обвиняют огулом и за то преступление, которого он не только не совершал, но которому готов противиться всеми силами души. Несомненно, ведь несомненно, что обиду от такой несправедливости он почувствует гораздо острее, чем средний, благополучный, нормальный обыватель. Так вот, мы и заявляем, что обвинение, взведенное на нас, лишено всякой не только фактической, но и логической подкладки. Это я и намерен доказать в двух словах, если почтенное собрание соблаговолит меня выслушать.

— Говорите, — сказал председатель.

— Просим, просим, — раздалось среди оживившихся адвокатов.

— Приношу вам мою искреннюю благодарность от лица всех наших товарищей. Поверьте, вы никогда не раскаетесь в вашем внимании к представителям нашей... ну, да, скажем, скользкой, но в то же время несчастной и нелегкой профессии. Итак, мы начинаем, как поет Джиральдони в прологе из «Паяцев».

Кстати, я попрошу у господина председателя позволения немного утолить жажду. Сторож, принеси-ка мне, братец, лимонаду и рюмку английской горькой! Не буду говорить, милостивые государи, о нравственной стороне нашего ремесла и о его социальном значении. Вам, без сомнения, лучше меня известен удивительный, блестящий парадокс Прудона: «Собственность — это воровство», парадокс, как хотите, а все-таки до сих пор не опрокинутый никакими причитаниями трусливых мещан и жирных попов. Пример. Отец — энергичный и умный хищник — скопил миллион и оставляет его сыну, рахитическому, бездеятельному и невежественному балбесу, вырождающемуся идиоту, безмозглому червю, истинному паразиту. Миллион рублей — это в потенциале миллион рабочих дней, а стало быть, — право ни с того ни с сего на труд, пот, кровь и жизнь страшной уймы людей. Зачем? За что? Почему? Совсем неизвестно. Итак, господа, отчего же не согласиться с тем положением, что наша профессия является до известной степени как бы поправкой к чрезмерному накоплению ценностей в одних руках, служит протестом против всех тягостей, мерзостей, произвола, насилия, пренебрежения к человеческой личности, против всех этих уродств, порожденных буржуазно-капиталистическим строем современного общества? Социальная революция рано или поздно все равно перевернет этот порядок. Собственность отойдет в область печальных воспоминаний, и тогда — увы! —сами собой исчезнем с лица земного и мы — les braves chevaliers d'industrie[1].

Оратор остановился и, взяв из рук подошедшего сторожа поднос, поставил его около себя на столик.

— Виноват. Одну минутку. Получи, братец, и кстати,

---

[1] Крупные авантюристы *(франц.)*.

когда отсюда выйдешь, то притвори за собою покрепче дверь.

— Слушаю, ваше сиятельство! — гаркнул радостно сторож.

Оратор отпил полстакана и продолжал:

— Однако в сторону философскую, экономическую и социальную сторону вопроса. Не желая утруждать вашего внимания, я должен, однако, заявить, что наше занятие очень близко подходит к понятию того, что зовется искусством, потому что в него входят все элементы, составляющие искусство: призвание, вдохновение, фантазия, изобретательность, честолюбие и долгий, тяжкий искус науки. В нем — увы! — отсутствует только добродетель, о которой писал с такой блестящей и пламенной увлекательностью великий Карамзин.

Милостивые государи, я далек от мысли буффонить перед таким почтенным собранием или отнимать у вас драгоценное время бесцельными парадоксами. Но не могу не подтвердить хоть кратко мою мысль. Чужому уху нелепо, дико и смешно слышать о воровском призвании. Однако смею вас уверить, что такое призвание существует. Есть люди, которые, обладая особенной силой зрительной памяти, остротой и меткостью глаза, хладнокровием, ловкостью пальцев и в особенности тонким осязанием, как будто бы специально рождены на свет божий для того, чтобы быть прекрасными шулерами. Ремесло карманного вора требует необыкновенной юркости и подвижности, страшной точности движений, не говоря уже о находчивости, наблюдательности, напряженном внимании. У некоторых есть положительное призвание взламывать денежные кассы: от самого нежного детства их влекут к себе тайны всяческих сложных механизмов: велосипедов, швейных машин, заводных игрушек, часов. Наконец, господа юристы, есть люди с наследственной враждой собственности. Вы называете это явление вырождением — как вам угодно. Но я скажу, что истинного вора, вора по призванию, не переманишь в будни честного прозябания никакими пряниками: ни хорошо обеспеченной службой, ни даровыми деньгами, ни женской любовью. Ибо здесь постоянная прелесть риска, увле-

кательная пропасть опасности, замирание сердца, буйный трепет жизни, восторг! Вы вооружены покровительством закона, замками, револьверами, телефонами, полицией, войсками, — мы же только ловкостью, хитростью и смелостью. Мы — лисы, а общество — это курятник, охраняемый собаками. Известно ли вам, что в деревнях самые художественные, самые одаренные натуры идут в конокрады и в браконьеры-охотники? Что делать: жизнь до сих пор была так скудна, так плоска, так невыносимо скучна для пылких сердец!

Но я перехожу к вдохновению. Без сомнения, вам, милостивые государи, приходилось читать о сверхъестественных по своему замыслу и выполнению кражах? Их в газетах, в рубрике происшествий, обыкновенно озаглавливают: «грандиозное хищение», или «гениальная мошенническая проделка», или еще «ловкая проделка аферистов». В этих случаях буржуазные отцы семейства разводят руками и восклицают: «Какое печальное явление! Если бы изобретательность этих отщепенцев, их удивительное знание людской психологии, их самообладание и смелость, их несравненные актерские способности, — если бы все это обратить в добрую сторону! Сколько пользы принесли бы эти люди отечеству!» Но давно известно, милостивые государи, что буржуазные отцы семейств созданы творцом небесным для того, чтобы говорить общие места и пошлости. Мне самому иногда приходится... — что ж, сознаюсь, мы, воры, народ сентиментальный, — приходится где-нибудь в Александровском парке или на морском берегу любоваться прекрасным закатом. И я всегда заранее уверен, что кто-нибудь непременно около меня скажет с апломбом: «А вот, поди, нарисуй так художник, — никто никогда не поверит!» Тогда я оборачиваюсь и, конечно, вижу самодовольного, откормленного отца семейства, который, сказав чужую глупость, радуется на свою собственную. Что же касается до любезного отечества, то буржуазный отец семейства глядит на него, как на жареного индюка: урвал кусок послаще и ешь его потихоньку в укромном месте, и славь бога. Но, собственно, и не в нем дело. Ненависть к пошлости отвлекла меня, и я прошу

прощения за лишние слова. Но дело в том, что гений и вдохновение, хотя бы они были обращены и не на пользу православной церкви, все-таки остаются редкими и прекрасными вещами. Все идет вперед, и в воровстве есть свое творчество.

Наконец наше ремесло вовсе не так уж легко и весело, как это кажется с первого взгляда. Оно требует долговременного опыта, постоянных упражнений, медленной и мучительной тренировки. Оно заключает в себе сотни гибких, осторожных приемов, недоступных самому ловкому фокуснику. Но, не желая быть голословным, я, милостивые государи, сейчас произведу перед вами несколько опытов. Прошу вас быть покойными за исполнителей. Все мы в настоящее время находимся на легальной свободе, и хотя за нами, по обыкновению, следят и нас знают наперечет в лицо, и наши фотографии украшают альбомы всех сыскных отделений, но покамест нам нет надобности скрываться ни от кого. Если же впоследствии вы узнаете кого-либо из нас при иных обстоятельствах, то, пожалуйста, мы вас об этом усиленно просим, поступайте всегда сообразно с тем, что вам велят профессиональный долг и обязанности гражданина. Мы же, в благодарность за ваше внимание, решили объявить вашу частную собственность неприкосновенной, облечь ее воровским табу. Однако к делу.

Обернувшись назад, оратор приказал:

— Сысой Великий, прошу.

Огромный сутуловатый малый, с руками по колени, человек без лба и без шеи, похожий на заспанного ярмарочного геркулеса, выдвинулся вперед. Он тупо улыбался и от смущения почесывал левую бровь.

— Та тут нема чого робить, — сказал он сипло.

Но за него заговорил джентльмен в песочном костюме, обращаясь к собранию:

— Милостивые государи. Перед вами один из почтенных членов нашей организации. По специальности он взламыватель сундуков, железных касс и других хранилищ денежных знаков. Иногда при своих вечерних занятиях он пользуется для расплавки металла электрическим током от осветительных проводов. К со-

жалению, здесь ему не на чем показать лучшие номера своего искусства. Всякую дверь, с самым сложным замком, он отпирает безукоризненно. Кстати, вот эта дверь, должно быть, заперта?

Все обернулись назад к двери, на которой висел печатный плакат: «Вход за кулисы посторонним лицам строго воспрещен».

— Да, эта дверь, по-видимому, заперта, — подтвердил председатель.

— И чудесно. Сысой Великий, будьте любезны.

— Та це ж пустое дило, — сказал великан лениво и пренебрежительно.

Он подошел к двери, потряс ее сначала осторожно рукой, потом вытащил из кармана какой-то маленький блестящий инструмент, сделал им, нагнувшись к замку, несколько почти незаметных движений и вдруг, выпрямившись, распахнул дверь быстро и бесшумно. Председатель следил за ним с часами в руках: все дело заняло не более десяти секунд.

— Благодарю вас, Сысой Великий, — сказал вежливо джентльмен в песочном костюме. — Вы можете идти на место.

Но председатель возразил с некоторой тревогой:

— Виноват. Все это интересно и очень поучительно, но... скажите, входит ли в профессию вашего уважаемого коллеги также и искусство затворять двери?

— Ah, mille pardons![1] — торопливо поклонился джентльмен. — Я упустил это из виду. Сысой Великий, будьте добры...

Дверь была так же ловко и бесшумно заперта. Уважаемый коллега, переваливаясь и усмехаясь, возвратился к своим друзьям.

— Теперь я буду иметь честь показать вам искусство одного нашего товарища, оперирующего по части карманных краж в театрах и на вокзалах, — продолжал оратор. — Он еще чрезвычайно молод, но по его тонкой работе вы можете до известной степени судить о том, что из него выйдет впоследствии при некотором прилежании. Яша!

---

[1] Ах, тысячу извинений! *(франц.)*

Смуглый юноша в синей шелковой рубахе и лакированных сапогах, похожий на цыгана, развязно вышел вперед и остановился около оратора, поигрывая кистями пояса и весело щуря большие, с желтыми белками, наглые черные глаза.

Джентльмен в песочном костюме сказал искательно:

— Господа... я принужден попросить... не согласится ли кто-нибудь... подвергнуть себя маленькому опыту. Уверяю вас, что это будет только пример, так сказать, игра...

Он обводил сидящих глазами. Маленький, толстенький, черный, как жук, караим вышел из-за своего столика.

— К вашим услугам, — сказал он смешливо.

— Яша! — кивнул головой оратор.

Яша подошел вплотную к адвокату. Теперь на левой, согнутой руке висел у него блестящий, шелковый, узорчатый фуляр.

— Ежели, примерно, в церкви, или, скажем, в буфете, в театре, или тоже в цирке... — начал он сладенькой скороговоркой, — сейчас вижу, это идет фрейер... извините, господин, вот хоть бы вы... фрейер — тут ничего нет обидного: просто богатый господин, который приличный и ничего не понимает. Первым долгом: какие могут быть предметы? Предметы самые разнообразные. Обыкновенно сначала часы с чепочкой. Опять-таки — где? Некоторые носят в верхнем кармане жилеточки — вот здесь, некоторые в нижнем — вот тут. Портомонет же почти всегда лежит в брючных карманах. Разве уж какой совсем ёлод положит в пиджак. Затем — порцыгар. Натурально, прежде поглядишь, какой: золотой или серебряный с монограмом, а из кожаного кто же станет мараться, если себя уважаешь? Порцыгар может быть в семи карманах: здесь, здесь, здесь, вот здесь, здесь, там и тут. Не так ли-с? Сообразно с тем и оперируешь.

Говоря таким образом, молодой вор улыбался, блестел глазами прямо в глаза адвокату и быстрыми, ловкими движениями правой руки указывал на разные места в его одежде.

— Опять-таки может обращать внимание и булавочка вот тут-с, в галстучке. Однако мы избегаем присвоять. Теперь такой народ пошел, что редко из мужчин носят настоящие камушки. И вот я подхожу-с. Сейчас обращаюсь по-благовоспитанному: господин, дозвольте прикуриться или еще что-нибудь, одно слово, завожу разговор. Первое дело что? Первым делом гляжу ему прямо в зеньки, вот так, а работают у меня только два пальца: вот этот-с и вот этот-с.

Яша поднял в уровень своего лица два пальца правой руки, указательный и средний, и пошевелил ими.

— Видали? Вот этими двумя пальцами вся музыка и играет. И, главное, ничего тут нет удивительного: раз, два, три — и *готово*! Всякий неглупый человек может весьма легко выучиться. Вот и все-с. Самое обыкновенное дело. Мое почтение-с.

Вор легко повернулся и пошел было на место.

— Яша! — веско и многозначительно произнес джентльмен в песочном костюме. — Я-ша! — повторил он строго.

Яша остановился. Он был спиной к адвокату, но, должно быть, о чем-то красноречиво упрашивал глазами своего представителя, потому что тот хмурил брови и отрицательно тряс головой.

— Яша! — в третий раз с выражением угрозы произнес он.

— Эх! — крякнул досадливо молодой вор и нехотя повернулся опять лицом к адвокату. — А где же ваши часики-то, господин? — произнес он тонким голосом.

— Ах! — схватился караим.

— Вот видите, теперь — ах! — продолжал Яша укоризненно. — Вы все время на мою правую ручку любовались, а я тем временем ваши часики левой ручкой соперировал-с. Вот именно этими двумя пальчиками. Из-под кашны-с. Для того и кашну носим. А как у вас чепка нестоящая, шнурок, должно быть, на память от какой мамзели, а часики золотые, то я чепку вам оставил в знак предмета памяти. Получайте-с, — прибавил он со вздохом, протягивая часы.

— Однако ловко! — сказал смущенный адвокат. — Я и не заметил.

— Тем торгуем, — заметил Яша с гордостью.

Он развязно возвратился к своим товарищам. Оратор между тем отпил из стакана и продолжал:

— Теперь, милостивые государи, следующий из наших сотрудников покажет вам несколько обыкновенных карточных вольтов, которые в ходу на ярмарках, на пароходах и на железных дорогах. С помощью трех карт, например, дамы, туза и шестерки, он весьма удобно... Впрочем, может быть, господа, вас утомили эти опыты?

— Нет, все это крайне интересно, — любезно ответил председатель. — Я бы хотел только спросить, — если, конечно, мой вопрос не покажется вам нескромным, — ваша специальность?

— Моя... гм... нет, отчего же нескромность?.. Я работаю в больших брильянтовых магазинах, а другое мое занятие — банки, — со скромной улыбкой ответил оратор. — Нет, вы не думайте, что мое ремесло легче других. Достаточно того, что я знаю четыре европейских языка: немецкий, французский, английский и итальянский, не считая, понятно, польского, малорусского и еврейского. Так как же, господин председатель, производить ли дальнейшую демонстрацию?

Председатель взглянул на часы.

— К сожалению, у нас слишком мало времени, — сказал он. — Не перейти ли нам лучше к самой сути вашего дела? Тем более что опыты, которых мы были только что свидетелями, в достаточной мере убеждают нас в ловкости ваших почтенных сочленов. Не правда ли, Исаак Абрамович?

— О да, совершенно! — подтвердил с готовностью адвокат-караим...

— И прекрасно, — любезно согласился джентльмен в песочном костюме. — Графчик, — обратился он к курчавому блондину, похожему на маркера в праздник, — спрячьте вашу машинку, она не нужна больше. Мне осталось, господа, всего несколько слов. Теперь, когда вы удостоверились в том, что наше искусство хотя и не пользуется просвещенным покровительством высокопоставленных особ, но оно все-таки — искусство; когда вы, может быть, согласились со мною, что это

искусство требует многих личных качеств, кроме постоянного труда, опасностей и неприятных недоразумений, — вы, надеюсь, поверите также, что к нашему искусству можно пристраститься и — как это ни странно с первого взгляда — любить и уважать его. Теперь представьте себе, что вдруг известному, талантливому поэту, легенды и поэмы которого украшают лучшие наши журналы, вдруг ему предлагают написать в стихах, по три копейки за строчку и притом за полной подписью, рекламу для папирос «Жасмин»? Или кого-нибудь из вас, блестящих и знаменитых адвокатов, вдруг оклеветали в том, что вы промышляете лжесвидетельством по бракоразводным делам или пишете в кабаках прошения к градоначальнику для извозчиков? Конечно, ваши родные, друзья и знакомые не поверят этому, но слух уже отравил вас, и вы переживаете мучительные минуты. А теперь представьте себе, что такая позорная, неизвестно кем пущенная клевета грозит не только вашему доброму имени и спокойному пищеварению, но угрожает вашей свободе, вашему здоровью, даже вашей жизни?

В таком именно положении находимся мы, оклеветанные газетами воры. Я должен оговориться. Существует категория прохвостов — passez moi le mot[1], — которых мы называем маменькиными сынками и с которыми нас — увы! — смешивают. Это люди без стыда и без совести, промотавшаяся шушера, именно маменькины оболтусы, ленивые и неуклюжие дармоеды, неумело проворовавшиеся приказчики. Ему ничего не стоит жить на счет своей любовницы-проститутки, подобно самцу рыбы макрели, которая плавает за самкой и питается ее извержениями; он способен обобрать и обидеть ребенка в темном переулке, чтобы отнять у него три копейки; он убьет спящего и будет пытать старуху. Эти люди — язва нашего ремесла. Для них не существует ни прелестей, ни традиции искусства. Они следят за нами, за настоящими, ловкими ворами, как шакалы за львом. Положим, мне удалось сделать большое дело. Не говоря уже о том, что при продаже

[1] Простите мне это слово *(франц.)*.

вещей или при промене билетов я оставляю в руках ростовщиков до двух третей всей суммы, не говоря даже об обычных подачках неподкупной полиции, — я должен еще уделить некоторую часть каждому из этих паразитов, который хоть мельком, случайно, понаслышке знает о моем деле. Мы их так и называем: мотиенты, от слова «мотя», что значит — половина, испорченное — moitié... своеобразная филология. Я даю только за то, что он знает и может донести. И чаще всего бывает так, что, воспользовавшись своею частью, он все-таки мгновенно бежит в полицию и доносит на меня, чтобы заработать еще пять рублей. Мы, честные воры... да, да, смейтесь, господа, я все-таки говорю: мы, честные воры, презираем этих гадов. У нас есть для них еще одна кличка, позорная, как клеймо, но я не смею ее выговорить здесь из уважения к месту и людям. О да, они услужливо примут приглашение идти на погром; но одна мысль о том, что нас могут смешать с ними, в сто раз обиднее для нас, чем самое обвинение в погроме.

Милостивые государи! До сих пор, пока я говорил, я часто замечал на ваших лицах улыбки. Я понимаю вас: наше присутствие здесь, наше обращение к вашей помощи, наконец самая неожиданность такого явления, как систематическая воровская организация, с делегатами-ворами и уполномоченным от делегации — вором-профессионалом, все это настолько оригинально, что не может не вызвать улыбки. Но теперь я буду говорить от глубины моего сердца. Сбросимте, господа, внешние оболочки. Люди говорят к людям.

Почти все мы грамотны и все любим чтение и читаем не только «Похождения Рокамболя», как пишут о нас наши бытописатели. Или, вы думаете, у нас не обливалось кровью сердце и не горели щеки, как от пощечин, от стыда за все время этой несчастной, позорной, проклятой, подлой войны? И неужели вы думаете, что у нас не пылают души от гнева, когда нашу родину полосуют нагайками, топчут каблуками, расстреливают и плюют на нее дикие, остервенелые люди? Неужели вы не поверите тому, что мы — воры — с трепетом восторга встречаем каждый шаг грядущего освобождения?

Каждый из нас понимает, — разве немногим хуже, чем вы, господа адвокаты, — истинную суть погромов. Каждый раз, после крупной подлости или постыдной неудачи, совершив ли казнь мученика в темном крепостном закоулке, передернув ли на народном доверии, кто-то скрытый, неуловимый пугается народного гнева и отводит его русло на головы неповинных евреев. Какой дьявольский ум изобретает эти погромы — эти гигантские кровесосные банки, эти каннибальские утехи для темных, звериных душ?

Но все мы отлично видим, что наступают последние судороги бюрократии. Простите, я расскажу образно. У одного народа был главный храм, и в нем за занавеской, охраняемой жрецами, обитало кровожадное божество. Ему приносились человеческие жертвы. Но вот однажды смелые руки сорвали завесу, и все тогда увидели, вместо бога, огромного, мохнатого, прожорливого паука, омерзительного спрута. Его бьют, в него стреляют, его уже расчленили на куски, но он все-таки в бешенстве последней агонии простирает по всему древнему храму свои гадкие, цепкие щупальцы. И жрецы, сами приговоренные к смерти, толкают в лапы чудовища всех, кого захватят их дрожащие от ужаса пальцы.

Простите. То, что я сказал, вероятно, несвязно и дико. Но я несколько взволнован. Простите. Я продолжаю. Нам, ворам по профессии, более чем кому-либо другому, известно, как делались эти погромы. Мы толкаемся повсюду: в кабаках, на базарах, в чайных, по ночлежкам, по площадям, в порту. Да, мы, именно мы, можем присягнуть перед богом, перед людьми, перед потомством, что мы видели, как грубо, не стыдясь и почти не прячась, организовала полиция массовые избиения. Мы их всех знаем в лицо — и одетых и переодетых. Они предлагали многим из нас принять участие, но никто из наших не был настолько подл, чтобы дать хоть ложное, хоть вынужденное трусостью согласие.

Вы знаете, конечно, как все слои русского общества относятся к полиции? Ее не уважают даже те, кто питается ее темными услугами. Но мы презираем и не-

навидим ее втрое, в десять раз. И не за то, что многих из нас истязали в сыскных отделениях, в этих настоящих застенках, били смертным боем, били воловьими жилами и гуттаперчевыми палками, чтобы выпытать сознание или заставить предать товарища. Да, конечно, и за то. Но мы, воры, мы все, сидевшие в тюрьме, с безумной страстностью обожаем свободу. И потому-то именно мы и ненавидим тюремщиков всею ненавистью, на которую способно человеческое сердце. Я скажу про себя. Меня трижды истязали полицейские сыщики до полусмерти. У меня отбиты легкие и печень. По утрам я кашляю кровью, пока не отдышусь. Но, если мне скажут, что я, пожав руку самого главного генерала-от-полиции, предотвращу этим такое же четвертое избиение, — я откажусь!

И вот газеты говорят, что из этих рук мы приняли деньги иудины, омоченные свежей человеческой кровью. Нет, господа, это — клевета, колющая нас в самую душу с нестерпимой болью. Ни деньги, ни угрозы, ни обещания не сделают нас наемными братоубийцами или их пособниками.

— Никогда! Нет, нет! — глухо зароптали сзади оратора его товарищи.

— Я скажу больше, — продолжал вор. — Многие из нас во время этого погрома защищали избиваемых. Наш товарищ, носящий кличку Сысой Великий, — вы его только что видели, господа, — квартировал в это время у еврея-шмуклера на Молдаванке. И он отстоял своего хозяина с кочергой в руках против целой орды убийц. Правда, Сысой Великий обладает страшной физической силой, и это хорошо известно многим из обитателей Молдаванки, но все-таки согласитесь, господа, разве Сысой Великий не глядел в эти минуты прямо в лицо смерти? Другой наш товарищ — Мартын Рудокоп — вот этот самый, господа, — оратор указал на державшегося сзади бледного бородатого мужчину с прекрасными темными глазами, — он спас старую незнакомую еврейку, за которой гналась толпа этой рвани. Ему за это пробили голову железом, сломали в двух местах руку и перебили ребро. Он только что из больницы. Вот как поступили наиболее пылкие и силь-

ные духом. Другие дрожали от злости и плакали от бессилия.

Никто из нас не забудет ужасов этих кровавых дней, этих ночей, озаренных пламенем пожаров, этих женских воплей, этих неубранных, истерзанных маленьких детских трупов. Но никто из нас зато и не думает, что полиция и чернь — начало зла. Эти маленькие, глупые, омерзительные зверюшки — они только бессмысленный кулак, управляемый подлым, расчетливым умом, возбуждаемый дьявольской волей...

Да, господа адвокаты, — продолжал оратор, — мы — воры и заслужили ваше законное презрение. Но когда вам, лучшим людям, понадобятся на баррикадах ловкие, смелые, послушные молодчики, которые сумеют весело, с песней и шуткой встретить смерть ради лучшего слова в мире — свобода, — неужели вы из-за застарелой брезгливости оттолкнете, прогоните нас?

Черт возьми! Во время французской революции первой жертвой была проститутка. Она вскочила на баррикаду и, подобрав с шиком платье, крикнула: «Ну-ка, солдаты, кто из вас посмеет выстрелить в женщину?» Да, черт! — воскликнул громко оратор и ударил кулаком по мраморной доске стола. — Ее убили, но, ей-богу, ее жест был великолепен и ее слова бессмертно-прекрасны.

Если вы в великую минуту прогоните нас, мы скажем вам, о незапятнанные херувимы: «А что если человеческие мысли обладали бы способностью ранить, убивать, лишать людей чести и имущества, то кто из вас, о невинные голуби, не заслужил бы кнута и каторги?» И тогда мы уйдем от вас и построим свою собственную веселую, смешную, отчаянную воровскую баррикаду и умрем с таким дружным пением, что вы позавидуете нам, белоснежные!

Впрочем, я опять увлекся. Простите. Кончаю. Вы видите теперь, господа, какие чувства вызвала в нас газетная клевета. Верьте же нашей искренности и сделайте что-нибудь, чтобы снять с нас это кровавое и грязное пятно, так несправедливо нас заклеймившее. Я кончил.

Он отошел от стола и присоединился к своим товарищам. Адвокаты вполголоса о чем-то перешептывались, подобно тому как это делают члены суда на заседаниях. Потом председатель встал и объявил:

— Мы безусловно доверяем вам и приложим все усилия, чтобы очистить имя вашей корпорации от этого тяжелого обвинения. Вместе с тем мои товарищи уполномочили меня выразить вам, господа, наше глубокое уважение за ваши горячие гражданские чувства. Я же, лично с своей стороны, прошу у представителя делегации позволения пожать ему руку.

И эти два человека, оба высокие и серьезные, стиснули друг другу руки крепким, мужским пожатием.

Адвокаты расходились из театра. Но четверо из них замешкались в передней около вешалок: Исаак Абрамович никак не мог отыскать своей новой желтой прекрасной шляпы-панамы. Вместо нее на деревянном колышке висел суконный картуз, лихо приплюснутый с боков.

— Яша!—вдруг послышался снаружи, по ту сторону дверей, строгий голос недавнего оратора. — Яша, я тебе в последний раз говорю, черт бы тебя побрал!.. Слышишь? Ну?..

Тяжелая дверь распахнулась. Вошел джентльмен в песочном костюме. В руках у него была шляпа Исаака Абрамовича; на лице играла милая, светская улыбка.

— Господа! Ради бога простите. Маленькое, смешное недоразумение. Один из наших товарищей совершенно случайно обменил шляпу. Ах, это ваша? Тысячу извинений. Швейцар, что же ты, братец, зеваешь? А? Подай сюда вот эту фуражку. Еще раз простите, господа.

И с любезными поклонами, все с тою же милою улыбкой, он быстро вышел на улицу.

ДЕМИР-КАЯ

Восточная легенда

Ветер упал. Может быть, сегодня нам придется ночевать в море. До берега тридцать верст. Двухмачтовая фелюга лениво покачивается с боку на бок. Мокрые паруса висят.

Белый туман плотно окружил судно. Не видно ни звезд, ни неба, ни моря, ни ночи. Огня мы не зажигаем.

Сеид-Аблы, старый, грязный и босой капитан фелюги, тихим, важным, глубоким голосом рассказывает древнюю историю, которой я верю от всего сердца. Верю потому, что ночь так странно молчалива, потому, что под нами спит невидимое море, и мы, окутанные туманом, плывем медленно в белых густых облаках.

«Звали его Демир-Кая. По-вашему это значит — железная скала. Так называли его за то, что этот человек не ведал ни жалости, ни стыда, ни страха.

Он разбойничал со своей шайкой в окрестностях Стамбула, и в благословенной Фессалии, и в гористой Македонии, и на тучных пастбищах болгарских. Девяносто девять человек погибло от его руки, и в числе том были женщины, старики и дети.

Но вот однажды в горах его окружило сильное войско падишаха — да продлит аллах дни его! Три дня отбивался Демир-Кая, точно волк от стаи собак. На утро четвертого дня он прорвался, но — один. Часть его товарищей погибла во время яростной погони, отсталые же приняли смерть от руки палача в Стамбуле на круглой площади.

Израненный, истекающий кровью, лежал Демир-Кая у костра в неприступной пещере, где его приютили дикие горные пастухи. И вот среди ночи явился к нему светлый ангел с пылающим мечом. Узнал Демир-Кая вестника смерти, посланника неба Азраила, и сказал:

— Да будет воля аллаха! Я готов.

Но ангел сказал:

— Нет, Демир-Кая, час твой еще не пришел. Слушай волю божию. Когда ты встанешь с одра смерти, пойди, выкрой из земли твои сокровища и обрати их в золото. Потом ты пойдешь прямо на восток и будешь идти до тех пор, пока не дойдешь до места, где сходятся семь дорог. Там построишь ты дом с прохладными комнатами, с широкими диванами, с чистой водой в фонтанах для омовений, с едой и питьем для странников, с ароматным кофе и благовонным наргиле для усталых. Зови к себе всех, кто идет и едет мимо, и служи им как последний раб. Пусть твой дом будет их домом, твое золото — их золотом, твой труд — их отдохновением. И знай, что настанет время, когда аллах забудет твои тяжкие грехи и простит тебе кровь детей его.

Но Демир-Кая спросил:

— Какое же знамение даст мне господь, что грехи мои прощены?

И ангел ответил:

— Из костра, что тлеет возле тебя, возьми обгорелую головню, покрытую пеплом, и посади в землю. И когда мертвое дерево оденется корой, пустит ростки и зацветет, то знай — настал час твоего искупления.

Прошло с тех пор двадцать лет. По всей стране падишаха — да продлит аллах дни его! — шла слава о гостинице у семи дорог на пути из Джедды в Смирну. Нищий уходит оттуда с рупиями в дорожной суме,

голодный — сытым, усталый — бодрым, раненый — исцеленным.

Двадцать лет, двадцать долгих лет глядел каждый вечер Демир-Кая на чудесный обрубок дерева, вкопанный во дворе, но он оставался черен и мертв.

Потускнели у Демир-Кая орлиные глаза, согнулся его могучий стан, и волосы на голове его стали белы, как крылья ангела.

Но вот однажды ранним утром услышал он конский топот, и выбежал на дорогу, и увидел всадника, который мчался на взмыленной лошади. Кинулся к нему Демир-Кая, схватил коня под уздцы и молил всадника:

— О брат мой, зайди в дом ко мне, освежи лицо свое водою, подкрепи себя пищей и питьем, услади уста твои сладким благоуханием кальяна.

Но путник крикнул в злобе:

— Пусти меня, старик! пусти!

И плюнул он в лицо Демир-Кая, и ударил его рукояткою бича по голове, и поскакал дальше.

Загорелась в Демир-Кая гордая разбойничья кровь. Поднял он с земли тяжелый камень, и бросил его вслед обидчику, и разбил ему череп. Покачался всадник на седле, схватился за голову, упал на дорожную пыль.

С ужасом в сердце подбежал к нему Демир-Кая и сказал скорбно:

— Брат мой, я убил тебя!

Но умирающий ответил:

— Не ты убил меня, а рука аллаха. Слушай, паша нашего вилайета — жестокий, алчный, несправедливый человек. Мои друзья затеяли против него заговор. Но я прельстился богатой денежной наградой. Я хотел их выдать. И вот, когда я торопился с моим доносом, меня остановил камень, брошенный тобою. Так хочет бог. Прощай.

Удрученный горем, вернулся Демир-Кая в свой двор. Лестница добродетели и раскаяния, по которой он так терпеливо всходил вверх целые двадцать лет, подломилась под ним и рухнула в один короткий миг летнего утра.

В отчаянии поглядел он туда, где взор его привык ежедневно останавливаться на черной, обугленной головне. И вдруг — о, чудо! — он видит, что на его глазах умершее дерево пускает ростки, покрывается почками, одевается благоуханной зеленью и расцветает нежными желтыми цветами.

Тогда упал Демир-Кая и радостно заплакал. Ибо он понял, что великий и всемилостивый аллах в неизреченной премудрости своей простил ему девяносто девять загубленных жизней за смерть предателя».

НА ГЛУХАРЕЙ

Я не могу себе представить, какие ощущения в мире могут сравниться с тем, что испытываешь на глухарной охоте. В ней так много неожиданного, волнующего, таинственного, трудного и прелестного, что этих впечатлений не забудешь никогда в жизни.

Просыпаешься среди темной, безлунной, мартовской ночи и сначала никак не можешь сообразить, где ты находишься. Лежишь на земляном полу подле целой груды раскаленных головешек, по которым то и дело трепетно пробегают последние огненные языки. Бревенчатые стены и низкий бревенчатый потолок больше чем на палец покрыты черной, висящей, как бахрома, сажей. Пространство в половину кубической сажени. Вместо двери — узкое отверстие, сквозь которое глядит ночь, еще более темная, чем эти закоптелые стены.

Но отчаянный храп человека, лежащего по другую сторону костра, живо возвращает память не успевшему еще проснуться как следует сознанию. Мы находимся в старой, заброшенной «угольнице», в самом центре Полесья, в сорока верстах от какого бы то ни было жилья, кроме одиноких лесных сторожек, затерянных среди непроходимой чащи. Нас окружает со всех сторон сплошной вековой бор, равный по величине доброму немецкому княжеству.

Вспоминается весь вчерашний день: ранний торопливый выезд и узкая лесная дорожка, вьющаяся

самыми неожиданными зигзагами между деревьев, — дорожка, по которой умеют пробираться только привычные, крошечные, но сердитые и бойкие полесские лошаденки. Целый день мы то пробирались среди сугробов рыхлого, грязного снега, то вязли в густой грязи, то тряслись и подпрыгивали вместе с телегой по узловатым корневищам, пересекающим дорогу, то на песчаных, уже обсохших пригорках сходили на землю и криками ободряли усталых, потемневших от поту лошадей, то переправлялись мимо снесенных половодьем мостов через неглубокие, но широкие и быстрые, коричневые от грязи, лесные ручьи... Наконец около одной сторожки дорога совсем прекратилась, и мы добрались до угольницы пешком, средь быстро падавших на землю сумерек, по едва заметным тропинкам, злые, голодные, поминутно сбиваясь с дороги и не доверяя друг другу...

Неподвижный, устремленный на меня взгляд заставляет меня обернуться. Мой спутник уже не спит. Он спокойно смотрит на меня сонными, ничего не выражающими глазами и усиленно посасывает потухшую короткую трубку. Увидев, что я уже бодрствую, он языком передвигает трубку в угол рта и произносит глухо:

— Эге!.. Не спите, паныч? А я целую ночь не сплю. Все вас стерегу.

— То-то ты храпел так.

— Ну-ну!.. Я одним ухом сплю, а другим все слушаю... Я хитрый... А ну-ка, паныч, который теперь час будет?

Я смотрю на часы.

— Час без четверти... Может быть, собираться?

Трофим вяло глядит на потухающие уголья, задумчиво чешет затылок, сдвинув шапку совсем на глаза, потом чешет поясницу.

— А что ж! — вдруг восклицает он с неожиданным приливом энергии. — Собираться так собираться. Лучше пойдем себе помаленьку, не будем торопиться...

Сборы наши не занимают много времени. Я стягиваю потуже вокруг талии патронташный ремень и выпрастываю из-под него кверху бока свитки, чтобы дать больше свободы рукам, сильно встряхиваюсь всем

телом, чтобы убедиться, что ничто на мне не бренчит и не болтается, натягиваю кожаные бахилы[1] и крепко обвязываю их повыше колен вокруг ног, а тем временем Трофим дает мне последние наставления, и хотя я их слышал по крайней мере раз десять, я слушаю еще раз со вниманием и новым любопытством.

Трофим Щербатый — казенный лесник, благосклонному вниманию которого меня рекомендовал лесничий — мой родственник, а его непосредственный начальник. Трофим беспечен, груб, немного хвастун и лентяй и втихомолку торгует казенной дичью. Это его отрицательные качества. Но зато он смел, знает лес не хуже любого зверя, прекрасный стрелок и неутомимый охотник. Ко мне он относится покровительственно.

— Сначала глухарь с опаской играет, — наставительно говорит Трофим. — Чок! и замолчал. Сидит себе на суку и во все стороны слушает. Потом опять: чок, чок! — и опять тихо. Уже тут спаси вас господи, паныч, поворохнуться или сучком треснуть — только и услышите, как он крыльями по всему лесу захлопает. Потому что его хоть и называют — глухарь, а нет в целом свете такой чуткой птахи, как он... Потом вдруг как зашипит! Вот тут-то вы уж что есть духу скачите вперед. Изо всей силы... Прыгнули раз с пять — и стой! И — ни мур-мур. Даже не пять, а хоть четыре, аль бы три сначала. И уж сто-ой... опять жди песни. Тут он вскорости опять заиграет: чок-чок... чок-чок... чок-чок... и опять зашипел. Вы опять вперед и опять стой — ожидай песню. Иной глухарь как разойдется, так без передышки песен тридцать сыграет, а вы только знайте себе, скакайте вперед и больше ничего. А потом вдруг замолчит и а-ни-ни, как отрезал. Полчаса, подлец, будет прислушиваться. Ну, уж тут ничего не сделаешь: как стал, так и стой. Ждите. Другой раз в багне[2] по пояс загрузнешь, дрожишь весь, а терпи! Ноги замлеют, спина ноет, руки болят, а все-таки жди... А как он только опять начал играть, так вы, паныч, одну песню

[1] Бахилы — род толстого кожаного чулка. Бахилы выделываются из цельного куска кожи и потому совершенно не пропускают воды. *(Прим. автора.)*

[2] Багно — вязкое болото. *(Прим. автора.)*

пропустите. Бывают из них такие прохвосты, что стрельца обдуривают. Это харкуны называются. Зачокает, зачокает... ты — скок, а он и замолчал. Подождет немного и давай харкать: хрр... хрр... Это он другим глухарям весть подает: берегись, говорит, стрелец идет. И уж если где такой харкун завелся — все токовище ни к чертову батьку не годится. Только и знает, холера, что сидит на суку да сторожит, не идет ли кто.

Мы подымаемся по трем земляным ступенькам, вылезаем сквозь узкое отверстие, боком, из угольницы и сразу попадаем в такую глубокую темень, что кажется, будто нас внезапно окунули в какую-то гигантскую чернильницу. Я остановился вновь в нерешительности, почти в страхе. Чтобы обмануть себя, я нарочно на несколько секунд закрываю глаза и потом быстро раскрываю их. Нет! — ночь по-прежнему черна и непроницаема до жуткости. Я подымаю голову вверх. Но на небе нет ни одной звезды, и у меня вдруг мелькает мистическая, тревожная мысль: неужели все живущее осуждено погрузиться после смерти в такой же непобедимый, вечный, ужасный мрак?

— Ну, что же вы, паныч? Идите за мной, — слышу я где-то впереди себя глухой голос Щербатого.

И я иду, прислушиваясь к его шагам, боязливо простирая перед собой руки и осторожно ощупывая ногами почву. Меня ни на секунду не покидает ожидание, что вот-вот я наткнусь лицом на острый сучок, и от этого ожидания я испытываю в глазах странную, тупую боль, точно кто-то сильно давит на них изнутри.

Мы идем без дороги, прямиком. Ноги по колено без всякого усилия входят в жидкий, как кашица, зернистый, холодный снег, под которым при каждом шаге громко хлюпает вода. То мы идем по сплошной грязи, с трудом вытаскивая из нее ноги, иногда взбираемся на сухие и твердые пригорки, иногда шагаем по мшистым кочкам, подающимся мягко и упруго вниз, когда на них ступаешь. Но где мы? Куда мы идем? — я не знаю. Я с первых же шагов перестал ориентироваться, и теперь наше шествие представляется мне чем-то нелепым, тяжелым и фантастическим, как кошмар. Порою ветки каких-то деревьев хлещут меня по лицу и

цепляются, точно невидимые длинные руки, за мои плечи. Порою прямо передо мной, в аршине от моего лица, вдруг вырастает черный толстый ствол дерева. Я останавливаюсь, отшатываюсь в испуге и протягиваю вперед руки... но пальцы мои встречают все тот же непроницаемый для глаз, пропитанный тьмою воздух.

— Идите, идите, панич, — ободряет меня Щербатый. — Тут недалеко... всего полторы версты... Можно бы было... О черт!..

Я слышу, как он падает куда-то вниз, ломая сухой валежник, и как потом его тело с размаху бултыхает в воду. Мной овладевает дикий, эгоистический страх и какая-то растерянная, беспомощная, тоскливая озлобленность. Мне кажется, что, если я сделаю еще хоть один шаг среди этой грозной темноты, я тоже полечу в глубокую, холодную и грязную трясину.

— В яму угодил! — говорит откуда-то снизу Щербатый, и я слышу, как он, вылезая, отфыркивается и топчется ногами по грязи. — Держитесь левее, панич, левее... Идите на меня... вот так... И как это я в нее так ловко нацелился? Ведь, кажись, добре знаю. В эту самую яму в позапрошлом году лось попал, весною. Так и подох в ней, не мог выкарабкаться...

Его спокойствие передается и мне, и опять я бреду, ощупывая, как слепец, руками воздух и прислушиваясь к шагам лесника.

— Много ли осталось, Трофим?

— Осталось? Да еще с версту будет. Нет, не будет с версту... Меньше... Будет еще с три четверти.

Чтобы обмануть свое нетерпение, я начинаю считать шаги. «Отсчитаю хоть пятьсот шагов, — думаю я, — тогда уж самые пустяки останутся». И я уже успеваю насчитать более двухсот, как вдруг наталкиваюсь на спину остановившегося Щербатого.

— Чего ты стал, Трофим?

— Тут полегче надо, панич. Будем речонку переходить.

Я слышу, как быстро текущая вода бурлит и плещется вокруг Трофимовых сапог, и тотчас же чувствую, что и я сам постепенно вхожу в воду, которая упруго и яростно бьется о мои ноги. Разлившаяся лесная ре-

чонка неглубока, но она так стремительно несется вниз по крутому косогору, что я принужден волочить ноги по дну из опасения быть сбитым течением. По временам я попадаю на более глубокие места и каждый раз, внезапно погружаясь в них, чувствую, как у меня от испуга дыхание пересекается быстрым и коротким вздохом. Мне немного жутко, потому что самой воды я в темноте не вижу, но со всех сторон, далеко вокруг себя, я слышу ее торопливое журчанье, таинственные всплески и гневный ропот...

Наконец мы выходим на плотный, упругий песчаный берег. Я только теперь замечаю, что ночь немного посветлела, — замечаю по тому, что смутно вижу спину шагающего впереди Трофима и неясные очертания сосен. Трофим на ходу поворачивает ко мне голову и шепчет:

— Ну, паныч, идите потихоньку, не шумите. Сейчас придем на токовище. «Он» еще с вечера уселся на место, а теперь проснулся и слушает...

— А скоро он начнет? — спрашиваю я также шепотом.

— Тсс... тихонько!.. Сперва журавли заиграют.

Теперь мы подвигаемся медленно, шаг за шагом. Под ногами у нас узенькая лесная тропинка, обледенелая и скользкая. Трофим идет совсем бесшумно в своих легких лыковых постолах, но я то и дело наступаю на какие-то веточки и сучки, и мне кажется, что их треск оглушительно разносится по всему лесу.

Трофим останавливается и, не оборачиваясь, подзывает меня к себе рукою. Я подхожу. Он наклоняется к моему уху и шепчет так тихо, что я с трудом разбираю слова:

— Здесь станем. Не ворошитесь, паныч.

Ночь побледнела еще больше. От земли поднялся густой туман. Я слышу его влажное прикосновение на своем лице, слышу его сырой запах. На его седом фоне ближайшие сосны однотонно плоско и неясно вырисовываются своими прямыми, голыми стволами. В их неподвижности среди этой глубокой тишины, среди этого холодного, мокрого тумана чувствуется что-то суровое, сознательно печальное и покорное.

Я не знаю, сколько прошло времени, может быть пять минут, может быть полчаса. Внезапно мой слух поражается такими странными звуками, что я невольно вздрагиваю от неожиданности. Это какие-то высокие, необыкновенно звучные и гармоничные стоны, издаваемые целыми десятками голосов. Я никак не могу определить, откуда они несутся: справа, слева, спереди или сзади? Они торопятся, вторят друг другу, перегоняют друг друга, сплетаются и вновь расходятся, образуя своеобразный размер и оригинальную мелодию, и разбуженный лес откликается на нее звонким и чистым отзвуком.

— Журавли! — еле слышно произносит Трофим.

— Уу-рлы, урлу-рлы, урлу-рлы, — стонет по всему лесу невидимый хор, и едва только он замолкает, как в ответ ему откуда-то с противоположного конца леса раздаются такие же гармонические стоны другого стада проснувшихся журавлей, потом отзывается третье стадо, за ним четвертое... Эта утренняя перекличка служит сигналом для всего леса. Заяц начинает вопить своим дрожащим, гнусавым и прерывающимся сопрано, где-то близко около нас чуфыкнул задорно и резко тетерев, сова расхохоталась на верхушке высокого дерева... И опять все стихает, погружается в прежнюю чуткую дремоту, и опять мы стоим молча и неподвижно и, еле дыша и теряя счет времени, подслушиваем тайны леса.

Вдруг Трофим встрепенулся, вытянул шею, подался вперед всем туловищем и так и замер в напряженной выжидательной позе. Очевидно, его изощренный слух уловил какие-то отдаленные, слабые звуки, но я, как ни прислушивался, как ни насиловал свое внимание, ничего не мог различить, кроме непрерывного глухого шума, раздававшегося у меня в ушах.

— Играет! — прошептал Трофим. — Слышите?

— Нет.

— Все равно, идите за мной. Как я скокну, так и вы. Нога в ногу... А как услышите совсем хорошо, тогда скажите... я тогда от вас отстану... О! Чуете? Опять заиграл.

Но я по-прежнему ничего не слыхал. Вдруг Трофим, точно подброшенный сильной пружиной, сорвался с места, сделал три огромных прыжка прямо по глубокому снегу и остановился, точно окаменелый. Я не мог поспеть за ним и пропустил лишний шаг.

Трофим молча повернулся ко мне и с исказившимся, злым и взволнованным лицом погрозил мне пальцем.

Через минуту пружина опять бросила его вперед. Теперь я изловчился и, попадая ногами как раз в те самые места, которые только что оставляли ноги Трофима, успел остановиться вместе с ним. Трофим одобрительно кивнул головой.

Мы сделали таким образом около двадцати перебежек, когда я, наконец, расслышал играющего глухаря. Это были сухие, отрывистые звуки с металлическим оттенком, похожие на то, как если бы кто щелкал ногтем по пустой жестяной коробке. Они следовали друг за другом попарно, сначала очень редко, с интервалом в несколько секунд, но потом повторялись все чаще и чаще, пока не переходили в мелкую, сливающуюся дробь. В этот момент мы с Трофимом стремглав бросились вперед, высоко вскидывая ноги и разбрасывая вокруг себя жидкий снег.

— Трофим, — шепнул я, дернув за рукав лесника. — Теперь я...

Но он грубо вырвал у меня руку и укоризненно замотал головой. И только тогда, когда глухарь опять зачастил и перешел в дробь, Трофим резко обернулся ко мне и закричал:

— Можно говорить только под песню. Постойте!

Дождавшись еще одной дроби, он прибавил так же громко и торопливо:

— Помните: целься под песню, заряжай под песню, стреляй под песню...

Наконец во время третьей дроби он сказал уже более спокойно:

— Захотите кашлять — ждите песню. Ну... идите.

Глухарь тотчас же заиграл в четвертый раз. Я ринулся вперед. В то же время побежал и Трофим, но не за мной, а в противоположную сторону. Таким обра-

зом, в пять перебежек мы потеряли друг друга, и я остался один.

У меня так сильно колотилось сердце и так дрожали ноги, что я решился пропустить несколько песен, чтобы оправиться. Тут я расслышал совершенно ясно и второе колено. Чистая дробь незаметно и быстро переходит в сплошной жесткий и резкий звук, похожий скорее на скрежет, чем на шипенье, и напоминающий звук, происходящий от трения двух металлических поверхностей. Этот скрежет продолжается недолго — секунды четыре, — но зато в эти секунды глухарь абсолютно ничего не видит и не слышит, потому что плотно зажмуривает глаза, а уши у него герметически закупориваются отростками челюстных костей. В эти секунды можно выпалить из пушки в расстоянии четверти аршина от его головы: он не обратит на выстрел никакого внимания и все-таки докончит свое колено. Уже много времени спустя я узнал, что все эти звуки глухарь производит своим кривым и твердым клювом. Глухарь — единственная птица, у которой нет языка, но зато огромная полость его рта представляет собою прекраснейший резонатор. Начиная песню, он ударяет верхнею частью клюва о нижнюю. Ударит и прислушается. Потом еще ударит и еще прислушается, и ударяет все чаще и чаще, пока не переходит в дробь. Тогда глухарь уже не в силах остановиться. В диком любовном экстазе он трет одной челюстью о другую, ожесточенно скрежещет ими и забывает в эти мгновения об опасности, и о многочисленных врагах, и о мудром благоразумии, и решительно обо всем на свете.

В то время, когда я отдыхал, глухарь вдруг перестал играть и молчал, должно быть, минут с десять. Потом он чокнул один раз, но — тихо, осторожно, как будто бы нехотя, и опять замолчал на несколько минут, затем чокнул другой раз, уже сильнее и громче, еще немного погодя чокнул два раза, затем опять два, зачастил, заторопился и, будучи не в силах остановиться, перешел во второе колено. Согласно наставлению Щербатого я пропустил первую песню. Глухарь тотчас же, почти без перерыва, заиграл вторую, и я побежал вперед.

Ровная покатость, по которой мне до сих пор приходилось бежать, перешла в низменное водянистое болото, поросшее редким сосновым лесом. Изредка попадалась редкая ольха и осина и приземистые кусты можжевельника. Одинокие кочки, покрытые мягким мохом и брусникой, торчали кое-где из-под тонкого и хрупкого утреннего ледка, затянувшего за ночь болото. Мне не всегда удавалось попадать ногами на эти кочки, и я обрывался, уходя в грязь по пояс. Бахилы мои налились водою и страшно отяжелели. Один раз, вытаскивая ноги из болота, я не удержал равновесия и, пробив телом тонкий лед, упал ничком прямо в вязкую и холодную гущу. Однако у меня хватило мужества лежать в таком неудобном положении, чтобы не всполошить глухаря. Я лежал и слышал, как надо мною булькают подымающиеся из болота пузырьки, чувствовал, как вонючая влага медленно просачивается за борт и в рукава моей свитки... К счастью, глухарь недолго испытывал мое терпение. Когда он заиграл, я быстро вскочил и утвердился на кочке. В следующую песню я побежал дальше.

С каждой перебежкой песня становилась все яснее и яснее. Теперь я не только слышал хорошо оба колена, но даже различал между ними какой-то новый странный звук, какое-то глухое и быстрое фырканье. Наконец я остановился. Я слышал, что глухарь играет где-то совсем близко, над самой моей головой, на одной из шести или семи сосен, обступивших почти правильным кругом кочку, на которой я стоял. Под песню я поднял голову вверх и стал жадно всматриваться в густые шапки сосен. Но или ночь была еще слишком темна, или мой глаз недостаточно зорок,— я ничего не различал в этих черных массах перепутавшихся ветвей.

А глухарь все играл и играл не переставая одну песнь за другой. Он так разгорячился, что окончательно забыл об осторожности: он уже не чокал, а начинал прямо с дроби, и едва окончив одну песню, тотчас же принимался за другую. Никогда в жизни, ни раньше, ни впоследствии, не слыхал я ничего более странного, загадочного и волнующего, чем эти металлические, жесткие звуки. В них чувствуется что-то допотопное,

что-то принадлежащее давно исчезнувшим формациям, когда птицы и звери чудовищного вида перекликались страшными голосами в таинственных первобытных лесах...

Мне показалось, что в ветвях ближайшего дерева шевельнулось что-то черное. Это «что-то» могло быть и сучком и птицей, но мое воображение уверило меня, что это глухарь. Выждав песню, я дрожащими руками взвел курок и прицелился... Ноги у меня тряслись от волнения, а сердце так колотилось в груди, что стук его, казалось, разносился по всему лесу.

Глухарь заиграл снова. Я потянул собачку. Как загремел, как загрохотал после моего выстрела проснувшийся лес!.. По всей его громадной площади пронеслось эхо, разбиваясь о деревья на тысячи медленно стихающих отзвуков, и еще долго-долго глухо гудело и рокотало оно где-то далеко на опушке... С дерева дождем посыпалась сбитая выстрелом хвоя. Должно быть, она обсыпала и глухаря, потому что он на несколько секунд прекратил песню, но потом, точно рассердившись на внезапную помеху, заиграл с новым ожесточением.

Тотчас же после своего выстрела я услышал сзади себя, в очень далеком расстоянии, выстрел Трофимовой шестилинейной одностволки — характерный, долгий, глухой, подобный пушечному, выстрел. «Этот-то уж наверно не промахнулся», — подумал я и почувствовал, что в сердце моем шевельнулась охотничья зависть.

Рассвет близился. В воздухе стало холоднее и сырее. Опять прокричали журавли, и опять отозвались на их крик лесные обитатели: звонко затрещала желна, меланхолически застонала горлица, где-то послышалось робкое и нежное болботание тетерева, пичужки с легким писком завозились в кустах.

А я все стоял, не решаясь стрелять в другой раз, и мной уже начинали овладевать скука и утомление. Вдруг со стороны Трофима раздался второй выстрел. Что-то шевельнулось вверху над моей головой. Я поднял глаза и почти в том самом месте, куда только что стрелял, совершенно отчетливо увидел глухаря.

От меня до него по прямому направлению было не больше десяти — пятнадцати шагов, но он мне показался величиною с домашнего голубя. Играя песню, он то вытягивал вперед, то опять втягивал шею, точь-в-точь, как это делает кричащий индюк, а переходя ко второму колену, он весь поворачивался на суку, опускал вниз крылья и с шумом разворачивал веером хвост (этот-то шум, похожий на фырканье, я и услышал раньше, не понимая его значения). Во всех его движениях было что-то напыщенное, глубоко важное и комическое.

На этот раз я не промахнулся. Глухарь, как камень, свалился вниз, брякнувшись глухо и плотно о землю. Я подбежал к нему. Он был жив и судорожно бился и подпрыгивал по земле, яростно хлопая могучими крыльями. Однако страдания его не были продолжительны. Он упал спиной в мелкую лужицу и уже не мог больше подняться. Несколько раз его шея быстро поднялась из воды и опустилась, потом по ногам пробежала мелкая, частая дрожь, и все было кончено.

Я поднял его. В нем было фунтов около пятнадцати весу, а величиной он равнялся среднего роста индюку. Шея и живот — черные, спина светло-коричневая, с седоватыми пятнами, брови красные, бархатистого оттенка, лапы в серых штаниках, а пальцы их покрыты костяной бахромой, глаз круглый, коричневый, с большим круглым и черным зрачком.

Скоро я услышал голос звавшего меня Трофима, и мы сошлись с ним на прежней тропинке. За спиной у него было два глухаря, которых он связал между собою, продев сквозь их клювы веревку.

— Я хитрый, — говорил он хвастливо. — Я как подошел к своему петуху, так слышу, что зараз и другой прилетел, да близенько так, всего каких тридцать шагов... и давай они оба играть. Ну, думаю, если своего убью, так другой заслышит и улетит. Так я что сделал! Прицелился в своего, да и жду, когда другой заиграет. Тот как заиграл, я сейчас — бах! — и есть. И сейчас к другому — раз! — и готово. Вот как у нас, паныч!..

Потом он взвесил моего глухаря на руке и похвалил:

— Петух хороший... Добрый петух... Ну, с полем вас, паныч!

Когда мы возвращались обратно, лес совсем проснулся и ожил и весь наполнился птичьим радостным гомоном. Пахло весной, талой землею и прошлогодним прелым листом. Голубое небо было так прохладно, чисто и весело, а верхушки сосен, точно осыпанные золотой пылью, уже грелись в первых лучах весеннего солнца.

КАК Я БЫЛ АКТЕРОМ

Эту печальную и смешную историю — более печальную, чем смешную, — рассказывал мне как-то один приятель, человек, проведший самую пеструю жизнь, бывавший, что называется, и на коне и под конем, но вовсе не утративший под хлыстом судьбы ни сердечной доброты, ни ясности духа. Лишь одна эта история отразилась на нем несколько странным образом: после нее он раз навсегда перестал ходить в театр и до сих пор не ходит, как бы его ни уговаривали.

Я постараюсь передать рассказ моего приятеля, хотя и боюсь, что мне не удастся это сделать в той простой форме, с той мягкой и грустной насмешкой, как я его слышал.

I

Ну, вот... Представляете ли вы себе скверный южный уездный городишко? Посредине этакая огромная колдобина, где окрестные хохлы, по пояс в грязи, продают с телег огурцы и картофель. Это базар. С одной его стороны собор и, конечно, Соборная улица, с другой — городской сквер, с третьей — каменные городские ряды, у которых желтая штукатурка облупилась, а на крыше и на карнизах сидят голуби; наконец, с четвертой стороны впадает главная улица, с отделением какого-то банка, с почтовой конторой, с нотариу-

сом и с парикмахером Теодором из Москвы. В окрестностях города, в разных там Засельях, Замостьях, Заречьях, был расквартирован пехотный полк, в центре города стоял драгунский. В городском сквере возвышался летний театр. Вот и все.

Впрочем, надо еще прибавить, что и самый город с его думой и реальным училищем, а также сквер, и театр, и мостовая на главной улице — все это существует благодаря щедротам местного миллионера и сахарозаводчика Харитоненко.

II

Как я попал туда — длинная история. Скажу вкратце. Я должен был встретиться в этом городке с одним моим другом, с настоящим, царство ему небесное, истинным другом, у которого, однако же, была жена, которая, по обыкновению всех жен наших *истинных* друзей, терпеть меня не могла. И у него и у меня было по нескольку тысяч, скопленных тяжелым трудом: он, видите ли, служил много лет педагогом и в то же время страховым инспектором, а я целый год счастливо играл в карты. Однажды мы с ним набрели на весьма выгодное предприятие с южным барашком и решили рискнуть. Я поехал вперед, он должен был приехать двумя-тремя днями позже. Так как мое ротозейство было уже давно известно, то общие деньги хранились у него, хотя в разных пакетах, ибо мой друг был человек аккуратности немецкой.

И вот начинается град несчастий. В Харькове на вокзале, пока я ел холодную осетрину, соус провансаль, у меня вытащили из кармана бумажник. Приезжаю в С. (это тот самый городишко, о котором идет речь) с той мелочью, что была у меня в кошельке, и с тощим, но хорошим желто-красным английским чемоданом. Останавливаюсь в гостинице — конечно Петербургской — и начинаю посылать телеграмму за телеграммой. Гробовое молчание. Да, да, именно гробовое, потому что в тот самый час, когда вор тащил мой бумажник — представьте, какие шутки шутит судьба! —

в этот час мой друг и компаньон умер от паралича сердца, сидя на извозчике. Все его вещи и деньги были опечатаны, и по каким-то дурацким причинам эта волокита с судейскими чинами продолжалась полтора месяца. Знала ли убитая горем вдова, или не знала о моих деньгах — мне неизвестно. Однако телеграммы мои она все получила до одной, но молчала упорно, молчала из мелочной, ревнивой и глупой женской мести. Впрочем, эти телеграммы сослужили мне впоследствии большую пользу. Уже по снятии печатей совсем незнакомый мне человек, присяжный поверенный, ведший дело о вводе в наследство, обратил случайно на них внимание, пристыдил вдову и на свой страх перевел мне прямо на театр пятьсот рублей. Да и то сказать — это были не телеграммы, а трагические вопли моей души по двадцати и по тридцати слов.

III

Итак, я сижу в Петербургской гостинице уже десятый день. Вопли души совершенно истощили мое портмоне. Хозяин — мрачный, заспанный, лохматый хохол с лицом убийцы — уже давно не верит ни одному моему слову. Я ему показываю некоторые письма и бумаги, из которых он мог бы и т. д., но он пренебрежительно отворачивает лицо и сопит. Под конец мне приносят обедать, точно Ивану Александровичу Хлестакову: «Хозяин сказал, что это в последний раз...»

И вот наступил день, когда в моем кармане остался один сиротливый, позеленелый двугривенный. В это утро хозяин грубо сказал мне, что ни кормить меня, ни держать больше не станет, а пойдет к господину приставу и пожалится. По тону его я понял, что этот человек решился на все.

Я вышел из гостиницы и весь день блуждал по городу. Помню, заходил я в какую-то транспортную контору и еще куда-то просить места. Понятно, мне отказали с первого же слова. Иногда я присаживался на одну из зеленых скамеек, что стояли вдоль тротуара главной улицы, между высокими пирамидальными

тополями. Голова у меня кружилась, меня тошнило от голода. Но ни на секунду мысль о самоубийстве не приходила мне в голову. Сколько, сколько раз в моей путаной жизни бывал я на краю этих мыслей, но, глядишь, прошел год, иногда месяц, а то и просто десять минут, и вдруг все изменилось, все опять пошло удачно, весело, хорошо... И в этот день, бродя по жаркому, скучному городу, я только говорил самому себе: «Да-с, дорогой Павел Андреевич, попали мы с вами в переплет».

Хотелось есть. Но по какому-то тайному предчувствию я все берег мои двадцать копеек. Уже вечерело, когда я увидел на заборе красную афишу. Мне все равно нечего было делать. Я машинально подошел и прочитал, что сегодня в городском саду дают трагедию Гуцкова «Уриэль Акоста» при участии таких-то и таких-то. Два имени были напечатаны большим черным шрифтом: артистка петербургских театров г-жа Андросова и известный харьковский артист г. Лара-Ларский; другие были помельче: г-жи Вологодская, Медведева, Струнина-Дольская, гг. Тимофеев-Сумской, Акименко, Самойленко, Нелюбов-Ольгин, Духовской. Наконец самым меньшим набором стояло: Петров, Сергеев, Сидоров, Григорьев, Николаев и др. Режиссер г. Самойленко. Директор-распорядитель г. Валерьянов.

На меня снизошло внезапное, вдохновенное, отчаянное решение. Я быстро перебежал напротив, к парикмахеру Теодору из Москвы, и на последний двугривенный велел сбрить себе усы и остренькую бородку. Боже праведный! Что за угрюмое, босое лицо взглянуло на меня из зеркала! Я не хотел верить своим глазам. Вместо тридцатилетнего мужчины не слишком красивой, но во всяком случае порядочной наружности, там, в зеркале, напротив меня, сидел, обвязанный по горло парикмахерской простыней, — старый, прожженный, заматерелый провинциальный комик, со следами всяческих пороков на лице и к тому же явно нетрезвый.

— В нашем театре будете служить? — спросил меня парикмахерский подмастерье, отрясая простыню.

— Да! — ответил я гордо. — Получи!

IV

По дороге к городскому саду я размышлял:

«Нет худа без добра. Они сразу увидят во мне старого, опытного воробья. В таких маленьких летних театриках каждый лишний человек полезен. Буду на первый раз скромен... рублей пятьдесят... ну, сорок в месяц. Будущее покажет... Попрошу аванс... рублей в двадцать... нет, это много... рублей в десять... Первым делом пошлю потрясающую телеграмму... пятью пять — двадцать пять, да ноль — два с полтиной, да пятнадцать за подачу — два рубля шестьдесят пять... На остальные как-нибудь продержусь, пока не приедет Илья... Если они захотят испытать меня... ну что ж... я им произнесу что-нибудь... вот хотя бы монолог Пимена».

И я начал вслух, вполголоса, торжественным утробным тоном:

Еще одно-о после-еднее сказа-анье.

Прохожий отскочил от меня в испуге. Я сконфузился и крякнул. Но я уже подходил к городскому саду. Там играл военный оркестр, по дорожкам, шаркая ногами, ходили тоненькие местные барышни в розовом и голубом, без шляпок, а за ними увивались с непринужденным смехом, заложив руку за борт кителя, с белыми фуражками набекрень, местные писцы, телеграфисты и акцизники.

Ворота были открыты настежь. Я вошел. Кто-то пригласил меня получить из кассы билет, но я спросил небрежно: где здесь распорядитель, господин Валерьянов? Мне тотчас же указали на двух бритых молодых господ, сидевших неподалеку от входа на скамейке. Я подошел и остановился в двух шагах.

Они не замечали меня, занятые разговором, но я успел рассмотреть их: один, в легкой панаме и в светлом фланелевом костюме с синими полосками, имел притворно-благородный вид и гордый профиль первого любовника и слегка поигрывал тросточкой; другой, в серенькой одежде, был необыкновенно длинноног и длиннорук, ноги у него как будто бы начинались от

середины груди, и руки, вероятно, висели ниже колен, — благодаря этому, сидя, он представлял собою причудливую ломаную линию, которую, впрочем, легко изобразить при помощи складного аршина. Голова у него была очень мала, лицо в веснушках и живые черные глаза.

Я скромно откашлялся. Они оба повернулись ко мне.

— Могу я видеть господина Валерьянова? — спросил я ласково.

— Это я, — ответил рябой, — что вам угодно?

— Видите ли, я хотел... — у меня что-то запершило в горле, — я хотел предложить вам мои услуги в качестве... в качестве, там, второго комика, или... вот.. третьего простака... Также и характерные...

Первый любовник встал и удалился, насвистывая и помахивая тросточкой.

— А вы где раньше служили? — спросил господин Валерьянов.

Я только один раз был на сцене, когда играл Макарку в любительском спектакле, но я судорожно напряг воображение и ответил:

— Собственно, ни в одной солидной антрепризе, как, например, ваша, я до сих пор не служил... Но мне приходилось играть в маленьких труппах в Юго-Западном крае... Они так же быстро распадались, как и создавались... например, Маринич... Соколовский... и еще там другие...

— Слушайте, а вы не пьете? — вдруг огорошил меня господин Валерьянов.

— Нет, — ответил я без запинки. — Иногда перед обедом или в компании, но совсем умеренно.

Господин Валерьянов поглядел, щуря свои черные глаза на песок, подумал и сказал:

— Ну хорошо... я беру вас. Пока что двадцать пять рублей в месяц, а там посмотрим. Да, может быть, вы и сегодня будете нужны. Идите на сцену и спросите помощника режиссера Духовского. Он вас представит режиссеру.

Я пошел на сцену и дорогой думал: почему он не спросил моей театральной фамилии? Вероятно, забыл?

А может быть, просто догадался, что у меня никакой фамилии нет? Но на всякий случай я тут же по пути изобрел себе фамилию — не особенно громкую, простую и красивую — Осинин.

V

За кулисами я разыскал Духовского — вертлявого мальчугана с испитым воровским лицом. Он в свою очередь представил меня режиссеру Самойленке. Режиссер играл сегодня в пьесе какую-то героическую роль и потому был в театральных золотых латах, в ботфортах и в гриме молодого любовника. Однако сквозь эту оболочку я успел разобрать, что Самойленко толст, что лицо у него совершенно кругло, и на этом лице два маленьких острых глаза и рот, сложенный в вечную баранью улыбку. Меня он принял надменно и руки мне не подал. Я уже хотел отойти от него, как он сказал:

— Постойте-ка... как вас?.. Я не расслышал фамилии...

— Васильев! — услужливо подскочил Духовской.

Я смутился, хотел поправить ошибку, но было уже поздно.

— Вы вот что, Васильев... Вы сегодня не уходите... Духовской, скажите портному, чтобы Васильеву дали куту.

Таким-то образом из Осинина я и сделался Васильевым и остался им до самого конца моей сценической деятельности, в ряду с Петровым, Ивановым, Николаевым, Григорьевым, Сидоровым и др. Неопытный актер — я лишь спустя неделю догадался, что среди этих громких имен лишь одно мое прикрывало реальное лицо. Проклятое созвучие погубило меня!

Пришел портной — тощий, хромой человек, надел на меня черный коленкоровый длинный саван с рукавами и заметал его сверху донизу. Потом пришел парикмахер. Я в нем узнал того самого подмастерья от Теодора, который только что меня брил, и мы дружелюбно улыбнулись друг другу. Парикмахер надел на мою голову черный парик с пейсами. Духовской вбежал

в уборную и крикнул: «Васильев, гримируйтесь же!» Я сунул палец в какую-то краску, но сосед слева, суровый мужчина с глубокомысленным лбом, оборвал меня:

— Разве не видите, что лезете в чужой ящик? Вот общие краски.

Я увидел большой ящик с ячейками, наполненными смешавшимися грязными красками. Я был, как в чаду. Хорошо было Духовскому кричать: «Гримируйтесь!» А как это делается? Но я мужественно провел вдоль носа белую черту и сразу стал похож на клоуна. Потом навел себе жестокие брови. Сделал под глазами синяки. Потом подумал: что бы мне еще сделать? Прищурился и устроил между бровей две вертикальные морщины. Теперь я походил на предводителя команчей.

— Васильев, приготовьтесь! — крикнули сверху.

Я поднялся из уборной и подошел к полотняным сквозящим дверям задней стенки. Меня ждал Духовской.

— Сейчас вам выходить. Фу, черт, на кого вы похожи! Как только скажут: «Нет, он вернется» — идите! Войдете и скажете... — Он назвал какое-то имя собственное, которое я теперь забыл: — «Такой-то требует свиданья...» — и назад. Поняли?

— Да.

«...Нет, он вернется!» — слышу я и, оттолкнув Духовского, стремлюсь на сцену. Черт его побери, как зовут этого человека? Секунда, другая молчания... Зрительная зала — точно черная шевелящаяся бездна... Прямо передо мной на сцене ярко освещены лампой незнакомые мне, грубо намазанные лица. Все смотрят на меня напряженно. Духовской шепчет что-то сзади, но я ничего не могу разобрать. Тогда я вдруг выпаливаю голосом торжественного укора:

— Да! Он вернулся!

Мимо меня проносится, как ураган, в своем золотом панцыре Самойленко. Слава богу! Я скрываюсь за кулисы.

В этом спектакле меня употребляли еще два раза. В той сцене, где Акоста громит еврейскую рутину и

потом падает, я должен был подхватить его на руки и волочить за кулисы. В этом деле мне помогал пожарный солдат, наряженный в такой же черный саван, как и я. (Почем знать, может быть, он у публики сошел за Сидорова?) Уриэлем Акостой оказался тот самый актер, что сидел давеча с Валерьяновым на скамейке; он же был и известный харьковский артист Лара-Ларский. Подхватили мы его довольно неловко — он был мускулист и тяжел, — но, к счастью, не уронили. Он только сказал нам шепотом: «Чтоб вас черт, олухи!» Так же благополучно мы его протащили сквозь узкие двери, хотя долго потом вся задняя стена древнего храма раскачивалась и волновалась.

В третий раз я присутствовал без слов при суде над Акостой. Тут случилось маленькое происшествие, о котором не стоило бы и говорить. Просто, когда вошел Бен-Акиба и все перед ним встали, я, по ротозейству, продолжал сидеть. Но кто-то больно щипнул меня выше локтя и зашипел:

— Вы с ума сошли. Это Бен-Акиба! Встаньте!

Я поспешно встал. Но, ей-богу, я не знал, что это Бен-Акиба. Я думал: так себе, старичок.

По окончании пьесы Самойленко сказал мне:

— Васильев, завтра в одиннадцать на репетицию.

Я возвратился в гостиницу, но, узнав мой голос, хозяин захлопнул дверь. Ночь я провел на одной из зеленых скамеечек между тополями. Спать мне было тепло, и во сне я видел славу. Но холодный утренник и ощущение голода разбудили меня довольно рано.

VI

Ровно в половине одиннадцатого я пришел в театр. Никого еще не было. Только кое-где по саду бродили заспанные лакеи из летнего ресторана в белых передниках. В зеленой решетчатой беседке, затканной диким виноградом, для кого-то приготовляли завтрак или утренний кофе.

Потом я узнал, что здесь каждое утро завтракали на свежем воздухе распорядитель театра господин

Валерьянов и старая бывшая актриса Булатова-Черногорская, дама лет шестидесяти пяти, которая содержала как театр, так и самого распорядителя.

Была постлана свежая блестящая скатерть, стояли два прибора, и на тарелке возвышались две столбушки нарезанного хлеба — белого и ситного...

Тут идет щекотливое место. Я в первый и в последний раз сделался вором. Быстро оглянувшись кругом, я юркнул в беседку и растопыренными пальцами схватил несколько кусков хлеба. Он был такой мягкий! Такой прекрасный! Но когда я выбежал наружу, то вплотную столкнулся с лакеем. Не знаю, откуда он взялся, должно быть я его не заметил сзади беседки. Он нес судок с горчицей, перцем и уксусом. Он строго поглядел на меня, на хлеб в моей руке и сказал тихо:

— Это что же такое?

Какая-то жгучая, презрительная гордость колыхнулась во мне. Глядя ему прямо в зрачки, я ответил тихо:

— Это то... что с третьего дня, с четырех часов... я ровно ничего еще не ел...

Он вдруг повернулся и, не говоря ни слова, поспешно побежал куда-то. Я спрятал хлеб в карман и стал ждать. Сразу стало мне жутко и весело! «Чудесно! — думал я. — Вот сейчас прибежит хозяин, соберутся лакеи, засвистят полицию... подымется гам, ругань, свалка... О, как великолепно буду я бить эти самые тарелки и судки об их головы. Я искусаю их до крови!»

Но вот, я вижу, мой лакей бежит ко мне... и... один. Немного запыхался. Подходит ко мне боком, не глядя. Я тоже отворачиваюсь... И вдруг он из-под фартука сует мне в руку большой кусок вчерашней холодной говядины, заботливо посоленный, и умоляюще шепчет:

— Пожалуйста... прошу вас... кушайте.

Я грубо взял у него мясо, пошел с ним за кулисы, выбрал местечко, где было потемнее, и там, сидя между всяким бутафорским хламом, с жадностью разрывал зубами мясо и сладко плакал.

Я потом часто, почти ежедневно, видел этого человека. Его звали Сергеем. Когда не случалось никого

из посетителей, он издали глядел на меня ласковыми, преданными, просящими глазами. Но я не хотел портить ни себе, ни ему первого теплого впечатления, хотя, — признаюсь, — и бывал иногда голоден, как волк зимой.

Он был такой маленький, толстенький, лысенький, с черными тараканьими усами, и с добрыми глазами в виде узеньких лучистых полукругов. И всегда он торопился, приседая на одну ножку. Когда я получил, наконец, мои деньги и моя театральная кабала осталась позади, как сон, и вся эта сволочь лакала мое шампанское и льстила мне, как я тосковал о тебе, мой дорогой, смешной, трогательный Сергей! Я не посмел бы, конечно, предложить ему денег — разве можно такую нежность и любовь человеческую расценивать на деньги? Мне просто хотелось оставить ему что-нибудь на память... Какую-нибудь безделицу... Или подарить что-нибудь его жене или ребятишкам — у него их была целая куча, и иногда по утрам они прибегали к нему... суетливые и крикливые, как воробьята.

Но за неделю до моего чудесного превращения Сергея уволили со службы, и я даже знал за что. Ротмистру фон Брадке поднесли бифштекс, поджаренный не по вкусу. Он закричал:

— Как подаешь, прохвост? Не знаешь, что я люблю с кровью?..

Сергей осмелился заметить, что это не его вина, а повара, и что он сейчас пойдет переменить, и даже прибавил робко:

— Извините, сударь.

Это извинение совсем взбесило офицера. Он ударил Сергея по лицу горячим бифштексом и, весь багровый, заорал:

— Что-о? Я тебе сударь? Я т-тебе сударь? Я тебе не сударь, а государю моему штабс-ротмистр! Хозяин! Позвать сюда хозяина! Иван Лукьяныч, чтоб сегодня же убрали этого идиота! Чтоб его и духу не было! Иначе моя нога в вашем кабаке не будет!

Штабс-ротмистр фон Брадке широко кутил, и потому Сергея рассчитали в тот же день. Хозяин целый вечер успокаивал офицера. И я сам, выходя во время

антрактов в сад освежиться, долго еще слышал негодующий, раскатистый голос, шедший из беседки:

— Нет, каков мерзавец! Сударь! Если бы не дамы, я бы ему такого сударя показал!

VII

Между тем понемногу собрались актеры, и в половине первого началась репетиция. Ставили пьесу «Новый мир», какую-то нелепую балаганную переделку из романа Сенкевича «Quo vadis»[1]. Духовской дал мне литографированный листик с моими словами. Это была роль центуриона из отряда Марка Великолепного. Там были отличные, громкие слова, вроде того, что «твои приказания, о Марк Великолепный, исполнены в точности!» или «Она будет ждать тебя у подножия Помпеевой статуи, о Марк Великолепный». Роль мне понравилась, и я уже готовил про себя мужественный голос этакого старого рубаки, сурового и преданного...

Но по мере того как шла репетиция, со мной стала происходить странная история: я, неожиданно для себя самого, начал дробиться и множиться. Например: матрона Вероника кончает свои слова. Самойленко, который следил за пьесой по подлиннику, хлопает в ладоши и кричит:

— Вошел раб!

Никто не входит.

— Господа, кто же раб? Духовской, поглядите, кто раб?

Духовской поспешно роется в каких-то листках. Раба не оказывается.

— Вымарать, что там! — лениво советует Боев, тот самый резонер с глубокомысленным лбом, в краски которого я залез накануне пальцем.

Но Марк Великолепный (Лара-Ларский) вдруг обижается:

— Нет, уж пожалуйста... Тут у меня эффектный выход... Я эту сцену без раба не играю.

---

[1] «Камо грядеши» *(лат.)*.

Самойленко мечется глазами по сцене и натыкается на меня.

— Да вот... позвольте... позвольте... Васильев, вы в этом акте заняты?

Я смотрю в тетрадку,

— Да. В самом конце...

— Так вот вам еще одна роль — раба Вероники. Читайте по книге. — Он хлопает в ладоши. — Господа, прошу потише! Раб входит... «Благородная госпожа...» Громче, громче, вас в первом ряду не слышно...

Через несколько минут не могут сыскать раба для божественной Мерции (у Сенкевича она — Лигия), и эту роль затыкают мною. Потом не хватает какого-то домоправителя. Опять я. Таким образом к концу репетиции у меня, не считая центуриона, было еще пять добавочных ролей.

Сначала у меня не ладилось. Я выхожу и говорю мои первые слова:

— О Марк Великолепный...

Тут Самойленко раздвигает врозь ноги, нагибается вперед и прикладывает ладони к ушам.

— Что-с? Что вы такое бормочете? Ничего не понимаю.

— О Марк Великолепный...

— Виноват. Ничего не слышу... Громче! — Он подходит ко мне вплотную. — Вот как надо это произносить... — и горловым козлиным голосом он выкрикивает на весь летний сад: — О Марк Великолепный, твое повеление... Вот как надо... Помните, молодой человек, бессмертное изречение одного из великих русских артистов: «На сцене не говорят, а произносят, не ходят, а выступают». — Он самодовольно оглядел кругом. — Повторите.

Я повторил, но еще неудачнее. Тогда меня стали учить поочередно и учили до самого конца репетиции положительно все: и гордый Лара-Ларский с пренебрежительным и брезгливым видом, и старый оплывший благородный отец Гончаров, у которого дряблые щеки в красных жилках висели ниже подбородка, и резонер Боев, и простак Акименко с искусственно наигранной миной Иванушки-дурачка... Я походил на

задерганную дымящуюся лошадь, вокруг которой собралась уличная толпа советчиков, а также и на слабого новичка, попавшего прямо из теплой семьи в круг опытных, продувных и безжалостных школяров.

На этой же репетиции я приобрел себе мелочного, но беспощадного врага, который потом отравлял каждый день моего существования. Вот как это произошло.

Я произносил одну из своих беспрерывных реплик: «О Марк Великолепный», как вдруг ко мне торопливо подбежал Самойленко.

— Позвольте, голуба, позвольте, позвольте, позвольте. Не так, не так. Ведь вы к кому обращаетесь? К самому Марку Великолепному? Ну, стало быть, вы не имеете ни малейшего представления о том, как в древнем Риме подчиненные говорили с главным начальником. Глядите: вот, вот жест.

Он подвинул правую ногу вперед на полшага, нагнул туловище под прямым углом, а правую руку свесил вниз, сделав ладонь лодочкой.

— Видите, каков жест? Поняли? Повторите.

Я повторил, но жест вышел у меня таким глупым и некрасивым, что я решился на робкое возражение:

— Извините... но мне кажется, что военная выправка... она вообще как-то избегает согбенного положения... и, кроме того... вот тут ремарка... выходит в латах... а согласитесь, что в латах...

— Извольте молчать! — крикнул гневно Самойленко и сделался пурпурным. — Если вам режиссер велит стоять на одной ноге, высунув язык, вы обязаны исполнить беспрекословно. Извольте повторить.

Я повторил. Вышло еще безобразнее. Но тут за меня вступился Лара-Ларский.

— Оставь, Борис, — сказал он нехотя Самойленке, — видишь, у него не вытанцовывается. И, кроме того, как ты сам знаешь, история нам не дает здесь прямых указаний... Вопрос... мм.. спорный...

Самойленко оставил меня в покое со своим классическим жестом.. Но с этих пор он не пропускал ни одного случая, когда можно было меня оборвать, уязвить и обидеть. Он ревниво следил за каждым моим

промахом. Он так меня ненавидел, что, я думаю, даже видел меня во сне каждую ночь. Что касается меня... Видите ли, с тех пор прошло уже десять лет, но до сего дня, как только я вспомню этого человека, злоба подымается у меня из груди и душит меня за горло. Правда, перед отъездом... впрочем, об этом скажу потом, иначе придется повредить стройности рассказа.

Перед самым концом репетиции на сцену вдруг явился высокий, длинноносый, худой господин в котелке и с усами. Он пошатывался, задевал за кулисы, и глаза у него были совсем как две оловянные пуговицы. Все глядели на него с омерзением, но замечания ему никто не сделал.

— Кто это? — спросил я шепотом Духовского.

— Э! Пьяница! — ответил тот небрежно. — Нелюбов-Ольгин, наш декоратор. Талантливый человек — он иногда и играет, когда трезв, — но совсем, окончательно пропойца. А заменить его некем: дешев и пишет декорации очень скоро.

VIII

Репетиция кончилась. Расходились. Актеры острили, играя словами: Мерция-Коммерция. Лара-Ларский многозначительно звал Боева «туда». Я догнал в одной из аллей Валерьянова и, едва поспевая за его длинными шагами, сказал:

— Виктор Викторович... я бы очень попросил у вас денег... хоть немножко.

Он остановился и едва мог прийти в себя от изумления.

— Что? Каких денег? Зачем денег? Кому?

Я стал объяснять ему мое положение, но он, не дослушав меня, нетерпеливо повернулся спиной и пошел вперед. Потом вдруг остановился и подозвал меня:

— Вы вот что... как вас... Васильев... Вы подите к этому... к своему хозяину и скажите ему, чтобы он наведался сюда, ко мне. Я здесь пробуду в кассе еще с полчаса. Я с ним переговорю.

Я не пошел, а полетел в гостиницу! Хохол выслушал меня с мрачной недоверчивостью, однако надел коричневый пиджак и медленно поплелся в театр. Я

остался ждать его. Через четверть часа он вернулся. Лицо его было, как грозовая туча, а в правой руке торчал пучок красных театральных контрамарок. Он сунул мне их в самый нос и сказал глухим басом:

— Бачите! Ось! Я думал, он мне гроши даст, а он мне — яки-сь гумажки. На що воны мини!

Я стоял сконфуженный. Однако и бумажки принесли некоторую пользу. После долгих увещеваний хозяин согласился на раздел: он оставил себе в виде залога мой прекрасный новый английский чемодан из желтой кожи, а я взял белье, паспорт и, что было для меня всего дороже, мои записные книжки. На прощанье хохол спросил меня:

— А що, и ты там будешь дурака валять?

— Да, и я, — подтвердил я с достоинством.

— Ого! Держись. Я как тебе забачу, зараз скричу: а где мои двадцать карбованцив!

Три дня подряд я не смел беспокоить Валерьянова и ночевал на зеленой скамеечке, подложив себе под голову узелок с бельем. Две ночи, благодарение богу, были теплые; я даже чувствовал, лежа на скамейке, как от каменных плит тротуара, нагревшихся за день, исходит сухой жар. Но на третью шел мелкий, долгий дождик, и, спасаясь от него под навесами подъездов, я не мог заснуть до утра. В восемь часов отворили городской сад. Я забрался за кулисы и на старой занавеси сладко заснул на два часа. И, конечно, попался на глаза Самойленке, который долго и язвительно внушал мне, что театр — это храм искусства, а вовсе не дортуар, и не будуар, и не ночлежный дом. Тогда я опять решился догнать в аллее распорядителя и попросить у него хоть немного денег, потому что мне негде ночевать.

— Позвольте-с, — развел он руками, — да мне-то какое дело? Вы, кажется, не малолетний, и я не ваша нянька.

Я промолчал. Он побродил прищуренными глазами по яркому солнечному песку дорожки и сказал в раздумье:

— Разве... вот что... Хотите, ночуйте в театре? Я говорил об этом сторожу, но он, дурак, боится.

Я поблагодарил.

— Только один уговор: в театре не курить. Захотите курить — выходите в сад.

С тех пор у меня был обеспечен ночлег под кровлей. Иногда днем я ходил за три версты на речку, мыл там в укромном местечке свое белье и сушил его на ветках прибрежных ветл. Это белье мне было большим подспорьем. Время от времени я ходил на базар и продавал там рубашку или что-нибудь другое. На вырученные двадцать — тридцать копеек я бывал сыт два дня. Обстоятельства принимали явно благоприятный оборот для меня. Однажды мне даже удалось в добрую минуту выпросить у Валерьянова рубль, и я тотчас же послал Илье телеграмму:

«Умираю голоду переведи телеграфом С. театр Леонтовичу».

IX

Вторая репетиция была и генеральной. Тут, кстати, мне подвалили еще две роли: древнего христианского старца и Тигеллина. Я взял их безропотно.

К этой репетиции приехал и наш трагик Тимофеев-Сумской. Это был плечистый мужчина, вершков четырнадцати ростом, уже немолодой, курчавый, рыжий, с вывороченными белками глаз, рябой от оспы — настоящий мясник или, скорее, палач. Голос у него был непомерный, и играл он в старой, воющей манере:

И диким зверем завывал
Широкоплечий трагик.

Роли своей он не знал совершенно (он играл Нерона), да и читал ее по тетрадке с трудом, при помощи сильных старческих очков. Когда ему говорили:

— Вы бы, Федот Памфилыч, хоть немного рольку-то подучили.

Он отвечал низкой октавой:

— Наплевать. Сойдет. Пойду по суфлеру. Не впервой. Публика все равно ничего не понимает. Публика — дура.

С моим именем у него все выходили нелады. Он

никак не мог выговорить — Тигеллин, а звал меня то Тигелинием, то Тинегилом. Каждый раз, когда его поправляли, он рявкал:

— Плевать. Ерунда. Стану я мозги засаривать!

Если ему попадался трудный оборот или несколько иностранных слов подряд, он просто ставил карандашом у себя в тетрадке зэт и произносил:

— Вымарываю.

Впрочем, вымарывали все. От пьесы-ботвиньи осталась только гуща. Из длинной роли Тигеллина получилась всего одна реплика.

Нерон спрашивает:

— Тигеллин! В каком состоянии львы?

А я отвечаю, стоя на коленях:

— Божественный цезарь! Рим никогда не видал таких зверей. Они голодны и свирепы.

Вот и все.

Наступил и спектакль. Зрительная открытая зала была полна. Снаружи, вокруг барьера, густо чернела толпа бесплатных зрителей. Я волновался.

Боже мой, как они все отвратительно играли! Точно они заранее сговорились словами Тимофеева: «Наплевать, публика — дура». Каждое их слово, каждый жест напоминали что-то старенькое-старенькое, давно примелькавшееся десяткам поколений. Мне все время казалось, что в распоряжении этих служителей искусства имеется всего-навсего десятка два заученных интонаций и десятка три зазубренных жестов вроде того, например, которому бесплодно хотел меня научить Самойленко. И мне думалось: каким путем нравственного падения могли дойти эти люди до того, чтобы потерять стыд своего лица, стыд голоса, стыд тела и движений!

Тимофеев-Сумской был великолепен. Склонившись на правый бок трона, причем его левая вытянутая нога вылезала на половину сцены, с шутовской короной набекрень, он вперял вращающиеся белки в суфлерскую будку и так ревел, что мальчишки за барьером взвизгивали от восторга. Моего имени он, конечно, не запомнил. Он просто заорал на меня, как купец в бане:

— Телянтин! Подай сюда моих львов и тигров. Ж-жива!

Я покорно проглотил мою реплику и ушел. Конечно, всех хуже был Марк Великолепный — Лара-Ларский, потому что был бесстыднее, разнузданнее, пошлее и самоувереннее всех остальных. Из пафоса у него выходил крик, из нежных слов — сладкая тянучка, из-за повелительных реплик римского воина-патриция выглядывал русский брандмайор. Зато поистине была прекрасна Андросова. Все в ней было очаровательно: вдохновенное лицо, прелестные руки, гибкий музыкальный голос, даже длинные волнистые волосы, которые она в последнем действии распустила по спине. Играла она так же просто, естественно и красиво, как поют птицы.

Я с настоящим художественным наслаждением, иногда со слезами, следил за нею сквозь маленькие дырочки в холсте декораций. Но я не предчувствовал, что через несколько минут она растрогает меня, но уже совсем иным образом, не со сцены.

Я в этой пьесе был так многообразен, что, право, дирекции не худо было бы на афише к именам Петрова, Сидорова, Григорьева, Иванова и Васильева присоединить еще Дмитриева и Александрова. В первом акте я сначала явился старцем в белом балахоне с капюшоном на голове, потом побежал за кулисы, сбросил куту и уже выступил центурионом, в латах и шлеме, с голыми ногами, потом опять исчез и опять вылез христианским старцем. Во втором акте я был центурионом и рабом. В третьем — двумя новыми рабами. В четвертом — центурионом и еще двумя чьими-то рабами. В пятом — домоуправителем и новым рабом. Наконец я был Тигеллином и в заключение безгласным воином, который повелительным жестом указывает Мерции и Марку дорогу на арену, на съедение львам.

Даже простак Акименко потрепал меня по плечу и сказал благодушно:

— Черт вас возьми! Вы какой-то трансформист.

Но мне дорого стоила эта похвала. Я едва держался на ногах от усталости.

Спектакль окончился. Сторож тушил лампы. Я ходил по сцене в ожидании, когда последние актеры разгримируются и мне можно будет лечь на мой старый театральный диван. Я также мечтал о том куске жареной трактирной печенки, который висел у меня в уголке между бутафорской комнатой и общей уборной. (С тех пор как у меня однажды крысы утащили свиное сало, я стал съестное подвешивать на веревочку.) Вдруг я услышал сзади себя голос:

— До свиданья, Васильев.

Я обернулся. Андросова стояла с протянутой рукой. Ее прелестное лицо было утомлено.

Надо сказать, что изо всей труппы только она, не считая маленьких, Духовского и Нелюбова-Ольгина, подавала мне руку (остальные гнушались). И я даже до сих пор помню ее пожатие: открытое, нежное, крепкое — настоящее женственное и товарищеское пожатие.

Я взял ее руку. Она внимательно посмотрела на меня и сказала:

— Послушайте, вы не больны? У вас плохой вид. — И добавила тише: — Может быть, вам нужны деньги?.. а?.. взаймы...

— О нет, нет, благодарю вас! — перебил я искренно. И вдруг, повинуясь безотчетному воспоминанию только что пережитого восторга, я воскликнул пылко: — Как вы были прекрасны сегодня!

Должно быть, комплимент по искренности был не из обычных. Она покраснела от удовольствия, опустила глаза и легко рассмеялась.

— Я рада, что доставила вам удовольствие.

Я почтительно поцеловал ее руку. Но тут как раз женский голос крикнул снизу:

— Андросова! Где вы там? Идите, вас ждут ужинать.

— До свиданья, Васильев, — сказала она просто и ласково, потом покачала головой и, уже уходя, чуть слышно произнесла: — Ах, бедный вы, бедный...

Нет, я себя вовсе не чувствовал бедным в эту минуту. Но мне казалось, что, если бы она на прощанье коснулась губами моего лба, я бы умер от счастья!

X

Скоро я пригляделся ко всей труппе. Признаюсь, я и до моего невольного актерства никогда не был высокого мнения о провинциальной сцене. Но благодаря Островскому в моем воображении все-таки засели грубые по внешности, но нежные и широкие в душе Несчастливцевы, шутоватые, но по-своему преданные искусству и чувству товарищества Аркашки... И вот я увидел, что сцену заняли просто-напросто бесстыдник и бесстыдница.

Все они были бессердечны, предатели и завистники по отношению друг к другу, без малейшего уважения к красоте и силе творчества, — прямо какие-то хамские, дубленые души! И вдобавок люди поражающего невежества и глубокого равнодушия, притворщики, истерически холодные лжецы с бутафорскими слезами и театральными рыданиями, упорно отсталые рабы, готовые всегда радостно пресмыкаться перед начальством и перед меценатами... Недаром Чехов сказал как-то: «Более актера истеричен только околоточный. Посмотрите, как они оба в царский день стоят перед буфетной стойкой, говорят речи и плачут».

Но театральные традиции хранились у нас непоколебимо. Какой-то Митрофанов-Козловский, как известно, перед выходом на сцену всегда крестился. Это всосалось. И каждый из наших главных артистов перед своим выходом непременно проделывал то же самое и при этом косил глазом вбок: смотрят или нет? И если смотрят, то наверно уж думают: как он суеверен!.. Вот оригинал!..

Какой-то из этих проститутов искусства, с козлиным голосом и жирными ляжками, прибил однажды портного, а в другой раз парикмахера. И это также вошло в обычай. Часто я наблюдал, как Лара-Ларский метался по сцене с кровавыми глазами и с пеной на губах и кричал хрипло:

— Дайте мне этого портного! Я убью этого портного!

А потом, уже ударив этого портного и в тайне души ожидая и побаиваясь крепкого ответа, он простирал назад руки, дрожал и вопил:

— Держите меня! Держите! Иначе я в самом деле сделаюсь убийцей!..

Но зато как проникновенно они говорили о «святом искусстве» и о сцене! Помню один светлый, зеленый июньский день. У нас еще не начиналась репетиция. На сцене было темновато и прохладно. Из больших актеров пришли раньше всех Лара-Ларский и его театральная жена — Медведева. Несколько барышень и реалистов сидят в партере. Лара-Ларский ходит взад и вперед по сцене. Лицо его озабочено. Очевидно, он обдумывает какой-то новый глубокий тип. Вдруг жена обращается к нему:

— Саша, насвисти, пожалуйста, этот вчерашний мотив из «Паяцев».

Он останавливается, меряет ее с ног до головы выразительным взглядом и произносит, косясь на партер, бархатным актерским баритоном:

— Свистать? На сцене? Ха-ха-ха! (Он смеется горьким актерским смехом.) Ты ли это говоришь? Да разве ты не знаешь, что сцена — это хра-ам, это алтарь, на который мы кладем все свои лучшие мысли и желания. И вдруг — свистать! Ха-ха-ха...

Однако в этот же самый алтарь, в дамские уборные ходили местные кавалеристы и богатые бездельники-помещики совершенно так же, как в отдельные кабинеты публичного дома. На этот счет мы вообще не были щепетильны. Сколько раз бывало: внутри виноградной беседки светится огонь, слышен женский хохот, лязганье шпор и звон бокалов, а театральный муж, точно дозорный часовой, ходит взад и вперед по дорожке около входа в темноте и ждет, не пригласят ли его. И лакей, пронося на высоко поднятом подносе судака о-гратен, толкнет его локтем и скажет сухо:

— Посторонитесь, сударь.

А когда его позовут, он будет кривляться, пить водку с пивом и уксусом и рассказывать похабные анекдоты из еврейского быта.

Но все-таки об искусстве они говорили горячо и гордо. Тимофеев-Сумской не раз читал лекцию об утерянном «классическом жесте ухода».

— Утерян жест классической трагедии! — говорил он мрачно. — Прежде как актер уходил? Вот! — Тимофеев вытягивался во весь рост и подымал кверху правую руку со сложенными в кулак пальцами, кроме указательного, который торчал крючком. — Видите? — И он огромными медленными шагами начинал удаляться к двери. — Вот что называлось «классическим жестом ухода»! А что теперь? Заложил ручки в брючки и фить домой. Так-то, батеньки.

Иногда они любили и новизну, отсебятину. Лара-Ларский так, например, передавал о своем исполнении роли Хлестакова:

— Нет, позвольте. Я эту сцену с городничим вот как веду. Городничий говорит, что номер темноват. А я отвечаю: «Да. Захочешь почитать что-нибудь, *например Максима Горького,* — нельзя! Темыно, темыно!» И всегда... аплодисмент!

Хорошо было послушать, как иной раз разговаривают в подпитии старики, например Тимофеев-Сумской с Гончаровым.

— Да, брат Федотушка, не тот ноне актер пошел. Нет, брат, не то-от.

— Верно, Петряй. Не тот. Помнишь, брат, Чарского, Любского!.. Э-хх, брат!

— Заветы не те.

— Верно, Петербург. Не те. Не стало уважения к святости искусства. Мы с тобой, Пека, все-таки жрецами были, а эти... Э-хх! Выпьем, Пекаторис.

— А помнишь, брат Федотушка, Иванова-Козельского?

— Оставь, Петроград, не береди. Выпьем. Куда теперешним?

— Куда!

— Ку-уда!

И вот среди этой мешанины пошлости, глупости, пройдошества, альфонсизма, хвастовства, невежества и разврата — поистине служила искусству Андросова, такая чистая, нежная, красивая и талантливая. Теперь,

став старее, я понимаю, что она так же не чувствовала этой грязи, как белый, прекрасный венчик цветка не чувствует, что его корни питаются черной тиной болота.

XI

Пьесы ставились, как на курьерских. Небольшие драмы и комедии шли с одной репетиции, «Смерть Иоанна Грозного» и «Новый мир» — с двух, «Измаил», сочинение господина Бухарина, потребовал трех репетиций, и то благодаря тому, что в нем участвовало около сорока статистов из местных команд: гарнизонной, конвойной и пожарной.

Особенно памятно мне представление «Смерти Иоанна Грозного» — памятно по одному глупому и смешному происшествию. Грозного играл Тимофеев-Сумской. В парчовой длинной одежде, в островерхой шапке из собачьего меха — он походил на движущийся обелиск. Для того чтобы придать грозному царю побольше свирепости, он все время выдвигал вперед нижнюю челюсть и опускал вниз толстую губу, причем вращал глазами и рычал, как никогда.

Конечно, роли он не знал и читал ее такими стихами, что даже у актеров, давно привыкших к тому, что публика — дура и ничего не понимает, становились волосы дыбом. Но особенно отличился он в той сцене, где Иоанн в покаянном припадке становится на колени и исповедуется перед боярами: «Острупился мой ум» и т. д.

И вот он доходит до слов: «Аки пес смердящий...» Нечего и говорить, что глаза его были все время в суфлерской будке. На весь театр он произносит: «Аки!» — и умолкает.

— Аки пес смердящий... — шепчет суфлерша.

— Паки! — ревет Тимофеев.

— Аки пес...

— Каки!

— Аки пес смердящий...

Наконец ему удается справиться с текстом. При этом он не обнаруживает ни замешательства, ни сму-

щения. Но со мной — я в это время стоял около трона — вдруг случился неудержимый припадок смеха. Ведь всегда так бывает: когда знаешь, что *нельзя* смеяться, — тогда именно и овладевает тобою этот сотрясающий, болезненный смех. Я быстро сообразил, что лучше всего спрятаться за высокой спинкой трона и там высмеяться вдоволь. Поворачиваюсь; иду торжественной боярской походкой, едва удерживаясь от хохота; захожу за трон и... вижу, что там прижались к спинке и трясутся и давятся от беззвучного смеха две артистки, Волкова и Богучарская. Это было выше моего терпения. Я выбежал за кулисы, упал на бутафорский диван, на *мой* диван, и стал по нему кататься... Самойленко, всегда ревниво следивший за мною, оштрафовал меня за это на пять рублей.

Да и вообще этот спектакль изобиловал приключениями. Я забыл сказать, что у нас был актер Романов, очень красивый, высокий, представительный молодой человек на громкие и величественные второстепенные роли. К сожалению, он отличался чрезвычайною близорукостью, так что даже носил стекла по какому-то особенному заказу. На сцене, без пенсне, он вечно натыкался на что-нибудь, опрокидывал колонны, вазы и кресла, путался в коврах и падал. Он уже был давно известен тем, что в другом городе и в другой труппе, играя в «Принцессе Грезе» зеленого рыцаря, он упал и покатился в своих жестяных латах к рампе, громыхая, как огромный самовар. В «Смерти Иоанна Грозного» Романов, однако, превзошел самого себя. Он ворвался в дом Шуйского, где собрались заговорщики, с такой стремительностью, что опрокинул на пол длинную скамью вместе с сидевшими на ней боярами.

Эти бояре были очаровательны. Все они были набраны из молодых караимчиков, служивших на местной табачной фабрике. Я выводил их на сцену. Я небольшого роста, но самый высокий из них приходился мне по плечо. Притом половина из этих родовитых бояр была в кавказских костюмах с газырями, а другая половина — в кафтанах, взятых напрокат из местного архиерейского хора. Прибавьте еще к этому мальчишеские лица с подвязанными черными бородами,

блестящие черные глаза, восторженно раскрытые рты и застенчиво-неловкие движения. Публика приветствовала наш торжественный выход дружным ржанием.

Благодаря тому, что мы ставили ежедневно новые пьесы, театр наш довольно охотно посещался. Офицеры и помещики ходили из-за актрис. Кроме того, ежедневно посылался Харитоненке билет на ложу. Сам он бывал редко — не более двух раз за весь сезон, но каждый раз присылал по сту рублей. Вообще театр делал недурные дела, и если младшим актерам не платили жалованья, то тут у Валерьянова был такой же тонкий расчет, как у того извозчика, который вешал впереди морды своей голодной клячи кусок сена для того, чтобы она скорее бежала.

XII

Однажды — не помню почему — спектакля не было. Стояла скверная погода. В десять часов вечера я уже лежал на моем диване и в темноте прислушивался, как дождь барабанит в деревянную крышу.

Вдруг где-то за кулисами послышался шорох, шаги, потом грохот падающих стульев. Я засветил огарок, пошел навстречу и увидел пьяного Нелюбова-Ольгина, который беспомощно шарашился в проходе между декорациями и стеной театра. Увидев меня, он не испугался, но спокойно удивился:

— К'кого ч-черта вы тут делаете?

Я объяснил ему в двух словах. Заложив руки в карманы панталон и кивая длинным носом, он некоторое время раскачивался с носков на каблуки. Потом вдруг потерял равновесие, но удержался, сделав несколько шагов вперед, и сказал:

— А п'чему не ко мне?

— Мы с вами так мало знакомы...

— Чепуха. Пойдем!

Он взял меня под руку, и мы пошли к нему. С этого часа и до самого последнего дня моего актерства я разделял с ним его крошечную полутемную комнатенку, которую он снимал у бывшего с — ого исправника.

Этот пьяница и скандалист, предмет лицемерного презрения всей труппы, оказался кротким, тихим человеком, с большим запасом внутренней деликатности, и отличным товарищем. Но у него была в душе какая-то болезненная, незалечимая трещина, нанесенная женщиной. Я никогда, впрочем, не мог понять, в чем суть его неудачного романа. Будучи пьяным, он часто вытаскивал из своей дорожной корзинки портрет какой-то женщины, не очень красивой, но и не дурной, немного косенькой, со вздернутым вызывающим носиком, несколько провинциальной наружности. Он то целовал эту фотографию, то швырял ее на пол, прижимал ее к сердцу и плевал на нее, ставил ее в угол на образ и потом капал на нее стеарином. Я не мог также разобраться, кто из них кого бросил и о чьих детях шла речь: его, ее или кого-то третьего.

Ни у него, ни у меня денег не было. Он уже давно забрал у Валерьянова крупную сумму, чтобы послать *ей,* и теперь находился в состоянии крепостной зависимости, порвать которую ему мешала простая порядочность. Изредка он подрабатывал несколько копеек у местного живописца вывесок. Но этот заработок был большим секретом от труппы: помилуйте, разве Лара-Ларский вытерпел бы такое надругание над искусством!

Наш хозяин — отставной исправник — толстый, румяный мужчина в усах и с двойным подбородком, был человеком большого благодушия. Каждое утро и вечер, после того когда в доме у него отпивали чай, нам приносили вновь долитый самовар, чайник со спитым чаем и сколько угодно черного хлеба. Мы бывали сыты.

После послеобеденного сна отставной исправник выходил в халате и с трубкой на улицу и садился на крылечко. Перед тем как идти в театр, и мы подсаживались к нему. Разговор у нас шел всегда один и тот же — о его служебных злоключениях, о несправедливости высшего начальства и о гнусных интригах врагов. Он все советовался с нами, как бы это ему написать такое письмо в столичные газеты, чтобы его невинность восторжествовала и чтобы губернатор с вице-губерна-

тором, с нынешним исправником и с подлецом-приставом второй части, который и был главной причиной всех бед, полетели со своих мест. Мы давали ему разные советы, но он только вздыхал, морщился, покачивал головой и твердил:

— Эх, не то... Не то, не то... Вот если бы мне найти человека с пером! Перо бы мне найти! Никаких денег не пожалею.

А у него — канальи — были деньги. Войдя однажды к нему в комнату, я застал его за стрижкой купонов. Он немного смутился, встал и загородил бумаги спиной и распахнутым халатом. Я твердо уверен, что во время службы за ним водились: и взяточничество, и вымогательство, и превышение власти, и другие поступки.

По ночам, после спектакля, мы иногда бродили с Нелюбовым по саду. В тихой, освещенной огнями зелени повсюду уютно стояли белые столики, свечи горели не колеблясь в стеклянных колпачках. Женщины и мужчины как-то по-праздничному, кокетливо и значительно улыбались и наклонялись друг к другу. Шуршал песок под легкими женскими ножками...

— Хорошо бы нам найти карася! — говорил иногда сиплым баском Нелюбов и поглядывал на меня лукаво сбоку.

Меня сначала коробило. Я всегда ненавидел эту жадную и благородную готовность садовых актеров примазываться к чужим обедам и завтракам, эти собачьи, ласковые, влажные и голодные глаза, эти неестественно-развязные баритоны за столом, это гастрономическое всезнайство, эту усиленную внимательность, эту привычно-фамильярную повелительность с прислугой. Но потом, ближе узнав Нелюбова, я понял, что он шутит. Этот чудак был по-своему горд и очень щекотлив.

Но вышел один смешной и чуть-чуть постыдный случай, когда сам карась поймал меня с моим другом в кулинарную сеть. Вот это как было.

Мы с ним выходили последними из уборной после представления, и вдруг откуда-то из-за кулис выскочил на сцену некто Альтшиллер... местный Ротшильд,

еврей, этакий молодой, но уже толстый, очень развязный, румяный мужчина, сладострастного типа, весь в кольцах, цепях и брелоках. Он бросился к нам.

— Ах, боже мой... я уже вот полчаса везде бегаю... сбился с ног... Скажите, ради бога, вы не видели Волкову и Богучарскую?

Мы действительно видели, как эти артистки сейчас же после спектакля уехали кататься с драгунскими офицерами, и любезно сообщили об этом Альтшиллеру. Он схватился за голову и заметался по сцене.

— Но это же безобразие! У меня заказан ужин! Нет, это просто бог знает что такое: дать слово, обещаться и... Как это называется, господа, я вас спрашиваю?

Мы молчали.

Он еще покрутился по сцене, потом остановился, помялся, почесал нервно висок, почмокал в раздумье губами и вдруг сказал решительно:

— Господа, я вас покорнейше прошу отужинать со мной.

Мы отказались.

Но не тут-то было. Он прилип к нам, как клей синдетикон. Он кидался то к Нелюбову, то ко мне, тряс нам руки, заглядывал умильно в глаза и с жаром уверял, что он любит искусство. Нелюбов первый дрогнул.

— А, черт! Пойдем, в самом деле. Чего там!

Меценат повел нас на главную эстраду и засуетился. Выбрал наиболее видное место, усадил нас, а сам все время вскакивал, бегал вслед за прислугой, размахивал руками и, выпив рюмку доппель-кюммеля, притворялся отчаянным кутилой. Котелок у него был для лихости на боку.

— Может быть, огуречика? Как это по-русски говорится? Значит, эфто без огуречика никакая пишшыя не проходит. Так? А водочки? Пожалуйста, кушайте... кушайте до конца, прошу вас. А может быть, беф-строганов? Здесь отлично готовят... Псст! Человек!

От большого куска горячего жареного мяса я опьянел, как от вина. Глаза у меня смыкались. Веранда с

огнями, с синим табачным дымом и с пестрой скачкой болтовни, плыла куда-то вбок, мимо меня, и я точно сквозь сон слышал:

— Пожалуйста, кушайте еще, господа... Не стесняйтесь. Ну, что я могу с собой поделать, когда я так люблю искусство!..

XIII

Но приближался момент развязки. Питание одним чаем с черным хлебом отзывалось на мне болезненно. Я стал раздражителен и часто, чтобы сдержать себя, убегал с репетиций куда-нибудь подальше в сад. Кроме того, я давно уже распродал все мое белье.

Самойленко продолжал терзать меня. Знаете, иногда бывает в закрытых учебных заведениях, что учитель вдруг ни с того ни с сего возненавидит какого-нибудь замухрышку-ученика: возненавидит за бледность лица, за торчащие уши, за неприятную манеру дергать плечом, — и эта ненависть продолжается целые года. Так именно относился ко мне Самойленко. Он уже успел оштрафовать меня в общей сложности на пятнадцать рублей и на репетициях обращался со мною по крайней мере как начальник тюрьмы с арестантом. Иногда, слушая его грубые замечания, я опускал веки и видел у себя перед глазами огненные круги. Валерьянов теперь уже совсем не разговаривал со мной и при встречах убегал от меня со скоростью страуса. Я служил уже полтора месяца и до сих пор получил всего-навсего один рубль.

Однажды утром я проснулся с больной головой, с металлическим вкусом во рту и с тяжелой, черной, беспричинной злобой в душе. В таком настроении я пошел на репетицию.

Не помню, что мы ставили, но помню хорошо, что в моей руке была толстая, сложенная трубкой тетрадь. Роль свою я знал, как и всегда, безукоризненно. В ней, между прочим, стояли слова: «Я это заслужил».

И вот пьеса доходит до этого места.

— Я это заслужил, — говорю я.

Но Самойленко подбегает ко мне и вопит:

— Ну кто же так говорит по-русски? Кто так говорит? Я это заслужил! Надо говорить: я на это заслужил! Без-здарность!

Побледнев, я протянул было к нему тетрадку со словами:

— Извольте справиться с текстом...

Но он выкрикнул горлом:

— Плевать я на ваш текст! Я сам для вас текст! Не хотите служить — убирайтесь к черту!

Я быстро поднял на него глаза. Он вдруг понял все, побледнел так же, как и я, и быстро отступил на два шага. Но было уже поздно. Тяжелым свертком я больно и громко ударил его по левой щеке, и по правой, и потом опять по левой, и опять по правой, и еще, и еще. Он не сопротивлялся, даже не нагнулся, даже не пробовал бежать, а только при каждом ударе дергал туда и сюда головой, как клоун, разыгрывающий удивление. Затем я швырнул тетрадь ему в лицо и ушел со сцены в сад. Никто не остановил меня.

И вот случилось чудо! Первый, кого я увидел в саду, был мальчишка-рассыльный из местного отделения Волжско-Камского банка. Он спрашивал, кто здесь Леонтович, и вручил мне повестку на пятьсот рублей.

Через час я и Нелюбов были уже опять в саду и заказывали себе чудовищный завтрак, а через два часа вся труппа чокалась со мною шампанским и поздравляла меня. Честное слово: это не я, а Нелюбов пустил слух, что мне досталось наследство в шестьдесят тысяч. Я не опровергал его. Валерьянов потом клялся, что дела с антрепризой ужасно плохи, и я подарил ему сто рублей.

В пять часов вечера я садился в поезд. В кармане у меня, кроме билета до Москвы, было не более семидесяти рублей, но я чувствовал себя Цезарем. Когда, после второго звонка, я поднимался в вагон, ко мне подошел Самойленко, который до сих пор держался в отдалении.

— Простите меня, я погорячился, — сказал он театрально.

Я пожал протянутую руку и ответил любезно:

— Простите, я тоже погорячился.

Мне прокричали «ура» на прощанье. Последним теплым взглядом я обменялся с Нелюбовым. Пошел поезд, и все ушло назад, навсегда, безвозвратно. И когда стали скрываться из глаз последние голубые избенки Заречья и потянулась унылая, желтая, выгоревшая степь — странная грусть сжала мне сердце. Точно там, в этом месте моих тревог, страданий, голода и унижений, осталась навеки частица моей души.

БРЕД

Рота капитана Маркова ехала на соединение с карательным отрядом. Усталые, раздраженные солдаты, утомленные длинным передвижением в неудобных вагонах, были молчаливы и пасмурны. На какой-то станции со странным, не по-русски звучавшим названием их поили водкой и пивом какие-то люди в поддевках. Солдаты кричали «ура!», пели песни и плясали с каменным выражением лиц.

Потом началось дело. Рота не могла обременять себя пленными, и потому всех подозрительных и даже просто беспаспортных людей, захваченных по дороге, немедленно расстреливали. Капитан Марков не ошибся в своем психологическом расчете: он знал, что постепенно нараставшая озлобленность солдат найдет некоторое удовлетворение в кровавых расправах над жителями.

Вечером 31-го декабря рота остановилась на ночлег в полуразрушенной баронской ферме. До города оставалось пятнадцать верст, и капитан рассчитывал прийти туда завтра к трем часам. Он был уверен, что его роте завтра же придется принять участие в серьезном и продолжительном деле, и потому хотел, чтобы люди, размещенные в разных амбарах, конторах и службах, хоть немного отдохнули, успокоились и подкрепились.

Сам же он занял себе под спальню большую, гулкую, пустую залу с камином в готическом стиле и с постелью, которую отобрали у местного пастора.

Черная, беззвездная ночь с мокрым снегом и ветром незаметно и быстро надвинулась над фермой. Марков сидел один в огромной пустой комнате перед камином, в котором ярко пылали доски разломанного забора. Поставив ноги на каминную решетку и разложив на худых острых коленях карту генерального штаба — «зеленку», — он внимательно изучал глазами пространство между фермой и городом. При красном свете огня его лицо с высоким лбом, усами кольчиками и с упрямым, твердым подбородком казалось еще более суровым, чем всегда.

Вошел фельдфебель. С его клеенчатого плаща бежала на пол дождевая вода. Постояв несколько секунд и убедившись, что капитан не обращает на него внимания, фельдфебель осторожно кашлянул.

— Это ты? — Капитан повернул назад голову. — Что?

— Все обстоит благополучно, ваше высокоблагородие. Третий взвод в наряде. Так что первое отделение у церковной ограды, а второе...

— Так. Дальше. Пропуск сообщен?

— Точно так, ваше высокоблагородие...

Он помолчал немного, точно выжидая, но капитан тоже молчал, и солдат сказал тоном ниже:

— Как прикажете, ваше высокоблагородие, с теми тремя, которые...

— Расстрелять на рассвете! — резко оборвал Марков, не давая фельдфебелю договорить. — И потом... — он, прищурившись, поглядел на солдата, — чтобы я больше таких вопросов не слышал! Понимаешь?

— Слушаю, ваше высокоблагородие! — крикнул фельдфебель.

И опять они оба замолчали. Капитан лег одетый на постель, фельдфебель стоял у двери в тени. Но солдат почему-то медлил уходить.

— Все? — нетерпеливо спросил Марков, не поворачивая головы.

— Так точно, ваше высокоблагородие!

Солдат переминался с ноги на ногу и вдруг решительно и настойчиво произнес:

— Ваше высокоблагородие... Так что солдаты спрашивают... Как прикажете с тем... который старик?..

— Вон! — закричал Марков на фельдфебеля и быстро, с гневным лицом выпрямился. Кажется, он готов был его ударить.

Фельдфебель тотчас же ловко, в два темпа, построевому, повернулся кругом и отворил дверь. Но на пороге он задержался на минутку и казенным голосом сказал:

— Так что, ваше высокоблагородие, имею честь поздравить с наступающим Новым годом. И желаем...

— Спасибо, братец, — сухо ответил Марков. — Не забудь распорядиться, чтобы люди тщательнее осмотрели винтовки.

Оставшись один, Марков, не раздеваясь и не отстегивая шашки, бросился на кровать, лицом к камину. Лицо его сразу изменилось, точно постарело, коротко остриженная голова ушла в плечи, глаза потухли, полузакрылись с усталым, болезненным выражением. Марков уже целую неделю страдал мучительной лихорадкой и только благодаря усилиям воли переламывал болезнь. Никому в отряде не было известно, что по ночам он метался в жестоких пароксизмах, трясясь в ознобе, тяжело бредя, забываясь только на мгновения в уродливых, фантастических кошмарах.

Капитан лежал на спине, глядя, как перебегают синие огоньки в потухающем камине, и чувствуя, как к нему медленно подкрадывается, туманя голову и расслабляя тело, привычный приступ малярии. Мысли его странным образом были прикованы к пойманному утром старику, о котором только что докладывал фельдфебель. Марков рассудком догадывался, что фельдфебель прав: в старике действительно было что-то необыкновенное, какое-то величественное равнодушие к жизни, вместе с кротостью и глубокой печалью. Подобных людей, похожих — но в очень слабой степени — на этого старика, капитан видел там, под Ляояном и у Мукдена, среди безропотно умиравших рядовых солдат. Когда сегодня привели к Маркову этих трех человек и он

объяснил им при помощи цинично-красноречивого жеста, что с ними будет поступлено, как со шпионами, то лица двух других сразу побледнели и исказились смертельным ужасом, а старик только усмехнулся с каким-то странным выражением усталости, равнодушия и даже... даже будто бы тихого, снисходительного сострадания к самому начальнику карательной экспедиции.

«Если он в самом деле мятежник, — размышлял Марков, закрывая воспаленные глаза и чувствуя, как мимо его глаз плывет какая-то мягкая, бездонная тьма, — то, без сомнения, он занимает там важный пост, и я поступил очень благоразумно, приказав его расстрелять. Ну, а если старик ни в чем не виновен? Тем хуже для него. Не могу же я отрывать для присмотра за ним двух человек, в особенности ввиду завтрашнего. Наконец, почему же он должен избегнуть участи *тех* пятнадцати, которых мы оставили позади? Нет, это было бы несправедливостью по отношению к прежним».

Капитан медленно открыл глаза и вдруг вскочил в смертельном страхе.

Перед капитаном, на низкой скамейке, сидел, понурившись, опершись ладонями о колени, в спокойной и грустно-задумчивой позе, приговоренный к смертной казни старик.

Капитан не был трусом в общепринятом смысле, хотя и верил в сверхъестественное и носил на груди ладанку с какой-то косточкой. Отступить в страхе, даже перед самым таинственным, нематериальным явлением, капитан счел бы таким же позором, как бегство перед неприятелем или унизительную мольбу о пощаде. Выхватив быстрым, привычным движением револьвер из кожаного чехла, он взвел курок, направил его дуло в голову незнакомца и закричал бешено:

— Если ты шевельнешься, черт тебя возьми!..

Старик медленно повернул голову. По его губам прошла та же самая улыбка, которая так врезалась капитану в память с сегодняшнего утра.

— Не тревожьтесь, капитан, я пришел к вам без дурного намерения, — произнес старик. — Попробуйте хоть до утра воздержаться от убийства.

Голос у этого странного гостя был такой же загадочный, как и его улыбка: ровный, однотонный и как будто бы без всякого тембра. Давным-давно, еще в раннем детстве, Марков нередко слышал, оставаясь один в комнате, за своею спиной такие голоса, без цвета и выражения, зовущие его по имени. Повинуясь непонятному влиянию этой улыбки и этого голоса, офицер положил револьвер под подушку и опять прилег, опершись головой на локоть и не сводя глаз с темной фигуры незнакомца. Несколько минут в комнате была тяжелая, жуткая тишина: только походный хронометр Маркова торопливо отбивал секунды, да перегоревшие уголья в камине падали вниз со слабым, но звонким металлическим хрустеньем.

— Скажи мне, Марков, — начал, наконец, старик, — что ответишь ты не судьям, не начальству, даже не императору, а своей совести, если она у тебя спросит: зачем пошел ты на эту ужасную, несправедливую бойню?..

Марков насмешливо пожал плечами.

— Однако у тебя, старикашка, довольно непринужденный тон для человека, которого через четыре часа расстреляют у дерева. Впрочем, поговорим, пожалуй. Это все-таки занимательней, чем метаться без сна в лихорадке... Итак, что я отвечу своей совести? Я отвечу ей, во-первых, что я солдат и мое дело повиноваться без всяких размышлений. Во-вторых, я — природный русский, и пусть всему миру станет известным, что тот, кто осмелится восстать против могущества великой державы, будет раздавлен под ее пятою, как червь, и даже самая могила его сравняется с землей...

— О Марков, Марков, сколько дикой и кровожадной гордости в твоих словах, — возразил старик. — И сколько неправды! Ты смотришь на предмет, приблизив его к самым глазам, и видишь одни лишь мелкие его подробности, но отойди от него дальше, и он представится тебе в своем настоящем виде. Неужели ты думаешь, что твоя великая родина бессмертна? Но разве не то же самое говорили и думали когда-то персы, и македоняне, и гордый Рим, охвативший весь

мир своими железными когтями, и дикие полчища гуннов, нахлынувших на Европу, и могущественная Испания, владевшая тремя частями света? Спроси у истории, куда девалась их необъятная власть? А я тебе скажу, что и до них, за тысячи веков, были великие государства, более сильные, гордые и культурные, чем твое отечество. Но жизнь, которая сильнее народов и древнее памятников, смела их со своего таинственного пути, не оставив от них ни следа, ни воспоминания.

— Это пустяки, — возразил слабеющим языком капитан, опускаясь на спину. — История идет своим течением, и не нам направлять ее или указывать ей дорогу.

Старик беззвучно засмеялся.

— Не уподобляйся той африканской птице, которая прячет голову в песок, когда ее преследуют охотники... Верь мне, пройдет сто лет, и дети твоих детей будут стыдиться своего предка Александра Васильевича Маркова, палача и убийцы.

— Сильно сказано, старина! Да, и я слыхал об этих бреднях восторженных мечтателей, которые собираются переделать мечи на плуги... Ха-ха-ха!.. Воображаю себе это царство золотушных неврастеников и рахитических идиотов. Нет, только война выковывает атлетические тела и железные характеры. Впрочем... — Марков крепко потер виски, силясь что-то припомнить. — Впрочем, это все неважно... О чем я хотел тебя спросить?.. Ах, да! Почему-то мне кажется, что ты не будешь говорить неправды. Ты здешний?

— Нет, — покачал головой старик.

— Но все-таки ты родился здесь?

— Нет.

— Но все-таки ты — европеец? Француз? Англичанин? Русский? Немец?

— Нет, нет...

Марков в раздражении ударил кулаком о борт кровати.

— Да кто же ты наконец? И почему, черт возьми, мне так страшно знакомо твое лицо? Видались мы когда-нибудь с тобой?

Старик еще больше понурился и долго сидел, не говоря ни слова. Наконец он заговорил, точно в раздумье:

— Да, мы с тобой встречались, Марков, но ты никогда не видал меня. Вероятно, ты не помнишь или забыл, как во время чумы твой дядя повесил в одно утро пятьдесят девять человек? В этот день я был в двух шагах от него, но он не видел меня.

— Да... правда... пятьдесят девять... — прошептал Марков, чувствуя, как им овладевает нестерпимый жар. — Но это... были... мятежники...

— Я был очевидцем жестоких подвигов твоего отца под Севастополем и твоего деда после взятия Измаила, — продолжал своим беззвучным голосом старик. — На моих глазах пролилось столько крови, что ею можно было бы затопить весь земной шар. Я был с Наполеоном на полях Аустерлица, Фридланда, Иены и Бородина. Я видел чернь, которая рукоплескала Сансону, когда он показывал с подмостков гильотины окровавленную голову Людовика. При мне в ночь святого Варфоломея правоверные католики с молитвой на устах избивали жен и детей гугенотов. В толпе беснующихся фанатиков я созерцал, как святые отцы инквизиторы жгли на кострах еретиков, как во славу божию сдирали они с них кожу и как заливали им рот расплавленным свинцом. Я шел вслед за полчищами Атиллы, Чингисхана и Солимана Великолепного, которые означали свой путь горами, сложенными из человеческих черепов. Вместе с буйной римской толпой я присутствовал в цирке при том, как травили псами зашитых в звериные шкуры христиан и как в мраморных бассейнах кормили мурен телами пленных рабов... Я видел безумные кровавые оргии Нерона и слышал плач иудеев у разрушенных стен Иерусалима.

— Ты — кошмар... уйди... ты — бред моего больного воображения. Отойди от меня, — с трудом прошептал Марков запекшимися губами.

Старик поднялся со скамейки. Его сгорбленная фигура точно выросла в одно мгновение, так что волосы его головы касались потолка. И он опять заговорил медленно, однотонно и грозно:

— Я видел, как впервые пролилась кровь человека. Были на земле два брата. Один ласковый, нежный, трудолюбивый и сострадательный. Другой — старший — был горд, жесток и завистлив. Однажды они оба приносили, по обычаю отцов, жертву своему богу: младший — плоды земные, а старший — мясо наловленных им зверей. Но старший питал в сердце злобу к своему брату, и дым от его жертвенника стлался по земле, между тем как дым от жертвенника младшего прямым столбом поднимался к небу. Тогда переполнилась душа старшего давнишней завистью и злобой. И произошло на земле первое убийство...

— Ах, отойди, оставь меня... ради бога, — шептал Марков, мечась по сбившейся простыне.

Но старик продолжал свою речь:

— Да, я видел, как его глаза расширились от ужаса смерти и как его скорченные пальцы судорожно царапали мокрый от крови песок. И когда он, вздрогнув в последний раз, вытянулся на земле, холодный, неподвижный и бледный, то нестерпимый страх овладел убийцей. Он бежал, пряча лицо свое, в лесную чащу и лежал там, дрожа всем телом, до самого вечера, до тех пор, пока не услышал голос разгневанного бога: «Каин, где брат твой Авель?»

— Уйди, не мучь меня! — с трудом шевелил губами Марков.

— Объятый трепетом, я отвечал господу: «Разве я сторож моему брату?» Тогда проклял меня господь вечным проклятием: «Оставайся в живых до тех пор, пока стоит созданный мною мир. Броди бездомным скитальцем во всех веках, народах и странах, и пусть твои глаза ничего не видят, кроме пролитой тобою крови, и пусть твои уши ничего не слышат, кроме предсмертных стонов, в которых ты всегда будешь узнавать последний стон твоего брата».

Старик замолчал на минуту, и когда он заговорил, то каждое его слово падало на Маркова с тяжелой болью:

— О господи, справедлив и неумолим твой суд! Уже многие столетия и десятки столетий странствую я по земле, напрасно ожидая смерти. Высшая, беспо-

щадная сила влечет меня туда, где умирают на полях сражений окровавленные, изуродованные люди, где плачут матери, произнося проклятия мне, первому братоубийце. И нет предела моим страданиям, потому что каждый раз, когда я вижу истекающего кровью человека, я снова вижу моего брата, распростертого на земле и хватающего помертвелыми пальцами песок... И тщетно хочу я крикнуть людям: «Проснитесь! Проснитесь! Проснитесь!..»

— Проснитесь, ваше высокоблагородие, проснитесь! — твердил под ухом Маркова настойчивый голос фельдфебеля. — Телеграмма...

Капитан быстро поднялся на ноги, мгновенно овладев, по привычке, своей волей. Уголья в камине давно потухли, а в окно столовой уже глядел бледный свет занимающегося дня.

— А как же... те?.. — спросил Марков с дрожью в голосе.

— Так точно, ваше высокоблагородие. Только что...

— А старик? Старик?

— Тоже.

Капитан, точно сразу обессилев, опустился на кровать. Фельдфебель стоял около него навытяжку, ожидая приказаний.

— Вот что, братец. Ты примешь вместо меня команду, — заговорил Марков слабым голосом. — Я сегодня подаю рапорт, потому что я... что меня... совершенно измучила эта проклятая лихорадка... И может быть, — он попробовал усмехнуться, но улыбка у него вышла кривая, — может быть, мне придется скоро и совсем уйти на покой.

Ничему не удивлявшийся фельдфебель, приложив руку к козырьку, ответил спокойно:

— Слушаю, ваше высокоблагородие.

ГАМБРИНУС

I

Так называлась пивная в бойком портовом городе на юге России. Хотя она и помещалась на одной из самых людных улиц, но найти ее было довольно трудно благодаря ее подземному расположению. Часто посетитель, даже близко знакомый и хорошо принятый в Гамбринусе, умудрялся миновать это замечательное заведение и, только пройдя две-три соседние лавки, возвращался назад.

Вывески совсем не было. Прямо с тротуара входили в узкую, всегда открытую дверь. От нее вела вниз такая же узкая лестница в двадцать каменных ступеней, избитых и скривленных многими миллионами тяжелых сапог. Над концом лестницы в простенке красовалось горельефное раскрашенное изображение славного покровителя пивного дела, короля Гамбринуса, величиною приблизительно в два человеческих роста. Вероятно, это скульптурное произведение было первой работой начинающего любителя и казалось грубо исполненным из окаменелых кусков ноздреватой губки, но красный камзол, горностаевая мантия, золотая корона и высоко поднятая кружка со стекающей вниз белой пеной не оставляли никакого сомнения, что перед посетителем — сам великий патрон пивоварения.

Пивная состояла из двух длинных, но чрезвычайно низких сводчатых зал. С каменных стен всегда сочилась беглыми струйками подземная влага и сверкала в огне газовых рожков, которые горели денно и нощно, потому что в пивной окон совсем не было. На сводах, однако, можно еще было достаточно ясно разобрать следы занимательной стенной живописи. На одной картине пировала большая компания немецких молодчиков, в охотничьих зеленых куртках, в шляпах с тетеревиными перьями, с ружьями за плечами. Все они, обернувшись лицом к пивной зале, приветствовали публику протянутыми кружками, а двое при этом еще обнимали за талию двух дебелых девиц, служанок при сельском кабачке, а может быть, дочерей доброго фермера. На другой стене изображался великосветский пикник времен первой половины XVIII столетия; графини и виконты в напудренных париках жеманно резвятся на зеленом лугу с барашками, а рядом, под развесистыми ивами, — пруд с лебедями, которых грациозно кормят кавалеры и дамы, сидящие в какой-то золотой скорлупе. Следующая картина представляла внутренность хохлацкой хаты и семью счастливых малороссиян, пляшущих гопака со штофами в руках. Еще дальше красовалась большая бочка, и на ней, увитые виноградом и листьями хмеля, два безобразно толстые амура с красными лицами, жирными губами и бесстыдно маслеными глазами чокаются плоскими бокалами. Во второй зале, отделенной от первой полукруглой аркой, шли картины из лягушечьей жизни: лягушки пьют пиво в зеленом болоте, лягушки охотятся на стрекоз среди густого камыша, играют струнный квартет, дерутся на шпагах и т. д. Очевидно, стены расписывал иностранный мастер.

Вместо столов были расставлены на полу, густо усыпанном опилками, тяжелые дубовые бочки; вместо стульев — маленькие бочоночки. Направо от входа возвышалась небольшая эстрада, а на ней стояло пианино. Здесь каждый вечер, уже много лет подряд, играл на скрипке для удовольствия и развлечения гостей музыкант Сашка — еврей, — кроткий, веселый,

пьяный, плешивый человек, с наружностью облезлой обезьяны, неопределенных лет. Проходили года, сменялись лакеи в кожаных нарукавниках, сменялись поставщики и развозчики пива, сменялись сами хозяева пивной, но Сашка неизменно каждый вечер к шести часам уже сидел на своей эстраде со скрипкой в руках и с маленькой беленькой собачкой на коленях, а к часу ночи уходил из Гамбринуса в сопровождении той же собачки Белочки, едва держась на ногах от выпитого пива.

Впрочем, было в Гамбринусе и другое несменяемое лицо — буфетчица мадам Иванова, — полная, бескровная, старая женщина, которая от беспрерывного пребывания в сыром пивном подземелье походила на бледных ленивых рыб, населяющих глубину морских гротов. Как капитан корабля из рубки, она с высоты своей буфетной стойки безмолвно распоряжалась прислугой и все время курила, держа папиросу в правом углу рта и щуря от дыма правый глаз. Голос ее редко кому удавалось слышать, а на поклоны она отвечала всегда одинаковой бесцветной улыбкой.

II

Громадный порт, один из самых больших торговых портов мира, всегда бывал переполнен судами. В него заходили темно-ржавые гигантские броненосцы. В нем грузились, идя на Дальний Восток, желтые толстотрубые пароходы Добровольного флота, поглощавшие ежедневно длинные поезда с товарами или тысячи арестантов. Весной и осенью здесь развевались сотни флагов со всех концов земного шара, и с утра до вечера раздавалась команда и ругань на всевозможных языках. От судов к бесчисленным пакгаузам и обратно по колеблющимся сходням сновали грузчики: русские босяки, оборванные, почти оголенные, с пьяными, раздутыми лицами, смуглые турки в грязных чалмах и в широких до колен, но обтянутых вокруг голени шароварах, коренастые мускулистые персы, с волосами и ногтями, окрашенными хной в огненно-

морковный цвет. Часто в порт заходили прелестные издали двух- и трехмачтовые итальянские шкуны со своими правильными этажами парусов — чистых, белых и упругих, как груди молодых женщин; показываясь из-за маяка, эти стройные корабли представлялись — особенно в ясные весенние утра — чудесными белыми видениями, плывущими не по воде, а по воздуху, выше горизонта. Здесь месяцами раскачивались в грязно-зеленой портовой воде, среди мусора, яичной скорлупы, арбузных корок и стад белых морских чаек, высоковерхие анатолийские кочермы и трапезондские фелюги, с их странной раскраской, резьбой и причудливыми орнаментами. Сюда изредка заплывали и какие-то диковинные узкие суда, под черными просмоленными парусами, с грязной тряпкой вместо флага; обогнув мол и чуть-чуть не черкнув об него бортом, такое судно, все накренившись набок и не умеряя хода, влетало в любую гавань, приставало среди разноязычной руготни, проклятий и угроз к первому попавшемуся молу, где матросы его, — совершенно голые, бронзовые, маленькие люди, — издавая гортанный клекот, с непостижимой быстротой убирали рваные паруса, и мгновенно грязное, таинственное судно делалось как мертвое. И так же загадочно, темной ночью, не зажигая огней, оно беззвучно исчезало из порта. Весь залив по ночам кишел легкими лодочками контрабандистов. Окрестные и дальние рыбаки свозили в город рыбу: весною — мелкую камсу, миллионами наполнявшую доверху их баркасы, летом — уродливую камбалу, осенью — макрель, жирную кефаль и устрицы, а зимой — десяти- и двадцатипудовую белугу, выловленную часто с большой опасностью для жизни за много верст от берега.

Все эти люди — матросы разных наций, рыбаки, кочегары, веселые юнги, портовые воры, машинисты, рабочие, лодочники, грузчики, водолазы, контрабандисты, — все они были молоды, здоровы и пропитаны крепким запахом моря и рыбы, знали тяжесть труда, любили прелесть и ужас ежедневного риска, ценили выше всего силу, молодечество, задор и хлесткость крепкого слова, а на суше предавались с диким

наслаждением разгулу, пьянству и дракам. По вечерам огни большого города, взбегавшие высоко наверх, манили их, как волшебные светящиеся глаза, всегда обещая что-то новое, радостное, еще не испытанное, и всегда обманывая.

Город соединялся с портом узкими, крутыми, коленчатыми улицами, по которым порядочные люди избегали ходить ночью. На каждом шагу здесь попадались ночлежные дома с грязными, забранными решеткой окнами, с мрачным светом одинокой лампы внутри. Еще чаще встречались лавки, в которых можно было продать с себя всю одежду вплоть до нательной матросской сетки и вновь одеться в любой морской костюм. Здесь также было много пивных, таверн, кухмистерских и трактиров с выразительными вывесками на всех языках и немало явных и тайных публичных домов, с порогов которых по ночам грубо размалеванные женщины зазывали сиплыми голосами матросов. Были греческие кофейни, где играли в домино и в шестьдесят шесть, и турецкие кофейни, с приборами для курения наргиле и с ночлегом за пятачок; были восточные кабачки, в которых продавали улиток, петалиди, креветок, миди, больших бородавчатых чернильных каракатиц и другую морскую гадость. Где-то на чердаках и в подвалах, за глухими ставнями, ютились игорные притоны, в которых штосс и баккара часто кончались распоротым животом или проломленным черепом, и тут же рядом за углом, иногда в соседней каморке, можно было спустить любую краденую вещь, от брильянтового браслета до серебряного креста и от тюка с лионским бархатом до казенной матросской шинели.

Эти крутые узкие улицы, черные от угольной пыли, к ночи всегда становились липкими и зловонными, точно они потели в кошмарном сне. И они походили на сточные канавы или на грязные кишки, по которым большой международный город извергал в море все свои отбросы, всю свою гниль, мерзость и порок, заражая ими крепкие мускулистые тела и простые души.

Здешние буйные обитатели редко подымались наверх в нарядный, всегда праздничный город с его зеркальными стеклами, гордыми памятниками, сиянием электричества, асфальтовыми тротуарами, аллеями белой акации, величественными полицейскими, со всей его показной чистотой и благоустройством. Но каждый из них, прежде чем расшвырять по ветру свои трудовые, засаленные, рваные, разбухшие рублевки, непременно посещал Гамбринус. Это было освящено древним обычаем, хотя для этого и приходилось под прикрытием вечернего мрака пробираться в самый центр города.

Многие, правда, совсем не знали мудреного имени славного пивного короля. Просто кто-нибудь предлагал:

— Идем к Сашке?

А другие отвечали:

— Есть! Так держать.

И уже все вместе говорили:

— Вира!

Нет ничего удивительного, что среди портовых и морских людей Сашка пользовался бóльшим почетом и известностью, чем, например, местный архиерей или губернатор. И, без сомнения, если не его имя, то его живое обезьянье лицо и его скрипка вспоминались изредка в Сиднее и в Плимуте, так же как в Нью-Йорке, во Владивостоке, в Константинополе и на Цейлоне, не считая уже всех заливов и бухт Черного моря, где водилось множество почитателей его таланта из числа отважных рыбаков.

III

Обыкновенно Сашка приходил в Гамбринус в те часы, когда там еще никого не было, кроме одного-двух случайных посетителей. В залах в это время стоял густой и кислый запах вчерашнего пива и было темновато, потому что днем берегли газ. В жаркие июльские дни, когда каменный город изнывал от солнца и глох от уличной трескотни, здесь приятно чувствовалась тишина и прохлада.

Сашка подходил к прилавку, здоровался с мадам Ивановой и выпивал свою первую кружку пива. Иногда буфетчица просила:

— Саша, сыграйте что-нибудь!

— Что прикажете вам сыграть, мадам Иванова? — любезно осведомлялся Сашка, который всегда был с ней изысканно любезен.

— Что-нибудь свое...

Он садился на обычное место налево от пианино и играл какие-то странные, длительные, тоскливые пьесы. Становилось как-то сонно и тихо в подземелье, только с улицы доносилось глухое рокотание города, да изредка лакеи осторожно побрякивали посудой за стеной на кухне. Со струн Сашкиной скрипки плакала древняя, как земля, еврейская скорбь, вся затканная и обвитая печальными цветами национальных мелодий. Лицо Сашки с напруженным подбородком и низко опущенным лбом, с глазами, сурово глядевшими вверх из-под отяжелевших бровей, совсем не бывало похоже в этот сумеречный час на знакомое всем гостям Гамбринуса оскаленное, подмигивающее, пляшущее лицо Сашки. Собачка Белочка сидела у него на коленях. Она давно уже привыкла не подвывать музыке, но страстно-тоскливые, рыдающие и проклинающие звуки невольно раздражали ее: она в судорожных зевках широко раскрывала рот, завивая назад тонкий розовый язычок, и при этом на минуту дрожала всем тельцем и нежной черноглазой мордочкой.

Но вот мало-помалу набиралась публика, приходил аккомпаниатор, покончивший какое-нибудь стороннее дневное занятие у портного или часовщика, на буфете выставлялись сосиски в горячей воде и бутерброды с сыром, и, наконец, зажигались все остальные газовые рожки. Сашка выпивал свою вторую кружку, командовал товарищу: «Майский парад, ейн, цвей, дрей!» — и начинал бурный марш. С этой минуты он едва успевал раскланиваться со вновь приходящими, из которых каждый считал себя особенным, интимным знакомым Сашки и оглядывал гордо прочих гостей после его поклона. В то же время Сашка прищуривал то один, то другой глаз, собирал кверху длинные мор-

щины на своем лысом, покатом назад черепе, двигал комически губами и улыбался на все стороны.

К десяти — одиннадцати часам Гамбринус, вмещавший в свои залы до двухсот и более человек, оказывался битком набитым. Многие, почти половина, приходили с женщинами в платочках, никто не обижался на тесноту, на отдавленную ногу, на смятую шапку, на чужое пиво, окатившее штаны; если обижались, то только по пьяному делу «для задёра». Подвальная сырость, тускло блестя, еще обильнее струилась со стен, покрытых масляной краской, а испарения толпы падали вниз с потолка, как редкий, тяжелый, теплый дождь. Пили в Гамбринусе серьезно. В нравах этого заведения почиталось особенным шиком, сидя вдвоем-втроем, так уставлять стол пустыми бутылками, чтобы за ними не видеть собеседника, как в стеклянном зеленом лесу.

В развале вечера гости краснели, хрипли и становились мокрыми. Табачный дым резал глаза. Надо было кричать и нагибаться через стол, чтобы расслышать друг друга в общем гаме. И только неутомимая скрипка Сашки, сидевшего на своем возвышении, торжествовала над духотой, над жарой, над запахом табака, газа, пива и над оранием бесцеремонной публики.

Но посетители быстро пьянели от пива, от близости женщин, от жаркого воздуха. Каждому хотелось своих любимых, знакомых песен. Около Сашки постоянно торчали, дергая его за рукав и мешая ему играть, по два, по три человека, с тупыми глазами и нетвердыми движеньями.

— Сашш!.. С-стра-дательную... Убла... — проситель икал, — убла-а-твори!

— Сейчас, сейчас, — твердил Сашка, быстро кивая головой, и с ловкостью врача, без звука, опускал в боковой карман серебряную монету. — Сейчас, сейчас.

— Сашка, это же подлость. Я деньги дал и уже двадцать раз прошу: «В Одессу морем я плыла».

— Сейчас, сейчас...

— Сашка, «Соловья»!

— Сашка, «Марусю»!,

— «Зец-Зец», Сашка, «Зец-Зец»!

— Сейчас, сейчас...

— «Ча-ба-на»! — орал с другого конца залы не человеческий, а какой-то жеребячий голос.

И Сашка при общем хохоте кричал ему по-петушиному:

— Сейча-а-ас...

И он играл без отдыха все заказанные песни. По-видимому, не было ни одной, которой бы он не знал наизусть. Со всех сторон в карманы ему сыпались серебряные монеты, и со всех столов ему присылали кружки с пивом. Когда он слезал со своей эстрады, чтобы подойти к буфету, его разрывали на части.

— Сашенька... Мил'чек... Одну кружечку.

— Саша, за ваше здоровье. Иди же сюда, черт, печенки, селезенки, если тебе говорят.

— Сашка-а, пиво иди пи-ить! — орал жеребячий голос.

Женщины, склонные, как и все женщины, восхищаться людьми эстрады, кокетничать, отличаться и раболепствовать перед ними, звали его воркующим голосом, с игривым, капризным смешком:

— Сашечка, вы должны непременно от мене выпить... Нет, нет, нет, я вас просю. И потом сыграйте «куку-вок».

Сашка улыбался, гримасничал и кланялся налево и направо, прижимал руку к сердцу, посылал воздушные поцелуи, пил у всех столов пиво и, возвратившись к пианино, на котором его ждала новая кружка, начинал играть какую-нибудь «Разлуку». Иногда, чтобы потешить своих слушателей, он заставлял свою скрипку в лад мотиву скулить щенком, хрюкать свиньею или хрипеть раздирающими басовыми звуками. И слушатели встречали эти шутки с благодушным одобрением:

— Го-го-го-го-о-о!

Становилось все жарче. С потолка лило, некоторые из гостей уже плакали, ударяя себя в грудь, другие с кровавыми глазами ссорились из-за женщин и из-за прежних обид и лезли друг на друга, удерживаемые более трезвыми соседями, чаще всего прихлебателями.

Лакеи чудом протискивались между бочками, бочонками, ногами и туловищами, высоко держа над головами сидящих свои руки, унизанные пивными кружками. Мадам Иванова, еще более бескровная, невозмутимая и молчаливая, чем всегда, распоряжалась из-за буфетной стойки действиями прислуги, подобно капитану судна во время бури.

Всех одолевало желание петь. Сашка, размякший от пива, от собственной доброты и от той грубой радости, которую доставляла другим его музыка, готов был играть что угодно. И под звуки его скрипки охрипшие люди нескладными деревянными голосами орали в один тон, глядя друг другу с бессмысленной серьезностью в глаза:

На что нам ра-азлучаться,
Ах, на что в разлу-уке жить.
Не лучше ль повенчаться,
Любовью дорожить?

А рядом другая компания, стараясь перекричать первую, очевидно враждебную, голосила уже совсем вразброд:

Вижу я по походке,
Что пестреются штанцы.
В него волос под шантрета
И на рипах сапоги.

Гамбринус часто посещали малоазиатские греки «допголаки», которые приплывали в русские порты на рыбные промысла. Они тоже заказывали Сашке свои восточные песни, состоящие из унылого, гнусавого однообразного воя на двух-трех нотах, и с мрачными лицами, с горящими глазами готовы были петь их по целым часам. Играл Сашка и итальянские народные куплеты, и хохлацкие думки, и еврейские свадебные танцы, и много другого. Однажды зашла в Гамбринус кучка матросов-негров, которым, глядя на других, тоже очень захотелось попеть. Сашка быстро уловил по слуху скачущую негритянскую мелодию, тут же подобрал к ней аккомпанемент на пианино, и вот, к большому восторгу и потехе завсегдатаев Гамбри-

нуса, пивная огласилась странными, капризными, гортанными звуками африканской песни.

Один репортер местной газеты, Сашкин знакомый, уговорил как-то профессора музыкального училища пойти в Гамбринус послушать тамошнего знаменитого скрипача. Но Сашка догадался об этом и нарочно заставил скрипку более обыкновенного мяукать, блеять и реветь. Гости Гамбринуса так и разрывались от смеха, а профессор сказал презрительно:

— Клоунство.

И ушел, не допив своей кружки.

IV

Нередко деликатные маркизы и пирующие немецкие охотники, жирные амуры и лягушки бывали со своих стен свидетелями такого широкого разгула, какой редко где можно было бы увидеть, кроме Гамбринуса.

Являлась, например, закутившая компания воров после хорошего дела, каждый с возлюбленной, каждый в фуражке, лихо заломленной набок, в лакированных сапогах, с изысканными трактирными манерами, с пренебрежительным видом. Сашка играл для них особые, воровские песни: «Погиб я, мальчишечка», «Не плачь ты, Маруся», «Прошла весна» и другие. Плясать они считали ниже своего достоинства, но их подруги, все недурные собой, молоденькие, иные почти девочки, танцевали «Чабана» с визгом и щелканьем каблуков. И женщины и мужчины пили очень много, — было дурно только то, что воры всегда заканчивали свой кутеж старыми денежными недоразумениями и любили исчезнуть не платя.

Приходили большими артелями, человек по тридцати, рыбаки после счастливого улова. Поздней осенью выдавались такие счастливые недели, когда в каждый завод попадалось ежедневно тысяч по сорока скумбрии или кефали. За это время самый мелкий пайщик зарабатывал более двухсот рублей. Но еще более обогащал рыбаков удачный лов белуги зимой,

зато он и отличался большими трудностями. Приходилось тяжело работать, за тридцать — сорок верст от берега, среди ночи, иногда в ненастную погоду, когда вода заливала баркас и тотчас же обледеневала на одежде, на веслах, а погода держала по двое, по трое суток в море, пока не выбрасывала куда-нибудь верст за двести, в Анапу или в Трапезонд. Каждую зиму пропадало без вести до десятка яликов, и только весною волны прибивали то тут, то там к чужому берегу трупы отважных рыбаков.

Зато когда они возвращались с моря благополучно и удачливо, то на суше ими овладевала бешеная жажда жизни. Несколько тысяч рублей спускались в два-три дня в самом грубом, оглушительном, пьяном кутеже. Рыбаки забирались в трактир или еще в какое-нибудь веселое место, вышвыривали всех посторонних гостей, запирали наглухо двери и ставни и целые сутки напролет пили, предавались любви, орали песни, били зеркала, посуду, женщин и нередко друг друга, пока сон не одолевал их где попало — на столах, на полу, поперек кроватей, среди плевков, окурков, битого стекла, разлитого вина и кровавых пятен. Так кутили рыбаки несколько суток подряд, иногда меняя место, иногда оставаясь в одном и том же. Прокутив все до последнего гроша, они с гудящими головами, со знаками битв на лицах, трясясь от похмелья, молчаливые, удрученные и покаянные, шли на берег, к баркасам, чтобы приняться вновь за свое милое и проклятое, тяжелое и увлекательное ремесло.

Они никогда не забывали навестить Гамбринус. Они туда вламывались огромные, осипшие, с красными лицами, обожженными свирепым зимним нордостом, в непромокаемых куртках, в кожаных штанах и в воловьих сапогах по бедра, — в тех самых сапогах, в которых их друзья среди бурной ночи шли ко дну, как камни.

Из уважения к Сашке они не выгоняли посторонних, хотя и чувствовали себя хозяевами пивной и били тяжелые кружки об пол. Сашка играл им ихние рыбацкие песни, протяжные, простые и грозные, как шум моря, и они пели все в один голос, напрягая до

последней степени свои здоровые груди и закаленные глотки. Сашка действовал на них, как Орфей, усмирявший волны, и случалось, что какой-нибудь сорокалетний атаман баркаса, бородатый, весь обветренный, звероподобный мужчинище, заливался слезами, выводя тонким голосом жалостливые слова песни:

Ах, бедный, бедный я, мальчишечка,
Что вродился рыбаком...

А иногда они плясали, топчась на месте, с каменными лицами, громыхая своими пудовыми сапогами и распространяя по всей пивной острый соленый запах рыбы, которым насквозь пропитались их тела и одежды. К Сашке они были очень щедры и подолгу не отпускали от своих столов. Он хорошо знал образ их тяжелой, отчаянной жизни. Часто, когда он играл им, то чувствовал у себя в душе какую-то почтительную грусть.

Но особенно он любил играть английским матросам с коммерческих судов. Они приходили гурьбой, держась рука об руку, — все как бы на подбор грудастые, широкоплечие, молодые, белозубые, с здоровым румянцем, с веселыми, смелыми голубыми глазами. Крепкие мышцы распирали их куртки, а из глубоко вырезанных воротников возвышались прямые, могучие, стройные шеи. Некоторые знали Сашку по прежним стоянкам в этом порту. Они узнавали его и, приветливо скаля белые зубы, приветствовали его по-русски:

— Здрайст, здрайст.

Сашка сам, без приглашения, играл им «Rule Britannia» [1]. Должно быть, сознание того, что они сейчас находятся в стране, отягощенной вечным рабством, придавало особенно гордую торжественность этому гимну английской свободы. И когда они пели, стоя, с обнаженными головами, последние великолепные слова:

Никогда, никогда, никогда
Англичанин не будет рабом! —

то невольно и самые буйные соседи снимали шапки.

---

[1] «Правь Британия» *(англ.)*.

Коренастый боцман с серьгой в ухе и с бородой, растущей, точно бахрома, из шеи, подходил к Сашке с двумя кружками пива, широко улыбался, хлопал его дружелюбно по спине и просил сыграть джигу. При первых же звуках этого залихватского морского танца англичане вскакивали и расчищали место, отодвигая к стенам бочонки. Посторонних просили об этом жестами, с веселыми улыбками, но если кто не торопился, с тем не церемонились, а прямо вышибали из-под него сидение хорошим ударом ноги. К этому, однако, прибегали редко, потому что в Гамбринусе все были ценителями танцев и в особенности любили английскую джигу. Даже сам Сашка, не переставая играть, становился на стул, чтобы лучше видеть.

Матросы делали круг и в такт быстрому танцу били в ладоши, а двое выступали в середку. Танец изображал жизнь матроса во время плавания. Судно готово к отходу, погода чудесная, все в порядке. У танцоров руки скрещены на груди, головы откинуты назад, тело спокойно, хотя ноги выбивают бешеную дробь. Но вот поднялся ветерок, начинается небольшая качка. Для моряка — это одно веселье, только колена танца становятся все сложнее и замысловатее. Задул и свежий ветер — ходить по палубе уже не так удобно, — танцоров слегка покачивает с боку на бок. Наконец вот и настоящая буря — матроса швыряет от борта к борту, дело становится серьезным. «Все наверх, убирать паруса!» По движениям танцоров до смешного понятно, как они карабкаются руками и ногами на ванты, тянут паруса и крепят шкоты, между тем как буря все сильнее раскачивает судно. «Стой, человек за бортом!» Спускают шлюпку. Танцоры, опустив вниз головы, напружив мощные голые шеи, гребут частыми взмахами, то сгибая, то распрямляя спины. Буря, однако, проходит, мало-помалу утихает качка, проясняется небо, и вот уже судно опять плавно бежит с попутным ветром, и опять танцоры с неподвижными телами, со скрещенными руками отделывают ногами веселую частую джигу.

Приходилось Сашке иногда играть лезгинку для грузин, которые занимались в окрестностях города

виноделием. Для него не было незнакомых плясок. В то время когда один танцор, в папахе и черкеске, воздушно носился между бочками, закидывая за голову то одну, то другую руку, а его друзья прихлопывали в такт и подкрикивали, Сашка тоже не мог утерпеть и вместе с ними одушевленно кричал: «Хас! хас! хас! хас!» Случалось ему также играть молдаванский джок, и итальянскую тарантеллу, и вальсы немецким матросам.

Случалось, что в Гамбринусе дрались, и довольно жестоко. Старые посетители любили рассказывать о легендарном побоище между русскими военными матросами, уволенными в запас с какого-то крейсера, и английскими моряками. Дрались кулаками, кастетами, пивными кружками и даже швыряли друг в друга бочонками для сидения. Не к чести русских воинов надо сказать, что они первые начали скандал, первые же пустили в ход ножи и вытеснили англичан из пивной только после получасового боя, хотя превосходили их численностью в три раза.

Очень часто Сашкино вмешательство останавливало ссору, которая на волоске висела от кровопролития. Он подходил, шутил, улыбался, гримасничал, и тотчас же со всех сторон к нему протягивались бокалы.

— Сашка, кружечку!.. Сашка, со мной!.. Вера, закон, печенки, гроб...

Может быть, на простые дикие нравы влияла эта кроткая и смешная доброта, весело лучившаяся из его глаз, спрятанных под покатым черепом? Может быть, своеобразное уважение к таланту и что-то вроде благодарности? А может быть, также и то обстоятельство, что большинство завсегдатаев Гамбринуса состояло вечными Сашкиными должниками. В тяжелые минуты «декохта», что на морском и портовом жаргоне обозначает полное безденежье, к Сашке свободно и безотказно обращались за мелкими суммами или за небольшим кредитом у буфета.

Конечно, долгов ему не возвращали — не по злостному умыслу, а по забывчивости, — но эти же долж-

ники в минуту разгула возвращали ссуду десятерицею за Сашкины песни.

Буфетчица иногда выговаривала ему:

— Удивляюсь, Саша, как это вы не жалеете своих денег?

Он возражал убедительно:

— Да мадам же Иванова. Да мне же их с собой в могилу не брать. Нам с Белочкой хватит. Белинька, собачка моя; поди сюда.

V

Появлялись в Гамбринусе также и свои модные, сезонные песни.

Во время войны англичан с бурами процветал «Бурский марш» (кажется, к этому именно времени относилась знаменитая драка русских моряков с английскими). По меньшей мере раз двадцать в вечер заставляли Сашку играть эту героическую пьесу и неизменно в конце ее махали фуражками, кричали «ура», а на равнодушных косились недружелюбно, что не всегда бывало добрым предзнаменованием в Гамбринусе.

Затем подошли франко-русские торжества. Градоначальник с кислой миной разрешил играть марсельезу. Ее тоже требовали ежедневно, но уже не так часто, как бурский марш, причем «ура» кричали жиже и шапками совсем не размахивали. Происходило это оттого, что, с одной стороны, не было мотивов для игры сердечных чувств, с другой стороны — посетители Гамбринуса недостаточно понимали политическую важность союза, а с третьей — было замечено, что каждый вечер требуют марсельезу и кричат «ура» все одни и те же лица.

На минутку сделался было модным мотив кек-уока, и даже какой-то случайный, заколобродивший купчик, не снимая енотовой шубы, высоких калош и лисьей шапки, протанцевал его однажды между бочками. Однако этот негритянский танец был вскорости позабыт.

Но вот наступила великая японская война. Посетители Гамбринуса зажили ускоренною жизнью. На

бочонках появились газеты, по вечерам спорили о войне. Самые мирные, простые люди обратились в политиков и стратегов, но каждый из них в глубине души трепетал если не за себя, то за брата, или, что еще вернее, за близкого товарища: в эти дни ясно сказалась та незаметная и крепкая связь, которая спаивает людей, долго разделявших труд, опасность и ежедневную близость к смерти.

Вначале никто не сомневался в нашей победе. Сашка раздобыл где-то «Куропаткин-марш» и вечеров двадцать подряд играл его с некоторым успехом. Но как-то в один вечер «Куропаткин-марш» был навсегда вытеснен песней, которую привезли с собой балаклавские рыбаки, «соленые греки», или «пиндосы», как их здесь называли:

Ах, зачем нас отдали в солдаты,
Посылают на Дальний Восток?
Неужли же мы в том виноваты,
Что вышли ростом на лишний вершок?

С тех пор в Гамбринусе ничего другого не хотели слушать. Целыми вечерами только и было слышно требование:

— Саша, страдательную! Балаклавскую! запасную!

Пели и плакали и пили вдвое больше обыкновенного, как, впрочем, пила тогда поголовно вся Россия. Каждый вечер приходил кто-нибудь прощаться, храбрился, ходил петухом, бросал шапку об землю, грозился один разбить всех япошек и кончал страдательной песней со слезами.

Однажды Сашка явился в пивную раньше, чем всегда. Буфетчица, налив ему первую кружку, сказала, по обыкновению:

— Саша, сыграйте, что-нибудь свое...

У него вдруг закривились губы и кружка заходила в руке.

— Знаете что, мадам Иванова? — сказал он точно в недоумении. — Ведь меня же в солдаты забирают. На войну.

Мадам Иванова всплеснула руками.

— Да не может быть, Саша! Шутите?

— Нет, — уныло и покорно покачал головой Сашка, — не шучу.

— Но ведь вам лета вышли, Саша? Сколько вам лет?

Этим вопросом как-то до сих пор никто не интересовался. Все думали, что Сашке столько же лет, сколько стенам пивной, маркизам, хохлам, лягушкам и самому раскрашенному королю Гамбринусу, сторожившему вход.

— Сорок шесть. — Саша подумал. — А может быть, сорок девять. Я сирота, — прибавил он уныло.

— Так вы пойдите, объясните кому следует.

— Я уже ходил, мадам Иванова, я уже объяснял.

— И... Ну?

— Ну, мне ответили: пархатый жид, жидовская морда, поговори еще — попадешь в клоповник... И дали вот сюда.

Вечером новость стала известной всему Гамбринусу, и из сочувствия Сашку напоили мертвецки. Он пробовал кривляться, гримасничать, прищуривать глаза, но из его кротких смешных глаз глядели грусть и ужас. Один здоровенный рабочий, ремеслом котельщик, вдруг вызвался идти на войну вместо Сашки. Всем была ясна очевидная глупость такого предложения, но Сашка растрогался, прослезился, обнял котельного мастера и тут же подарил ему свою скрипку. А Белочку он оставил буфетчице.

— Мадам Иванова, вы же смотрите за собачкой. Может, я и не вернусь, так будет вам память о Сашке. Белинька, собачка моя! Смотрите, облизывается. Ах ты, моя бедная... И еще попрошу вас, мадам Иванова. У меня за хозяином остались деньги, так вы получите и отправьте... Я вам напишу адреса. В Гомеле у меня есть двоюродный брат, у него семья, и еще в Жмеринке живет вдова племянника. Я им каждый месяц... Что ж, мы, евреи, такой народ... мы любим родственников. А я сирота, я одинокий. Прощайте же, мадам Иванова.

— Прощайте, Саша! Давайте хоть поцелуемся на прощание-то. Сколько лет... И — вы не сердитесь — я вас перекрещу на дорогу.

Сашкины глаза были глубоко печальны, но он не мог удержаться, чтобы не спаясничать напоследок:

— А что, мадам Иванова, я от русского креста не подохну?

VI

Гамбринус опустел и заглох, точно он осиротел без Сашки и его скрипки. Хозяин пробовал было пригласить в виде приманки квартет бродячих мандолинистов, из которых один, одетый опереточным англичанином с рыжими баками и наклейным носом, в клетчатых панталонах и в воротничке выше ушей, исполнял с эстрады комические куплеты и бесстыдные телодвижения. Но квартет не имел ровно никакого успеха: наоборот, мандолинистам свистали и бросали в них огрызками сосисок, а главного комика однажды поколотили тендровские рыбаки за непочтительный отзыв о Сашке.

Однако, по старой памяти, Гамбринус еще посещался морскими и портовыми молодцами из тех, кого война не повлекла на смерть и страдания. Сначала о Сашке вспоминали каждый вечер:

— Эх, Сашку бы теперь! Душе без него тесно...

— Да-а... Где-то ты витаешь, мил-любезный друг Сашенька?

В полях Манжу-у-урии далеко... —

заводил кто-нибудь новую сезонную песню, смущенно замолкал, а другой произносил неожиданно:

— Раны бывают сквозные, колотые и рубленые. А бывают и рваные...

Сибе с победой проздравляю,
Тибе с оторванной рукой...

— Постой, не скули... Мадам Иванова, от Сашки нет ли каких известий? Письма или открыточки?

Мадам Иванова теперь целыми вечерами читала газету, держа ее от себя на расстоянии вытянутой руки, откинув голову и шевеля губами. Белочка лежала у нее на коленях и мирно похрапывала. Буфет-

чица далеко уже не походила на бодрого капитана, стоящего на посту, а ее команда бродила по пивной вялая и заспанная.

На вопрос о Сашкиной судьбе она медленно качала головой.

— Ничего не знаю... И писем нет, и из газет ничего неизвестно.

Потом медленно снимала очки, клала их вместе с газетой, рядом с теплой, угревшейся Белочкой, и, отвернувшись, тихонько всхлипывала.

Иногда она, склоняясь к собачке, говорила жалобным, трогательным голоском:

— Что, Белинька? Что, собаченька? Где наш Саша? А? Где наш хозяин?

Белочка подымала кверху деликатную мордочку, моргала влажными черными глазами и в тон буфетчице начинала тихонько подвывать:

— А-у-у-у... Ау-ф... А-у-у...

Но... все обтачивает и смывает время. Мандолинистов сменили балалаечники, балалаечников — русско-малороссийский хор с девицами, и, наконец, прочнее других утвердился в Гамбринусе известный Лешка-гармонист, по профессии вор, но решивший, вследствие женитьбы, искать правильных путей. Его давно знали по разным трактирам, а потому терпели и здесь, да, впрочем, и надо было терпеть, дела в Гамбринусе шли очень плохо.

Проходили месяцы, прошел год. О Сашке теперь никто не вспоминал, кроме мадам Ивановой, да и та больше не плакала при его имени. Прошел еще год. Должно быть, о Сашке забыла даже и беленькая собачка.

Но, вопреки Сашкиному сомнению, он не только не подох от русского креста, но не был даже ни разу ранен, хотя участвовал в трех больших битвах и однажды ходил в атаку впереди батальона в составе музыкантской команды, куда его зачислили играть на флейте. Под Вафангоу он попал в плен и по окончании войны был привезен на германском пароходе в тот самый порт, где работали и буйствовали его друзья.

Весть о его прибытии, как электрический ток, разнеслась по всем гаваням, молам, пристаням и мастерским... Вечером в Гамбринусе было так много народа, что большинству приходилось стоять, кружки с пивом передавались из рук в руки через головы, и хотя многие в этот день ушли, неплативши, Гамбринус торговал, как никогда. Котельный мастер принес Сашкину скрипку, бережно завернутую в женин платок, который он тут же и пропил. Откуда-то раздобыли последнего по времени Сашкина аккомпаниатора. Лешка-гармонист, человек самолюбивый и самомнительный, вломился было в амбицию. «Я получаю поденно, и у меня контракт!» — твердил он упрямо. Но его попросту выбросили за дверь и наверно поколотили бы, если бы не Сашкино заступничество.

Уж наверно ни один из отечественных героев времен японской войны не видел такой сердечной и бурной встречи, какую сделали Сашке! Сильные, корявые руки подхватывали его, поднимали на воздух и с такой силой подбрасывали вверх, что чуть не расшибли Сашку о потолок. И кричали так оглушительно, что газовые язычки гасли, а городовой несколько раз заходил в пивную и упрашивал, «чтобы потише, потому что на улице очень громко».

В этот вечер Сашка переиграл все любимые песни и танцы Гамбринуса. Играл он также и японские песенки, заученные им в плену, но они не понравились слушателям. Мадам Иванова, словно ожившая, опять бодро держалась над своим капитанским мостиком, а Белка сидела у Сашки на коленях и визжала от радости. Случалось, что когда Сашка переставал играть, то какой-нибудь простодушный рыболов, только теперь осмысливший чудо Сашкиного возвращения, вдруг восклицал с наивным и радостным изумлением:

— Братцы, да ведь это Сашка!

Густым ржанием и веселым сквернословием наполнялись залы Гамбринуса, и опять Сашку хватали, бросали под потолок, орали, пили, чокались и обливали друг друга пивом.

Сашка, казалось, совсем не изменился и не постарел за свое отсутствие: время и бедствия так же мало

действовали на его наружность, как и на лепного Гамбринуса, охранителя и покровителя пивной. Но мадам Иванова с чуткостью сердечной женщины заметила, что из глаз Сашки не только не исчезло выражение ужаса и тоски, которые она видела в них при прощании, но стало еще глубже и значительнее. Сашка попрежнему паясничал, подмигивал и собирал на лбу морщины, но мадам Иванова чувствовала, что он притворяется.

VII

Все пошло своим порядком, как будто вовсе не было ни войны, ни Сашкиного пленения в Нагасаки. Так же праздновали счастливый улов белуги и лобана рыбаки в сапогах-великанах, так же плясали воровские подруги, и Сашка по-прежнему играл матросские песни, привезенные из всех гаваней земного шара.

Но уже близились пестрые, переменчивые, бурные времена. Однажды вечером весь город загудел, заволновался, точно встревоженный набатом, и в необычный час на улицах стало черно от народа. Маленькие белые листки ходили по рукам вместе с чудесным словом: «свобода», которое в этот вечер без числа повторяла вся необъятная, доверчивая страна.

Настали какие-то светлые, праздничные, ликующие дни, и сияние их озаряло даже подземелье Гамбринуса. Приходили студенты, рабочие, приходили молодые, красивые девушки. Люди с горящими глазами становились на бочки, так много видевшие на своем веку, и говорили. Не все было понятно в этих словах, но от той пламенной надежды и великой любви, которая в них звучала, трепетало сердце и раскрывалось им навстречу.

— Сашка, марсельезу! Ж-жарь! Марсельезу!

Нет, это было совсем не похоже на ту марсельезу, которую скрепя сердце разрешил играть градоначальник в неделю франко-русских восторгов. По улицам ходили бесконечные процессии с красными флагами и пением. На женщинах алели красные ленточки

и красные цветы. Встречались совсем незнакомые люди и вдруг, светло улыбнувшись, пожимали руки друг другу...

Но вся эта радость мгновенно исчезла, точно ее смыло, как следы детских ножек на морском прибрежье. В Гамбринус однажды влетел помощник пристава, толстый, маленький, задыхающийся, с выпученными глазами, темно-красный, как очень спелый томат.

— Что? Кто здесь хозяин? — хрипел он. — Подавай хозяина!

Он увидел Сашку, стоявшего со скрипкой.

— Ты хозяин? Молчать! Что? Гимны играете? Чтобы никаких гимнов!

— Никаких гимнов больше не будет, ваше превосходительство, — спокойно ответил Сашка.

Полицейский посизел, приблизил к самому носу Сашки указательный палец, поднятый вверх, и грозно покачал им влево и вправо.

— Ник-как-ких!

— Слушаю, ваше превосходительство, никаких.

— Я вам покажу революцию, я вам покаж-у-у-у!

Помощник пристава, как бомба, вылетел из пивной, и с его уходом всех придавило уныние.

И на весь город спустился мрак. Ходили темные, тревожные, омерзительные слухи. Говорили с осторожностью, боялись выдать себя взглядом, пугались своей тени, страшились собственных мыслей. Город в первый раз с ужасом подумал о той клоаке, которая глухо ворочалась под его ногами, там, внизу, у моря, и в которую он так много лет выбрасывал свои ядовитые испражнения. Город забивал щитами зеркальные окна своих великолепных магазинов, охранял патрулями гордые памятники и расставлял на всякий случай по дворам прекрасных домов артиллерию. А на окраинах в зловонных каморках и на дырявых чердаках трепетал, молился и плакал от ужаса избранный народ божий, давно покинутый гневным библейским богом, но до сих пор верящий, что мера его тяжелых испытаний еще не исполнена.

Внизу, около моря, в улицах, похожих на темные липкие кишки, совершалась тайная работа. Настежь были открыты всю ночь двери кабаков, чайных и ночлежек.

Утром начался погром. Те люди, которые однажды, растроганные общей чистой радостью и умиленные светом грядущего братства, шли по улицам с пением, под символами завоеванной свободы, — те же самые люди шли теперь убивать, и шли не потому, что им было приказано, и не потому, что они питали вражду против евреев, с которыми часто вели тесную дружбу, и даже не из-за корысти, которая была сомнительна, а потому, что грязный, хитрый дьявол, живущий в каждом человеке, шептал им на ухо: «Идите. Все будет безнаказанно: запретное любопытство убийства, сладострастие насилия, власть над чужой жизнью».

В дни погромов Сашка свободно ходил по городу со своей смешной обезьяньей, чисто еврейской физиономией. Его не трогали. В нем была та непоколебимая душевная смелость, та *небоязнь боязни,* которая охраняет даже слабого человека лучше всяких браунингов. Но один раз, когда он, прижатый к стене дома, сторонился от толпы, ураганом лившейся во всю ширь улицы, какой-то каменщик, в красной рубахе и белом фартуке, замахнулся над ним зубилом и зарычал:

— Жи-ид! Бей жида! В крррови!

Но кто-то схватил его сзади за руку.

— Стой, черт, это же Сашка. Олух ты, матери твоей в сердце, в печень...

Каменщик остановился. Он в эту хмельную, безумную, бредовую секунду готов был убить кого угодно — отца, сестру, священника, даже самого православного бога, но также был готов, как ребенок, послушаться приказания каждой твердой воли.

Он осклабился, как идиот, сплюнул и утер нос рукой. Но вдруг в глаза ему бросилась белая нервная собачка, которая, дрожа, терлась около Сашки. Быстро наклонившись, он поймал ее за задние ноги, высоко поднял, ударил головой о плиты тротуара и побежал. Сашка молча глядел на него. Он бежал, весь наклонившись вперед, с протянутыми руками, без шапки, с

раскрытым ртом и с глазами, круглыми и белыми от безумия.

На сапоги Сашки брызнул мозг из Белочкиной головы. Сашка отер пятно платком.

VIII

Затем настало странное время, похожее на сон человека в параличе. По вечерам во всем городе ни в одном окне не светилось огня, но зато ярко горели огненные вывески кафешантанов и окна кабачков. Победители проверяли свою власть, еще не насытясь вдоволь безнаказанностью. Какие-то разнузданные люди в маньчжурских папахах, с георгиевскими лентами в петлицах курток, ходили по ресторанам и с настойчивой развязностью требовали исполнения народного гимна и следили за тем, чтобы все вставали. Они вламывались также в частные квартиры, шарили в кроватях и комодах, требовали водки, денег и гимна и наполняли воздух пьяной отрыжкой.

Однажды они вдесятером пришли в Гамбринус и заняли два стола. Они держали себя самым вызывающим образом, повелительно обращались с прислугой, плевали через плечи незнакомых соседей, клали ноги на чужие сиденья, выплескивали на пол пиво под предлогом, что оно несвежее. Их никто не трогал. Все знали, что это сыщики, и глядели на них с тем же тайным ужасом и брезгливым любопытством, с каким простой народ смотрит на палачей. Один из них явно предводительствовал. Это был некто Мотька Гундосый, рыжий, с перебитым носом, гнусавый человек — как говорили — большой физической силы, прежде вор, потом вышибала в публичном доме, затем сутенер и сыщик, крещеный еврей.

Сашка играл «Метелицу». Вдруг Гундосый подошел к нему, крепко задержал его правую руку и, оборотясь назад, на зрителей, крикнул:

— Гимн! Народный гимн! Братцы, в честь обожаемого монарха... Гимн!

— Гимн! Гимн! — загудели мерзавцы в папахах.

— Гимн! — крикнул вдали одинокий, неуверенный голос.

Но Сашка выдернул руку и сказал спокойно:

— Никаких гимнов.

— Что? — заревел Гундосый. — Ты не слушаться! Ах ты жид вонючий!

Сашка наклонился вперед, совсем близко к Гундосому, и, весь сморщившись, держа опущенную скрипку за гриф, спросил:

— А ты?

— Что́ а я?

— Я жид вонючий. Ну хорошо. А ты?

— Я православный.

— Православный? А за сколько?

Весь Гамбринус расхохотался, а Гундосый, белый от злобы, обернулся к товарищам.

— Братцы! — говорил он дрожащим, плачущим голосом чьи-то чужие, заученные слова. — Братцы, доколе мы будем терпеть надругания жидов над престолом и святой церковью?..

Но Сашка, встав на своем возвышении, одним звуком заставил его вновь обернуться к себе, и никто из посетителей Гамбринуса никогда не поверил бы, что этот смешной, кривляющийся Сашка может говорить так веско и властно.

— Ты! — крикнул Сашка. — Ты, сукин сын! Покажи мне твое лицо, убийца... Смотри на меня!.. Ну!..

Все произошло быстро, как один миг. Сашкина скрипка высоко поднялась, быстро мелькнула в воздухе, и — трах! — высокий человек в папахе качнулся от звонкого удара по виску. Скрипка разлетелась в куски. В руках у Сашки остался только гриф, который он победоносно подымал над головами толпы.

— Братцы-ы, выруча-ай! — заорал Гундосый.

Но выручать было уже поздно. Мощная стена окружила Сашку и закрыла его. И та же стена вынесла людей в папахах на улицу.

Но спустя час, когда Сашка, окончив свое дело, выходил из пивной на тротуар, несколько человек бро-

силось на него. Кто-то из них ударил Сашку в глаз, засвистел и сказал подбежавшему городовому:

— В Бульварный участок. По политическому. Вот мой значок.

IX

Теперь вторично и окончательно считали Сашку похороненным. Кто-то видел всю сцену, происшедшую на тротуаре около пивной, и передал ее другим. А в Гамбринусе заседали опытные люди, которые знали, что такое за учреждение Бульварный участок и что такое за штука месть сыщиков.

Но теперь о Сашкиной судьбе гораздо меньше беспокоились, чем в первый раз, и гораздо скорее забыли о нем. Через два месяца на его месте сидел новый скрипач (между прочим, Сашкин ученик), которого разыскал аккомпаниатор.

И вот однажды, спустя месяца три, тихим весенним вечером, в то время когда музыканты играли вальс «Ожидание», чей-то тонкий голос воскликнул испуганно:

— Ребята, Сашка!

Все обернулись и встали с бочонков. Да, это был он, дважды воскресший Сашка, но теперь обросший бородой, исхудалый, бледный. К нему кинулись, окружили, тискали его, мяли, совали ему кружки с пивом. Но внезапно тот же голос крикнул:

— Братцы, рука-то!..

Все вдруг замолкли. Левая рука у Сашки, скрюченная и точно смятая, была приворочена локтем к боку. Она, очевидно, не сгибалась и не разгибалась, а пальцы торчали навсегда около подбородка.

— Что это у тебя, товарищ? — спросил, наконец, волосатый боцман из «Русского общества».

— Э, глупости... там какое-то сухожилие или что, — ответил Сашка беспечно.

— Та-а-к...

Опять все помолчали.

— Значит, и «Чабану» теперь конец? — спросил боцман участливо.

— «Чабану»? — переспросил Сашка, и глаза его заиграли. — Эй, ты! — приказал он с обычной уверенностью аккомпаниатору. — «Чабана»! Ейн, цвей, дрей!..

Пианист зачастил веселую пляску, недоверчиво оглядываясь назад. Но Сашка здоровой рукой вынул из кармана какой-то небольшой, в ладонь величиной, продолговатый черный инструмент с отростком, вставил этот отросток в рот и, весь изогнувшись налево, насколько ему это позволяла изуродованная, неподвижная рука, вдруг засвистел на окарине оглушительно веселого «Чабана».

— Хо-хо-хо! — раскатились радостным смехом зрители.

— Черт! — воскликнул боцман и совсем неожиданно для самого себя сделал ловкую выходку и пустился выделывать дробные коленца. Подхваченные его порывом, заплясали гости, женщины и мужчины. Даже лакеи, стараясь не терять достоинства, с улыбкой перебирали на месте ногами. Даже мадам Иванова, забыв обязанности капитана на вахте, качала головой в такт огненной пляске и слегка прищелкивала пальцами. И, может быть, даже сам старый, ноздреватый, источенный временем Гамбринус пошевеливал бровями, весело глядя на улицу, и казалось, что из рук изувеченного, скрючившегося Сашки жалкая, наивная свистулька пела на языке, к сожалению, еще не понятном ни для друзей Гамбринуса, ни для самого Сашки:

— Ничего! Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит.

СЛОН

I

Маленькая девочка нездорова. Каждый день к ней ходит доктор Михаил Петрович, которого она знает уже давно-давно. А иногда он приводит с собою еще двух докторов, незнакомых. Они переворачивают девочку на спину и на живот, слушают что-то, приложив ухо к телу, оттягивают вниз глазные веки и смотрят. При этом они как-то важно посапывают, лица у них строгие, и говорят они между собою на непонятном языке.

Потом переходят из детской в гостиную, где их дожидается мама. Самый главный доктор — высокий, седой, в золотых очках — рассказывает ей о чем-то серьезно и долго. Дверь не закрыта, и девочке с ее кровати все видно и слышно. Многого она не понимает, но знает, что речь идет о ней. Мама глядит на доктора большими, усталыми, заплаканными глазами. Прощаясь, главный доктор говорит громко:

— Главное, — не давайте ей скучать. Исполняйте все ее капризы.

— Ах, доктор, но она ничего не хочет!

— Ну, не знаю... вспомните, что ей нравилось раньше, до болезни. Игрушки... какие-нибудь лакомства...

— Нет, нет, доктор, она ничего не хочет...

— Ну, постарайтесь ее как-нибудь развлечь... Ну, хоть чем-нибудь... Даю вам честное слово, что если

вам удастся ее рассмешить, развеселить, — это будет лучшим лекарством. Поймите же, что ваша дочка больна равнодушием к жизни, и больше ничем... До свидания, сударыня!

II

— Милая Надя, милая моя девочка, — говорит мама, — не хочется ли тебе чего-нибудь?

— Нет, мама, ничего не хочется.

— Хочешь, я посажу к тебе на постельку всех твоих кукол. Мы поставим креслица, диван, столик и чайный прибор. Куклы будут пить чай и разговаривать о погоде и о здоровье своих детей.

— Спасибо, мама... Мне не хочется... Мне скучно...

— Ну, хорошо, моя девочка, не надо кукол. А может быть, позвать к тебе Катю или Женечку? Ты ведь их так любишь.

— Не надо, мама. Правда же, не надо. Я ничего, ничего не хочу. Мне так скучно!

— Хочешь, я тебе принесу шоколаду?

Но девочка не отвечает и смотрит в потолок неподвижными, невеселыми глазами. У нее ничего не болит и даже нет жару. Но она худеет и слабеет с каждым днем. Что бы с ней ни делали, ей все равно, и ничего ей не нужно. Так лежит она целые дни и целые ночи, тихая, печальная. Иногда она задремлет на полчаса, но и во сне ей видится что-то серое, длинное, скучное, как осенний дождик.

Когда из детской отворена дверь в гостиную, а из гостиной дальше в кабинет, то девочка видит папу. Папа ходит быстро из угла в угол и все курит, курит. Иногда он приходит в детскую, садится на край постельки и тихо поглаживает Надины ноги. Потом вдруг встает и отходит к окну. Он что-то насвистывает, глядя на улицу, но плечи у него трясутся. Затем он торопливо прикладывает платок к одному глазу, к другому и, точно рассердясь, уходит к себе в кабинет. Потом он опять бегает из угла в угол и все... курит, курит, курит... И кабинет от табачного дыма делается весь синий.

III

Но однажды утром девочка просыпается немного бодрее, чем всегда. Она что-то видела во сне, но никак не может вспомнить, что именно, и смотрит долго и внимательно в глаза матери.

— Тебе что-нибудь нужно? — спрашивает мама.

Но девочка вдруг вспоминает свой сон и говорит шепотом, точно по секрету:

— Мама... а можно мне... слона? Только не того, который нарисован на картинке... Можно?

— Конечно, моя девочка, конечно можно.

Она идет в кабинет и говорит папе, что девочка хочет слона. Папа тотчас же надевает пальто и шляпу и куда-то уезжает. Через полчаса он возвращается с дорогой, красивой игрушкой. Это большой серый слон, который сам качает головою и машет хвостом; на слоне красное седло, а на седле золотая палатка и в ней сидят трое маленьких человечков. Но девочка глядит на игрушку так же равнодушно, как на потолок и на стены, и говорит вяло:

— Нет. Это совсем не то. Я хотела настоящего, живого слона, а этот мертвый.

— Ты погляди только, Надя, — говорит папа. — Мы его сейчас заведем, и он будет совсем, совсем как живой.

Слона заводят ключиком, и он, покачивая головой и помахивая хвостом, начинает переступать ногами и медленно идет по столу. Девочке это совсем не интересно и даже скучно, но, чтобы не огорчить отца, она шепчет кротко:

— Я тебя очень, очень благодарю, милый папа. Я думаю, ни у кого нет такой интересной игрушки... Только... помнишь... ведь ты давно обещал свозить меня в зверинец посмотреть на настоящего слона... и ни разу не повез...

— Но, послушай же, милая моя девочка, пойми, что это невозможно. Слон очень большой, он до потолка, он не поместится в наших комнатах... И потом, где я его достану?

— Папа, да мне не нужно такого большого... Ты мне привези хоть маленького, только живого. Ну, хоть вот, вот такого... Хоть слоненышка...

— Милая девочка, я рад все для тебя сделать, но этого я не могу. Ведь это все равно, как если бы ты вдруг мне сказала: папа, достань мне с неба солнце.

Девочка грустно улыбается.

— Какой ты глупый, папа. Разве я не знаю, что солнце нельзя достать, потому что оно жжется. И луну тоже нельзя. Нет, мне бы слоника... настоящего.

И она тихо закрывает глаза и шепчет:

— Я устала... Извини меня, папа...

Папа хватает себя за волосы и убегает в кабинет. Там он некоторое время мелькает из угла в угол. Потом решительно бросает на пол недокуренную папиросу (за что ему всегда достается от мамы) и кричит горничной:

— Ольга! Пальто и шляпу!

В переднюю выходит жена.

— Ты куда, Саша? — спрашивает она.

Он тяжело дышит, застегивая пуговицы пальто.

— Я сам, Машенька, не знаю куда... Только, кажется, я сегодня к вечеру и в самом деле приведу сюда, к нам, настоящего слона.

Жена смотрит на него тревожно.

— Милый, здоров ли ты? Не болит ли у тебя голова? Может быть, ты плохо спал сегодня?

— Я совсем не спал, — отвечает он сердито. — Я вижу, ты хочешь спросить, не сошел ли я с ума? Покамест нет еще. До свиданья! Вечером все будет видно.

И он исчезает, громко хлопнув входной дверью.

IV

Через два часа он сидит в зверинце, в первом ряду, и смотрит, как ученые звери по приказанию хозяина выделывают разные штуки. Умные собаки прыгают, кувыркаются, танцуют, поют под музыку, складывают слова из больших картонных букв. Обезьянки — одни в красных юбках, другие в синих штанишках — ходят по канату и ездят верхом на большом пуделе. Огром-

ные рыжие львы скачут сквозь горящие обручи. Неуклюжий тюлень стреляет из пистолета. Под конец выводят слонов. Их три: один большой, два совсем маленькие, карлики, но все-таки ростом куда больше, чем лошадь. Странно смотреть, как эти громадные животные, на вид такие неповоротливые и тяжелые, исполняют самые трудные фокусы, которые не под силу и очень ловкому человеку. Особенно отличается самый большой слон. Он становится сначала на задние лапы, садится, становится на голову, ногами вверх, ходит по деревянным бутылкам, ходит по катящейся бочке, переворачивает хоботом страницы большой картонной книги и, наконец, садится за стол и, повязавшись салфеткой, обедает, совсем как благовоспитанный мальчик.

Представление оканчивается. Зрители расходятся. Надин отец подходит к толстому немцу, хозяину зверинца. Хозяин стоит за дощатой перегородкой и держит во рту большую черную сигару.

— Извините, пожалуйста, — говорит Надин отец. — Не можете ли вы отпустить вашего слона ко мне домой на некоторое время?

Немец от удивления широко открывает глаза и даже рот, отчего сигара падает на землю. Он, кряхтя, нагибается, подымает сигару, вставляет ее опять в рот и только тогда произносит:

— Отпустить? Слона? Домой? Я вас не понимаю.

По глазам немца видно, что он тоже хочет спросить, не болит ли у Надиного отца голова... Но отец поспешно объясняет, в чем дело: его единственная дочь, Надя, больна какой-то странной болезнью, которой даже доктора не понимают как следует. Она лежит уж месяц в кроватке, худеет, слабеет с каждым днем, ничем не интересуется, скучает и потихоньку гаснет. Доктора велят ее развлекать, но ей ничто не нравится; велят исполнять все ее желания, но у нее нет никаких желаний. Сегодня она захотела видеть живого слона. Неужели это невозможно сделать?

И он добавляет дрожащим голосом, взявши немца за пуговицу пальто:

— Ну, вот... Я, конечно, надеюсь, что моя девочка выздоровеет. Но... спаси бог... вдруг ее болезнь окон-

чится плохо... вдруг девочка умрет?.. Подумайте только: ведь меня всю жизнь будет мучить мысль, что я не исполнил ее последнего, самого последнего желания!..

Немец хмурится и в раздумье чешет мизинцем левую бровь. Наконец он спрашивает:

— Гм... А сколько вашей девочке лет?

— Шесть.

— Гм... Моей Лизе тоже шесть. Гм... Но, знаете, вам это будет дорого стоить. Придется привести слона ночью и только на следующую ночь увести обратно. Днем нельзя. Соберется публикум, и сделается один скандал... Таким образом выходит, что я теряю целый день, и вы мне должны возвратить убыток.

— О, конечно, конечно... не беспокойтесь об этом...

— Потом: позволит ли полиция вводить один слон в один дом?

— Я это устрою. Позволит.

— Еще один вопрос: позволит ли хозяин вашего дома вводить в свой дом один слон?

— Позволит. Я сам хозяин этого дома.

— Ага! Это еще лучше. И потом еще один вопрос: в котором этаже вы живете?

— Во втором.

— Гм... Это уже не так хорошо... Имеете ли вы в своем доме широкую лестницу, высокий потолок, большую комнату, широкие двери и очень крепкий пол? Потому что мой Томми имеет высоту три аршина и четыре вершка, а в длину четыре аршина. Кроме того, он весит сто двенадцать пудов.

Надин отец задумывается на минуту.

— Знаете ли что? — говорит он. — Поедем сейчас ко мне и рассмотрим все на месте. Если надо, я прикажу расширить проход в стенах.

— Очень хорошо! — соглашается хозяин зверинца.

V

Ночью слона ведут в гости к больной девочке.

В белой попоне он важно шагает по самой середине улицы, покачивает головой и то свивает, то развивает

хобот. Вокруг него, несмотря на поздний час, большая толпа. Но слон не обращает на нее внимания: он каждый день видит сотни людей в зверинце. Только один раз он немного рассердился.

Какой-то уличный мальчишка подбежал к нему под самые ноги и начал кривляться на потеху зевакам.

Тогда слон спокойно снял с него хоботом шляпу и перекинул ее через соседний забор, утыканный гвоздями.

Городовой идет среди толпы и уговаривает ее:

— Господа, прошу разойтись. И что вы тут находите такого необыкновенного? Удивляюсь! Точно не видали никогда живого слона на улице.

Подходят к дому. На лестнице, так же как и по всему пути слона, до самой столовой, все двери растворены настежь, для чего приходилось отбивать молотком дверные щеколды. Точно так же делалось однажды, когда в дом вносили большую чудотворную икону.

Но перед лестницей слон останавливается в беспокойстве и упрямится.

— Надо дать ему какое-нибудь лакомство... — говорит немец.— Какой-нибудь сладкий булка или что... Но... Томми!.. Ого-го... Томми!..

Надин отец бежит в соседнюю булочную и покупает большой круглый фисташковый торт. Слон обнаруживает желание проглотить его целиком вместе с картонной коробкой, но немец дает ему всего четверть. Торт приходится по вкусу Томми, и он протягивает хобот за вторым ломтем. Однако немец оказывается хитрее. Держа в руке лакомство, он подымается вверх со ступеньки на ступеньку, и слон с вытянутым хоботом, с растопыренными ушами поневоле следует за ним. На площадке Томми получает второй кусок.

Таким образом его приводят в столовую, откуда заранее вынесена вся мебель, а пол густо застлан соломой... Слона привязывают за ногу к кольцу, ввинченному в пол. Кладут перед ним свежей моркови, капусты и репы. Немец располагается рядом, на диване. Тушат огни, и все ложатся спать.

VI

На другой день девочка просыпается чуть свет и прежде всего спрашивает:

— А что же слон? Он пришел?

— Пришел, — отвечает мама, — но только он велел, чтобы Надя сначала умылась, а потом съела яйцо всмятку и выпила горячего молока.

— А он добрый?

— Он добрый. Кушай, девочка. Сейчас мы пойдем к нему.

— А он смешной?

— Немножко. Надень теплую кофточку.

Яйцо быстро съедено, молоко выпито. Надю сажают в ту самую колясочку, в которой она ездила, когда была еще такой маленькой, что совсем не умела ходить, и везут в столовую.

Слон оказывается гораздо больше, чем думала Надя, когда разглядывала его на картинке. Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а в длину занимает половину столовой. Кожа на нем грубая, в тяжелых складках. Ноги толстые, как столбы. Длинный хвост с чем-то вроде помела на конце. Голова в больших шишках. Уши большие, как лопухи, и висят вниз. Глаза совсем крошечные, но умные и добрые. Клыки обрезаны. Хобот — точно длинная змея и оканчивается двумя ноздрями, а между ними подвижной, гибкий палец. Если бы слон вытянул хобот во всю длину, то наверно достал бы им до окна.

Девочка вовсе не испугана. Она только немножко поражена громадной величиной животного. Зато нянька, шестнадцатилетняя Поля, начинает визжать от страха.

Хозяин слона, немец, подходит к колясочке и говорит:

— Доброго утра, барышня. Пожалуйста, не бойтесь. Томми очень добрый и любит детей.

Девочка протягивает немцу свою маленькую бледную ручку.

— Здравствуйте, как вы поживаете? — отвечает она. — Я вовсе ни капельки не боюсь. А как его зовут?

— Томми.

— Здравствуйте, Томми, — произносит девочка и кланяется головой. Оттого, что слон такой большой, она не решается говорить ему на «ты». — Как вы спали эту ночь?

Она и ему протягивает руку. Слон осторожно берет и пожимает ее тоненькие пальчики своим подвижным сильным пальцем и делает это гораздо нежнее, чем доктор Михаил Петрович. При этом слон качает головой, а его маленькие глаза совсем сузились, точно смеются.

— Ведь он все понимает? — спрашивает девочка немца.

— О, решительно все, барышня!

— Но только он не говорит?

— Да, вот только не говорит. У меня, знаете, есть тоже одна дочка, такая же маленькая, как и вы. Ее зовут Лиза. Томми с ней большой, очень большой приятель.

— А вы, Томми, уже пили чай? — спрашивает девочка слона.

Слон опять вытягивает хобот и дует в самое лицо девочки теплым сильным дыханием, отчего легкие волосы на голове девочки разлетаются во все стороны.

Надя хохочет и хлопает в ладоши. Немец густо смеется. Он сам такой большой, толстый и добродушный, как слон, и Наде кажется, что они оба похожи друг на друга. Может быть, они родня?

— Нет, он не пил чаю, барышня. Но он с удовольствием пьет сахарную воду. Также он очень любит булки.

Приносят поднос с булками. Девочка угощает слона. Он ловко захватывает булку своим пальцем и, согнув хобот кольцом, прячет ее куда-то вниз под голову, где у него движется смешная, треугольная, мохнатая нижняя губа. Слышно, как булка шуршит о сухую кожу. То же самое Томми проделывает с другой булкой, и с третьей, и с четвертой, и с пятой и в знак благодарности кивает головой, и его маленькие глазки еще больше суживаются от удовольствия. А девочка радостно хохочет.

Когда все булки съедены, Надя знакомит слона со своими куклами:

— Посмотрите, Томми, вот эта нарядная кукла — это Соня. Она очень добрый ребенок, но немножко капризна и не хочет есть суп. А это Наташа — Сонина дочь. Она уже начинает учиться и знает почти все буквы. А вот это — Матрешка. Это моя самая первая кукла. Видите, у нее нет носа и голова приклеена и нет больше волос. Но все-таки нельзя же выгонять из дому старушку. Правда, Томми? Она раньше была Сониной матерью, а теперь служит у нас кухаркой. Ну, так давайте играть, Томми: вы будете папой, а я мамой, а это будут наши дети.

Томми согласен. Он смеется, берет Матрешку за шею и тащит к себе в рот. Но это только шутка. Слегка пожевав куклу, он опять кладет ее девочке на колени, правда немного мокрую и помятую.

Потом Надя показывает ему большую книгу с картинками и объясняет:

— Это лошадь, это канарейка, это ружье... Вот клетка с птичкой, вот ведро, зеркало, печка, лопата, ворона.. А это вот, посмотрите, это слон! Правда, совсем не похоже? Разве же слоны бывают такие маленькие, Томми?

Томми находит, что таких маленьких слонов никогда не бывает на свете. Вообще ему эта картинка не нравится. Он захватывает пальцем край страницы и переворачивает ее.

Наступает час обеда, но девочку никак нельзя оторвать от слона. На помощь приходит немец:

— Позвольте, я все это устрою. Они пообедают вместе.

Он приказывает слону сесть. Слон послушно садится, отчего пол во всей квартире сотрясается и дребезжит посуда в шкафу, а у нижних жильцов сыплется с потолка штукатурка. Напротив его садится девочка. Между ними ставят стол. Слону подвязывают скатерть вокруг шеи, и новые друзья начинают обедать. Девочка ест суп из курицы и котлетку, а слон — разные овощи и салат. Девочке дают крошечную рюмку хересу, а слону — теплой воды со стаканом рома, и он с удоволь-

ствием вытягивает этот напиток хоботом из миски. Затем они получают сладкое — девочка чашку какао, а слон половину торта, на этот раз орехового. Немец в это время сидит с папой в гостиной и с таким же наслаждением, как и слон, пьет пиво, только в большем количестве.

После обеда приходят какие-то папины знакомые, их еще в передней предупреждают о слоне, чтобы они не испугались. Сначала они не верят, а потом, увидев Томми, жмутся к дверям.

— Не бойтесь, он добрый! — успокаивает их девочка.

Но знакомые поспешно уходят в гостиную и, не просидев и пяти минут, уезжают.

Наступает вечер. Поздно. Девочке пора спать. Однако ее невозможно оттащить от слона. Она так и засыпает около него, и ее уже сонную отвозят в детскую. Она даже не слышит, как ее раздевают.

В эту ночь Надя видит во сне, что она женилась на Томми и у них много детей, маленьких, веселых слоняток. Слон, которого ночью отвели в зверинец, тоже видит во сне милую, ласковую девочку. Кроме того, ему снятся большие торты, ореховые и фисташковые, величиною с ворота...

Утром девочка просыпается бодрая, свежая и, как в прежние времена, когда она была еще здорова, кричит на весь дом, громко и нетерпеливо:

— Мо-лоч-ка!

Услышав этот крик, мама радостно крестится у себя в спальне.

Но девочка тут же вспоминает о вчерашнем и спрашивает:

— А слон?

Ей объясняют, что слон ушел домой по делам, что у него есть дети, которых нельзя оставлять одних, что он просил кланяться Наде и что он ждет ее к себе в гости, когда она будет здорова.

Девочка хитро улыбается и говорит:

— Передайте Томми, что я уже совсем здорова!

СКАЗОЧКИ

(приноровленные детьми для родителей)

I

О ДУМЕ

Раз был праздник. Благородные дети играли в песочек. И все у них шло хорошо, и сами они были такие умные, и костюмчики на них нарядные, и ручки чистенькие. Вдруг приходит уличный мальчишка: волосы сосульками, рыжие, нос вверх ноздрями смотрит, босой да корявый. И гнусит:

— Прими-ите в игру-у.

Благородные дети ему и говорят:

— Нет, нет, уходи. Ты нас еще гадким словам научишь.

— Ей-богу, не научу. Вот лопни глаза... Прими-ите...

— Нет, уходи, уходи. У тебя коклюш и дифтерит. Нам мама не велит с тобой водиться.

— Да она не узнает. Ей-богу. А я вас научу гнезда разорять. И еще я умею муравьев рыть... И лягушек надувать умею соломинкой.

— Ну? А не врешь?

— Ей-богу.

И приняли его благородные мальчики в игру. А он взял да нарочно всем и напакостил. Одному благородному ребенку крапивы в панталончики натолкал, дру-

гому синяк подставил под глазом, а самого главного генеральского ребенка завел в лужу, да там и посадил и оставил сидеть. А потом всех выбранил дурными словами и убежал.

Прибежали на их крик родители и очень разгневались. Всех благородных мальчиков по домам развели и по пустым комнатам рассажали. А про уличного мальчишку сказали:

— Ладно! Попадись ты в другой раз!

А он стоит за забором, кажет язык, вертит кукиш и дразнится:

— Не боюся никого,
Кроме бога одного...

Это все, милые родители, присказка. Сказка еще впереди.

II

О КОНСТИТУЦИИ

Жил-был мальчик. И жила-была большая дворовая собака. Она жила в конуре на цепи. Она была добрая-предобрая, но голодная. И мальчик ее все дразнил.

Вот он раз однажды привязал на длинную веревку кусок жирной говядины. Потом подошел к конуре и спрашивает:

— Бабачка, а бабачка, хочешь ньям-ньям?

— Гав!

— Очень хочешь?

— Гав, гав!

Тогда мальчик кинул ей мясо. Тогда собака хам! — и проглотила мясо. А мальчик взял за конец веревку и вытащил мясо назад. И опять спрашивает:

— Бабачка, а бабачка, хочешь кушать?

— Гав! гав! гав!

Он опять ей кинул мясо, собака опять проглотила, а он опять взял да вытащил назад. И опять спрашивает:

— Бабачка, говядинки хочешь?

Тогда собака рассердилась. Кинулась, оборвала цепь и разодрала на мальчике новые штанишки сверху донизу. Мальчик убежал, а собака взяла да и съела все мясо, и с веревкой.

Заплакал мальчик горькими слезами. Стал жаловаться папе-маме, дяде-тете. А папа-мама, дядя-тетя и говорят:

— А ты бы не дразнил собаку. Она голодная. Теперь вот ее и на цепь не посадишь.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ

Ложи, партер и хоры большой, в два света, залы губернского дворянского собрания были битком набиты, и, несмотря на это, публика сохраняла такую тишину, что, когда оратор остановился, чтобы сделать глоток воды, всем было слышно, как в окне бьется одинокая, поздняя муха.

Среди белых, розовых и голубых платьев дам, среди их роскошных обнаженных плечей и нежных головок сияло шитье мундиров, чернели фраки и золотились густые эполеты.

Оратор, в форме министерства народного просвещения, — высокий, худой человек, желтое лицо которого, казалось, состояло только из черной бороды и черных сверкающих очков, — стоял на эстраде, опираясь рукою на стол.

Но внимательные глаза публики были обращены не на него, а на какой-то странный, массивный, гораздо выше человеческого роста предмет в парусиновом чехле, широкий снизу и узкий вверху, возвышавшийся серой пирамидой тут же, на эстраде, возле самой рампы.

Утолив жажду, оратор откашлялся и продолжал:

— Резюмирую кратко все сказанное. Итак, что мы видим, господа? Мы видим, что поощрительная система отметок, наград и отличий ведет к развитию зависти и недоброжелательства в одних и нежелательного озлоб-

ления в других. Педагогические внушения теряют свою силу благодаря частой повторяемости. Ставить на колени, в угол носом, у часов, под лампу и тому подобное — это часто служит не примером для прочих учеников, а чем-то вроде общей потехи, смехотворного балагана. Заключение в карцере положительно вредно, не говоря уже о том, что оно бесплодно отнимает время от учебных занятий. Принудительная работа лишает самую работу ее высокого святого смысла. Наказание голодом вредно отзывается на мозговой восприимчивости. Лишение отпуска в закрытых учебных заведениях только озлобляет учеников и вызывает неудовольствие родителей. Что же остается? Исключить неспособного или шаловливого юношу из школы, памятуя святое писание, советующее лучше отсечь болящий член, нежели всему телу быть зараженным? Да, увы! — подобная мера бывает подчас так же неизбежна, как неизбежна, к сожалению, смертная казнь в любом из благоустроенных государств. Но прежде, чем прибегнуть к этому последнему, безвозвратному средству, поищем...

— А драть? — густым басом сказал из первого ряда местный комендант, седой, тучный, глухой старец, и тотчас же под его креслом сердито и хрипло тявкнул мопс.

Генерал повсюду являлся с палкой, слуховым рожком и старым, задыхающимся мопсом.

Оратор поклонился, приятно осклабившись.

— Я не имел в виду выразиться так коротко и определенно, но в основе его превосходительство угадали мою мысль. Да, милостивые государи и милостивые государыни, мы еще не говорили об одной доброй, старой, исконно русской мере — о наказании на теле. Однако она лежит в самом духе истории великого русского народа, мощного своей национальностью, патриотизмом и глубокой верой в провидение! Еще апостол сказал: ему же урок — урок, ему же лоза — лоза. Незабвенный исторический памятник средневековой письменности — «Домострой» — с отеческой твердостью советует то же самое. Вспомним нашего гениального царя-преобразователя — Петра Великого с его знаме-

нитой дубинкой. Вспомните изречение бессмертного Пушкина, воскликнувшего:

...Наши предки чем древнее,
Тем больше съели батогов...

Вспомним, наконец, нашего удивительного Гоголя, сказавшего устами простого, немудрящего крепостного слуги: мужика надо драть, потому что мужик балуется... Да, господа, я смело утверждаю, что наказание розгами по телу проходит красной нитью через все громадное течение русской истории и коренится в самых глубоких недрах русской самобытности.

Но, погружаясь мыслью в прошедшее и являясь таким образом консерватором, я, милостивые государи и милостивые государыни, тем не менее с распростертыми руками иду навстречу самым либеральнейшим из гуманистов. Я открыто, громогласно признаю, что в телесном наказании, в том виде, как оно до сих пор практиковалось, заключается много оскорбительного для наказуемого и унизительного для наказующего. Непосредственное насилие человека над человеком возбуждает неизбежно с обеих сторон ненависть, страх, раздражение, мстительность, презрение и, наконец, зловредное взаимное упорство в преступлении и в наказании, доходящее до какого-то зверского сладострастия. Итак, вы скажете, господа, что я отвергаю телесное наказание? Да, я отвергаю его, но только для того, чтобы снова утвердить, заменив человека *машиной*. После многолетних трудов, размышлений и опытов я выработал, наконец, идею механического правосудия и осуществил ее, — хорошо или дурно — это я сейчас же предоставлю судить почтеннейшему собранию.

Оратор сделал знак головой в сторону, туда, где в дни любительских спектаклей помещались кулисы. Тотчас же на эстраду выскочил бравый усатый вахтер и быстро снял брезент со странного предмета, стоявшего у рампы. Глазам присутствующих предстала, блестя новыми металлическими частями, машина, несколько похожая на те самовесы, которые ставятся в увеселительных садах для взвешивания публики за пять копеек, только сложнее и значительно больше размерами.

По залу дворянского собрания пронесся вздох удивления, головы заходили влево и вправо.

Оратор широко простер руку, указывая на аппарат.

— Вот мое детище! — сказал он взволнованным голосом.— Вот аппарат, который по чести может быть назван орудием механического правосудия. Устройство его необыкновенно просто и по цене доступно бюджету даже скромного сельского училища. Прошу обратить внимание на его устройство. Во-первых, вы замечаете горизонтальную площадку на пружинах и ведущую к ней металлическую подножку. На площадке помещается узкая скамейка, спинка которой состоит также из весьма эластических пружин, обвитых мягкой кожей. Под скамейкой, как вы видите, свободно вращается на шарнирах система серповидных рычагов. От действия тяжести на пружины скамейки и платформы рычаги эти, выходя из состояния равновесия, описывают полукруг и смыкаются попарно на высоте от пяти до восемнадцати вершков над поверхностью скамейки, в зависимости от силы давления. Сзади скамейки возвышается вертикальный чугунный столб, полый внутри, с квадратным поперечным сечением. В его пустоте заключается мощный механизм, наподобие часового, приводящийся в движение четырехпудовой гирей и спиральной пружиной. Сбоку столба устроена небольшая дверца для чистки и выверивания механизма, но ключи от нее, числом два, — прошу это особенно отметить, господа, — хранятся только у главного инспектора механических самосекателей известного района и у начальника данного учебного заведения России. Таким образом, этот аппарат, однажды приведенный в действие, уже никак не может остановиться, не закончив своего назначения, если только не будет насильственно поврежден, что, однако, представляется маловероятным в виду исключительной простоты, прочности и массивности всех частей машины.

Часовой механизм, пущенный в ход, сообщает посредством зубчатых колес движение небольшому, находящемуся внутри столба, горизонтальному валу, на поверхности которого, по спиральной линии, составляющей неполный оборот, вставлены в стальные зажимы,

перпендикулярно к оси, восемь длинных гибких камышовых или стальных прутьев. В случае изнашивания их можно заменять новыми. Необходимо также пояснить, что вал имеет еще некоторое последовательное движение влево и вправо по винтовому ходу, чем достигается разнообразие точек удара.

Итак, вал приведен в движение, и вместе с ним движутся, описывая спиральные круги, прутья. Каждый прут совершенно свободно проходит внизу, но, поднявшись вертикально наверх, он встречает препятствие — перекладину, в которую он сначала упирается своим верхним концом, затем, задержанный ею, выгибается полукругом наружу и затем, сорвавшись с нее, наносит удар. А так как эта перекладина может быть передвигаема по желанию, вверх и вниз, на двух зубчатых рейках и закрепляется на любой высоте специальными защелками, то вполне понятно, что чем мы ниже опустим перекладину, тем более выгибается прут и тем энергичнее наносится удар. Этим мы регулируем силу наказания, для каковой надобности на рейках имеются соответствующие деления от ноля до двадцати четырех. Цифра ноль — самая верхняя, она употребляется только в тех случаях, когда наказание носит лишь условный, так сказать, символический характер, при шести чувствуется уже значительная боль. Пределом для низших учебных заведений мы считаем силу удара, означенную делением десять, для средних — пятнадцать, для войск, волостных правлений и студентов — двадцать и, наконец, для исправительных арестантских отделений и бастующих рабочих полную меру, то есть двадцать четыре.

Вот в сущности схема моего изобретения. Остаются детали. Эта рукоятка сбоку, совершенно такого же вида, как ручка у шарманки, служит для завода внутренней спиральной пружины. Эта движущаяся в полукруглой щели стрелка регулирует малую, среднюю или большую скорость вращения вала. На самом верху столба, под стеклом — механический счетчик. Выскакивающие в нем цифры, во-первых, позволяют контролировать правильность действия аппарата, а во-вторых, служат для статистических и ревизионных целей. Ввиду

второго назначения счетчик устроен таким образом, что может показывать до шестидесяти тысяч. Наконец у подножия столба вы, господа, видите некоторое подобие урны, внутри коей на дне находится круглое отверстие величиной в чайное блюдечко. В нее бросают один из этих вот жетонов, после чего весь механизм мгновенно приходит в действие. Все жетоны разной величины и различного веса, от самого маленького, величиною с серебряный пятачок и соответствующего минимальному наказанию в пять ударов, до этого, размером с серебряный рубль, который, будучи опущен в урну, заставляет машину отсчитать ровно двести ударов. Различными комбинациями изо всех жетонов мы можем получить любое, кратное пяти, количество ударов от пяти до трехсот пятидесяти. Но... — и тут оратор скромно улыбнулся, — но мы сочли бы нашу задачу невыполненной до конца, если бы остановились на этой предельной цифре.

С вашего изволения, господа, я прошу вас отметить и запомнить ту цифру, которую показывает в настоящую минуту счетчик. Кстати, почтеннейшая публика может убедиться, что до момента опускания жетонов в урну можно совершенно безопасно стоять на подножке.

Итак... счетчик показывает две тысячи девятьсот. Следовательно, по окончании экзекуции стрелка должна будет отметить... три тысячи двести пятьдесят... Кажется, я не ошибаюсь?..

Достаточно бросить в урну любой предмет с кругообразным сечением, все равно, продольным или поперечным, и вы можете увеличить количество ударов если не до бесконечности, то во всяком случае до тех пор, пока хватит пружинного завода, то есть приблизительно до семисот восьмидесяти — восьмисот. Конечно, я имел также в виду и то, что в общежитии жетоны, весьма вероятно, будут заменяться обыкновенной разменной монетой. На этот случай к каждому механическому самосекателю прилагается сравнительная табличка веса медной, серебряной и золотой монеты с количеством ударов. Вы ее видите здесь, сбоку главного столба.

Кажется, я уже кончил... Остаются некоторые подробности относительно устройства вращающейся подножки, качающейся скамейки и серповидных рычагов. Но так как оно несколько сложно, то я предоставляю почтеннейшей публике увидеть его действие во время демонстрации, которую я буду иметь честь немедленно же произвести.

Вся процедура наказания состоит в следующем. Сначала мы, тщательно разобравшись в мотивах и свойствах преступления, определяем меру наказания, то есть количество ударов, их скорость и энергию, а иногда и материал прутьев. Затем человеку, заведующему аппаратом, посылается в машинное отделение краткая рапортичка или сообщается по телефону. Машинист приготовляет все, что нужно, и немедленно удаляется. Заметьте, господа, человека нет, остается только машина. Одна беспристрастная, непоколебимая, спокойная, справедливая машина.

Сейчас я перехожу к опыту. Преступника нам заменит кожаный манекен. Для того чтобы показать машину в самом блестящем виде, мы условимся, что перед нами находится наитягчайший преступник.

— Сторож! — крикнул оратор за кулисы. — Приготовьте: сила двадцать четыре, скорость малая.

При общем напряженном молчании усатый вахтер завел рукояткой машину, опустил вниз перекладину, передвинул стрелку указателя и скрылся за кулисами.

— Теперь все готово,— сказал оратор, — и комната, где стоит самосекатель, *совершенно* пуста. Нам остается только призвать наказуемого, объяснить ему степень его виновности и размер наказания, и он сам — заметьте, господа, сам! — сам берет из ящичка соответствующие марки. Конечно, можно устроить так, что он тут же опускает их в отверстие, устроенное в столе, а они по особому желобу падают вниз, прямо в урну... Но это уж деталь — очень легко выполнимая и несущественная.

С этого момента виновный весь находится во власти машины. Он идет в уборную, где и раздевается. Отворяет дверь, становится на подножку, опускает жетоны

в урну и... кончено. Дверь за ним герметически запирается. Он может простоять на подножке хоть до второго пришествия, но непременно кончит тем, что бросит жетоны в урну. Ибо, милостивые государи и милостивые государыни, — воскликнул педагог с торжествующим смехом, — ибо подножка и платформа устроены таким образом, что каждая минута промедления на них увеличивает число ударов на количество от пяти до тридцати, в зависимости от веса наказуемого... Но едва только он опустит свои марки, как подножка делает вращательное движение снизу вверх и наперед, скамейка в то же время подымается головным концом вертикально вверх, и брошенный на ее спину преступник охватывается в трех местах — за шею, вокруг поясницы и за ноги — серповидными рычагами, и скамейка принимает прежнее горизонтальное положение. Все это совершается буквально в одно мгновение. В следующий миг наносится первый удар, и теперь никакая сила не может ни остановить действия машины, ни ослабить ударов, ни увеличить или уменьшить скорость вращения вала до тех пор, пока не совершится полное правосудие. Это физически невозможно сделать, не имея ключа.

— Сторож, принесите манекен. Прошу, уважаемую аудиторию назначить число ударов... Просто какую-нибудь цифру... желательно трехзначную, но не более трехсот пятидесяти. Прошу вас...

— Пятьсот! — крикнул комендант.

— Бэфф! — брехнул мопс под его стулом.

— Пятьсот слишком много,— мягко возразил оратор. — Но, во внимание к желанию, высказанному его превосходительством, остановимся на максимальном числе. Пусть будет триста пятьдесят. Мы опустим в урну все имеющиеся у нас жетоны.

В это время сторож внес под мышкой уродливый кожаный манекен и поставил его на пол, поддерживая сзади. В искривленных ногах манекена, в растопыренных руках и в закинутой назад голове было что-то вызывающее и насмешливое.

Стоя на подножке, оратор продолжал:

— Милостивые государи и милостивые государыни! Еще одно последнее слово. Я не сомневаюсь в том, что мой механический самосекатель должен в ближайшем будущем получить самое широкое распространение. Мало-помалу его примут во всех школах, училищах, корпусах, гимназиях и семинариях. Мало того — его введут в армию и флот, в деревенский обиход, в военные и гражданские тюрьмы, в участки и пожарные команды, во все истинно русские семьи.

Жетоны постепенно и неизбежно вытеснятся деньгами, и таким образом не только окупается стоимость машин, но получатся сбережения, которые могут быть употребляемы на благотворительные и просветительные цели. Исчезнет сам собой бич наших финансов — вечные недоимки, потому что при взыскании их с помощью этого аппарата крестьянин неизбежно должен будет опустить в урну причитающуюся с него сумму. Исчезнут пороки, преступления, лень и халатность; процветут трудолюбие, умеренность, трезвость и бережливость...

Трудно предугадать более глубокую будущность этой машины. Разве мог предвидеть великий Гутенберг, устраивая свой наивный деревянный станок, тот неизмеримо громадный переворот, который книгопечатание внесло в историю человеческого прогресса? Однако я далек от мысли, господа, кичиться перед вами в своем авторском самолюбии, тем более что мне принадлежит лишь голая идея. В практической разработке моего изобретения мне оказали самую существенную помощь учитель физики в здешней четвертой гимназии господин N и инженер X. Пользуюсь лишним случаем, чтобы выразить им мою глубокую признательность.

Зала загремела от аплодисментов. Два человека из первого ряда встали и застенчиво, неловко поклонились публике.

— Для меня же лично, — продолжал оратор, — величайшим удовлетворением служит бескорыстное сознание пользы, принесенной мною возлюбленному отечеству, и — вот эти вот — знаки милостивого внимания, которые я на днях имел счастье получить: именные часы с портретом его высокопревосходительства и

медаль от курского дворянства с надписью: Similia similibus[1].

Он отцепил и поднял высоко над головой огромный старинный хронометр, приблизительно в полфунта весом; на особой коротенькой цепочке болталась массивная золотая медаль.

— Я кончил, господа, — прибавил тихо и торжественно оратор, кланяясь.

Но еще не успели разразиться аплодисменты, как произошло нечто невероятное, потрясающее. Часы вдруг выскользнули из поднятой руки педагога и с металлическим грохотом провалились в урну.

В тот же момент машина зашипела и защелкала. Подножка вывернулась кверху, скамейка быстро качнулась вверх и вниз, блеснула сталь сомкнувшихся рычагов, мелькнули в воздухе фалды форменного фрака, и вслед за отчетливым, резким ударом по зале пронесся дикий вопль изобретателя.

— 2901! — стукнул механический счетчик.

Трудно описать в быстрых и отчетливых чертах то, что произошло в собрании. Сначала все опешили на несколько секунд. Среди общей тишины раздавались лишь крики невольной жертвы, свист прутьев и щелканье счетчика. Потом все ринулись на эстраду...

— Ради бога! — кричал несчастный. — Ради бога! Ради бога!

Но помочь ему было невозможно. Мужественный учитель физики протянул было руку, чтобы схватить прут, но тотчас же отдернул ее назад, и все увидели на ее наружной поверхности длинный кровавый рубец. Передвинутая перекладина не поддавалась никаким усилиям.

— Ключ! Скорее ключ! — кричал педагог. — Он у меня в панталонах! Скорее!

Преданный вахтер кинулся обыскивать карманы, едва уклоняясь от ударов. Но ключа не оказалось.

— 2950—2951—2952—2953, — продолжал отщелкивать счетчик.

---

[1] Подобное подобным *(лат.)*.

— Ваше высокоблагородие! — сказал со слезами на глазах вахтер. — Дозвольте снять панталоны. Жалко, если пропадут... Совсем новые... Которые дамы, так они отвернутся.

— Убирайся к черту, идиот! Ой, ой, ой!.. Господа, ради бога!.. Ой, ой... Я забыл... Ключи у меня в пальто... Ой, поскорее!

Побежали в переднюю за пальто. Но и там ключа не оказалось. Очевидно, изобретатель забыл его дома. Кто-то вызвался съездить за ним. Предводитель дворянства предложил своих лошадей.

Отрывистые удары сыпались через каждую секунду с математической правильностью; педагог кричал, а счетчик равнодушно отсчитывал:

— 3180—3181—3182...

Какой-то гарнизонный подпоручик вдруг выхватил шашку и принялся с ожесточением рубить по машине, но после пятого же удара в руках у него остался один эфес, а отскочивший клинок ударил по ногам председателя земской управы. Панталоны изобретателя уже превратились сверху в лохмотья. Ужаснее всего было то, что нельзя было предугадать, когда остановится действие машины. Часы оказались чересчур тяжелыми. Человек, уехавший за ключом, все не возвращался, а счетчик, уже давно переваливший за назначенное изобретателем число, спокойно отсчитывал:

— 3999—4000—4001.

Педагог не прыгал больше. Он лежал с разинутым ртом и выпученными глазами и лишь судорожно дергал конечностями.

Но комендант вдруг затрясся от негодования, налился кровью и заревел под лай своего мопса:

— Безобразие! Разврат! Немысленно! Подать сюда пожарную команду!

Эта мысль была самой мудрой. Местный губернатор был большим любителем пожарных выездов и щеголял их быстротой. Меньше чем через пять минут, и именно в тот момент, когда счетчик отстукивал 4550-ый удар, молодцеватые пожарные с топорами, ломами и крючьями ворвались на эстраду.

Великолепный механический самосекатель погиб на веки вечные, а вместе с ним умерла и великая идея. Что же касается до изобретателя, то, проболев довольно долго от телесных повреждений и нервного потрясения, он возвратился к своим обязанностям. Но роковой случай совершенно преобразил его. Он стал на всю жизнь тихим, кротким, меланхолическим человеком и, хотя преподавал латынь и греческий, тем не менее вскоре сделался общим любимцем своих учеников.

К своему изобретению он не возвращался

ИСПОЛИНЫ

Невольный стыд овладевает мною при начинании этого рассказа. Увы! В нем участвует вся рождественская бутафория: вечер сочельника, снег, веселая толпа, освещенные окна игрушечных магазинов, бедные дети, глазеющие с улицы на елки богачей, и румяный окорок, и вещий сон, и счастливое пробуждение, и добродетельный извозчик.

Но войдите же и в мое положение, господа читатели! Как мне обойтись без этого реквизита, если моя правдивая история произошла именно как раз в ночь под рождество. Она могла бы случиться когда угодно: под пасху или в троицу, в самый будничный из будничных понедельников, но также и в годовщину памяти любимого национального героя. Это все равно. Моя беда лишь в том, что судьбе было угодно пригнать все, что я сейчас расскажу, почему-то непременно к рождеству, а не к другому сроку.

В эту самую ночь, с 24 на 25 декабря, возвращался к себе домой с рождественской елки учитель гимназии по предмету русской грамматики и литературы, господин Костыка. Был он... пьян не пьян, но грузен, удручен и раздражителен. Давали знать себя: поросенок с кашей, окорок, полендвица и колбаса с чесноком. Пиво и домашняя наливка подпирали под горло. Сердил проигрыш в преферанс: уж, правда, Костыку преследовало какое-то фатальное невезение во весь вечер. А главное, было досадно то, что во время ужина,

в споре о воспитании юношества, над ним, старым педагогом, одержал верх какой-то молокосос учителишка, едва соскочивший с университетской скамьи, либералишка и верхогляд. То есть нет, верха-то он, положим, не одержал, потому что слова и убеждения Костыки основаны на незыблемых устоях учительской мудрости. Но... другие — мальчишки и девчонки... они аплодировали, и смеялись, и блестели глазами, и дразнили Костыку: «Что, старина? Приперли вас?»

И потому-то, с бурчащим животом, с изжогой в груди, с распухшей головой, проклял он сначала обычай устраивать елки — обычай, если не языческий, то, должно быть, немецкий, а во всяком случае святой церковью не установленный. Потом, прислонившись на минутку к фонарному столбу, помянул черным словом пиво и окорок. Затем он упрекнул мысленно хозяина сегодняшней вечеринки, добродушного учителя математики, в расточительности. «Из каких это, спрашивается, денег такие пиры закатывать? Наверно, женину ротонду заложил!» Детишек, торчавших на улице у магазинной витрины, Костыка обозвал хулиганами и воришками и вздохнул о старом, добром времени, когда розга и нравственность шли ручка об ручку. Добродетельный извозчик (который в святочных рассказах обыкновенно возвращает бедному, но честному банковскому чиновнику портфель с двумя миллионами, забытый накануне у него в санях), этот самый извозчик запросил на Пески «полтора целковеньких, потому как на резвенькой и по случаю праздничка», а когда Костыка предложил ему двугривенный, то извозчик назвал Костыку почему-то «носоклюем», а Костыка тщетно взывал к городовому о своей обиде: извозчик умчался на резвенькой, городовой тащил куда-то вдаль пьяную бабу — и тогда Костыка заодно предал анафеме и русский народ с его самобытностью, и Думу, и отруба, и волость, и всяческие свободы.

В таком-то хмуром и придирчивом настроении он взобрался к себе домой, на пятый этаж, проклянув кстати мимоходом и городскую культуру, в лице заспанного и ворчливого швейцара. Очень долго он балансировал с зажженной лампой, вроде циркового

жонглера, притворяющегося пьяным. Разбудил было жену, которая раньше его уехала с вечеринки, но та мигом выгнала его из спальни. Попробовал полюбезничать с «прислугой за все», новгородской каменной бабой Авдотьей, но получил жестокий отпор, после которого в течение семи секунд искал равновесия по всему кабинету, от двери до стены.

И вот тогда-то он с великими усилиями нашарил в сенях запасную потайную бутылку пива, открыл ее, налил стакан, уселся за стол, вперил мутные глаза в огненный круг лампы и отдался скорбным, неповоротливым, вязким мыслям.

«За что? — горько думал он. — За что, о Лапидарский, ты меня обидел перед учениками и обществом? Или ты умнее меня? Или ты думаешь, что если сорвал несколько девических улыбок — то ты и прав? Ты, может быть, думаешь, что и я сам не был глуп и молод, что и я не упивался несбыточными надеждами и дерзкими замыслами? Погляди, брат, вот они, живые-то свидетели».

Он широко обвел рукою вокруг себя, вокруг стен, на которых висели аккуратно прибитые, — сохраненные частью по скупости, частью по механической привычке, частью для полноты обстановки, — портреты великих русских писателей, приобретенные когда-то давным-давно, в телячьи годы восторженных слов... И ему вдруг показалось, что по лицам этих исполинов, от глаз к глазам, быстро пробегают, точно летучие молнии, страшные искры насмешки и презрения.

Костыка вздрогнул, отвернулся, протер глаза и тотчас же, для собственного успокоения, вернулся к прежней нити мыслей, на которую стал нанизывать свои жалобы, упреки и мелочные счеты. Но стакан все-таки еще дрожал в его руке.

«Нет, Лапидарский, нет! Я, братец, погляжу на тебя лет через пять — десять, когда ты поймешь, что это такое за шуточка бедность, зависимость и власть... когда ты узнаешь, что сто́ит семья, а с ней болезни, роди́ны, крестины, сапожишки, юбчонки... Ты вот кричишь теперь: Маркс, Ницше, свобода, народ, пролетариат, великие заветы... Погоди, милый! Запоешь!

Будешь, как и я. Скажут тебе: лепи единицы — будешь лепить. Пусть стреляются, травятся и выскакивают из окон. Идиоты. Скажут тебе: будь любвеобилен — будешь; скажут: маршируй — будешь. Вот и все. И будешь сыт и пригрет и начальству приятен. И будешь, как и я, скучать по праздникам о том, что некого изловить в ошибке, некому поставить «един», некого выключить с волчьим паспортом».

И опять он невольно обернулся к стенам, на которых симметрично висели фотографии человеческих лиц — гневных, презрительных, божественно-ясных, прекрасно-мудрых, страдальческих, измученных, гордых и безумных.

— Смеетесь? — закричал вдруг Костыка и ударил кулаком по столу. — Так? Хорошо же! Так вот, я заявляю вам, что все вы — дилетанты, самоучки и безграмотны. Это я говорю вам — профессионал и авторитет! Я, я, я, который сейчас произведу вам экзамен. Будь вы хоть распрогении, но если ваша жизнь, ваши нравы, мысли и слова преступны, безнравственны и противозаконны — то единица, волчий паспорт и — вон из гимназии на все четыре стороны. Пускай потом родители плачут.

Вот вы, молодой человек! Хорошего роду. Получили приличное образование. К стихам имели способность. К чему вы ее употребили? Что писали? Гаврилиаду? Оду к какой-то там свободе или вольности? Ставлю нуль с двумя минусами. Ну, хорошо. Исправились... Так и быть — тройка. Стали на хорошую дорогу. Нет, извольте: камер-юнкерский мундир вам показался смешным. Ведь нищим были, подумайте-ка. Еще нуль. Стишки писали острые против вельмож? Нуль с двумя. А дуэль? А злоба? За нехристианские чувства — единица.

А вы, господин офицер? Могли бы служить, дослужились бы до дивизионного командира, а почем знать, может быть, и выше. Кто вам мешал развивать свой гений? Ну... там оду на случай иллюминации, экспромт по случаю полкового праздника?.. А вы предпочли ссылку, опалу. И опять-таки умерли позорно. Верно кто-то сказал: собаке — собачья смерть. Итак:

талант — три с минусом, поведение — нуль, внимание — нуль, нравственность — единица, закон божий — нуль.

Вы, господин Гоголь. Пожалуйте сюда. За малорусские тенденции — нуль с минусом. За осмеяние предержащих властей — нуль, за один известный поступок против нравственности — нуль. За то, что жидов ругали — четыре. За покаяние перед кончиной — пять.

Так он злорадно и властно экзаменовал одного за другим безмолвных исполинов, но уже чувствовал, как в его душу закрадывался холодный, смертельный страх. Он похвалил Тургенева за внешнее благообразие и хороший стиль, но упрекнул его любовью к иноземке. Пожалел об инженерной карьере Достоевского, но одобрил за полячишек. «Да и православие ваше было какое-то сектантское, — заметил Костыка. — Не то хлыстовщина, не то штунда».

Но вдруг его глаза столкнулись с гневными, расширенными, выпуклыми, почти бесцветными от боли глазами, — глазами человека, который, высоко подняв величественную бородатую голову, пристально глядел на Костыку. Сползший плед покрывал его плечи.

— Ваше превосходительство... —залепетал Костыка и весь холодно и мокро задрожал.

И раздался хриплый, грубоватый голос, который произнес медленно и угрюмо:

— Раб, предатель и...

И затем пылающие уста Щедрина произнесли еще одно страшное, скверное слово, которое великий человек если и произносит, то только в секунды величайшего отвращения. И это слово ударило Костыку в лицо, ослепило ему глаза, озвездило его зрачки молниями...

...Он проснулся, потому что, задремавши над стаканом, клюнул носом о стакан и ушиб себе переносицу. «Слава богу, сон! — подумал он радостно. — Слава богу! А-а! Так-то вы, господин губернатор? Хорошо же-с. Свидетелей, благодаря бога, нет...»

И с ядовитой усмешкой дрожащими руками он отцепил от гвоздя портрет Салтыкова, отнес его в самый укромный уголок своей квартиры и повесил там великого сатирика на веки вечные, к общему смеху и поруганию.

ИЗУМРУД

Посвящаю памяти несравненного пегого рысака Холстомера.

I

Четырехлетний жеребец Изумруд — рослая беговая лошадь американского склада, серой, ровной, серебристо-стальной масти — проснулся, по обыкновению, около полуночи в своем деннике. Рядом с ним, слева и справа и напротив через коридор, лошади мерно и часто, все точно в один такт, жевали сено, вкусно хрустя зубами и изредка отфыркиваясь от пыли. В углу на ворохе соломы храпел дежурный конюх. Изумруд по чередованию дней и по особым звукам храпа знал, что это — Василий, молодой малый, которого лошади не любили за то, что он курил в конюшне вонючий табак, часто заходил в денники пьяный, толкал коленом в живот, замахивался кулаком над глазами, грубо дергал за недоуздок и всегда кричал на лошадей ненатуральным, сиплым, угрожающим басом.

Изумруд подошел к дверной решетке. Напротив него, дверь в дверь, стояла в своем деннике молодая вороная, еще не сложившаяся кобылка Щеголиха. Изумруд не видел в темноте ее тела, но каждый раз, когда она, отрываясь от сена, поворачивала назад голову, ее большой глаз светился на несколько секунд

красивым фиолетовым огоньком. Расширив нежные ноздри, Изумруд долго потянул в себя воздух, услышал чуть заметный, но крепкий, волнующий запах ее кожи и коротко заржал. Быстро обернувшись назад, кобыла ответила тоненьким, дрожащим, ласковым и игривым ржанием.

Тотчас же рядом с собою направо Изумруд услышал ревнивое, сердитое дыхание. Тут помещался Онегин, старый, норовистый бурый жеребец, изредка еще бегавший на призы в городских одиночках. Обе лошади были разделены легкой дощатой переборкой и не могли видеть друг друга, но, приложившись храпом к правому краю решетки, Изумруд ясно учуял теплый запах пережеванного сена, шедший из часто дышащих ноздрей Онегина... Так жеребцы некоторое время обнюхивали друг друга в темноте, плотно приложив уши к голове, выгнув шеи и все больше и больше сердясь. И вдруг оба разом злобно взвизгнули, закричали и забили копытами.

— Бал-луй, черт! — сонно, с привычной угрозой, крикнул конюх.

Лошади отпрянули от решетки и насторожились. Они давно уже не терпели друг друга, но теперь, как три дня тому назад в ту же конюшню поставили грациозную вороную кобылу, — чего обыкновенно не делается и что произошло лишь от недостатка мест при беговой спешке, — то у них не проходило дня без нескольких крупных ссор. И здесь, и на кругу, и на водопое они вызывали друг друга на драку. Но Изумруд чувствовал в душе некоторую боязнь перед этим длинным самоуверенным жеребцом, перед его острым запахом злой лошади, крутым верблюжьим кадыком, мрачными запавшими глазами и особенно перед его крепким, точно каменным костяком, закаленным годами, усиленным бегом и прежними драками.

Делая вид перед самим собою, что он вовсе не боится и что сейчас ничего не произошло, Изумруд повернулся, опустил голову в ясли и принялся ворошить сено мягкими, подвижными, упругими губами. Сначала он только прикусывал капризно отдельные травки, но скоро вкус жвачки во рту увлек его, и он по-настоя-

щему вник в корм. И в то же время в его голове текли медленные равнодушные мысли, сцепляясь воспоминаниями образов, запахов и звуков и пропадая навеки в той черной бездне, которая была впереди и позади теперешнего мига.

«Сено», — думал он и вспомнил старшего конюха Назара, который с вечера задавал сено.

Назар — хороший старик; от него всегда так уютно пахнет черным хлебом и чуть-чуть вином; движения у него неторопливые и мягкие, овес и сено в его дни кажутся вкуснее, и приятно слушать, когда он, убирая лошадь, разговаривает с ней вполголоса с ласковой укоризной и все кряхтит. Но нет в нем чего-то главного, лошадиного, и во время прикидки чувствуется через вожжи, что его руки неуверенны и неточны.

В Ваське тоже этого нет, и хотя он кричит и дерется, но все лошади знают, что он трус, и не боятся его. И ездить он не умеет — дергает, суетится. Третий конюх, что с кривым глазом, лучше их обоих, но он не любит лошадей, жесток и нетерпелив, и руки у него не гибки, точно деревянные. А четвертый — Андрияшка, еще совсем мальчик; он играет с лошадьми, как жеребенок-сосунок, и украдкой целует в верхнюю губу и между ноздрями, — это не особенно приятно и смешно.

Вот тот, высокий, худой, сгорбленный, у которого бритое лицо и золотые очки, — о, это совсем другое дело. Он весь точно какая-то необыкновенная лошадь — мудрая, сильная и бесстрашная. Он никогда не сердится, никогда не ударит хлыстом, даже не погрозит, а между тем когда он сидит в американке, то как радостно, гордо и приятно-страшно повиноваться каждому намеку его сильных, умных, все понимающих пальцев. Только он один умеет доводить Изумруда до того счастливого гармоничного состояния, когда все силы тела напрягаются в быстроте бега, и это так весело и так легко.

И тотчас же Изумруд увидел воображением короткую дорогу на ипподром и почти каждый дом и каждую тумбу на ней, увидел песок ипподрома, трибуну, бегущих лошадей, зелень травы и желтизну ленточки. Вспомнился вдруг караковый трехлеток, который на

днях вывихнул ногу на проминке и захромал. И, думая о нем, Изумруд сам попробовал мысленно похромать немножко.

Один клок сена, попавший Изумруду в рот, отличался особенным, необыкновенно нежным вкусом. Жеребец долго пережевывал его, и когда проглотил, то некоторое время еще слышал у себя во рту тонкий душистый запах каких-то увядших цветов и пахучей сухой травки. Смутное, совершенно неопределенное, далекое воспоминание скользнуло в уме лошади. Это было похоже на то, что бывает иногда у курящих людей, которым случайная затяжка папиросой на улице вдруг воскресит на неудержимое мгновение полутемный коридор с старинными обоями и одинокую свечу на буфете, или дальнюю ночную дорогу, мерный звон бубенчиков и томную дремоту, или синий лес невдалеке, снег, слепящий глаза, шум идущей облавы, страстное нетерпение, заставляющее дрожать колени, — и вот на миг пробегут по душе, ласково, печально и неясно тронув ее, тогдашние, забытые, волнующие и теперь неуловимые чувства.

Между тем черное оконце над яслями, до сих пор невидимое, стало сереть и слабо выделяться в темноте. Лошади жевали ленивее и одна за другою вздыхали тяжело и мягко. На дворе закричал петух знакомым криком, звонким, бодрым и резким, как труба. И еще долго и далеко кругом разливалось в разных местах, не прекращаясь, очередное пение других петухов.

Опустив голову в кормушку, Изумруд все старался удержать во рту и вновь вызвать и усилить странный вкус, будивший в нем этот тонкий, почти физический отзвук непонятного воспоминания. Но оживить его не удавалось, и, незаметно для себя, Изумруд задремал.

II

Ноги и тело у него были безупречные, совершенных форм, поэтому он всегда спал стоя, чуть покачиваясь вперед и назад. Иногда он вздрагивал, и тогда крепкий сон сменялся у него на несколько секунд легкой чуткой

дремотой, но недолгие минуты сна были так глубоки, что в течение их отдыхали и освежались все мускулы, нервы и кожа.

Перед самым рассветом он увидел во сне раннее весеннее утро, красную зарю над землей и низкий ароматный луг. Трава была так густа и сочна, так ярко, сказочно-прелестно зелена и так нежно розовела от зари, как это видят люди и звери только в раннем детстве, и всюду на ней сверкала дрожащими огнями роса. В легком редком воздухе всевозможные запахи доносятся удивительно четко. Слышен сквозь прохладу утра запах дымка, который сине и прозрачно вьется над трубой в деревне, все цветы на лугу пахнут по-разному, на колеистой влажной дороге за изгородью смешалось множество запахов: пахнет и людьми, и дегтем, и лошадиным навозом, и пылью, и парным коровьим молоком от проходящего стада, и душистой смолой от еловых жердей забора.

Изумруд, семимесячный стригунок, носится бесцельно по полю, нагнув вниз голову и взбрыкивая задними ногами. Весь он точно из воздуха и совсем не чувствует веса своего тела. Белые пахучие цветы ромашки бегут под его ногами назад, назад. Он мчится прямо на солнце. Мокрая трава хлещет по бабкам, по коленкам и холодит и темнит их. Голубое небо, зеленая трава, золотое солнце, чудесный воздух, пьяный восторг молодости, силы и быстрого бега!

Но вот он слышит короткое, беспокойное, ласковое и призывающее ржание, которое так ему знакомо, что он всегда узнаёт его издали, среди тысячи других голосов. Он останавливается на всем скаку, прислушивается одну секунду, высоко подняв голову, двигая тонкими ушами и отставив метелкой пушистый короткий хвост, потом отвечает длинным заливчатым криком, от которого сотрясается все его стройное, худощавое, длинноногое тело, и мчится к матери.

Она — костлявая, старая, спокойная кобыла — поднимает мокрую морду из травы, быстро и внимательно обнюхивает жеребенка и тотчас же опять принимается есть, точно торопится делать неотложное дело. Склонив

гибкую шею под ее живот и изогнув кверху морду, жеребенок привычно тычет губами между задних ног, находит теплый упругий сосок, весь переполненный сладким, чуть кисловатым молоком, которое брызжет ему в рот тонкими горячими струйками, и все пьет и не может оторваться. Матка сама убирает от него зад и делает вид, что хочет укусить жеребенка за пах.

В конюшне стало совсем светло. Бородатый, старый, вонючий козел, живший между лошадей, подошел к дверям, заложенным изнутри брусом, и заблеял, озираясь назад, на конюха. Васька, босой, чеша лохматую голову, пошел отворять ему. Стояло холодноватое, синее крепкое осеннее утро. Правильный четырехугольник отворенной двери тотчас же застлался теплым паром, повалившим из конюшни. Аромат инея и опавшей листвы тонко потянул по стойлам.

Лошади хорошо знали, что сейчас будут засыпать овес, и от нетерпения негромко покряхтывали у решеток. Жадный и капризный Онегин бил копытом о деревянную настилку и, закусывая, по дурной привычке, верхними зубами за окованный железом изжеванный борт кормушки, тянулся шеей, глотал воздух и рыгал. Изумруд чесал морду о решетку.

Пришли остальные конюхи — их всех было четверо — и стали в железных мерках разносить по денникам овес. Пока Назар сыпал тяжелый шелестящий овес в ясли Изумруда, жеребец суетливо совался к корму, то через плечо старика, то из-под его рук, трепеща теплыми ноздрями. Конюх, которому нравилось это нетерпение кроткой лошади, нарочно не торопился, загораживал ясли локтями и ворчал с добродушною грубостью:

— Ишь ты, зверь жадная... Но-о, успеешь... А, чтоб тебя... Потычь мне еще мордой-то. Вот я тебя ужотко потычу.

Из оконца над яслями тянулся косо вниз четырехугольный веселый солнечный столб, и в нем клубились миллионы золотых пылинок, разделенных длинными тенями от оконного переплета.

III

Изумруд только что доел овес, когда за ним пришли, чтобы вывести его на двор. Стало теплее, и земля слегка размякла, но стены конюшни были еще белы от инея. От навозных куч, только что выгребенных из конюшни, шел густой пар, и воробьи, копошившиеся в навозе, возбужденно кричали, точно ссорясь между собой. Нагнув шею в дверях и осторожно переступив через порог, Изумруд с радостью долго потянул в себя пряный воздух, потом затрясся шеей и всем телом и звучно зафыркал. «Будь здоров!» — серьезно сказал Назар. Изумруду не стоялось. Хотелось сильных движений, щекочущего ощущения воздуха, быстро бегущего в глаза и ноздри, горячих толчков сердца, глубокого дыхания. Привязанный к коновязи, он ржал, плясал задними ногами и, изгибая набок шею, косил назад, на вороную кобылу, черным большим выкатившимся глазом с красными жилками на белке.

Задыхаясь от усилия, Назар поднял вверх выше головы ведро с водой и вылил ее на спину жеребца от холки до хвоста. Это было знакомое Изумруду бодрое, приятное и жуткое своей всегдашней неожиданностью ощущение. Назар принес еще воды и оплескал ему бока, грудь, ноги и под репицей. И каждый раз он плотно проводил мозолистой ладонью вдоль по шерсти, отжимая воду. Оглядываясь назад, Изумруд видел свой высокий, немного вислозадый круп, вдруг потемневший и заблестевший глянцем на солнце.

Был день бегов. Изумруд знал это по особенной нервной спешке, с которой конюхи хлопотали около лошадей; некоторым, которые по короткости туловища имели обыкновение засекаться подковами, надевали кожаные ногавки на бабки, другим забинтовывали ноги полотняными поясами от путового сустава до колена или подвязывали под грудь за передними ногами широкие подмышники, отороченные мехом. Из сарая выкатывали легкие двухколесные с высокими сиденьями американки; их металлические спицы весело сверкали на ходу, а красные ободья и красные широкие выгнутые оглобли блестели новым лаком.

Изумруд был уже окончательно высушен, вычищен щетками и вытерт шерстяной рукавицей, когда пришел главный наездник конюшни, англичанин. Этого высокого, худого, немного сутуловатого, длиннорукого человека одинаково уважали и боялись и лошади и люди. У него было бритое загорелое лицо и твердые, тонкие изогнутые губы насмешливого рисунка. Он носил золотые очки; сквозь них его голубые, светлые глаза глядели твердо и упорно-спокойно. Он следил за уборкой, расставив длинные ноги в высоких сапогах, заложив руки глубоко в карманы панталон и пожевывая сигару то одним, то другим углом рта. На нем была серая куртка с меховым воротником, черный картуз с узкими полями и прямым длинным четырехугольным козырьком. Иногда он делал короткие замечания отрывистым, небрежным тоном, и тотчас же все конюхи и рабочие поворачивали к нему головы и лошади настораживали уши в его сторону.

Он особенно следил за запряжкой Изумруда, оглядывая все тело лошади от челки до копыт, и Изумруд, чувствуя на себе этот точный, внимательный взгляд, гордо подымал голову, слегка полуоборачивал гибкую шею и ставил торчком тонкие, просвечивающие уши. Наездник сам испытал крепость подпруги, просовывая палец между ней и животом. Затем на лошадей надели серые полотняные попоны с красными каймами, красными кругами около глаз и красными вензелями внизу у задних ног. Два конюха, Назар и кривоглазый, взяли Изумруда с обеих сторон под уздцы и повели на ипподром по хорошо знакомой мостовой, между двумя рядами редких больших каменных зданий. До бегового круга не было и четверти версты.

Во дворе ипподрома было уже много лошадей, их проваживали по кругу, всех в одном направлении — в том же, в котором они ходят по беговому кругу, то есть обратном движению часовой стрелки. Внутри двора водили поддужных лошадей, небольших, крепконогих, с подстриженными короткими хвостами. Изумруд тотчас же узнал белого жеребчика, всегда скакавшего с ним рядом, и обе лошади тихо и ласково поржали в знак приветствия.

IV

На ипподроме зазвонили. Конюхи сняли с Изумруда попону. Англичанин, щуря под очками глаза от солнца и оскаливая длинные желтые лошадиные зубы, подошел, застегивая на ходу перчатки, с хлыстом под мышкой. Один из конюхов подобрал Изумруду пышный, до самых бабок хвост и бережно уложил его на сиденье американки, так что его светлый конец свесился назад. Гибкие оглобли упруго качнулись от тяжести тела. Изумруд покосился назад и увидел наездника, сидящего почти вплотную за его крупом, с ногами, вытянутыми вперед и растопыренными по оглоблям. Наездник не торопясь взял вожжи, односложно крикнул конюхам, и они разом отняли руки. Радуясь предстоящему бегу, Изумруд рванулся было вперед, но, сдержанный сильными руками, поднялся лишь немного на задних ногах, встряхнул шеей и широкой, редкой рысью выбежал из ворот на ипподром.

Вдоль деревянного забора, образуя верстовой эллипс, шла широкая беговая дорожка из желтого песка, который был немного влажен и плотен и потому приятно пружинился под ногами, возвращая им их давление. Острые следы копыт и ровные, прямые полосы, оставляемые гуттаперчей шин, бороздили ленточку.

Мимо протянулась трибуна, высокое деревянное здание в двести лошадиных корпусов длиною, где горой от земли до самой крыши, поддержанной тонкими столбами, двигалась и гудела черная человеческая толпа. По легкому, чуть слышному шевелению вожжей Изумруд понял, что ему можно прибавить ходу, и благодарно фыркнул.

Он шел ровной машистой рысью, почти не колеблясь спиной, с вытянутой вперед и слегка привороченной к левой оглобле шеей, с прямо поднятой мордой. Благодаря редкому, хотя необыкновенно длинному шагу его бег издали не производил впечатления быстроты; казалось, что рысак меряет не торопясь дорогу прямыми, как циркуль, передними ногами, чуть притроги-

ваясь концами копыт к земле. Это была настоящая американская выездка, в которой все сводится к тому, чтобы облегчить лошади дыхание и уменьшить сопротивление воздуха до последней степени, где устранены все ненужные для бега движения, непроизводительно расходующие силу, и где внешняя красота форм приносится в жертву легкости, сухости, долгому дыханию и энергии бега, превращая лошадь в живую безукоризненную машину.

Теперь, в антракте между двумя бегами, шла проминка лошадей, которая всегда делается для того, чтобы открыть рысакам дыхание. Их много бежало во внешнем кругу по одному направлению с Изумрудом, а во внутреннем — навстречу. Серый, в темных яблоках, рослый беломордый рысак, чистой орловской породы, с крутой собранной шеей и с хвостом трубой, похожий на ярмарочного коня, перегнал Изумруда. Он трясся на ходу жирной, широкой, уже потемневшей от пота грудью и сырыми пахами, откидывал передние ноги от колен вбок, и при каждом шаге у него звучно екала селезенка.

Потом подошла сзади стройная, длиннотелая гнедая кобыла-метиска с жидкой темной гривой. Она была прекрасно выработана по той же американской системе, как и Изумруд. Короткая холеная шерсть так и блестела на ней, переливаясь от движения мускулов под кожей. Пока наездники о чем-то говорили, обе лошади шли некоторое время рядом. Изумруд обнюхал кобылу и хотел было заиграть на ходу, но англичанин не позволил, и он подчинился.

Навстречу им пронесся полной рысью огромный вороной жеребец, весь обмотанный бинтами, наколенниками и подмышниками. Левая оглобля выступала у него прямо вперед на пол-аршина длиннее правой, а через кольцо, укрепленное над головой, проходил ремень стального обер-чека, жестоко охватившего сверху и с обеих сторон нервный храп лошади. Изумруд и кобыла одновременно поглядели на него, и оба мгновенно оценили в нем рысака необыкновенной силы, быстроты и выносливости, но страшно упрямого, злого, самолю-

бивого и обидчивого. Следом за вороным пробежал до смешного маленький, светло-серый нарядный жеребчик. Со стороны можно было подумать, что он мчится с невероятной скоростью: так часто топотал он ногами, так высоко вскидывал их в коленях, и такое усердное, деловитое выражение было в его подобранной шее с красивой маленькой головой. Изумруд только презрительно скосил на него свой глаз и повел одним ухом в его сторону.

Другой наездник окончил разговор, громко и коротко засмеялся, точно проржал, и пустил кобылу свободной рысью. Она без всякого усилия, спокойно, точно быстрота ее бега совсем от нее не зависела, отделилась от Изумруда и побежала вперед, плавно неся ровную, блестящую спину с едва заметным темным ремешком вдоль хребта.

Но тотчас же и Изумруда и ее обогнал и быстро кинул назад несшийся галопом огненно-рыжий рысак с большим белым пятном на храпе. Он скакал частыми длинными прыжками, то растягиваясь и пригибаясь к земле, то почти соединяя на воздухе передние ноги с задними. Его наездник, откинувшись назад всем телом, не сидел, а лежал на сиденье, повиснув на натянутых вожжах. Изумруд заволновался и горячо метнулся в сторону, но англичанин незаметно сдержал вожжи; и его руки, такие гибкие и чуткие к каждому движению лошади, вдруг стали точно железными. Около трибуны рыжий жеребец, успевший проскакать еще один круг, опять обогнал Изумруда. Он до сих пор скакал, но теперь уже был в пене, с кровавыми глазами и дышал хрипло. Наездник, перегнувшись вперед, стегал его изо всех сил хлыстом вдоль спины. Наконец конюхам удалось близ ворот пересечь ему дорогу и схватить за вожжи и за узду у морды. Его свели с ипподрома мокрого, задыхающегося, дрожащего, похудевшего в одну минуту.

Изумруд сделал еще полкруга полной рысью, потом свернул на дорожку, пересекавшую поперек беговой плац, и через ворота въехал во двор.

V

На ипподроме несколько раз звонили. Мимо отворенных ворот изредка проносились молнией бегущие рысаки, люди на трибунах вдруг принимались кричать и хлопать в ладоши. Изумруд в линии других рысаков часто шагал рядом с Назаром, мотая опущенною головой и пошевеливая ушами в полотняных футлярах. От проминки кровь весело и горячо струилась в его жилах, дыхание становилось все глубже и свободнее, по мере того как отдыхало и охлаждалось его тело,— во всех мускулах чувствовалось нетерпеливое желание бежать еще.

Прошло с полчаса. На ипподроме опять зазвонили. Теперь наездник сел на американку без перчаток. У него были белые, широкие, волшебные руки, внушавшие Изумруду привязанность и страх.

Англичанин неторопливо выехал на ипподром, откуда одна за другой съезжали во двор лошади, окончившие проминку. На кругу остались только Изумруд и тот огромный вороной жеребец, который повстречался с ним на проездке. Трибуны сплошь от низу до верху чернели густой человеческой толпой, и в этой черной массе бесчисленно, весело и беспорядочно светлели лица и руки, пестрели зонтики и шляпки и воздушно колебались белые листики программ. Постепенно увеличивая ход и пробегая вдоль трибуны, Изумруд чувствовал, как тысяча глаз неотступно провожала его, и он ясно понимал, что эти глаза ждут от него быстрых движений, полного напряжения сил, могучего биения сердца, — и это понимание сообщало его мускулам счастливую легкость и кокетливую сжатость. Белый знакомый жеребец, на котором сидел верхом мальчик, скакал укороченным галопом рядом, справа.

Ровной, размеренной рысью, чуть-чуть наклоняясь телом влево, Изумруд описал крутой заворот и стал подходить к столбу с красным кругом. На ипподроме коротко ударили в колокол. Англичанин едва заметно поправился на сиденье, и руки его вдруг окрепли. «Теперь иди, но береги силы. Еще рано», — понял Изумруд и в знак того, что понял, обернул на секунду

назад и опять поставил прямо свои тонкие, чуткие уши. Белый жеребец ровно скакал сбоку, немного позади. Изумруд слышал у себя около холки его свежее равномерное дыхание.

Красный столб остался позади, еще один крутой поворот, дорожка выпрямляется, вторая трибуна, приближаясь, чернеет и пестреет издали гудящей толпой и быстро растет с каждым шагом. «Еще! — позволяет наездник, — еще, еще!» Изумруд немного горячится и хочет сразу напрячь все свои силы в беге. «Можно ли?» — думает он. «Нет, еще рано, не волнуйся,— отвечают, успокаивая, волшебные руки. — Потом».

Оба жеребца проходят призовые столбы секунда в секунду, но с противоположных сторон диаметра, соединяющего обе трибуны. Легкое сопротивление туго натянутой нитки и быстрый разрыв ее на мгновение заставляют Изумруда запрясть ушами, но он тотчас же забывает об этом, весь поглощенный вниманием к чудесным рукам. «Еще немного! Не горячиться! Идти ровно!» — приказывает наездник. Черная колеблющаяся трибуна проплывает мимо. Еще несколько десятков сажен, и все четверо — Изумруд, белый жеребчик, англичанин и мальчик-поддужный, припавший, стоя на коротких стременах, к лошадиной гриве, — счастливо слаживаются в одно плотное, быстро несущееся тело, одухотворенное одной волей, одной красотой мощных движений, одним ритмом, звучащим, как музыка. Та-та-та-та! — ровно и мерно выбивает ногами Изумруд. Тра-та́, тра-та́! — коротко и резко двоит поддужный. Еще один поворот, и бежит навстречу вторая трибуна. «Я прибавлю?» — спрашивает Изумруд. «Да, — отвечают руки, — но спокойно».

Вторая трибуна проносится назад мимо глаз. Люди кричат что-то. Это развлекает Изумруда, он горячится, теряет ощущение вожжей и, на секунду выбившись из общего, наладившегося такта, делает четыре капризных скачка с правой ноги. Но вожжи тотчас же становятся жесткими и, раздирая ему рот, скручивают шею вниз и ворочают голову направо. Теперь уже неловко скакать с правой ноги. Изумруд сердится и не хочет переменить ногу, но наездник, поймав этот момент, повелительно и

спокойно ставит лошадь на рысь. Трибуна осталась далеко позади, Изумруд опять входит в такт, и руки снова делаются дружественно-мягкими. Изумруд чувствует свою вину и хочет усилить вдвое рысь. «Нет, нет, еще рано, — добродушно замечает наездник. — Мы успеем это поправить. Ничего».

Так они проходят в отличном согласии без сбоев еще круг и половину. Но и вороной сегодня в великолепном порядке. В то время, когда Изумруд разладился, он успел бросить его на шесть длин лошадиного тела, но теперь Изумруд набирает потерянное и у предпоследнего столба оказывается на три с четвертью секунды впереди. «Теперь можно. Иди!» — приказывает наездник. Изумруд прижимает уши и бросает всего один быстрый взгляд назад. Лицо англичанина все горит острым, решительным, прицеливающимся выражением, бритые губы сморщились нетерпеливой гримасой и обнажают желтые, большие, крепко стиснутые зубы: «Давай все, что можно! — приказывают вожжи в высоко поднятых руках. — Еще, еще!» И англичанин вдруг кричит громким вибрирующим голосом, повышающимся, как звук сирены:

— О-э-э-э-эй!

— Вот, вот, вот, вот!.. — пронзительно и звонко в такт бегу кричит мальчишка-поддужный.

Теперь чувство темпа достигает самой высшей напряженности и держится на каком-то тонком волоске, вот-вот готовом порваться. Та-та-та-та! — ровно отпечатывают по земле ноги Изумруда. Трра-трра-трра! — слышится впереди галоп белого жеребца, увлекающего за собой Изумруда. В такт бегу колеблются гибкие оглобли, и в такт галопу подымается и опускается на седле мальчик, почти лежащий на шее у лошади.

Воздух, бегущий навстречу, свистит в ушах и щекочет ноздри, из которых пар бьет частыми большими струями. Дышать труднее, и коже становится жарко. Изумруд обегает последний заворот, наклоняясь вовнутрь его всем телом. Трибуна вырастает, как живая, и от нее навстречу летит тысячеголосый рев, который пугает, волнует и радует Изумруда. У него не хватает больше рыси, и он уже хочет скакать, но эти удиви-

тельные руки позади и умоляют, и приказывают, и успокаивают: «Милый, не скачи!.. Только не скачи!.. Вот так, вот так, вот так». И Изумруд, проносясь стремительно мимо столба, разрывает контрольную нитку, даже не заметя этого. Крики, смех, аплодисменты водопадом низвергаются с трибуны. Белые листки афиш, зонтики, палки, шляпы кружатся и мелькают между движущимися лицами и руками. Англичанин мягко бросает вожжи. «Кончено. Спасибо, милый!» — говорит Изумруду это движение, и он, с трудом сдерживая инерцию бега, переходит в шаг. В этот момент вороной жеребец только-только подходит к своему столбу на противоположной стороне, семью секундами позже.

Англичанин, с трудом подымая затекшие ноги, тяжело спрыгивает с американки и, сняв бархатное сиденье, идет с ним на весы. Подбежавшие конюхи покрывают горячую спину Изумруда попоной и уводят на двор. Вслед им несется гул человеческой толпы и длинный звонок из членской беседки. Легкая желтоватая пена падает с морды лошади на землю и на руки конюхов.

Через несколько минут Изумруда, уже распряженного, приводят опять к трибуне. Высокий человек в длинном пальто и новой блестящей шляпе, которого Изумруд часто видит у себя в конюшне, треплет его по шее и сует ему на ладони в рот кусок сахару. Англичанин стоит тут же, в толпе, и улыбается, морщась и скаля длинные зубы. С Изумруда снимают попону и устанавливают его перед ящиком на трех ногах, покрытым черной материей, под которую прячется и что-то там делает господин в сером.

Но вот люди свергаются с трибун черной рассыпающейся массой. Они тесно обступают лошадь со всех сторон и кричат и машут руками, наклоняя близко друг к другу красные, разгоряченные лица с блестящими глазами. Они чем-то недовольны, тычут пальцами в ноги, в голову и в бока Изумруду, взъерошивают шерсть на левой стороне крупа, там, где стоит тавро, и опять кричат все разом. «Поддельная лошадь, фальшивый рысак, обман, мошенничество, деньги назад!» — слышит Изумруд и не понимает этих слов и беспокойно

шевелит ушами. «О чем они? — думает он с удивлением. — Ведь я так хорошо бежал!» И на мгновение ему бросается в глаза лицо англичанина. Всегда такое спокойное, слегка насмешливое и твердое, оно теперь пылает гневом. И вдруг англичанин кричит что-то высоким гортанным голосом, взмахивает быстро рукой, и звук пощечины сухо разрывает общий гомон.

VI

Изумруда отвели домой, через три часа дали ему овса, а вечером, когда его поили у колодца, он видел, как из-за забора подымалась желтая большая луна, внушавшая ему темный ужас.

А потом пошли скучные дни.

Ни на прикидки, ни на проминки, ни на бега его не водили больше. Но ежедневно приходили незнакомые люди, — много людей, и для них выводили Изумруда на двор, где они рассматривали и ощупывали его на все лады, лазили ему в рот, скребли его шерсть пемзой и всё кричали друг на друга.

Потом он помнил, как его однажды поздним вечером вывели из конюшни и долго вели по длинным, каменным, пустынным улицам, мимо домов с освещенными окнами. Затем вокзал, темный трясущийся вагон, утомление и дрожь в ногах от дальнего переезда, свистки паровозов, грохот рельсов, удушливый запах дыма, скучный свет качающегося фонаря. На одной станции его выгрузили из вагона и долго вели незнакомой дорогой, среди просторных, голых осенних полей, мимо деревень, пока не привели в незнакомую конюшню и не заперли отдельно, вдали от других лошадей.

Сначала он все вспоминал о бегах, о своем англичанине, о Ваське, о Назаре и об Онегине и часто видел их во сне, но с течением времени позабыл обо всем. Его от кого-то прятали, и все его молодое, прекрасное тело томилось, тосковало и опускалось от бездействия. То и дело подъезжали новые, незнакомые люди и снова толклись вокруг Изумруда, щупали и теребили его и сердито бранились между собою.

Иногда случайно Изумруд видел сквозь отворенную дверь других лошадей, ходивших и бегавших на воле, и тогда он кричал им, негодуя и жалуясь. Но тотчас же закрывали дверь, и опять скучно и одиноко тянулось время.

Главным в этой конюшне был большеголовый, заспанный человек с маленькими черными глазками и тоненькими черными усами на жирном лице. Он казался совсем равнодушным к Изумруду, но тот чувствовал к нему непонятный ужас.

И вот однажды, ранним утром, когда все конюхи спали, этот человек тихонько, без малейшего шума, на цыпочках вошел к Изумруду, сам засыпал ему овес в ясли и ушел. Изумруд немного удивился этому, но покорно стал есть. Овес был сладок, слегка горьковат и едок на вкус. «Странно, — подумал Изумруд, — я никогда не пробовал такого овса».

И вдруг он почувствовал легкую резь в животе. Она пришла, потом прекратилась и опять пришла сильнее прежнего и увеличивалась с каждой минутой. Наконец боль стала нестерпимой. Изумруд глухо застонал. Огненные колеса завертелись перед его глазами, от внезапной слабости все его тело стало мокрым и дряблым, ноги задрожали, подогнулись, и жеребец грохнулся на пол. Он еще пробовал подняться, но мог встать только на одни передние ноги и опять валился на бок. Гудящий вихрь закружился у него в голове; проплыл англичанин, скаля по-лошадиному длинные зубы, Онегин пробежал мимо, выпятя свой верблюжий кадык и громко ржа. Какая-то сила несла Изумруда беспощадно и стремительно глубоко вниз, в темную и холодную яму. Он уже не мог шевелиться.

Судороги вдруг свели его ноги и шею и выгнули спину. Вся кожа на лошади задрожала мелко и быстро и покрылась остро пахнувшей пеной.

Желтый движущийся свет фонаря на миг резнул ему глаза и потух вместе с угасшим зрением. Ухо его еще уловило грубый человеческий окрик, но он уже не почувствовал, как его толкнули в бок каблуком. Потом все исчезло — навсегда.

МЕЛЮЗГА

I

В полутораста верстах от ближней железнодорожной станции, в стороне от всяких шоссейных и почтовых дорог, окруженная старинным сосновым Касимовским бором, затерялась деревня Большая Курша. Обитателей ее зовут в окрестностях — Куршей-головастой и Литвой-некрещеной. Смысл последнего прозвища затерялся в веках, но остался его живой памятник в виде стоящей в центре деревни дряхлой католической часовенки, внутри которой за стеклами виднеется страшная раскрашенная деревянная статуя, изображающая Христа со связанными руками, с терновым венцом на голове и с окровавленным лицом. Жители Курши — коренные великороссы, крупного сложения, белокурые и лохматые. Говорят по-русски чисто, хотя нередко мешают *ч* и *ц:* вместо винцо — произносят винчо, вместо человек — целовек.

При въезде в деревню стоит земская школа; при выезде, у оврага, на дне которого течет речонка Пра, находится фельдшерский пункт. Фельдшер и учитель — единственные люди не здешнего происхождения. Обоих судьба порядочно помыкала по белу свету, прежде чем

свела их в этом углу, забытом богом и начальством и отдаленном от остального мира: летом — непроходимыми болотами, зимою — непролазными снегами. Суровая жизнь по-разному отразилась на них. Учитель мягок, незлобив, наивен и доверчив, и все это с оттенком покорной, тихой печали. Фельдшер — циник и сквернослов. Он ни во что на свете не верит и всех людей считает большими подлецами. Он угрюм, груб, у него лающий голос.

Оба они из духовного звания, неудавшиеся попы. Фамилия учителя — Астреин, а фельдшера — Смирнов. Оба холостые. Учитель служит в Курше с осени; фельдшер же — второй год.

II

Установилась долгая, снежная зима. Давно уже нет проезда по деревенской улице. Намело сугробы выше окон, и даже через дорогу приходится иногда переходить на лыжах, а снег все идет и идет не переставая. Курша до весны похоронена в снегу. Никто в нее не заглянет до тех пор, пока после весенней распутицы не обсохнут дороги. По ночам в деревню заходят волки и таскают собак.

Днем учитель и фельдшер занимаются каждый своим делом. Фельдшер принимает приходящих больных из Курши и из трех соседних деревень. Зимою мужик любит лечиться. С раннего утра, еще затемно, в сенях фельдшерского дома и на крыльце толпится народ. Болезни все больше старые, неизлечимые, запущенные, на которые летом во время горячей работы никто не обращает внимания: катарры, гнойники, трахома, воспаление ушей и глаз, кариоз зубной полости, привычные вывихи. Многие считают себя больными только от мнительности, от долгой зимней скуки, женщины — от истеричности, свойственной всем крестьянским бабам.

Смирнов знает в медицине решительно все и по всем отраслям. По крайней мере сам он в этом так глубоко убежден, что к ученым врачам и к медицинским авторитетам относится даже не с презрением, а со снисхо-

дительной жалостью. Лечит он без колебаний и без угрызений совести, ставит диагноз мгновенно. Ему достаточно только, нахмуря брови, поглядеть на больного сверх своих синих очков, и он уже видит насквозь натуру его болезни. «По утрам блюешь? На соленое позывает? Как ходишь до ветру? Дай руку... раз, два, три, четыре, пять, шесть... Ладно. Раздевайся... Дыши... Сильней. Здесь больно, когда нажимаю? Здесь? Здесь? Одевайся. Вот тебе порошки. Примешь один сейчас, другой перед обедом, третий через час после обеда, четвертый перед ужином, пятый на ночь. Так же и завтра. Понял? Ступай». И все это занимает ровно три минуты.

Он с невероятной храбростью и быстротой рвет зубы, прижигает ляписом язвы, вскрывает тупым ланцетом ужасные крестьянские чирьи и нарывы, прививает оспу и прокалывает девчонкам ушные мочки для сережек. Он от всей души жалеет, что медицинское начальство не разрешает фельдшерам производить, например, трепанацию черепа, вскрытие брюшной полости или ампутацию ног. Уж наверно он сделал бы такую операцию почище любого петербургского или московского профессора! Асептику и антисептику он называет чушью и хреновиной. По его мнению, бактерии даже боятся грязи. Главное дело в верности глаза и в ловкости рук. Крестьяне ему верят и только лишь в самых тяжких случаях, когда фельдшер велит везти недужного в больницу, обращаются к местным знахаркам.

В это время учитель занимается в тесной и темной школе. Он сидит в пальто, а ребятишки в тулупах, и у всех изо рта вылетают клубы пара. Оконные стекла изнутри сплошь покрыты толстым белым бархатным слоем снега. Снег бахромой висит на потолочных брусьях и блестит нежным инеем на округлости стенных бревен.

— «Мартышка в старости слаба глазами стала...» Ванюшечкин, что такое мартышка? Кто знает? Ты? Рассказывай. А вы, маленькие, списывайте вот это: «Хороша соха у Михея, хороша и у Сысоя».

Ноги даже в калошах зябнут и застывают. Крестьяне решительно отказались топить школу. Они и де-

тей-то посылают учиться только для того, чтобы даром не пропадал гривенник, который земство взимает на нужды народного образования. Приходится топить остатками забора и брать взаймы охапками у фельдшера. Тому — житье. Однажды мужики попробовали было и его оставить без дров, а он взял и прогнал наутро всех больных, пришедших на пункт. И дрова в тот же день явились сами собой.

III

В три часа Астреин на лыжах идет к фельдшеру обедать. Они столуются вместе, а водку покупают поочередно. Иногда для запаха и цвета фельдшер впускает в бутылку с водкой рюмку ландышного экстракта, и от этого у обоих после обеда долго колотятся и трепыхаются сердца. За обедом присутствует собака фельдшера Друг, большой, гладкий, рыжий, белогрудый пес дворовой породы. Он кладет голову то одному, то другому на колени, вздыхает, моргает глупыми голубыми глазами и стучит по ножкам табуреток своим прямым, крепким, как палка, хвостом. Прислуживает им старуха бобылка.

После обеда спят около часу, фельдшер на кровати, Астреин на печке. Просыпаются, когда уже стало темно и когда старуха приносит самовар. За чаем Астреин просматривает ученические тетрадки, а Смирнов приготовляет лекарства. Он делает их оптом, в запас, пакетов по пятидесяти каждого средства, преимущественно хины, салицилового натра, соды, висмута и доверова порошка. Он близорук и низко нагибается над столом при свете лампы. Его прямые, плоские волосы свисают со лба по обеим щекам, точно бабий платок. С этими волосами, в синих очках и с редкой, беспорядочной бороденкой, он похож на нигилиста старых времен.

Учитель встает и ходит вкось избы из угла в угол. Он высок, тонок и голову на длинной шее держит наклоненной набок. У него маленькое, съеженное лицо с старообразным малиновым румянцем, косматые брови

и голубые глаза, волосы над низким лбом торчат стоймя, рот западает внутрь под усами и короткой, выступающей вперед, густой бородой. Лет ему под тридцать.

Вот он останавливается посреди комнаты и говорит мечтательно:

— Как это дико, Сергей Фирсыч, что мы с вами уже три месяца не читаем газет. Бог знает, что произошло за это время в России? Подумайте только: вдруг случилась революция, или объявлена война, или кто-нибудь сделал замечательное открытие, а мы ровно ничего не знаем? Понимаете, такое открытие, которое вдруг перевернет всю жизнь... например, летающий корабль, или вот... например... читать в мыслях у другого, или взрывчатое вещество такой удивительной силы...

— Ха! Фантазии! — говорит Смирнов презрительно.

Астреин подходит к столу и длинными, нервными, всегда дрожащими пальцами перебирает разновески.

— Ну что ж, что фантазии, Сергей Фирсыч? Что тут плохого? Я, знаете, иногда сижу в школе или у вас вечером, и вдруг мне кажется, что вот-вот произойдет что-то совершенно необыкновенное. Вдруг бубенцы под окнами. Собака лает. Кто-то входит в сени, отворяет дверь. Лица не видать, потому что воротник у шубы поднят и занесло снегом.

— Жандарм? — насмешливо говорит Смирнов, пригибая лицо еще ниже к столу.

— Нет, погодите, Сергей Фирсыч. Он входит и спрашивает: «Не вы ли местный учитель Клавдий Иваныч Астреин?» Я говорю: «Это я-с». И вот он мне объявляет какую-то счастливую, неожиданную весть, которая меня всего потрясает. Я не могу себе даже вообразить, *что* он именно скажет, но что-то глубоко приятное и радостное для меня.

— Что вы выиграли двести тысяч на билет от конки? Или что вас назначили китайским богдыханом?..

— Ах, в том-то и дело, что я всегда стараюсь себе представить и не могу. Это не деньги, не должность — ничего подобного. Это будет какое-то чудо, после которого начнется совсем новая, прекрасная жизнь... начнется и для вас, и для меня, и для всех... Понимаете,

Сергей Фирсыч, я жду чуда! Неужели этого с вами никогда не бывает?

— За кого вы меня считаете? Конечно — никогда.

— А я жду! И мне кажется, вы неправду говорите. Вы тоже ждете. Это ожидание чуда — точно в крови у всего русского народа. Мы родились с ним на свет божий. Иначе невозможно жить, Сергей Фирсыч, страшно жить! Поглядите вы на мужиков. Их может разбудить, расшевелить и увлечь только чудо. Подите вы к мужику с математикой, с машиной, с политической экономией, с медициной... Вы думаете, он не поймет вас? Он поймет, потому что он все способен понять, что выражено логично, просто и без иностранных слов. Но он не поверит от вас ничему, что просто и понятно. Он убивал докторов в оспенные и холерные эпидемии, устраивал картофельные бунты, бил кольями землемеров. Изобретите завтра самое верное, ясное, как палец, но только не чудесное средство для поднятия его благосостояния — и он сожжет вас послезавтра. Но шепните ему, только шепните на ухо одно словечко: «золотая грамота!», или: «антихрист!», или: «объявился!» — все равно, кто объявился, лишь бы это было нелепо и таинственно, — и он тотчас же выдергивает стяг из прясел и готов идти на самую верную смерть. Вы его увлечете в любую, самую глупую, самую смешную, самую отвратительную и кровавую секту, и он пойдет за вами. Это чудо! Пусть нынче его же сосед Иван Евграфов вдруг откашляется и начнет говорить нараспев и в нос, зажмуря глаза: «И было мне, братие, сонное видение, что воплотися во мне древний змий Илья Пророк», — и мужик сегодня же поклонится Ивану Евграфову, как святителю или как обуянному демоном. Он восторженно поверит любому самозванцу, юродивому, предсказателю, лишь бы слова их были вдохновенны, туманны и чудесны. Вспомните русских самозванцев, ревизоров, явленные иконы, ереси, бунты — вы везде увидите в основе чудо. Стремление к чуду, жажда чуда — проходит через всю русскую историю!.. Мужик верит глупому чуду не потому, что он темен и неразвит, а потому, что это дух его истории, непреложный исторический закон...

Смирнов вдруг теряет терпение и начинает кричать грубо:

— Черт бы побрал ваши исторические законы. Вы просто ерунду порете, милый мой, а никакая не история. У русского народа нет истории.

— То есть как это нет?

— А вот так и нет! История есть у царей, патриархов, у дворян... даже у мещан, если хотите знать. История что подразумевает? Постоянное развитие или падение, смену явлений. А наш народ, каким был во время Владимира Красного Солнышка, таким и остался по сие время. Та же вера, тот же язык, та же утварь, одежда, сбруя, телега, те же знания и культура. Какая тут к черту история!

— Позвольте, Сергей Фирсыч, — мягко возражает учитель, — вы не о том...

— О том о самом, батенька. Да если хотите знать, и никакого русского народа нет. И России никакой нет!.. Есть только несколько миллионов квадратных верст пространства и несколько сотен совершенно разных национальностей, — есть несколько тысяч языков и множество религий. И ничего общего, если хотите знать. Вот я сейчас закрываю глаза и говорю себе: Рос-си-я. И мне, если хотите знать, представляется все это ужасное, необозримое пространство, все сплошь заваленное снегом, молчаливое, а из снега лишь кое-где торчат соломенные крыши. И кругом ни огня, ни звука, ни признака жизни! И вдруг, ни с того ни с сего, неизвестно почему — город. Каменные дома, электричество, телефоны, театры, и там какие-то господа во фраках — какие-то прыщи! — говорят: «Позвольте-с, мы чудесно знаем историю русского народа и лучше всех понимаем, что этому народу надобно. Вот мы ему сейчас пропишем рецепт, и он у нас сейчас...» Народ живет в грязи и невежестве, надо ему, значит, выписать персидского порошку, и каждому чтобы на руки азбуку-копейку. О-о! Кто только не знает этот добрый, старый, верный русский народ. Урядник всыпал мужику туда, откуда ноги растут, выпил рюмку водки, крякнул и хвастается: «Я свой народишко знаю во как!» Становой говорит гордо: «Мой народ меня знает, но и я знаю

мой народ!» Губернатор говорит и трясет головой: «Я и народ — мы понимаем друг друга». А тут же рядом торчит этакий интеллигент стрюцкий, вроде вас, Клавдий Иванович, и тоже чирикает: «Кто? Народ? Это мы сейчас, моментально... Вот тут книжка, и в книжке все это объяснено: и всякие исторические законы, и душа великого русского народа, и все такое прочее». И никто ничего не понимает: ни вы, ни я, ни поп, ни дьякон, ни помещик, ни урядник, ни черт, ни дьявол, ни сам мужик. Душа народа! Душа этого народа так же темна для нас, как душа коровы, если вы хотите знать!

— Виноват, Сергей Фирсыч, позвольте...

— Нет, уж вы мне позвольте. Будем говорить поочередно: сначала я, а потом вы, или, наоборот, сначала вы, а потом я. Вместе говорить неудобно. Я только хотел сказать...

— Нет, я хочу только...

И вот между ними закипает тяжелый, бесконечный, оскорбительный, скучный русский спор. Какой-нибудь отросток мысли, придирка к слову, к сравнению, случайно и вздорно увлекают их внимание в сторону, и, дойдя до тупика, они уже не помнят, как вошли в него. Промежуточные этапы исчезли бесследно; надо схватиться поскорее за первую мысль противника, какая отыщется в памяти, чтобы продлить спор и оставить за собою последнее слово.

Фельдшер уже начинает говорить грубости. У него вырываются слова вроде: ерунда, глупость, чушь, чепуха. В разговоре он откидывает назад голову, отчего волосы разлетаются в стороны, и то и дело тычет резко и прямо перед собою вытянутой рукой. Учитель же говорит жалобно, дрожащим обиженным голоском, и ребром ладони, робко выставленной из-под мышки, точно рубит воздух на одном месте.

— Ну да ладно! — говорит, наконец, с неудовольствием Смирнов. — Начнешь с вами, так и сам не рад. Давай-ка лучше в козла... Угощайте: кому сдавать? Вам.

Они играют с полчаса в карты, оба серьезны. Изредка произносят вполголоса: «крали, бордадым, мирю да под тебя, замирил, фоска, захаживай, крести, вини,

буби...» Разбухшие темные карты падают на стол, как блины.

Потом они расходятся. Иногда фельдшер немного провожает Астреина, который побаивается волков. На крыльце им кидается под ноги Друг. Он изгибается, тычет холодным носом в руки и повизгивает. Деревня тиха и темна, как мертвая. Из снежной пелены едва выглядывают, чернея, треугольники чердаков. Крыши слабо и зловеще белеют на мутном небе.

У крыльца, вдоль стены, лежит кверху дном лодка, занесенная снегом. И почти каждый вечер перед прощанием фельдшер говорит:

— Подождите, Клавдий Иваныч, вот придет весна, дождемся половодья — тогда мы с вами спустим лодочку в запруде. У мельницы, батенька, вот какие щуки попадаются!

Иногда же он предлагает, дразнясь:

— А хотите, я подвою?

Он уже делает ладони рупором вокруг рта и набирает воздух, чтобы завыть по-волчьи, и знающий эту штуку Друг уже начинает наперед нервно скулить, но Астреин торопливо хватает Смирнова за руки.

— Ну зачем это, Сергей Фирсыч? Зачем? Что вам за удовольствие доставляет пугать меня? Я не виноват, что у меня нервы.

— А вы не спорьте! — говорит фельдшер смеясь.

IV

Так проходят три месяца, и ничто не изменяется в их жизни. Они живут вдвоем, точно на необитаемом острове, затерявшемся среди снежного океана. Иногда учителю начинает казаться, что он, с тех пор как помнит себя, никуда не выезжал из Курши, что зима никогда не прекращалась и никогда не прекратится и что он только в забытой сказке или во сне слышал про другую жизнь, где есть цветы, тепло, свет, сердечные, вежливые люди, умные книги, женские нежные голоса и улыбки. И тогда лицо фельдшера представляется ему таким донельзя знакомым и неприятным, точно оно перестает быть чу-

жим человеческим лицом, а становится чем-то вроде привычного пятна на обоях, примелькавшейся фотографической карточки с выколотыми глазами или давнишней царапины на столе, по которым скользишь взором, уже не замечая их, но все-таки бессознательно раздражаясь.

К рождеству мужики протоптали в сугробах узкие дорожки. Стало возможно ездить гусем. По давно заведенному обычаю, все окрестные священники и дьячки, вместе с попадьями, дьяконицами и дочерями, съезжались на встречу Нового года в село Шилово, к отцу Василию, который к тому же на другой день, 1 января, бывал именинником. Приезжали также местные учители, псаломщики и различные молодые люди духовного происхождения, ищущие невест.

Шилово находилось в двенадцати верстах от Курши. Фельдшер и учитель выехали засветло. Астреин ни разу еще не бывал у отца Василия и немного колебался, ехать ему или не ехать, но фельдшер успокоил его:

— Да уж я вам говорю, будьте покойны. Раз вы приедете со мной — увидите, как вам будут все рады. Там всем рады. Попадья гостеприимная. Такая будет встреча!

С мороза, с одеревеневшими губами и распухшими пальцами, вошли они из сеней в маленькую гостиную. Было светло и жарко. Вдоль стен сидели девицы в разноцветных платьях, вертя в руках носовые платки. Молодые люди с папиросками ходили тут же взад и вперед, не обращая никакого внимания на барышень, и казались погруженными в размышления. Все они, как на подбор, были долговязы, белобрысы и острижены ежиком, все в длинных черных сюртуках, пахнувших нафталином и одеколоном «Гелиотроп», почти все носили дымчатые пенсне на безусых лицах, но так как глядеть сквозь стекла им все-таки было затруднительно, то они держали головы откинутыми назад с надменным, сухим и строгим видом. У каждого левая рука была заложена за спину, а правая с растопыренными пальцами засунута за борт сюртука.

Фельдшер двинулся первым, а учитель шел следом за ним, вдоль ряда сидевших барышень; фельдшер кланялся, шаркал ногой, стукал каблуком о каблук, встряхивал волосами и говорил, выворачивая левую ладонь по направлению учителя:

— Позвольте вам рекомендовать...

А учитель произносил:

— Учитель Куршинской земской школы Астреин.

Если же встречалось новое, незнакомое лицо, фельдшер и сам представлялся.

— Местный фельдшер Смирнов. Сын священника. А вот позвольте вам рекомендовать...

Покончив с барышнями, они представлялись таким же порядком молодым людям в сюртуках. Молодые люди, знакомясь, называли себя сдержанно и веско:

— Преображенский. Окончивший.

— Фолиантов. Окончивший.

— Меморский. Окончивший.

— Попов. Окончивший.

И тотчас же отходили в сторону, чтобы продолжать свою глубокомысленную прогулку.

Звание же «окончивший» было в некотором смысле ученой степенью и означало то, что молодой человек кончил в этом году курс семинарии, а теперь подыскивает себе невесту и священнослужительскую вакансию.

В другой комнате попы играли на трех столах в преферанс и на одном в стуколку. Придерживая одной рукой рукав рясы, они тянулись волосатыми руками за прикупкой, а карты свои рассматривали под столом, закрывая их сбоку полой рясы.

Время от времени раздавались солидные возгласы:

— Стучу.

— Четвертая.

— Моя.

— Семь первых.

— Моя.

— Кушайте на здоровье. Пасс.

— Позвольте.

— Вот так купил отец Афанасий. Вот купи-ил.

— Говорят, вы водку пили, отец Афанасий?

— Отец Евлампий, вы уже того... вы у меня в картах не ночуйте, пожалуйста.

— Хе-хе-хе! Меня еще дедушка учил. Свои карты всегда успеешь поглядеть — ты погляди у соседа.

— Своя. Что светит?

— Пики. Пикендрясы.

— Мне, пожалуйста, три.

— Куплю.

— Темная!

— Откройтесь!

За спинами у некоторых из игроков сидели их пожилые матушки. Они волновались, учили, советовали, упрекали, шипели на мужей и, заглядывая в карты налево и направо, выдавали с милой игривостью чужие тайны. Ссоры еще не было.

В третьей комнате чинно беседовали, поглаживая бороды, два почтенных священника, а сама шиловская попадья, старая, высокая, полная, еще красивая женщина, с властным большим лицом и черными круглыми бровями — настоящая король-баба! — хлопотала около стола, приготовляя закуски.

— Здравствуйте, молодые люди, — приветствовала она вошедших. — С холоду? Да, да, послал бог нынче морозы. Не хотите ли настойки, согреться? Вас-то я знаю, господин фершал, а вот молодого человека, кажется, в первый раз вижу.

— Позвольте вам рекомендовать... — вывернул ладонь Смирнов.

— Учитель Куршинской земской школы Астреин.

Потом начались в гостиной танцы под гармонию, на которой прекрасно играл шиловский псаломщик. Окончившие танцевали с полным пренебрежением к своим дамам, глядя им поверх головы или даже совсем не глядя в их сторону, точно они были сами по себе, а дамы сами по себе, и сохраняя на своих лицах и в осанке выражение суровой озабоченности и холодного достоинства. Может быть, это просто была известная светская манера, которую какой-нибудь сын соборного протопопа занес к ним в семинарию, и она стала общей благодаря подражательности? Дамы же старались изображать полнейшую безучастность к тому, что

с ними делали кавалеры, и танцевали — некоторые, впрочем, с легким оттенком обиженности — как деревянные.

Зато невысокий плотный фельдшер летал по гостиной самым победоносным и развязным образом, и его длинные волосы тряслись и прыгали вместе с его движениями. Он более всего увивался за дочерью отца Василия, хорошенькой вдовой-попадьей, Александрой Васильевной. Надо было видеть, как он лихо танцевал с ней модные танцы, па-д'эспань, па-де-патинер, краковяк и лезгинку, как, оставив свою даму на одном конце комнаты, он ловко скакал вокруг самого себя, держа руку над головой и живописно изогнувшись, как уже на другом конце, отделенный от дамы другими парами, он выделывал, щелкая каблуками, соло, как потом он стремительно мчался, кружась и толкая других танцоров, к покинутой даме, как он встряхивал плечами и округленными локтями в такт музыке и как, геройски полуобернувшись направо к Александре Васильевне, он наступал на чужие каблуки и платья.

Он же дирижировал кадрилью на чистом французском языке: гра-ро, болянсе, кàвале, рон-да-дà, шерше во дам, агош налево, агош направо, шен-да-да! «Мерррси во да-а-ам!» Он даже искренно рассмешил всех, когда вдруг, в середине шестой фигуры, скомандовал: «Аль-Фонс Ралле, Луи Буис, Генрих Блок!» — и вдруг, точно спохватившись, весело воскликнул: «Пардон, это не из той оперы». Положительно, он был львом бала, и Александра Васильевна отчаянно кокетничала с ним, то есть капризничала, надувала губки, хлопала его платком по руке, делала вид, что ей ужасно противно его ухаживание, и, вся розовая, звонко хохотала, откидываясь назад и блестя свежими темными глазками. Фельдшер ураганом носился по комнатам за водой для Александры Васильевны, со всех ног кидался подымать уроненный ею платок и выхватывал для нее стулья у других, более застенчивых кавалеров.

Астреин не умел ничего танцевать, кроме польки, да и ту танцевал, вытянувшись как можно прямее, на цыпочках, маленькими шажками, благообразно, плавно

и равнодушно, сохраняя в полной неподвижности свою длинную, склоненную набок шею и покатые плечи; при этом он старался не выходить на середину и скромно вертелся в углу. Он облюбовал себе тихонькую даму, дочь козлинского дьякона, маленькую, толстенькую Олимпиаду Евгеньевну, и танцевал только с ней. Она была бедно одета в старенькое, даже короткое голубое шерстяное платье, выцветшее и обзеленевшее под мышками и вот-вот готовое лопнуть или расстегнуться спереди под напором ее крепких, круглых грудей. Но она была так свежа, что, казалось, от нее пахнет арбузом или парным молоком. У нее было круглое лицо, голубые глаза и неровный мраморный румянец. Когда они кружились с Астреиным, ее толстая коса, с голубым бантиком на конце, иногда ударяла учителя по плечу. Она часто краснела и поминутно так наклонялась вперед и поворачивала голову, точно хотела убежать. Астреин все только откашливался. Он не слышал своего голоса из-за звуков гармонии и в десятый раз говорил девушке, что она, наверно, страшно скучает у себя в деревне.

В промежутках между танцами кавалеры выходили на улицу на мороз, курили и охлаждались, обмахиваясь платками. Пар валил от них, как от почтовых лошадей.

После небольшого неизбежного карточного скандала, вследствие которого один из батюшек совсем было собрался уезжать, говоря, что нога его больше не будет под этой кровлей, и даже покушался отыскивать в сенях свою шубу и шапку, в чем, однако, ему помешали, шиловская попадья позвала ужинать. Мужчины сели на одном конце стола, дамы — на другом. Фельдшер поместился рядом с Астреиным.

— Видел, брат, видел, — сказал Смирнов, покровительственно хлопая учителя по спине. — Видел, видел... Настоящий ухажер. Вполне можно дать браво.

— Тсс... Бросьте... Сергей Фирсыч.

Ужин вышел шумный и веселый. Даже окончившие разошлись, говорили поздравительные речи с приведением текстов и, сняв свои дымчатые стекла, оказались теплыми ребятами с простоватыми, добродушными

физиономиями и не дураками выпить. Новый год встречали по-старинному, с воззванием: «Благослови, господи, венец лета благости твоя на 19 ** год». Хотели гадать, но отец Василий воспрепятствовал этому.

Немножко пьяный и немножко влюбленный, Астреин, по примеру фельдшера, скатал два шарика из хлеба, поймал глазами взгляд голубой девушки и, нагибаясь над столом, крикнул ей среди общего шума:

— Что вы желаете этим шарикам?

Она же, вся пунцовая, благодаря трем рюмкам наливки, перекинула назад движением головы свою толстую светлую косу и крикнула, прыская от смеха и тоже наклоняясь к столу:

— Мышь за пазуху!

В три часа учитель и фельдшер, выпившие на «ты», поцеловавшиеся и, по обычаю, обругавшие друг друга свиньей и скотиной, ехали домой. Фельдшер был совсем пьян. Он клялся Астреину в дружбе, целовал его, холодя его щеку обмерзлыми колючими усами, и все упрашивал его не губить Липочку и не срывать цветка невинности.

— Я т-тебя зна-аю. Ты специалист! — говорил он многозначительно.

Не доезжая Курши, он заснул и даже тогда не проснулся, когда собака Друг, вскочив в сани, облизала ему все лицо. Учителю пришлось вместе с мужиком и старухой бобылкою втаскивать его в комнату.

V

Этот вечер был, как мгновенный свет в темноте, после которого долго еще мреют в глазах яркие плывущие круги. На целую половину января хватило у фельдшера и учителя вечерних разговоров о новогодье у отца Василия.

Своих шиловских дам они сначала называли заочно по именам-отчествам, потом — твоя Липочка, моя Сашенька и, наконец, просто твоя и моя. Было особенно щекотливо-приятно каждому из них, когда не он, а другой вспоминал за него разные мелочи — и те, кото-

рые были на самом деле, и созданные впоследствии воображением.

— Ей-богу, это все заметили, — уверял Астреин. — Когда ты танцевал с другой, она от тебя глаз не отводила.

— Ну вот! Брось... Глупости, — махал фельдшер рукой и не мог удержать на толстых губах самодовольной улыбки.

— Ей-богу! Даже отец Василий сказал: «Посмотрите, эскулап-то наш... каково? А?» Я, брат, даже удивился на тебя, так ты и сыплешь, так и сыплешь разговором. А она так и помирает со смеху. И потом я видел, брат, как ты ей шептал на ухо, когда вы шли от ужина. Я видел!

— Оставь, пожалуйста. Ничего подобного, — сладко скромничал фельдшер. — А ведь действительно шикарная женщина эта Сашенька, а?

— Красавица! Что и говорить. Царица бала!

— Н-да, но и твоя в своем роде... Ведь это, конечно, дело вкуса, не правда ли? Вкусов ведь нет одинаковых?.. Моя — она больше бросается в глаза, этакая светская, эффектная женщина, ну, а у твоей красота чисто русская... не кричащая, а, знаешь, тихая такая. И какие роскошные волосы! Коса в мою руку толщиной. В голубеньком платье... одна прелесть. Такой, понимаешь ли... в глуши расцветший василек. Как ты ей с шариком-то? Злодей Злодеич!..

— А она вдруг отвечает: мышь за пазуху!..

— Да. И вся вспыхнула. Ты думаешь, это так себе, на ветер сказано? Никогда. Я уж, брат, женщин знаю достоканально, ничего не скажут без цели. Липочка этим дала тебе намек, если ты хочешь знать.

Учитель блаженно улыбался.

— Перестань, Сергей Фирсыч... Какой там намек...

— Очень простой. Хочу быть у вашего сердца — вот какой намек. Честное слово, она премилая. Свежа, как роза. И какой цвет лица!

— Чудный, чудный... У твоей Сашеньки тоже ведь цвет лица...

Но прошли две недели, и как-то само собой сделалось, что эти пряные разговоры стали реже и короче,

а там и совсем прекратились. Зима, подобно смерти, все сглаживает и уравнивает. К концу января оба — и фельдшер и учитель — испытывали чувство стыда и отвращения, если один из них случайно заговаривал о Шилове. Прежняя добродушная услужливость в воспоминаниях и маленькая невинная сладкая ложь теперь казались им издали невыносимо противными.

А бесконечная, упорная, неодолимая зима все длилась и длилась. Держались жестокие морозы, сверкали ледяные капли на голых деревьях, носились по полям крутящиеся снежные вьюны, по ночам громко ухали, оседая, сугробы, красные кровавые зори подолгу рдели на небе, и тогда дым из труб выходил кверху к зеленому небу прямыми страшными столбами; падал снег крупными, тихими, безнадежными хлопьями, падал целые дни и целые ночи, и ветви сосен гнулись от тяжести белых шапок.

Теперь даже и фельдшеру казалось временами, что зиме не будет и конца, и эта мысль оковывала ужасом его трезвый, чуждый всякой мечтательности, поповский ум. Он становился все раздражительнее и часто говорил грубости земскому доктору, когда тот наезжал на фельдшерский пункт.

— У меня не тысяча рук, а две, — бурчал он глухим басом, тряся волосами и выбрасывая вперед руку с растопыренными пальцами.— А если вам моя физиономия не нравится, так так и заявите в управе. Я не илот вам дался.

Часто, оставаясь один, он быстро ходил по комнате и воображал себе свою бешеную ссору с доктором. Иногда он давал ему пощечину, иногда стрелял в него. При этом он бледнел от волнения, и губы у него белели, сохли, холодели и дергались.

Перевалило за февраль. Дни стали длиннее, но зима держалась еще крепче.

Фельдшер и учитель тяготились друг другом. Все было изучено друг в друге и все надоело до тошноты: жесты, тон голоса, привычные словечки. Маленькие стеснительные недостатки возбуждали дрожь ненависти, той острой, мелочной, безумной ненависти, которую люди чувствуют друг к другу во время продол-

жительного и невольного заключения вдвоем и которая так часто бывает в браке. Разговоры всегда оканчивались взаимной обидой.

По старой привычке, они иногда спорили, — спорили подолгу, стараясь оскорбить друг друга: фельдшер — грубостями, учитель — тонкими, смиренными, незаметными уколами самолюбию, и, сами сознавая противную сторону этих споров, они все-таки въедались в них и не могли их прекратить.

Волки, которые теперь от голода совсем обнаглели и забегали в деревню даже днем, вероятно, с любопытством и со злобой следили издали в длинные лютые вечера, как в освещенном окне на краю деревни рисовалась нагнувшаяся над столом человеческая фигура и как другая фигура, тонкая и длинная, быстро шныряла по комнате, то пропадая в темных углах, то показываясь в освещенном пространстве. И они, должно быть, слышали, как высокий, вздрагивающий голос учителя нервно частил: «ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды...», а фельдшер перебивал его глухим, недовольным тягучим басом: «бу-у, бу-у, бу-у...»

Однажды, перебирая одной рукой аптекарские разновески на столе, а другой, по обыкновению, разрезая воздух на мелкие кусочки, Астреин стоял возле фельдшера и говорил:

— Я всегда, Сергей Фирсыч, думал, что это хорошо — приносить свою, хоть самую малюсенькую пользу. Я гляжу, например, на какое-нибудь прекраснейшее здание, на дворец или собор, и думаю: пусть имя архитектора останется бессмертным на веки вечные — я радуюсь его славе, и я совсем не завидую ему. Но ведь незаметный каменщик, который тоже с любовью клал свой кирпич и обмазывал его известкой, разве он также не может чувствовать счастья и гордости? И я часто думаю, что мы с тобой — крошечные люди, мелюзга, но если человечество станет когда-нибудь свободным и прекрасным...

— Оставьте! Читали! — крикнул сердито фельдшер и отмахнулся рукой. — Я не хочу варить щей, которых мне никогда не придется хлебать. К черту будущее

человечество! Пусть оно подыхает от сифилиса и вырождения!

Астреин вдруг побледнел и сказал, заикаясь:

— Но ведь это ужасно, что ты говоришь, Сергей Фирсыч. Ведь жить больше нельзя, если так думать. Значит, что же?.. Значит, остается только идти и повеситься!..

— И вешайся! — закричал фельдшер, трясясь от злости. — Одним дураком на свете меньше будет!..

Астреин молча надел пальто, взял шапку и ушел. Он не появлялся к обеду два дня. Но они не могли уже обойтись друг без друга, не могли жить без этих привычных, мелочных взаимных оскорблений, без этой зудящей, длительной ненависти друг к другу. К концу второго дня фельдшер пришел в школу мириться, и все пошло по-старому.

Такие ссоры повторялись часто. Надевая дрожащими руками пальто, торопясь и не попадая в рукава, ища в то же время ногами калоши, а глазами — шапку, Астреин говорил плачущим голосом.

— Я уйду, Сергей Фирсыч, я уйду, бог с вами. Но клянусь вам, что это в последний раз. И прошу вас не приходить больше ко мне! Да, прошу об этом вас покорнейше.

— И черт с вами! И не приду! Очень вы нужны мне! С богом по гладенькой дорожке. Дверь сами найдете.

Но они все-таки мирились, ибо уже до болезни вжились друг в друга.

Скука длинных ночей, которую нельзя было одолеть даже сном, толкала их на ужасные вещи.

Однажды среди ночи фельдшер проник в кухню к старухе бобылке, и, несмотря на ее ужас и на ее причитания, несмотря на то, что она крестилась от испуга, он овладел ею. Ей было шестьдесят пять лет. И это стало повторяться настолько нередко, что даже старуха привыкла и молча подчинялась.

Уйдя от нее, Смирнов каждый раз бегал по комнате, скрежетал зубами, стонал и хватал себя за волосы от омерзения.

Учителя же одолевали ночные сладострастные грезы во время бессонниц. Он худел, глаза его увеличивались и стекленели, и под ними углублялись черные синяки. И его нервные тонкие пальцы дрожали еще сильнее.

Как-то фельдшер предложил Астреину попробовать вдыхание эфира.

— Это очень приятно, — говорил он, — только надо преодолеть усилием воли тот момент, когда тебе захочется сбросить повязку. Хочешь, я помогу тебе?

Он уложил учителя на кровать, облепил ему рот и нос, как маской, гигроскопической ватой и стал напитывать ее эфиром. Сладкий, приторный запах сразу наполнил горло и легкие учителя. Ему представилось, что он сию же минуту задохнется, если не скинет со своего лица мокрой ваты, и он уже ухватился за нее руками, но фельдшер только еще крепче зажал ему рот и нос и быстро вылил в маску остатки эфира.

VI

Была одна страшная секунда, когда Астреин почувствовал, что он умирает от удушья, но всего только одна секунда, не более. Тотчас же ему стало удивительно покойно и просторно. Что-то радостно задрожало у него внутри, какая-то светящаяся и поющая точка, и от нее, точно круги от камня, брошенного в воду, побежали во все стороны веселые трепещущие струйки. Лежа на спине, он ясно увидел, как прямая линия, образованная стеною и потолком, вдруг расцветилась радугой, изломалась и вся расплылась в мелких, как Млечный Путь, звездочках. Потом задрожало все: воздух, стены, свет, звуки — весь мир. И ему казалось, что каждый атом его существа превращается в вибрирующее движение, слитое с общим неуловимо-быстрым, светлым движением. Все его тело растворялось и таяло; оно сделалось невесомым, и это ощущение легкости и свободы было невыразимо блаженно. И вдруг его сознание полетело по бесконечной кривой — куда-то вниз, в темную пропасть, и угасло.

Он очнулся с головной болью и с противным вкусом эфира во рту. Этот вкус преследовал его целую ночь и весь следующий день.

Фельдшер попросил Астреина оказать ему такую же услугу — подержать над лицом ватную маску, и учитель подчинился. Они проделали этот опыт несколько раз, но не успели сделаться эфироманами, потому что весь запас волшебной жидкости вышел, а нового им не присылали.

А зима все лежала и лежала на полях мертвым снегом, выла в трубах, носилась по улицам, гудела в лесу. Куршинские мужики кормили скот соломой с крыш и продавали лошадей на шкуры заезжим кошатникам.

Астреин совсем опустился. Он не только целый день ходил в пальто и калошах, но и спал в них, не раздеваясь. С утра до вечера он пил водку, иногда пил ее даже проснувшись среди ночи, доставая бутылку из-под кровати. Воспаленный мозг его одиноко безумствовал в сладострастных оргиях.

В школе, в часы занятий, он садился за стол, подпирал голову обеими руками и говорил:

— Пусть каждый из вас, дети, прочитает «Мартышку и очки». Все по очереди. Наизусть. Валяйте.

Ребятишки уже давно приспособились к нему и говорили, что хотели. А он сидел, расширив светлые сумасшедшие глаза и уставив их всегда в одну и ту же точку на географической карте, где-то между Италией и Карпатами.

Фельдшер же во время приемов кричал на мужиков и нарочно, с дикой злобой на них и на себя, делал им больно при перевязках. Когда он оставался один и думал о докторе, то глаза его наливались кровью от долго затаенного бешенства, ставшего манией.

Казалось, они оба неизбежно подходили к какому-то страшному концу. Но что-то странное и таинственное есть в человеческой природе. Когда физическая боль, отчаяние, экстаз или падение достигают высочайшего напряжения, когда вот-вот они готовы перейти через предельную черту, возможную для человека, тогда судьба на минутку дает человеку роздых и точно

ослабляет ему жестокие тиски. Иногда она даже на мгновение улыбнется ему. Так бывает при тяжелых, смертельных родах у женщин, на войне, во время непосильного труда, при неизлечимых болезнях, иногда при сумасшествии, и, должно быть, бывало во время пыток перед смертью. Потом судьба холодно и беззлобно успокаивает человека навсегда.

VII

Вдруг случилось чудо, в которое так наивно верил учитель Астреин. Пришла весна!

Сначала, несколько дней подряд, воздух стоял неподвижно и был тепел. Тяжелые сизые облака медленно и низко сгруживались к земле. Тощие горластые петухи орали не переставая по дворам в деревне. Галки с тревожным криком носились по темному небу. Дальние леса густо посинели. Людей клонило днем ко сну.

Потом сразу пошли дожди, подули южные ветры. Ветер и дождь прямо на глазах ели снег, который стал на полях ноздреватым и грязным, а там, где под ним бежала вода, зернистым и жидким. Деревенская улица обнажилась, доверчиво размякла, и коричневые болтливые ручейки побежали по ней во всю ее ширину вдоль уклона.

Весенний беспорядок — шумный, торопливый, сорный — воцарился в лесах, полях и на дорогах — точно дружная, веселая суета перед большим праздником происходила в природе. Как чудесно пахли по ночам земля, ветер и, кажется, даже звезды!

Вскрылась Пра. Фельдшер все хлопотал около лодки. Однажды вечером он сказал Астреину, потирая намозоленные руки:

— Теперь все готово. Завтра приходи пораньше. Пообедаем — и айда. Нам некогда терять времени. Через неделю Пра обмелеет, и тогда придется тащить лодку на плечах. А теперь мы как раз ее пригоним к мельнице.

На другой день после раннего обеда они сволокли

легкую, плоскодонную лодку по откосу оврага к реке, спустили ее в воду и поплыли по течению вниз. Так как река бежала необыкновенно быстро, то фельдшер пустил Астреина на гребные весла, а сам сел на корму с рулевым веслом. Смирнов взял с собой на всякий случай шомпольную одностволку и даже зарядил ее. Друг, увязавшийся за лодкой, бежал по берегу и весело лаял.

Сейчас же, сажен через тридцать, был мост между крутыми берегами. Теперь он висел над поднявшейся водой, почти касаясь ее. Оглянувшись назад, учитель спросил с беспокойством:

— Пройдем ли?

— Глупости! Пройдем! — ответил уверенно фельдшер. — Нагнемся и проедем.

Чтобы войти под мост, им пришлось не только лечь ничком на банки, но и защищать руками лица от мостовых бревен. Под мостом было темно, сыро и гулко. Вырвавшись из-под него, лодка точно прибавила ходу и теперь плыла со скоростью хорошей почтовой лошади.

По небу опрометью неслись круглые, пухлые облака. Совсем неожиданно пошел дождь. Фельдшер обвязал замок у своего ружья носовым платком, чтобы пистоны не отсырели. Но дождь сейчас же и перестал, и снова засмеялось весеннее непостоянное солнце. Берега понижались постепенно, а река все расширялась. Вода бурлила, разрезаемая носом лодки; она была по-весеннему грязно-коричневая и на изломах струек поблескивала голубым отражением неба. Все чаще и чаще попадались льдины — круглые, покрытые сверху грязным снегом. Они кружились, подгоняемые течением, и терлись, шурша о борта лодки, которая их обгоняла.

Навстречу лодке рос приближающийся лес. Издали было слышно, как вода клокотала в нем вокруг затопленных деревьев. Лодка, не умеряя скорости, вошла в него, и вдруг берега реки разбежались и пропали. Куда бы ни глядел глаз, всюду — налево, направо, впереди, позади — расстилалась бегущая, говорливая, плоская вода, из которой кое-где торчали верхушки

кустов. Но главное течение все-таки легко можно было определить по быстроте струй и по широкому расстоянию между деревьями. Фельдшер правил молодцом, зато несколько раз искупавшийся в лужах Друг остался на берегу. Он попробовал было плыть, но испугался и вернулся назад. Он долго еще отряхивался, трепеща шеей и ушами, и скулил, глядя вслед лодке. Начинало темнеть.

— Господи! Что же может быть на свете лучше русской весны! — говорил Астреин. — Знаешь, Фирсыч, она точно любимая женщина. Отчаялся ее дождаться, проклинаешь ее, готовишь ей гневные слова, — а вот она пришла, и какая радость!..

— Ну ладно, ладно, — бурчал с ласковой грубостью фельдшер. — Держись крепко, старик, не кисни!

Река так же внезапно, как расширилась, так и сузилась. Впереди виднелся второй мост, как будто перехватывающий реку узким горлом; за ним она опять расширялась.

— Послушай, друже, — сказал фельдшер, — я думаю, лучше нам пристать у берега, не доходя моста, а лодку уж мы проведем волоком. Мы здесь не проскочим.

— Э, чепуха, проскочим! Держи прямо! Штир-бом-бим-брам-штреньгу! — крикнул задорно Астреин.

— Ну, ну! — сказал фельдшер в знак согласия.

Но они не рассчитали. Вода была слишком высока. Лодка ударилась носом о мостовую настилку, течение тотчас же повернуло ее боком, прижало к мосту, и вдруг Астреин с ужасом увидел, как вся река хлынула в лодку.

Фельдшер успел вовремя ухватиться за настилку и выкарабкаться почти сухим. Но Астреин по горло погрузился в воду. Он достал ногами дно, здесь было вовсе не глубоко, но течение с такой силой тянуло его под мост, что он едва-едва успел уцепиться за столб. Лодка, переполнившись водою, перевернулась вверх дном, легко скользнула в пролет и на той стороне моста сейчас же запуталась в кустах. Фельдшер стоял наверху и хохотал во все горло.

— Это свинство, — мрачно сказал Астреин из воды. — Сам перевернул лодку, когда выскакивал, и сам смеешься. Давай руку.

— Подожди. Притяни сначала лодку. Тебе все равно заодно мокнуть. Иди смело. Здесь мелко.

— Да, хорошо тебе сверху.

Пока фельдшер вытаскивал учителя на мост, пока он обжимал на нем набухшую от воды одежду, стаскивал с него сапоги и выливал из них воду, незаметно настала ночь.

Снег на берегу, казавшийся вечером светло-фиолетовым, сразу побелел и сделался прозрачно-легким и тонким. Деревья почернели и сдвинулись. Теперь ясно было слышно, как вдали ровно и беспрестанно гудела вода на мельничной плотине.

— Все равно надо ехать, — сказал фельдшер, — выберемся на заворот, а там вытащим лодку куда́-нибудь на берег и пойдем ночевать на мельницу. Назад уж невозможно.

Они опять сели в лодку. Прямо от моста река расширялась воронкой перед запрудой. Левый берег круто загибал влево, а правый уходил прямо вперед, теряясь в темноте.

Неожиданное течение вдруг подхватило лодку и понесло ее с ужасной стремительностью. Через минуту не стало видно ни левого, ни правого берега. Рев воды на мельнице, которому до сих пор мешала преграда из леса, вдруг донесся с жуткой явственностью.

— Куда гребешь? Куда? Черт! Левым загребай, правым табань. Левым, левым, дьявол, черт, сволочь! Да левым же, левым, черт бы тебя побрал. Черт, свинья!..

— Дрянь, сволочь! Сидишь на руле. Чего смотришь? Собака, сволочь! Клистирная трубка!

Астреин выбивался из сил, стараясь направить лодку к левому берегу, но она неслась неведомо куда. И в это время фельдшер и учитель яростно ругали друг друга всеми бранными словами, какие им попадали на язык.

— Стой, стой! Куст! Держи! Куст! — вдруг закричал радостно фельдшер.

Ему удалось схватиться руками за ветки куста, торчавшего из воды. Лодка стала, вся содрогаясь и порываясь вперед. Вода бежала вдоль ее бортов слева и справа с гневным рокотом. Теперь видим стал правый берег. Снег лежал на нем, белея слабо и плоско, как бумага в темноте. Но фельдшер знал местность. Этот берег представлял собою огромное болото, непроходимое даже летом.

Несколько минут оба молчали. Большие льдины, крутясь, быстро проплывали мимо лодки и казались легкими, как вата. Иногда они сталкивались, терлись друг о друга и шуршали, и вздыхали с коварной осторожностью.

Астреин чувствовал, как у него волосы холодеют и становятся прямыми и твердыми, точно тонкие стеклянные трубки. Рев воды на мельнице стоял в воздухе ровным страшным гулом; и было ясно, что вся тяжелая масса воды в реке бежит неудержимо туда, к этому звуку.

— Надо двигаться! — сказал фельдшер. —Пусти-ка меня на весла.

Они переменились местами, и теперь уже Астреин держался за ветки. Оба старались казаться спокойными.

— Дело в том, что о правом береге нам нечего и думать. Там мы увязнем и не выберемся до трубы архангельской. Послушай, Клавдий Иванович. — Голос фельдшера вдруг задрожал теплым, глубоким тоном. — Послушай, ты не сердишься на меня, что я потащил тебя сегодня в эту дурацкую поездку?

— О, что ты, родной мой. Не думай об этом, ради бога, — ласково ответил учитель.

Он наклонился, чтобы увидеть лицо Смирнова, но увидел только слабое темное очертание его плеч и головы.

— Видишь ли, нам надо, если ты хочешь знать, выбиваться к левому берегу, — опять заговорил фельдшер. — Попробуем пересечь течение? а? Как ты думаешь?

— Давай, — тихо сказал учитель, — судьба так судьба.

— Ничего... Может, и выгребу, а не выгребу — наплевать...

— Конечно, — сказал учитель.

Опять наступило молчание. Вода плескалась и роптала вокруг лодки, кружились и вздыхали со свистом льдины, ревела вдали мельница.

— Пускать? — спросил учитель с тоской.

— Прости меня за все, Клавдий Иванович, — вдруг просто и серьезно, даже точно деловито, сказал фельдшер. — Я был к тебе так несправедлив эту зиму.

— Брось, милый, что уж тут. Я тебя люблю, мало ли что бывает между близкими? Ну, держись. Я пускаю.

Он разжал руки, и лодка, точно обезумев от свободы, понеслась вперед. И тотчас же Астреин увидел свет на мельнице. Он, как красная булавка, торчал среди черной ночи.

Фельдшер греб, нагнув вниз голову, упираясь ногами в переднюю скамейку, шумно и коротко выдыхая воздух. Ему казалось, что лодка быстро подается вперед при каждом взмахе весел, но это был обман: ее несло только течением, и сам Смирнов хорошо это знал.

Учитель ничего не говорил, но он видел, как с каждым мгновением увеличивался огонь на мельнице. Можно было уже разобрать переплет окна.

Воздух дрожал от рева воды под шлюзами. Вдруг Астреин увидел впереди лодки длинный белый гребень пены, который приближался, как живой. Он со слабым криком закрыл лицо руками и бросился ничком на дно лодки. Фельдшер понял все и оглянулся назад. Лодка боком вкось летела на шлюзы. Неясно чернела плотина. Белые бугры пены метались впереди.

— Конец! — сказал фельдшер вслух. — Астреин, Астреин! — крикнул он, — держись за борта, держись!

Но его тотчас же сбило со скамейки. Он упал грудью на уключину и судорожно вцепился обеими руками в борт. Огромная тяжелая волна обдала его с ног до головы. Почему-то ему послышался в реве водопада густой, частый звон колокола. Какая-то чу-

довищная сила оторвала его от лодки, подняла высоко и швырнула в бездну головой вниз. «А Друг-то, пожалуй, один не найдет дорогу домой», — мелькнуло вдруг в голове фельдшера. И потом ничего не стало.

Река долго влекла их избитые, обезображенные тела, крутя в водоворотах и швыряя о камни. Труп фельдшера застрял между ветлами. Учителя потащило дальше.

СУЛАМИФЬ

Положи мя яко печать на сердце твоем, яко печать на мышце твоей: зане крепка яко смерть любовь, жестока яко смерть ревность: стрелы ее — стрелы огненные.

Песнь песней.

I

Царь Соломон не достиг еще среднего возраста — сорока пяти лет, — а слава о его мудрости и красоте, о великолепии его жизни и пышности его двора распространилась далеко за пределами Палестины. В Ассирии и Финикии, в Верхнем и Нижнем Египте, от древней Тавризы до Иемена и от Исмара до Персеполя, на побережье Черного моря и на островах Средиземного — с удивлением произносили его имя, потому что не было подобного ему между царями во все дни его.

В 480 году по исшествии Израиля, в четвертый год своего царствования, в месяце зифе, предпринял царь сооружение великого храма господня на горе Мориа и постройку дворца в Иерусалиме. Восемьдесят тысяч каменотесов и семьдесят тысяч носильщиков беспрерывно работали в горах и в предместьях города, а десять тысяч дровосеков из числа тридцати восьми тысяч отправлялись посменно на Ливан, где проводили целый месяц в столь тяжкой работе, что после нее отды-

хали два месяца. Тысячи людей вязали срубленные деревья в плоты, и сотни моряков сплавляли их морем в Иаффу, где их обделывали тиряне, искусные в токарной и столярной работе. Только лишь при возведении пирамид Хефрена, Хуфу и Микерина в Гизехе употреблено было такое несметное количество рабочих.

Три тысячи шестьсот приставников надзирали за работами, а над приставниками начальствовал Азария, сын Нафанов, человек жестокий и деятельный, про которого сложился слух, что он никогда не спит, пожираемый огнем внутренней неизлечимой болезни. Все же планы дворца и храма, рисунки колонн, давира и медного моря, чертежи окон, украшения стен и тронов созданы были зодчим Хирамом-Авием из Сидона, сыном медника из рода Нафалимова.

Через семь лет, в месяце буле, был завершен храм господень и через тринадцать лет — царский дворец. За кедровые бревна с Ливана, за кипарисные и оливковые доски, за дерево певговое, ситтим и фарсис, за обтесанные и отполированные громадные дорогие камни, за пурпур, багряницу и виссон, шитый золотом, за голубые шерстяные материи, за слоновую кость и красные бараньи кожи, за железо, оникс и множество мрамора, за драгоценные камни, за золотые цепи, венцы, шнурки, щипцы, сетки, лотки, лампады, цветы и светильники, золотые петли к дверям и золотые гвозди, весом в шестьдесят сиклей каждый, за златокованные чаши и блюда, за резные и мозаичные орнаменты, за литые и иссеченные в камне изображения львов, херувимов, волов, пальм и ананасов — подарил Соломон Тирскому царю Хираму, соименнику зодчего, двадцать городов и селений в земле Галилейской, и Хирам нашел этот подарок ничтожным, — с такой неслыханной роскошью были выстроены храм господень и дворец Соломонов и малый дворец в Милло для жены царя, красавицы Астис, дочери египетского фараона Суссакима. Красное же дерево, которое позднее пошло на перила и лестницы галерей, на музыкальные инструменты и на переплеты для священных книг, было принесено в дар Соломону царицей Савской, мудрой и прекрасной Балкис, вместе с таким количеством аро-

матных курений, благовонных масл и драгоценных духов, какого до сих пор еще не видали в Израиле.

С каждым годом росли богатства царя. Три раза в год возвращались в гавани его корабли: «Фарсис», ходивший по Средиземному морю, и «Хирам», ходивший по Чермному морю. Они привозили из Африки слоновую кость, обезьян, павлинов и антилоп; богато украшенные колесницы из Египта, живых тигров и львов, а также звериные шкуры и меха из Месопотамии, белоснежных коней из Кувы, парваимский золотой песок на шестьсот шестьдесят талантов в год, красное, черное и сандаловое дерево из страны Офир, пестрые ассурские и калахские ковры с удивительными рисунками — дружественные дары царя Тиглат-Пилеазара, художественную мозаику из Ниневии, Нимруда и Саргона; чудные узорчатые ткани из Хатуара; златокованные кубки из Тира; из Сидона — цветные стекла, а из Пунта, близ Баб-Эль-Мандеба, те редкие благовония — нард, алоэ, трость, киннамон, шафран, амбру, мускус, стакти, халван, смирну и ладан, из-за обладания которыми египетские фараоны предпринимали не раз кровавые войны.

Серебро же во дни Соломоновы стало ценою, как простой камень, и красное дерево не дороже простых сикимор, растущих на низинах.

Каменные бани, обложенные порфиром, мраморные водоемы и прохладные фонтаны устроил царь, повелев провести воду из горных источников, низвергавшихся в Кедронский поток, а вокруг дворца насадил сады и рощи и развел виноградник в Ваал-Гамоне.

Было у Соломона сорок тысяч стойл для мулов и коней колесничных и двенадцать тысяч для конницы; ежедневно привозили для лошадей ячмень и солому из провинций. Десять волов откормленных и двадцать волов с пастбища, тридцать кóров пшеничной муки и шестьдесят прочей, сто батов вина разного, триста овец, не считая птицы откормленной, оленей, серн и сайгаков — все это через руки двенадцати приставников шло ежедневно к столу Соломона, а также к столу его двора, свиты и гвардии. Шестьдесят воинов, из числа пятисот самых сильных и храбрых во всем

войске, держали посменно караул во внутренних покоях дворца. Пятьсот щитов, покрытых золотыми пластинками, повелел Соломон сделать для своих телохранителей.

II

Чего бы глаза царя ни пожелали, он не отказывал им и не возбранял сердцу своему никакого веселия. Семьсот жен было у царя и триста наложниц, не считая рабынь и танцовщиц. И всех их очаровывал своей любовью Соломон, потому что бог дал ему такую неиссякаемую силу страсти, какой не было у людей обыкновенных. Он любил белолицых, черноглазых, красногубых хеттеянок за их яркую, но мгновенную красоту, которая так же рано и прелестно расцветает и так же быстро вянет, как цветок нарцисса; смуглых, высоких, пламенных филистимлянок с жесткими курчавыми волосами, носивших золотые звенящие запястья на кистях рук, золотые обручи на плечах, а на обеих щиколотках широкие браслеты, соединенные тонкой цепочкой; нежных, маленьких, гибких аммореянок, сложенных без упрека, — их верность и покорность в любви вошли в пословицу; женщин из Ассирии, удлинявших красками свои глаза и вытравливавших синие звезды на лбу и на щеках; образованных, веселых и остроумных дочерей Сидона, умевших хорошо петь, танцевать, а также играть на арфах, лютнях и флейтах под аккомпанемент бубна; желтокожих египтянок, неутомимых в любви и безумных в ревности; сладострастных вавилонянок, у которых все тело под одеждой было гладко, как мрамор, потому что они особой пастой истребляли на нем волосы; дев Бактрии, красивших волосы и ногти в огненно-красный цвет и носивших шальвары; молчаливых, застенчивых моавитянок, у которых роскошные груди были прохладны в самые жаркие летние ночи; беспечных и расточительных аммонитянок с огненными волосами и с телом такой белизны, что оно светилось во тьме; хрупких голубоглазых женщин с льняными волосами и нежным запахом кожи, которых привозили с севера, через Баальбек, и язык которых был непоня-

тен для всех живущих в Палестине. Кроме того, любил царь многих дочерей Иудеи и Израиля.

Также разделял он ложе с Балкис-Македа, царицей Савской, превзошедшей всех женщин в мире красотой, мудростью, богатством и разнообразием искусства в страсти; и с Ависагой-сунамитянкой, согревавшей старость царя Давида, с этой ласковой, тихой красавицей, из-за которой Соломон предал своего старшего брата Адонию смерти от руки Ванеи, сына Иодаева.

И с бедной девушкой из виноградника, по имени Суламифь, которую одну из всех женщин любил царь всем своим сердцем.

Носильный одр сделал себе Соломон из лучшего кедрового дерева, с серебряными столпами, с золотыми локотниками в виде лежащих львов, с шатром из пурпуровой тирской ткани. Внутри же весь шатер был украшен золотым шитьем и драгоценными камнями — любовными дарами жен и дев иерусалимских. И когда стройные черные рабы проносили Соломона в дни великих празднеств среди народа, поистине был прекрасен царь, как лилия Саронской долины!

Бледно было его лицо, губы — точно яркая алая лента; волнистые волосы черны иссиня, и в них — украшение мудрости — блестела седина, подобно серебряным нитям горных ручьев, падающих с высоты темных скал Аэрмона; седина сверкала и в его черной бороде, завитой, по обычаю царей ассирийских, правильными мелкими рядами.

Глаза же у царя были темны, как самый темный агат, как небо в безлунную летнюю ночь, а ресницы, разверзавшиеся стрелами вверх и вниз, походили на черные лучи вокруг черных звезд. И не было человека во вселенной, который мог бы выдержать взгляд Соломона, не потупив своих глаз. И молнии гнева в очах царя повергали людей на землю.

Но бывали минуты сердечного веселия, когда царь опьянялся любовью, или вином, или сладостью власти или радовался он мудрому и красивому слову, сказанному кстати. Тогда тихо опускались до половины его длинные ресницы, бросая синие тени на светлое лицо, и в глазах царя загорались, точно искры в черных

брильянтах, теплые огни ласкового, нежного смеха; и те, кто видели эту улыбку, готовы были за нее отдать тело и душу — так она была неописуемо прекрасна. Одно имя царя Соломона, произнесенное вслух, волновало сердце женщин, как аромат пролитого мирра, напоминающий о ночах любви.

Руки царя были нежны, белы, теплы и красивы, как у женщины, но в них заключался такой избыток жизненной силы, что, налагая ладони на темя больных, царь исцелял головные боли, судороги, черную меланхолию и беснование. На указательном пальце левой руки носил Соломон гемму из кроваво-красного астерикса, извергавшего из себя шесть лучей жемчужного цвета. Много сотен лет было этому кольцу, и на оборотной стороне его камня вырезана была надпись на языке древнего, исчезнувшего народа: «Все проходит».

И так велика была власть души Соломона, что повиновались ей даже животные: львы и тигры ползали у ног царя, и терлись мордами о его колени, и лизали его руки своими жесткими языками, когда он входил в их помещения. И он, находивший веселие сердца в сверкающих переливах драгоценных камней, в аромате египетских благовонных смол, в нежном прикосновении легких тканей, в сладостной музыке, в тонком вкусе красного искристого вина, играющего в чеканном нинуанском потире, — он любил также гладить суровые гривы львов, бархатные спины черных пантер и нежные лапы молодых пятнистых леопардов, любил слушать рев диких зверей, видеть их сильные и прекрасные движения и ощущать горячий запах их хищного дыхания.

Так живописал царя Соломона Иосафат, сын Ахилуда, историк его дней.

III

«За то, что ты не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов, но просил мудрости, то вот я делаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что

подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе».

Так сказал Соломону бог, и по слову его познал царь составление мира и действие стихий, постиг начало, конец и середину времен, проник в тайну вечного волнообразного и кругового возвращения событий; у астрономов Библоса, Акры, Саргона, Борсиппы и Ниневии научился он следить за изменением расположения звезд и за годовыми кругами. Знал он также естество всех животных и угадывал чувства зверей, понимал происхождение и направление ветров, различные свойства растений и силу целебных трав.

Помыслы в сердце человеческом — глубокая вода, но и их умел вычерпывать мудрый царь. В словах и голосе, в глазах, в движениях рук так же ясно читал он самые сокровенные тайны душ, как буквы в открытой книге. И потому со всех концов Палестины приходило к нему великое множество людей, прося суда, совета, помощи, разрешения спора, а также и за разгадкою непонятных предзнаменований и снов. И дивились люди глубине и тонкости ответов Соломоновых.

Три тысячи притчей сочинил Соломон и тысячу и пять песней. Диктовал он их двум искусным и быстрым писцам, Елихоферу и Ахии, сыновьям Сивы, и потом сличал написанное обоими. Всегда облекал он свои мысли изящными выражениями, потому что золотому яблоку в чаше из прозрачного сардоникса подобно слово, сказанное умело, и потому также, что слова мудрых остры, как иглы, крепки, как вбитые гвозди, и составители их все от единого пастыря. «Слово — искра в движении сердца», — так говорил царь. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Был он мудрее и Ефана Езрахитянина, и Емана, и Хилколы, и Додры, сыновей Махола. Но уже начинал он тяготиться красотою обыкновенной человеческой мудрости, и не имела она в глазах его прежней цены. Беспокойным и пытливым умом жаждал он той высшей мудрости, которую господь имел на своем пути прежде всех созданий своих искони, от начала, прежде бытия земли, той мудрости, которая была при нем великой художницей, когда он проводил

круговую черту по лицу бездны. И не находил ее Соломон.

Изучил царь учения магов халдейских и ниневийских, науку астрологов из Абидоса, Саиса и Мемфиса, тайны волхвов, мистагогов, и эпоптов ассирийских, и прорицателей из Бактры и Персеполя, и убедился, что знания их были знаниями человеческими.

Также искал он мудрости в тайнодействиях древних языческих верований и потому посещал капища и приносил жертвы: могущественному Ваалу-Либанону, которого чтили под именем Мелькарта, бога созидания и разрушения, покровителя мореплавания, в Тире и Сидоне, называли Аммоном в оазисе Сивах, где идол его кивал головою, указывая пути праздничным шествиям, Бэлом у халдеев, Молохом у хананеев; поклонялся также жене его — грозной и сладострастной Астарте, имевшей в других храмах имена Иштар, Исаар, Ваальтис, Ашера, Истар-Белит и Атаргатис. Изливал он елей и возжигал курение Изиде и Озирису египетским, брату и сестре, соединившимся браком еще во чреве матери своей и зачавшим там бога Гора, и Деркето, рыбообразной богине тирской, и Анубису с собачьей головой, богу бальзамирования, и вавилонскому Оанну, и Дагону филистимскому, и Авденаго ассирийскому, и Утсабу, идолу ниневийскому, и мрачной Кибеле, и Бэл-Меродоху, покровителю Вавилона — богу планеты Юпитер, и халдейскому Ору — богу вечного огня, и таинственной Омороге — праматери богов, которую Бэл рассек на две части, создав из них небо и землю, а из головы — людей; и поклонялся царь еще богине Атанаис, в честь которой девушки Финикии, Лидии, Армении и Персии отдавали прохожим свое тело, как священную жертву, на пороге храмов.

Но ничего не находил царь в обрядах языческих, кроме пьянства, ночных оргий, блуда, кровосмешения и противоестественных страстей, и в догматах их видел суесловие и обман. Но никому из подданных не воспрещал он приношение жертв любимому богу и даже сам построил на Масличной горе капище Хамосу, мерзости моавитской, по просьбе прекрасной, задумчивой

Эллаан — моавитянки, бывшей тогда возлюбленной женою царя. Одного лишь не терпел Соломон и преследовал смертью — жертвоприношение детей.

И увидел он в своих исканиях, что участь сынов человеческих и участь животных одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом. И понял царь, что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание — умножает скорбь. Узнал он также, что и при смехе иногда болит сердце и концом радости бывает печаль. И однажды утром впервые продиктовал он Елихоферу и Ахии:

— Все суета сует и томление духа, — так говорит Екклезиаст.

Но тогда не знал еще царь, что скоро пошлет ему бог такую нежную и пламенную, преданную и прекрасную любовь, которая одна дороже богатства, славы и мудрости, которая дороже самой жизни, потому что даже жизнью она не дорожит и не боится смерти.

IV

Виноградник был у царя в Ваал-Гамоне, на южном склоне Ватн-Эль-Хава, к западу от капища Молоха; туда любил царь уединяться в часы великих размышлений. Гранатовые деревья, оливы и дикие яблони, вперемежку с кедрами и кипарисами, окаймляли его с трех сторон по горе, с четвертой же был он огражден от дороги высокой каменной стеной. И другие виноградники, лежавшие вокруг, также принадлежали Соломону; он отдавал их внаем сторожам за тысячу сребренников каждый.

Только с рассветом окончился во дворце роскошный пир, который давал царь Израильский в честь послов царя Ассирийского, славного Тиглат-Пилеазара. Несмотря на утомление, Соломон не мог заснуть этим утром. Ни вино, ни сикера не отуманили крепких ассирийских голов и не развязали их хитрых языков. Но проницательный ум мудрого царя уже опередил их планы и уже вязал в свою очередь тонкую политиче-

скую сеть, которою он оплетет этих важных людей с надменными глазами и с льстивой речью. Соломон сумеет сохранить необходимую приязнь с повелителем Ассирии и в то же время, ради вечной дружбы с Хирамом Тирским, спасет от разграбления его царство, которое своими неисчислимыми богатствами, скрытыми в подвалах под узкими улицами с тесными домами, давно уже привлекает жадные взоры восточных владык.

И вот на заре приказал Соломон отнести себя на гору Ватн-Эль-Хав, оставил носилки далеко на дороге и теперь один сидит на простой деревянной скамье, наверху виноградника, под сенью деревьев, еще затаивших в своих ветвях росистую прохладу ночи. Простой белый плащ надет на царе, скрепленный на правом плече и на левом боку двумя египетскими аграфами из зеленого золота, в форме свернувшихся крокодилов — символ бога Себаха. Руки царя лежат неподвижно на коленях, а глаза, затененные глубокой мыслью, не мигая, устремлены на восток, в сторону Мертвого моря — туда, где из-за круглой вершины Аназе восходит в пламени зари солнце.

Утренний ветер дует с востока и разносит аромат цветущего винограда — тонкий аромат резеды и вареного вина. Темные кипарисы важно раскачивают тонкими верхушками и льют свое смолистое дыхание. Торопливо переговариваются серебряно-зеленые листы олив.

Но вот Соломон встает и прислушивается. Милый женский голос, ясный и чистый, как это росистое утро, поет где-то невдалеке, за деревьями. Простой и нежный мотив льется, льется себе, как звонкий ручей в горах, повторяя все те же пять-шесть нот. И его незатейливая изящная прелесть вызывает тихую улыбку умиления в глазах царя.

Все ближе слышится голос. Вот он уже здесь, рядом, за раскидистыми кедрами, за темной зеленью можжевельника. Тогда царь осторожно раздвигает руками ветви, тихо пробирается между колючими кустами и выходит на открытое место.

Перед ним, за низкой стеной, грубо сложенной из больших желтых камней, расстилается вверх виноградник. Девушка в легком голубом платье ходит между рядами лоз, нагибается над чем-то внизу и опять выпрямляется и поет. Рыжие волосы ее горят на солнце.

День дохнул прохладою,
Убегают ночные тени.
Возвращайся скорее, мой милый,
Будь легок, как серна,
Как молодой олень среди горных ущелий...

Так поет она, подвязывая виноградные лозы, и медленно спускается вниз, ближе и ближе к каменной стене, за которой стоит царь. Она одна — никто не видит и не слышит ее; запах цветущего винограда, радостная свежесть утра и горячая кровь в сердце опьяняют ее, и вот слова наивной песенки мгновенно рождаются у нее на устах и уносятся ветром, забытые навсегда:

Ловите нам лис и лисенят,
Они портят наши виноградники,
А виноградники наши в цвете.

Так она доходит до самой стены и, не замечая царя, поворачивает назад и идет, легко взбираясь в гору, вдоль соседнего ряда лоз. Теперь песня звучит глуше:

Беги, возлюбленный мой,
Будь подобен серне
Или молодому оленю
На горах бальзамических.

Но вдруг она замолкает и так пригибается к земле, что ее не видно за виноградником.

Тогда Соломон произносит голосом, ласкающим ухо:

— Девушка, покажи мне лицо твое, дай еще услышать твой голос.

Она быстро выпрямляется и оборачивается лицом к царю. Сильный ветер срывается в эту секунду и треплет на ней легкое платье и вдруг плотно облепляет его вокруг ее тела и между ног. И царь на мгновенье, пока она не становится спиною к ветру, видит всю ее

под одеждой, как нагую, высокую и стройную, в сильном расцвете тринадцати лет; видит ее маленькие, круглые, крепкие груди и возвышения сосцов, от которых материя лучами расходится врозь, и круглый, как чаша, девический живот, и глубокую линию, которая разделяет ее ноги снизу доверху и там расходится надвое, к выпуклым бедрам.

— Потому что голос твой сладок и лицо твое приятно! — говорит Соломон.

Она подходит ближе и смотрит на царя с трепетом и с восхищением. Невыразимо прекрасно ее смуглое и яркое лицо. Тяжелые, густые темно-рыжие волосы, в которые она воткнула два цветка алого мака, упругими бесчисленными кудрями покрывают ее плечи и разбегаются по спине и пламенеют, пронзенные лучами солнца, как золотой пурпур. Самодельное ожерелье из каких-то красных сухих ягод трогательно и невинно обвивает в два раза ее темную, высокую, тонкую шею.

— Я не заметила тебя! — говорит она нежно, и голос ее звучит, как пение флейты. — Откуда ты пришел?

— Ты так хорошо пела, девушка!

Она стыдливо опускает глаза и сама краснеет, но под ее длинными ресницами и в углах губ дрожит тайная улыбка.

— Ты пела о своем милом. Он легок, как серна, как молодой горный олень. Ведь он очень красив, твой милый, девушка, не правда ли?

Она смеется так звонко и музыкально, точно серебряный град падает на золотое блюдо.

— У меня нет милого. Это только песня. У меня еще не было милого...

Они молчат с минуту и глубоко, без улыбки смотрят друг на друга... Птицы громко перекликаются среди деревьев. Грудь девушки часто колеблется под ветхим полотном.

— Я не верю тебе, красавица. Ты так прекрасна...

— Ты смеешься надо мною. Посмотри, какая я черная...

Она поднимает кверху маленькие темные руки, и широкие рукава легко скользят вниз, к плечам, обна-

жая ее локти, у которых такой тонкий и круглый девический рисунок.

И она говорит жалобно:

— Братья мои рассердились на меня и поставили меня стеречь виноградник, и вот — погляди, как опалило меня солнце!

— О нет, солнце сделало тебя еще красивее, прекраснейшая из женщин! Вот ты засмеялась, и зубы твои — как белые двойни-ягнята, вышедшие из купальни, и ни на одном из них нет порока. Щеки твои — точно половинки граната под кудрями твоими. Губы твои алы — наслаждение смотреть на них. А волосы твои... Знаешь, на что похожи твои волосы? Видала ли ты, как с Галаада вечером спускается овечье стадо? Оно покрывает всю гору, с вершины до подножья, и от света зари и от пыли кажется таким же красным и таким же волнистым, как твои кудри. Глаза твои глубоки, как два озера Есевонских у ворот Батраббима. О, как ты красива! Шея твоя пряма и стройна, как башня Давидова!..

— Как башня Давидова! — повторяет она в упоении.

— Да, да, прекраснейшая из женщин. Тысяча щитов висит на башне Давида, и все это щиты побежденных военачальников. Вот и мой щит вешаю я на твою башню...

— О, говори, говори еще...

— А когда ты обернулась назад, на мой зов, и подул ветер, то я увидел под одеждой оба сосца твои и подумал: вот две маленькие серны, которые пасутся между лилиями. Стан твой был похож на пальму и груди твои на грозди виноградные.

Девушка слабо вскрикивает, закрывает лицо ладонями, а грудь локтями и так краснеет, что даже уши и шея становятся у нее пурпуровыми.

— И бедра твои я увидел. Они стройны, как драгоценная ваза — изделие искусного художника. Отними же твои руки, девушка. Покажи мне лицо твое.

Она покорно опускает руки вниз. Густое золотое сияние льется из глаз Соломона и очаровывает ее, и

кружит ей голову, и сладкой, теплой дрожью струится по коже ее тела.

— Скажи мне, кто ты? — говорит она медленно, с недоумением. — Я никогда не видела подобного тебе.

— Я пастух, моя красавица. Я пасу чудесные стада белых ягнят на горах, где зеленая трава пестреет нарциссами. Не придешь ли ты ко мне, на мое пастбище?

Но она тихо качает головою:

— Неужели ты думаешь, что я поверю этому? Лицо твое не огрубело от ветра и не обожжено солнцем, и руки твои белы. На тебе дорогой хитон, и одна застежка на нем стóит годовой платы, которую братья мои вносят за наш виноградник Адонираму, царскому сборщику. Ты пришел оттуда, из-за стены... Ты, верно, один из людей, близких к царю? Мне кажется, что я видела тебя однажды в день великого празднества, мне даже помнится — я бежала за твоей колесницей.

— Ты угадала, девушка. От тебя трудно скрыться. И правда, зачем тебе быть скиталицей около стад пастушеских? Да, я один из царской свиты. Я главный повар царя. И ты видела меня, когда я ехал в колеснице Аминодавовой в день праздника пасхи. Но зачем ты стоишь далеко от меня? Подойди ближе, сестра моя! Сядь вот здесь на камне стены и расскажи мне что-нибудь о себе. Скажи мне твое имя?

— Суламифь, — говорит она.

— За что же, Суламифь, рассердились на тебя твои братья?

— Мне стыдно говорить об этом. Они выручили деньги от продажи вина и послали меня в город купить хлеба и козьего сыра. А я...

— А ты потеряла деньги?

— Нет, хуже...

Она низко склоняет голову и шепчет:

— Кроме хлеба и сыра, я купила еще немножко, совсем немножко, розового масла у египтян в старом городе.

— И ты скрыла это от братьев?

— Да...

И она произносит еле слышно:

— Розовое масло так хорошо пахнет!

Царь ласково гладит ее маленькую жесткую руку.

— Тебе, верно, скучно одной в винограднике?

— Нет. Я работаю, пою... В полдень мне приносят поесть, а вечером меня сменяет один из братьев. Иногда я рою корни мандрагоры, похожие на маленьких человечков... У нас их покупают халдейские купцы. Говорят, они делают из них сонный напиток... Скажи, правда ли, что ягоды мандрагоры помогают в любви?

— Нет, Суламифь, в любви помогает только любовь. Скажи, у тебя есть отец или мать?

— Одна мать. Отец умер два года тому назад. Братья — все старше меня — они от первого брака, а от второго только я и сестра.

— Твоя сестра так же красива, как и ты?

— Она еще мала. Ей только девять лет.

Царь смеется, тихо обнимает Суламифь, привлекает ее к себе и говорит ей на ухо:

— Девять лет... Значит, у нее еще нет такой груди, как у тебя? Такой гордой, такой горячей груди!

Она молчит, горя от стыда и счастья. Глаза ее светятся и меркнут, они туманятся блаженной улыбкой. Царь слышит в своей руке бурное биение ее сердца.

— Теплота твоей одежды благоухает лучше, чем мирра, лучше, чем нард, — говорит он, жарко касаясь губами ее уха. — И когда ты дышишь, я слышу запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Сестра моя, возлюбленная моя, ты пленила сердце мое одним взглядом твоих очей, одним ожерельем на твоей шее.

— О, не гляди на меня! — просит Суламифь. — Глаза твои волнуют меня.

Но она сама изгибает назад спину и кладет голову на грудь Соломона. Губы ее рдеют над блестящими зубами, веки дрожат от мучительного желания. Соломон приникает жадно устами к ее зовущему рту. Он чувствует пламень ее губ, и скользкость ее зубов, и сладкую влажность ее языка, и весь горит таким нестерпимым желанием, какого он еще никогда не знал в жизни.

Так проходит минута и две.

— Что ты делаешь со мною! — слабо говорит Суламифь, закрывая глаза. — Что ты делаешь со мной!

Но Соломон страстно шепчет около самого ее рта:
— Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим... О, иди скорее ко мне. Здесь за стеной темно и прохладно. Никто не увидит нас. Здесь мягкая зелень под кедрами.
— Нет, нет, оставь меня. Я не хочу, не могу.
— Суламифь... ты хочешь, ты хочешь... Сестра моя, возлюбленная моя, иди ко мне!
Чьи-то шаги раздаются внизу по дороге, у стены царского виноградника, но Соломон удерживает за руку испуганную девушку.
— Скажи мне скорее, где ты живешь? Сегодня ночью я приду к тебе, — говорит он быстро.
— Нет, нет, нет... Я не скажу тебе это. Пусти меня. Я не скажу тебе
— Я не пущу тебя, Суламифь, пока ты не скажешь... Я хочу тебя!
— Хорошо, я скажу... Но сначала обещай мне не приходить этой ночью... Также не приходи и в следующую ночь... и в следующую за той... Царь мой! Заклинаю тебя сернами и полевыми ланями, не тревожь свою возлюбленную, пока она не захочет!
— Да, я обещаю тебе это... Где же твой дом, Суламифь?
— Если по пути в город ты перейдешь через Кедрон по мосту выше Силоама, ты увидишь наш дом около источника. Там нет других домов.
— А где же там твое окно, Суламифь?
— Зачем тебе это знать, милый? О, не гляди же на меня так. Взгляд твой околдовывает меня... Не целуй меня... Не целуй меня... Милый! Целуй меня еще...
— Где же твое окно, единственная моя?
— Окно на южной стороне. Ах, я не должна тебе этого говорить... Маленькое, высокое окно с решеткой.
— И решетка отворяется изнутри?
— Нет, это глухое окно. Но за углом есть дверь. Она прямо ведет в комнату, где я сплю с сестрою. Но ведь ты обещал мне!.. Сестра моя спит чутко. О, как ты прекрасен, мой возлюбленный. Ты ведь обещал, не правда ли?
Соломон тихо гладит ее волосы и щеки.

— Я приду к тебе этой ночью, — говорит он настойчиво. — В полночь приду. Это так будет, так будет. Я хочу этого.

— Милый!

— Нет. Ты будешь ждать меня. Только не бойся и верь мне. Я не причиню тебе горя. Я дам тебе такую радость, рядом с которой все на земле ничтожно. Теперь прощай. Я слышу, что за мной идут.

— Прощай, возлюбленный мой... О нет, не уходи еще. Скажи мне твое имя, я не знаю его.

Он на мгновение, точно нерешительно, опускает ресницы, но тотчас же поднимает их.

— У меня одно имя с царем. Меня зовут Соломон. Прощай. Я люблю тебя.

V

Светел и радостен был Соломон в этот день, когда сидел он на троне в зале дома Ливанского и творил суд над людьми, приходившими к нему.

Сорок колонн, по четыре в ряд, поддерживали потолок судилища, и все они были обложены кедром и оканчивались капителями в виде лилий; пол состоял из штучных кипарисовых досок, и на стенах нигде не было видно камня из-за кедровой отделки, украшенной золотой резьбой, представлявшей пальмы, ананасы и херувимов. В глубине трехсветной залы шесть ступеней вели к возвышению трона, и на каждой ступени стояло по два бронзовых льва, по одному с каждой стороны. Самый же трон был из слоновой кости с золотой инкрустацией и золотыми локотниками в виде лежащих львов. Высокая спинка трона завершалась золотым диском. Завесы из фиолетовых и пурпурных тканей висели от пола до потолка при входе в залу, отделяя притвор, где между пяти колонн толпились истцы, просители и свидетели, а также обвиняемые и преступники под крепкой стражей.

На царе был надет красный хитон, а на голове простой узкий венец из шестидесяти бериллов, оправленных в золото. По правую руку стоял трон для матери

его, Вирсавии, но в последнее время благодаря преклонным летам она редко показывалась в городе.

Ассирийские гости, с суровыми чернобородыми лицами, сидели вдоль стен на яшмовых скамьях; на них были светлые оливковые одежды, вышитые по краям красными и белыми узорами. Они еще у себя в Ассирии слышали так много о правосудии Соломона, что старались не пропустить ни одного из его слов, чтобы потом рассказывать о суде царя израильтян. Между ними сидели военачальники Соломоновы, его министры, начальники провинций и придворные. Здесь был Ванея — некогда царский палач, убийца Иоава, Адонии и Семея, — теперь главный начальник войска, невысокий, тучный старец с редкой длинной седой бородой; его выцветшие голубоватые глаза, окруженные красными, точно вывороченными веками, глядели по-старчески тупо; рот был открыт и мокр, а мясистая красная нижняя губа бессильно свисала вниз; голова его была всегда потуплена и слегка дрожала. Был также Азария, сын Нафанов, желчный высокий человек с сухим, болезненным лицом и темными кругами под глазами, и добродушный, рассеянный Иосафат, историограф, и Ахелар, начальник двора Соломонова, и Завуф, носивший высокий титул друга царя, и Бен-Авинодав, женатый на старшей дочери Соломона — Тафафии, и Бен-Гевер, начальник области Арговии, что в Васане; под его управлением находилось шестьдесят городов, окруженных стенами, с воротами на медных затворах; и Ваана, сын Хушая, некогда славившийся искусством метать копье на расстоянии тридцати парасангов, и многие другие. Шестьдесят воинов, блестя золочеными шлемами и щитами, стояло в ряд по левую и по правую сторону трона; старшим над ними сегодня был чернокудрый красавец Элиав, сын Ахилуда.

Первым предстал перед Соломоном со своей жалобой некто Ахиор, ремеслом гранильщик. Работая в Беле Финикийском, он нашел драгоценный камень, обделал его и попросил своего друга Захарию, отправлявшегося в Иерусалим, отдать этот камень его, Ахиоровой, жене. Через некоторое время возвратился домой и Ахиор. Первое, о чем он спросил свою жену, увидев-

шись с нею, — это о камне. Но она очень удивилась вопросу мужа и клятвенно подтвердила, что никакого камня она не получала. Тогда Ахиор отправился за разъяснением к своему другу Захарии; но тот уверял, и тоже с клятвою, что он тотчас же по приезде передал камень по назначению. Он даже привел двух свидетелей, подтверждавших, что они видели, как Захария при них передавал камень жене Ахиора.

И вот теперь все четверо — Ахиор, Захария и двое свидетелей — стояли перед троном царя Израильского.

Соломон поглядел каждому из них в глаза поочередно и сказал страже:

— Отведите их всех в отдельные покои и заприте каждого отдельно.

И когда это было исполнено, он приказал принести четыре куска сырой глины.

— Пусть каждый из них, — повелел царь, — вылепит из глины ту форму, которую имел камень.

Через некоторое время слепки были готовы. Но один из свидетелей сделал свой слепок в виде лошадиной головы, как обычно обделывались драгоценные камни; другой — в виде овечьей головы, и только у двоих — у Ахиора и Захарии — слепки были одинаковы, похожие формой на женскую грудь.

И царь сказал:

— Теперь и для слепого ясно, что свидетели подкуплены Захарией. Итак, пусть Захария возвратит камень Ахиору и вместе с ним уплатит ему тридцать гражданских сиклей судебных издержек и отдаст десять сиклей священных на храм. Свидетели же, обличившие сами себя, пусть заплатят по пяти сиклей в казну за ложное показание.

Затем приблизились к трону Соломонову три брата, судившиеся о наследстве. Отец их перед смертью сказал им: «Чтобы вы не ссорились при дележе, я сам разделю вас по справедливости. Когда я умру, идите за холм, что в средине рощи за домом, и разройте его. Там найдете вы ящик с тремя отделениями: знайте, что верхнее — для старшего, среднее — для среднего, нижнее — для меньшего из братьев». И когда, после его смерти, они пошли и сделали, как

он завещал, то нашли, что верхнее отделение было наполнено доверху золотыми монетами, между тем как в среднем лежали только простые кости, а в нижнем куски дерева. И вот возникла между меньшими братьями зависть к старшему и вражда, и жизнь их сделалась под конец такой невыносимой, что решили они обратиться к царю за советом и судом. Даже и здесь, стоя перед троном, не воздержались они от взаимных упреков и обид.

Царь покачал головой, выслушал их и. сказал:

— Оставьте ссоры; тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Отец ваш был, очевидно, мудрый и справедливый человек, и свою волю он высказал в своем завещании так же ясно, как будто бы это совершилось при сотне свидетелей. Неужели сразу не догадались вы, несчастные крикуны, что старшему брату он оставил все деньги, среднему — весь скот и всех рабов, а младшему — дом и пашню. Идите же с миром и не враждуйте больше.

И трое братьев — недавние враги — с просиявшими лицами поклонились царю в ноги и вышли из судилища рука об руку.

И еще решил царь другое дело о наследстве, начатое три дня тому назад. Один человек, умирая, сказал, что он оставляет все свое имущество достойнейшему из двух его сыновей. Но так как ни один из них не соглашался признать себя худшим, то и обратились они к царю.

Соломон спросил их, кто они по делам своим, и, услышав ответ, что оба они охотники-лучники, сказал:

— Возвращайтесь домой. Я прикажу поставить у дерева труп вашего отца. Посмотрим сначала, кто из вас метче попадет ему стрелой в грудь, а потом решим ваше дело.

Теперь оба брата возвратились назад в сопровождении человека, посланного царем с ними для присмотра. Его и расспрашивал Соломон о состязании.

— Я исполнил все, что ты приказал, царь, — сказал этот человек. — Я поставил труп старика у дерева и дал каждому из братьев их луки и стрелы. Старший стрелял первым. На расстоянии ста двадцати локтей

он попал как раз в то место, где бьется у живого человека сердце.

— Прекрасный выстрел, — сказал Соломон. — А младший?

— Младший... Прости меня, царь, я не мог настоять на том, чтобы твое повеление было исполнено в точности... Младший натянул тетиву и положил уже на нее стрелу, но вдруг опустил лук к ногам, повернулся и сказал, заплакав: «Нет, я не могу сделать этого... Не буду стрелять в труп моего отца».

— Так пусть ему и принадлежит имение его отца, — решил царь. — Он оказался достойнейшим сыном. Старший же, если хочет, может поступить в число моих телохранителей. Мне нужны такие сильные и жадные люди, с меткою рукою, верным взглядом и с сердцем, обросшим шерстью.

Затем предстали пред царем три человека. Ведя общее торговое дело, нажили они много денег. И вот, когда пришла им пора ехать в Иерусалим, то зашили они золото в кожаный пояс и пустились в путь. Дорогою заночевали они в лесу, а пояс для сохранности зарыли в землю. Когда же они проснулись наутро, то не нашли пояса в том месте, куда его положили.

Каждый из них обвинял другого в тайном похищении, и так как все трое казались людьми очень хитрыми и тонкими в речах, то сказал им царь:

— Прежде чем я решу ваше дело, выслушайте то, что я расскажу вам. Одна красивая девица обещала своему возлюбленному, отправлявшемуся в путешествие, ждать его возвращения и никому не отдавать своего девства, кроме него. Но, уехав, он в непродолжительном времени женился в другом городе на другой девушке, и она узнала об этом. Между тем к ней посватался богатый и добросердечный юноша из ее города, друг ее детства. Понуждаемая родителями, она не решилась от стыда и страха сказать ему о своем обещании и вышла за него замуж. Когда же по окончании брачного пира он повел ее в спальню и хотел лечь с нею, она стала умолять его: «Позволь мне сходить в тот город, где живет прежний мой возлюбленный. Пусть он снимет с меня клятву, тогда я

возвращусь к тебе и сделаю всё, что ты хочешь!» И так как юноша очень любил ее, то согласился на ее просьбу, отпустил ее, и она пошла. Дорогой напал на нее разбойник, ограбил ее и уже хотел ее изнасиловать. Но девица упала перед ним на колени и в слезах молила пощадить ее целомудрие, и рассказала она разбойнику все, что произошло с ней, и зачем идет она в чужой город. И разбойник, выслушав ее, так удивился ее верности слову и так тронулся добротой ее жениха, что не только отпустил девушку с миром, но и возвратил ей отнятые драгоценности. Теперь спрашиваю я вас, кто из всех трех поступил лучше пред лицом бога — девица, жених или разбойник?

И один из судившихся сказал, что девица более всех достойна похвалы за свою твердость в клятве. Другой удивлялся великой любви ее жениха; третий же находил самым великодушным поступок разбойника.

И сказал царь последнему:

— Значит, ты и украл пояс с общим золотом, потому что по своей природе ты жаден и желаешь чужого.

Человек же этот, передав свой дорожный посох одному из товарищей, сказал, подняв руки кверху, как бы для клятвы:

— Свидетельствую перед Иеговой, что золото не у меня, а у него!

Царь улыбнулся и приказал одному из своих воинов:

— Возьми жезл этого человека и разломи его пополам.

И когда воин исполнил повеление Соломона, то посыпались на пол золотые монеты, потому что они были спрятаны внутри выдолбленной палки; вор же, пораженный мудростью царя, упал ниц перед его троном и признался в своем преступлении.

Также пришла в дом Ливанский женщина, бедная вдова каменщика, и сказала:

— Я прошу правосудия, царь! На последние два динария, которые у меня оставались, я купила муки, насыпала ее вот в эту большую глиняную чашу и понесла домой. Но вдруг поднялся сильный ветер и раз-

веял мою муку. О мудрый царь, кто возвратит мне этот убыток! Мне теперь нечем накормить моих детей.

— Когда это было? — спросил царь.

— Это случилось сегодня утром, на заре.

И вот Соломон приказал позвать нескольких богатых купцов, корабли которых должны были в этот день отправляться с товарами в Финикию через Иаффу. И когда они явились, встревоженные, в залу судилища, царь спросил их:

— Молили ли вы бога или богов о попутном ветре для ваших кораблей?

И они ответили:

—Да, царь! Это так. И богу были угодны наши жертвы, потому что он послал нам добрый ветер.

— Я радуюсь за вас, — сказал Соломон. — Но тот же ветер развеял у бедной женщины муку, которую она несла в чаше. Не находите ли вы справедливым, что вам нужно вознаградить ее?

И они, обрадованные тем, что только за этим призывал их царь, тотчас же набросали женщине полную чашу мелкой и крупной серебряной монеты. Когда же она со слезами стала благодарить царя, он ясно улыбнулся и сказал:

— Подожди, это еще не все. Сегодняшний утренний ветер дал и мне радость, которой я не ожидал. Итак, к дарам этих купцов я прибавлю и свой царский дар.

И он повелел Адонираму, казначею, положить сверх денег купцов столько золотых монет, чтобы вовсе не было видно под ними серебра.

Никого не хотел Соломон видеть в этот день несчастным. Он роздал столько наград, пенсий и подарков, сколько не раздавал иногда в целый год, и простил он Ахимааса, правителя земли Неффалимовой, на которого прежде пылал гневом за беззаконные поборы, и сложил вины многим, преступившим закон, и не оставил он без внимания просьб своих подданных, кроме одной.

Когда выходил царь из дома Ливанского малыми южными дверями, стал на его пути некто в желтой кожаной одежде, приземистый, широкоплечий человек с темно-красным сумрачным лицом, с черною густою

бородою, с воловьей шеей и с суровым взглядом из-под косматых черных бровей. Это был главный жрец капища Молоха. Он произнес только одно слово умоляющим голосом:

— Царь!..

В бронзовом чреве его бога было семь отделений: одно для муки, другое для голубей, третье для овец, четвертое для баранов, пятое для телят, шестое для быков, седьмое же, предназначенное для живых младенцев, приносимых их матерями, давно пустовало по запрещению царя.

Соломон прошел молча мимо жреца, но тот протянул вслед ему руки и воскликнул с мольбой:

— Царь! Заклинаю тебя твоей радостью!.. Царь, окажи мне эту милость, и я открою тебе, какой опасности подвергается твоя жизнь.

Соломон не ответил, и жрец, сжав кулаки сильных рук, проводил его до выхода яростным взглядом.

VI

Вечером пошла Суламифь в старый город, туда, где длинными рядами тянулись лавки менял, ростовщиков и торговцев благовонными снадобьями. Там продала она ювелиру за три драхмы и один динарий свою единственную драгоценность — праздничные серьги, серебряные, кольцами, с золотой звездочкой каждая.

Потом она зашла к продавцу благовоний. В глубокой, темной каменной нише, среди банок с серой аравийской амброй, пакетов с ливанским ладаном, пучков ароматических трав и склянок с маслами — сидел, поджав под себя ноги и щуря ленивые глаза, неподвижный, сам весь благоухающий, старый, жирный, сморщенный скопец-египтянин. Он осторожно отсчитал из финикийской склянки в маленький глиняный флакончик ровно столько капель мирры, сколько было динариев во всех деньгах Суламифи, и когда он окончил это дело, то сказал, подбирая пробкой остаток масла вокруг горлышка и лукаво смеясь:

— Смуглая девушка, прекрасная девушка! Когда сегодня твой милый поцелует тебя между грудей и скажет: «Как хорошо пахнет твое тело, о моя возлюбленная!» — ты вспомни обо мне в этот миг. Я перелил тебе три лишние капли.

И вот, когда наступила ночь и луна поднялась над Силоамом, перемешав синюю белизну его домов с черной синевой теней и с матовой зеленью деревьев, встала Суламифь с своего бедного ложа из козьей шерсти и прислушалась. Все было тихо в доме. Сестра ровно дышала у стены, на полу. Только снаружи, в придорожных кустах, сухо и страстно кричали цикады, и кровь толчками шумела в ушах. Решетка окна, вырисованная лунным светом, четко и косо лежала на полу.

Дрожа от робости, ожиданья и счастья, расстегнула Суламифь свои одежды, опустила их вниз к ногам и, перешагнув через них, осталась среди комнаты нагая, лицом к окну, освещенная луною через переплет решетки. Она налила густую благовонную мирру себе на плечи, на грудь, на живот и, боясь потерять хоть одну драгоценную каплю, стала быстро растирать масло по ногам, под мышками и вокруг шеи. И гладкое, скользящее прикосновение ее ладоней и локтей к телу заставляло ее вздрагивать от сладкого предчувствия. И, улыбаясь и дрожа, глядела она в окно, где за решеткой виднелись два тополя, темные с одной стороны, осеребренные с другой, и шептала про себя:

— Это для тебя, мой милый, это для тебя, возлюбленный мой. Милый мой лучше десяти тысяч других, голова его — чистое золото, волосы его волнистые, черные, как ворон. Уста его — сладость, и весь он — желание. Вот кто возлюбленный мой, вот кто брат мой, дочери иерусалимские!..

И вот, благоухающая миррой, легла она на свое ложе. Лицо ее обращено к окну; руки она, как дитя, зажала между коленями, сердце ее громко бьется в комнате. Проходит много времени. Почти не закрывая глаз, она погружается в дремоту, но сердце ее бодрствует. Ей грезится, что милый лежит с ней рядом. Правая рука у нее под головой, левой он обнимает ее. В радостном испуге сбрасывает она с себя дремоту, ищет

возлюбленного около себя на ложе, но не находит никого. Лунный узор на полу передвинулся ближе к стене, укоротился и стал косее. Кричат цикады, монотонно лепечет Кедронский ручей, слышно, как в городе заунывно поет ночной сторож.

«Что, если он не придет сегодня? — думает Суламифь. — Я просила его, и вдруг он послушался меня?.. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, сернами и полевыми лилиями: не будите любви, доколе она не придет... Но вот любовь посетила меня. Приди скорей, мой возлюбленный! Невеста ждет тебя. Будь быстр, как молодой олень в горах бальзамических».

Песок захрустел на дворе под легкими шагами. И души не стало в девушке. Осторожная рука стучит в окно. Темное лицо мелькает за решеткой. Слышится тихий голос милого:

— Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! Голова моя покрыта росой.

Но волшебное оцепенение овладевает вдруг телом Суламифи. Она хочет встать и не может, хочет пошевельнуть рукою и не может. И, не понимая, что с нею делается, она шепчет, глядя в окно:

— Ах, кудри его полны ночною влагой! Но я скинула мой хитон. Как же мне опять надеть его?

— Встань, возлюбленная моя. Прекрасная моя, выйди. Близится утро, раскрываются цветы, виноград льет свое благоухание, время пения настало, голос горлицы доносится с гор.

— Я вымыла ноги мои, — шепчет Суламифь, — как же мне ступить ими на пол?

Темная голова исчезает из оконного переплета, звучные шаги обходят дом, затихают у двери. Милый осторожно просовывает руку сквозь дверную скважину. Слышно, как он ищет пальцами внутреннюю задвижку.

Тогда Суламифь встает, крепко прижимает ладони к грудям и шепчет в страхе:

— Сестра моя спит, я боюсь разбудить ее.

Она нерешительно обувает сандалии, надевает на голое тело легкий хитон, накидывает сверх него покрывало и открывает дверь, оставляя на ее замке следы мирры. Но никого уже нет на дороге, которая одиноко

белеет среди темных кустов в серой утренней мгле. Милый не дождался — ушел, даже шагов его не слышно. Луна уменьшилась и побледнела и стоит высоко. На востоке над волнами гор холодно розовеет небо перед зарею. Вдали белеют стены и дома иерусалимские.

— Возлюбленный мой! Царь жизни моей! — кричит Суламифь во влажную темноту. — Вот я здесь. Я жду тебя... Вернись!

Но никто не отзывается.

«Побегу же я по дороге, догоню, догоню моего милого, — говорит про себя Суламифь. — Пойду по городу, по улицам, по площадям, буду искать того, кого любит душа моя. О, если бы ты был моим братом, сосавшим грудь матери моей! Я встретила бы тебя на улице и целовала бы тебя, и никто не осудил бы меня. Я взяла бы тебя за руку и привела бы в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя соком гранатовых яблоков. Заклинаю вас, дочери иерусалимские: если встретите возлюбленного моего, скажите ему, что я уязвлена любовью».

Так говорит она самой себе и легкими, послушными шагами бежит по дороге к городу. У Навозных ворот около стены сидят и дремлют в утренней прохладе двое сторожей, обходивших ночью город. Они просыпаются и смотрят с удивлением на бегущую девушку. Младший из них встает и загораживает ей дорогу распростертыми руками.

— Подожди, подожди, красавица! — восклицает он со смехом. — Куда так скоро? Ты провела тайком ночь в постели у своего любезного и еще тепла от его объятий, а мы продрогли от ночной сырости. Будет справедливо, если ты немножко посидишь с нами.

Старший тоже поднимается и хочет обнять Суламифь. Он не смеется, он дышит тяжело, часто и со свистом, он облизывает языком синие губы. Лицо его, обезображенное большими шрамами от зажившей проказы, кажется страшным в бледной мгле. Он говорит гнусавым и хриплым голосом:

— И правда. Чем возлюбленный твой лучше других мужчин, милая девушка! Закрой глаза, и ты не отли-

чишь меня от него. Я даже лучше, потому что, наверно, поопытнее его.

Они хватают ее за грудь, за плечи, за руки, за одежду. Но Суламифь гибка и сильна, и тело ее, умащенное маслом, скользко. Она вырывается, оставив в руках сторожей свое верхнее покрывало, и еще быстрее бежит назад прежней дорогой. Она не испытала ни обиды, ни страха — она вся поглощена мыслью о Соломоне. Проходя мимо своего дома, она видит, что дверь, из которой она только что вышла, так и осталась отворенной, зияя черным четырехугольником на белой стене. Но она только затаивает дыхание, съеживается, как молодая кошка, и на цыпочках, беззвучно пробегает мимо.

Она переходит через Кедронский мост, огибает окраину Силоамской деревни и каменистой дорогой взбирается постепенно на южный склон Ватн-Эль-Хава, в свой виноградник. Брат ее спит еще между лозами, завернувшись в шерстяное одеяло, все мокрое от росы. Суламифь будит его, но он не может проснуться, окованный молодым утренним сном.

Как и вчера, заря пылает над Аназе. Подымается ветер. Струится аромат виноградного цветения.

— Пойду погляжу на то место у стены, где стоял мой возлюбленный, — говорит Суламифь. — Прикоснусь руками к камням, которые он трогал, поцелую землю под его ногами.

Легко скользит она между лозами. Роса падает с них и холодит ей ноги и брызжет на ее локти. И вот радостный крик Суламифи оглашает виноградник! Царь стоит за стеной. Он с сияющим лицом протягивает ей навстречу руки.

Легче птицы переносится Суламифь через ограду и без слов, со стоном счастья обвивается вокруг царя.

Так проходит несколько минут. Наконец, отрываясь губами от ее рта, Соломон говорит в упоении, и голос его дрожит:

— О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!

— О, как ты прекрасен, возлюбленный мой!

Слезы восторга и благодарности — блаженные слезы блестят на бледном и прекрасном лице Суламифи. Изнемогая от любви, она опускается на землю и едва слышно шепчет безумные слова.

— Ложе у нас — зелень. Кедры — потолок над нами... Лобзай меня лобзанием уст своих. Ласки твои лучше вина...

Спустя небольшое время Суламифь лежит головою на груди Соломона. Его левая рука обнимает ее.

Склонившись к самому ее уху, царь шепчет ей что-то, царь нежно извиняется, и Суламифь краснеет от его слов и закрывает глаза. Потом с невыразимо прелестной улыбкой смущенья она говорит:

— Братья мои поставили меня стеречь виноградник... а своего виноградника я не уберегла.

Но Соломон берет ее маленькую темную руку и горячо прижимает ее к губам.

— Ты не жалеешь об этом, Суламифь?

— О нет, царь мой, возлюбленный мой, я не жалею. Если бы ты сейчас же встал и ушел от меня и если бы я осуждена была никогда потом не видеть тебя, я до конца моей жизни буду произносить с благодарностью твое имя, Соломон!

— Скажи мне еще, Суламифь... Только, прошу тебя, скажи правду, чистая моя... Знала ли ты, кто я?

— Нет, я и теперь не знаю этого. Я думала... Но мне стыдно признаться... Я боюсь, ты будешь смеяться надо мной... Рассказывают, что здесь, на горе Ватн-Эль-Хав, иногда бродят языческие боги... Многие из них, говорят, прекрасны... И я думала: не Гор ли ты, сын Озириса, или иной бог?

— Нет, я только царь, возлюбленная. Но вот на этом месте я целую твою милую руку, опаленную солнцем, и клянусь тебе, что еще никогда, ни в пору первых любовных томлений юности, ни в дни моей славы, не горело мое сердце таким неутолимым желанием, которое будит во мне одна твоя улыбка, одно прикосновение твоих огненных кудрей, один изгиб твоих пурпуровых губ! Ты прекрасна, как шатры Кидарские, как завесы в храме Соломоновом! Ласки твои опьяняют

меня. Вот груди твои — они ароматны. Сосцы твои — как вино!

— О да, гляди, гляди на меня, возлюбленный. Глаза твои волнуют меня! О, какая радость: ведь это ко мне, ко мне обращено желание твое! Волосы твои душисты. Ты лежишь, как мирровый пучок у меня между грудей!

Время прекращает свое течение и смыкается над ними солнечным кругом. Ложе у них — зелень, кровля — кедры, стены — кипарисы. И знамя над их шатром — любовь.

VII

Бассейн был у царя во дворце, восьмиугольный, прохладный бассейн из белого мрамора. Темно-зеленые малахитовые ступени спускались к его дну. Облицовка из египетской яшмы, снежно-белой с розовыми, чуть заметными прожилками, служила ему рамою. Лучшее черное дерево пошло на отделку стен. Четыре львиные головы из розового сардоникса извергали тонкими струями воду в бассейн. Восемь серебряных отполированных зеркал отличной сидонской работы, в рост человека, были вделаны в стены между легкими белыми колоннами.

Перед тем как войти Суламифи в бассейн, молодые прислужницы влили в него ароматные составы, и вода от них побелела, поголубела и заиграла переливами молочного опала. С восхищением глядели рабыни, раздевавшие Суламифь, на ее тело и, когда раздели, подвели ее к зеркалу. Ни одного недостатка не было в ее прекрасном теле, озолоченном, как смуглый зрелый плод, золотым пухом нежных волос. Она же, глядя на себя нагую в зеркало, краснела и думала: «Все это для тебя, мой царь!»

Она вышла из бассейна свежая, холодная и благоухающая, покрытая дрожащими каплями воды. Рабыни надели на нее короткую белую тунику из тончайшего египетского льна и хитон из драгоценного саргонского виссона, такого блестящего золотого цвета, что одежда казалась сотканной из солнечных лучей. Они

обули ее ноги в красные сандалии из кожи молодого козленка, они осушили ее темно-огненные кудри и перевили их нитями крупного черного жемчуга, и украсили ее руки звенящими запястьями.

В таком наряде предстала она пред Соломоном, и царь воскликнул радостно:

— Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце? О Суламифь, красота твоя грознее, чем полки с распущенными знаменами! Семьсот жен я знал и триста наложниц, и девиц без числа, но единственная — ты, прекрасная моя! Увидят тебя царицы и превознесут, и поклонятся тебе наложницы, и восхвалят тебя все женщины на земле. О Суламифь, тот день, когда ты сделаешься моей женой и царицей, будет самым счастливым для моего сердца.

Она же подошла к резной масличной двери и, прижавшись к ней щекою, сказала:

— Я хочу быть только твоею рабою, Соломон. Вот я приложила ухо мое к дверному косяку. И прошу тебя: по закону Моисееву, пригвозди мне ухо в свидетельство моего добровольного рабства пред тобою.

Тогда Соломон приказал принести из своей сокровищницы драгоценные подвески из глубоко-красных карбункулов, обделанных в виде удлиненных груш. Он сам продел их в уши Суламифи и сказал:

— Возлюбленная моя принадлежит мне, а я ей.

И, взяв Суламифь за руку, повел ее царь в залу пиршества, где уже дожидались его друзья и приближенные.

VIII

Семь дней прошло с того утра, когда вступила Суламифь в царский дворец. Семь дней она и царь наслаждались любовью и не могли насытиться ею.

Соломон любил украшать свою возлюбленную драгоценностями. «Как стройны твои маленькие ноги в сандалиях!» — восклицал он с восторгом и, становясь перед нею на колени, целовал поочередно пальцы на ее ногах и нанизывал на них кольца с такими прекрасными и редкими камнями, каких не было даже на

эфоде первосвященника. Суламифь заслушивалась его, когда он рассказывал ей о внутренней природе камней, о их волшебных свойствах и таинственных значениях.

— Вот анфракс, священный камень земли Офир, — говорил царь. — Он горяч и влажен. Погляди, он красен, как кровь, как вечерняя заря, как распустившийся цвет граната, как густое вино из виноградников энгедских, как твои губы, моя Суламифь, как твои губы утром, после ночи любви. Это камень любви, гнева и крови. На руке человека, томящегося в лихорадке или опьяненного желанием, он становится теплее и горит красным пламенем. Надень его на руку, моя возлюбленная, и ты увидишь, как он загорится. Если его растолочь в порошок и принимать с водой, он дает румянец лицу, успокаивает желудок и веселит душу. Носящий его приобретает власть над людьми. Он врачует сердце, мозг и память. Но при детях не следует его носить, потому что он будит вокруг себя любовные страсти.

Вот прозрачный камень цвета медной яри. В стране эфиопов, где он добывается, его называют Мгнадис-Фза. Мне подарил его отец моей жены, царицы Астис, египетский фараон Суссаким, которому этот камень достался от пленного царя. Ты видишь — он некрасив, но цена его неисчислима, потому что только четыре человека на земле владеют камнем Мгнадис-Фза. Он обладает необыкновенным качеством притягивать к себе серебро, точно жадный и сребролюбивый человек. Я тебе его дарю, моя возлюбленная, потому что ты бескорыстна.

Посмотри, Суламифь, на эти сапфиры. Одни из них похожи цветом на васильки в пшенице, другие на осеннее небо, иные на море в ясную погоду. Это камень девственности — холодный и чистый. Во время далеких и тяжелых путешествий его кладут в рот для утоления жажды. Он также излечивает проказу и всякие злые наросты. Он дает ясность мыслям. Жрецы Юпитера в Риме носят его на указательном пальце.

Царь всех камней — камень Шамир. Греки называют его Адамас, что значит — неодолимый. Он крепче всех веществ на свете и остается невредимым

в самом сильном огне. Это свет солнца, сгустившийся в земле и охлажденный временем. Полюбуйся, Суламифь, он играет всеми цветами, но сам остается прозрачным, точно капля воды. Он сияет в темноте ночи, но даже днем теряет свой свет на руке убийцы. Шамир привязывают к руке женщины, которая мучится тяжелыми родами, и его также надевают воины на левую руку, отправляясь в бой. Тот, кто носит Шамир, — угоден царям и не боится злых духов. Шамир сгоняет пестрый цвет с лица, очищает дыхание, дает спокойный сон лунатикам и отпотевает от близкого соседства с ядом. Камни Шамир бывают мужские и женские; зарытые глубоко в землю, они способны размножаться.

Лунный камень, бледный и кроткий, как сияние луны, — это камень магов халдейских и вавилонских. Перед прорицаниями они кладут его под язык, и он сообщает им дар видеть будущее. Он имеет странную связь с луною, потому что в новолуние холодеет и сияет ярче. Он благоприятен для женщины в тот год, когда она из ребенка становится девушкой.

Это кольцо с смарагдом ты носи постоянно, возлюбленная, потому что смарагд — любимый камень Соломона, царя Израильского. Он зелен, чист, весел и нежен, как трава весенняя, и когда смотришь на него долго, то светлеет сердце; если поглядеть на него с утра, то весь день будет для тебя легким. У тебя над ночным ложем я повешу смарагд, прекрасная моя: пусть он отгоняет от тебя дурные сны, утишает биение сердца и отводит черные мысли. Кто носит смарагд, к тому не приближаются змеи и скорпионы; если же держать смарагд перед глазами змеи, то польется из них вода и будет литься до тех пор, пока она не ослепнет. Толченый смарагд дают отравленному ядом человеку вместе с горячим верблюжьим молоком, чтобы вышел яд испариной; смешанный с розовым маслом, смарагд врачует укусы ядовитых гадов, а растертый с шафраном и приложенный к больным глазам исцеляет куриную слепоту. Помогает он еще от кровавого поноса и при черном кашле, который не излечим никакими средствами человеческими.

Дарил также царь своей возлюбленной ливийские аметисты, похожие цветом на ранние фиалки, распускающиеся в лесах у подножия Ливийских гор, — аметисты, обладавшие чудесной способностью обуздывать ветер, смягчать злобу, предохранять от опьянения и помогать при ловле диких зверей; персепольскую бирюзу, которая приносит счастье в любви, прекращает ссору супругов, отводит царский гнев и благоприятствует при укрощении и продаже лошадей; и кошачий глаз — оберегающий имущество, разум и здоровье своего владельца; и бледный, сине-зеленый, как морская вода у берега, вериллий — средство от бельма и проказы, добрый спутник странников; и разноцветный агат — носящий его не боится козней врагов и избегает опасности быть раздавленным во время землетрясения; и нефрит, почечный камень, отстраняющий удары молнии; и яблочно-зеленый, мутно-прозрачный онихий — сторож хозяина от огня и сумасшествия; и яспис, заставляющий дрожать зверей; и черный ласточкин камень, дающий красноречие; и уважаемый беременными женщинами орлиный камень, который орлы кладут в свои гнезда, когда приходит пора вылупляться их птенцам; и заберзат из Офира, сияющий, как маленькие солнца; и желто-золотистый хрисолит — друг торговцев и воров; и сардоникс, любимый царями и царицами; и малиновый лигирий: его находят, как известно, в желудке рыси, зрение которой так остро, что она видит сквозь стены, — поэтому и носящие лигирий отличаются зоркостью глаз, — кроме того, он останавливает кровотечение из носу и заживляет всякие раны, исключая ран, нанесенных камнем и железом.

Надевал царь на шею Суламифи многоценные ожерелья из жемчуга, который ловили его подданные в Персидском море, и жемчуг от теплоты ее тела приобретал живой блеск и нежный цвет. И кораллы становились краснее на ее смуглой груди, и оживала бирюза на ее пальцах, и издавали в ее руках трескучие искры те желтые янтарные безделушки, которые привозили в дар царю Соломону с берегов далеких северных морей отважные корабельщики царя Хирама Тирского.

Златоцветом и лилиями покрывала Суламифь свое ложе, приготовляя его к ночи, и, покоясь на ее груди, говорил царь в веселии сердца:

— Ты похожа на царскую ладью в стране Офир, о моя возлюбленная, на золотую легкую ладью, которая плывет, качаясь, по священной реке, среди белых ароматных цветов.

Так посетила царя Соломона — величайшего из царей и мудрейшего из мудрецов — его первая и последняя любовь.

Много веков прошло с той поры. Были царства и цари, и от них не осталось следа, как от ветра, пробежавшего над пустыней. Были длинные беспощадные войны, после которых имена полководцев сияли в веках, точно кровавые звезды, но время стерло даже самую память о них.

Любовь же бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит, — царица, потому что любовь — прекрасна!

IX

Семь дней прошло с той поры, когда Соломон — поэт, мудрец и царь — привел в свой дворец бедную девушку, встреченную им в винограднике на рассвете. Семь дней наслаждался царь ее любовью и не мог насытиться ею. И великая радость освещала его лицо, точно золотое солнечное сияние.

Стояли светлые, теплые, лунные ночи — сладкие ночи любви! На ложе из тигровых шкур лежала обнаженная Суламифь, и царь, сидя на полу у ее ног, наполнял свой изумрудный кубок золотистым вином из Мареотиса и пил за здоровье своей возлюбленной, веселясь всем сердцем, и рассказывал он ей мудрые древние странные сказания. И рука Суламифи покоилась на его голове, гладила его волнистые черные волосы.

— Скажи мне, мой царь, — спросила однажды Суламифь, — не удивительно ли, что я полюбила тебя так внезапно? Я теперь припоминаю все, и мне кажется, что я стала принадлежать тебе с самого первого мгновения, когда не успела еще увидеть тебя, а только услышала твой голос. Сердце мое затрепетало и раскрылось навстречу к тебе, как раскрывается цветок во время летней ночи от южного ветра. Чем ты так пленил меня, мой возлюбленный?

И царь, тихо склоняясь головой к нежным коленям Суламифи, ласково улыбнулся и ответил:

— Тысячи женщин до тебя, о моя прекрасная, задавали своим милым этот вопрос, и сотни веков после тебя они будут спрашивать об этом своих милых. Три вещи есть в мире, непонятные для меня, и четвертую я не постигаю: путь орла в небе, змеи на скале, корабля среди моря и путь мужчины к сердцу женщины. Это не моя мудрость, Суламифь, это слова Агура, сына Иакеева, слышанные от него учениками. Но почтим и чужую мудрость.

— Да, — сказала Суламифь задумчиво, — может быть, и правда, что человек никогда не поймет этого. Сегодня во время пира на моей груди было благоухающее вязание стакти. Но ты вышел из-за стола, и цветы мои перестали пахнуть. Мне кажется, что тебя должны любить, о царь, и женщины, и мужчины, и звери, и даже цветы. Я часто думаю и не могу понять: как можно любить кого-нибудь другого, кроме тебя?

— И кроме тебя, кроме тебя, Суламифь! Каждый час я благодарю бога, что он послал тебя на моем пути.

— Я помню, я сидела на камне стенки, и ты положил свою руку сверх моей. Огонь побежал по моим жилам, голова у меня закружилась. Я сказала себе: «Вот кто господин мой, вот кто царь мой, возлюбленный мой!»

— Я помню, Суламифь, как обернулась ты на мой зов. Под тонким платьем я увидел твое тело, твое прекрасное тело, которое я люблю, как бога. Я люблю его, покрытое золотым пухом, точно солнце оставило на нем свой поцелуй. Ты стройна, точно кобылица в колеснице

фараоновой, ты прекрасна, как колесница Аминодавова. Глаза твои, как два голубя, сидящих у истока вод.

— О милый, слова твои волнуют меня. Твоя рука сладко жжет меня. О мой царь, ноги твои, как мраморные столбы. Живот твой, точно ворох пшеницы, окруженный лилиями.

Окруженные, осиянные молчаливым светом луны, они забывали о времени, о месте, и вот проходили часы, и они с удивлением замечали, как в решетчатые окна покоя заглядывала розовая заря.

Также сказала однажды Суламифь:

— Ты знал, мой возлюбленный, жен и девиц без числа, и все они были самые красивые женщины на земле. Мне стыдно становится, когда я подумаю о себе, простой, неученой девушке, и о моем бедном теле, опаленном солнцем.

Но, касаясь губами ее губ, говорил царь с бесконечной любовью и благодарностью:

— Ты царица, Суламифь. Ты родилась настоящей царицей. Ты смела и щедра в любви. Семьсот жен у меня и триста наложниц, а девиц я знал без числа, но ты единственная моя, кроткая моя, прекраснейшая из женщин. Я нашел тебя подобно тому, как водолаз в Персидском заливе наполняет множество корзин пустыми раковинами и малоценными жемчужинами, прежде чем достанет с морского дна перл, достойный царской короны. Дитя мое, тысячи раз может любить человек, но только один раз он любит. Тьмы-тем людей думают, что они любят, но только двум из них посылает бог любовь. И когда ты отдалась мне там, между кипарисами, под кровлей из кедров, на ложе из зелени, я от души благодарил бога, столь милостивого ко мне.

Еще однажды спросила Суламифь:

— Я знаю, что все они любили тебя, потому что тебя нельзя не любить. Царица Савская приходила к тебе из своей страны. Говорят, она была мудрее и прекраснее всех женщин, когда-либо бывших на земле. Точно во сне я вспоминаю ее караваны. Не знаю почему, но с самого раннего детства влекло меня к колесницам знатных. Мне тогда было, может быть, семь, может быть, восемь лет, я помню верблюдов в золотой

сбруе, покрытых пурпурными попонами, отягощенных тяжелыми ношами, помню мулов с золотыми бубенчиками между ушами, помню смешных обезьян в серебряных клетках и чудесных павлинов. Множество слуг шло в белых и голубых одеждах; они вели ручных тигров и барсов на красных лентах. Мне было только восемь лет.

— О дитя, тебе тогда было только восемь лет, — сказал Соломон с грустью.

— Ты любил ее больше, чем меня, Соломон? Расскажи мне что-нибудь о ней?

И царь рассказал ей все об этой удивительной женщине. Наслышавшись много о мудрости и красоте израильского царя, она прибыла к нему из своей страны с богатыми дарами, желая испытать его мудрость и покорить его сердце. Это была пышная сорокалетняя женщина, которая уже начинала увядать. Но тайными, волшебными средствами она достигала того, что ее рыхлеющее тело казалось стройным и гибким, как у девушки, и лицо ее носило печать страшной, нечеловеческой красоты. Но мудрость ее была обыкновенной человеческой мудростью, и притом еще мелочной мудростью женщины.

Желая испытать царя загадками, она сначала послала к нему пятьдесят юношей в самом нежном возрасте и пятьдесят девушек. Все они так хитроумно были одеты, что самый зоркий глаз не распознал бы их пола. «Я назову тебя мудрым, царь, — сказала Балкис, — если ты скажешь мне, кто из них женщина и кто мужчина».

Но царь рассмеялся и приказал каждому и каждой из посланных подать поодиночке серебряный таз и серебряный кувшин для умывания. И в то время когда мальчики смело брызгались в воде руками и бросали себе ее горстями в лицо, крепко вытирая кожу, девочки поступали так, как всегда делают женщины при умывании. Они нежно и заботливо натирали водою каждую из своих рук, близко поднося ее к глазам.

Так просто разрешил царь первую загадку Балкис-Македы.

Затем прислала она Соломону большой алмаз величиною с лесной орех. В камне этом была тонкая, весьма извилистая трещина, которая узким сложным ходом пробуравливала насквозь все его тело. Нужно было продеть сквозь этот алмаз шелковинку. И мудрый царь впустил в отверстие шелковичного червя, который, пройдя наружу, оставил за собою следом тончайшую шелковую паутинку.

Также прислала прекрасная Балкис царю Соломону многоценный кубок из резного сардоникса великолепной художественной работы. «Этот кубок будет твоим, — повелела она сказать царю, — если ты его наполнишь влагою, взятою ни с земли, ни с неба». Соломон же, наполнив сосуд пеною, падавшей с тела утомленного коня, приказал отнести его царице.

Много подобных загадок предлагала царица Соломону, но не могла унизить его мудрость, и всеми тайными чарами ночного сладострастия не сумела она сохранить его любви. И когда наскучила она, наконец, царю, он жестоко, обидно насмеялся над нею.

Всем было известно, что царица Савская никому не показывала своих ног и потому носила длинное, до земли, платье. Даже в часы любовных ласк держала она ноги плотно закрытыми одеждой. Много странных и смешных легенд сложилось по этому поводу.

Одни уверяли, что у царицы козлиные ноги, обросшие шерстью; другие клялись, что у нее вместо ступней перепончатые гусиные лапы. И даже рассказывали о том, что мать царицы Балкис однажды, после купанья, села на песок, где только что оставил свое семя некий бог, временно превратившийся в гуся, и что от этой случайности понесла она прекрасную царицу Савскую.

И вот повелел однажды Соломон устроить в одном из своих покоев прозрачный хрустальный пол с пустым пространством под ним, куда налили воды и пустили живых рыб. Все это было сделано с таким необычайным искусством, что непредупрежденный человек ни за что не заметил бы стекла и стал бы давать клятву, что перед ним находится бассейн с чистой свежей водой.

И когда все было готово, то пригласил Соломон свою царственную гостью на свидание. Окруженная

пышной свитой, она идет по комнатам Ливанского дома и доходит до коварного бассейна. На другом конце его сидит царь, сияющий золотом и драгоценными камнями и приветливым взглядом черных глаз. Дверь отворяется перед царицею, и она делает шаг вперед, но вскрикивает и...

Суламифь смеется радостным детским смехом и хлопает в ладоши.

— Она нагибается и приподымает платье? — спрашивает Суламифь.

— Да, моя возлюбленная, она поступила так, как поступила бы каждая из женщин. Она подняла кверху край своей одежды, и хотя это продолжалось только одно мгновение, но и я и весь мой двор увидели, что у прекрасной Савской царицы Балкис-Македы обыкновенные человеческие ноги, но кривые и обросшие густыми волосами. На другой же день она собралась в путь, не простилась со мною и уехала с своим великолепным караваном. Я не хотел ее обидеть. Вслед ей я послал надежного гонца, котофому приказал передать царице пучок редкой горной травы — лучшее средство для уничтожения волос на теле. Но она вернула мне назад голову моего посланного в мешке из дорогой багряницы.

Рассказывал также Соломон своей возлюбленной многое из своей жизни, чего не знал никто из других людей и что Суламифь унесла с собою в могилу. Он говорил ей о долгих и тяжелых годах скитаний, когда, спасаясь от гнева своих братьев, от зависти Авессалома и от ревности Адонии, он принужден был под чужим именем скрываться в чужих землях, терпя страшную бедность и лишения. Он рассказал ей о том, как в отдаленной неизвестной стране, когда он стоял на рынке в ожидании, что его наймут куда-нибудь работать, к нему подошел царский повар и сказал:

— Чужестранец, помоги мне донести эту корзину с рыбами во дворец.

Своим умом, ловкостью и умелым обхождением Соломон так понравился придворным, что в скором времени устроился во дворце, а когда старший повар умер, то он заступил его место. Дальше говорил Соломон о

том, как единственная дочь царя, прекрасная пылкая девушка, влюбилась тайно в нового повара, как она открылась ему невольно в любви, как они однажды бежали вместе из дворца ночью, были настигнуты и приведены обратно, как осужден был Соломон на смерть и как чудом удалось ему бежать из темницы.

Жадно внимала ему Суламифь, и когда он замолкал, тогда среди тишины ночи смыкались их губы, сплетались руки, прикасались груди. И когда наступало утро, и тело Суламифи казалось пенно-розовым, и любовная усталость окружала голубыми тенями ее прекрасные глаза, она говорила с нежной улыбкою:

— Освежите меня яблоками, подкрепите меня вином, ибо я изнемогаю от любви.

X

В храме Изиды на горе Ватн-Эль-Хав только что отошла первая часть великого тайнодействия, на которую допускались верующие малого посвящения. Очередной жрец — древний старец в белой одежде, с бритой головой, безусый и безбородый, повернулся с возвышения алтаря к народу и произнес тихим, усталым голосом:

— Пребывайте в мире, сыновья мои и дочери. Усовершенствуйтесь в подвигах. Прославляйте имя богини. Благословение ее над вами да пребудет во веки веков.

Он вознес свои руки над народом, благословляя его. И тотчас же все посвященные в малый чин таинств простерлись на полу и затем, встав, тихо, в молчании направились к выходу.

Сегодня был седьмой день египетского месяца фамснота, посвященный мистериям Озириса и Изиды. С вечера торжественная процессия трижды обходила вокруг храма со светильниками, пальмовыми листами и амфорами, с таинственными символами богов и со священными изображениями Фаллуса. В середине шествия на плечах у жрецов и вторых пророков возвышался закрытый «наос» из драгоценного дерева, украшенного жемчугом, слоновой костью и золотом. Там пребывала сама богиня, Она, Невидимая, Подаю-

щая плодородие, Таинственная, Мать, Сестра и Жена богов.

Злобный Сет заманил своего брата, божественного Озириса, на пиршество, хитростью заставил его лечь в роскошный гроб и, захлопнув над ним крышку, бросил гроб вместе с телом великого бога в Нил. Изида, только что родившая Гора, в тоске и слезах разыскивает по всей земле тело своего мужа и долго не находит его. Наконец рыбы рассказывают ей, что гроб волнами отнесло в море и прибило к Библосу, где вокруг него выросло громадное дерево и скрыло в своем стволе тело бога и его пловучий дом. Царь той страны приказал сделать себе из громадного дерева мощную колонну, не зная, что в ней покоится сам бог Озирис, великий податель жизни. Изида идет в Библос, приходит туда утомленная зноем, жаждой и тяжелой каменистой дорогой. Она освобождает гроб из середины дерева, несет его с собою и прячет в землю у городской стены. Но Сет опять тайно похищает тело Озириса, разрезает его на четырнадцать частей и рассеивает их по всем городам и селениям Верхнего и Нижнего Египта.

И опять в великой скорби и рыданиях отправилась Изида в поиски за священными членами своего мужа и брата. К плачу ее присоединяет свои жалобы сестра ее, богиня Нефтис, и могущественный Тоот, и сын богини, светлый Гор, Горизит.

Таков был тайный смысл нынешней процессии в первой половине священнослужения. Теперь, по уходе простых верующих и после небольшого отдыха, надлежало совершиться второй части великого тайнодействия. В храме остались только посвященные в высшие степени — мистагоги, эпопты, пророки и жрецы.

Мальчики в белых одеждах разносили на серебряных подносах мясо, хлеб, сухие плоды и сладкое пелузское вино. Другие разливали из узкогорлых тирских сосудов сикеру, которую в те времена давали перед казнью преступникам для возбуждения в них мужества, но которая также обладала великим свойством порождать и поддерживать в людях огонь священного безумия.

По знаку очередного жреца мальчики удалились. Жрец-привратник запер все двери. Затем он внимательно обошел всех оставшихся, всматриваясь им в лица и опрашивая их таинственными словами, составлявшими пропуск нынешней ночи. Два другие жреца провезли вдоль храма и вокруг каждой из его колонн серебряную кадильницу на колесах. Синим, густым, пьянящим, ароматным фимиамом наполнился храм, и сквозь слои дыма едва стали видны разноцветные огни лампад, сделанных из прозрачных камней, — лампад, оправленных в резное золото и подвешенных к потолку на длинных серебряных цепях. В давнее время этот храм Озириса и Изиды отличался небольшими размерами и беднотою и был выдолблен наподобие пещеры в глубине горы. Узкий подземный коридор вел к нему снаружи. Но во дни царствования Соломона, взявшего под свое покровительство все религии, кроме тех, которые допускали жертвоприношения детей, и благодаря усердию царицы Астис, родом египтянки, храм разросся в глубину и в высоту и украсился богатыми приношениями.

Прежний алтарь так и остался неприкосновенным в своей первоначальной суровой простоте, вместе со множеством маленьких покоев, окружавших его и служивших для сохранения сокровищ, жертвенных предметов и священных принадлежностей, а также для особых тайных целей во время самых сокровенных мистических оргий.

Зато поистине был великолепен наружный двор с пилонами в честь богини Гатор и с четырехсторонней колоннадой из двадцати четырех колонн. Еще пышнее была устроена внутренняя подземная гипостильная зала для молящихся. Ее мозаичный пол весь был украшен искусными изображениями рыб, зверей, земноводных и пресмыкающихся. Потолок же был покрыт голубой глазурью, и на нем сияло золотое солнце, светилась серебряная луна, мерцали бесчисленные звезды и парили на распростертых крыльях птицы. Пол был землею, потолок — небом, а их соединяли, точно могучие древесные стволы, круглые и многогранные колонны. И так как все колонны завершались

капителями в виде нежных цветов лотоса или тонких свертков папируса, то лежавший на них потолок действительно казался легким и воздушным, как небо.

Стены до высоты человеческого роста были обложены красными гранитными плитами, вывезенными, по желанию царицы Астис, из Фив, где местные мастера умели придавать граниту зеркальную гладкость и изумительный блеск. Выше, до самого потолка, стены так же, как и колонны, пестрели резными и раскрашенными изображениями с символами богов обоих Египтов. Здесь был Себех, чтимый в Фаюмэ под видом крокодила, и Тоот, бог луны, изображаемый, как ибис, в городе Хмуну, и солнечный бог Гор, которому в Эдфу был посвящен копчик, и Баст из Бубаса, под видом кошки, Шу, бог воздуха — лев, Пта — Апис, Гатор — богиня веселья — корова, Анубис, бог бальзамирования, с головою шакала, и Монту из Гермона, и коптский Мину, и богиня неба Нейт из Саиса, и, наконец, в виде овна, страшный бог, имя которого не произносилось и которого называли Хентиементу, что значит «Живущий на Западе».

Полутемный алтарь возвышался над всем храмом, и в глубине его тускло блестели золотом стены святилища, скрывавшего изображения Изиды. Трое ворот — большие, средние и двое боковых маленьких — вели в святилище. Перед средними стоял жертвенник со священным каменным ножом из эфиопского обсидиана. Ступени вели к алтарю, и на них расположились младшие жрецы и жрицы с тимпанами, систрами, флейтами и бубнами.

Царица Астис возлежала в маленьком потайном покое. Небольшое квадратное отверстие, искусно скрытое тяжелым занавесом, выходило прямо к алтарю и позволяло, не выдавая своего присутствия, следить за всеми подробностями священнодействия. Легкое узкое платье из льняного газа, затканное серебром, вплотную облегало тело царицы, оставляя обнаженными руки до плеч и ноги до половины икр. Сквозь прозрачную материю розово светилась ее кожа и видны были все чистые линии и возвышения ее стройного тела, которое до сих пор, несмотря на

тридцатилетний возраст царицы, не утеряло своей гибкости, красоты и свежести. Волосы ее, выкрашенные в синий цвет, были распущены по плечам и по спине, и концы их убраны бесчисленными ароматическими шариками. Лицо было сильно нарумянено и набелено, а тонко обведенные тушью глаза казались громадными и горели в темноте, как у сильного зверя кошачьей породы. Золотой священный уреус спускался у нее от шеи вниз, разделяя полуобнаженные груди.

С тех пор как Соломон охладел к царице Астис, утомленный ее необузданной чувственностью, она со всем пылом южного сладострастия и со всей яростью оскорбленной женской ревности предалась тем тайным оргиям извращенной похоти, которые входили в высший культ скопческого служения Изиде. Она всегда показывалась окруженная жрецами-кастратами, и даже теперь, когда один из них мерно обвевал ее голову опахалом из павлиньих перьев, другие сидели на полу, впиваясь в царицу безумно-блаженными глазами. Ноздри их расширялись и трепетали от веявшего на них аромата ее тела, и дрожащими пальцами они старались незаметно прикоснуться к краю ее чуть колебавшейся легкой одежды. Их чрезмерная, никогда не удовлетворявшаяся страстность изощряла их воображение до крайних пределов. Их изобретательность в наслаждениях Кибелы и Ашеры переступала все человеческие возможности. И, ревнуя царицу друг к другу, ко всем женщинам, мужчинам и детям, ревнуя даже к ней самой, они поклонялись ей больше, чем Изиде, и, любя, ненавидели ее, как бесконечный огненный источник сладостных и жестоких страданий.

Темные, злые, страшные и пленительные слухи ходили о царице Астис в Иерусалиме. Родители красивых мальчиков и девушек прятали детей от ее взгляда; ее имя боялись произносить на супружеском ложе, как знак осквернения и напасти. Но волнующее, опьяняющее любопытство влекло к ней души и отдавало во власть ей тела. Те, кто испытал хоть однажды ее свирепые кровавые ласки, те уже не могли ее забыть никогда и делались навеки ее жалкими, отвергнутыми рабами. Готовые ради нового обладания ею на всякий

грех, на всякое унижение и преступление, они становились похожими на тех несчастных, которые, попробовав однажды горькое маковое питье из страны Офир, дающее сладкие грезы, уже никогда не отстанут от него и только ему одному поклоняются и одно его чтут, пока истощение и безумие не прервут их жизни.

Медленно колыхалось в жарком воздухе опахало. В безмолвном восторге созерцали жрецы свою ужасную повелительницу. Но она точно забыла об их присутствии. Слегка отодвинув занавеску, она неотступно глядела напротив, по ту сторону алтаря, где когда-то из-за темных изломов старинных златокованных занавесок показывалось прекрасное, светлое лицо израильского царя. Его одного любила всем своим пламенным и порочным сердцем отвергнутая царица, жестокая и сладострастная Астис. Его мимолетного взгляда, ласкового слова, прикосновения его руки искала она повсюду и не находила. На торжественных выходах, на дворцовых обедах и в дни суда оказывал Соломон ей почтительность, как царице и дочери царя, но душа его была мертва для нее. И часто гордая царица приказывала в урочные часы проносить себя мимо дома Ливанского, чтобы хоть издали, незаметно, сквозь тяжелые ткани носилок, увидеть среди придворной толпы гордое, незабвенно прекрасное лицо Соломона. И давно уже ее пламенная любовь к царю так тесно срослась с жгучей ненавистью, что сама Астис не умела отличить их.

Прежде и Соломон посещал храм Изиды в дни великих празднеств и приносил жертвы богине и даже принял титул ее верховного жреца, второго после египетского фараона. Но страшные таинства «Кровавой жертвы Оплодотворения» отвратили его ум и сердце от служения матери богов.

— Оскопленный по неведению, или насилием, или случайно, или по болезни — не унижен перед богом, — сказал царь. — Но горе тому, кто сам изуродует себя.

И вот уже целый год ложе его в храме оставалось пустым. И напрасно пламенные глаза царицы жадно глядели теперь на неподвижные занавески.

Между тем вино, сикера и одуряющие курения уже оказывали заметное действие на собравшихся в храме. Чаще слышались крик и смех и звон падающих на каменный пол серебряных сосудов. Приближалась великая, таинственная минута кровавой жертвы. Экстаз овладевал верующими.

Рассеянным взором оглядела царица храм и верующих. Много здесь было почтенных и знаменитых людей из свиты Соломоновой и из его военачальников: Бен-Гевер, властитель области Арговии, и Ахимаас, женатый на дочери царя Васемафи, и остроумный Бен-Декер, и Зовуф, носивший, по восточным обычаям, высокий титул «друга царя», и брат Соломона от первого брака Давидова — Далуиа, расслабленный, полумертвый человек, преждевременно впавший в идиотизм от излишеств и пьянства. Все они были — иные по вере, иные по корыстным расчетам, иные из подражания, а иные из сластолюбивых целей — поклонниками Изиды.

И вот глаза царицы остановились долго и внимательно, с напряженной мыслью, на красивом юношеском лице Элиава, одного из начальников царских телохранителей.

Царица знала, отчего горит такой яркой краской его смуглое лицо, отчего с такою страстной тоской устремлены его горячие глаза сюда, на занавески, которые едва движутся от прикосновения прекрасных белых рук царицы. Однажды, почти шутя, повинуясь минутному капризу, она заставила Элиава провести у нее целую длинную блаженную ночь. Утром она отпустила его, но с тех пор уже много дней подряд видела она повсюду — во дворце, в храме, на улицах — два влюбленных, покорных, тоскующих глаза, которые покорно провожали ее.

Темные брови царицы сдвинулись, и ее зеленые длинные глаза вдруг потемнели от страшной мысли. Едва заметным движением руки она приказала кастрату опустить вниз опахало и сказала тихо:

— Выйдите все. Хушай, ты пойдешь и позовешь ко мне Элиава, начальника царской стражи. Пусть он придет один.

XI

Десять жрецов в белых одеждах, испещренных красными пятнами, вышли на середину алтаря. Следом за ними шли еще двое жрецов, одетых в женские одежды. Они должны были изображать сегодня Нефтис и Изиду, оплакивающих Озириса. Потом из глубины алтаря вышел некто в белом хитоне без единого украшения, и глаза всех женщин и мужчин с жадностью приковались к нему. Это был тот самый пустынник, который провел десять лет в тяжелом подвижническом искусе на горах Ливана и нынче должен был принести великую добровольную кровавую жертву Изиде. Лицо его, изнуренное голодом, обветренное и обожженное, было строго и бледно, глаза сурово опущены вниз, и сверхъестественным ужасом повеяло от него на толпу.

Наконец вышел и главный жрец храма, столетний старец с тиарой на голове, с тигровой шкурой на плечах, в парчовом переднике, украшенном хвостами шакалов.

Повернувшись к молящимся, он старческим голосом, кротким и дрожащим, произнес:

— Сутон-ди-готпу. (Царь приносит жертву.)

И затем, обернувшись к жертвеннику, он принял из рук помощника белого голубя с красными лапками, отрезал птице голову, вынул у нее из груди сердце и кровью ее окропил жертвенник и священный нож.

После небольшого молчания он возгласил:

— Оплачемте Озириса, бога Атуму, великого Ун-Нофер-Онуфрия, бога Она!

Два кастрата в женских одеждах — Изида и Нефтис — тотчас же начали плач гармоничными тонкими голосами:

«Возвратись в свое жилище, о прекрасный юноша. Видеть тебя — блаженство.

Изида заклинает тебя, Изида, которая была зачата с тобою в одном чреве, жена твоя и сестра.

Покажи нам снова лицо твое, светлый бог. Вот Нефтис, сестра твоя. Она обливается слезами и в горести рвет свои волосы.

В смертельной тоске разыскиваем мы прекрасное тело твое. Озирис, возвратись в дом свой!»

Двое других жрецов присоединили к первым свои голоса. Это Гор и Анубис оплакивали Озириса, и каждый раз, когда они оканчивали стих, хор, расположившийся на ступенях лестницы, повторял его торжественным и печальным мотивом.

Потом, с тем же пением, старшие жрецы вынесли из святилища статую богини, теперь уже не закрытую наосом. Но черная мантия, усыпанная золотыми звездами, окутывала богиню с ног до головы, оставляя видимыми только ее серебряные ноги, обвитые змеей, а над головою серебряный диск, включенный в коровьи рога. И медленно, под звон кадильниц и систр, со скорбным плачем двинулась процессия богини Изиды со ступенек алтаря, вниз, в храм, вдоль его стен, между колоннами.

Так собирала богиня разбросанные члены своего супруга, чтобы оживить его при помощи Тоота и Анубиса:

«Слава городу Абидосу, сохранившему прекрасную голову твою, Озирис.

Слава тебе, город Мемфис, где нашли мы правую руку великого бога, руку войны и защиты.

И тебе, о город Саис, скрывший левую руку светлого бога, руку правосудия.

И ты будь благословен, город Фивы, где покоилось сердце Ун-Нофер-Онуфрия».

Так обошла богиня весь храм, возвращаясь назад к алтарю, и все страстнее и громче становилось пение хора. Священное воодушевление овладевало жрецами и молящимися. Все части тела Озириса нашла Изида, кроме одной, священного Фаллуса, оплодотворяющего материнское чрево, созидающего новую вечную жизнь. Теперь приближался самый великий акт в мистерии Озириса и Изиды...

— Это ты, Элиав? — спросила царица юношу, который тихо вошел в дверь.

В темноте ложи он беззвучно опустился к ее ногам и прижал к губам край ее платья. И царица почувствовала, что он плачет от восторга, стыда и же-

лания. Опустив руку на его курчавую жесткую голову, царица произнесла:

— Расскажи мне, Элиав, все, что ты знаешь о царе и об этой девочке из виноградника.

— О, как ты его любишь, царица! — сказал Элиав с горьким стоном.

— Говори... — приказала Астис.

— Что я могу тебе сказать, царица? Сердце мое разрывается от ревности.

— Говори!

— Никого еще не любил царь, как ее. Он не расстается с ней ни на миг. Глаза его сияют счастьем. Он расточает вокруг себя милости и дары. Он, авимелех и мудрец, он, как раб, лежит около ее ног и, как собака, не спускает с нее глаз своих.

— Говори!

— О, как ты терзаешь меня, царица! И она... она — вся любовь, вся нежность и ласка! Она кротка и стыдлива, она ничего не видит и не знает, кроме своей любви. Она не возбуждает ни в ком ни злобы, ни ревности, ни зависти...

— Говори! — яростно простонала царица, и, вцепившись своими гибкими пальцами в черные кудри Элиава, она притиснула его голову к своему телу, царапая его лицо серебряным шитьем своего прозрачного хитона.

А в это время в алтаре вокруг изображения богини, покрытой черным покрывалом, носились жрецы и жрицы в священном исступлении, с криками, похожими на лай, под звон тимпанов и дребезжание систр.

Некоторые из них стегали себя многохвостыми плетками из кожи носорога, другие наносили себе короткими ножами в грудь и в плечи длинные кровавые раны, третьи пальцами разрывали себе рты, надрывали себе уши и царапали лица ногтями. В середине этого бешеного хоровода у самых ног богини кружился на одном месте с непостижимой быстротой отшельник с гор Ливана в белоснежной развевающейся одежде. Один верховный жрец оставался неподвижным. В руке он держал священный жертвенный

нож из эфиопского обсидиана, готовый передать его в последний страшный момент.

— Фаллус! Фаллус! Фаллус! — кричали в экстазе обезумевшие жрецы. — Где твой Фаллус, о светлый бог! Приди, оплодотвори богиню! Грудь ее томится от желания! Чрево ее, как пустыня в жаркие летние месяцы!

И вот страшный, безумный, пронзительный крик на мгновение заглушил весь хор. Жрецы быстро расступились, и все бывшие в храме увидели ливанского отшельника, совершенно обнаженного, ужасного своим высоким, костлявым, желтым телом. Верховный жрец протянул ему нож. Стало невыносимо тихо в храме. И он, быстро нагнувшись, сделал какое-то движение, выпрямился и с воплем боли и восторга вдруг бросил к ногам богини бесформенный кровавый кусок мяса.

Он шатался. Верховный жрец осторожно поддержал его, обвив рукою за спину, подвел его к изображению Изиды, бережно накрыл его черным покрывалом и оставил так на несколько мгновений, чтобы он втайне, невидимо для других, мог запечатлеть на устах оплодотворенной богини свой поцелуй.

Тотчас же вслед за этим его положили на носилки и унесли из алтаря. Жрец-привратник вышел из храма. Он ударил деревянным молотком в громадный медный круг, возвещая всему миру о том, что свершилась великая тайна оплодотворения богини. И высокий поющий звук меди понесся над Иерусалимом.

Царица Астис, еще продолжая содрогаться всем телом, откинула назад голову Элиава. Глаза ее горели напряженным красным огнем. И она сказала медленно, слово за словом:

— Элиав, хочешь, я сделаю тебя царем Иудеи и Израиля? Хочешь быть властителем над всей Сирией и Месопотамией, над Финикией и Вавилоном?

— Нет, царица, я хочу только тебя...

— Да, ты будешь моим властелином. Все мои ночи будут принадлежать тебе. Каждое мое слово, каждый мой взгляд, каждое дыхание будут твоими. Ты знаешь пропуск. Ты пойдешь сегодня во дворец и убьешь их. Ты убьешь их обоих! Ты убьешь их обоих!

Элиав хотел что-то сказать. Но царица притянула его к себе и прильнула к его рту своими жаркими губами и языком. Это продолжалось мучительно долго. Потом, внезапно оторвав юношу от себя, она сказала коротко и повелительно:

— Иди!

— Я иду, — ответил покорно Элиав.

XII

И была седьмая ночь великой любви Соломона.

Странно тихи и глубоко нежны были в эту ночь ласки царя и Суламифи. Точно какая-то задумчивая печаль, осторожная стыдливость, отдаленное предчувствие окутывали легкою тенью их слова, поцелуи и объятия.

Глядя в окно на небо, где ночь уже побеждала догорающий вечер, Суламифь остановила свои глаза на яркой голубоватой звезде, которая трепетала кротко и нежно.

— Как называется эта звезда, мой возлюбленный? — спросила она.

— Это звезда Сопдит, — ответил царь. — Это священная звезда. Ассирийские маги говорят нам, что души всех людей живут на ней после смерти тела.

— Ты веришь этому, царь?

Соломон не ответил. Правая рука его была под головою Суламифи, а левою он обнимал ее, и она чувствовала его ароматное дыхание на себе, на волосах, на виске.

— Может быть, мы увидимся там с тобою, царь, после того как умрем? — спросила тревожно Суламифь.

Царь опять промолчал.

— Ответь мне что-нибудь, возлюбленный, — робко попросила Суламифь.

Тогда царь сказал:

— Жизнь человеческая коротка, но время бесконечно, и вещество бессмертно. Человек умирает и утучняет гниением своего тела землю, земля вскарм-

ливает колос, колос приносит зерно, человек поглощает хлеб и питает им свое тело. Проходят тьмы и тьмы-тем веков, все в мире повторяется, — повторяются люди, звери, камни, растения. Во многообразном круговороте времени и вещества повторяемся и мы с тобою, моя возлюбленная. Это так же верно, как и то, что если мы с тобою наполним большой мешок доверху морским гравием и бросим в него всего лишь один драгоценный сапфир, то, вытаскивая много раз из мешка, ты все-таки рано или поздно извлечешь и драгоценность. Мы с тобою встретимся, Суламифь, и мы не узнаем друг друга, но с тоской и с восторгом будут стремиться наши сердца навстречу, потому что мы уже встречались с тобою, моя кроткая, моя прекрасная Суламифь, но мы не помним этого.

— Нет, царь, нет! Я помню. Когда ты стоял под окном моего дома и звал меня: «Прекрасная моя, выйди, волосы мои полны ночной росою!» — я узнала тебя, я вспомнила тебя, и радость и страх овладели моим сердцем. Скажи мне, мой царь, скажи, Соломон: вот, если завтра я умру, будешь ли ты вспоминать свою смуглую девушку из виноградника, свою Суламифь?

И, прижимая ее к своей груди, царь прошептал, взволнованный:

— Не говори так никогда... Не говори так, о Суламифь! Ты избранная богом, ты настоящая, ты царица души моей... Смерть не коснется тебя...

Резкий медный звук вдруг пронесся над Иерусалимом. Он долго заунывно дрожал и колебался в воздухе, и когда замолк, то долго еще плыли его трепещущие отзвуки.

— Это в храме Изиды окончилось таинство, — сказал царь.

— Мне страшно, прекрасный мой! — прошептала Суламифь. — Темный ужас проник в мою душу... Я не хочу смерти... Я еще не успела насладиться твоими объятиями... Обойми меня... Прижми меня к себе крепче... Положи меня, как печать, на сердце твоем, как печать на мышце твоей!..

— Не бойся смерти, Суламифь! Так же сильна, как и смерть, любовь... Отгони грустные мысли... Хочешь, я расскажу тебе о войнах Давида, о пирах и охотах фараона Суссакима? Хочешь ты услышать одну из тех сказок, которые складываются в стране Офир?.. Хочешь, я расскажу тебе о чудесах Вакрамадитья?

— Да, мой царь. Ты сам знаешь, что, когда я слушаю тебя, сердце мое растет от радости! Но я хочу тебя попросить о чем-то...

— О Суламифь, — все, что хочешь! Попроси у меня мою жизнь — я с восторгом отдам ее тебе. Я буду только жалеть, что слишком малой ценой заплатил за твою любовь.

Тогда Суламифь улыбнулась в темноте от счастья и, обвив царя руками, прошептала ему на ухо:

— Прошу тебя, когда наступит утро, пойдем вместе туда... на виноградник... Туда, где зелень и кипарисы и кедры, где около каменной стенки ты взял руками мою душу... Прошу тебя об этом, возлюбленный... Там снова окажу я тебе ласки мои...

В упоении поцеловал царь губы своей милой.

Но Суламифь вдруг встала на своем ложе и прислушалась.

— Что с тобою, дитя мое?.. Что испугало тебя? — спросил Соломон.

— Подожди, мой милый... сюда идут... Да... Я слышу шаги...

Она замолчала. И было так тихо, что они различали биение своих сердец.

Легкий шорох послышался за дверью, и вдруг она распахнулась быстро и беззвучно.

— Кто там? — воскликнул Соломон.

Но Суламифь уже спрыгнула с ложа, одним движением метнулась навстречу темной фигуре человека с блестящим мечом в руке. И тотчас же, пораженная насквозь коротким, быстрым ударом, она со слабым, точно удивленным криком упала на пол.

Соломон разбил рукой сердоликовый экран, закрывавший свет ночной лампады. Он увидал Элиава, который стоял у двери, слегка наклонившись над телом девушки, шатаясь, точно пьяный. Молодой воин

под взглядом Соломона поднял голову и, встретившись глазами с гневными, страшными глазами царя, побледнел и застонал. Выражение отчаяния и ужаса исказило его черты. И вдруг, согнувшись, спрятав в плащ голову, он робко, точно испуганный шакал, стал выползать из комнаты. Но царь остановил его, сказав только три слова:

— Кто принудил тебя?

Весь трепеща и щелкая зубами, с глазами, побелевшими от страха, молодой воин уронил глухо:

— Царица Астис...

— Выйди, — приказал Соломон. — Скажи очередной страже, чтобы она стерегла тебя.

Скоро по бесчисленным комнатам дворца забегали люди с огнями. Все покои осветились. Пришли врачи, собрались военачальники и друзья царя.

Старший врач сказал:

— Царь, теперь не поможет ни наука, ни бог. Когда извлечем меч, оставленный в ее груди, она тотчас же умрет.

Но в это время Суламифь очнулась и сказала со спокойною улыбкой:

— Я хочу пить.

И, когда напилась, она с нежной, прекрасной улыбкою остановила свои глаза на царе и уже больше не отводила их; а он стоял на коленях перед ее ложем, весь обнаженный, как и она, не замечая, что его колени купаются в ее крови и что руки его обагрены алою кровью.

Так, глядя на своего возлюбленного и улыбаясь кротко, говорила с трудом прекрасная Суламифь:

— Благодарю тебя, мой царь, за все: за твою любовь, за твою красоту, за твою мудрость, к которой ты позволил мне прильнуть устами, как к сладкому источнику. Дай мне поцеловать твои руки, не отнимай их от моего рта до тех пор, пока последнее дыхание не отлетит от меня. Никогда не было и не будет женщины счастливее меня. Благодарю тебя, мой царь, мой возлюбленный, мой прекрасный. Вспоминай изредка о твоей рабе, о твоей обожженной солнцем Суламифи.

И царь ответил ей глубоким, медленным голосом:

— До тех пор, пока люди будут любить друг друга, пока красота души и тела будут самой лучшей и самой сладкой мечтой в мире, до тех пор, клянусь тебе, Суламифь, имя твое во многие века будет произноситься с умилением и благодарностью.

К утру Суламифи не стало.

Тогда царь встал, велел дать себе умыться и надел самый роскошный пурпуровый хитон, вышитый золотыми скарабеями, и возложил на свою голову венец из кроваво-красных рубинов. После этого он подозвал к себе Ванею и сказал спокойно:

— Ванея, ты пойдешь и умертвишь Элиава.

Но старик закрыл лицо руками и упал ниц перед царем.

— Царь, Элиав — мой внук!

— Ты слышал меня, Ванея?

— Царь, прости меня, не угрожай мне своим гневом, прикажи это сделать кому-нибудь другому. Элиав, выйдя из дворца, побежал в храм и схватился за рога жертвенника. Я стар, смерть моя близка, я не смею взять на свою душу этого двойного преступления.

Но царь возразил:

— Однако, когда я поручил тебе умертвить моего брата Адонию, также схватившегося за священные рога жертвенника, разве ты ослушался меня, Ванея?

— Прости меня! Пощади меня, царь!

— Подними лицо твое, — приказал Соломон.

И когда Ванея поднял голову и увидел глаза царя, он быстро встал с пола и послушно направился к выходу.

Затем, обратившись к Ахиссару, начальнику и смотрителю дворца, он приказал:

— Царицу я не хочу предавать смерти, пусть она живет, как хочет, и умирает, где хочет. Но никогда она не увидит более моего лица. Сегодня, Ахиссар, ты снарядишь караван и проводишь царицу до гавани в Иаффе, а оттуда в Египет, к фараону Суссакиму. Теперь пусть все выйдут.

И, оставшись один лицом к лицу с телом Суламифи, он долго глядел на ее прекрасные черты. Лицо ее было бело, и никогда оно не было так красиво при ее жизни. Полуоткрытые губы, которые всего час тому назад целовал Соломон, улыбались загадочно и блаженно, и зубы, еще влажные, чуть-чуть поблескивали из-под них.

Долго глядел царь на свою мертвую возлюбленную, потом тихо прикоснулся пальцами к ее лбу, уже начавшему терять теплоту жизни, и медленными шагами вышел из покоя.

За дверями его дожидался первосвященник Азария, сын Садокии. Приблизившись к царю, он спросил:

— Что нам делать с телом этой женщины? Теперь суббота.

И вспомнил царь, как много лет тому назад скончался его отец и лежал на песке, и уже начал быстро разлагаться. Собаки, привлеченные запахом падали, уже бродили вокруг него с горящими от голода и жадности глазами. И, как и теперь, спросил его первосвященник, отец Азарии, дряхлый старик:

— Вот лежит твой отец, собаки могут растерзать его труп... Что нам делать? Почтить ли память царя и осквернить субботу, или соблюсти субботу, но оставить труп твоего отца на съедение собакам?

Тогда ответил Соломон:

— Оставить. Живая собака лучше мертвого льва.

И когда теперь, после слов первосвященника, вспомнил он это, то сердце его сжалось от печали и страха.

Ничего не ответив первосвященнику, он пошел дальше, в залу судилища.

Как и всегда по утрам, двое его писцов, Елихофер и Ахия, уже лежали на циновках, по обе стороны трона, держа наготове свертки папируса, тростник и чернила. При входе царя они встали и поклонились ему до земли. Царь же сел на свой трон из слоновой кости с золотыми украшениями, оперся локтем на спину золотого льва и, склонив голову на ладонь, приказал:

— Пишите!

«Положи меня, как печать, на сердце твоем, как перстень на руке твоей, потому что крепка, как смерть, любовь, и жестока, как ад, ревность: стрелы ее — стрелы огненные».

И, помолчав так долго, что писцы в тревоге затаили дыхание, он сказал:

— Оставьте меня одного.

И весь день, до первых вечерних теней, оставался царь один на один со своими мыслями, и никто не осмелился войти в громадную, пустую залу судилища.

МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ

I

Море в гавани было грязно-зеленого цвета, а дальняя песчаная коса, которая врезалась в него на горизонте, казалась нежно-фиолетовой. На молу пахло тухлой рыбой и смоленым канатом. Было шесть часов вечера.

На палубе прозвонили в третий раз. Пароходный гудок засипел, точно он от простуды никак не мог сначала выдавить из себя настоящего звука. Наконец ему удалось прокашляться, и он заревел таким низким, мощным голосом, что все внутренности громадного судна задрожали в своей темной глубине.

Он ревел нескончаемо долго. Женщины на пароходе, зажав уши ладонями, смеялись, жмурились и наклоняли вниз головы. Разговаривающие кричали, но казалось, что они только шевелят губами и улыбаются. И когда гудок перестал, всем вдруг сделалось так легко и так возбужденно-весело, как это бывает только в последние секунды перед отходом парохода.

— Ну, прощайте, товарищ Елена, — сказал Васютинский. — Сейчас будут убирать сходни. Иду.

— Прощайте, дорогой, — сказала Травина, подавая ему руку. — Спасибо вам за все, за все. В вашем кружке прямо душой возрождаешься.

— И вам спасибо, милая. Вы нас разогрели. Мы, знаете, больше теоретики, книгоеды, а вы нас как живой водой вспрыснули.

Он, по обыкновению, тряхнул ее руку, точно действовал насосом, больно сжав ей пальцы обручальным кольцом.

— А качки вы все-таки не бойтесь, — сказал он. — У Тарханкута вас действительно немного поваляет, но вы ложитесь заранее на койку, и все будет чудесно. Супругу и повелителю поклон. Скажите ему, что все мы с нетерпением ждем его брошюрку. Если здесь не удастся тиснуть, отпечатаем за границей... Соскучились небось? — спросил он, не выпуская ее руки и с фамильярным ласковым лукавством заглядывая ей в глаза.

Елена улыбнулась.

— Да. Есть немножко.

— То-то. Я уж вижу. Шутка ли, помилуйте — десять дней не видались! Ну, addio, mio carissimo amico [1]. Всем знакомым ялтинцам привет. Чудесная вы, ейбогу, человечица. Прощайте. Всего хорошего.

Он сошел на мол и стал как раз напротив того места, где стояла Елена, облокотившаяся на буковые перила борта. Ветер раздувал его серую крылатку, и сам он, со своим высоким ростом и необычайной худобой, с остренькой бородкой и длинными седеющими волосами, которые трепались из-под широкополой черной шляпы, имел в наружности что-то добродушно- и комично-воинственное, напоминавшее Дон-Кихота, одетого по моде радикалов семидесятых годов.

И когда Елена, глядя на него сверху вниз, подумала о бесконечной доброте и душевной детской чистоте этого смешноватого человека, о долгих годах каторги, перенесенной им, о его стальной непоколебимости в деле, о его безграничной вере в близость освобождения, о его громадном влиянии на молодежь — она почувствовала в этой комичности что-то бесконечно ценное, умиляющее и прекрасное. Васютинский был первым руководителем ее и ее мужа на революцион-

[1] Прощайте, мой дорогой товарищ *(итал.)*.

ном поприще. И теперь, улыбаясь ему сверху и кивая головой, она жалела, что не поцеловала на прощанье у него руку и не назвала его учителем. Как бы он сконфузился, бедный!

Кран паровой лебедки поднялся в последний раз кверху, точно гигантская удочка, таща на конце цепи раскачивающуюся и вращающуюся массу чемоданов и сундуков.

— Все готово! — крикнули снизу.

— Убирай сходни! — ответили наверху из рубки и засвистали.

Носильщики в синих блузах подняли с обеих сторон сходню на плечи и отнесли ее в сторону. Под пароходом что-то забурлило и заклокотало.

По молу проходила грязнолицая, оборванная девочка с корзиной цветов, которые она тоном нищенки предлагала провожающим:

— Бя-я-рин, купите цветучков!

Васютинский выбрал у нее небольшой букетик полуувядших фиалок и бросил его кверху, через борт, задев по шляпе почтенного седого господина, который от неожиданности извинился. Елена подняла цветы и, глядя с улыбкой на Васютинского, приложила их к губам.

А пароход, повинуясь свисткам и команде и выплевывая из боковых нижних отверстий каскады пенной воды, уже заметно отделился от пристани. Он, точно большое мудрое животное, сознающее свою непомерную силу и боящееся ее, осторожно, боком отваливал от берега, выбираясь на свободное пространство. Елена долго еще видела Васютинского, возвышавшегося головой над соседями. Он ритмически подымал и опускал над головой свою бандитскую шляпу. Елена отвечала ему, размахивая платком. Но мало-помалу все люди на пристани слились в одну темную, сплошную массу, над которой, точно рой пестрых бабочек, колебались платки, шляпы и зонтики.

В Ялте теперь был разгар пасхального сезона, и поэтому с пароходом ехало необыкновенно много народа. Вся корма, все проходы между бортами и пассажирскими помещениями, все скамейки и шпили, все

коридоры и диваны в салонах были завалены и затисканы людьми, тюками, чемоданами, верхней одеждой. Назойливо и скучно кричали грудные дети, пароходные официанты увеличивали толкотню, носясь по пароходу взад и вперед без всякой нужды; женщины, как и всегда они делают в публичных местах, застревали со своей болтовней именно там, где всего сильнее кипела суета, — в дверях, в узких переходах; они заграждали общее движение и упорно не давали никому дороги. Трудно было себе вообразить, как разместится вся эта масса. Но мало-помалу все утолклось, улеглось, пришло в порядок, и когда пароход, выйдя на середину гавани и не стесняясь больше своей осторожностью, взял полный ход, — на палубе уже стало просторно.

II

Травина стояла на корме, глядя назад, на уходящий город, который белым амфитеатром подымался вверх по горам и венчался полукруглой беседкой из тонких колонн. Глазу было ясно заметно то место, где спокойный, глубокий синий цвет моря переходил в жидкую и грязную зелень гавани. Далеко у берега, как голый лес, возвышались трубы, мачты и реи судов. Море зыбилось. Внизу, под винтом, вода кипела белыми, как вспененное молоко, буграми, и далеко за пароходом среди ровной широкой синевы тянулась, чуть змеясь, узкая зеленая гладкая дорожка, изборожденная, как мрамор, пенными, белыми причудливыми струйками. Белые чайки, редко и тяжело маша крыльями, летели навстречу пароходу к земле.

Еще не качало, но Елена, которая не успела пообедать в городе и рассчитывала поесть на пароходе, вдруг почувствовала, что потеряла аппетит. Тогда она спустилась вниз, в глубину каютных отделений, и попросила у горничной дать ей койку. Оказалось, однако, что все места заняты. Краснея от стыда за себя и за другого человека, она вынула из портмоне рубль и неловко протянула его горничной. Та отказалась.

— Я бы, барышня, с моим удовольствием, только, ей-богу, ни одного местечка. Даже свое помещение уступила одной даме. Вот в Севастополе будет посвободнее.

Елена опять вышла на палубу. Сильный ветер, дувший навстречу пароходу, облеплял вокруг ее ног платье и заставлял ее нагибаться вперед и придерживать рукой край шляпы.

Старый, маленький, красноносый боцман прилаживал к правому борту кормы какой-то медный цилиндрический инструмент с циферблатом и стрелкой. В левой руке у него был бунт из белого плотного шнура, свернутого правильными спиралями и оканчивавшегося медной гирькой с лопастями по бокам.

Прикрепив прочно медный инструмент к борту, боцман пустил гирьку на отвес, быстро развертел ее правой рукой, так что она вместе с концом шнура образовала сплошной мреющий круг, и вдруг далеко метнул ее назад, туда, куда уходила зелено-белая дорожка из-под винта. И в том, как гирька со свистом описывала длинную дугу, в той скорости, с которой потом сбегали с левой руки боцмана свернутые круги, а главное — в деловой небрежности, с какой он это делал, Елена почувствовала особенное, специальное морское щегольство. У нее был необыкновенно зоркий глаз на эти мелочи.

Затем, когда гирька, скрывшись из глаз, бултыхнула далеко за пароходом в воду, боцман вставил оставшийся у него в руке свободный конец с крючком в заднюю стенку инструмента.

— Что это такое? — спросила Травина.

— Лаг! — сердито ответил боцман.

Но, обернувшись и увидев ее милое детское лицо, он добавил мягче:

— Это лаг, барышня. Стало быть, перо в воде вертится, потому как с крыльями, стало быть, и лаглинь вертится. А тут вот жубчатки и стрелка. Мы, стало быть, смотрим на стрелку и знаем, сколько узлов прошли. Потому как этот берег скроем, а тот откроем только утром. Это у нас называется лаг, барышня.

Елена была уже два года замужем, но ее очень часто называли барышней, что иногда льстило ей, а иногда причиняло досаду. Она и в самом деле была похожа на восемнадцатилетнюю девушку со своей тонкой, гибкой фигурой, маленькой грудью и узкими бедрами, в простом костюме из белой, чуть желтоватой шершавой кавказской материи, в простой английской соломенной шляпе с черной бархаткой.

Помощник капитана, коренастый, широкогрудый, толстоногий молодой брюнет в белом коротком кителе с золотыми пуговицами, проверял билеты. Елена заметила его, еще входя на пароход. Он тогда стоял на палубе по одну сторону сходни, а по другую стоял юнга, ученик мореходных классов, тонкий, ловкий и стройный в своей матросской курточке мальчишка, подвижной, как молодая обезьянка. Они оба провожали глазами всех подымавшихся женщин и делали за их спинами друг другу веселые гримасы, кивая головами, дергая бровями в их сторону и прищуривая один глаз. Елена еще издали заметила это. Она до дрожи отвращения ненавидела такие восточные красивые лица, как у этого помощника капитана, очевидно, грека, с толстыми, почти не закрывающимися, какими-то оголенными губами, с подбородком, синим от бритья и сильной растительности, с тоненькими усами колечком, с глазами черно-коричневыми, как пережженные кофейные зерна, и притом всегда томными, точно в любовном экстазе, и многозначительно бессмысленными. Но она также считала для себя унизительным проходить в таких случаях мимо незнакомых мужчин, опустив глаза, краснея и делая вид, что ничего не замечает. И потому, когда Елена переступила со сходни на палубу и ей загородили дорогу — с одной стороны этот самый моряк, а с другой толстая старая женщина с кульками в обеих руках, которая, задохнувшись от подъема, толклась и переваливалась на одном месте, она равнодушно поглядела на победоносного брюнета и сказала, как говорят нерасторопной прислуге:

— Потрудитесь посторониться.

И она с удовольствием увидела, как игривая молодцеватость мгновенно слиняла с его лица от ее уверен-

ного пренебрежительного тона и как он суетливо, без всякого ломанья, отскочил в сторону.

Теперь он подошел к Елене, которая стояла, прислонившись к борту, и, возвращая ей билет, нарочно — это она сразу поняла — прикоснулся горячей щекочущей кожей своих пальцев к ее ладони и задержал руку, может быть, только на четверть секунды долее, чем это было нужно. И, переведя глаза с ее обручального кольца на ее лицо и искательно улыбаясь, он спросил с вежливостью, которая должна была быть светской:

— Виноват-с. Вы, кажется, с супругом изволите ехать?

— Нет, я одна, — ответила Елена и отвернулась от него к борту, лицом в море.

Но в этот момент у нее слегка закружилась голова, потому что палуба под ее ногами вдруг показалась ей странно неустойчивой, а собственное тело необыкновенно легким. Она села на край скамейки.

Город едва белел вдали в золотисто-пыльном сиянии, и теперь уже нельзя было себе представить, что он стоит на горе. Налево плоско тянулся и пропадал в море низкий, чуть розоватый берег.

III

Помощник капитана несколько раз проходил мимо нее, сначала один, потом со своим товарищем, тоже моряком, в кителе с золотыми пуговицами. И хоть она не глядела на него, но каждый раз каким-то боковым чутьем видела, как он закручивал усы и подолгу оглядывал ее тающим бараньим взглядом черных глаз. Она даже услышала раз его слова, сказанные, наверное, в расчете, чтобы она услышала:

— Черт! Вот это женщина! Это я понимаю!

— Да-а, бабец! — сказал другой.

Она встала, чтобы переменить место и сесть напротив, но ноги плохо ее слушались, и ее понесло вдруг вбок, к запасному компасу, обмотанному парусиной. Она еле-еле успела удержаться за него. Тут только она

заметила, что началась настоящая, ощутимая качка. Она с трудом добралась до скамейки на противоположном борту и упала на нее.

Стемнело. На самом верху мачты вспыхнул одинокий желтый электрический свет, и тотчас же на всем пароходе зажглись лампочки. Стеклянная будка над салоном первого класса и курительная комната тепло и уютно засияли огнями. На палубе сразу точно сделалось прохладнее. Сильный ветер дул с той стороны, где сидела Елена, мелкие соленые брызги изредка долетали до ее лица и прикасались к губам, но вставать ей не хотелось.

Мучительное, долгое, тянущее чувство какой-то отвратительной щекотки начиналось у нее в груди и в животе, и от него холодел лоб и во рту набиралась жидкая щиплющая слюна. Палуба медленно-медленно поднималась передним концом кверху, останавливалась на секунду в колеблющемся равновесии и вдруг, дрогнув, начинала опускаться вниз все быстрее и быстрее, и вот, точно шлепнувшись о воду, шла опять вверх. Казалось, она дышала — то распухая, то опадая, и в зависимости от этих движений Елена ощущала, как ее тело то становилось тяжелым и приплюскивалось к скамейке, то вслед затем приобретало необычайную, противную легкость и неустойчивость. И эта чередующаяся перемена была болезненнее всего, что Елене приходилось испытывать в жизни.

Город и берег давно уже скрылись из виду. Глаз свободно, не встречая препятствий, охватывал кругообразную черту, замыкавшую небо и море. Вдали бежали неровными грядами белые барашки, а внизу, около парохода, вода раскачивалась взад и вперед длинными скользящими ямами и, взмывая наверх, заворачивалась белыми пенными раковинами.

— Пардон, мадам, — услышала Елена над собою голос.

Она оглянулась и увидела все того же черномазого помощника капитана. Он глядел на нее сладкими, тающими, закатывающимися глазами и говорил:

— Извините, если я вам позволю дать совет. Не глядите вниз, это гораздо хуже, от этого происходит

кружение головы. Лучше всего глядеть на какую-нибудь неподвижную точку. Например, на звезду. А лучше бы всего вам лечь.

— Благодарю вас, мне ничего не нужно, — сказала Елена, отвернувшись от него.

Но он не уходил и продолжал заискивающим, изнеженным голосом, в котором слышался привычный тон пароходного соблазнителя:

— Вы меня простите, пожалуйста, что я так подошел к вам, не имея чести... Но мне необыкновенно знакома ваша личность. Позвольте узнать, вы не ехали ли прошлым рейсом с нами до Одессы? Э-э-э... можно присесть?

— Благодарю вас, — сказала она, подымаясь с места и не глядя на него. — Вы очень заботливы, но предупреждаю вас: если вы еще хоть один раз попробуете предложить мне ваши советы или услуги, я тотчас же по приезде в Севастополь телеграфирую Василию Эдуардовичу, чтобы вас немедленно убрали из Русского общества пароходства и торговли. Слышали?

Она назвала первое попавшееся на язык имя и отчество. Это был старый, уморительный прием, «трюк», которым когда-то спасся один из ее друзей от преследования сыщика. Теперь она употребила его почти бессознательно, и это подействовало ошеломляющим образом на первобытный ум грека. Он поспешно вскочил со скамейки, приподнял над головой белую фуражку, и даже при слабом свете, падавшем сквозь стекла над салоном, она увидела, как он быстро и густо покраснел.

— Ради бога... Не истолкуйте превратно... Честное слово... Вы, может быть, подумали? Ей-богу...

Но в эту секунду палуба, начавшая скользить вниз, вдруг круто качнулась вбок, налево, и Елена, наверно, упала бы, если бы моряк вовремя ловко и деликатно не подхватил ее за талию. В этом объятии не было ничего умышленного, и она сказала ему несколько мягче:

— Благодарю вас, но только оставьте меня. Мне нехорошо.

Он приложил руку к козырьку, сказал по-морскому: «Есть!» — и поспешно ушел.

Елена забралась с ногами на скамейку, положила локти на буковые перила и, угнездив между ними голову, закрыла глаза. Моряк вдруг стал в ее глазах ничуть не опасным, а смешным и жалким трусом. Ей вспомнились какие-то глупые куплеты о пароходном капитане, которые пел ее брат, студент Аркадий — «сумасшедший студент», как его звали в семье. Там что-то говорилось о даме, плывшей на пароходе в Одессу, о внезапно поднявшейся буре и морской болезни.

Но кап-питан любезный был,
В каюту пригласил,
Он лечь в постель мне дал совет
И расстегнуть корсет...
Шик, блеск, иммер элеган...

Ей уже вспомнился мотив и серьезное длинное лицо Аркадия, произносившего говорком дурацкие слова. В другое время она рассмеялась бы воспоминанию, но теперь ей было все равно, все в мире для нее было как-то скучно, неинтересно и вяло. Чтобы испытать себя, она нарочно подумала о Васютинском и его кружке, о муже, о приятной работе для него на ремингтоне, старалась представить давно жданную радость свидания с ним, которая казалась такой яркой и сладостной там, на берегу, — нет, все выходило каким-то серым, далеким, равнодушным, не трогающим сердца. Во всем ее теле и в сознании осталось только тягучее, раздражающее, расслабленное состояние полуобморока. Ее кожа с ног до головы обливалась липким холодным потом. Невозможно было сжать влажных, замиравших пальцев в кулак — так они обмякли и обессилели. Казалось, что вот-вот сейчас наступит полный обморок и забвение. Она ждала этого и боялась.

Но вдруг в глазах ее стало мутно и зелено, раздражающая щекотка подступила к горлу, сердце бессильно затрепыхалось где-то глубоко внизу, в животе. Елена едва успела вскочить и наклониться над бортом.

IV

На минуту ей стало как будто легче.

— Вы бы лучше походили, сударыня, — сказал ей участливо тот самый старичок, которого Васютинский задел цветами по шляпе.

Он сидел на соседней скамье и видел, как Елене сделалось дурно.

— Вы походите по воздуху и старайтесь дышать как можно реже и глубже. Это помогает.

Но она только покачала отрицательно головой и опять, улегшись лицом на локоть, закрыла глаза.

Ей с трудом удалось заснуть. Проспала она, должно быть, часа два и проснулась от внезапного всплеска пенной воды, которая, взмыв из-за борта, окатила ей волосы и шею. Была глубокая ночь — темная, облачная, безлунная и ветреная. Пароход валяло с носа на корму и с боку на бок. Шел мелкий косой дождь. На палубе было пусто, только в проходах у стен рубок, куда не достигали брызги, лежали спящие люди.

За левым бортом в бесконечно далекой черноте ночи, точно на краю света, загорелась вдруг яркая, белая, светящаяся точка маяка; продержавшись с секунду, она мгновенно гасла, а через несколько секунд опять вспыхивала, и опять гасла, и опять вспыхивала через точные промежутки. Смутное нежное чувство прикоснулось вдруг к душе Елены.

«Вот, — подумала она, — где-то в одиночестве, на пустынном мысе, среди ночи и бури, сидит человек и следит внимательно за этими вспышками огня, и, может быть, вот сейчас, когда я думаю о нем, может быть, и он мечтает о сердце, которое в это мгновение за много верст на невидимом пароходе думает о нем с благодарностью».

И ей припомнилось, как прошлой зимой ее и ее мужа вез со станции Тумы самонадеянный рязанский мальчишка. Была ночь и вьюга. Не прошло и получаса, как мальчишка потерял дорогу, и они втроем кружили по какому-то дикому сугробному полю, перерезанному канавами, возвращаясь на свои следы,

только что прорытые в целине. Кругом, куда бы ни глядел глаз, была одна и та же тусклая, мертвая, белесая муть, в которой сливались однотонно снег и небо. Когда лошадь попадала в канавы, всем троим приходилось вылезать из саней и идти по пояс в снегу. Ноги у Елены окоченели и уже начали терять чувствительность.

Тихое беззлобное отчаяние овладело ею. Муж молчал, боясь заразить ее своей тревогой. Мальчишка на козлах уже больше не дергал веревочными вожжами и не чмокал на лошадь. Она шла покорным шагом, низко опустив голову.

И вдруг мальчишка закричал радостно:

— Вешка!

Елена сначала ничего не поняла, так как была впервые в такой глубокой деревенской глуши. Но когда она увидела большую сосновую ветку, торчавшую из снега, и другую ветку, смутно темневшую вдали сквозь ночную серую муть, и когда она узнала, что таким порядком мужики обозначают дорогу на случай метели, — она почувствовала теплое, благодарное умиление. Кто-то, кого она, вероятно, ни разу в жизни не увидит и не услышит, шел днем вдоль этой дороги и заботливо втыкал налево и направо эти первобытные маяки. Пусть он даже вовсе не думал тогда о заблудившихся путниках, как, может быть, не думает теперь сторож маяка о признательности женщины, сидящей на борту парохода и глядящей на вспышки далекого белого огня, — но как радостно сблизить в мыслях две души, из которых одна оставила за собою бережный, нежный и бескорыстный след, а другая принимает этот дар с бесконечной любовью и преклонением.

И она с восторгом подумала о великих словах, о глубоких мыслях, о бессмертных книгах, оставленных потомству: «Разве это не те же вешки на загадочном пути человечества?»

Знакомый старый красноносый боцман в клеенчатом желтом пальто, с надвинутым на голову капюшоном, с маленьким фонариком в руке, торопливо пробежал по палубе к лагу и нагнулся над ним, осветив

его циферблат. На обратном пути он узнал Елену и остановился около нее.

— Не спите, барышня? Закачало? Здесь всегда так. Тарханкут. Самое поганое место.

— Почему?

— Н-ну! Тут сколько авариев было. С одной стороны мыс, а с другой вода кружится, как в котлé. Остается только узенькое место. Вот тут и угадайте. Вот как раз, где мы сейчас идем, тут «Владимир» пошел ко дну, когда его «Колумбия» саданула в бок. Так и покатился вниз. И не нашли... Здесь ямища сажен в четыреста...

Наверху на капитанском мостике засвистали. Боцман рванулся было туда, но остановился и добавил торопливо:

— Эх, вижу я, барышня, мутит вас. Нехорошо это. А вы, знаете, лимончик пососите. А то раскиснете. Да.

Елена встала и пошла по палубе, стараясь все время держаться руками за борта и за ручки дверей. Так она дошла до палубы третьего класса. Тут всюду в проходах, на брезенте, покрывавшем люк, на ящиках и тюках, почти навалившись друг на друга, лежали, спутавшись в кучу, мужчины, женщины и дети.

Иногда на них падал свет лампочек, и их лица от нездорового сна и от мучений после морской болезни казались синевато-мертвенно-бледными.

Она пошла дальше. Ближе к носу парохода на свободном пространстве, разделенном пополам коновязью, стояли маленькие, хорошенькие лошадки с выхоленною шерстью и с подстриженными хвостами и гривами. Их везли в Севастополь в цирк. И жалко и трогательно было видеть, как бедные умные животные стойко подавали тело то на передние, то на задние ноги, сопротивляясь качке, как они прищуривали уши и косили недоумевающими глазами назад, на бушующее море.

Затем она сошла вниз по крутой железной лестнице во второй класс. Там заняты были все места; даже в обеденной зале на диванах, шедших вдоль по стенам, лежали одетыми бледные, стонущие люди.

Морская болезнь всех уравняла и заставила забыть все приличия. И часто нога еврейского комиссионера со сползающим башмаком и грязным бельем, выглядывавшим из-под панталон, почти касалась головы красивой, нарядной женщины.

Но в спертом воздухе закрытого со всех сторон помещения так отвратительно пахло людьми, человеческим сонным дыханием, запахом извергнутой пищи, что Елена тотчас же быстро поднялась наверх, едва удерживая приступ тошноты.

Теперь качка стала еще сильнее. Каждый раз, когда нос корабля, взобравшись на волну и на мгновение задержавшись на ней, вдруг решительно, с возрастающей скоростью врывался в воду, Елена слышала, как его борта с уханьем погружались в море и как шипели вокруг него точно рассерженные волны.

И опять зеленая противная муть поплыла перед ее глазами. Лбу стало холодно, и тошно-томительное ощущение обморока овладело ее телом и всем ее существом. Она нагнулась над бортом, думая, как давеча, получить облегчение, но она видела только темное, тяжелое пространство внизу и на нем белые волны, то возникающие, то тающие.

Состояние ее было настолько мучительно, что она невольно подумала о том, что если бы была возможность как-нибудь вдруг, сейчас же умереть, не сходя с места, лишь бы окончилось это ощущение медленного и отвратительного умирания, то она согласилась бы с равнодушною усталостью. Но не было возможности самой прекратить это насильственно, потому что не было ни воли, ни желания.

V

К ней подходил все тот же помощник капитана. Теперь он с почтительным видом остановился довольно далеко от нее, расставя ноги для устойчивости, балансируя движениями тела при качке.

— Ради бога, не рассердитесь, не растолкуйте превратно моих слов, — сказал он вежливо, но просто. —

Мне так было тяжело и прискорбно, что вы придали недавно какой-то нехороший смысл... Впрочем, может быть, я сам в этом виноват, я не спорю, но я, право, не могу видеть, как вы мучитесь. Ради бога, не отказывайтесь от моей услуги. Я до утра стою на вахте. Моя каюта остается совершенно свободной. Не побрезгуйте, прошу вас. Там чистое белье... все, что угодно. Я пришлю горничную... Позвольте мне помочь вам.

Она ничего не ответила, но мысль о возможности протянуться свободно на удобной, покойной кровати и полежать одной, неподвижно, хоть полчаса, показалась ей необыкновенно приятной, почти радостной. Теперь она уже не находила никаких возражений против фатовской наружности капитана и против его предложения.

— Прошу вас, дайте мне руку, я проведу вас, — говорил помощник капитана с мягкой ласковостью. — Я пришлю вам горничную, у вас будет ключ, вы можете раздеться, если вам угодно.

У этого грека был приятный голос, звучавший необыкновенно искренно и почтительно, именно в таком тоне, не возбуждающем никаких сомнений, как умеют лгать женщинам опытные женолюбцы и сладострастники, имевшие в своей жизни множество легких, веселых минутных связей. К тому же воля Елены совершенно угасла, растаяла от ужасных приступов морской болезни.

— Ах, если бы вы знали, как мне тяжело! — с трудом выговорила она, почти не двигая холодными, помертвевшими губами.

— Идемте, идемте, — сказал он ласково и как-то трогательно, по-братски, помог ей подняться со скамейки, поддерживая ее.

Она не сопротивлялась.

Каюта помощника капитана была очень мала, в ней с трудом помещались кровать и маленький письменный стол, между которыми едва можно было втиснуть раскладную ковровую табуретку. Но все было щегольски чисто, ново и даже кокетливо. Плюшевое тигровое одеяло на кровати было наполовину открыто,

и свежее белье, без единой складочки, прельщало глаз сладостной белизной.

Электрическая лампочка в хрустальном колпачке мягко светила из-под зеленого абажура. Около зеркала на складном умывальнике красного дерева стоял флакончик с ландышами и нарциссами.

— И вот пожалуйста... Ради бога, — говорил помощник капитана, избегая глядеть на Елену. — Будьте как дома, здесь вы все найдете нужное для туалета. Мой дом — ваш дом. Это наша морская обязанность — оказывать услуги прекрасному полу.

Он рассмеялся с таким видом, который должен был показать, что последние слова — не более, как милая, дружеская шутка, сказанная небрежно и даже грубовато-простым и сердечным малым.

— Итак, не бойтесь, пожалуйста, — сказал он и вышел.

Только раз, на одно мгновение, поворачиваясь в дверях, он взглянул на Елену, и даже не в ее глаза, а куда-то повыше, туда, где у нее начинались пышною волной тонкие золотистые волосы.

Какая-то инстинктивная боязнь, какой-то остаток благоразумной осторожности вдруг встревожил Елену, но в этот момент пол каюты особенно сильно поднялся и точно покатился вбок, и тотчас же прежняя зеленая муть понеслась перед глазами женщины и тяжело заныло в груди предобморочное чувство. Забыв о своем мгновенном предчувствии, она села на кровать и схватилась рукой за ее спинку.

Когда ее немного отпустило, она покрыла кровать одеялом, расстегнула кнопки кофточки, крючки лифа и непослушные крючки низкого мягкого корсета, который сдавливал ее живот. Затем она с наслаждением легла на спину, опустив голову глубоко в подушки и спокойно протянув усталые ноги.

Ей сразу стало до счастья легко.

«Отдохну совсем и потом разденусь», — подумала она с удовольствием.

Она закрыла глаза. Сквозь опущенные веки свет лампочки приятным розовым светом ласкал глаза. Теперь покачивания парохода уже не были так мучитель-

ны. Она чувствовала, что пройдет еще немного минут, и качка успокоит ее и смежит ей глаза легким, освежающим сном. Нужно было только лишь не шевелиться.

Но в дверь постучали. Она вспомнила, что не успела запереть дверь, и смутилась. Но это могла быть горничная. Приподнявшись на кровати, она крикнула:

— Войдите!

Вошел помощник капитана, и вдруг ясное ощущение надвигающегося ужаса потрясло Елену. Голова у моряка была наклонена вниз, он не глядел на Елену, но у него двигались ноздри, и она даже услышала, как он коротко и глубоко дышал.

— Прошу извинения, я здесь забыл журнал, — сказал он глухо.

Он пошарил на столе, стоя спиной к Елене и нагнувшись. У нее мелькнула мысль — встать и тотчас же уйти из каюты, но он, точно угадывая и предупреждая ее мысль, вдруг гибким, чисто звериным движением, в один прыжок подскочил к двери и запер ее двумя оборотами ключа.

— Что вы делаете! — крикнула Елена и беспомощно, по-детски, всплеснула руками.

Он мягким, но необыкновенно сильным движением усадил ее на кровать и уселся с нею рядом. Дрожащими руками он взялся за ее кофточку спереди и стал ее раскрывать. Руки его были горячи, и точно какая-то нервная, страстно возбужденная сила истекала из них. Он дышал тяжело и даже с хрипом, и на его покрасневшем лице вздулись вверх от переносицы две расходящиеся ижицей жилы.

— Дорогая моя... — говорил он отрывисто, и в голосе его слышалась мучительная, слепая, томная страсть. — Дорогая... Я хочу вам помочь... вместо горничной... Нет! Нет!.. Не подумайте чего-нибудь дурного... Какая у вас грудь... Какое тело...

Он положил ей на обнаженную грудь горячую, воспаленную голову и лепетал, как в забытьи:

— Надо совсем расстегнуться, тогда будет лучше. Ради бога, не думайте, что я чего-нибудь... Одна минута... Только одна минута... Ведь никто не узнает...

Вы испытаете блаженство... Вам будет приятно... Никто никогда не узнает... Это предрассудки.

Она отталкивала его, упиралась руками ему в грудь, в голову и говорила с отвращением:

— Пустите меня, гадина... Животное... Подлец... Ко мне никто не смел прикасаться так.

В ужасе и гневе она начала кричать без слов, пронзительно, но он своими толстыми, открытыми и мокрыми губами зажал ей рот. Она барахталась, кусала его губы, и когда ей удавалось на секунду отстранить свое лицо, кричала и плевалась. И вдруг опять томительное, противное, предсмертное ощущение обморока обессилило ее. Руки и ноги сделались вялыми, как и все ее тело.

— Господи, что вы со мною сделали! — сказала она тихо. — Вы сделали хуже, чем убийство. Боже мой! Боже мой!

В эту минуту постучали в дверь. Моряк, все еще сопя, отпер, и в каюту вошел тот веселый, похожий на ловкую обезьянку, юнга, которого видела Елена днем около сходни.

— Боже мой! Боже мой! Боже мой! — сказала женщина, закрыв лицо руками.

VI

Наступило утро. В то время, когда разгружали людей и тюки в Евпатории, Елена проснулась на верхней палубе от легкой сырости утреннего тумана. Море было спокойно и ласково. Сквозь туман розовело солнце. Дальняя плоская черта берега чуть желтела впереди.

Только теперь, когда постепенно вернулось к ней застланное сном сознание, она глубоко охватила умом весь ужас и позор прошедшей ночи. Она вспомнила помощника капитана, потом юнгу, потом опять помощника капитана. Вспомнила, как грубо, с нескрываемым отвращением низменного, пресытившегося человека выпроваживал ее этот красавец грек из своей каюты. И это воспоминание было тяжелей всего.

На три часа пароход задержался в Севастополе, пока длинные послушные хоботы лебедок выгружали и нагружали тюки, бочки, связки железных брусьев, какие-то мраморные доски и мешки. Туман рассеялся. Прелестная круглая бухта, окаймленная желтыми берегами, лежала неподвижно. Проворные белые и черные катеры легко бороздили ее поверхность. Быстро проносились белые лодки военного флота с Андреевским косым крестом на корме. Матросы с обнаженными шеями все, как один, далеко откидывались назад, выбрасывая весла из воды.

Елена сошла на берег и, сама не зная для чего, объехала город на электрическом трамвае. Весь гористый, каменный белый город казался пустым, вымирающим, и можно было подумать, что никто в нем не живет, кроме морских офицеров, матросов и солдат, — точно он был завоеван.

Она посидела немного в городском саду, равнодушно глядя на его газоны, пальмы и подрезанные кусты, равнодушно слушая музыку, игравшую в ротонде. Потом она вернулась на пароход.

В час дня пароход отвалил. Только тогда, после общего завтрака, Елена потихоньку, точно крадучись, спустилась в салон. Какое-то унизительное чувство, против ее воли, заставляло ее избегать общества и быть в одиночестве. И для того чтобы выйти на палубу после завтрака, ей пришлось сделать над собой громадное усилие. До самой Ялты она просидела у борта, облокотившись лицом на его перила.

Низкий желтый песчаный берег постепенно начал возвышаться, и на нем запестрели редкие темные кусты зелени. Кто-то из пассажиров сидел рядом с Еленой и по книжке путеводителя рассказывал, нарочно громко, чтобы его слышали кругом, о тех местах, которые шли навстречу пароходу, и она без всякого участия, подавленная кошмарным ужасом вчерашнего, чувствуя себя с ног до головы точно вываляннной в вонючей грязи, со скукою глядела, как развертывались перед нею прекрасные места Крымского полуострова. Проплыл мыс Фиолент, красный, крутой, с заострившимися глыбами, готовыми вот-вот сорваться

в море. Когда-то там стоял храм кровожадной богини — ей приносились человеческие жертвы, и тела пленников сбрасывали вниз с обрыва. Прошла Балаклава с едва заметными силуэтами разрушенной генуэзской башни на горе, мохнатый мыс Айя, кудрявый Ласпи, Форос с византийской церковью, стоящей высоко, точно на подносе, с Байдарскими воротами, венчающими гору. А там потянулись среди густой зелени садов и парков между зигзагами белой дороги — белые дачи, богатые виллы, горные татарские деревушки с плоскими крышами. Море нежно стлалось вокруг парохода; в воде играли дельфины.

Крепко, свежо и радостно пахло морским воздухом. Но ничто не радовало глаз Елены. У нее было такое чувство, точно не люди, а какое-то высшее, всемогущее, злобное и насмешливое существо вдруг нелепо взяло и опоганило ее тело, осквернило ее мысли, сломало ее гордость и навеки лишило ее спокойной, доверчивой радости жизни. Она сама не знала, что ей делать, и думала об этом так же вяло и безразлично, как глядела она на берег, на небо, на море.

Теперь публика вся толпилась на левом борту. Однажды мельком Елена увидала помощника капитана в толпе. Он быстро скользнул от нее глазами прочь, трусливо повернулся и скрылся за рубкой. Но не только в его быстром взгляде, а даже в том, как под белым кителем он судорожно передернул спиною, она прочла глубокое брезгливое отвращение к ней. И она тотчас же почувствовала себя на веки вечные, до самого конца жизни, связанной с ним и совершенно равной ему.

Прошли Алупку с ее широким зеленоватым, мавританского стиля, дворцом и с роскошным парком, весь зеленый, кудрявый Мисхор, белый, точно выточенный из сахара, Дюльбер и «Ласточкино гнездо» — красный безобразный дом с башней, прилепившейся на самом краю отвесной скалы, падающей в море.

Подходили к Ялте. Теперь вся палуба была занята поклажею. Нельзя было повернуться. В том стадном стремлении, которое всегда охватывает людей на пароходах, на железных дорогах и на вокзалах перед

посадкой и высадкой, пассажиры стали торопливы и недоброжелательны друг к другу. Елену часто толкали, наступали ей на ноги и на платье. Она не оборачивалась. Теперь ей начинало становиться страшно перед мужем. Она не могла себе представить, как произойдет их встреча, что она будет говорить ему? Хватит ли решимости у нее сказать ему все? Что он сделает? Простит? Рассердится? Пожалеет или оттолкнет ее, как привычную обманщицу и распутницу?

Каждый раз, представляя себе тот момент, когда она решится, наконец, развернуть перед ним свою бедную, оплеванную душу, она бледнела и, закрывая глаза, глубоко набирала в грудь воздуху.

Густой парк Ореанды, благородные развалины Мраморного дворца, красный дворец Ливадии, правильные ряды виноградника на горах, и вот, наконец, включенный в подкову гор, веселый, пестрый, амфитеатр Ялты, золотые купола собора, тонкие, стройные, темные кипарисы, похожие на черные узкие веретена, каменная набережная и на ней, точно игрушечные, люди, лошади и экипажи.

Медленно и осторожно повернувшись на одном месте, пароход боком причалил к пристани. Тотчас же масса людей, в грубой овечьей подражательности, ринулась с парохода по сходне на берег, давя, толкая и тиская друг друга. Глубокое отвращение почувствовала Елена ко всем этим красным мужским затылкам, к растерянным, злым, пудренным впопыхах женским лицам, потным рукам, изогнутым угрожающе локтям. Казалось ей, что в каждом из этих озверевших без нужды людях сидело то же самое животное, которое вчера раздавило ее.

Только тогда, когда пассажиры отхлынули и палуба стала свободна, она подошла к борту и тотчас же увидела мужа. И вдруг все в нем: синяя шелковая косоворотка, подтянутая широким кушаком, и панталоны навыпуск, белая широкополая войлочная шляпа, которую тогда носили поголовно все социал-демократы, его маленький рост, круглый животик, золотые очки, прищуренные глаза, напряженная от солнечных лучей гримаса вокруг рта, — все в нем вдруг показалось ей

бесконечно знакомым и в то же время почему-то враждебным и неприятным. У нее мелькнуло сожаление, зачем она не телеграфировала из Севастополя, что уезжает навсегда: так просто написать бы, без всякого объяснения причин.

Но он уже увидел ее издали и размахивал шляпой и высоко поднятой палкой.

VII

Поздно ночью она встала со своей постели, которая отделялась от его постели ночным столиком и, не зажигая света, села у него в ногах и слегка прикоснулась к нему. Он тотчас же приподнялся и прошептал с испугом:

— Что с тобой, Елочка? Что ты?

Он был смущен и тяжело обеспокоен ее сегодняшним напряженным молчанием, и, хотя она ссылалась на головную боль от морской болезни, он чувствовал за ее словами какое-то горе или тайну. Днем он не приставал к ней с расспросами, думая, что время само покажет и объяснит. Но и теперь, когда он не перешел еще от сна к пошлой мудрости жизни, он безошибочно, где-то в самых темных глубинах души, почувствовал, что сейчас произойдет нечто грубое, страшное, не повторяющееся никогда вторично в жизни.

Оба окна были открыты настежь. Сладостно, до щекотки, пахло невидимыми глициниями. В городском саду играл струнный оркестр, и звуки его казались прекрасными и печальными.

— Сергей, выслушай меня, — сказала Елена. — Нет, нет, не зажигай свечу, — прибавила она торопливо, услышав, что он затарахтел коробкою со спичками. — Так будет лучше... без огня... То, что я тебе скажу, будет необычайно и невыносимо тяжело для тебя, но я не могу иначе, и я должна испытать тебя... Прости меня!

Она едва видела его в темноте по белой рубашке. Он ощупью отыскал стакан и графин, и она слышала, как дрожало стекло о стекло. Она слышала, как большими, громкими глотками пил он воду.

— Говори, Елочка, — сказал он шепотом.

— Послушай! Скажи мне, что бы ты сделал или сказал, если бы я пришла к тебе и сказала: «Милый Сергей, вот я, твоя жена, которая никого не любила, кроме тебя, никого не полюбит, кроме тебя, и я сегодня изменила тебе. Пойми меня, изменила совсем, до того последнего предела, который только возможен между мужчиною и женщиною». Нет, не торопись отвечать мне. Изменила не тайком, не скрываючись, а нехотя, во власти обстоятельств... Ну, предположи... каприз истерической натуры, необыкновенную, неудержимую похоть, ну, наконец, насилие со стороны пьяного человека... какого-нибудь пехотного офицера... Милый Сергей, не делай никаких отговорок и отклонений, не останавливай меня, а отвечай мне прямо. И помни, что, сделав это, я ни на одну секунду не переставала любить тебя больше всего, что мне дорого.

Он помолчал, повозился немного на постели, отыскал ее руку, хотел пожать ее, но она отняла руку.

— Елочка, ты испугала меня, я не знаю, что тебе сказать, я положительно не знаю. Ведь если ты полюбила бы другого, ведь ты сказала бы мне, ведь ты не стала бы меня обманывать, ты пришла бы ко мне и сказала: «Сергей! Мы оба свободные и честные люди, я перестала любить тебя, я люблю другого, прости меня — и расстанемся». И я поцеловал бы твою руку на прощанье и сказал бы: «Благодарю тебя за все, что ты мне дала, благословляю твое имя, позволь мне только сохранить твою дружбу».

— Нет! Нет... не то... совсем не то... Не полюбила, а просто грубо изменила тебе. Изменила потому, что не могла не изменить, потому что не была виновата.

— Но он тебе нравился? Ты испытала сладость любви?

— Ах, нет, нет! Сергей, все время отвращение, глубокое, невероятное отвращение. Ну, вот скажи, например, если бы меня изнасиловали?

Он осторожно привлек ее к себе, — она теперь не сопротивлялась. Он говорил:

— Милая Елочка, зачем об этом думать? Это все равно, если бы ты спросила меня, разлюблю ли я тебя,

если вдруг оспа обезобразит твое лицо или железнодорожный поезд отрежет тебе ногу. Так и это. Если тебя изнасиловал какой-нибудь негодяй, — господи, что не возможно в нашей современной жизни! — я взял бы тебя, положил твою голову себе на грудь, вот как я делаю сейчас, и сказал бы: «Милое мое, обиженное, бедное дитя, вот я жалею тебя как муж, как брат, как единственный друг и смываю с твоего сердца позор моим поцелуем».

Долго они молчали, потом Сергей заговорил:

— Расскажи мне все!

И она начала так:

— Предположи себе... Но помни, Сергей, что это только предположение... Если бы ночью на пароходе меня схватил неудержимый приступ морской болезни...

И она подробно, не выпуская ни одной мелочи, рассказала ему все, что было с ней прошлою ночью. Рассказала даже о том потрясающем и теперь бесконечно мучительном для нее ощущении, которое овладело ею в присутствии молодого юнги. Но она все время вставляла в свою речь слова: «Слышишь, это только предположение! Ты не думай, что это было, это только предположение. Я выдумываю самое худшее, на что способно мое воображение».

И когда она замолчала, он сказал тихо и почти торжественно:

— Так это было? Было? Но ни судить тебя, ни прощать тебя я не имею права. Ты виновата в этом столько же, сколько в дурном, нелепом сне, который приснился тебе. Дай мне твою руку!

И, поцеловав ее руку, он спросил ее еле слышно:

— Так это было, Елочка?

— Да, мой милый. Я так несчастна, так глубоко несчастна. Благодарю тебя за то, что ты утешил меня, не разбил моего сердца. За эту одну минуту я не знаю, чем я отблагодарю тебя в жизни!

И вот, с горькими и радостными слезами, она прижалась к его груди, рыдая и сотрясаясь голыми плечами и руками и смачивая его рубашку. Он бережно, медленно, ласково гладил по ее волосам рукою.

— Ложись, милая, поспи, отдохни. Завтра ты проснешься бодрая, и все будет казаться, как давнишний сон.

Она легла. Прошло четверть часа. Расслабляюще, томно пахла глициния, сказочно-прекрасно звучал оркестр вдали, но муж и жена не могли заснуть и лежали, боясь потревожить друг друга, с закрытыми глазами, стараясь не ворочаться, не вздыхать, не кашлять, и каждый понимал, что другой не спит.

Но вдруг он вскочил на кровати и произнес с испугом:

— Елочка! А ребенок? А вдруг ребенок?

Она помедлила и спросила беззвучно:

— Ты бы его возненавидел?

— Я его не возненавижу. Дети все прекрасны, я тебе сто раз говорил об этом и верю — не только словами, но всей душой, — что нет разницы в любви к своему или к чужому ребенку. Я всегда говорил, что исключительное материнское чувство — почти преступно, что женщина, которая, желая спасти своего ребенка от простой лихорадки, готова была бы с радостью на уничтожение сотни чужих, незнакомых ей детей, — что такая женщина ужасна, хотя она может быть прекрасной или, как говорят, «святой» матерью. Ребенок, который получился бы от тебя в таком случае, был бы моим ребенком, но, Елочка... Этот человек, вероятно, пережил в своей жизни тысячи подобных приключений. Он несомненно знаком со всеми постыдными болезнями... Почем знать... Может быть, он держит в своей крови наследственный алкоголизм.... сифилис... В этом и есть весь ужас, Елочка.

Она ответила усталым голосом:

— Хорошо, я сделаю все, что ты захочешь.

И опять наступило молчание и длилось страшно долго.

Он заговорил робко:

— Я не хочу лгать, я должен признаться тебе, что только одно обстоятельство мучит меня, что ты узнала радость, физическую радость любви не от меня, а от какого-то проходимца. Ах! Зачем это случилось? Если бы я взял тебя уже не девушкой, мне было бы это

все равно, но это, это... милая, — голос его стал умоляющим и задрожал, — но ведь, может быть, этого не было? Ты хотела испытать меня?

Она нервно и вслух рассмеялась.

— Да неужели серьезно ты думаешь, что я могла тебе изменить? Конечно, я только испытывала тебя. Ну и довольно. Ты выдержал экзамен, теперь можешь спать спокойно и не мешай мне спать.

— Так это правда? Правда? Милая моя, обожаемая, прелестная Елочка. О, как я рад! Ха-ха, я-то, дурак, почти поверил тебе. Ничего не было, Елочка?

— Ничего, — ответила она довольно сухо.

Он повозился немного и заснул.

Но утром его разбудил какой-то шорох. К комнате было светло. Елена, бледная после бессонной ночи, похудевшая, с темными кругами вокруг глаз, с сухими, потрескавшимися губами, уже почти одетая, торопливо доканчивала свой туалет.

— Ты куда собралась, дорогая? — спросил он тревожно.

— Я сейчас вернусь, — ответила она, — у меня разболелась голова. Я пройдусь, а спать лягу после завтрака.

Он вспомнил вчерашнее и, протягивая к ней руки, сказал:

— Как ты меня испугала, моя милая, недобрая женушка. Если бы ты знала, что ты сделала с моим сердцем. Ведь такой ужас на всю жизнь остался бы между нами. Ни ты, ни я никогда не могли бы забыть его. Ведь это правда? Все это: помощник капитана, юнга, морская болезнь, все это — твои выдумки, не правда ли?

Она ответила спокойно, сама удивляясь тому, как она, гордая своей всегдашней правдивостью, могла лгать так естественно и легко.

— Конечно, выдумки. Просто одна дама рассказывала в каюте такой случай, который действительно был однажды на пароходе. Ее рассказ взволновал меня, и я так живо вообразила себя в положении этой женщины, и меня охватил такой ужас при мысли, что ты возненавидел бы меня, если бы я была на ее месте,

что я совсем растерялась... Но, слава богу, теперь все прошло.

— Конечно, прошло, — подтвердил он, обрадованный и совершенно успокоенный. — Господи! Да, наконец, если бы это случилось, неужели ты стала бы хуже или ниже в моих глазах? Какие пустяки!

Она ушла. Он опять заснул и спал до десяти часов. В одиннадцать часов он уже начал беспокоиться ее отсутствием, а в полдень мальчишка из какой-то гостиницы, в шапке, обшитой галунами, со множеством золотых пуговиц на куртке, принес ему короткое письмо от Елены:

«С девятичасовым пароходом я уехала опять в Одессу. Не хочу скрывать от тебя того, что я еду к Васютинскому, и ты, конечно, поймешь, *что* я буду делать во всю мою остальную жизнь. Ты — единственный человек, которого я любила, и последний, потому что мужская любовь больше не существует для меня. Ты самый целомудренный и честный из всех людей, каких я только встречала. Но ты тоже оказался, как и все, маленьким, подозрительным собственником в любви, недоверчивым и унизительно-ревнивым. Несомненно, что мы с тобою рано или поздно встретимся в том деле, которое одно будет для меня смыслом жизни. Прошу тебя во имя нашей прежней любви: никаких расспросов, объяснений, упреков или попыток к сближению. Ты сам знаешь, что я не переменяю своих решений.

Конечно, весь рассказ о пароходе сплошная выдумка.

Елена».

УЧЕНИК

I

Большой, белый, двухэтажный американский пароход весело бежал вниз по Волге. Стояли жаркие, томные июльские дни. Половину дня публика проводила на западном наружном балкончике, а половину на восточном, в зависимости от того, какая сторона бывала в тени. Пассажиры садились и вылезали на промежуточных станциях, и в конце концов образовался постоянный состав путешественников, которые уже давно знали друг друга в лицо и порядочно друг другу надоели.

Днем лениво занимались флиртом, покупали на пристанях землянику, вяленую волокнистую воблу, молоко, баранки и стерлядей, пахнувших керосином. В продолжение целого дня ели не переставая, как это всегда бывает на пароходах, где плавная тряска, свежий воздух, близость воды и скука чрезмерно развивают аппетит.

Вечером, когда становилось прохладнее, с берегов доносился на палубу запах скошенного сена и медвяных цветов, и когда от реки поднимался густой летний туман, все собирались в салон.

Худенькая барышня из Москвы, ученица консерватории, у которой резко выступали ключицы из-под низко вырезанной блузки, а глаза неестественно блестели и на щеках горели болезненные пятна, пела маленьким,

но необыкновенно приятного тембра голосом романсы Даргомыжского. Потом немного спорили о внутренней политике.

Общим посмешищем и развлечением служил тридцатилетний симбирский помещик, розовый и гладкий, как йоркширский поросенок, с белокурыми волосами ежиком, с разинутым ртом, с громадным расстоянием от носа до верхней губы, с белыми ресницами и возмутительно белыми усами. От него веяло непосредственной черноземной глупостью, свежестью, наивностью и усердием. Он только что женился, приобрел ценз и получил место земского начальника. Все эти подробности, а также девическая фамилия его матери и фамилии всех людей, оказавших ему протекцию, были уже давно известны всему пароходу, включая сюда капитана и двух его помощников, и, кажется, даже палубной команде. Как представитель власти и член всероссийской дворянской семьи, он пересаливал в своем патриотизме и постоянно завирался. От Нижнего до Саратова он уже успел перестрелять и перевешать всех жидов, финляндцев, поляков, армяшек, малороссов и прочих инородцев.

Во время стоянок он выходил на палубу в своей фуражке с бархатным околышем и с двумя значками и, заложив руки в карманы брюк, обнаруживая толстый дворянский зад в серых панталонах, поглядывал на всякий случай начальственно на матросов, на разносчиков, на троечных ямщиков в круглых шляпах с павлиньими перьями. Жена его, тоненькая, изящная, некрасивая петербургская полудева, с очень бледным лицом и очень яркими, злыми губами, не препятствовала ему ни в чем, была молчалива, иногда при глупостях мужа улыбалась недоброй, тонкой усмешкой; большую часть дня сидела на солнечном припеке, с желтым французским романом в руках, с пледом на коленях, вытянув вдоль скамейки и скрестив маленькие породистые ножки в красных сафьяновых туфлях. Как-то невольно чувствовалась в ней карьеристка, будущая губернаторша или предводительша, очень может быть, что будущая губернская Мессалина. От нее всегда пахло помадой crême Simon и какими-то модными духами — сладки-

ми, острыми и терпкими, от которых хотелось чихать. Фамилия их была Кострецовы.

Из постоянных пассажиров был еще артиллерийский полковник, добродушнейший человек, неряха и обжора, у которого полуседая щетина торчала на щеках и подбородке, а китель цвета хаки над толстым животом лоснился от всевозможных супов и соусов. Каждый день утром он спускался вниз в помещение повара и выбирал там стерлядку или севрюжку, которую ему приносили наверх в сачке, еще трепещущую, и он сам, священнодействуя, сопя и почмокивая, делал рыбе ножом на голове пометки во избежание поварской лукавости, чтобы не подали другую, дохлую.

Каждый вечер, после пения московской барышни и политических споров, полковник играл до поздней ночи в винт. Его постоянными партнерами были: акцизный надзиратель, ехавший в Асхабад, — человек совершенно неопределенных лет, сморщенный, со скверными зубами, помешанный на любительских спектаклях, — он недурно, бойко и весело рассказывал в промежутках игры, во время сдач, анекдоты из еврейского быта; редактор какой-то приволжской газеты, бородатый, низколобый, в золотых очках, и студент, по фамилии Држевецкий.

Студент играл с постоянным счастием. Он быстро разбирался в игре, великолепно помнил все назначения и ходы, относился к ошибкам партнеров с неизменяемым благодушием. Несмотря на сильные жары, он всегда был одет в застегнутый на все пуговицы зеленоватый сюртук, с очень длинными полами и преувеличенно высоким воротником. Спинные лопатки были у него так сильно развиты, что он казался сутуловатым, даже при его высоком росте. Волосы у него были светлые и курчавые, голубые глаза, бритое длинное лицо: он немножко походил, судя по старинным портретам, на двадцатипятилетних генералов Отечественной войны 1812 года. Однако нечто странное было в его наружности. Иногда, когда он не следил за собою, его глаза принимали такое усталое, измученное выражение, что ему свободно можно было дать на вид даже и пятьдесят лет. Но ненаблюдательная пароходная публика этого, конечно, не замечала, как не замечали партнеры

необыкновенной особенности его рук: большие пальцы у студента достигали по длине почти концов указательных, и все ногти на пальцах были коротки, широки, плоски и крепки. Эти руки с необыкновенной убедительностью свидетельствовали об упорной воле, о холодном, не знающем колебаний эгоизме и о способности к преступлению.

От Нижнего до Сызрани как-то в продолжение двух вечеров составлялись маленькие азартные игры. Играли в двадцать одно, железную дорогу, польский банчок. Студент выиграл что-то рублей около семидесяти. Но он это сделал так мило и потом так любезно предложил обыгранному им мелкому лесопромышленнику взаймы денег, что у всех получилось впечатление, что он богатый человек, хорошего общества и воспитания.

II

В Самаре пароход очень долго разгружался и нагружался. Студент съездил выкупаться и, вернувшись, сидел в капитанской рубке — вольность, которая разрешается только очень симпатичным пассажирам после долгого совместного плаванья. Он с особенным вниманием, пристально следил за тем, как на пароход взошли порознь три еврея, все очень хорошо одетые, с перстнями на руках, с блестящими булавками в галстуках. Он успел заметить и то, что евреи делали вид, как будто они не знакомы друг с другом, и какую-то общую черту в наружности, как будто наложенную одинаковой профессией, и почти неуловимые знаки, которые они подавали друг другу издали.

— Не знаете — кто это? — спросил он помощника капитана.

Помощник капитана, черненький безусый мальчик, изображавший из себя в салоне старого морского волка, очень благоволил к студенту. Во время своих очередных вахт он рассказывал Držевецкому непристойные рассказы из своей прошлой жизни, говорил гнусности про всех женщин, находившихся на судне, а

студент выслушивал его терпеливо и внимательно, хотя и несколько холодно.

— Эти? — переспросил помощник капитана. — Несомненно комиссионеры. Должно быть, торгуют мукой или зерном. Да вот мы сейчас узнаем. Послушайте, господин, как вас, послушайте! — закричал он, перегнувшись через перила. — Вы с грузом? Хлеб?

— Уже! — ответил еврей, подняв кверху умное, наблюдательное лицо. — Теперь я еду для собственного удовольствия.

Вечером опять пела московская барышня — «Кто нас венчал», — земский начальник кричал о пользе уничтожения жидов и введения общей всероссийской порки, полковник заказывал севрюжку по-американски с каперсами. Два комиссионера уселись играть в шестьдесят шесть — старыми картами, потом к ним, как будто невзначай, подсел третий, и они перешли на преферанс. При окончательном расчете у одного из игроков не нашлось сдачи, — оказались только крупные бумажки.

Он сказал:

— Ну, господа, как же мы теперь разделимся? Хотите на черное и красное?

— Нет, уж благодарю вас, в азартные игры не играю, — ответил другой. — Да это пустяки. Пускай мелочь останется за вами.

Первый как будто бы обиделся, но тут вмешался третий:

— Господа, кажется, мы не пароходные шулера и находимся в порядочной компании. Позвольте, сколько у вас выигрыша?

— Однако какой вы горячий, — сказал первый. — Шесть рублей двадцать копеек.

— Ну вот... Иду на всё.

— Ой, как страшно! — сказал первый и начал метать.

Он проиграл и в сердцах удвоил ставку. И вот через несколько минут между этими тремя людьми завязалась оживленная, азартная игра в польский банчок, в которой банкомет сдает всем партнерам по три карты и от себя открывает на каждого по одной.

Не прошло и получаса, как на столе ворохами лежали кредитные билеты, столбики золота и груды серебра. Банкомет все время проигрывал. При этом он очень правдоподобно разыгрывал удивление и негодование.

— Это вам всегда так везет на пароходах? — спрашивал он с ядовитой усмешкой партнера.

— Да. А особенно по четвергам, — отвечал тот хладнокровно.

Неудачный игрок потребовал новую талию. Но он опять стал проигрывать. Вокруг их стола столпились пассажиры первого и второго классов. Игра понемногу разожгла всех. Сначала вмешался добродушный артиллерийский полковник, потом акцизный чиновник, ехавший в Асхабад, и бородатый редактор. У мадам Кострецовой загорелись глаза, и в этом сказалась ее пылкая, нервная натура.

— Ставьте же против него, — сказала она злым шепотом мужу. — Разве вы не видите, что его преследует несчастье.

— Mais [1], дорогая моя... Бог знает с кем, — слабо протестовал земский начальник.

— Идиот! — сказала она злым шепотом. — Принесите из каюты мой ридикюль.

III

Студент давно уже понял, в чем дело. Для него было совершенно ясно, что эти три человека составляют обыкновенную компанию пароходных шулеров. Но, очевидно, ему нужно было кое-что обдумать и сообразить. Он взял в буфете длинную черную сигару и уселся на балконе, следя, как тень от парохода скользила по желтой воде, игравшей солнечными зайчиками. Помощник капитана, увидев его, сбежал с рубки, многозначительно смеясь.

— Профессор, хотите я вам покажу одного из самых интересных людей в России.

---

[1] Но *(франц.)*.

— Да? — сказал равнодушно студент, стряхивая ногтем пепел с сигары.

— Посмотрите, вон тот господин, с седыми усами и с зеленым шелковым зонтиком над глазами. Это — Балунский, король шулеров.

Студент оживился и быстро посмотрел направо.

— Этот? Да? В самом деле Балунский?

— Да. Этот самый.

— Что же, он теперь играет?

— Нет. Совсем упал. Да если бы он и сел играть, так ведь, вы знаете, мы обязаны предупредить публику... Он только торчит за столами, смотрит и больше ничего.

В это время Балунский проходил мимо них, и студент с самым живым интересом проводил его глазами. Балунский был высокий, прекрасно сложенный старик с тонкими, гордыми чертами лица. Студент многое увидал в его наружности: давнишнюю привычку держать себя независимо и уверенно на глазах большой публики, выхоленные, нежные руки, наигранную внешнюю барственность, но также и маленький дефект в движении правой ноги и побелевшие от времени швы когда-то великолепного парижского пальто. И студент с неослабным вниманием и с каким-то странным смешанным чувством равнодушной жалости и беззлобного презрения следил за всеми этими мелочами.

— Был конь, да изъездился, — сказал помощник капитана.

— А внизу идет большая игра, — сказал спокойно студент.

Потом, вдруг повернувшись к помощнику капитана и глядя ему каменным взглядом в самые зрачки, он сказал так просто, как будто заказывал себе завтрак или обед:

— Вот что, mon cher ami [1], я к вам приглядываюсь уже два дня и вижу, что вы человек неглупый и, конечно, стоите выше всяких старушечьих предрассудков. Ведь мы с вами сверхлюди, не правда ли?

---

[1] Мой дорогой друг (*франц.*).

— Да, вообще... И по теории Ницше, вообще... — пробормотал важно помощник капитана. — Жизнь человеческая...

— Ну, ладно. Подробности письмом.

Студент расстегнул сюртук, достал из бокового кармана щегольской бумажник из красной кожи с золотой монограммой и вынул из него две бумажки, по сто рублей каждая.

— Держите, адмирал! Это ваши, — сказал он внушительно.

— За что? — спросил помощник капитана, захлопав глазами.

— За вашу за прекрасную за красоту, — сказал серьезно студент. — И за удовольствие поговорить с умным человеком, не связанным предрассудками.

— Что я должен сделать?

Теперь студент заговорил отрывисто и веско, точно полководец перед сражением:

— Во-первых, не предупреждать никого о Балунском. Он мне нужен будет, как контроль и как левая рука. Есть?

— Есть! — ответил весело помощник капитана.

— Во-вторых, укажите мне того из официантов, который может подать на стол мою колоду.

Моряк немножко замялся.

— Разве Прокофий? — сказал он, как бы рассуждая с самим собой.

— Ах, это тот, худой, желтый, с висячими усами? Да?

— Да. Этот.

— Ну, ну... У него подходящее лицо. С ним у меня будет свой разговор и особый расчет. Затем, мой молодой, но пылкий друг, я вам предлагаю следующую комбинацию. Два с половиной процента с валового сбора.

— С валового сбора? — захихикал восторженно помощник капитана.

— Да-с. Это составит приблизительно вот сколько... у полковника своих, я думаю, рублей тысяча и, может быть, еще казенные — скажем кругло, две. Земского начальника я тоже ценю в тысячу. Если удастся развер-

теть его жену, то эти деньги я считаю как в своем кармане. Остальные все — мелочь. Да еще у этих сморкачей я считаю тысяч около шести — восьми... вместе...

— У кого?

— А у этих пароходных шулеришек. У этих самых молодых людей, которые, по вашим словам, торгуют зерном и мукой.

— Да разве? Да разве? — спохватился помощник капитана.

— Вот вам и разве. Я им покажу, как нужно играть. Им играть в три листика на ярмарках под забором. Капитан, кроме этих двухсот, вы имеете еще триста обеспеченных. Но уговор: не делать мне страшных гримас, хотя бы я даже проигрался дотла, не соваться, когда вас не спрашивают, не держать за меня, и главное — что бы со мной ни случилось, даже самое худшее, — не обнаруживать своего знакомства со мной. Помните — вы не мастер, не ученик, а только статист.

— Статист! — хихикнул помощник капитана.

— Экий дурак, — сказал спокойно студент.

И, бросив окурок сигары через борт, он быстро встал навстречу проходившему Балунскому и фамильярно просунул руку ему под руку. Они поговорили не больше двух минут, и, когда окончили, Балунский снял шляпу с льстивым и недоверчивым видом.

IV

Поздно ночью студент и Балунский сидели на пароходном балконе. Лунный свет играл и плескался в воде. Левый берег, высокий, крутой, весь обросший мохнатым лесом, молчаливо свешивался над самым пароходом, который шел совсем близко около него. Правый берег лежал далеким плоским пятном. Весь опустившись, сгорбившись еще больше, студент небрежно сидел на скамейке, вытянув вперед свои длинные ноги. Лицо у него было усталое и глаза тусклые.

— Сколько вам может быть лет? — спросил Балунский, глядя на реку.

Студент промолчал.

— Вы меня извините за нескромность, — продолжал, немного помявшись, Балунский. — Я отлично понял, для чего вы меня посадили около себя. Я также понимаю, почему вы сказали этому фушеру, что вы его ударите по лицу, если колода после проверки окажется верной. Вы это произнесли великолепно. Я любовался вами. Но, ради бога, скажите, как вы это делали?

Студент, наконец, заговорил через силу, точно с отвращением:

— Видите ли, штука в том, что я не прибегаю ни к каким противозаконным приемам. У меня игра на человеческой душе. Не беспокойтесь, я знаю все ваши старые приемы. Накладка, передержка, наколка, крапленые колоды — ведь так?

— Нет, — заметил обидчиво Балунский. — У нас были и более сложные штучки. Я, например, первый ввел в употребление атласные карты.

— Атласные карты? — переспросил студент.

— Ну да. На карту наклеивается атлас. Трением о сукно ворс пригибается в одну сторону, на нем рисуется валет. Затем, когда краска высохла, ворс переворачивают в другую сторону и рисуют даму. Если ваша дама бита, вам нужно только провести картой по столу.

— Да, я об этом слышал, — сказал студент. — Один лишний шанс. Но ведь зато и дурацкая игра — штосс.

— Согласен, она вышла из моды. Но это было время великолепного расцвета искусства. Сколько мы употребили остроумия, находчивости... Полубояринов подстригал себе кожу на концах пальцев; у него осязание было тоньше, чем у слепого. Он узнавал карту одним прикосновением. А крапленые колоды? Ведь это делалось целыми годами.

Студент зевнул.

— Примитивная игра.

— Да, да. Поэтому-то я вас и спрашиваю. В чем ваш секрет? Должен я вам сказать, что я бывал в больших выигрышах. В продолжение одного месяца я сделал в Одессе и в Петербурге более шестисот тысяч. И кроме того, выиграл четырехэтажный дом с бойкой гостиницей.

Студент подождал — не скажет ли он еще чего, и немного погодя спросил:

— Ага! Завели любовницу, лихача, мальчика в белых перчатках за столом, да?

— Да, — ответил покорно и печально Балунский.

— Ну вот, видите: я это угадал заранее. В вашем поколении действительно было что-то романтическое. Оно и понятно. Конские ярмарки, гусары, цыганки, шампанское... Били вас когда-нибудь?

— Да, после Лебядинской ярмарки я лежал в Тамбове целый месяц. Можете себе представить, даже облысел — все волосы вылезли. Этого со мной не случалось до тех пор, пока около меня был князь Кудуков. Он работал у меня из десяти процентов. Надо сказать, что более сильного физически человека я не встречал в жизни. Нас прикрывал и его титул и сила. Кроме того, он был человеком необыкновенной смелости. Он сидел, насасывался тенерифом в буфете, и когда слышал шум в игральной комнате, то приходил меня выручать. Ох, какой тарарам мы с ним закатили в Пензе. Подсвечники, зеркала, люстры...

— Он спился? — спросил вскользь студент.

— Откуда вы это знаете? — спросил с удивлением Балунский.

— Да оттуда... Поступки людей крайне однообразны. Право, иногда скучно становится жить.

После долгого молчания Балунский спросил:

— А отчего вы сами играете?

— Право, я и сам этого не знаю, — сказал с печальным вздохом студент. — Вот я дал себе честное слово не играть ровно три года. И два года я воздерживался, а сегодня меня почему-то взмыло. И, уверяю вас, — мне это противно. Деньги мне не нужны.

— Вы их сохраняете?

— Да, несколько тысяч. Раньше я думал, что сумею ими когда-нибудь воспользоваться. Но время пробежало как-то нелепо быстро. Часто я спрашиваю себя — чего мне хочется? Женщинами я пресытился. Чистая любовь, брак, семья — мне недоступны, или, вернее сказать, я в них не верю. Ем я чрезвычайно умеренно и ничего не пью. Копить на старость? Но что я буду делать в ста-

рости? У других есть утешение — религия. Я часто думаю: ну вот, пускай меня сделают сегодня королем, императором... Чего я захочу? Честное слово — не знаю. Мне нечего даже желать.

Монотонно журчала вода, рассекаемая пароходом. Светло, печально и однообразно лила свой свет луна на белые стенки парохода, на реку, на дальние берега. Пароход проходил узким, мелким местом... «Шесть... ше-е-сть с половиной!.. Под таба-а-к!» — кричал на носу водолив.

— Но как вы играете? — спросил робко Балунский.

— Да никак, — ответил лениво студент. — Я играю не на картах, а на человеческой глупости. Я вовсе не шулер. Я никогда ни накалываю, ни отмечаю колоду. Я только знакомлюсь с рубашкой и потому играю всегда вторым сортом. Ведь все равно после двух-трех сдач я буду знать каждую карту, потому что зрительная память у меня феноменальна. Но я не хочу понапрасну тратить энергию мозга. Я твердо убежден, что если человек захочет быть одураченным, то несомненно он и будет одурачен. И я знал заранее судьбу сегодняшней игры.

— Каким образом?

— Просто. Например: земский начальник тщеславный и глупый дурак, простите за плеоназм. Жена делает с ним все, что хочет. А она женщина страстная, нетерпеливая и, кажется, истеричная. Мне нужно было обоих их втравить в игру. Он делал глупости, а она назло вдвое. Таким манером они пропустили тот момент, когда им шло натуральное счастье. Они им не воспользовались. Они стали отыгрываться тогда, когда счастье повернулось к ним спиной. Но за десять минут до этого они могли бы меня оставить без штанов.

— Неужели это возможно рассчитать? — спросил тихо Балунский.

— Конечно. Теперь другой случай. Это полковник. У этого человека широкое, неистощимое счастье, которого он сам не подозревает. И это потому, что он широкий, небрежный, великодушный человек. Ей-богу, мне было немножко неловко его потрошить. Но уже нельзя

было остановиться. Дело в том, что меня раздражали эти три жидочка.

— Не вытерпел — зажглося ретивое? — спросил стихом из Лермонтова старый шулер.

Студент заскрипел зубами, и лицо его оживилось немного.

— Совершенно верно, — сказал он презрительно. — Именно не вытерпел. Судите сами: они сели на пароход, чтобы стричь баранов, но у них нет ни смелости, ни знания, ни хладнокровия. Когда он мне передавал колоду, я сейчас же заметил, что у него руки холодные и трясутся. «Эге, голубчик, у тебя сердце прыгает!» Игра-то их была для меня совершенно ясна. Партнер слева, тот, у которого бородавочка на щеке заросла волосами, делал готовую накладку. Это было ясно, как апельсин. Нужно было их рассадить, и поэтому-то, — тут студент заговорил скороговоркой, — я и прибегнул, cher maître[1], к вашему просвещенному содействию. И я должен сказать, что вы вполне корректно выполнили мою мысль. Позвольте вам вручить вашу долю.

— О, зачем так много?

— Пустяки. Вы мне окажете еще одну услугу.

— Слушаю.

— Вы твердо помните лицо земской начальницы?

— Да.

— Так вы пойдете к ней и скажете: деньги ваши были выиграны совершенно случайно. Вы даже можете ей сказать, что я шулер. Да, но, понимаете, в этаком возвышенном байроновском духе. Она клюнет. Деньги она получит в Саратове, в Московской гостинице, сегодня в шесть часов вечера, от студента Држевецкого. Номер первый.

— Это, стало быть, сводничество? — спросил Балунский.

— Зачем такие кислые слова? Не проще ли: услуга за услугу.

Балунский встал, потоптался на месте, снял шляпу. Наконец сказал неуверенно:

---

[1] Дорогой учитель (*франц.*).

— Это я сделаю. Это, положим, пустяки. Но, может быть, я вам понадоблюсь, как машинист?

— Нет, — ответил студент. — Это старая манера действовать скопом. Я один.

— Один? Всегда один?

— Конечно. Кому я могу довериться? — возразил студент со спокойной горечью. — Если я уверен, положим, в вашей товарищеской честности, понимаете, в каторжной честности, — то я не уверен в крепости ваших нервов. Другой и смел, и некорыстолюбив, и верный друг, но... до первой шелковой юбки, которая сделает его свиньей, собакой и предателем! А шантажи? Вымогательства? Клянченье на старость? На инвалидность?.. Эх!..

— Я вам удивляюсь, — сказал Балунский тихо. — Вы — новое поколение. У вас нет ни робости, ни жалости, ни фантазии... Какое-то презрение ко всему. Неужели в этом только и заключается ваш секрет?

— В этом. Но также и в большом напряжении воли. Вы мне можете верить или не верить, — это мне все равно, — но я сегодня раз десять заставлял усилием воли, чтобы полковник ставил маленькие куши, когда ему следовало ставить большие. Мне это не легко... У меня сейчас чудовищно болит голова. И потом... Потом я не знаю, не могу себе представить, что это значит быть прибитым или раскиснуть от замешательства. Органически я лишен стыда и страха, а это вовсе не так весело, как кажется с первого взгляда. Я, правда, ношу с собой постоянно револьвер, но зато уж поверьте, что в критическую минуту я о нем не забуду. Однако... — студент деланно зевнул и протянул Балунскому руку усталым движением, — однако до свидания, генерал. Вижу, у вас глаза смыкаются...

— Всего лучшего, — сказал почтительно старый шулер, склоняя свою седую голову.

Балунский ушел спать. Студент, сгорбившись, долго глядел усталыми, печальными глазами на волны, игравшие, как рыбья чешуя. Среди ночи вышла на палубу Кострецова. Но он даже не обернулся в ее сторону.

СВАДЬБА

I

Вапнярский пехотный армейский полк расквартирован в жалком уездном юго-западном городишке и по окрестным деревням, но один из его четырех батальонов поочередно отправляется с начала осени за шестьдесят верст в отдел, в пограничное еврейское местечко, которого не найти на географической карте, и стоит там всю зиму и весну, вплоть до лагерного времени. Командиры рот ежегодно сменяются вместе со сменой батальонов, но младшие офицеры остаются почти одни и те же. Строгий полковник ссылает туда все, что в полку поплоше: игроков, скандалистов, пьющих, слабых строевиков, замухрышек, лентяев, тех, что вовсе не умеют танцевать, и просто офицеров, отличающихся непредставительной наружностью, «наводящей уныние на фронт», — благо высшее начальство никогда не заглядывает в отдел. Командует же ссыльными батальонами из зимы в зиму уже много лет подряд старый, запойный, бестолковый, болтливый, но добродушный подполковник Окиш.

Рождественские каникулы. После долгих метелей установилась прекрасная погода. На улицах пропасть молодого, свежего, вкусно пахнущего снега, едва взрытого полозьями. Солнечные дни ослепительно ярки и веселы. По ночам сияет полная луна, делая снег розо-

вато-голубым. К полночи слегка морозит, и тогда из края на край местечка слышно, как звонко скрипят шаги ночного сторожа.

Занятий в ротах нет вот уже третий день. Большинство офицеров отпросилось в штаб полка, другие уехали тайком. Там теперь веселье: в офицерском собрании бал и любительский спектакль — ставят «Лес» и «Не спросясь броду, не суйся в воду», — маскарад в гражданском клубе; приехала драматическая труппа, которая ставит вперемежку мелодрамы, малорусские комедии с гопаком, колбасой, горилкой и плясками, а также и легкую оперетку; у семейных офицеров устраиваются поочередно «балки» с катаньем на извозчиках, с винтом и ужином. Из всего четвертого батальона остались только три офицера: командир шестнадцатой роты капитан Бутвилович, болезненный поручик Штейн и подпрапорщик Слезкин.

Вечер. Темно. Подпрапорщик сидит на кровати, положив ногу на ногу и сгорбившись. В руках у него гитара, в углу открытого толстого рта висит потухшая и прилипшая к губе папироска. Тоскливая тьма ползет в комнату, но Слезкину лень крикнуть вестового, чтобы тот пришел и зажег лампу. За окном на дворе смутно торчат какие-то черные, отягощенные снегом прутья, и сквозь них слабо рисуются далекие крыши, нахлобучившиеся, точно белые толстые шапки, над низенькими синими домишками, а еще дальше, за железнодорожным мостом, густо алеет между белым снегом и темным небом тоненькая полоска зари.

Праздники выбили подпрапорщика из привычной наладившейся колеи и отуманили его мозг своей светлой, тихой, задумчивой грустью. Утром он спал до одиннадцати часов, спал насильно, спал в счет будущих и прошедших буден, спал до тех пор, пока у него не распухла голова, не осип голос, а веки сделались красными и тяжелыми. Ему даже казалось, что он видел в первый раз в своей жизни какой-то сон, но припомнить его не смог, как ни старался.

После чая он надел праздничные сапоги французского лака и бесцельно гулял по городу, заложивши руки в карманы. Зашел для чего-то в отворенный ко-

стел и посидел немного на скамейке. Там было пусто, просторно, холодно и гулко. Орган протяжно повторял одни и те же три густые ноты, точно он все собирался и никак не мог окончить финал мелодии. Пять-шесть стариков и десяток старух, все похожие на нищих, уткнувшись в молитвенники, тянули в унисон дребезжащими голосами какой-то бесконечно длинный хорал. «Панна Мария, панна Мария, кру-у-ле-е-ва», — расслышал подпрапорщик слова и про себя внутренно усмехнулся с пренебрежением. Слова чужого языка всегда казались ему такими нелепыми и смешными, точно их произносят так себе, нарочно, для баловства, вроде того, как семилетние дети иногда ломают язык, выдумывая диковинные созвучия: «каляля-маляля-паляля». И обстановка чужого храма — кисейные занавески на открытом алтаре, дубовая резная кафедра, скамейки, орган, раскрашенные статуи, бритый ксендз, звонки, исповедальня — все это не возбуждало в нем никакого уважения, и он чувствовал себя так, как будто бы зашел в никому не принадлежащий, большой и холодный каменный сарай. «Молятся, а сидят! — подумал он презрительно. — Сволочь!»

Он презирал все, что не входило в обиход его узкой жизни или чего он не понимал. Он презирал науку, литературу, все искусства и культуру, презирал столичную жизнь, а еще больше заграницу, хотя не имел о них никакого представления, презирал бесповоротно всех штатских, презирал прапорщиков запаса с высшим образованием, гвардию и генеральный штаб, чужие религии и народности, хорошее воспитание и даже простую опрятность, глубоко презирал трезвость, вежливость и целомудренность. Он был из семинаристов, но семинарии не окончил, и так как ему не удалось занять псаломщичьей вакансии в большом городе, то он и поступил вольноопределяющимся в полк и, с трудом окончив юнкерское училище, сделался подпрапорщиком. Теперь ему было двадцать шесть лет. Он был высокого роста, лыс, голубоглаз, прыщав и носил длинные светлые прямые усы.

Из костела он зашел к поручику Штейну, поиграл с ним в шашки и выпил водки. У Штейна все лицо было

изуродовано давнишней запущенной болезнью. Старые зажившие язвы белели лоснящимися рубцеватыми пятнами, на новых были приклеены черные кружочки из ртутного пластыря; никого из молодых офицеров не удивляло и не коробило, когда Штейн вслух называл эти украшения мифологическими прозвищами: поцелуй Венеры, удар шпоры Марса, туфелька Дианы и т. д. Прежде, только что выйдя из военного училища, он был очень красив — милой белокурой, розовой, стройной красотой холеного мальчика из хорошего дома. Но и теперь он продолжал считать себя красавцем: длительное, ежедневное разрушение лица было ему так же незаметно, как влюбленным супругам — новые черты постепенной старости друг в друге.

Штейн, поминутно подходя к зеркалу, оправлял заклейки на лице и ожесточенно бранил командира полка, который на днях посоветовал ему или лечиться серьезно, или уходить из полка. Штейн находил это подлостью и несправедливостью со стороны полковника. Весь полк болен этой же самой болезнью. Разве Штейн виноват в том, что она бросилась ему именно в лицо, а не в ноги или не на мозг, как другим? Это свинство! В третичном периоде болезнь вовсе не заразительна — это всякий дурак знает. А службу он несет не хуже любого в полку.

Он долго, все повторяя, говорил об этом. Потом стал жаловаться Слезкин на свою участь: на нищенское подпрапорщичье содержание, на то, что его привлекают к суду за разбитие барабанной перепонки у рядового Греченки, на то, что его вот уже четвертый год маринуют в звании подпрапорщика, и на то, что к нему придирается ротный командир, капитан Бутвилович. При том оба пили водку и закусывали поджаренным, прозрачным свиным салом.

II

К двум часам подпрапорщик вернулся домой. Вестовой принес ему обед из ротного котла: горшок жирных щей, крепко заправленных лавровым листом и красным перцем, и пшенной каши в деревянной миске. Подавая

на стол, вестовой уронил хлеб, и Слезкин дважды ударил его по лицу. Денщик же таращил на него большие бесцветные глаза и старался не моргать и не мотать головой при ударах.

Из носа у него потекла кровь.

— Поди умойся, болван! — сердито крикнул на него подпрапорщик.

За обедом Слезкин выпил в одиночку очень много водки и потом, уже совершенно насытившись, все еще продолжал через силу медленно и упорно есть, чтобы хоть этим убить время. После обеда он лег спать с таким ощущением, как будто бы его живот был туго, по самое горло, набит крупным, тяжелым мокрым песком.

Спал он до сумерек. Он и теперь еще чувствует от сна легкий озноб, вместе с тупой, мутной тяжестью во всем теле, и каждую минуту зевает судорожно, с дрожью.

Аристотель, о, о, о, о-ный,
Мудрый философ,
Мудрый философ,
Продал пантало, о, о, о-ны —

поет подпрапорщик старинную семинарскую песню и лениво, двумя аккордами вторит себе на гитаре, которую он выпросил на время праздников у батальонного адъютанта, уехавшего в город. Равнодушная, терпеливая скука окутала его душу. Ни одна мысль не проносится в его голове, и нечем занять ему пустого времени, и некуда идти, и жаль бестолково уходящих праздников, за которыми опять потянется опротивевшая служба, и хочется, чтобы уж поскорее прошло это длительное праздничное томление.

Читать Слезкин не любит. Все, что пишут в книгах, — неправда, и никогда ничего подобного не бывает в жизни. Особенно то, что пишут о любви, кажется ему наивной и слащавой ложью, достойной всякого, самого срамного издевательства. Да он и не помнит ровно ничего из того, что он пробовал читать, не помнит ни заглавия, ни сути, разве только смутно вспоминает иногда военные рассказы Лавра Короленки да кое-что из сборника армянских и еврейских анекдотов. В свободное

время он охотней перечитывает Строевой устав и Наставление к обучению стрельбе.

Прродал пантало, о, о, оны
За сивухи штоф,
За сивухи што-о-оф.

«Напрасно я завалился после обеда, — думает подпрапорщик и зевает. — Лучше бы мне было пройтись по воздуху, а сейчас бы лечь — вот время бы и прошло незаметно. Господи, ночи какие длинные! Хорошо теперь в городе, в собрании. Бильярд... Карты... Светло... Пиво пьют, всегда уж кто-нибудь угостит... Арчаковский анекдоты рассказывает и представляет жидов... Эх!.. Пойти бы к кому-нибудь? Нанести визит?» — соображает подпрапорщик и опять, глядя в снежное окно, зевает, дрожа головой и плечами. Но пойти не к кому, и он сам это хорошо знает. Во всем местечке только и общества, кроме офицеров, что ксендз, два священника местной церкви, становой пристав и несколько почтовых чиновников. Но ни у кого из них Слезкин не бывает: чиновников он считает гораздо ниже себя, а у пристава он в прошлом году на пасхе сделал скандал. Правда, в третьем году подпрапорщик Ухов уговорил его сделать визиты окрестным попам и помещикам, но сразу же вышло нехорошо. Приехали они в незнакомый польский дом, засыпанный снегом, и прямо ввалились в гостиную, и тут же стали раскутывать башлыки, натаяв вокруг себя лужи. Потом пошли ко всем по очереди представляться, суя лопаточкой мокрые, синие, холодные руки. Потом сели и долго молчали, а хозяева и другие гости, также молча, разглядывали их с изумлением. Ухов, наконец, крякнул, покосился на пианино и сказал:

— А мы больше туда, где, знаете, фортепиано...

Опять все замолчали и молчали чрезвычайно долго. Вдруг Слезкин, сам не зная зачем, выпалил:

— А я психопат! — И умолк.

Тогда хозяин дома, породистый поляк высокого роста, с орлиным носом и пушистыми седыми усами, подошел к ним и преувеличенно-любезно спросил:

— Може, панове хотят закусить с дороги?

И он проводил их во флигель к своему управляющему, а тот — крепкий, как бык, узколобый, коренастый мужчина — в полчаса напоил подпрапорщиков до потери сознания и бережно доставил на помещичьих лошадях в местечко.

Да и непереносно тягостно для Слезкина сидеть в многолюдном обществе и молчать в ожидании, пока позовут к закуске. Ему совершенно непостижимо, как это люди целый час говорят, говорят, — и все про разное, и так легко перебегают с мысли на мысль. Слезкин если и говорит когда, то только о себе: о том, как заколодило ему с производством, о том, что он сшил себе новый мундир, о подлом отношении к нему ротного командира, да и этот разговор он ведет только за водкой. Чужой смех ему не смешон, а досаден, и всегда он подозревает, что смеются над ним. Он и сам понимает, что его унылое и презрительное молчание в обществе тяготит и раздражает всех присутствующих, и потому, как дико-застенчивый, самолюбивый и, несмотря на внешнюю грубость, внутренне трусливый человек, он не ходит в гости, не делает визитов и знается только с двумя-тремя холостыми, пьющим офицерами:

Цезарь, сын отва, а, а, аги,
И Помпей герой,
И Помпей герой,
Прродавали шпаа, а, аги
Тою же ценой,
Тою же цено-о-ой.

В сенях хлопает дверь и что-то грохочет, падая. Входит денщик с лампой. Он воротит голову от света и жмурится.

— Это ты там что уронил? — сердито спрашивает Слезкин.

Денщик испуганно вытягивается.

— Так что тибаретка упала.

— А что еще надо прибавить? — грозно напоминает подпрапорщик.

— Виноват, ваше благородие... Тибаретка упала, ваше благородие.

Лицо денщика выражает животный страх и напряженную готовность к побоям. От удара за обедом и кро-

вотечения нос у него посинел и распух. Слезкин смотрит на денщика с холодной ненавистью.

— Тибаретка! — хрипло передразнивает он его. — Ссволлочь! Неси самовар, протоплазма.

От тоски ему хочется ударить денщика сзади, по затылку, но лень вставать. И он без всякого удовольствия тянет все тот же, давно надоевший мотив:

Папа Пий девя, я, ятый
И десятый Лев,
И десятый Лев...

Денщик приносит самовар. Подпрапорщик пьет чай вприкуску до тех пор, пока в чайнике не остается лишь светлая теплая водица. Тогда он запирает сахар и осьмушку чая в шкатулку на ключ и говорит денщику:

— Тут еще осталось. Можешь допить.

Денщик молчит.

— Ты! Хам! — рявкает на него Слезкин. — Что надо сказать?

— Покорно благодарю, ваше благородие! — торопливо лепечет солдат, помогая подпрапорщику надеть шинель.

— Забыл? Ссвинния! Я т-тебя выучу. Подыми перчатку, холуй!

По его званию, его надо бы величать всего только «господин подпрапорщик», но он раз навсегда приказал вестовому называть себя «ваше благородие». В этом самовозвеличении есть для Слезкина какая-то тайная прелесть.

III

Он выходит на улицу. Круглая зеркальная луна стоит над местечком. Из-за темных плетней лают собаки. Где-то далеко на дороге звенят бубенчики. Видно, как на железнодорожном мосту ходит часовой.

«Что бы такое сделать?» — думает Слезкин. Ему вспоминается, как три года тому назад пьяный поручик Тиктин добрался вброд до полосатого пограничного столба, на котором с одной стороны написано «Россия»,

а на другой «Oesterreich» [1], зачеркнул мелом, несмотря на протесты часового, немецкую надпись и надписал сверху: «Россия». «Да, вот это было, что называется, здорово пущена пуля! — улыбается с удовольствием Слезкин. — Взял и одним почерком пера завоевал целое государство. Двадцать суток за это просидел на гауптвахте в Киеве. Молодчага. Сам начальник дивизии хохотал. А то бы еще хорошо взять прийти в роту и скомандовать: «В ружье! Братцы, вашего подпрапорщика обидели жиды. Те жиды, которые распяли Христа и причащаются на пасху кровью христианских мальчиков. Неужели вы, русские солдаты, потерпите подобное надругательство над честью офицерского мундира? За мной! Не оставим камня на камне от проклятого жидовского кагала!»

— Эх! — глубоко и жалостно вздыхает Слезкин. — Или вот, если бы бунт какой-нибудь случился... усмирение...

Он поворачивает на главную улицу. Густая черная толпа с веселыми криками и смехом валит ему навстречу. «Ишь чертова жидова!» — думает с ненавистью подпрапорщик. Слышатся звуки нестройной музыки и глухие удары бубна. Что-то вроде балдахина на четырех палках колышется над толпой, постепенно приближаясь. Впереди, стесненные людьми, идут музыканты. Кларнетист так смешно засунул себе в рот пищик, точно он его насасывает, щеки его толстого лица надуваются и опадают, голова неподвижна, но глаза с достоинством вращаются налево и направо. Долговязый скрипач, изогнув набок свою худую, обмотанную шарфом шею, прижался подбородком к скрипке и на ходу широко взмахивает смычком. Тот же, который играет на бубне, высоко поднял кверху свой инструмент и приплясывает, и вертится, и делает смеющимся зрителям забавные гримасы.

Подпрапорщик останавливается. Мимо него быстро пробегают, освещаемые на секунду светом фонаря, женщины, мужчины, дети, старики и старухи. Молодые женщины все до одной красивые и все смеются, и часто,

---

[1] «Австрия» *(нем.)*.

проносясь мгновенно мимо Слезкина, прекрасное лицо, с блестящими белыми зубами и радостно сияющими глазами, поворачивается к нему ласково и весело, точно эта милая женская улыбка предназначается именно ему, Слезкину.

— А-а! И вы, пане, пришли посмотреть на свадьбу? — слышит подпрапорщик знакомый голос.

Это Дризнер, подрядчик, поставляющий для батальона мясо и дрова, маленький, толстенький, подслеповатый, но очень зоркий и живой старикашка. Он выбирается из толпы, подходит к Слезкину и здоровается с ним. Но подпрапорщик делает вид, что не замечает протянутой руки Дризнера. Для человека, который не сегодня-завтра может стать обер-офицером, унизительно подавать руку еврею.

— Ну, не правда ли, какой веселый шлюб? — говорит несколько смущенно, но все-таки восторженно подрядчик. — Шлюб, это по-нашему называется свадьба. Молодой Фридман — знаете галантерейный и посудный магазин? — так он берет за себя вторую дочку Эпштейна. Шестьсот рублей приданого! Накажи меня бог, шестьсот рублей наличными!

Подпрапорщик презрительно кривит губы. Шестьсот рублей! В полку офицеру нельзя до двадцати восьми лет жениться иначе, как внеся реверс в пять тысяч. А если он, Слезкин, захочет, он и все десять тысяч возьмет, когда будет подпоручиком. Офицеру всякая на шею бросится.

Свадебное шествие переходит через площадь и суживается кольцом около какого-то дома, ярко и подвижно чернея на голубом снеге. Слезкин с подрядчиком машинально идут туда же, пропустив далеко вперед всех провожатых.

— А может, пану любопытно поглядеть на самый шлюб? — заискивающе спрашивает Дризнер, заглядывая сбоку и снизу в лицо подпрапорщика.

Гордость борется в душе Слезкина со скукой. И он спрашивает неуверенно:

— А это... можно?

— Ох, да сколько заугодно. Вы прямо доставите им удовольствие. Пойдемте, я вас проведу.

— Неловко... незнаком... — мямлит Слезкин.

— Пожалуйста, пожалуйста. Без всяких церемониев. Эпштейн — так он даже швагер[1] моему брату. Прошу вас, идите только за мной. Постойте трошки вот тутечки. Я тольки пройду на минуточку в дом и зараз вернусь.

Через небольшое время он выбирается из толпы в сопровождении отца невесты — полного, румяного, седобородого старика, который приветливо кланяется и дружески улыбается Слезкину.

— Пожалуйста, господин офицер. Очень, очень приятно. Вы не поверите, какая это для нас честь. Когда у нас такое событие, мы рады всякому порядочному гостю. Позвольте, я пройду вперед.

Он боком буравит толпу, крича что-то по-еврейски на публику и не переставая время от времени издали улыбаться и делать пригласительные жесты Слезкину.

Дризнер, очень довольный тем, что он входит на свадьбу с такой видной особой, как подпрапорщик, почти офицер, тянет Слезкина за рукав и шепчет ему на ухо:

— А у пана есть деньги?

Слезкин морщится.

— Разве тут надо платить за вход?

— Ой, пане, — какое же за вход! Но вы знаете... Там вам вина поднесут на подносе... потом музыкантам... и там еще что... Позвольте вам предложить три рубля? Мы потом рассчитаемся. Я нарочно даю вам мелкими. Ну, что поделаешь, если уж такой у нас глупый обычай... Проходите вперед, пане.

IV

Свадебный бал происходил в большом пустом сарае, разделенном перегородкой на две половины. Раньше здесь помещался склад яиц, отправляемых за границу.

Вдоль стен, вымазанных синей известкой, стояли скамейки, в передней комнате несколько стульев и стол для музыкантов, в задней десяток столов, составленных

[1] Шурин (от *нем.* Schwager).

в длинный ряд для ужина,— вот и вся обстановка. Земляной пол был плотно утрамбован. По стенам горели лампы. Было очень светло и тепло, и черные стекла окон покрылись испариной.

Дризнер подбежал к музыкантам и что-то шепнул им. Дирижер с флейтой в руках встал, шлепнул ладонью по столу и крикнул: «Ша!» Музыканты изготовились, кося на него глазами. «Ейн, цвей, дрей!» — скомандовал дирижер. И вот, приложив флейту ко рту, он одновременно взмахнул и головой и флейтой. Музыка грянула какую-то первобытную польку.

Но, проиграв восемь тактов, музыканты вдруг опустили свои инструменты, и все хором запели тот же мотив в унисон, козлиными фальшивыми голосами, как умеют петь одни только музыканты:

Па-н Слезкин, добрый пан,
Добрый пан, добрый пан,
Музыкантам гроши дал,
Гроши дал, гроши дал...

— Ну, вы им дайте что-нибудь, пане,— шепнул Дризнер, хитро и просительно прищуривая глаз.

— Сколько же? — спросил угрюмо Слезкин.

— Пятьдесят... ну, тридцать копеек... Сколько уж сами захочете.

Подпрапорщик великодушно швырнул на стол три серебряные монеты по гривеннику.

Уже много было народу в обеих комнатах, но все прибывали новые гости. Почетных и богатых людей встречали тем же тушем, что и Слезкина. Между прочим, пришел шапочно знакомый Слезкину почтовый чиновник Миткевич, постоянный посетитель всех свадеб, «балков» и «складковых» вечеринок в окрестностях, отчаянный танцор и ухаживатель, светский молодой человек. Он был в рыжей барашковой папахе набекрень, в николаевской шинели с капюшоном и с собачьим воротником, с дымчатым пенсне на носу. Выслушав хвалебный туш, он вручил дирижеру рубль и тотчас же подошел к подпрапорщику.

— Как единственно здесь с вами интеллигентные люди, позвольте представиться: местный почтово-телеграфный чиновник Иван Максимович Миткевич.

Слезкин великодушно подал ему руку.

— Мы уж вместе и сядем за ужином, — продолжал Миткевич.

— А-а! А разве будет и ужин?..

— Ох, и что вы говорите? — запаясничал чиновник. — И еще какой ужин. Фаршированная рыба, фиш по-жидовски, жареный гусь и со смальцем. О-ох, это что-нибудь ошобенного!..

Музыка начала играть танцы. В распределении их не было никакого порядка. Каждый, по желанию, подходил к музыкантам и заказывал что-нибудь, причем за легкий танец платил двадцать копеек, а за кадриль тридцать, и любезно приглашал танцевать своих приятелей. Иногда же несколько человек заказывали танец в складчину.

— Посмотрите, пане, — сказал Дризнер, — вот там в углу сидит невеста. Подойдите и скажите ей: «Мазельтоф».

— Как?

— Ма-зель-тоф. Вы только подите и скажите.

— Это зачем же?

— Да уж вы поверьте мне. Это самое приятное поздравление у нас, у евреев. Скажите только — мазельтоф. Увидите, как ей будет приятно.

Придерживая левой рукой шашку, подпрапорщик пробрался между танцующих к невесте. Она была очень мила в своем белом платье, розовая блондинка с золотистыми рыжеватыми волосами, со светлым пушком около ушей и на щеках, с тонкой краснинкой вдоль темных бровей.

— Мазельтоф, — басом сказал подпрапорщик, шаркая ногой.

— Мазельтоф, мазельтоф, — одобрительно, с улыбками и с дружелюбным изумлением зашептали вокруг.

Она встала, вся покраснела, расцвела улыбкой и, потупив счастливые глаза, ответила:

— Мазельтоф.

Через несколько минут она разыскала подпрапорщика в толпе и подошла к нему с подносом, на котором стояла серебряная чарка с виноградной водкой и блюдечко со сладкими печеньями.

— Прошу вас, — сказала она ласково.

Слезкин выпил и крякнул. Водка была необыкновенно крепка и ароматична.

— Положите что-нибудь на поднос, — шептал сзади Дризнер. — Это уж такой обычай.

Подпрапорщик положил двугривенный.

— Благодарю вас, — сказала тихо невеста и взглянула на него сияющими глазами.

«Черт знает, какое свинство, — думал подпрапорщик презрительно. — Сами приглашают и сами заставляют платить». Он заранее знал, что не отдаст Дризнеру его трех рублей, но ему все-таки было жалко денег.

Было уже около одиннадцати часов вечера. В другой комнате, предназначенной для ужина, тоже начали танцевать, но исключительно старики и старухи. Те трое музыкантов, что шли впереди свадебной процессии, кларнет, скрипка и бубен, играли маюфес — старинный свадебный еврейский танец. Почтенные толстые хозяйки в белых и желтых шелковых платках, гладко повязанных на голове, но оставляющих открытыми оттопыренные уши, и седобородые солидные коммерсанты образовали кружок и подпевали задорному, лукавому мотиву, хлопая в такт в ладоши. Двое пожилых мужчин танцевали в середине круга. Держа руки у подмышек с вывернутыми наружу ладонями и сложенными бубликом указательными и большими пальцами, выпятив вперед кругленькие животы, они осторожно, с жеманной и комической важностью ходили по кругу и наступали друг на друга и, точно в недоумении, пятились назад. Их преувеличенные ужимки и манерные ухватки напоминали отдаленно движение кошки, идущей по льду. Молодежь, столпившаяся сзади, смеялась от всей души, но без малейшей тени издевательства. «Черт знает, что за безобразие!» — подумал подпрапорщик.

В полночь накрыли на стол. Подавали, как и предсказывал Миткевич, фаршированную щуку и жареного гуся — жирного, румяного, со сладким изюмным и черносливным соусом. Подпрапорщик перед каждым куском пищи глотал без счета крепкую фруктовую водку и к концу ужина совершенно опьянел. Он бессмысленно водил мутными, мокрыми, упорно-злыми глазами и рыгал.

Какой-то худенький, седенький старичок с ласковыми темными глазами табачного цвета, любитель пофилософствовать, говорил ему, наклоняясь через стол:

— Вы же, как человек образованный, сами понимаете: бог один для всех людей. Зачем людям ссориться, если бог один? Бывают разные веры, но бог один.

— У вас бог Макарка, — сказал вдруг Слезкин с мрачною серьезностью.

Старичок захихикал угодливо и напряженно, не зная, как выйти из неловкого положения, и делая вид, что он не понял пьяных слов Слезкина.

— Хе-хе-хе... И библия у нас одинакова... Моисей, Авраам, царь Давид... Как у вас, так и у нас.

— Убирайся в... А Христа зачем вы распяли?!. — крикнул подпрапорщик, и старик умолк, испуганно моргая веками.

Слепое бешенство накипало в мозгу Слезкина. Его бессознательно раздражало это чуждое для него, дружное, согласное веселье, то почти детское веселье, которому умеют предаваться только евреи на своих праздниках... Каким-то завистливым, враждебным инстинктом он чуял вокруг себя многовековую, освященную обычаем и религией спайку, ненавистную его расхлябанной, изломанной, мелочной натуре попа-неудачника. Сердила его недоступная, непонятная ему, яркая красота еврейских женщин и независимая, на этот раз, манера мужчин держать себя — тех мужчин, которых он привык видеть на улицах, на базарах и в лавках приниженными и заискивающими. И, по мере того как он пьянел, ноздри его раздувались, стискивались крепко зубы и сжимались кулаки.

После ужина столы очистили от посуды и остатков кушанья. Какой-то человек вскочил с ногами на стол и что-то затянул нараспев по-еврейски. Когда он кончил,— седобородый, раскрасневшийся от ужина, красивый старик Эпштейн поставил на стол серебряную вазу и серебряный праздничный шандал о семи свечах. Кругом аплодировали. Глашатай опять запел что-то. На этот раз отец жениха выставил несколько серебряных предметов и положил на стол пачку кредитных билетов. И так постепенно делали все приглашенные на сва-

дьбу, начиная с самых почетных гостей и ближайших родственников. Таким образом собиралось приданое молодым, а какой-то юркий молодой юноша, сидевший у края стола, записывал дары в записную книжку.

Слезкин протиснулся вперед, тронул пишущего за плечи и хрипло спросил, указывая на стол:

— Это что еще за свинство?

Он с трудом держался на ногах, перекачиваясь с носков на каблуки, и то выпячивал живот, то вдруг резко ломался вперед всем туловищем. Веки его отяжелели и полузакрывали мутные, напряженные глаза.

Кругом замолчали на минуту, все с тревогой обернулись на Слезкина, и это неловкое молчание неожиданно взорвало его. Красный, горячий туман хлынул ему в голову и заволок все предметы перед глазами.

— Лавочку открыли? А? Жжыды! А зачем вы распяли господа Иисуса Христа? Подождите, сволочи, дайте срок, мы еще вам покажем кузькину мать. Мы вам покажем, как есть мацу с христианской кровью. Теперь уже не пух из перин, а кишки из вас выпустим. Пауки подлые! Всю кровь из России высосали. Пр-родали Россию.

— Однако вы не смейте так выражаться! — крикнул сзади чей-то неуверенный молодой голос.

— Пришли в чужой дом и безобразничаете. Хорош офицер! — поддержал другой.

— Господин Слезкин... Я вас убедительно прошу... Я вас прошу, — тянул его за рукав почтовый чиновник. — Да бросьте, плюньте, не стоит тратить здоровье.

— Пшел прочь... суслик! — заорал на него Слезкин. — Морду расшибу!

Он грозно ударил кулаком наотмашь, но Миткевич вовремя отскочил, и подпрапорщик, чуть не повалившись, сделал несколько нелепых шагов вбок.

— Разговаривать? — кричал он яростно. — Разговаривать? Христопродавцы! Сейчас вызову из казармы полуроту и всех вас вдребезги. Ррасшибу-у! — завыл он вдруг диким, рвущимся голосом и, выхватив из ножен шашку, ударил ею по столу.

Женщины завизжали и бросились в другую комнату.

Но на руке у Слезкина быстро повис, лепеча умоляющие, униженные слова, полковой подрядчик Дризнер, а сзади в это время обхватил его вокруг спины и плеч местный извозчик Иоська Шапиро, человек необычайной физической силы. Подпрапорщик барахтался в их руках, разрывая на себе мундир и рубашку. Кто-то отнял у него из рук шашку и переломил ее о колено. Другой сорвал с него погоны.

Больше он ничего не помнил: ни того, как явился на свадебный бал разбуженный кем-то капитан Бутвилович с двумя солдатами, ни того, как его перенесли домой бесчувственного, ни того, конечно, как его денщик, раздев своего подпрапорщика, с искаженным от давнишней злобы лицом, пристально глядел на Слезкина и несколько раз с наслаждением замахивался кулаком, но ударить не решался.

На другой же день, разруганный своим ротным командиром (кстати тоже испугавшимся ответственности), Слезкин бегал к Эпштейну, и к Фридману, и к Дризнеру, и к почтовому чиновнику Миткевичу, умоляя их молчать обо всем происшедшем. Ему пришлось много унижаться, пока он не получил символов чести мундира — пары погонов и сломанной шашки.

Потом целый день до ночи он не выходил из дому, боясь поглядеть даже в глаза своему денщику. А поздно ночью, подавленный вчерашним похмельем, страхом и унижением, он молился на образок Черниговской божией матери, висевший у него в изголовье кровати на розовой ленточке, крепко прижимал сложенные пальцы ко лбу, к животу и к плечам, умиленно сотрясал склоненной набок головой и плакал.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Да, господа судьи, я убил его!

Но напрасно медицинская экспертиза оставила мне лазейку, — я ею не воспользуюсь.

Я убил его в здравом уме и твердой памяти, убил сознательно, убежденно, холодно, без малейшего раскаяния, страха или колебания. Будь в вашей власти воскресить покойного — я бы снова повторил мое преступление.

Он преследовал меня всегда и повсюду. Он принимал тысячи человеческих личин и даже не брезговал — бесстыдник! — переодеваться женщиной. Он притворялся моим родственником, добрым другом, сослуживцем и хорошим знакомым. Он гримировался во все возрасты, кроме детского (это ему не удавалось и выходило только смешно). Он переполнил собою мою жизнь и отравил ее.

Всего ужаснее было то, что я заранее предвидел все его слова, жесты и поступки.

Встречаясь со мною, он всегда растопыривал руки и восклицал нараспев:

— А-а! Ко-го я вижу! Сколько ле-ет... Ну? Как здоровье?

И тотчас же отвечал сам себе, хотя я его ни о чем не спрашивал:

— Благодарю вас. Ничего себе. Понемножку. А читали в сегодняшнем номере?..

Если он при этом замечал у меня флюс или ячмень, то уж ни за что не пропустит случая заржать:

— Что это вас, батенька, так перекосило? Нехорошо-о-о!

Он наперед знал, негодяй, что мне больно вовсе не от флюса, а от того, что до него еще пятьдесят идиотов предлагали мне тот же самый бессмысленный вопрос. Он жаждал моих душевных терзаний, палач!

Он приходил ко мне именно в те часы, когда я бывал занят по горло спешной работой. Он садился и говорил:

— А-а! Я тебе, кажется, помешал?

И сидел у меня битых два часа со скучной, нудной болтовней о себе и своих детях. Он видел, как я судорожно хватаю себя за волосы и до крови кусаю губы, и наслаждался видом моих унизительных мучений.

Отравив мое рабочее настроение на целый месяц вперед, он вставал, зевая, и произносил:

— Всегда с тобой заболтаешься. А меня дела ждут.

На железной дороге он всегда заводил со мною разговор с одного и того же вопроса:

— А позвольте узнать, далеко ли изволите ехать?

И затем:

— По делам или так?

— А где изволите служить?

— Женаты?

— Законным? Или так?

О, я хорошо изучил все его повадки. Закрыв глаза, я вижу его, как живого. Вот он хлопает меня по плечу, по спине и по колену, делает широкие жесты перед самым моим носом, от чего я вздрагиваю и морщусь, держит меня за пуговицу сюртука, дышит мне в лицо, брызгается. Вот он часто дрожит ногой под столом, от чего дребезжит ламповый колпак. Вот он барабанит пальцами по спинке моего стула во время длинной паузы в разговоре и тянет значительно: «Н-да-а», и опять барабанит, и опять тянет: «Н-да-а». Вот он стучит костяшками пальцев по столу, отхаживая отыгранные пики и прикрякивая: «А это что? А это? А это?..» Вот в жарком русском споре приводит он свой излюбленный аргумент:

— Э, батенька, ерунду вы порете!

— Почему же ерунду? — спрашиваю я робко.

— Потому что чепуху!

Что я сделал дурного этому человеку, я не знаю. Но он поклялся испортить мое существование и испортил. Благодаря ему я чувствую теперь глубокое отвращение к морю, луне, воздуху, поэзии, живописи и музыке.

— Толстой? — орал он и устно, и письменно, и печатно. — Состояние перевел на жену, а сам... А с Тургеневым-то он как... Сапоги шил... Великий писатель земли русской... Урра!..

— Пушкин? О, вот кто создал язык. Помните у него: «Тиха украинская ночь, прозрачно небо»... А жена-то его, знаете, того... А в Третьем отделении, вы знаете, что с ним сделали? А помните... тсс... здесь дам нет, помните, как у него эти стишки:

Едем мы на лодочке,
Под лодочкой вода...

Достоевский?.. Читали, как он однажды пришел ночью к Тургеневу каяться... Гоголь — знаете, какая у него была болезнь?

Я иду на выставку картин и останавливаюсь перед тихим вечерним пейзажем. Но он следил, подлец, за мною по пятам. Он уже торчит сзади меня и говорит с апломбом:

— Очень мило нарисовано... даль... воздух... луна совсем как живая... Помнишь, Нина, у Типяевых приложение к «Ниве»? Есть что-то общее...

Я сижу в опере, слушаю «Кармен». Но он уже тут как тут. Он поместился сзади меня, положил ноги на нижний ободок моего кресла, подпевает очаровательному дуэту последнего действия, и я с ненавистью чувствую каждое движение его тела. И я также слышу, как в антракте он говорит умышленно громко, специально для меня:

— Удивительные пластинки у Задодадовых. Настоящий Шаляпин. Просто и не отличить.

Да! Это он, не кто, как он, изобрел шарманку, граммофон, биоскоп, фотофон, биограф, фонограф, ауксетофон, патефон, музыкальный ящик «Монопан», механиче-

ского тапера, автомобиль, бумажные воротники, олеографию и газету.

От него нет спасения! Иногда я убегал ночью на глухой морской берег, к обрыву, и ложился там в уединении. Но он, как тень, следовал за мною, подкрадывался ко мне и вдруг произносил уверенно и самодовольно:

— Какая чудная ночь, Катенька, не правда ли? А облака? Совсем как на картине. А ведь попробуй художник так нарисовать — ни за что не поверят.

Он убил лучшие минуты моей жизни — минуты любви, милые, сладкие, незабвенные ночи юности. Сколько раз, когда я брел под руку с молчаливым, прелестным, поэтичным созданием вдоль аллеи, усыпанной лунными пятнами, он, приняв неожиданно женский образ, склонял мне голову на плечо и произносил голосом театральной инженю:

— Скажите, вы любите природу? Что до меня — я безумно обожаю природу.

Или:

— Скажите, вы любите мечтать при луне?

Он был многообразен и многоличен, мой истязатель, но всегда оставался одним и тем же. Он принимал вид профессора, доктора, инженера, женщины-врача, адвоката, курсистки, писателя, жены акцизного надзирателя, помещика, чиновника, пассажира, посетителя, гостя, незнакомца, зрителя, читателя, соседа по даче. В ранней молодости я имел глупость думать, что все это были отдельные люди. Но он был один. Горький опыт открыл мне, наконец, его имя. Это — русский интеллигент.

Если он не терзал меня лично, то повсюду он оставлял свои следы, свои визитные карточки. На вершине Бештау и Машука я находил оставленные им апельсинные корки, коробки из-под сардинок и конфетные бумажки. На камнях Алупки, на верху Ивановской колокольни, на гранитах Иматры, на стенах Бахчисарая, в Лермонтовском гроте — я видел сделанные им надписи:

«Пуся и Кузики, 1903 года, 27 февраля».

«Иванов».

«А. М. Плохохвостов из Сарапула».

«Иванов».

«Печорина».

«Иванов».

«М. Д... П. А. Р... Талочка и Ахмет».

«Иванов».

«Трофим Живопудов. Город Самара».

«Иванов».

«Адель Соловейчик из Минска».

«Иванов».

«С сей возвышенности любовался морским видом С. Никодим Иванович Безупречный».

«Иванов».

Я читал его стихи и заметки во всех посетительских книгах: и в Пушкинском доме, и в Лермонтовской сакле, и в старинных монастырях. «Были здесь Чикуновы из Пензы. Пили квас и ели осетрину. Желаем того же и вам». «Посетил родное пепелище великого русского поэта, учитель чистописания Воронежской мужской гимназии Пистоль».

«Хвала тебе, Ай-Петри великан,
В одежде царственной из сосен!
Взошел сегодня на твой мощный стан
Штабс-капитан в отставке Просин».

Стоило мне только раскрыть любую русскую книгу, как я сейчас же натыкался на него. «Сию книгу читал Пафнутенко». «Автор дурак». «Господин автор не читал Карла Маркса». Или вдруг длинная и безвкусная, как мочалка, полемика карандашом на полях. И, конечно, не кто иной, как он, загибал во всех книгах углы, вырывал страницы и тушил книгой стеариновые свечки.

Господа судьи! Мне тяжело говорить дальше... Этот человек поругал, осмеял и опошлил все, что мне было дорого, нежно и трогательно. Я боролся очень долго с самим собою... Шли года. Нервы мои становились раздражительнее... Я видел, что нам обоим душно на свете. Один из нас должен был уйти.

Я давно уже предчувствовал, что какая-нибудь мелочь, пустой случай толкнет меня на преступление. Так и случилось.

Вы знаете подробности. В вагоне было так тесно, что пассажиры сидели на головах друг у друга. А он с женой, с сыном, гимназистом приготовительного класса, и с кучей вещей занял две скамейки. Он на этот раз оделся в форму министерства народного просвещения. Я подошел и спросил:

— Нет ли у вас свободного места?

Он ответил, как бульдог над костью, не глядя на меня:

— Нет. Тут еще один господин сидит. Вот его вещи. Он сейчас придет.

Поезд тронулся. Я нарочно остался стоять подле. Проехали верст десять. Господин не приходил. Я нарочно стоял, молчал и глядел на педагога. Я думал, что в нем не умерла совесть.

Напрасно. Проехали еще верст с пятнадцать. Он достал корзину с провизией и стал закусывать. Потом они пили чай. По поводу сахара произошел семейный скандал.

— Петя! Зачем ты взял потихоньку кусок сахару?

— Честное слово, ей-богу, папаша, не брал. Вот вам ей-богу.

— Не божись и не лги. Я нарочно пересчитал утром. Было восемнадцать кусков, а теперь семнадцать.

— Ей-богу!

— Не божись. Стыдно лгать. Я тебе все прощу, но лжи не прощу никогда. Лгут только трусы. Тот, кто солгал, тот может убить, и украсть, и изменить государю и отечеству...

И пошло, и пошло... Я эти речи слыхал от него самого еще в моем бедном детстве, когда он был сначала моей гувернанткой, а потом классным наставником, и позднее, когда он писал публицистику в умеренной газете.

Я вмешался:

— Вот вы браните сына за ложь, а сами в его присутствии лжете, что это место занято каким-то господином. Где этот господин? Покажите мне его.

Педагог побагровел и выкатил глаза.

— Прошу не приставать к посторонним пассажирам, когда к вам не обращаются с разговорами. Что

это за безобразие, когда каждый будет приставать? Господин кондуктор, заявляю вам. Вот они все время нахально пристают к незнакомым. Прошу принять меры. Иначе я заявлю в жандармское управление и занесу в жалобную книгу.

Кондуктор пожурил меня отечески и ушел. Но педагог долго не мог уняться...

— Раз вас не трогают, и вы не трогайте. А еще в шляпе и в воротничке, по-видимому, интеллигент... Если бы это себе позволил мужик или мастеровой... А то интеллигент!

Интел-ли-гент! Палач назвал меня палачом! Конечно... Он произнес свой приговор.

Я вынул из кармана пальто револьвер, взвел курок и, целясь педагогу в переносицу, между глаз, сказал спокойно:

— Молись.

Он, побледнев, закричал:

— Каррраул-у-ул!

Это слово было его последним словом. Я спустил курок.

Я кончил, господа судьи. Повторяю: ни раскаяния, ни жалости нет в моей душе. Но одна ужасная мысль гложет меня и будет глодать до конца моих дней — все равно, проведу я их в тюрьме или в сумасшедшем доме:

«У него остался сын! Что, если он унаследует целиком отцовскую натуру?»

БЕДНЫЙ ПРИНЦ

I

«Замечательно умно! — думает сердито девятилетний Даня Иевлев, лежа животом на шкуре белого медведя и постукивая каблуком о каблук поднятых кверху ног. — Замечательно! Только большие и могут быть такими притворщиками. Сами заперли меня в темную гостиную, а сами развлекаются тем, что увешивают елку. А от меня требуют, чтобы я делал вид, будто ни о чем не догадываюсь. Вот они какие — взрослые!»

На улице горит газовый фонарь и золотит морозные разводы на стеклах, и, скользя сквозь листья латаний и фикусов, стелет легкий золотистый узор на полу. Слабо блестит в полутьме изогнутый бок рояля.

«Да и что веселого, по правде сказать, в этой елке? — продолжает размышлять Даня. — Ну, придут знакомые мальчики и девочки и будут притворяться, в угоду большим, умными и воспитанными детьми... За каждым гувернантка или какая-нибудь старенькая тетя... Заставят говорить все время по-английски... Затеют какую-нибудь прескучную игру, в которой непременно нужно называть имена зверей, растений или городов, а взрослые будут вмешиваться и поправлять маленьких. Велят ходить цепью вокруг елки и что-нибудь петь и для чего-то хлопать в ладоши; потом все уся-

дутся под елкой, и дядя Ника прочитает вслух ненатуральным, актерским, «давлючим», как говорит Сонина няня, голосом рассказ о бедном мальчике, который замерзает на улице, глядя на роскошную елку богача. А потом подарят готовальню, глобус и детскую книжку с картинками... А коньков или лыж уж наверно не подарят... И пошлют спать.

Нет, ничего не понимают эти взрослые... Вот и папа... он самый главный человек в городе и, конечно, самый ученый... недаром его называют городской головой... Но и он мало чего понимает. Он до сих пор думает, что Даня маленький ребенок, а как бы он удивился, узнав, что Даня давным-давно уже решился стать знаменитым авиатором и открыть оба полюса. У него уже и план летающего корабля готов, нужно только достать где-нибудь гибкую стальную полосу, резиновый шнур и большой, больше дома, шелковый зонтик. Именно на таком аэроплане Даня чудесно летает по ночам во сне».

Мальчик лениво встал с медведя, подошел, волоча ноги, к окну, подышал на фантастические морозные леса из пальм, потер рукавом стекло. Он худощавый, но стройный и крепкий ребенок. На нем коричневая из рубчатого бархата курточка, такие же штанишки по колено, черные гетры и толстые штиблеты на шнурках, отложной крахмальный воротник и белый галстук. Светлые, короткие и мягкие волосы расчесаны, как у взрослого, английским прямым пробором. Но его милое лицо мучительно-бледно, и это происходит от недостатка воздуха: чуть ветер немного посильнее или мороз больше шести градусов, Даню не выпускают гулять. А если и поведут на улицу, то полчаса перед этим укутывают: гамаши, меховые ботики, теплый оренбургский платок на грудь, шапка с наушниками, башлычок, пальто на гагачьем пуху, беличьи перчатки, муфта... опротивеет и гулянье! И непременно ведет его за руку, точно маленького, длинная мисс Дженерс со своим красным висячим носом, поджатым прыщавым ртом и рыбьими глазами. А в это время летят вдоль тротуара на одном деревянном коньке веселые, краснощекие, с потными счастливыми лицами, уличные мальчишки,

или катают друг друга на салазках, или, отломив от водосточной трубы сосульку, сочно, с хрустением жуют ее. Боже мой! Хотя бы раз в жизни попробовать сосульку. Должно быть, изумительный вкус. Но разве это возможно! «Ах, простуда! Ах, дифтерит! Ах, микроб! Ах, гадость!»

«Ох, уж эти мне женщины! — вздыхает Даня, серьезно повторяя любимое отцовское восклицание. — Весь дом полон женщинами — тетя Катя, тетя Лиза, тетя Нина, мама, англичанка... женщины, ведь это те же девчонки, только старые... Ахают, суетятся, любят целоваться, всего пугаются — мышей, простуды, собак, микробов... И Даню тоже считают точно за девочку... Это его-то! Предводителя команчей, капитана пиратского судна, а теперь знаменитого авиатора и великого путешественника! Нет! Вот назло возьму, насушу сухарей, отолью в пузырек папиного вина, скоплю три рубля и убегу тайком юнгой на парусное судно. Денег легко собрать. У Дани всегда есть карманные деньги, предназначенные на дела уличной благотворительности».

Нет, нет, все это мечты, одни мечты... С большими ничего не поделаешь, а с женщинами тем более. Сейчас же схватятся и отнимут. Вот нянька говорит часто: «Ты наш прынц». И правда, Даня, когда был маленьким, думал, что он — волшебный принц, а теперь вырос и знает, что он бедный, несчастный принц, заколдованный жить в скучном и богатом царстве.

II

Окно выходит в соседний двор. Странный, необычный огонь, который колеблется в воздухе из стороны в сторону, поднимается и опускается, исчезает на секунду и опять показывается, вдруг остро привлекает внимание Дани. Продышав ртом на стекле дыру побольше, он приникает к ней глазами, закрывшись ладонью, как щитом, от света фонаря. Теперь на белом фоне свежего только что выпавшего снега он ясно различает небольшую, тесно сгрудившуюся кучку ребятишек. Над

ними на высокой палке, которой не видно в темноте, раскачивается, точно плавает в воздухе, огромная разноцветная бумажная звезда, освещенная изнутри каким-то скрытым огнем.

Даня хорошо знает, что все это — детвора из соседнего бедного и старого дома, «уличные мальчишки» и «дурные дети», как их называют взрослые: сыновья сапожников, дворников и прачек. Но Данино сердце холодеет от зависти, восторга и любопытства. От няньки он слыхал о местном древнем южном обычае: под рождество дети в складчину устраивают звезду и вертеп, ходят с ними по домам — знакомым и незнакомым, — поют колядки и рождественские кантики и получают за это в виде вознаграждения ветчину, колбасу, пироги и всякую медную монету.

Безумно-смелая мысль мелькает в голове Дани, — настолько смелая, что он на минуту даже прикусывает нижнюю губу, делает большие, испуганные глаза и съеживается. Но разве в самом деле он не авиатор и не полярный путешественник? Ведь рано или поздно придется же откровенно сказать отцу: «Ты, папа, не волнуйся, пожалуйста, а я сегодня отправляюсь на своем аэроплане чрез океан». Сравнительно с такими страшными словами, одеться потихоньку и выбежать на улицу — сущие пустяки. Лишь бы только на его счастье старый толстый швейцар не торчал в передней, а сидел бы у себя в каморке под лестницей.

Пальто и шапку он находит в передней ощупью, возясь бесшумно в темноте. Нет ни гамаш, ни перчаток, но ведь он только на одну минутку! Довольно трудно справиться с американским механизмом замка. Нога стукнулась о дверь, гул пошел по всей лестнице. Слава богу, ярко освещенная передняя пуста. Задержав дыхание, с бьющимся сердцем, Даня, как мышь, проскальзывает в тяжелые двери, едва приотворив их, и вот он на улице! Черное небо, белый, скользский, нежный, скрипящий под ногами снег, беготня света и теней под фонарем на тротуаре, вкусный запах зимнего воздуха, чувство свободы, одиночества и дикой смелости — все как сон!..

III

«Дурные дети» как раз выходили из калитки соседнего дома, когда Даня выскочил на улицу. Над мальчиками плыла звезда, вся светившаяся красными, розовыми и желтыми лучами, а самый маленький из колядников нес на руках освещенный изнутри, сделанный из картона и разноцветной папиросной бумаги домик — «вертеп господень». Этот малыш был не кто иной, как сын иевлевского кучера. Даня не знал его имени, но помнил, что этот мальчуган нередко вслед за отцом с большой серьезностью снимал шапку, когда Дане случалось проходить мимо каретного сарая или конюшни.

Звезда поравнялась с Даней. Он нерешительно посопел и сказал баском:

— Господа, примите и меня-а-а...

Дети остановились. Помолчали немного. Кто-то сказал сиплым голосом:

— А на кой ты нам ляд?!.

И тогда все заговорили разом:

— Иди, иди... Нам с тобой не велено водиться...

— И не треба...

— Тоже ловкий... мы по восьми копеек сложились...

— Хлопцы, да это же иевлевский паныч. Гаранька, это — ваш?..

— Наш!.. — с суровой стыдливостью подтвердил мальчишка кучера.

— Проваливай! — решительно сказал первый, осипший мальчик. — Нема тут тебе компании...

— Сам проваливай, — рассердился Даня, — здесь улица моя, а не ваша!

— И не твоя вовсе, а казенная.

— Нет, моя. Моя и папина.

— А вот я тебе дам по шее, — тогда узнаешь, чья улица...

— А не смеешь!.. Я папе пожалуюсь... А он тебя высечет...

— А я твоего папу ни на столечко вот не боюсь... Иди, иди, откудова пришел. У нас дело товариское. Ты небось денег на звезду не давал, а лезешь...

— Я и хотел вам денег дать... целых пятьдесят копеек, чтобы вы меня приняли... А теперь вот не дам!..

— И все ты врешь!.. Нет у тебя никаких пятьдесят копеек.

— А вот нет — есть!..

— Покажи!.. Все ты врешь...

Даня побренчал деньгами в кармане.

— Слышишь?..

Мальчики замолчали в раздумье.

Наконец сиплый высморкался двумя пальцами и сказал:

— Ну-к что ж... Давай деньги — иди в компанию. Мы думали, что ты так, на шермака хочешь!.. Петь можешь?..

— Чего?..

— А вот «Рождество твое, Христе боже наш»... колядки еще тоже...

— Могу, — сказал решительно Даня.

IV

Чудесный был этот вечер. Звезда останавливалась перед освещенными окнами, заходила во все дворы, спускалась в подвалы, лазила на чердаки. Остановившись перед дверью, предводитель труппы — тот самый рослый мальчишка, который недавно побранился с Даней, — начинал сиплым и гнусавым голосом:

Рождество твое, Христе боже наш...

И остальные десять человек подхватывали вразброд, не в тон, но с большим воодушевлением:

Воссия мирови свет разума...

Иногда дверь отворялась, и их пускали в переднюю. Тогда они начинали длинную, почти бесконечную колядку о том, как шла царевна на крутую гору, как упала с неба звезда-красна, как Христос народился, а Ирод сомутился. Им выносили отрезанное щедрой рукой кольцо колбасы, яиц, хлеба, свиного студня, кусок те-

лятины. В другие дома их не пускали, но высылали несколько медных монет. Деньги прятались предводителем в карман, а съестные припасы складывались в один общий мешок. В иных же домах на звуки пения быстро распахивались двери, выскакивала какая-нибудь рыхлая, толстая баба с веником и кричала грозно:

— Вот я вас, лайдаки, голодранцы паршивые... Гэть!.. Кышь до дому!

Один раз на них накинулся огромный городовой, закутанный в остроконечный башлык, из отверстия которого торчали белые, ледяные усы.

— Що вы тут, стрекулисты, шляетесь?.. Вот я вас в участок!.. По какому такому праву?.. А?..

И он затопал на них ногами и зарычал зверским голосом.

Как стая воробьев после выстрела, разлетелись по всей улице маленькие христославщики. Высоко прыгала в воздухе, чертя огненный след, красная звезда. Дане было жутко и весело скакать галопом от погони, слыша, как его штиблеты стучат, точно копыта дикого мустанга, по скользкому и неверному тротуару. Какой-то мальчишка, в шапке по самые уши, перегоняя, толкнул его неловко боком, и оба с разбега ухнули лицом в высокий сугроб. Снег сразу набился Дане в рот и в нос. Он был нежен и мягок, как холодный невесомый пух, и прикосновение его к пылавшим щекам было свежо, щекотно и сладостно.

Только на углу мальчики остановились. Городовой и не думал за ними гнаться.

Так они обошли весь квартал. Заходили к лавочникам, к подвальным жителям, в дворницкие. Благодаря тому, что выхоленное лицо и изящный костюм Дани обращали общее внимание, он старался держаться позади. Но пел он, кажется, усерднее всех, с разгоревшимися щеками и блестящими глазами, опьяненный воздухом, движением и необыкновенностью этого ночного бродяжничества. В эти блаженные, веселые, живые минуты он совершенно искренно забыл и о позднем времени, и о доме, и о мисс Дженерс, и обо всем на свете, кроме волшебной колядки и красной звезды. И с каким наслаждением ел он на ходу кусок толстой холодной

малороссийской колбасы с чесноком, от которой мерзли зубы. Никогда в жизни не приходилось ему есть ничего более вкусного!

И потому при выходе из булочной, где звезду угостили теплыми витушками и сладкими крендельками, он только слабо и удивленно ахнул, увидя перед собою нос к носу тетю Нину и мисс Дженерс в сопровождении лакея, швейцара, няньки и горничной.

— Слава тебе, господи, нашелся наконец!.. Боже мой, в каком виде! Без калош и без башлыка! Весь дом с ног сбился из-за тебя, противный мальчишка!

Славильщиков давно уже не было вокруг. Как недавно от городового, так и теперь они прыснули в разные стороны, едва только почуяли опасность, и вдали слышался лишь дробный звук их торопливых ног.

Тетя Нина — за одну руку, мисс Дженерс — за другую повели беглеца домой. Мама была в слезах — бог знает, какие мысли приходили ей за эти два часа, когда все домашние потеряв головы бегали по всем закоулкам дома, по соседям и по ближним улицам. Отец напрасно притворялся разгневанным и суровым и совсем неудачно скрывал свою радость, увидев сына живым и невредимым. Он не меньше жены был взволнован исчезновением Дани и уже успел за это время поставить на ноги всю городскую полицию.

С обычной прямотой Даня подробно рассказал свои приключения. Ему пригрозили назавтра тяжелым наказанием и послали переодеться.

Он вышел к своим маленьким гостям вымытый, свежий, в новом красивом костюме. Щеки его горели от недавнего возбуждения, и глаза весело блестели после мороза. Очень скучно было притворяться благовоспитанным мальчиком, с хорошими манерами и английским языком, но, добросовестно заглаживая свою недавнюю вину, он ловко шаркал ножкой, целовал ручку у пожилых дам и снисходительно развлекал самых маленьких малышей.

— А ведь Дане полезен воздух, — сказал отец, наблюдавший за ним издали, из кабинета. — Вы дома его слишком много держите взаперти. Посмотрите, мальчик

пробегался, и какой у него здоровый вид! Нельзя держать мальчика все время в вате.

Но дамы так дружно накинулись на него и наговорили сразу такую кучу ужасов о микробах, дифтеритах, ангинах и о дурных манерах, что отец только замахал руками и воскликнул, весь сморщившись:

— Довольно, довольно! Будет... будет... Делайте, как хотите... Ох, уж эти мне женщины!..

ПО-СЕМЕЙНОМУ

Было это... право, теперь мне кажется порой, что это было триста лет тому назад: так много событий, лиц, городов, удач, неуспехов, радостей и горя легло между нынешним и тогдашним временем. Я жил тогда в Киеве, в самом начале Подола, под Александровской горкой, в номерах «Днепровская гавань», содержимых бывшим пароходным поваром, уволенным за пьянство, и его женою Анной Петровной — сущей гиеной по коварству, жадности и злобе.

Нас, постоянных жильцов, было шестеро, все — люди одинокие. В первом номере обитал самый старинный постоялец. Когда-то он был купцом, имел ортопедический и корсетный магазин, потом втянулся в карточную игру и проиграл все свое предприятие; служил одно время приказчиком, но страсть к игре совершенно выбила его из колеи. Теперь он жил бог знает каким нелепым и кошмарным образом. Днем спал, а поздно вечером уходил в какие-то тайные игорные притончики, которых множество на берегу Днепра, около большого речного порта. Был он — как все игроки не по расчету, а по страсти — широким, вежливым и фатальным человеком.

В номере третьем жил инженер Бутковский. Если верить ему, то он окончил лесной, горный, путейский и технологический институты, не считая заграничной выс-

шей школы. И правда, в смысле всевозможных знаний он был похож на фаршированную колбасу или на чемодан, куда, собираясь в путь, напихали всякого тряпья сверх меры, придавили верхнюю крышку животом и с трудом заперли чемодан на ключ, но если откроешь, то все лезет наружу. Он свободно и даже без просьбы говорил о лоции, об авиации, ботанике, статистике, дендрологии, политике, об ископаемых бронтозаврах, астрономии, фортификации, септаккордах и доминантах, о птицеводстве, огородничестве, облесении оврагов и городской канализации. Он запивал раз в месяц на три дня, когда говорил исключительно по-французски и по-французски же писал в это время коротенькие записочки о деньгах своим бывшим коллегам-инженерам. Потом дней пять он отлеживался под синим английским клетчатым пледом и потел. Больше он ничего не делал, если не считать писем в редакцию, которые он писал всюду и по всяким поводам: по случаю осушения болот Полесья, открытия новой звезды, артезианских колодцев и т. д. Если у него бывали деньги, он их рассовывал в разные книги, стоявшие у него на этажерке, и потом находил их, как сюрпризы. И, помню, часто он говорил (он картавил):

— Дгуг мой. Возьмите, пгошу вас, с полки Элизе Геклю, том четвегтый. Там между двухсотой и тгехсотой стганицами должны быть пять гублей, котогые я вам должен.

Собою же он был совсем лыс, с белой бородой и седыми бакенбардами веером.

В восьмом номере жил я. В седьмом — студент с толстым безусым лицом, заика и паинька (теперь он *прокурор с большой известностью*). В шестом — немец Карл, шоссейный техник, жирный остзеец, трясущийся пивопийца. А пятый номер нанимала проститутка Зоя, которую хозяйка уважала больше, чем нас всех остальных, вместе взятых. Во-первых, она платила за номер дороже, чем мы, во-вторых, — платила всегда вперед, а в-третьих, — от нее не было никакого шума, так как к себе она водила — и то лишь изредка — только гостей солидных, пожилых и тихих, а больше ночевала на стороне, в чужих гостиницах.

Надо сказать, что все мы были и знакомы и как будто бы незнакомы. Одолжались друг у друга заваркой чая, иголкой, ниткой, кипятком, газетой, чернилами, конвертами и бумагой.

Всех номеров было в нашем прибежище девять. Остальные три занимались на ночь или на время случайными парочками. Мы не сердились. Мы ко всему привыкли.

Наступила быстрая южная весна. Прошел лед по Днепру: река разлилась так мощно, что до самого горизонта затопила левый, низменный черниговский берег. Стояли теплые темные ночи, и перепадали короткие, но обильные дожди. Вчера деревья едва зеленовато серели от почек, а наутро проснулся — и видишь, как они вдруг заблестели нежными, яркими первыми листиками.

Тут подошла и пасха с ее прекрасной, радостной, великой ночью. Мне некуда было пойти разговеться, и я просто в одиночестве бродил по городу, заходил в церкви, смотрел на крестные ходы, иллюминацию, слушал звон и пение, любовался милыми детскими и женскими лицами, освещенными снизу теплыми огнями свечек. Была у меня в душе какая-то упоительная грусть — сладкая, легкая и тихая, точно я жалел без боли об утраченной чистоте и ясности моего детства.

Когда я вернулся в номера, меня встретил наш курносый коридорный Васька, шустрый и лукавый мальчуган. Мы похристосовались. Улыбаясь до ушей и обнаруживая все свои зубы и десны, Васька сказал мне:

— Барышня с пятого номера велела, чтобы вы зашли до ее.

Я немного удивился. Мы с этой барышней совсем не были знакомы.

— Она и записку вам прислала, — продолжал Васька. — Вон на столе лежит.

Я взял разграфленный листок, вырванный из записной книжки, и под печатной рубрикой «Приход» прочитал следующее:

«Глубокожамый № 8.

Если вам свободно и не по Брезгуете очень прошу вас зати ко мне У номер разговеца свяченой пасхой.

Извесная вам Зоя Крамаренкова».

Я постучал к инженеру, чтобы посоветоваться с ним. Он стоял перед зеркалом и с упорством всеми десятью пальцами приводил в порядок свои жесткие, запущенные седины. На нем был лоснившийся сюртук, видавший виды, и белый галстук вокруг заношенного, порыжевшего с краю воротничка.

Оказывается, он тоже получил пригласительную записку. Мы пошли вместе.

Зоя встретила нас на пороге, извиняясь и краснея. У нее было самое заурядное, самое типичное лицо русской проститутки: мягкие, добрые, безвольные губы, нос немного картофелем и безбровые серые глаза навыкате — «лупетки». Но ее улыбка — нынешняя, домашняя, безыскусственная улыбка, такая застенчивая, тихая и женственная — вдруг на мгновение делала лицо Зои прелестным.

У нее уже сидели игрок и шоссейный Карл. Таким образом, за исключением студента, здесь собрались все постоянные обитатели номеров «Днепровская гавань».

Комната у нее была именно такая, какой я себе ее представлял. На комоде пустые бомбоньерки, налепные картинки, жирная пудра и щипцы для волос. На стенах линялые фотографии безусых и курчавых фармацевтов, гордых актеров в профиль и грозных прапорщиков с обнаженными саблями. На кровати гора подушек под тюлевой накидкой, но на столе, покрытом бумагой, вырезанной, как кружево, красовались пасхи, кулич, яйца, нога ветчины и две бутылки какого-то таинственного вина.

Мы похристосовались с ней щека об щеку, целомудренно и манерно, и сели закусывать. Надо сказать, что все мы в этот час представляли собою странное и редкое зрелище: четверо мужчин, в конец изжеванных и изглоданных неудачной жизнью, четверо старых кляч,

которым в общей сложности было во всяком случае больше двухсот лет, и пятая — наша хозяйка — уже немолодая русская проститутка, то есть самое несчастное, самое глупое и наивное, самое безвольное существо на всей нашей планете.

Но как она была неуклюже мила, как застенчиво гостеприимна, как дружески и деликатно проста!

— Получайте, — ласково говорила она, протягивая кому-нибудь из нас тарелку, — получайте и кушайте, пожалуйста. Номер шестой, вы, я знаю, больше пиво пьете. Мне Вася рассказывал. Так достаньте около вас под столом. А вам, господа, я налью вина. Это очень хорошее вино. Тенериф. У меня есть один знакомый пароходчик, так он его постоянно пьет.

Мы четверо знали все в жизни и, конечно, знали, на какие деньги был устроен весь этот пасхальный стол вместе с пивом и «тенерифом». Но это знание, однако, совсем не коробило и не угнетало нас.

Зоя рассказывала о своих ночных впечатлениях. В Братстве, где она отстояла заутреню, была страшная теснота, но Зое удалось занять хорошее место. Чудесно пел академический хор, а евангелие читали сами студенты, и читали поочередно на всех языках, какие только есть на свете: по-французски, по-немецки, по-гречески, и даже на арабском языке. А когда святили на дворе пасхи и куличи, то сделалась такая толкотня, что богомольцы перепутали свои припасы и перессорились.

Потом Зоя задумалась, развздыхалась и стала мечтательно вспоминать великую неделю у себя в деревне.

— Такие мы цветочки собирали, называются «сон», синенькие такие, они первые из земли выходят. Мы делали из них отвар и красили яйца. Чудесный выходил синий цвет.

А чтобы желтый был цвет, так мы луком яйца обертывали, шелухой, — и в кипяток. А то еще разноцветными тряпочками красили. А потом целую неделю ходили по селу и били яйцо об яйцо. Сначала носиком, потом ж..кой, кто перебьет другого, тот забирает себе. Один парнишка достал где-то в городе каменное яйцо — так он всех перекокал. Но когда дознались, в

чем дело, то у него всё яйца отняли, а самого поколотили.

И целую святую неделю у нас качели. Одни — большие посередь села: это общественные. А то еще отдельно у каждых ворот маленькие качели — дощечка и пара веревок. Так всю неделю качаются все — мальчишки и девчонки, и все поют: Христос воскресе. Хорошо у нас!

Мы слушали ее молча. Жизнь так долго и ожесточенно колотила нас по головам, что, казалось, навеки выбила из нас всякие воспоминания о детстве, о семье, о матери, о прежних пасхах.

Между тем коленкоровая занавеска на окне холодно поголубела от рассвета, потом стала темнеть и переходить в желтый тон и вдруг незаметно стала розовой от отраженного солнца.

— Вы не боитесь, господа, я открою окно? — сказала Зоя.

Она подняла занавеску и распахнула раму. Вслед за нею и мы все подошли к окну.

Было такое светлое, чистое праздничное утро, как будто кто-то за ночь взял и вымыл заботливыми руками и бережно расставил по местам и это голубое небо, и пушистые белые облака на нем, и высокие старые тополи, трепетавшие молодой, клейкой, благоухающей листвой. Днепр расстилался под нами на необозримое пространство — синий и страшный у берегов, спокойный и серебряный вдали. На всех городских колокольнях звонили.

И вдруг все мы невольно обернулись. Инженер плакал. Ухватившись руками за косяк оконной рамы и прижавшись к нему лбом, он качал головой и весь вздрагивал от рыданий. Бог весть, что делалось в его старческой, опустошенной и израненной душе неудачника. Я знал его прежнюю жизнь только слегка, по случайным намекам: тяжелая женитьба на распутной бабенке, растрата казенных денег, стрельба из револьвера в любовника жены, тоска по детям, ушедшим к матери...

Зоя жалостно ахнула, обняла инженера и положила его седую, с красной бугристой плешью голову себе на грудь и стала тихо гладить его плечи и щеки.

— Ах, миленький, ах вы, мой бедненький, — говорила она певуче. — Сама ведь я знаю, как трудно вам жить. Все вы, как песики заброшенные... старенькие... одинокие. Ну, ничего, ничего... потерпите, голубчики мои... Бог даст, все пройдет, и дела поправятся, и все пойдет по-хорошему... Ах вы, родненький мой...

С трудом инженеру удалось справиться. Веки у него набрякли, белки покраснели, а распухший нос стал почти синим.

— Чегт! Негвы пгоклятые! Чегт! — говорил он сердито, отворачиваясь к стене.

И по его голосу я слышал, что у него в горле, во рту и в носу еще стоят едкие невылившиеся слезы.

Через пять минут мы стали прощаться и все почтительно поцеловали руку у Зои. Мы с инженером вышли последними, и как раз у самых дверей Зоиного номера на нас наскочил возвращавшийся из гостей студент.

— Ага! — воскликнул он, улыбаясь и многозначительно вздернув брови. — Вы в-вон откуда? Гм... разззговелись, значит?

В тоне его голоса мы услышали определенную гнусность. Но инженер великолепно и медленно смерил его взглядом от сапог до верха фуражки и после длинной паузы сказал через плечо тоном непередаваемого презрения:

— Сссуслик!

ЛЕНОЧКА

Проездом из Петербурга в Крым полковник генерального штаба Возницын нарочно остановился на два дня в Москве, где прошли его детство и юность. Говорят, что умные животные, предчувствуя смерть, обходят все знакомые, любимые места в жилье, как бы прощаясь с ними. Близкая смерть не грозила Возницыну, — в свои сорок пять лет он был еще крепким, хорошо сохранившимся мужчиной. Но в его вкусах, чувствах и отношениях к миру совершался какой-то незаметный уклон, ведущий к старости. Сам собою сузился круг радостей и наслаждений, явились оглядка и скептическая недоверчивость во всех поступках, выветрилась бессознательная, бессловесная, звериная любовь к природе, заменившись утонченным смакованием красоты, перестала волновать тревожным и острым волнением обаятельная прелесть женщины, а главное — первый признак душевного увядания! — мысль о собственной смерти стала приходить не с той прежней беззаботной и легкой мимолетностью, с какой она приходила прежде, — точно должен был рано или поздно умереть не сам он, а кто-то другой, по фамилии Возницын, — а в тяжелой, резкой, жестокой, бесповоротной и беспощадной ясности, от которой по ночам холодели волосы на голове и пугливо падало сердце. И вот его потянуло

побывать в последний раз на прежних местах, оживить в памяти дорогие, мучительно нежные, обвеянные такой поэтической грустью воспоминания детства, растравить свою душу сладкой болью по ушедшей навеки, невозвратимой чистоте и яркости первых впечатлений жизни.

Он так и сделал. Два дня он разъезжал по Москве, посещая старые гнезда. Заехал в пансион на Гороховом поле, где когда-то с шести лет воспитывался под руководством классных дам по фребелевской системе. Там все было переделано и перестроено: отделения для мальчиков уже не существовало, но в классных комнатах у девочек по-прежнему приятно и заманчиво пахло свежим лаком ясеневых столов и скамеек и еще чудесным смешанным запахом гостинцев, особенно яблоками, которые, как и прежде, хранились в особом шкафу на ключе. Потом он завернул в кадетский корпус и в военное училище. Побывал он и в Кудрине, в одной домовой церкви, где мальчиком-кадетом он прислуживал в алтаре, подавая кадило и выходя в стихаре со свечою к евангелию за обедней, но также крал восковые огарки, допивал «теплоту» после причастников и разными гримасами заставлял прыскать смешливого дьякона, за что однажды и был торжественно изгнан из алтаря батюшкой, величественным, тучным старцем, поразительно похожим на запрестольного бога Саваофа. Проходил нарочно мимо всех домов, где когда-то он испытывал первые наивные и полудетские томления любви, заходил во дворы, поднимался по лестницам и почти ничего не узнавал — так все перестроилось и изменилось за целую четверть века. Но с удивлением и с горечью заметил Возницын, что его опустошенная жизнью очерствелая душа оставалась холодной и неподвижной и не отражала в себе прежней, знакомой печали по прошедшему, такой светлой, тихой, задумчивой и покорной печали...

«Да, да, да, это старость, — повторял он про себя и грустно кивал головою. — Старость, старость, старость... Ничего не поделаешь...»

После Москвы дела заставили его на сутки остановиться в Киеве, а в Одессу он приехал в начале страст-

ной недели. Но на море разыгрался длительный весенний шторм, и Возницын, которого укачивало при самой легкой зыби, не решился садиться на пароход. Только к утру страстной субботы установилась ровная, безветренная погода.

В шесть часов пополудни пароход «Великий князь Алексей» отошел от мола Практической гавани. Возницына никто не провожал, и он был этим очень доволен, потому что терпеть не мог этой всегда немного лицемерной и всегда тягостной комедии прощания, когда бог знает зачем стоишь целых полчаса у борта и напряженно улыбаешься людям, стоящим тоскливо внизу на пристани, выкрикиваешь изредка театральным голосом бесцельные и бессмысленные фразы, точно предназначенные для окружающей публики, шлешь воздушные поцелуи и наконец-то вздохнешь с облегчением, чувствуя, как пароход начинает грузно и медленно отваливать.

Пассажиров в этот день было очень мало, да и то преобладали третьеклассные. В первом классе, кроме Возницына, как ему об этом доложил лакей, ехали только дама с дочерью. «И прекрасно», — подумал офицер с облегчением.

Все обещало спокойное и удобное путешествие. Каюта досталась отличная — большая и светлая, с двумя диванами, стоявшими под прямым углом, и без верхних мест над ними. Море, успокоившееся за ночь после мертвой зыби, еще кипело мелкой частой рябью, но уже не качало. Однако к вечеру на палубе стало свежо.

В эту ночь Возницын спал с открытым иллюминатором, и так крепко, как он уже не спал много месяцев, если не лет. В Евпатории его разбудил грохот паровых лебедок и беготня по палубе. Он быстро умылся, заказал себе чаю и вышел наверх.

Пароход стоял на рейде в полупрозрачном молочно-розовом тумане, пронизанном золотом восходящего солнца. Вдали чуть заметно желтели плоские берега. Море тихо плескалось о борта парохода. Чудесно пахло рыбой, морскими водорослями и смолой. С большого

баркаса, приставшего вплотную к «Алексею», перегружали какие-то тюки и бочки. «Майна, вира, вира помалу, стоп!» — звонко раздавались в утреннем чистом воздухе командные слова.

Когда баркас отвалил и пароход тронулся в путь, Возницын спустился в столовую. Странное зрелище ожидало его там. Столы, расставленные вдоль стен большим покоем, были весело и пестро убраны живыми цветами и заставлены пасхальными кушаньями. Зажаренные целиком барашки и индейки поднимали высоко вверх свои безобразные голые черепа на длинных шеях, укрепленных изнутри невидимыми проволочными стержнями. Эти тонкие, загнутые в виде вопросительных знаков шеи колебались и вздрагивали от толчков идущего парохода, и казалось, что какие-то странные, невиданные допотопные животные, вроде бронтозавров или ихтиозавров, как их рисуют на картинах, лежат на больших блюдах, подогнув под себя ноги, и с суетливой и комической осторожностью оглядываются вокруг, пригибая головы книзу. А солнечные лучи круглыми яркими столбами текли из иллюминаторов, золотили местами скатерть, превращали краски пасхальных яиц в пурпур и сапфир и зажигали живыми огнями гиацинты, незабудки, фиалки, лакфиоли, тюльпаны и анютины глазки.

К чаю вышла в салон и единственная дама, ехавшая в первом классе. Возницын мимоходом быстро взглянул на нее. Она была некрасива и немолода, но с хорошо сохранившейся высокой, немного полной фигурой, просто и хорошо одетой в просторный светло-серый сак с шелковым шитьем на воротнике и рукавах. Голову ее покрывал легкий синий, почти прозрачный, газовый шарф. Она одновременно пила чай и читала книжку, вернее всего французскую, как решил Возницын, судя по компактности, небольшому размеру, формату и переплету канареечного цвета.

Что-то страшно знакомое, очень давнишнее мелькнуло Возницыну не так в ее лице, как в повороте шеи и в подъеме век, когда она обернулась на его взгляд. Но это бессознательное впечатление тотчас же рассеялось и забылось.

Скоро стало жарко, и потянуло на палубу. Пассажирка вышла наверх и уселась на скамье, с той стороны, где не было ветра. Она то читала, то, опустив книжку на колени, глядела на море, на кувыркавшихся дельфинов, на дальний красноватый, слоистый и обрывистый берег, покрытый сверху скудной зеленью.

Возницын ходил по палубе, вдоль бортов, огибая рубку первого класса. Один раз, когда он проходил мимо дамы, она опять внимательно посмотрела на него, посмотрела с каким-то вопрошающим любопытством, и опять ему показалось, что они где-то встречались. Мало-помалу это ощущение стало беспокойным и неотвязным. И главное — офицер теперь знал, что и дама испытывает то же самое, что и он. Но память не слушалась его, как он ее ни напрягал.

И вдруг, поравнявшись уже в двадцатый раз с сидевшей дамой, он внезапно, почти неожиданно для самого себя, остановился около нее, приложил пальцы по-военному к фуражке и, чуть звякнув шпорами, произнес:

— Простите мою дерзость... но мне все время не дает покоя мысль, что мы с вами знакомы или, вернее... что когда-то, очень давно, были знакомы.

Она была совсем некрасива — безбровая блондинка, почти рыжая, с сединой, заметной благодаря светлым волосам только издали, с белыми ресницами над синими глазами, с увядающей веснушчатой кожей на лице. Свеж был только ее рот, розовый и полный, очерченный прелестно изогнутыми линиями.

— И я тоже, представьте себе. Я все сижу и думаю, где мы с вами виделись, — ответила она. — Моя фамилия Львова. Это вам ничего не говорит?

— К сожалению, нет... А моя фамилия — Возницын.

Глаза дамы вдруг заискрились веселым и таким знакомым смехом, что Возницыну показалось — вот-вот он сейчас ее узнает.

— Возницын? Коля Возницын? — радостно воскликнула она, протягивая ему руку. — Неужели и теперь не узнаете? Львова — это моя фамилия по мужу... Но нет, нет, вспомните же наконец!.. Вспомните: Москва,

Поварская, Борисоглебский переулок — церковный дом... Ну? Вспомните своего товарища по корпусу... Аркашу Юрлова...

Рука Возницына, державшая руку дамы, задрожала и сжалась. Мгновенный свет воспоминания точно ослепил его.

— Господи... Неужели Леночка?.. Виноват... Елена... Елена...

— Владимировна. Забыли... А вы — Коля, тот самый Коля, неуклюжий, застенчивый и обидчивый Коля?.. Как странно! Какая странная встреча!.. Садитесь же, пожалуйста. Как я рада...

— Да, — промолвил Возницын чью-то чужую фразу, — мир в конце концов так тесен, что каждый с каждым непременно встретится. Ну, рассказывайте же, рассказывайте о себе. Что Аркаша? Что Александра Милиевна? Что Олечка?

В корпусе Возницын тесно подружился с одним из товарищей — Юрловым. Каждое воскресенье он, если только не оставался без отпуска, ходил в его семью, а на пасху и рождество, случалось, проводил там все каникулы. Перед тем как поступать в военное училище, Аркаша тяжело заболел. Юрловы должны были уехать в деревню. С той поры Возницын потерял их из виду. Много лет тому назад он от кого-то вскользь слышал, что Леночка долгое время была невестой офицера и что офицер этот со странной фамилией Жéнишек — с ударением на первом слоге — как-то нелепо и неожиданно застрелился...

— Аркаша умер у нас в деревне в девяностом году, — говорила Львова. — У него оказалась саркома головы. Мама пережила его только на год. Олечка окончила медицинские курсы и теперь земским врачом в Сердобском уезде. А раньше она была фельдшерицей у нас в Жмакине. Замуж ни за что не хотела выходить, хотя были партии, и очень приличные. Я двадцать лет замужем, — она улыбнулась грустно сжатыми губами, одним углом рта, — старуха уж... Муж — помещик, член земской управы. Звезд с неба не хватает, но честный человек, хороший семьянин, не пья-

ница, не картежник и не развратник, как все кругом... и за это слава богу...

— А помните, Елена Владимировна, как я был в вас влюблен когда-то? — вдруг перебил ее Возницын.

Она засмеялась, и лицо ее сразу точно помолодело. Возницын успел на миг заметить золотое сверкание многочисленных пломб в ее зубах.

— Какие глупости. Так... мальчишеское ухаживание. Да и неправда. Вы были влюблены вовсе не в меня, а в барышень Синельниковых, во всех четверых по очереди. Когда выходила замуж старшая, вы повергали свое сердце к ногам следующей за нею...

— Ага! Вы все-таки ревновали меня немножко? — заметил Возницын с шутливым самодовольством.

— Вот уж ничуть... Вы для меня были вроде брата Аркаши. Потом, позднее, когда нам было уж лет по семнадцати, тогда, пожалуй... мне немножко было досадно, что вы мне изменили... Вы знаете, это смешно, но у девчонок — тоже женское сердце. Мы можем совсем не любить безмолвного обожателя, но ревнуем его к другим... Впрочем, все это пустяки. Расскажите лучше, как вы поживаете и что делаете.

Он рассказал о себе, об академии, о штабной карьере, о войне, о теперешней службе. Нет, он не женился: прежде пугала бедность и ответственность перед семьей, а теперь уже поздно. Были, конечно, разные увлечения, были и серьезные романы.

Потом разговор оборвался, и они сидели молча, глядя друг на друга ласковыми, затуманенными глазами. В памяти Возницына быстро-быстро проносилось прошлое, отделенное тридцатью годами. Он познакомился с Леночкой в то время, когда им не исполнилось еще и по одиннадцати лет. Она была худой и капризной девочкой, задирой и ябедой, некрасивой со своими веснушками, длинными руками и ногами, светлыми ресницами и рыжими волосами, от которых всегда отделялись и болтались вдоль щек прямые тонкие космы. У нее по десяти раз на дню происходили с Возницыным и Аркашей ссоры и примирения. Иногда случалось и поцарапаться... Олечка держалась в стороне, она всегда

отличалась благонравием и рассудительностью. На праздниках все вместе ездили танцевать в Благородное собрание, в театры, в цирк, на катки. Вместе устраивали елки и детские спектакли, красили на пасху яйца и рядились на рождество. Часто боролись и возились, как молодые собачки.

Так прошло три года. Леночка, как и всегда, уехала на лето с семьей к себе в Жмакино, а когда вернулась осенью в Москву, то Возницын, увидев ее в первый раз, раскрыл глаза и рот от изумления. Она по-прежнему осталась некрасивой, но в ней было нечто более прекрасное, чем красота, тот розовый сияющий расцвет первоначального девичества, который, бог знает каким чудом, приходит внезапно и в какие-нибудь недели вдруг превращает вчерашнюю неуклюжую, как подрастающий дог, большерукую, большеногую девчонку в очаровательную девушку. Лицо у Леночки было еще покрыто крепким деревенским румянцем, под которым чувствовалась горячая, весело текущая кровь, плечи округлились, обрисовались бедра и точные, твердые очертания грудей, все тело стало гибким, ловким и грациозным.

И отношения как-то сразу переменились. Переменились после того, как в один из субботних вечеров, перед всенощной, Леночка и Возницын, расшалившись в полутемной комнате, схватились бороться. Окна тогда еще были открыты, из палисадника тянуло осенней ясной свежестью и тонким винным запахом опавших листьев, и медленно, удар за ударом, плыл редкий, меланхоличный звон большого колокола Борисоглебской церкви.

Они сильно обвили друг друга руками крест-накрест и, соединив их позади, за спинами, тесно прижались телами, дыша друг другу в лицо. И вдруг, покрасневши так ярко, что это было заметно даже в синих сумерках вечера, опустив глаза, Леночка зашептала отрывисто, сердито и смущенно:

— Оставьте меня... пустите... Я не хочу... — И прибавила со злым взглядом влажных, блестящих глаз: — Гадкий мальчишка.

Гадкий мальчишка стоял, опустив вниз и нелепо

растопырив дрожащие руки. Впрочем, у него и ноги дрожали, и лоб стал мокрым от внезапной испарины. Он только что ощутил под своими руками ее тонкую, послушную, женственную талию, так дивно расширяющуюся к стройным бедрам, он почувствовал на своей груди упругое и податливое прикосновение ее крепких высоких девических грудей и услышал запах ее тела — тот радостный пьяный запах распускающихся тополевых почек и молодых побегов черной смородины, которым они пахнут в ясные, но мокрые весенние вечера, после мгновенного дождя, когда небо и лужи пылают от зари и в воздухе гудят майские жуки.

Так начался для Возницына этот год любовного томления, буйных и горьких мечтаний, единиц и тайных слез. Он одичал, стал неловок и грубоват от мучительной застенчивости, ронял ежеминутно ногами стулья, зацеплял, как граблями, руками за все шаткие предметы, опрокидывал за столом стаканы с чаем и молоком. «Совсем наш Коленька охалпел», — добродушно говорила про него Александра Милиевна.

Леночка издевалась над ним. А для него не было большей муки и большего счастья, как стать тихонько за ее спиной, когда она рисовала, писала или вышивала что-нибудь, и глядеть на ее склоненную шею с чудесной белой кожей и с вьющимися легкими золотыми волосами на затылке, видеть, как коричневый гимназический корсаж на ее груди то морщится тонкими косыми складками и становится просторным, когда Леночка выдыхает воздух, то опять выполняется, становится тесным и так упруго, так полно округлым. А вид наивных запястий ее девических светлых рук и благоухание распускающегося тополя преследовали воображение мальчика в классе, в церкви и в карцере.

Все свои тетради и переплеты исчертил Возницын красиво сплетающимися инициалами Е. и Ю. и вырезывал их ножом на крышке парты посреди пронзенного и пылающего сердца. Девочка, конечно, своим женским инстинктом угадывала его безмолвное поклонение, но в ее глазах он был слишком свой, слишком ежедневный. Для него она внезапно превратилась в какое-то цветущее, ослепительное, ароматное чудо,

а Возницын остался для нее все тем же вихрястым мальчишкой, с басистым голосом, с мозолистыми и шершавыми руками, в узеньком мундирчике и широчайших брюках. Она невинно кокетничала со знакомыми гимназистами и с молодыми поповичами с церковного двора, но, как кошке, острящей свои коготки, ей доставляло иногда забаву обжечь и Возницына быстрым, горячим и лукавым взглядом. Но если, забывшись, он чересчур крепко жал ее руку, она грозилась розовым пальчиком и говорила многозначительно:

— Смотрите, Коля, я все маме расскажу.

И Возницын холодел от непритворного ужаса.

Конечно, Коля остался в этот сезон на второй год в шестом классе, и, конечно, этим же летом он успел влюбиться в старшую из сестер Синельниковых, с которыми танцевал в Богородске на дачном кругу. Но на пасху его переполненное любовью сердце узнало момент райского блаженства...

Пасхальную заутреню он отстоял с Юрловыми в Борисоглебской церкви, где у Александры Милиевны было даже свое почетное место, с особым ковриком и складным мягким стулом. Но домой они возвращались почему-то не вместе. Кажется, Александра Милиевна с Олечкой остались святить куличи и пасхи, а Леночка, Аркаша и Коля первыми пошли из церкви. Но по дороге Аркаша внезапно и, должно быть, дипломатически исчез — точно сквозь землю провалился. Подростки остались вдвоем.

Они шли под руку, быстро и ловко изворачиваясь в толпе, обгоняя прохожих, легко и в такт ступая молодыми, послушными ногами. Все опьяняло их в эту прекрасную ночь: радостное пение, множество огней, поцелуи, смех и движение в церкви, а на улице — это множество необычно бодрствующих людей, темное теплое небо с большими мигающими весенними звездами, запах влажной молодой листвы из садов за заборами, эта неожиданная близость и затерянность на улице, среди толпы, в поздний предутренний час.

Притворяясь перед самим собою, что он делает это нечаянно, Возницын прижал к себе локоток Леночки. Она ответила чуть заметным пожатием. Он повторил

эту тайную ласку, и она опять отозвалась. Тогда он едва слышно нащупал в темноте концы ее тонких пальчиков и нежно погладил их, и пальцы не сопротивлялись, не сердились, не убегали.

Так подошли они к воротам церковного дома. Аркаша оставил для них калитку открытой. К дому нужно было идти по узким деревянным мосткам, проложенным, ради грязи, между двумя рядами широких столетних лип. Но когда за ними хлопнула затворившаяся калитка, Возницын поймал Леночкину руку и стал целовать ее пальцы — такие теплые, нежные и живые.

— Леночка, я люблю, люблю вас...

Он обнял ее вокруг талии и в темноте поцеловал куда-то, кажется ниже уха. Шапка от этого у него сдвинулась и упала на землю, но он не стал ее разыскивать. Он все целовал похолодевшие щеки девушки и шептал, как в бреду:

— Леночка, я люблю, люблю...

— Не надо, — сказала она тоже шепотом, и он по этому шепоту отыскал губы. — Не надо... Пустите меня... пуст...

Милые, такие пылающие, полудетские, наивные, неумелые губы! Когда он ее целовал, она не сопротивлялась, но и не отвечала на поцелуи и вздыхала как-то особенно трогательно — часто, глубоко и покорно. А у него по щекам бежали, холодя их, слезы восторга. И когда он, отрываясь от ее губ, подымал глаза кверху, то звезды, осыпавшие липовые ветви, плясали, двоились и расплывались серебряными пятнами, преломляясь сквозь слезы.

— Леночка... люблю...

— Оставьте меня...

— Леночка!

И вдруг она воскликнула неожиданно сердито:

— Да пустите же меня, гадкий мальчишка! Вот увидите, вот я все, все, все маме расскажу. Непременно!

Она ничего маме не рассказала, но с этой ночи уже больше никогда не оставалась одна с Возницыным. А там подошло и лето...

— А помните, Елена Владимировна, как в одну прекрасную пасхальную ночь двое молодых людей целовались около калитки церковного дома? — спросил Возницын.

— Ничего я не помню... Гадкий мальчишка,— ответила она, мило смеясь. — Однако смотрите-ка, сюда идет моя дочь. Я вас сейчас познакомлю... Леночка, это Николай Иваныч Возницын, мой старый-старый друг, друг моего детства. А это моя Леночка. Ей теперь как раз столько лет, сколько было мне в одну пасхальную ночь...

— Леночка большая и Леночка маленькая, — сказал Возницын.

— Нет. Леночка старенькая и Леночка молодая, — возразила спокойно, без горечи, Львова.

Леночка была очень похожа на мать, но рослее и красивее, чем та в свои девические годы. Рыжие волосы матери перешли у нее в цвет каленого ореха с металлическим оттенком, темные брови были тонкого и смелого рисунка, но рот носил чувственный и грубоватый оттенок, хотя был свеж и прелестен.

Девушка заинтересовалась пловучими маяками, и Возницын объяснил ей их устройство и цель. Потом он заговорил о неподвижных маяках, о глубине Черного моря, о водолазных работах, о крушениях пароходов. Он умел прекрасно рассказывать, и девушка слушала его, дыша полуоткрытым ртом, не сводя с него глаз.

А он... чем больше он глядел на нее, тем больше его сердце заволакивалось мягкой и светлой грустью — сострадательной к себе, радостной к ней, к этой новой Леночке, и тихой благодарностью к прежней. Это было именно то самое чувство, которого он так жаждал в Москве, только светлое, почти совсем очищенное от себялюбия.

И когда девушка отошла от них, чтобы посмотреть на Херсонесский монастырь, он взял руку Леночки-старшей и осторожно поцеловал ее.

— Нет, жизнь все-таки мудра, и надо подчиняться ее законам, — сказал он задумчиво. — И, кроме того, жизнь прекрасна. Она — вечное воскресение из мерт-

вых. Вот мы уйдем с вами, разрушимся, исчезнем, но из нашего ума, вдохновения и таланта вырастут, как из праха, новая Леночка и новый Коля Возницын... Все связано, все сцеплено. Я уйду, но я же и останусь. Надо только любить жизнь и покоряться ей. Мы все живем вместе — и мертвые и воскресающие.

Он еще раз наклонился, чтобы поцеловать ее руку, а она нежно поцеловала его в сильно серебрящийся висок. И когда они после этого посмотрели друг на друга, то глаза их были влажны и улыбались ласково, устало и печально.

ИСКУШЕНИЕ

— Вот вы все говорите: случай, случай... Да ведь в том-то и дело, что на всякий пустячный случай можно взглянуть поглубже.

Позвольте заметить, что мне теперь уже шестьдесят лет. А это — как раз такой возраст, когда человеку, после всех его мыканий, страстей и бурления, остаются три пути: стяжательство, честолюбие и философия. Даже, собственно, два. Честолюбие, как-никак, а все-таки состоит в стяжании, накоплении и расширении мирских или небесных возможностей.

Философом я себя назвать, конечно, не смею: слишком громоздкий титул и... как-то не к лицу-с. К тому же всегда на меня можете цыкнуть: «А покажи твой багаж и твой аттестат!» Но зато прожил я жизнь чрезвычайно большую и весьма пеструю. Видел богатство, и нищету, и болезнь, и войну, и утрату близких, и тюрьму, и любовь, и падение, и веру, и безверие. И даже — хотите верьте, хотите нет, — даже людей видел. Это немудрено, по-вашему? Мудрено-с. Чтобы другого человека рассмотреть и понять, нужно первым долгом уметь совершенно забыть о собственной персоне: о том, какое пленительное впечатление произвожу я на окружающих и сколь я великолепен на лоне природы. А это мало кто умеет, уверяю вас.

И вот, грешный человек, люблю я на склоне моих дней поразмышлять над жизнью. К тому же я теперь

одинок и стар; ночи-то наши, стариковские, знаете, какие длинные? А память и сердце сохранили мне живьем тысячи событий — своих и всяческих. Но одно дело пережевывать воспоминания, как корова крапиву, а другое — сопоставлять их умно и с толком. Что я и называю философией.

Вот мы с вами коснулись случая и судьбы. Охотно соглашусь с вами: случай бестолков, капризен, слеп, бесцелен, попросту глуп. Но над жизнью, то есть над миллионами сцепившихся случаев, господствует — я в этом твердо уверен — непреложный закон. Все проходит и опять возвращается, рождается из малого, из ничего, разгорается, мучит, радует, доходит до вершины и падает вниз, и опять приходит, и опять, и опять, точно обвиваясь спирально вокруг бега времени. А этот спиральный путь, сделав в свою очередь многолетний оборот, возвращается назад и проходит над прежним местом и делает новый завиток — спираль спиралей... И так без конца.

Вы, конечно, возразите мне, что если бы этот закон на самом деле существовал, — люди давным-давно открыли бы его и читали бы будущее, как по какой-нибудь картограмме. Нет, не то. Мы, люди, знаете ли, похожи на ткачей, посаженных вплотную около бесконечно длинной и бесконечно широкой основы. Какие-то краски перед глазами, цветочки, лазурь, пурпур, зелень, и все это бежит, бежит и уходит... но рисунка, по близости расстояния, нам не разобрать. Только людям, стоящим выше жизни, над нами, — гениальным ученым, пророкам, сновидцам, блаженным, юродивым и поэтам иногда удается уловить в жизненной суматохе острым и вдохновенным взором начало гармоничного узора и предсказать его конец.

Вы находите, что я пышно выражаюсь? Не правда ли? Подождите, дальше будет еще курчавее. Конечно, если вам не скучно... Впрочем, что же и делать в вагоне, как не болтать?..

С законом, управляющим одинаково мудро как течением созвездий, так и пищеварением таракана, я охотно мирюсь, верю ему и благословляю его. Но есть Некто или Нечто, что сильнее судьбы и мира. Если оно

Нечто, то я назвал бы его законом логической нелепости или нелепой логичности, как хотите... Я не умею выразиться. Если же это Некто, то это такой Дух, перед которым наш библейский дьявол и романтический сатана оказываются маленькими шутниками и совсем незлобивыми проходимцами.

Вообразите себе власть над миром, почти божескую, и рядом отчаянную мальчишескую проказливость, не ведающую ни зла, ни добра, но всегда беспощадно жестокую, остроумную и, черт возьми, как-то странно справедливую! Может быть, вам непонятно? Тогда позвольте высказаться пообразнее.

Возьмем Наполеона: сказочная жизнь, невероятно грандиозная личность, неистощимая власть, — и, глядь, под конец: крошечный островишко, болезнь мочевого пузыря, жалобы на пищу и докторов, старческое брюзжание в одиночестве... Конечно, этот жалкий закат был только насмешкой, одной кривой улыбкой моего таинственного Некто. Однако вдумайтесь хорошенько в эту трагическую биографию, отбрасывая толкования ученых (у них ведь все объясняется просто и законно), и вот, не знаю, как вы, но я ясно вижу, что в ней уживаются рядом нелепость и логичность, а объяснить этого себе я не могу.

Генерал Скобелев. Крупная, красивая фигура. Отчаянная храбрость и какая-то преувеличенная вера в свою судьбу. Вечная насмешка над смертью. Эффектная бравада под убийственным огнем и вечное стремление к риску, какая-то неудовлетворенная жажда опасности. И вот — смерть на публичной кровати, в захватанном номере гостиницы, в присутствии потаскушки. Опять повторяю: нелепо, жестоко, но почему-то логично. Как будто обе эти жалкие смерти своим контрастом округлили, оттенили, дорисовали два пышных существования.

Древние знали этого таинственного Некто и боялись его (вспомните Поликратов перстень), но они ошибочно принимали его шутки за зависть судьбы.

Уверяю вас, то есть не уверяю, а я сам глубоко в этом уверен, что когда-нибудь, лет тысяч через тридцать, жизнь на нашей земле станет дивно прекрасною.

Дворцы, сады, фонтаны... Прекратится тяготение над людьми рабства, собственности, лжи и насилия... Конец болезням, безобразию, смерти... Не будет больше ни зависти, ни пороков, ни ближних, ни дальних, — все сделаются братьями. И вот тогда-то *Он* (заметьте, я даже в разговоре называю его с большой буквы), пролетая однажды сквозь мироздание, посмотрит, лукаво прищурясь, на землю, улыбнется и дохнет на нее, — и старой, доброй земли не станет. Жалко прекрасной планеты, не правда ли? Но подумайте только, к какому ужасному, кровавому, оргиастическому концу привела бы эта всеобщая добродетель тогда, когда люди успели бы ею объесться по горло.

Впрочем, к чему нам такие пышные примеры, как наша земля, Наполеон и древние греки? Я сам улавливал изредка проявление этого страшного, неисповедимого закона при самых обыденных обстоятельствах. Хотите, я вам расскажу об одном простом случае, где я въявь почувствовал насмешливое дыхание этого бога?

Дело было так. Я ехал из Томска в общем вагоне первого класса. Со мной, в числе соседей, был молодой путейский инженер, чудесный малый, добродушный толстяк. Простоватое русское лицо, холеное и круглое, белобрысый, волосы ежиком, и сквозь них просвечивает розовая кожа... этакий ласковый, добрый йоркширчик! И глаза у него были какого-то мутно-голубого поросячьего цвета.

Он оказался очень приятным соседом. Я редко видел таких предупредительных людей. Сразу он уступил мне нижнее место, сам помогал мне взгромоздить мой чемодан на сетку и вообще был так любезен, что становилось даже немного неловко. На станциях он запасался провизией и вином и с милым радушием угощал попутчиков.

Я сразу же заметил, что в нем кипит и рвется наружу какое-то большое внутреннее счастье и что ему хочется видеть вокруг себя людей также счастливыми.

Так это и оказалось на самом деле. Через десять минут он уже начал выкладывать предо мной свою душу. Правда, я заметил, что при первых же его излияниях соседи как-то неловко заерзали на своих

местах и уж слишком преувеличенно-усердно начали наблюдать дорожные пейзажи. Впоследствии я узнал, что они слышали этот рассказ по крайней мере по десяти раз каждый. Их участи не избег и я.

Ехал этот инженер с Дальнего Востока, где провел пять лет, и, стало быть, не виделся пять лет со своей семьей, оставленной в Петербурге. Он, собственно, рассчитывал пробыть в командировке самое большее год, но сначала задержала казенная работа, потом подвернулось выгодное частное предприятие, потом оказалось невозможным оставить дело, которое стало уж чересчур большим и прибыльным. Теперь, ликвидировав все дела, он возвращался домой. Где же тут было обвинять его за болтливость: пробыть пять лет вдали от любимой семьи и возвращаться домой молодым, здоровым, с большой удачей и с неиспользованным запасом любви! Какой человек мог бы подавить в себе молчание, смирить этот страшный зуд нетерпения, которое возрастает с каждым часом, с каждой сотнею пройденных верст?

Я скоро от него узнал все семейные подробности. Его жену зовут Сусанной, или «Санночкой», а дочь носит странное имя «Юрочка». Он оставил дочку трехлетним ребенком. «Воображаю, — восклицал он, — теперь совсем уж барышня, — невеста!» Узнал я и девическую фамилию его жены, и все бедствия, которые они испытали вдвоем, когда он женился, будучи студентом последнего курса, не имея даже двух пар панталон, и каким прекрасным товарищем, нянькой, матерью и сестрой была в это время для него жена.

Он бил себя в грудь кулаком, краснел от гордости, сиял глазами и кричал:

— Если бы вы знали! Кр-расавица!.. Будете в Петербурге, я вас познакомлю. Непременно заходите ко мне, непременно. Без всяких церемоний и отговорок, Кирочная, сто пятьдесят шесть. Я вас познакомлю, и вот вы сами увидите мою старуху. Королева! У нас на путейских балах всегда была королевой бала. Ей-богу же, приходите, иначе обидите.

И всем нам он раздавал свои визитные карточки, где карандашом зачеркивал свой маньчжурский адрес и

надписывал петербургский, и тут же сообщал, что эта шикарная квартира была нанята его женою всего лишь год тому назад по его настоянию, когда дела шибко пошли в гору.

Да... водопадом из него било! Раза по четыре в день на больших станциях он посылал домой телеграммы с ответом, уплаченным на другую большую станцию или просто в поезд номер такой-то, пассажиру первого класса такому-то. И надо было видеть его в тот момент, когда входил кондуктор и возглашал нараспев: «Телеграмма пассажиру первого класса такому-то». Уверяю вас, у него вокруг лица образовывался сияющий нимб, как у святых угодников. Кондукторов он награждал по-царски; впрочем, не одних только кондукторов. У него была непреодолимая потребность всех обласкать, осчастливить, одарить. Он и нам совал на память разные безделушки из сибирских и уральских камней, вроде брелоков, запонок и булавок, китайских колечек, нефритовых божков и другие мелочи. Были между ними вещи очень ценные как по стоимости, так и по редкой художественной работе, и, знаете, невозможно было отвязаться от него, несмотря на стеснительность и неловкость принимать подобные подарки, — так уж он убедительно и настойчиво просил. Ведь это все равно, как не устоишь, когда ребенок упрашивает вас взять у него конфетку.

С собой же он вез пропасть вещей как в багаже, так и в вагоне, и все это были подарки для «Санночки» и для «Юрочки». Чудные вещи были: курмы китайские шелковые бесценные, слоновая кость, золото, миниатюры на сардониксе, меха, расписанные веера, лакированные шкатулочки, альбомы, — и надо было видеть и слышать, с какою нежностью, с каким восторгом говорил он о своих близких людях, показывая эти вещи. Пусть его любовь была немного слепа, чересчур шумна и слишком эгоистична, пусть она была даже чуть-чуть истерична, но клянусь вам, что сквозь эти условные и пошлые завесы я прозревал настоящую громадную любовь, — любовь острой и жгучей напряженности.

Тоже помню. На одной станции делали прицепку вагона, и стрелочнику отрезало ступню. Немедленно

вагонная публика, — самая праздная и дикая, самая жестокая публика в мире, — полезла глазеть на кровь. Но инженер, не останавливаясь в толпе, подошел скромно к начальнику станции, поговорил с ним немного и передал ему из бумажника какую-то сумму, должно быть, немалую, так как красная шапка была приподнята очень почтительно. Сделал он это чрезвычайно скоро: один только я и видел его поступок, — у меня на эти вещи вообще глаз замечательный. Впрочем, видел я также и то, как он, воспользовавшись задержкой поезда, успел все-таки юркнуть в телеграф.

Вот как сейчас помню его идущим поперек платформы: форменная белая фуражка на затылке; широкая, длинная рубаха-косоворотка из прекрасной чесучи; через одно плечо ремень с биноклем, через другое, накрест, ремень с сумкой, — идет из телеграфа такой свежий, мясистый, крепкий и румяный, со своим видом раскормленного, простоватого деревенского парня.

И чуть большая станция — сейчас же ему телеграмма. Кондукторы так избаловались, что уже сами бегали справляться на телеграф, — нет ли для него депеши. Бедный мальчик! Не мог он скрыть в себе своей радости и читал нам телеграммы вслух, точно у нас и других забот не могло быть, кроме его семейного счастья. «Будь здоров, целуем, ждем нетерпеливо, Саночка, Юрочка». Или: «С часами в руках слежу по расписанию от станции до станции твой путь, душой и мыслью с тобой», — и все в этом роде. Ей-богу, была даже одна такая телеграмма: «Поставь часы по петербургскому времени, ровно в 11 гляди на звезду Альфа Большой Медведицы, — я тоже».

Между нами был один пассажир — владелец, бухгалтер или управляющий золотого прииска, сибиряк, ликом вроде Моисея Мурина: сухое длинное лицо, густые черные суровые брови и длиннейшая, пышная седеющая борода, — человек, как видно, чрезвычайно искушенный жизненным опытом. Он осторожно заметил инженеру:

— А знаете, молодой человек, вы напрасно телеграммами так злоупотребляете.

— Что вы? Каким образом напрасно?

— А так, что нельзя же все время дамочку держать в таком приподнятом и взвинченном настроении. Надо и чужие нервы щадить.

Но он только рассмеялся и похлопал мудрого человека по колену.

— Эх, батенька, знаю я вас, людей старого завета. Вы в дорогу-то собираетесь тишком-тишком, норовите нагрянуть нежданно-негаданно. А все ли, мол, у меня в порядке около домашнего очага? А?

Но иконописный человек только шевельнул своими бровищами и ухмыльнулся.

— Ну-к что ж. И это иногда невредно.

От Нижнего с нами ехали уже другие пассажиры, от Москвы — опять новые. Волнение моего инженера все нарастало, — что с ним было делать? Он умел быстро со всеми перезнакомиться. С женатыми людьми говорил о святости очага, холостым пенял на неряшливость и разор холостой жизни, с девицами сводил разговор на единую и вечную любовь, с дамами толковал о детках. И сейчас же переходил к своей Санночке и своей Юрочке. До сего времени у меня в памяти осталось, как его дочурка говорила: «А я в жолтыф сапогаф», «против нас вантекарский магазин». И еще один разговор. Она тискала кошку, а кошка мяукала. Мать ей говорит: «Оставь, Юрочка, кошку, ей больно». А она отвечает: «Нет, мама, это кошкее удовольствие». И еще, как она увидела на улице воздушные шары и вдруг сказала: «Мама, какие они восторгательные!»

Мне все это казалось нежным, трогательным, но немного, признаюсь, и скучноватым.

Утром мы подъезжали к Петербургу. День был мутный, дождливый, кислый. Туман не туман, а какая-то грязная заволока окутывала ржавые, жидкие сосенки и похожие на лохматые бородавки мокрые кочки, тянувшиеся налево и направо вдоль пути. Я встал раньше, чтобы успеть умыться, и в коридоре столкнулся с инженером. Он стоял у окна и поглядывал то на дорогу, то на часы.

— Доброго утра, — сказал я, — что вы делаете?

— Ах, здравствуйте, доброго утра. Да вот я проверяю скорость поезда, — теперь идем около шестидесяти верст в час.

— По часам проверяете?

— Да. Это очень просто. От столба до столба, видите ли, двадцать пять сажен — двадцатая часть версты. Стало быть, если мы проехали эти двадцать пять сажен со скоростью четырех секунд, то часовая скорость равна сорока пяти верстам; если в три — то шестидесяти, а в две — девяноста. Впрочем, можно узнать скорость и без часов, — нужно только уметь отсчитывать секунды: надо как можно скорее, но, однако, явственно, считать до шести, вот так: раз, два, три, четыре, пять, шесть... раз, два, три, четыре, пять, шесть... — это *способ* австрийского генерального штаба.

Так он говорил, бегая глазами и переминаясь на месте, но я, конечно, отлично знал, что весь этот счет австрийского генерального штаба — один только отвод глаз и что просто-напросто инженер обманывал свое нетерпение.

За станцией Любань на него даже жалко стало смотреть. Он на моих глазах побледнел, осунулся и как будто постарел. Он даже говорить перестал. Притворялся, будто бы читает газету, но видно было, что это занятие ему противно и тошно, да и держал он газету иногда вверх ногами. Посидит-посидит на месте минут пять и снова бежит к окну, и опять сядет и дергается на месте, точно подталкивает поезд вперед, и опять подойдет к окну в проходе и давай проверять по часам, — так и вертит головой влево и вправо. Ах, как я знаю, — да и кто не знает? — что дни и недели ожидания пустяки в сравнении с этим последним получасом, с последнею четвертью часа.

Но вот наконец семафор, бесконечная путаница пересекающихся рельсов, вот длинная деревянная платформа, бородатые артельщики в белых фартуках. Инженер надел свое форменное пальто, взял ручной сак и вышел на переднюю площадку. Я же выглянул в окно, чтобы крикнуть носильщика, как только поезд остановится. Из своего окна я отлично видел инженера, который также высунулся из открытой двери, что ве-

дет на ступеньки. Он заметил меня, закивал головой и улыбнулся, но я успел издали заметить, что он был поразительно, неестественно бледен в эту минуту.

Мимо нашего вагона мелькнула высокая дама в какой-то серебристой кофточке, в большой бархатной шляпе, под синей вуалью. Была с ней и девочка в коротком платье, с длинными ножками, в белых гамашах. Обе они тревожно посматривали, одновременно провожая головами каждое окошко. Но они пропустили. Я слышал, как инженер крикнул странным, глухим и вздрагивающим голосом:

— Санночка!

Кажется, обе обернулись. И вдруг... Короткий, страшный вопль... Никогда не забуду... Какой-то ни на что не похожий крик недоумения, ужаса, боли и жалобы...

На секунду я увидел голову инженера, без шапки, где-то между низом вагона и платформой, увидел не лицо, а его светлые волосы ежиком и розоватое темя, но голова только мелькнула, и больше ничего не осталось...

Потом меня допрашивали, как свидетеля. Помню, как я все пытался успокоить его жену, но что в таких случаях скажешь? Я видел и его: расплюснутый, исковерканный, красный кусок мяса. Он уже и дышать перестал, когда его вынули из-под вагона. Передавали, что ему сначала отрезало ногу, но он инстинктивно хотел поправиться, повернулся и попал под колеса грудью и животом.

И вот подходит самое страшное во всем том, что я вам рассказываю. В эти тяжелые, никогда не забываемые минуты меня ни на момент не оставляло странное сознание: «Глупая смерть, — думал я, — нелепая смерть, жестокая, несправедливая, но почему-то с самого первого момента, сейчас же после его крика, мне стало ясным, что это непременно должно было случиться, что эта нелепость логична и естественна». Почему это было так? Объясните мне. Разве здесь не чувствовалась равнодушная улыбка моего дьявола?

Вдова его (я потом был у нее; она меня очень подробно и много расспрашивала о нем) так и говорила,

что оба они искушали судьбу своей нетерпеливой любовью, уверенностью в свидании, уверенностью в завтрашнем дне. Что же... может быть... я ничего верного не знаю... На Востоке (а ведь это истинный кладезь древней мудрости) человек никогда не скажет, что он намерен сейчас или завтра сделать, не прибавив «инш' алла», что значит: «Во имя бога» или же: «Да будет воля бога».

Но мне все-таки кажется, что здесь было не искушение судьбы, а все та же нелепая логичность таинственного бога. Ведь большей радости, чем это взаимное ожидание, когда, побеждая расстояние, они издали сливались вместе, — большей радости эти люди, наверное, никогда бы не испытали. Бог знает, что их ждало завтра! Разочарование? Утомление? Скука? Может быть, ненависть?

ПОПРЫГУНЬЯ-СТРЕКОЗА

Мы жили тогда в Рязанской губернии, в ста двадцати верстах от ближайшей станции железной дороги и в двадцати пяти верстах от большого торгового села Тумы. «Тума железная, а люди в ней каменные», — так местные жители сами про себя говорили. Жили мы в старом, заброшенном имении, где в 1812 году был построен пленными французами огромный деревянный дом с колоннами и ими же был разбит громадный липовый парк в подражание Версалю.

Представьте себе наше комическое положение: в нашем распоряжении двадцать три комнаты, но из них отапливается только одна, да и то так плохо, что в ней к утру замерзает вода и створки дверей покрываются инеем. Почта приходит то раз в неделю, то раз в два месяца, и привозит ее случайный мужичонка за пазухой своего зипуна, мокрую от снега, с размазанными адресами и со следами любознательности почтового чиновника. Вокруг нас столетний бор, где водятся медведи и откуда среди белого дня голодные волки забегают в окрестные села таскать зазевавшихся собачонок. Местное население говорит не понятным для нас певучим, цокающим и гокающим языком и смотрит на нас исподлобья, пристально, угрюмо и бесцеремонно. Оно убеждено твердо, что лес принадлежит богу и мужику, а управляющий имением немец-менонит из Сарепты,

опустившийся и разленившийся от бездействия, только и знает, что ходит каждый день в лес отнимать топоры у мужиков-лесокрадов. К нашим услугам прекрасная французская библиотека XVIII столетия, но весь ее чудесный эльзевир обглодан мышами. А старинная портретная галерея в двухсветной зале, погибшая от сырости, плесени и дыма, скоробилась, почернела и потрескалась.

Представьте себе соседнюю деревню, всю занесенную снегом, представьте себе еще неизбежного в русской деревне дурачка Сережу, который ходит зимою почти голым, попа, который под праздник не играет в преферанс и пишет доносы, деревенского старосту — глупого, хитрого человека, дипломата и попрошайку, говорящего на ужасном «столичном» языке. Если вы все это себе представите, то вы, конечно, поймете, что мы дошли до скуки, до одурения. Нас уже больше не увлекали ни облавы на медведей, ни охота с гончими на зайцев, ни стрельба из пистолетов в цель, через три комнаты, на расстоянии двадцати пяти шагов, ни писание по вечерам совместных юмористических стихов. Признаться, мы перессорились между собою.

Да и то сказать: если бы нас спросили каждого поочередно, зачем мы приехали сюда, то, кажется, ни один не ответил бы на этот вопрос. Я в то время занимался живописью. Валериан Александрович писал символические стихи, а Васька увлекался Вагнером и играл призыв Тристана к Изольде на старых, разбитых, с пожелтевшими клавишами, клавикордах.

К рождеству деревня вдруг оживилась. На Тристенке, в Бородине, в Брылине, Шустове, Никифоровском, в Козлах мужики начали варить пиво, то самое густое, тяжелое пиво, от которого чугунеет лицо и руки делаются, как лубки. Между крестьянами, несмотря на преддверие праздника, было настолько много пьяных, что в Дягилеве сын проломил своему отцу голову, вырвав с этой целью стяг из забора, а в Круглицах опился до смерти какой-то древний старик. Рождество невольно увлекло нас. Первый визит мы сделали на Попиху: к попу и псаломщику, потом забрели ни с того ни с сего к церковному сторожу Андрею, потом к двум

сельским учительницам, а потом все пошло очень легко: от учительниц мы попали к доктору в Туму, потом к волостному писарю, где нас ожидал целый банкет, затем к уряднику, к хромоногому фельдшеру, потом к местному кулаку, Василию Егорову, который скупал со всей окрестности шкуры, холст, зерно, лес, кнуты, лукошки и веретена. И пошло и поехало!..

Нужно признаться, что мы чувствовали себя немного неловко. Мы никак не могли войти в темп этой жизни, которая устоялась в течение множества лет. Несмотря на нашу внешнюю развязность, мы все-таки были людьми с другой планеты. Выходило так, что мы наших соседей рассматривали в микроскоп, а они нас — в телескоп. Правда, мы делали попытки притвориться своими людьми, — этакими веселыми малыми в русском стиле. Когда у псаломщика девица сорока лет, Анна Игнатьевна, с мозолистыми руками, которыми она обыкновенно сама запрягала шоколадного мерина и возила на салазках бадью с водой, которую сама же вытягивала обледенелой веревкой из вонючего колодца, — когда она вдруг на вечеринке делала стыдливый вид, потупляла глаза, разводила руки и пела:

Ондрей Николаевич,
Доступаем, доступаем мы до вас,
Беспокоить хочем вас, хочем вас.
Беспокой прошу, покорно приношу, —
Кого любишь, того выбери,
За собою поведи, поведи,
Молодой назови, назови —

тогда мы храбро целовали ее в самые губы, несмотря на ее притворное сопротивление и кокетливый визг, что, конечно, полагалось по обычаю.

После этих насильственных поцелуйчиков мы все становились в круг: четверо отпускных семинаристов, псаломщик, экономка из соседнего имения, две сельские учительницы, урядник в штатской форме, дьякон, местный фельдшер и мы — три эстета, искавшие в то время аристократической, изысканной красоты в звуках, словах и красках. Стараясь держать себя возможно лучше, мы кружились в общем хороводе налево и направо при общем реве и топоте, в то время как

герой, распорядитель танцев и местный лев семинарист Воздвиженский носился по всей комнате, выделывая балетные па и щелкая над головой пальцами.

Как во городе королевна, королевна,
По-загороду королевич, королевич,
Молодой сын-короличек гуляе,
Он гуляе,
Он невесту себе выглядае, выглядае, —
Не моя ли расхорошая гуляе, там гуляе,
Золотой перстень воссияе, воссияе.

Потом вдруг хоровод останавливался, и все начинали петь уже несколько в другом, торжественном тоне:

Растворились королевские ворота,
Король королевне поклонился,
Королевна ему еще ниже.

И тут фельдшер и псаломщица выступали друг против друга и низко кланялись друг другу, а хор продолжал:

Ты подвинься, сударчик, поближе,
Прижмись ко грудям потеснее,
Поцелуй, поцелуй понежнее.

Наконец мы попали в министерскую тумскую школу. Этого нельзя было избежать: раньше там было около пятнадцати репетиций, на которых детей дрессировали, как ученых собак, и, кажется, особенно имели при этом в виду нас, петербургских гостей. Мы пошли. Елка разожглась сразу благодаря пороховому шнуру. Что касается программы, то я знал ее заранее наизусть... «Я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. — А кой те годочек? — Шастой миновал». Хотя надо сказать, что крошечный шестилетний мужичонка в огромной шапке из собачьего меха и в отцовских кожаных рукавицах об одном пальце — настоящий прирожденный артист — был очарователен со своей важной серьезностью и сиплым баском.

Остальное, нужно сказать, было очень гнусно сделано. В таком ложном народном духе.

Мне давно знакомы эти обычные номера: «Демьянова уха» в лицах, почему-то малорусские песни с исковерканным донельзя произношением, какие-то стишки слащавого дамского рукоделия, которые были исполнены хором: «Вот рождественская елка, днесь сегодня собрались, вот Петрушка, вот лошадка, вот и целый паровоз». Учитель, маленький, чахоточный человек, в длинном сюртуке и крахмаленном белье, одетом, очевидно, только на этот случай, то играл на скрипке, то дирижировал смычком, то задавал тон до-ми-соль-ми-до и время от времени стукал смычком по головам мальчишек.

Местный попечитель училища, нотариус из заштатного городка, от умиления жевал губами и высовывал толстый, точно у попугая, короткий язык, потому что вся эта дрессировка была сделана в его честь.

Наконец учитель подошел к самому лучшему номеру своей программы. До сих пор мы смеялись, но тут нам пришлось почти заплакать. Вышла вперед маленькая девчонка, лет двенадцати — тринадцати, дочь стражника, кстати очень похожая на него лошадиным профилем и, конечно, первая ученица в училище, и начала:

Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела,
Оглянуться не успела, как зима катит в глаза.

«Кумушка, мне странно это, — рассудительно заговорил шершавый мальчишка в отцовских валенках, так лет семи. — А работала ль ты в лето?» —

«До того ль, голубчик, было в мягких муравах у нас...» — ответила дочка стражника.

И вот тут-то и сказалось прославленное русское гостеприимство.

Стрекоза отвечает: «Я все пела».

И тут учитель Капитоныч взмахнул одновременно скрипкой и смычком, — о, это был эффект, давно подготовленный! — и вдруг таинственным полушепотом весь хор начал петь:

Ты все пела, это — дело,
Так поди же попляши,
Так поди же, так поди же,
Так поди же попляши.

Мне вовсе нетрудно сознаться в том, что в это время у меня волосы стали дыбом, как стеклянные трубки, и мне казалось, что глаза этой детворы и глаза всех набившихся битком в школу мужиков и баб устремлены только на меня, и даже больше, — что глаза полутораста миллионов глядят на меня, точно повторяя эту проклятую фразу: «Ты все пела, это — дело, так поди же попляши. Так поди же попляши».

Не знаю, как долго тянулось это монотонное, журчащее и в то же время какое-то зловещее и язвительное причитание. Но помню ясно, что в те минуты тяжелая, печальная и страшная мысль точно разверзлась в моем уме. «Вот, — думал я, — стоим мы, малая кучка интеллигентов, лицом к лицу с неисчислимым, самым загадочным, великим и угнетенным народом на свете. Что связывает нас с ним? Ничто. Ни язык, ни вера, ни труд, ни искусство. Наша поэзия — смешна ему, нелепа и непонятна, как ребенку. Наша утонченная живопись — для него бесполезная и неразборчивая пачкотня. Наше богоискательство и богостроительство — сплошная блажь для него, верующего одинаково свято и в Параскеву-Пятницу и в лешего с баешником, который водится в бане. Наша музыка кажется ему скучным шумом. Наша наука недостаточна ему. Наш сложный труд смешон и жалок ему, так мудро, терпеливо и просто оплодотворяющему жестокое лоно природы. Да. В страшный день ответа что мы скажем этому ребенку и зверю, мудрецу и животному, этому многомиллионному великану? Ничего. Скажем с тоской: «Я все пела». И он ответит нам с коварной мужицкой улыбкой: «Так поди же попляши»...

Я не знаю также, как это поняли мои товарищи, но из министерского училища мы вышли молча, не обменявшись впечатлениями.

Через три дня мы разъехались, и до сих пор между нами холодные отношения. Вышло так, как будто бы невинными устами этих сопливых мальчишек и девчонок нам произнесли самый тяжелый, бесповоротный смертный приговор. И когда я ехал обратно от стоешника Ивана Александровича Караулова до Горели и от Горели до Козлов и от Козлов до Зиньтабров и

дальше по железной дороге, меня все время преследовал этот иронический, как будто бы злой, напев: «Так поди же попляши».

Только один бог знает судьбы русского народа... Ну, что же, если нужно будет, попляшем!

Я ехал целую ночь до станции.

На голых, обледенелых ветвях берез сидели звезды, как будто бы сам бог внимательной рукой украсил деревья. Я думал о том, что это красиво, но уже никак не мог, как и теперь не могу, отделаться от мысли: «Так поди же попляши»...

ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ

L. van Beethoven. 2 Son. (op. 2, № 2).
Largo Appassionato.

I

В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Черного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землею и морем густой туман, и тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра шел не переставая мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в сплошную густую грязь, в которой увязали надолго возы и экипажи. То задувал с северо-запада, со стороны степи, свирепый ураган; от него верхушки деревьев раскачивались, пригибаясь и выпрямляясь, точно волны в бурю, гремели по ночам железные кровли дач, и казалось, будто кто-то бегает по ним в подкованных сапогах; вздрагивали оконные рамы, хлопали двери, и дико завывало в печных трубах. Несколько рыбачьих баркасов заблудилось в море, а два и совсем не вернулись: только спустя неделю повыбрасывало трупы рыбаков в разных местах берега.

Обитатели пригородного морского курорта - большей частью греки и евреи, жизнелюбивые и мнительные, как все южане, — поспешно перебирались в город.

По размякшему шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные всяческими домашними вещами: тюфяками, диванами, сундуками, стульями, умывальниками, самоварами. Жалко, и грустно, и противно было глядеть сквозь мутную кисею дождя на этот жалкий скарб, казавшийся таким изношенным, грязным и нищенским; на горничных и кухарок, сидевших на верху воза на мокром брезенте с какими-то утюгами, жестянками и корзинками в руках, на запотевших, обессилевших лошадей, которые то и дело останавливались, дрожа коленями, дымясь и часто нося боками, на сипло ругавшихся дрогалей, закутанных от дождя в рогожи. Еще печальнее было видеть оставленные дачи с их внезапным простором, пустотой и оголенностью, с изуродованными клумбами, разбитыми стеклами, брошенными собаками и всяческим дачным сором из окурков, бумажек, черепков, коробочек и аптекарских пузырьков.

Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем нежданно переменилась. Сразу наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в июле. На обсохших сжатых полях, на их колючей желтой щетине заблестела слюдяным блеском осенняя паутина. Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли желтые листья.

Княгиня Вера Николаевна Шеина, жена предводителя дворянства, не могла покинуть дачи, потому что в их городском доме еще не покончили с ремонтом. И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанью на телеграфных проволоках ласточек, стаившихся к отлету, и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря.

II

Кроме того, сегодня был день ее именин — семнадцатое сентября. По милым, отдаленным воспоминаниям детства она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо-чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город, положил ей на ночной

столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин, и этот подарок еще больше веселил ее.

Она была одна во всем доме. Ее холостой брат Николай, товарищ прокурора, живший обыкновенно вместе с ними, также уехал в город, в суд. К обеду муж обещал привезти немногих и только самых близких знакомых. Хорошо выходило, что именины совпали с дачным временем. В городе пришлось бы тратиться на большой парадный обед, пожалуй даже на бал, а здесь, на даче, можно было обойтись самыми небольшими расходами. Князь Шеин, несмотря на свое видное положение в обществе, а может быть и благодаря ему, едва сводил концы с концами. Огромное родовое имение было почти совсем расстроено его предками, а жить приходилось выше средств: делать приемы, благотворить, хорошо одеваться, держать лошадей и т. д. Княгиня Вера, у которой прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы, всеми силами старалась помочь князю удержаться от полного разорения. Она во многом, незаметно для него, отказывала себе и, насколько возможно, экономила в домашнем хозяйстве.

Теперь она ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы к обеденному столу. Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. Доцветали разноцветные махровые гвоздики, а также левкой — наполовину в цветах, а наполовину в тонких зеленых стручьях, пахнувших капустой, розовые кусты еще давали — в третий раз за это лето — бутоны и розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно цвели своей холодной, высокомерной красотою георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе осенний, травянистый, грустный запах. Остальные цветы после своей роскошной любви и чрезмерного обильного летнего материнства тихо осыпали на землю бесчисленные семена будущей жизни.

Близко на шоссе послышались знакомые звуки автомобильного трехтонного рожка. Это подъезжала сестра княгини Веры — Анна Николаевна Фриессе, с утра обещавшая по телефону приехать помочь сестре принимать гостей и по хозяйству.

Тонкий слух не обманул Веру. Она пошла навстречу. Через несколько минут у дачных ворот круто остановился изящный автомобиль-карета, и шофер, ловко спрыгнув с сиденья, распахнул дверцу.

Сестры радостно поцеловались. Они с самого раннего детства были привязаны друг к другу теплой и заботливой дружбой. По внешности они до странного не были схожи между собою. Старшая, Вера, пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах. Младшая — Анна, — наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, дед которого крестился только в начале XIX столетия и древний род которого восходил до самого Тамерлана, или Ланг-Темира, как с гордостью называл ее отец, по-татарски, этого великого кровопийцу. Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная, насмешница. Лицо ее сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, которые она к тому же по близорукости щурила, с надменным выражением в маленьком, чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперед полной нижней губе, — лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-кокетливой мимике. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры.

Она была замужем за очень богатым и очень глупым человеком, который ровно ничего не делал, но числился при каком-то благотворительном учреждении и имел звание камер-юнкера. Мужа она терпеть не могла, но родила от него двух детей — мальчика и девочку; больше она решила не иметь детей и не имела. Что касается Веры — та жадно хотела детей и даже, ей казалось, чем больше, тем лучше, но почему-то они у нее не рождались, и она болезненно и пылко обожала

хорошеньких малокровных детей младшей сестры, всегда приличных и послушных, с бледными мучнистыми лицами и с завитыми льняными кукольными волосами.

Анна вся состояла из веселой безалаберности и милых, иногда странных противоречий. Она охотно предавалась самому рискованному флирту во всех столицах и на всех курортах Европы, но никогда не изменяла мужу, которого, однако, презрительно высмеивала и в глаза и за глаза; была расточительна, страшно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острые зрелища, посещала за границей сомнительные кафе, но в то же время отличалась щедрой добротой и глубокой, искренней набожностью, которая заставила ее даже принять тайно католичество. У нее были редкой красоты спина, грудь и плечи. Отправляясь на большие балы, она обнажалась гораздо больше пределов, дозволяемых приличием и модой, но говорили, что под низким декольте у нее всегда была надета власяница.

Вера же была строго проста, со всеми холодно и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна.

III

— Боже мой, как у вас здесь хорошо! Как хорошо! — говорила Анна, идя быстрыми и мелкими шагами рядом с сестрой по дорожке. — Если можно, посидим немного на скамеечке над обрывом. Я так давно не видела моря. И какой чудный воздух: дышишь — и сердце веселится. В Крыму, в Мисхоре, прошлым летом я сделала изумительное открытие. Знаешь, чем пахнет морская вода во время прибоя? Представь себе — резедой.

Вера ласково усмехнулась:

— Ты фантазерка.

— Нет, нет. Я помню также раз, надо мной все смеялись, когда я сказала, что в лунном свете есть какой-то розовый оттенок. А на днях художник Борицкий — вот тот, что пишет мой портрет, — согласился,

что я была права и что художники об этом давно знают.

— Художник — твое новое увлечение?

— Ты всегда придумаешь! — засмеялась Анна и, быстро подойдя к самому краю обрыва, отвесной стеной падавшего глубоко в море, заглянула вниз и вдруг вскрикнула в ужасе и отшатнулась назад с побледневшим лицом.

— У, как высоко! — произнесла она ослабевшим и вздрагивающим голосом. — Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди... и пальцы на ногах щемит... И все-таки тянет, тянет...

Она хотела еще раз нагнуться над обрывом, но сестра остановила ее.

— Анна, дорогая моя, ради бога! У меня у самой голова кружится, когда ты так делаешь. Прошу тебя, сядь.

— Ну хорошо, хорошо, села... Но ты только посмотри, какая красота, какая радость — просто глаз не насытится. Если бы ты знала, как я благодарна богу за все чудеса, которые он для нас сделал!

Обе на минутку задумались. Глубоко-глубоко под ними покоилось море. Со скамейки не было видно берега, и оттого ощущение бесконечности и величия морского простора еще больше усиливалось. Вода была ласково-спокойна и весело-синяя, светлея лишь косыми гладкими полосами в местах течения и переходя в густо-синий глубокий цвет на горизонте.

Рыбачьи лодки, с трудом отмечаемые глазом — такими они казались маленькими, — неподвижно дремали в морской глади, недалеко от берега. А дальше точно стояло в воздухе, не подвигаясь вперед, трехмачтовое судно, все сверху донизу одетое однообразными, выпуклыми от ветра белыми стройными парусами.

— Я тебя понимаю, — задумчиво сказала старшая сестра, — но у меня как-то не так, как у тебя. Когда я в первый раз вижу море после большого времени, оно меня и волнует, и радует, и поражает. Как будто я в первый раз вижу огромное, торжественное чудо. Но потом, когда привыкну к нему, оно начинает меня

давить своей плоской пустотой... Я скучаю, глядя на него, и уж стараюсь больше не смотреть. Надоедает.

Анна улыбнулась.

— Чему ты? — спросила сестра.

— Прошлым летом, — сказала Анна лукаво, — мы из Ялты поехали большой кавалькадой верхом на Уч-Кош. Это там, за лесничеством, выше водопада. Попали сначала в облако, было очень сыро и плохо видно, а мы все поднимались вверх по крутой тропинке между соснами. И вдруг как-то сразу окончился лес, и мы вышли из тумана. Вообрази себе: узенькая площадка на скале, и под ногами у нас пропасть. Деревни внизу кажутся не больше спичечной коробки, леса и сады — как мелкая травка. Вся местность спускается к морю, точно географическая карта. А там дальше — море! Верст на пятьдесят, на сто вперед. Мне казалось — я повисла в воздухе и вот-вот полечу. Такая красота, такая легкость! Я оборачиваюсь назад и говорю проводнику в восторге: «Что? Хорошо, Сеид-оглы?» А он только языком почмокал: «Эх, барина, как мине все это надоел. Каж-дый день видим».

— Благодарю за сравнение, — засмеялась Вера, — нет, я только думаю, что нам, северянам, никогда не понять прелести моря. Я люблю лес. Помнишь лес у нас в Егоровском?.. Разве может он когда-нибудь прискучить? Сосны!.. А какие мхи!.. А мухоморы! Точно из красного атласа и вышиты белым бисером. Тишина такая... прохлада.

— Мне все равно, я все люблю, — ответила Анна. — А больше всего я люблю мою сестренку, мою благоразумную Вереньку. Нас ведь только двое на свете.

Она обняла старшую сестру и прижалась к ней, щека к щеке. И вдруг спохватилась.

— Нет, какая же я глупая! Мы с тобою, точно в романе, сидим и разговариваем о природе, а я совсем забыла про мой подарок. Вот посмотри. Я боюсь только, понравится ли?

Она достала из своего ручного мешочка маленькую записную книжку в удивительном переплете: на старом, стершемся и посеревшем от времени синем бар-

хате вился тускло-золотой филигранный узор редкой сложности, тонкости и красоты, — очевидно, любовное дело рук искусного и терпеливого художника. Книжка была прикреплена к тоненькой, как нитка, золотой цепочке, листки в середине были заменены таблетками из слоновой кости.

— Какая прекрасная вещь! Прелесть! — сказала Вера и поцеловала сестру. — Благодарю тебя. Где ты достала такое сокровище?

— В одной антикварной лавочке. Ты ведь знаешь мою слабость рыться в старинном хламе. Вот я и набрела на этот молитвенник. Посмотри, видишь, как здесь орнамент делает фигуру креста. Правда, я нашла только один переплет, остальное все пришлось придумывать — листочки, застежки, карандаш. Но Моллине совсем не хотел меня понять, как я ему ни толковала. Застежки должны были быть в таком же стиле, как и весь узор, матовые, старого золота, тонкой резьбы, а он бог знает что сделал. Зато цепочка настоящая венецианская, очень древняя.

Вера ласково погладила прекрасный переплет.

— Какая глубокая старина!.. Сколько может быть этой книжке? — спросила она.

— Я боюсь определить точно. Приблизительно конец семнадцатого века, середина восемнадцатого...

— Как странно, — сказала Вера с задумчивой улыбкой. — Вот я держу в своих руках вещь, которой, может быть, касались руки маркизы Помпадур или самой королевы Антуанетты... Но знаешь, Анна, это только тебе могла прийти в голову шальная мысль переделать молитвенник в дамский carnet [1]. Однако все-таки пойдем посмотрим, что там у нас делается.

Они прошли в дом через большую каменную террасу, со всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда «изабелла». Черные обильные гроздья, издававшие слабый запах клубники, тяжело свисали между темной, кое-где озолоченной солнцем зеленью. По всей

---

[1] Записная книжка *(франц.)*.

террасе разливался зеленый полусвет, от которого лица женщин сразу побледнели.

— Ты велишь здесь накрывать? — спросила Анна.

— Да, я сама так думала сначала... Но теперь вечера такие холодные. Уж лучше в столовой. А мужчины пусть сюда уходят курить.

— Будет кто-нибудь интересный?

— Я еще не знаю. Знаю только, что будет наш дедушка.

— Ах, дедушка милый. Вот радость! — воскликнула Анна и всплеснула руками. — Я его, кажется, сто лет не видала.

— Будет сестра Васи и, кажется, профессор Спешников. Я вчера, Анненька, просто голову потеряла. Ты знаешь, что они оба любят покушать — и дедушка и профессор. Но ни здесь, ни в городе — ничего не достанешь ни за какие деньги. Лука отыскал где-то перепелов — заказал знакомому охотнику — и что-то мудрит над ними. Ростбиф достали сравнительно недурной — увы! — неизбежный ростбиф. Очень хорошие раки.

— Ну что ж, не так уж дурно. Ты не тревожься. Впрочем, между нами, у тебя у самой есть слабость вкусно поесть.

— Но будет и кое-что редкое. Сегодня утром рыбак принес морского петуха. Я сама видела. Прямо какое-то чудовище. Даже страшно.

Анна, до жадности любопытная ко всему, что ее касалось и что не касалось, сейчас же потребовала, чтобы ей принесли показать морского петуха.

Пришел высокий, бритый, желтолицый повар Лука с большой продолговатой белой лоханью, которую он с трудом, осторожно держал за ушки, боясь расплескать воду на паркет.

— Двенадцать с половиною фунтов, ваше сиятельство, — сказал он с особенной поварской гордостью. — Мы давеча взвешивали.

Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне, завернув хвост. Ее чешуя отливала золотом, плавники были ярко-красного цвета, а от громадной

хищной морды шли в стороны два нежно-голубых складчатых, как веер, длинных крыла. Морской петух был еще жив и усиленно работал жабрами.

Младшая сестра осторожно дотронулась мизинцем до головы рыбы. Но петух неожиданно всплеснул хвостом, и Анна с визгом отдернула руку.

— Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, все в лучшем виде устроим, — сказал повар, очевидно понимавший тревогу Анны. — Сейчас болгарин принес две дыни. Ананасные. На манер, вроде как канталупы, но только запах куда ароматнее. И еще осмелюсь спросить ваше сиятельство, какой соус прикажете подавать к петуху: тартар или польский, а то можно просто сухари в масле?

— Делай, как знаешь. Ступай! — приказала княгиня.

IV

После пяти часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович привез с собою вдовую сестру Людмилу Львовну, по мужу Дурасову, полную, добродушную и необыкновенно молчаливую женщину; светского молодого богатого шалопая и кутилу Васючка́, которого весь город знал под этим фамильярным именем, очень приятного в обществе уменьем петь и декламировать, а также устраивать живые картины, спектакли и благотворительные базары; знаменитую пианистку Женни Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а также своего шурина Николая Николаевича. За ними приехал на автомобиле муж Анны, с бритым толстым, безобразно огромным профессором Спешниковым и с местным вице-губернатором фон Зекком. Позднее других приехал генерал Аносов, в хорошем наемном ландо, в сопровождении двух офицеров: штабного полковника Понамарева, преждевременно состарившегося, худого, желчного человека, изможденного непосильной канцелярской работой, и гвардейского гусарского поручика Бахтинского, который славился в Петербурге как лучший танцор и несравненный распорядитель балов.

Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с подножки, держась одной рукой за поручни козел, а другой — за задок экипажа. В левой руке он держал слуховой рожок, а в правой — палку с резиновым наконечником. У него было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, расположенных лучистыми, припухлыми полукругами, какое свойственно мужественным и простым людям, видавшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть. Обе сестры, издали узнавшие его, подбежали к коляске как раз вовремя, чтобы полушутя, полусерьезно поддержать его с обеих сторон под руки.

— Точно... архиерея! — сказал генерал ласковым хриповатым басом.

— Дедушка, миленький, дорогой! — говорила Вера тоном легкого упрека. — Каждый день вас ждем, а вы хоть бы глаза показали.

— Дедушка у нас на юге всякую совесть потерял, — засмеялась Анна. — Можно было бы, кажется, вспомнить о крестной дочери. А вы держите себя донжуаном, бесстыдник, и совсем забыли о нашем существовании...

Генерал, обнажив свою величественную голову, целовал поочередно руки у обеих сестер, потом целовал их в щеки и опять в руку.

— Девочки... подождите... не бранитесь, — говорил он, перемежая каждое слово вздохами, происходившими от давнишней одышки. — Честное слово... докторишки разнесчастные... все лето купали мои ревматизмы... в каком-то грязном... киселе... ужасно пахнет... И не выпускали... Вы первые... к кому приехал... Ужасно рад... с вами увидеться... Как прыгаете?.. Ты, Верочка... совсем леди... очень стала похожа... на покойницу мать... Когда крестить позовешь?

— Ой, боюсь, дедушка, что никогда...

— Не отчаивайся... все впереди... Молись богу... А ты, Аня, вовсе не изменилась... Ты и в шестьдесят лет... будешь такая же стрекоза-егоза. Постойте-ка. Давайте я вам представлю господ офицеров.

— Я уже давно имел эту честь! — сказал полковник Понамарев, кланяясь.

— Я был представлен княгине в Петербурге, — подхватил гусар.

— Ну, так представлю тебе, Аня, поручика Бахтинского. Танцор и буян, но хороший кавалерист. Вынька, Бахтинский, милый мой, там из коляски... Пойдемте, девочки... Чем, Верочка, будешь кормить? У меня... после лиманного режима... аппетит, как у выпускного... прапорщика.

Генерал Аносов был боевым товарищем и преданным другом покойного князя Мирза-Булат-Тугановского. Всю нежную дружбу и любовь он после смерти князя перенес на его дочерей. Он знал их еще совсем маленькими, а младшую Анну даже крестил. В то время — как и до сих пор — он был комендантом большой, но почти упраздненной крепости в г. К. и ежедневно бывал в доме Тугановских. Дети просто обожали его за баловство, за подарки, за ложи в цирк и театр и за то, что никто так увлекательно не умел играть с ними, как Аносов. Но больше всего их очаровывали и крепче всего запечатлелись в их памяти его рассказы о военных походах, сражениях и стоянках на бивуаках, о победах и отступлениях, о смерти, ранах и лютых морозах, — неторопливые, эпически-спокойные, простосердечные рассказы, рассказываемые между вечерним чаем и тем скучным часом, когда детей позовут спать.

По нынешним нравам этот обломок старины представлялся исполинской и необыкновенно живописной фигурой. В нем совмещались именно те простые, но трогательные и глубокие черты, которые даже и в его времена гораздо чаще встречались в рядовых, чем в офицерах, те чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда нашего солдата не только непобедимым, но и великомучеником, почти святым, — черты, состоявшие из бесхитростной, наивной веры, ясного, добродушно-веселого взгляда на жизнь, холодной и деловой отваги, покорства перед лицом смерти, жалости к побежденному, бесконечному терпению и поразительной физической и нравственной выносливости.

Аносов, начиная с польской войны, участвовал во всех кампаниях, кроме японской. Он и на эту войну пошел бы без колебаний, но его не позвали, а у него всегда было великое по скромности правило: «Не лезь на смерть, пока тебя не позовут». За всю свою службу он не только никогда не высек, но даже не ударил ни одного солдата. Во время польского мятежа он отказался однажды расстреливать пленных, несмотря на личное приказание полкового командира. «Шпиона я не только расстреляю, — сказал он, — но, если прикажете, лично убью. А это пленные, и я не могу». И сказал он это так просто, почтительно, без тени вызова или рисовки, глядя прямо в глаза начальнику своими ясными, твердыми глазами, что его, вместо того чтобы самого расстрелять, оставили в покое.

В войну 1877—1879 годов он очень быстро дослужился до чина полковника, несмотря на то, что был мало образован, или, как он сам выражался, кончил только «медвежью академию». Он участвовал при переправе через Дунай, переходил Балканы, отсиживался на Шипке, был при последней атаке Плевны; ранили его один раз тяжело, четыре — легко, и, кроме того, он получил осколком гранаты жестокую контузию в голову. Радецкий и Скобелев знали его лично и относились к нему с исключительным уважением. Именно про него и сказал как-то Скобелев: «Я знаю одного офицера, который гораздо храбрее меня, — это майор Аносов».

С войны он вернулся почти оглохший благодаря осколку гранаты, с больной ногой, на которой были ампутированы три отмороженных во время балканского перехода пальца, с жесточайшим ревматизмом, нажитым на Шипке. Его хотели было по истечении двух лет мирной службы упечь в отставку, но Аносов заупрямился. Тут ему очень кстати помог своим влиянием начальник края, живой свидетель его хладнокровного мужества при переправе через Дунай. В Петербурге решили не огорчать заслуженного полковника, и ему дали пожизненное место коменданта в г. К. — должность более почетную, чем нужную в целях государственной обороны.

В городе его все знали от мала до велика и добродушно посмеивались над его слабостями, привычками и манерой одеваться. Он всегда ходил без оружия, в старомодном сюртуке, в фуражке с большими полями и с громадным прямым козырьком, с палкою в правой руке, со слуховым рожком в левой и непременно в сопровождении двух ожиревших, ленивых, хриплых мопсов, у которых всегда кончик языка был высунут наружу и прикушен. Если ему во время обычной утренней прогулки приходилось встречаться со знакомыми, то прохожие за несколько кварталов слышали, как кричит комендант и как дружно вслед за ним лают его мопсы.

Как многие глухие, он был страстным любителем оперы, и иногда, во время какого-нибудь томного дуэта, вдруг на весь театр раздавался его решительный бас: «А ведь чисто взял до, черт возьми! Точно орех разгрыз». По театру проносился сдержанный смех, но генерал даже и не подозревал этого: по своей наивности он думал, что шепотом обменялся со своим соседом свежим впечатлением.

По обязанности коменданта он довольно часто, вместе со своими хрипящими мопсами, посещал главную гауптвахту, где весьма уютно за винтом, чаем и анекдотами отдыхали от тягот военной службы арестованные офицеры. Он внимательно расспрашивал каждого: «Как фамилия? Кем посажен? На сколько? За что?» Иногда совершенно неожиданно хвалил офицера за бравый, хотя и противозаконный поступок, иногда начинал распекать, крича так, что его бывало слышно на улице. Но, накричавшись досыта, он без всяких переходов и пауз осведомлялся, откуда офицеру носят обед и сколько он за него платит. Случалось, что какой-нибудь заблудший подпоручик, присланный для долговременной отсидки из такого захолустья, где даже не имелось собственной гауптвахты, признавался, что он, по безденежью, довольствуется из солдатского котла. Аносов немедленно распоряжался, чтобы бедняге носили обед из комендантского дома, от которого до гауптвахты было не более двухсот шагов.

В г. К. он и сблизился с семьей Тугановских и такими тесными узами привязался к детям, что для него

стало душевной потребностью видеть их каждый вечер. Если случалось, что барышни выезжали куда-нибудь или служба задерживала самого генерала, то он искренно тосковал и не находил себе места в больших комнатах комендантского дома. Каждое лето он брал отпуск и проводил целый месяц в имении Тугановских, Егоровском, отстоявшем от К. на пятьдесят верст.

Он всю свою скрытую нежность души и потребность сердечной любви перенес на эту детвору, особенно на девочек. Сам он был когда-то женат, но так давно, что даже позабыл об этом. Еще до войны жена сбежала от него с проезжим актером, пленясь его бархатной курткой и кружевными манжетами. Генерал посылал ей пенсию вплоть до самой ее смерти, но в дом к себе не пустил, несмотря на сцены раскаяния и слезные письма. Детей у них не было.

V

Против ожидания, вечер был так тих и тепел, что свечи на террасе и в столовой горели неподвижными огнями. За обедом всех потешал князь Василий Львович. У него была необыкновенная и очень своеобразная способность рассказывать. Он брал в основу рассказа истинный эпизод, где главным действующим лицом являлся кто-нибудь из присутствующих или общих знакомых, но так сгущал краски и при этом говорил с таким серьезным лицом и таким деловым тоном, что слушатели надрывались от смеха. Сегодня он рассказывал о неудавшейся женитьбе Николая Николаевича на одной богатой и красивой даме. В основе было только то, что муж дамы не хотел давать ей развода. Но у князя правда чудесно переплелась с вымыслом. Серьезного, всегда несколько чопорного Николая он заставил ночью бежать по улице в одних чулках, с башмаками под мышкой. Где-то на углу молодого человека задержал городовой, и только после длинного и бурного объяснения Николаю удалось доказать, что он товарищ прокурора, а не ночной грабитель. Свадьба, по словам рассказчика, чуть-чуть было не состоялась, но в самую критическую минуту отчаян-

ная банда лжесвидетелей, участвовавших в деле, вдруг забастовала, требуя прибавки к заработной плате. Николай из скупости (он и в самом деле был скуповат), а также будучи принципиальным противником стачек и забастовок, наотрез отказался платить лишнее, ссылаясь на определенную статью закона, подтвержденную мнением кассационного департамента. Тогда рассерженные лжесвидетели на известный вопрос: «Не знает ли кто-нибудь из присутствующих поводов, препятствующих совершению брака?» — хором ответили: «Да, знаем. Все показанное нами на суде под присягой — сплошная ложь, к которой нас принудил угрозами и насилием господин прокурор. А про мужа этой дамы мы, как осведомленные лица, можем сказать только, что это самый почтенный человек на свете, целомудренный, как Иосиф, и ангельской доброты».

Напав на нить брачных историй, князь Василий не пощадил и Густава Ивановича Фриессе, мужа Анны, рассказав, что он на другой день после свадьбы явился требовать при помощи полиции выселения новобрачной из родительского дома, как не имеющую отдельного паспорта, и водворения ее на место проживания законного мужа. Верного в этом анекдоте было только то, что в первые дни замужней жизни Анна должна была безотлучно находиться около захворавшей матери, так как Вера спешно уехала к себе на юг, а бедный Густав Иванович предавался унынию и отчаянию.

Все смеялись. Улыбалась и Анна своими прищуренными глазами. Густав Иванович хохотал громко и восторженно, и его худое, гладко обтянутое блестящей кожей лицо, с прилизанными жидкими, светлыми волосами, с ввалившимися глазными орбитами, походило на череп, обнажавший в смехе прескверные зубы. Он до сих пор обожал Анну, как и в первый день супружества, всегда старался сесть около нее, незаметно притронуться к ней и ухаживал за нею так влюбленно и самодовольно, что часто становилось за него и жалко и неловко.

Перед тем как вставать из-за стола, Вера Николаевна машинально пересчитала гостей. Оказалось — тринадцать. Она была суеверна и подумала про себя:

«Вот это нехорошо! Как мне раньше не пришло в голову посчитать? И Вася виноват — ничего не сказал по телефону».

Когда у Шеиных или у Фриессе собирались близкие знакомые, то после обеда обыкновенно играли в покер, так как обе сестры до смешного любили азартные игры. В обоих домах даже выработались на этот счет свои правила: всем играющим раздавались поровну костяные жетончики определенной цены, и игра длилась до тех пор, пока все костяшки не переходили в одни руки, — тогда игра на этот вечер прекращалась, как бы партнеры ни настаивали на продолжении. Брать из кассы во второй раз жетоны строго запрещалось. Такие суровые законы были выведены из практики, для обуздания княгини Веры и Анны Николаевны, которые в азарте не знали никакого удержу. Общий проигрыш редко достигал ста — двухсот рублей.

Сели за покер и на этот раз. Вера, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю, но вдруг ее с несколько таинственным видом вызвала из гостиной горничная.

— Что такое, Даша? — с неудовольствием спросила княгиня Вера, проходя в свой маленький кабинет, рядом со спальней. — Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите в руках?

Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой.

— Я, ей-богу, не виновата, ваше сиятельство, — залепетала она, вспыхнув румянцем от обиды. — Он пришел и сказал...

— Кто такой — он?

— Красная шапка, ваше сиятельство... посыльный.

— И что же?

— Пришел на кухню и положил вот это на стол. «Передайте, говорит, вашей барыне. Но только, говорит, в ихние собственные руки». Я спрашиваю: от кого? А он говорит: «Здесь все обозначено». И с теми словами убежал.

— Подите догоните его.

— Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он при-

ходил в середине обеда, я только вас не решалась обеспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет.

— Ну хорошо, идите.

Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, на которой был написан ее адрес. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша, видимо только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Она быстро развернула бумажку. Почерк показался ей знакомым, но, как настоящая женщина, она сейчас же отложила записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет.

Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни.

«Точно кровь!» — подумала с неожиданной тревогой Вера.

Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она прочитала следующие строки, написанные мелко, великолепно-каллиграфическим почерком:

«Ваше Сиятельство,
Глубокоуважаемая Княгиня
Вера Николаевна!

Почтительно поздравляя Вас с светлым и радостным днем Вашего Ангела, я осмеливаюсь препроводить Вам мое скромное верноподданническое подношение».

«Ах, это — тот!» — с неудовольствием подумала Вера. Но, однако, дочитала письмо...

«Я бы никогда не позволил себе преподнести Вам что-либо, выбранное мною лично: для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса и — признаюсь — ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить Вас.

Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последняя, по времени, его носила моя покойная матушка. Посередине, между большими камнями, Вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната — зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти.

Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и Вы можете быть уверены, что до Вас никто еще этого браслета не надевал.

Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались Ваши руки.

Умоляю Вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости семь лет тому назад, когда Вам, барышне, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только желать ежеминутно Вам счастья и радоваться, если Вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой Вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам.

Еще раз прошу прощения, что обеспокоил Вас длинным, ненужным письмом.

Ваш до смерти и после смерти покорный слуга.

Г. С. Ж.»

«Показать Васе или не показать? И если показать — то когда? Сейчас или после гостей? Нет, уж лучше после — теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним».

Так раздумывала княгиня Вера и не могла отвести глаз от пяти алых кровавых огней, дрожавших внутри пяти гранатов.

VI

Полковника Понамарева едва удалось заставить сесть играть в покер. Он говорил, что не знает этой игры, что вообще не признает азарта даже в шутку, что любит и сравнительно хорошо играет только в винт. Однако он не устоял перед просьбами и в конце концов согласился.

Сначала его приходилось учить и поправлять, но он довольно быстро освоился с правилами покера, и вот не прошло и получаса, как все фишки очутились перед ним.

— Так нельзя! — сказала с комической обидчивостью Анна. — Хоть бы немного дали поволноваться.

Трое из гостей — Спешников, полковник и вице-губернатор, туповатый, приличный и скучный немец, — были такого рода люди, что Вера положительно не знала, как их занимать и что с ними делать. Она составила для них винт, пригласив четвертым Густава Ивановича. Анна издали, в виде благодарности, прикрыла глаза веками, и сестра сразу поняла ее. Все знали, что если не усадить Густава Ивановича за карты, то он целый вечер будет ходить около жены, как пришитый, скаля свои гнилые зубы на лице черепа и портя жене настроение духа.

Теперь вечер потек ровно, без принуждения, оживленно. Васючок пел вполголоса, под аккомпанемент Женни Рейтер, итальянские народные канцонетты и рубинштейновские восточные песни. Голосок у него был маленький, но приятного тембра, послушный и верный. Женни Рейтер, очень требовательная музыкантша, всегда охотно ему аккомпанировала. Впрочем, говорили, что Васючок за нею ухаживает.

В углу на кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром. Вера подошла и с улыбкой прислушалась.

— Нет, нет, вы, пожалуйста, не смейтесь, — весело говорила Анна, щуря на офицера свои милые, задор-

ные татарские глаза. — Вы, конечно, считаете за труд лететь сломя голову впереди эскадрона и брать барьеры на скачках. Но посмотрите только на наш труд. Вот теперь мы только что покончили с лотереей-аллегри. Вы думаете, это было легко? Фи! Толпа, накурено, какие-то дворники, извозчики, я не знаю, как их там зовут... И все пристают с жалобами, с какими-то обидами... И целый, целый день на ногах. А впереди еще предстоит концерт в пользу недостаточных интеллигентных тружениц, а там еще белый бал...

— На котором, смею надеяться, вы не откажете мне в мазурке? — вставил Бахтинский и, слегка наклонившись, щелкнул под креслом шпорами.

— Благодарю... Но самое, самое мое больное место — это наш приют. Понимаете, приют для порочных детей...

— О, вполне понимаю. Это, должно быть, что-нибудь очень смешное?

— Перестаньте, как вам не совестно смеяться над такими вещами. Но вы понимаете, в чем наше несчастие? Мы хотим приютить этих несчастных детей, с душами, полными наследственных пороков и дурных примеров, хотим обогреть их, обласкать...

— Гм!..

— ...поднять их нравственность, пробудить в их душах сознание долга... Вы меня понимаете? И вот к нам ежедневно приводят детей сотнями, тысячами, но между ними — ни одного порочного! Если спросишь родителей, не порочное ли дитя, — так можете представить — они даже оскорбляются! И вот приют открыт, освящен, все готово — и ни одного воспитанника, ни одной воспитанницы! Хоть премию предлагай за каждого доставленного порочного ребенка.

— Анна Николаевна, — серьезно и вкрадчиво перебил ее гусар. — Зачем премию? Возьмите меня бесплатно. Честное слово, более порочного ребенка вы нигде не отыщете.

— Перестаньте! С вами нельзя говорить серьезно, — расхохоталась она, откидываясь на спинку кушетки и блестя глазами.

Князь Василий Львович, сидя за большим круглым столом, показывал своей сестре, Аносову и шурину домашний юмористический альбом с собственноручными рисунками. Все четверо смеялись от души, и это понемногу перетянуло сюда гостей, не занятых картами.

Альбом служил как бы дополнением, иллюстрацией к сатирическим рассказам князя Василия. Со своим непоколебимым спокойствием он показывал, например: «Историю любовных похождений храброго генерала Аносова в Турции, Болгарии и других странах»; «Приключение петиметра князя Николя Булат-Тугановского в Монте-Карло» и так далее.

— Сейчас увидите, господа, краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны, — говорил он, бросая быстрый смешливый взгляд на сестру. — Часть первая — детство. «Ребенок рос, его назвали Лима».

На листке альбома красовалась умышленно по-детски нарисованная фигура девочки, с лицом в профиль, но с двумя глазами, с ломаными черточками, торчащими вместо ног из-под юбки, с растопыренными пальцами разведенных рук.

— Никогда меня никто не называл Лимой, — засмеялась Людмила Львовна.

— Часть вторая. Первая любовь. Кавалерийский юнкер подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного изделия. Там есть поистине жемчужной красоты строки:

Твоя прекрасная нога —
Явленье страсти неземной!

Вот и подлинное изображение ноги.

А здесь юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из родительского дома. Здесь самое бегство. А это вот — критическое положение: разгневанный отец догоняет беглецов. Юнкер малодушно сваливает всю беду на кроткую Лиму.

Ты там все пудрилась, час лишний провороня,
И вот за нами вслед ужасная погоня...
Как хочешь с ней разделывайся ты,
А я бегу в кусты!

После истории девицы Лимы следовала новая повесть: «Княгиня Вера и влюбленный телеграфист».

— Эта трогательная поэма только лишь иллюстрирована пером и цветными карандашами, — объяснял серьезно Василий Львович. — Текст еще изготовляется.

— Это что-то новое, — заметил Аносов, — я еще этого не видал.

— Самый последний выпуск. Свежая новость книжного рынка.

Вера тихо дотронулась до его плеча.

— Лучше не нужно, — сказала она.

Но Василий Львович или не расслышал ее слов, или не придал им настоящего значения.

— Начало относится к временам доисторическим. В один прекрасный майский день одна девица, по имени Вера, получает по почте письмо с целующимися голубками на заголовке. Вот письмо, а вот и голуби.

Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написанное вопреки всем правилам орфографии. Начинается оно так: «Прекрасная Блондина, ты, которая... бурное море пламени, клокочущее в моей груди. Твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу» и так далее. В конце скромная подпись: «По роду оружия я бедный телеграфист, но чувства мои достойны милорда Георга. Не смею открывать моей полной фамилии — она слишком неприлична. Подписываюсь только начальными буквами: П. П. Ж. Прошу отвечать мне в почтамт, посте́ рестанте́». Здесь вы, господа, можете видеть и портрет самого телеграфиста, очень удачно исполненный цветными карандашами.

Сердце Веры пронзено (вот сердце, вот стрела). Но, как благонравная и воспитанная девица, она показывает письмо почтенным родителям, а также своему другу детства и жениху, красивому молодому человеку Васе Шеину. Вот и иллюстрация. Конечно, со временем здесь будут стихотворные объяснения к рисункам.

Вася Шеин, рыдая, возвращает Вере обручальное кольцо. «Я не смею мешать твоему счастию, — говорит он, — но, умоляю, не делай сразу решительного шага. Подумай, поразмысли, проверь и себя и его. Дитя, ты не знаешь жизни и летишь, как мотылек на блестящий

огонь. А я — увы! — я знаю хладный и лицемерный свет. Знай, что телеграфисты увлекательны, но коварны. Для них доставляет неизъяснимое наслаждение обмануть своей гордой красотой и фальшивыми чувствами неопытную жертву и жестоко насмеяться над ней».

Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого молодого Васю, но телеграфист не забывает ее. Вот он переодевается трубочистом и, вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались, как видите, повсюду: на коврах, на подушках, на обоях и даже на паркете.

Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность повара Луки заставляет его обратиться в бегство.

Вот он в сумасшедшем доме. А вот постригся в монахи. Но каждый день неуклонно посылает он Вере страстные письма. И там, где падают на бумагу его слезы, там чернила расплываются кляксами.

Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов — наполненный его слезами...

— Господа, кто хочет чаю? — спросила Вера Николаевна.

VII

Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая, узенькая, как щель, полоска, рдевшая на самом краю горизонта, между сизой тучей и землей. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи, да голубой луч от маяка подымался прямо вверх тонким столбом и точно расплескивался там о небесный купол жидким, туманным, светлым кругом. Ночные бабочки бились о стеклянные колпаки свечей. Звездчатые цветы белого табака в палисаднике запахли острее из темноты и прохлады.

Спешников, вице-губернатор и полковник Понамарев давно уже уехали, обещав прислать лошадей обратно со станции трамвая за комендантом. Оставшиеся гости сидели на террасе. Генерала Аносова, несмотря на его протесты, сестры заставили надеть пальто и укутали его ноги теплым пледом. Перед ним стояла бутылка его любимого красного вина Pommard, рядом с ним по обеим сторонам сидели Вера и Анна. Они заботливо ухаживали за генералом, наполняли тяжелым, густым вином его тонкий стакан, придвигали ему спички, нарезали сыр и так далее. Старый комендант жмурился от блаженства.

— Да-с... Осень, осень, осень, — говорил старик, глядя на огонь свечи и задумчиво покачивая головой. — Осень. Вот и мне уж пора собираться. Ах жаль-то как! Только что настали красные денечки. Тут бы жить да жить на берегу моря, в тишине, спокойненько...

— И пожили бы у нас, дедушка, — сказала Вера.

— Нельзя, милая, нельзя. Служба... Отпуск кончился... А что говорить, хорошо бы было! Ты посмотри только, как розы-то пахнут... Отсюда слышу. А летом в жары ни один цветок не пахнул, только белая акация... да и та конфетами.

Вера вынула из вазочки две маленьких розы, розовую и карминную, и вдела их в петлицу генеральского пальто.

— Спасибо, Верочка. — Аносов нагнул голову к борту шинели, понюхал цветы и вдруг улыбнулся славной старческой улыбкой.

— Пришли мы, помню я, в Букарест и разместились по квартирам. Вот как-то иду я по улице. Вдруг повеял на меня сильный розовый запах, я остановился и увидал, что между двух солдат стоит прекрасный хрустальный флакон с розовым маслом. Они смазали уже им сапоги и также ружейные замки. «Что это у вас такое?» — спрашиваю. «Какое-то масло, ваше высокоблагородие, клали его в кашу, да не годится, так и дерет рот, а пахнет оно хорошо». Я дал им целковый, и они с удовольствием отдали мне его. Масла уже оставалось не более половины, но, судя по его дороговизне, было

еще по крайней мере на двадцать червонцев. Солдаты, будучи довольны, добавили: «Да вот еще, ваше высокоблагородие, какой-то турецкий горох, сколько его ни варили, а все не подается проклятый». Это был кофе; я сказал им: «Это только годится туркам, а солдатам нейдет». К счастию, опиуму они не наелись. Я видел в некоторых местах его лепешки, затоптанные в грязи.

— Дедушка, скажите откровенно, — попросила Анна, — скажите, испытывали вы страх во время сражений? Боялись?

— Как это странно, Аннечка: боялся — не боялся. Понятное дело — боялся. Ты не верь, пожалуйста, тому, кто тебе скажет, что не боялся и что свист пуль для него самая сладкая музыка. Это или псих, или хвастун. Все одинаково боятся. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь: страх-то остается всегда один и тот же, а уменье держать себя от практики все возрастает: отсюда и герои и храбрецы. Так-то. Но испугался я один раз чуть не до смерти.

— Расскажите, дедушка, — попросили в один голос сестры.

Они до сих пор слушали рассказы Аносова с тем же восторгом, как и в их раннем детстве. Анна даже невольно совсем по-детски расставила локти на столе и уложила подбородок на составленные пятки ладоней. Была какая-то уютная прелесть в его неторопливом и наивном повествовании. И самые обороты фраз, которыми он передавал свои военные воспоминания, принимали у него невольно странный, неуклюжий, несколько книжный характер. Точно он рассказывал по какому-то милому древнему стереотипу.

— Рассказ очень короткий, — отозвался Аносов. — Это было на Шипке, зимой, уже после того как меня контузили в голову. Жили мы в землянке, вчетвером. Вот тут-то со мною и случилось страшное приключение. Однажды поутру, когда я встал с постели, представилось мне, что я не Яков, а Николай, и никак я не мог себя переуверить в том. Приметив, что у меня делается помрачение ума, закричал, чтобы подали мне воды, помочил голову, и рассудок мой воротился.

— Воображаю, Яков Михайлович, сколько вы там побед одержали над женщинами, — сказала пианистка Женни Рейтер. — Вы, должно быть, смолоду очень красивы были.

— О, наш дедушка и теперь красавец! — воскликнула Анна.

— Красавцем не был, — спокойно улыбаясь, сказал Аносов. — Но и мной тоже не брезговали. Вот в этом же Букаресте был очень трогательный случай. Когда мы в него вступили, то жители встретили нас на городской площади с пушечною пальбою, от чего пострадало много окошек; но те, на которых поставлена была в стаканах вода, — остались невредимы. А почему я это узнал? А вот почему. Пришедши на отведенную мне квартиру; я увидел на окошке стоящую низенькую клеточку, на клеточке была большого размера хрустальная бутылка с прозрачною водой, в ней плавали золотые рыбки, и между ними сидела на примосточке канарейка. Канарейка в воде! — это меня удивило, но, осмотрев, увидел, что в бутылке дно широко и вдавлено глубоко в середину, так что канарейка свободно могла влетать туда и сидеть. После сего сознался сам себе, что я очень недогадлив.

Вошел я в дом и вижу прехорошенькую болгарочку. Я предъявил ей квитанцию на постой и кстати уж спросил, почему у них целы стекла после канонады, и она мне объяснила, что это от воды. А также объяснила и про канарейку: до чего я был несообразителен!.. И вот среди разговора взгляды наши встретились, между нами пробежала искра, подобная электрической, и я почувствовал, что влюбился сразу — пламенно и бесповоротно.

Старик замолчал и осторожно потянул губами черное вино.

— Но ведь вы все-таки объяснились с ней потом? — спросила пианистка.

— Гм... конечно, объяснились... Но только без слов. Это произошло так...

— Дедушка, надеюсь, вы не заставите нас краснеть? — заметила Анна, лукаво смеясь.

— Нет, нет, — роман был самый приличный. Видите ли, всюду, где мы останавливались на постой, городские жители имели свои исключения и прибавления, но в Букаресте так коротко обходились с нами жители, что когда однажды я стал играть на скрипке, то девушки тотчас нарядились и пришли танцевать, и такое обыкновение повелось на каждый день.

Однажды, во время танцев, вечером, при освещении месяца, я вошел в сенцы, куда скрылась и моя болгарочка. Увидев меня, она стала притворяться, что перебирает сухие лепестки роз, которые, надо сказать, тамошние жители собирают целыми мешками. Но я обнял ее, прижал к своему сердцу и несколько раз поцеловал.

С тех пор, каждый раз, когда являлась луна на небе со звездами, спешил я к возлюбленной моей и все денные заботы на время забывал с нею. Когда же последовал наш поход из тех мест, мы дали друг другу клятву в вечной взаимной любви и простились навсегда.

— И все? — спросила разочарованно Людмила Львовна.

— А чего же вам больше? — возразил комендант.

— Нет, Яков Михайлович, вы меня извините — это не любовь, а просто бивуачное приключение армейского офицера.

— Не знаю, милая моя, ей-богу, не знаю — любовь это была или иное чувство...

— Да нет... скажите... неужели в самом деле вы никогда не любили настоящей любовью? Знаете, такой любовью, которая... ну, которая... словом... святой, чистой, вечной любовью... неземной... Неужели не любили?

— Право, не сумею вам ответить, — замялся старик, поднимаясь с кресла. — Должно быть, не любил. Сначала все было некогда: молодость, кутежи, карты, война... Казалось, конца не будет жизни, юности и здоровью. А потом оглянулся — и вижу, что я уже развалина... Ну, а теперь, Верочка, не держи меня больше. Я распрощаюсь... Гусар, — обратился он к Бахтинскому, — ночь теплая, пойдемте-ка навстречу нашему экипажу.

— И я пойду с вами, дедушка, — сказала Вера.

— И я, — подхватила Анна.

Перед тем как уходить, Вера подошла к мужу и сказала ему тихо:

— Поди посмотри... там у меня в столе, в ящичке, лежит красный футляр, а в нем письмо. Прочитай его.

VIII

Анна с Бахтинским шли впереди, а сзади их, шагов на двадцать, комендант под руку с Верой. Ночь была так черна, что в первые минуты, пока глаза не притерпелись после света к темноте, приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу. Аносов, сохранивший, несмотря на годы, удивительную зоркость, должен был помогать своей спутнице. Время от времени он ласково поглаживал своей большой холодной рукой руку Веры, легко лежавшую на сгибе его рукава.

— Смешная эта Людмила Львовна, — вдруг заговорил генерал, точно продолжая вслух течение своих мыслей. — Сколько раз я в жизни наблюдал: как только стукнет даме под пятьдесят, а в особенности если она вдова или старая девка, то так и тянет ее около чужой любви покрутиться. Либо шпионит, злорадствует и сплетничает, либо лезет устраивать чужое счастье, либо разводит словесный гуммиарабик насчет возвышенной любви. А я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви. Да и в мое время не видел!

— Ну как же это так, дедушка? — мягко возразила Вера, пожимая слегка его руку. — Зачем клеветать? Вы ведь сами были женаты. Значит, все-таки любили?

— Ровно ничего не значит, дорогая Верочка. Знаешь, как женился? Вижу, сидит около меня свежая девчонка. Дышит — грудь так и ходит под кофточкой. Опустит ресницы, длинные-длинные такие, и вся вдруг вспыхнет. И кожа на щеках нежная, шейка белая такая, невинная, и руки мяконькие, тепленькие. Ах ты, черт! А тут папа-мама ходят вокруг, за дверями подслушивают, глядят на тебя грустными такими, собачь-

ими, преданными глазами. А когда уходишь — за дверями этакие быстрые поцелуйчики... За чаем ножка тебя под столом как будто нечаянно тронет... Ну и готово. «Дорогой Никита Антоныч, я пришел к вам просить руки вашей дочери. Поверьте, что это святое существо...» А у папы уже и глаза мокрые, и уж целоваться лезет... «Милый! Я давно догадывался... Ну дай вам бог... Смотри только береги это сокровище...» И вот через три месяца святое сокровище ходит в затрепанном капоте, туфли на босу ногу, волосенки жиденькие, нечесаные, в папильотках, с денщиками собачится, как кухарка, с молодыми офицерами ломается, сюсюкает, взвизгивает, закатывает глаза. Мужа почему-то на людях называет Жаком. Знаешь, этак в нос, с растяжкой, томно: «Ж-а-а-ак». Мотовка, актриса, неряха, жадная. И глаза всегда лживые-лживые... Теперь все прошло, улеглось, утряслось. Я даже этому актеришке в душе благодарен... Слава богу, что детей не было...

— Вы простили им, дедушка?

— Простил — это не то слово, Верочка. Первое время был как бешеный. Если бы тогда увидел их, конечно убил бы обоих. А потом понемногу отошло и отошло, и ничего не осталось, кроме презрения. И хорошо. Избавил бог от лишнего пролития крови. И кроме того, избежал я общей участи большинства мужей. Что бы я был такое, если бы не этот мерзкий случай? Вьючный верблюд, позорный потатчик, укрыватель, дойная корова, ширма, какая-то домашняя необходимая вещь... Нет! Все к лучшему, Верочка.

— Нет, нет, дедушка, в вас все-таки, простите меня, говорит прежняя обида... А вы свой несчастный опыт переносите на все человечество. Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно назвать наш брак несчастливым?

Аносов довольно долго молчал. Потом протянул неохотно:

— Ну, хорошо... скажем — исключение... Но вот в большинстве-то случаев почему люди женятся? Возьмем женщину. Стыдно оставаться в девушках, особенно когда подруги уже повыходили замуж. Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главною в доме, дамой, самостоятельной... К тому же потреб-

ность, прямо физическая потребность материнства, и чтобы начать вить свое гнездо. А у мужчин другие мотивы. Во-первых, усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, окурков, разорванного и разрозненного белья, от долгов, от бесцеремонных товарищей и прочее и прочее. Во-вторых, чувствуешь, что семьей жить выгоднее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь: вот пойдут детишки, — я-то умру, а часть меня все-таки останется на свете... нечто вроде иллюзии бессмертия. В-четвертых, соблазн невинности, как в моем случае. Кроме того, бывают иногда и мысли о приданом. А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано — «сильна, как смерть»? Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение — вовсе не труд, а одна радость. Постой, постой, Вера, ты мне сейчас опять хочешь про твоего Васю? Право же, я его люблю. Он хороший парень. Почем знать, может быть, будущее и покажет его любовь в свете большой красоты. Но ты пойми, о какой любви я говорю. Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться.

— Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка? — тихо спросила Вера.

— Нет, — ответил старик решительно. — Я, правда, знаю два случая похожих. Но один был продиктован глупостью, а другой... так... какая-то кислота... одна жалость... Если хочешь, я расскажу. Это недолго.

— Прошу вас, дедушка.

— Ну, вот. В одном полку нашей дивизии (только не в нашем) была жена полкового командира. Рожа, я тебе скажу, Верочка, преестественная. Костлявая, рыжая, длинная, худущая, ротастая... Штукатурка с нее так и сыпалась, как со старого московского дома. Но, понимаешь, этакая полковая Мессалина: темперамент, властность, презрение к людям, страсть к разнообразию. Вдобавок — морфинистка.

И вот однажды, осенью, присылают к ним в полк новоиспеченного прапорщика, совсем желторотого во-

робья, только что из военного училища. Через месяц эта старая лошадь совсем овладела им. Он паж, он слуга, он раб, он вечный кавалер ее в танцах, носит ее веер и платок, в одном мундирчике выскакивает на мороз звать ее лошадей. Ужасная это штука, когда свежий и чистый мальчишка положит свою первую любовь к ногам старой, опытной и властолюбивой развратницы. Если он сейчас выскочил невредим — все равно в будущем считай его погибшим. Это — штамп на всю жизнь.

К рождеству он ей уже надоел. Она вернулась к одной из своих прежних, испытанных пассий. А он не мог. Ходит за ней, как привидение. Измучился весь, исхудал, почернел. Говоря высоким штилем — «смерть уже лежала на его высоком челе». Ревновал он ее ужасно. Говорят, целые ночи простаивал под ее окнами.

И вот однажды весной устроили они в полку какую-то маевку или пикник. Я и ее и его знал лично, но при этом происшествии не был. Как и всегда в этих случаях, было много выпито. Обратно возвращались ночью пешком по полотну железной дороги. Вдруг навстречу им идет товарный поезд. Идет очень медленно вверх, по довольно крутому подъему. Дает свистки. И вот, только что паровозные огни поравнялись с компанией, она вдруг шепчет на ухо прапорщику: «Вы всё говорите, что любите меня. А ведь, если я вам прикажу — вы, наверно, под поезд не броситесь». А он, ни слова не ответив, бегом — и под поезд. Он-то, говорят, верно рассчитал, как раз между передними и задними колесами: так бы его аккуратно пополам и перерезало. Но какой-то идиот вздумал его удерживать и отталкивать. Да не осилил. Прапорщик, как уцепился руками за рельсы, так ему обе кисти и оттяпало.

— Ох, какой ужас! — воскликнула Вера.

— Пришлось прапорщику оставить службу. Товарищи собрали ему кое-какие деньжонки на выезд. Оставаться-то в городе ему было неудобно: живой укор перед глазами и ей и всему полку. И пропал человек... самым подлым образом... стал попрошайкой... замерз где-то на пристани в Петербурге.

А другой случай был совсем жалкий. И такая же женщина была, как и первая, только молодая и краси-

вая. Очень и очень нехорошо себя вела. На что уж мы легко глядели на эти домашние романы, но даже и нас коробило. А муж — ничего. Все знал, все видел и молчал. Друзья намекали ему, а он только руками отмахивался. «Оставьте, оставьте... Не мое дело, не мое дело... Пусть только Леночка будет счастлива!..» Такой олух!

Под конец сошлась она накрепко с поручиком Вишняковым, субалтерном из ихней роты. Так втроем и жили в двумужественном браке — точно это самый законный вид супружества. А тут наш полк двинули на войну. Наши дамы провожали нас, провожала и она, и, право, даже смотреть было совестно: хотя бы для приличия взглянула разок на мужа, — нет, повесилась на своем поручике, как черт на сухой вербе, и не отходит. На прощанье, когда мы уже уселись в вагоны и поезд тронулся, так она еще мужу вслед, бесстыдница, крикнула: «Помни же, береги Володю! Если что-нибудь с ним случится — уйду из дому и никогда не вернусь. И детей заберу».

Ты, может быть, думаешь, что этот капитан был какая-нибудь тряпка? размазня? стрекозиная душа? Ничуть. Он был храбрым солдатом. Под Зелеными горами он шесть раз водил свою роту на турецкий редут, и у него от двухсот человек осталось только четырнадцать. Дважды раненный — он отказался идти на перевязочный пункт. Вот он был какой. Солдаты на него богу молились.

Но *она* велела... Его Леночка ему велела!

И он ухаживал за этим трусом и лодырем Вишняковым, за этим трутнем безмедовым, — как нянька, как мать. На ночлегах под дождем, в грязи, он укутывал его своей шинелью. Ходил вместо него на саперные работы, а тот отлеживался в землянке или играл в штосс. По ночам проверял за него сторожевые посты. А это, заметь, Веруня, было в то время, когда башибузуки вырезывали наши пикеты так же просто, как ярославская баба на огороде срезает капустные кочни. Ей-богу, хотя и грех вспоминать, но все обрадовались, когда узнали, что Вишняков скончался в госпитале от тифа...

— Ну, а женщин, дедушка, женщин вы встречали любящих?

— О, конечно, Верочка. Я даже больше скажу: я уверен, что почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Пойми, она целует, обнимает, отдается — и она *уже* мать. Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни — всю вселенную! Но вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Виноваты мужчины, в двадцать лет пресыщенные, с цыплячьими телами и заячьими душами, неспособные к сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью. Говорят, что раньше все это бывало. А если и не бывало, то разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества — поэты, романисты, музыканты, художники? Я на днях читал историю Машеньки Леско и кавалера де Грие... Веришь ли, слезами обливался... Ну скажи же, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви — единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и самоотверженной?

— О, конечно, конечно, дедушка...

— А раз ее нет, женщины мстят. Пройдет еще лет тридцать... я не увижу, но ты, может быть, увидишь, Верочка. Помяни мое слово, что лет через тридцать женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут одеваться, как индийские идолы. Они будут попирать нас, мужчин, как презренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти и капризы станут для нас мучительными законами. И все оттого, что мы целыми поколениями не умели преклоняться и благоговеть перед любовью. Это будет месть. Знаешь закон: сила действия равна силе противодействия.

Немного помолчав, он вдруг спросил:

— Скажи мне, Верочка, если только тебе не трудно, что это за история с телеграфистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий? Что здесь правда и что выдумка, по его обычаю?

— Разве вам интересно, дедушка?

— Как хочешь, как хочешь, Вера. Если тебе почему-либо неприятно...

— Да вовсе нет. Я с удовольствием расскажу.

И она рассказала коменданту со всеми подробностями о каком-то безумце, который начал преследовать ее своею любовью еще за два года до ее замужества.

Она ни разу не видела его и не знает его фамилии. Он только писал ей и в письмах подписывался Г. С. Ж. Однажды он обмолвился, что служит в каком-то казенном учреждении маленьким чиновником, — о телеграфе он не упоминал ни слова. Очевидно, он постоянно следил за ней, потому что в своих письмах весьма точно указывал, где она бывала на вечерах, в каком обществе и как была одета. Сначала письма его носили вульгарный и курьезно пылкий характер, хотя и были вполне целомудренны. Но однажды Вера письменно (кстати, не проболтайтесь, дедушка, об этом нашим: никто из них не знает) попросила его не утруждать ее больше своими любовными излияниями. С тех пор он замолчал о любви и стал писать лишь изредка: на пасху, на Новый год и в день ее именин. Княгиня Вера рассказала также и о сегодняшней посылке и даже почти дословно передала странное письмо своего таинственного обожателя...

— Да-а, — протянул генерал наконец. — Может быть, это просто ненормальный малый, маниак, а — почем знать? — может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины. Постой-ка. Видишь, впереди движутся фонари? Наверно, мой экипаж.

В то же время сзади послышалось зычное рявканье автомобиля, и дорога, изрытая колесами, засияла белым ацетиленовым светом. Подъехал Густав Иванович.

— Анночка, я захватил твои вещи. Садись, — сказал он. — Ваше превосходительство, не позволите ли довезти вас?

— Нет уж, спасибо, мой милый, — ответил генерал. — Не люблю я этой машины. Только дрожит и воняет, а радости никакой. Ну, прощай, Верочка. Теперь

я буду часто приезжать, — говорил он, целуя у Веры лоб и руки.

Все распрощались. Фриессе довез Веру Николаевну до ворот ее дачи и, быстро описав круг, исчез в темноте со своим ревущим и пыхтящим автомобилем.

IX

Княгиня Вера с неприятным чувством поднялась на террасу и вошла в дом. Она еще издали услышала громкий голос брата Николая и увидела его высокую, сухую фигуру, быстро сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного стола и, низко наклонив свою стриженую большую светловолосую голову, чертил мелком по зеленому сукну.

— Я давно настаивал! — говорил Николай раздраженно и делая правой рукой такой жест, точно он бросал на землю какую-то невидимую тяжесть. — Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Еще Вера за тебя замуж не выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешитесь ими, как ребятишки, видя в них только смешное... Вот, кстати, и сама Вера... Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоем сумасшедшем, о твоем Пе Пе Же. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой.

— Переписки вовсе не было, — холодно остановил его Шеин. — Писал лишь он один...

Вера покраснела при этих словах и села на диван в тень большой латании.

— Я извиняюсь за выражение, — сказал Николай Николаевич и бросил на землю, точно оторвав от груди, невидимый тяжелый предмет.

— А я не понимаю, почему ты называешь его моим, — вставила Вера, обрадованная поддержкой мужа. — Он так же мой, как и твой...

— Хорошо, еще раз извиняюсь. Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки... Поверьте, если я здесь о чем хлопочу и о чем волнуюсь, —

так это только о добром имени Веры и твоем, Василий Львович.

— Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля, — возразил Шеин.

— Может быть, может быть... Но вы легко рискуете попасть в смешное положение.

— Не вижу, каким способом, — сказал князь.

— Вообрази себе, что этот идиотский браслет... — Николай приподнял красный футляр со стола и тотчас же брезгливо бросил его на место, — что эта чудовищная поповская штучка останется у нас, или мы ее выбросим, или подарим Даше. Тогда, во-первых, Пе Пе Же может хвастаться своим знакомым или товарищам, что княгиня Вера Николаевна Шеина принимает его подарки, а во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он присылает кольцо с брильянтами, послезавтра жемчужное колье, а там — глядишь — сядет на скамью подсудимых за растрату или подлог, а князья Шеины будут вызваны в качестве свидетелей... Милое положение!

— Нет, нет, браслет надо непременно отослать обратно! — воскликнул Василий Львович.

— Я тоже так думаю, — согласилась Вера, — и как можно скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса.

— О, это-то совсем пустое дело! — возразил пренебрежительно Николай Николаевич. — Нам известны инициалы этого Пе Пе Же... Как его, Вера?

— Ге Эс Же.

— Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-нибудь я его не найду, то просто-напросто позову полицейского сыскного агента и прикажу отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках вот эта бумажка с его почерком. Одним словом, завтра к двум часам дня я буду знать в точности адрес и фамилию этого молодчика и даже часы, в которые он бывает дома. А раз я это узнаю, то мы не только завтра же возвратим ему его сокровище, а и примем меры, чтобы он уж

больше никогда не напоминал нам о своем существовании.

— Что ты думаешь сделать? — спросил князь Василий.

— Что? Поеду к губернатору и попрошу...

— Нет, только не к губернатору. Ты знаешь, каковы наши отношения... Тут прямая опасность попасть в смешное положение.

— Все равно. Поеду к жандармскому полковнику. Он мне приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает? Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается, и кричит: «Я, сударь, этого не потерплю-ю-ю!»

— Фи! Через жандармов! — поморщилась Вера.

— И правда, Вера, — подхватил князь. — Лучше уж в это дело никого посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплетни... Мы все достаточно хорошо знаем наш город. Все живут точно в стеклянных банках... Лучше уж я сам пойду к этому... юноше... хотя, бог его знает, может быть, ему шестьдесят лет?.. Вручу ему браслет и прочитаю хорошую, строгую нотацию.

— Тогда и я с тобой, — быстро прервал его Николай Николаевич. — Ты слишком мягок. Предоставь мне с ним поговорить... А теперь, друзья мои, — он вынул карманные часы и поглядел на них, — вы извините меня, если я пойду на минутку к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо просмотреть два дела.

— Мне почему-то стало жалко этого несчастного, — нерешительно сказала Вера.

— Жалеть его нечего! — резко отозвался Николай, оборачиваясь в дверях. — Если бы такую выходку с браслетом и письмом позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, — то сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвести его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канцелярии, я сообщу тебе по телефону.

X

Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед шестым этажом князь Василий Львович остановился.

— Подожди немножко, — сказал он шурину. — Дай я отдышусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать...

Они поднялись еще на два марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры.

На его звонок отворила дверь полная седая сероглазая женщина в очках, с немного согнутым вперед, видимо от какой-то болезни, туловищем.

— Господин Желтков дома? — спросил Николай Николаевич.

Женщина тревожно забегала глазами от глаз одного мужчины к глазам другого и обратно. Приличная внешность обоих, должно быть, успокоила ее.

— Дома, прошу, — сказала она, открывая дверь. — Первая дверь налево.

Булат-Тугановский постучал три раза коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри. Он еще раз постучал.

— Войдите, — отозвался слабый голос.

Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой очень большой и широкий диван, покрытый истрепанным прекрасным текинским ковром, посередине — стол, накрытый цветной малороссийской скатертью.

Лица хозяина сначала не было видно: он стоял спиною к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми, мягкими волосами.

— Если не ошибаюсь, господин Желтков? — спросил высокомерно Николай Николаевич.

— Желтков. Очень приятно. Позвольте представиться.

Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к Шеину.

— Я тебе говорил, что мы не ошиблись.

Худые, нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван и неловко кланяясь:

— Прошу покорно. Садитесь.

Теперь он стал весь виден: очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посредине; лет ему, должно быть, было около тридцати, тридцати пяти.

— Благодарю вас, — сказал просто князь Шеин, разглядывавший его очень внимательно.

— Merci, — коротко ответил Николай Николаевич. И оба остались стоять. — Мы к вам всего только на несколько минут. Это — князь Василий Львович Шеин, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия — Мирза-Булат-Тугановский. Я — товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя и меня, или, вернее, супруги князя, а моей сестры.

Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами: «Прошу, господа, садиться». Но, должно быть, вспомнил, что уже безуспешно предлагал то же самое раньше, вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее место. И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо.

— Я к вашим услугам, ваше сиятельство, — произнес он глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами.

Но Шеин промолчал. Заговорил Николай Николаевич:

— Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь, — сказал он и, достав из кармана красный фут-

ляр, аккуратно положил его на стол. — Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись.

— Простите... Я сам знаю, что очень виноват, — прошептал Желтков, глядя вниз, на пол, и краснея. — Может быть, позволите стаканчик чаю?

— Видите ли, господин Желтков, — продолжал Николай Николаевич, как будто не расслышав последних слов Желткова. — Я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около семи-восьми лет?

— Да, — ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно.

— И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер, хотя — согласитесь — это не только можно было бы, а даже и *нужно* было сделать. Не правда ли?

— Да.

— Да. Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете? — кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти, но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что — повторяю — я сразу угадал в вас благородного человека.

— Простите. Как вы сказали? — спросил вдруг внимательно Желтков и рассмеялся. — Вы хотели обратиться к власти?.. Именно так вы сказали?

Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил.

— Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти?.. Вы меня извините, князь, что я сижу? — обратился он к Шеину. — Ну-с, дальше?

Князь придвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумением и жадным, серьезным любопытством в лицо этого странного человека.

— Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет, — с легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. — Врываться в чужое семейство...

— Виноват, я вас перебью...

— Нет, виноват, теперь уж я вас перебью... — почти закричал прокурор.

— Как вам угодно. Говорите. Я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича.

И, не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал:

— Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. И я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей... Вы меня выслушаете?

— Слушаю, — сказал Шеин. — Ах, Коля, да помолчи ты, — сказал он нетерпеливо, заметив гневный жест Тугановского. — Говорите.

Желтков в продолжение нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями, губы у него были белые и не двигались, как у мертвого.

— Трудно выговорить такую... фразу... что я люблю вашу жену. Но семь лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета была еще бо́льшей глупостью. Но... вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда... Скажите, князь... предположим, что вам это неприятно... скажите, — что бы вы сделали для того, чтоб оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич? Все равно и там так же я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму? Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно — смерть... Вы хотите, я приму ее в какой угодно форме.

— Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию, — сказал Николай Николаевич, надевая шляпу. — Вопрос очень короток: вам предлагают одно из двух: либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на

это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят наше положение, знакомство и так далее.

Но Желтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил:

— Вы позволите мне отлучиться на десять минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам.

— Идите, — сказал Шеин.

Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоем, то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина.

— Так нельзя, — кричал он, делая вид, что бросает правой рукой на землю от груди какой-то невидимый предмет. — Так положительно нельзя. Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя. А ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах.

— Подожди, — сказал князь Василий Львович, — сейчас все это объяснится. Главное, это то, что я вижу его лицо, и я чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. И, правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви и разве можно управлять таким чувством, как любовь, — чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя. — Подумав, князь сказал: — Мне жалко этого человека. И мне не только, что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу здесь паясничать.

— Это декадентство, — сказал Николай Николаевич.

Через десять минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом. И опять с больной, нервной чуткостью это понял князь Шеин.

— Я готов, — сказал он, — и завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но

одно условие — это я *вам* говорю, князь Василий Львович, — видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне?

— Нет. Если кончил, так кончил. Никаких писем, — закричал Николай Николаевич.

— Хорошо, пишите, — сказал Шеин.

— Вот и все, — произнес, надменно улыбаясь, Желтков. — Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить. Когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя изредка ее видеть, конечно не показываясь ей на глаза, она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как можно скорее». И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог?

Вечером, приехав на дачу, Василий Львович передал жене очень точно все подробности свидания с Желтковым. Он как будто бы чувствовал себя обязанным сделать это.

Вера хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла в замешательство. Ночью, когда муж пришел к ней в постель, она вдруг сказала ему, повернувшись к стене:

— Оставь меня, — я знаю, что этот человек убьет себя.

XI

Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, которым нынче пишут.

Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано:

«Загадочная смерть. Вчера вечером, около семи часов, покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г. С. Желтков. Судя по данным след-

ствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так по крайней мере самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того, что показаниями свидетелей установлена в этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в анатомический театр».

Вера думала про себя:

«Почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход? И что это было: любовь или сумасшествие?»

Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому саду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, как будто не давало ей сидеть на месте. И все ее мысли были прикованы к тому неведомому человеку, которого она никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смешному Пе Пе Же.

«Почем знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь», — вспомнились ей слова Аносова.

В шесть часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которой она в себе не ожидала, развернула письмо.

Желтков писал так:

«Я не виноват, Вера Николаевна, что богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к Вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей — для меня вся жизнь заключается только в Вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в Вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто Вам обо мне не напомнит.

Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете. Я проверял себя — это не болезнь, не маниакальная идея — это любовь, которою богу было угодно за что-то меня вознаградить.

Пусть я был смешон в Ваших глазах и в глазах Вашего брата, Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: *«Да святится имя Твое»*.

Восемь лет тому назад я увидел вас в цирке в ложе, и тогда же в первую секунду я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее Вас и нежнее. В Вас как будто бы воплотилась вся красота земли...

Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все равно сердце было всегда около Вас, у Ваших ног, каждое мгновение дня заполнено Вами, мыслью о Вас, мечтами о Вас... сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет, — ну, что же? — ошибка. Воображаю, какое он впечатление произвел на Ваших гостей.

Через десять минут я уеду, я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни: ваш платок, который, я признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле на балу в Благородном собрании. Вашу записку, — о, как я ее целовал, — ею Вы запретили мне писать Вам. Программу художественной выставки, которую Вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе... Кончено. Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что Вы обо мне вспомните. Если Вы обо мне вспомните, то... я знаю, что Вы очень музыкальны, я Вас видел чаще всего на бетховенских квартетах, — так вот, если Вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату D-dur № 2, op. 2.

Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю Вас за то, что Вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай бог Вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит Вашу прекрасную душу. Целую Ваши руки.

Г. С. Ж.»

Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и вздутыми губами и, показав письмо, сказала:

— Я ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувст-

вую, что в нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с Николаем Николаевичем сделали что-нибудь не так, как нужно.

Князь Шеин внимательно прочел письмо, аккуратно сложил его и, долго помолчав, сказал:

— Я не сомневаюсь в искренности этого человека, и даже больше, я не смею разбираться в его чувствах к тебе.

— Он умер? — спросила Вера.

— Да, умер. Я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был сумасшедшим. Я не сводил с него глаз и видел каждое его движение, каждое изменение его лица. И для него не существовало жизни без тебя. Мне казалось, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди умирают, и я даже почти понял, что передо мною мертвый человек. Понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать, что мне делать...

— Вот что, Васенька, — перебила его Вера Николаевна, — тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу на него?

— Нет, нет, Вера, пожалуйста, прошу тебя. Я сам поехал бы, но только Николай испортил мне все дело. Я боюсь, что буду чувствовать себя принужденным.

XII

Вера Николаевна оставила свой экипаж за две улицы до Лютеранской. Она без большого труда нашла квартиру Желткова. Навстречу ей вышла сероглазая старая женщина, очень полная, в серебряных очках, и так же, как вчера, спросила:

— Кого вам угодно?

— Господина Желткова, — сказала княгиня.

Должно быть, ее костюм — шляпа, перчатки — и несколько властный тон произвели на хозяйку квартиры большое впечатление. Она разговорилась.

— Пожалуйста, пожалуйста, вот первая дверь налево, а там... сейчас... Он так скоро ушел от нас. Ну, скажем, растрата. Сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие наши капиталы, когда отдаешь квартиры внаем

холостякам. Но какие-нибудь шестьсот — семьсот рублей я бы могла собрать и внести за него. Если бы вы знали, что это был за чудный человек, пани. Восемь лет я его держала на квартире, и он казался мне совсем не квартирантом, а родным сыном.

Тут же в передней был стул, и Вера опустилась на него.

— Я друг вашего покойного квартиранта, — сказала она, подбирая каждое слово к слову. — Расскажите мне что-нибудь о последних минутах его жизни, о том, что он делал и что говорил.

— Пани, к нам пришли два господина и очень долго разговаривали. Потом он объяснил, что ему предлагали место управляющего в экономии. Потом пан Ежий побежал до телефона и вернулся такой весёлый. Затем эти два господина ушли, а он сел и стал писать письмо. Потом пошел и опустил письмо в ящик, а потом мы слышим, будто бы из детского пистолета выстрелили. Мы никакого внимания не обратили. В семь часов он всегда пил чай. Лукерья — прислуга — приходит и стучится, он не отвечает, потом еще раз, еще раз. И вот должны были взломать дверь, а он уже мертвый.

— Расскажите мне что-нибудь о браслете, — приказала Вера Николаевна.

— Ах, ах, ах, браслет — я и забыла. Почему вы знаете? Он перед тем, как написать письмо, пришел ко мне и сказал: «Вы католичка?» Я говорю: «Католичка». Тогда он говорит: «У вас есть милый обычай — так он и сказал: милый обычай — вешать на изображение матки боски кольца, ожерелья, подарки. Так вот исполните мою просьбу: вы можете этот браслет повесить на икону?» Я ему обещала это сделать.

— Вы мне его покажете? — спросила Вера.

— Прòшу, прòшу, пани. Вот его первая дверь налево. Его хотели сегодня отвезти в анатомический театр, но у него есть брат, так он упросил, чтобы его похоронить по-христианску. Прòшу, прòшу.

Вера собралась с силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном и горели три восковых свечи. Наискось комнаты лежал на столе Желтков. Голова его

покоилась очень низко, точно нарочно ему, трупу, которому все равно, подсунули маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставаньем с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Она вспомнила, что то же самое умиротворенное выражение она видела на масках великих страдальцев — Пушкина и Наполеона.

— Если прикажете, пани, я уйду? — спросила старая женщина, и в ее тоне послышалось что-то чрезвычайно интимное.

— Да, я потом вас позову, — сказала Вера и сейчас же вынула из маленького бокового кармана кофточки большую красную розу, подняла немного вверх левой рукой голову трупа, а правой рукой положила ему под шею цветок. В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Она вспомнила слова генерала Аносова о вечной исключительной любви — почти пророческие слова. И, раздвинув в обе стороны волосы на лбу мертвеца, она крепко сжала руками его виски и поцеловала его в холодный, влажный лоб долгим дружеским поцелуем.

Когда она уходила, то хозяйка квартиры обратилась к ней льстивым польским тоном:

— Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из любопытства только. Покойный пан Желтков перед смертью сказал мне: «Если случится, что я умру и придет поглядеть на меня какая-нибудь дама, то скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение...» — он даже нарочно записал мне это. Вот поглядите...

— Покажите, — сказала Вера Николаевна и вдруг заплакала. — Извините меня, это впечатление смерти так тяжело, что я не могу удержаться.

И она прочла слова, написанные знакомым почерком:

L. van Beethoven. Son. № 2, op. 2. Largo Appassionato.

XIII

Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была рада, что не застала дома ни мужа, ни брата.

Зато ее дожидалась пианистка Женни Рейтер, и, взволнованная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась к ней и, целуя ее прекрасные большие руки, закричала:

— Женни, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь, — и сейчас же вышла из комнаты в цветник и села на скамейку.

Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женни сыграет то самое место из второй сонаты, о котором просил этот мертвец с смешной фамилией Желтков.

Так оно и было. Она узнала с первых же аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение. И душа ее как будто бы раздвоилась. Она единовременно думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в тысячу лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя, почему этот человек заставил ее слушать именно это бетховенское произведение и еще против ее желания? И в уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мысли с музыкой, что это было как будто бы куплеты, которые кончались словами: *«Да святится имя твое»*.

«Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли самолюбия я не знал. Я перед тобою — одна молитва: *«Да святится имя твое»*.

Да, я предвижу страдание, кровь и смерть. И думаю, что трудно расстаться телу с душой, но, Прекрасная, хвала тебе, страстная хвала и тихая любовь. *«Да святится имя твое»*.

Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки. Сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью обвеяны мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горя. Я ухожу один, молча, так угодно было богу и судьбе. *«Да святится имя твое»*.

В предсмертный печальный час я молюсь только тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной и для меня. Не ропщи, бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, но в сердце полон хвалы тебе: *«Да святится имя твое»*.

Ты, ты и люди, которые окружали тебя, все вы не знаете, как ты была прекрасна. Бьют часы. Время. И, умирая, я в скорбный час расставания с жизнью все-таки пою — слава тебе.

Вот она идет, все усмиряющая смерть, а я говорю — слава тебе!..»

Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер и, точно сочувствуя ей, зашелестил листьями. Острее запахли звезды табака... И в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала:

«Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Помнишь? Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко».

Женни Рейтер вышла из комнаты, уже кончив играть, и увидала княгиню Веру, сидящую на скамейке всю в слезах.

— Что с тобой? — спросила пианистка.

Вера, с глазами, блестящими от слез, беспокойно, взволнованно стала целовать ей лицо, губы, глаза и говорила:

— Нет, нет, — он меня простил теперь. Все хорошо.

КОРОЛЕВСКИЙ ПАРК

Фантазия

Наступило начало XXVI столетия по христианскому летосчислению. Земная жизнь людей изменилась до неузнаваемости. Цветные расы совершенно слились с белыми, внеся в их кровь ту стойкость, здоровье и долговечность, которой отличаются среди животных все гибриды и метисы. Войны навеки прекратились еще с середины XX столетия, после ужасающих побоищ, в которых принял участие весь цивилизованный мир и которые обошлись в десятки миллионов человеческих жизней и в сотни миллиардов денежных расходов. Гений человека смягчил самые жестокие климаты, осушил болота, прорыл горы, соединил моря, превратил землю в пышный сад и в огромную мастерскую и удесятерил ее производительность. Машина свела труд к четырем часам ежедневной и для всех обязательной работы. Исчезли пороки, процвели добродетели. По правде сказать... все это было довольно скучно. Недаром же в средине тридцать второго столетия, после великого южно-африканского восстания, направленного против докучного общественного режима, все человечество в каком-то радостно-пьяном безумии бросилось на путь войны, крови, заговоров, разврата и жестокого, неслыханного деспотизма, — бросилось и — бог весть, в который раз за долголетнюю историю нашей пла-

неты — разрушило и обратило в прах и пепел все великие завоевания мировой культуры.

Все мирное и сытое благополучие, предшествовавшее этому стихийному разгрому, пришло само собою, без крови и насилия. Земные властители молча и покорно уступили духу времени и сошли с своих тронов, чтобы раствориться в народе и принять участие в его созидательном труде. Они сами поняли, что обаяние их власти давно уже стало пустым словом. Недаром много столетий подряд их принцессы сбегали из дворцов с лакеями, обезьяньими поводырями, крупье, цыганами, таперами и бродячими фокусниками. И недаром же их принцы, великие герцоги, эрцгерцоги и просто герцоги закладывали наследственные скипетры в ссудных кассах, а тысячелетние короны клали к ногам кокоток, а кокотки делали из них украшения для своих фальшивых волос.

Но многие из их потомков — слепо, гордо, бесстрашно и, по-своему, трагически уверенные в божественности и неиссякаемости власти, почиющей на них в силу наследственной преемственности, — отказались презрительно от общения с чернью и никогда не переставали считать себя повелителями и отцами народов. Они брезговали прибегнуть к самоубийству, которое по-прежнему считали унизительною слабостью для лиц королевских домов. Они ни за что не соглашались омрачить сияние своих старинных гербов недостойным браком. И их изнеженные, тонкие и белые руки никогда не запачкались физическим трудом — этим уделом рабов.

Тогда народное правительство, давно уничтожившее тюрьмы, наказания и насилие, построило для них в роскошном общественном парке большой, светлый и очень удобный дом, с общей гостиной, столовой и залой и с отдельными маленькими, но уютными комнатками. Пропитание же и одежда определены им от доброхотных даяний народа, и бывшие владыки безмолвно соглашаются между собою — глядеть на эти маленькие подарки, как на законную дань вассалов. А для того, чтобы прозябание венценосцев не было бесцель-

ным, практичное правительство разрешает школьникам изучать историю прошлого на этих живых обломках старины.

И вот, собранные в одно место, предоставленные самим себе и своей бездеятельности, они медленно разрушаются телом и опускаются душою в общественной богадельне. Они еще хранят в своей наружности отблеск былого величия. Их породистые лица, утонченные и облагороженные строгим подбором в течение сотен поколений, по-прежнему отличаются своими покатыми лбами, орлиными носами и крутыми подбородками, годными для медальных профилей. Их руки и ноги, как и раньше, малы и изящны. Их движения остались величественными, а улыбки очаровательными.

Но это только на народе, перед посетителями парка... Оставаясь одни, в стенах богадельни, они превращаются в сморщенных, кряхтящих, недужных старичков, завистливых, бранчивых, подозрительных и черствых. Они садятся вчетвером за винт — два короля и два великих герцога. И пока идет сдача, они спокойны, вежливы и любезно предупредительны. Но давнишнее взаимное раздражение, всегда накопляющееся между людьми, долго и поневоле живущими вместе, скупость, нервность и вспыльчивость скоро перессорили их. И король сардинский, отхаживая отыгранные трефы, изысканно-любезно замечает герцогу сен-бернардскому:

— Надеюсь, ваше высочество, что вы не задержали, как в прошлую игру, одну трефу про запас?

А герцог отвечает на это с горечью:

— Лишь происки врагов и общее падение нравственности заставляют меня жить в одной клетке с такой старой мартышкой, как вы, Sir.

И все они отлично знают, что у дамы бубен оторван уголок, а у девятки пик на крапе чернильное пятно, и, входя в маленькую сделку со своей совестью, тайно пользуются этими наивными приметами.

Изредка, во время обеда, они, как индюки сквозь сон, еще произносят веские фразы:

— Мой народ и моя армия...

— О, если бы вы знали, как обожали моего отца подданные... Они и до сих пор... Я могу вам дать прочитать письмо, полученное мною от моей партии... Не знаю только, куда я его девал...

— Да. И до меня дошли сведения, что у меня, в моих горах, идет сильное брожение...

— Люди должны же когда-нибудь одуматься и возвратиться к законному порядку вещей...

Но никто этого бормотания не слышал, и никто, даже услышав, ему не верил. У них у всех, взятых вместе, остался лишь один верный подданный, убежденный сторонник королевской власти —их глухой, полуослепший, почти столетний прислужник, бывший солдат.

Их мелочная, пустяковая жизнь вся переполнена сплетнями, интригами, взаимным подглядыванием и подслушиванием. Они засматривают друг другу в чашки и горшки, в столики, под одеяла и в грязное белье, упрекают друг друга болезнями и старческим безобразием, и все завидуют графу Луарскому, супруга которого открыла мелочную лавочку поблизости от морского порта и благодаря торговле имеет возможность покупать сигары своему державному мужу.

Их сыновья и дочери еще в отрочестве оставили их, чтобы утонуть, исчезнуть в народе. Но зато по праздникам принцев еще навещают их жены и совсем уже дряхленькие матери, которым, как и всем женщинам, в обыкновенные дни прегражден доступ в «Дом королей». Они подбирают на улицах и на площадях все газетные и устные сплетни и обольщают своих старых детей несбыточными надеждами и вместе с ними вслух мечтают о том, как они подымут в своей стране травосеяние и как нужно и важно для государства разведение чернослива, швейцарских роз, лимбургского сыра, спаржи и ангорских котов. После таких разговоров бедные старые короли видят во сне фейерверки, парады, знамена, балы, торжественные выходы и ревущую от восторга толпу. А наутро многие из них после беспокойного сна принимают горькую воду, и вся богадельня от скуки следит за исходом лекарства.

И вот по-прежнему, как и тысячи лет тому назад, наступила весна. Что бы ни было — весна навсегда останется милым, радостным, светлым праздником, так же как остается ее вечным спутником яйцо — символ бесконечности и плодотворности жизни.

В «Парке королей» распустились клейкие благоухающие тополевые почки, зазеленели газоны и сладостно и мощно запахло обнаженной, еще мягкой землей, совершающей снова великую тайну материнства. А сквозь ветви деревьев опять засмеялось старое чудесное голубое небо.

Венценосцы выползли из своих комнаток на воздух и тихо бродят по дорожкам парка, опираясь на костыли. Весна, которая так томно и властно зовет куда-то молодые сердца, разбудила и в их старческой крови печальную и неясную тревогу. Но молодежи, заполнявшей в эти светлые дни прекрасный парк, они казались еще более далекими, странными и чужими — подобными загробным выходцам.

Старый, совсем одинокий, бездетный и вдовый король Трапезундский, величественный старец с коническим, уходящим назад лбом, с горбатым носом и серебряной бородой до пояса, уселся на зеленой скамейке в самой дальней, уединенной аллее. Солнце и воздух пьяно разморили его тело и наполнили его душу тихой тоской. Точно сквозь сон слышал он знакомые фразы, которыми при виде его обменивались редкие прохожие:

— Это король Трапезундский. Посмотри в национальном музее портрет его пра-прадеда Карла Двадцать пятого, прозванного Неукротимым. Одно и то же лицо.

— Ты слыхал о его предке Альфонсе Девятнадцатом? Он разорил всю страну в угоду французской актрисе, своей любовнице, и дошел до того, что сам продавал шпионам иностранных держав планы своих укреплений.

— А Людовик Кровавый?.. Двадцать тысяч человек в одно утро были расстреляны у казарменных стен.

Но гордая душа отринутого народом владыки не содрогнулась и не съежилась от этого зловещего

синодика. Да. Так и нужно было поступать его предкам. Не только королевские желания, но и прихоти должны быть священны для народов. И посягающий на божественную власть — достоин смерти.

И вдруг он услышал над собою нежный детский голосок и поднял склоненную вниз белую голову.

— Милый дедушка. Отчего вы всегда такой скучный? Вас обижает кто-нибудь? Дедушка, позвольте вам подарить вот это сахарное яичко. Нельзя грустить в такой прелестный праздник. Вы поглядите, дедушка, здесь стеклышко, а за стеклышком барашек на травке. А когда вам надоест глядеть, вы можете это яичко скушать. Его можно есть, оно сахарное.

Король привлек к себе эту добрую, совсем незнакомую ему, светловолосую и голубоглазую девочку и, гладя ее голову дрожащею рукою, сказал с грустной улыбкой:

— Ах, дорогое мое дитя, милое дитя, у меня нет зубов, чтобы грызть сахар.

Теперь девочка в свою очередь погладила ручкой его жесткую морщинистую щеку и сказала тоненьким голоском:

— Ах, бедный, бедный дедушка. Какой же вы старенький, какой несчастненький... Тогда знаете что? У нас нет дедушки... Хотите быть нашим дедушкой? Вы умеете рассказывать сказки?

— Да, милое дитя. Чудесные старые сказки. Про железных людей, про верные сердца, про победы и кровавые праздники...

— Вот и славно. А я буду вас водить гулять, буду рвать для вас цветы и плести венки. Мы оба наденем по венку, и это будет очень красиво. Смотрите, вот у меня в руках цветы. Синенькие — это фиалки, а белые — подснежники. Я вам спою все песни, какие только знаю. Хорошо? Я буду делиться с вами конфетами...

И странно: король, которого не могли поколебать ни доводы книг, ни слова политиков, ни жестокие уроки жизни, ни история, — вдруг сразу всей душой понял, как смешна и бесполезна была его упрямая вера в отошедшее. Нестерпимо захотелось ему семьи, ласки,

ухода, детского лепета... И, целуя светлые волосы девочки, он сказал едва слышно:

— Я согласен, добрая девочка... я согласен. Я был так одинок во всю мою жизнь... Но как на это посмотрит твой папа...

Тогда девочка убежала и через минуту вернулась, ведя за руку высокого загорелого мужчину со спокойными и глубокими серыми глазами, который, низко опустив шляпу, произнес:

— Если бы вы согласились, ваше величество, на то, о чем болтает моя девчурка, мы были бы бесконечно счастливы, ваше величество.

— Бросьте величество... — сказал старик, вставая со скамьи и просто и крепко пожимая руку гражданина. — Отныне моего величества больше не существует.

И они все вместе, втроем, вышли навсегда из «Парка королей». Но в воротах старик внезапно остановился, и обернувшиеся к нему спутники увидели, что по его белой бороде, как алмаз по серебру, бежит светлая слеза.

— Не думайте... — сказал старик дрожащим от волнения голосом, — не думайте, что я буду... уж вовсе для вас бесполезен... Я умею... я умею клеить прекрасные коробочки из разноцветного картона...

И в восторге от его слов бешено бросилась ему на шею рыженькая девочка.

ЛИСТРИГОНЫ

I

ТИШИНА

В конце октября или в начале ноября Балаклава — этот оригинальнейший уголок пестрой русской империи — начинает жить своеобразной жизнью. Дни еще теплы и по-осеннему ласковы, но по ночам стоят холода, и земля гулко звенит под ногами. Последние курортные гости потянулись в Севастополь со своими узлами, чемоданами, корзинами, баулами, золотушными детьми и декадентскими девицами. Как воспоминание о гостях остались только виноградные ошкурки, которые, в видах своего драгоценного здоровья, разбросали больные повсюду — на набережной и по узким улицам — в противном изобилии, да еще тот бумажный сор в виде окурков, клочков писем и газет, что всегда остается после дачников.

И сразу в Балаклаве становится просторно, свежо, уютно и по-домашнему деловито, точно в комнатах после отъезда нашумевших, накуривших, насоривших непрошеных гостей. Выползает на улицу исконное, древнегреческое население, до сих пор прятавшееся по каким-то щелям и задним каморкам.

На набережной, поперек ее, во всю ширину, расстилаются сети. На грубых камнях мостовой они

кажутся нежными и тонкими, как паутина, а рыбаки ползают по ним на четвереньках, подобно большим черным паукам, сплетающим разорванную воздушную западню. Другие сучат бечевку на белугу и на камбалу и для этого с серьезным, деловитым видом бегают взад и вперед по мостовой с веревкой через плечи, беспрерывно суча перед собой клубок ниток.

Атаманы баркасов оттачивают белужьи крючки — иступившиеся медные крючки, на которые, по рыбачьему поверью, рыба идет гораздо охотнее, чем на современные, английские, стальные. На той стороне залива конопатят, смолят и красят лодки, перевернутые вверх килем.

У каменных колодцев, где беспрерывно тонкой струйкой бежит и лепечет вода, подолгу, часами, судачат о своих маленьких хозяйских делах худые, темнолицые, большеглазые, длинноносые гречанки, так странно и трогательно похожие на изображение богородицы на старинных византийских иконах.

И все это совершается неторопливо, по-домашнему, по-соседски, с вековечной привычной ловкостью и красотой, под нежарким осенним солнцем на берегах синего, веселого залива, под ясным осенним небом, которое спокойно лежит над развалиной покатых плешивых гор, окаймляющих залив.

О дачниках нет и помину. Их точно и не было. Два-три хороших дождя — и смыта с улиц последняя память о них. И все это бестолковое и суетливое лето с духовой музыкой по вечерам и с пылью от дамских юбок, и с жалким флиртом, и спорами на политические темы — все становится далеким и забытым сном. Весь интерес рыбачьего поселка теперь сосредоточен только на рыбе.

В кофейнях у Ивана Юрьича и у Ивана Адамовича под стук костяшек домино рыбаки собираются в артели, избирается атаман. Разговор идет о паях, о половинках паев, о сетях, о крючках, о наживке, о макрели, о кефали, о лобане, о камсе и султанке, о камбале, белуге и морском петухе. В девять часов весь город погружается в глубокий сон.

Нигде во всей России, — а я порядочно ее изъездил по всем направлениям, — нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве.

Выходишь на балкон — и весь поглощаешься мраком и молчанием. Черное небо, черная вода в заливе, черные горы. Вода так густа, так тяжела и так спокойна, что звезды отражаются в ней, не рябясь и не мигая. Тишина не нарушается ни одним звуком человеческого жилья. Изредка, раз в минуту, едва расслышишь, как хлюпнет маленькая волна о камень набережной. И этот одинокий мелодичный звук еще больше углубляет, еще больше настораживает тишину. Слышишь, как размеренными толчками шумит кровь у тебя в ушах. Скрипнула лодка на своем канате. И опять тихо. Чувствуешь, как ночь и молчание слились в одном черном объятии.

Гляжу налево, туда, где узкое горло залива исчезает, сузившись между двумя горами.

Там лежит длинная, пологая гора, увенчанная старыми развалинами. Если приглядишься внимательно, то ясно увидишь всю ее, подобную сказочному гигантскому чудовищу, которое, припав грудью к заливу и глубоко всунув в воду свою темную морду с настороженным ухом, жадно пьет и не может напиться.

На том месте, где у чудовища должен приходиться глаз, светится крошечной красной точкой фонарь таможенного кордона. Я знаю этот фонарь, я сотни раз проходил мимо него, прикасался к нему рукой. Но в странной тишине и в глубокой черноте этой осенней ночи я все яснее вижу и спину и морду древнего чудовища, и я чувствую, что его хитрый и злобный маленький раскаленный глаз следит за мною с затаенным чувством ненависти.

В уме моем быстро проносится стих Гомера об узкогорлой черноморской бухте, в которой Одиссей видел кровожадных листригонов. Я думаю также о предприимчивых, гибких, красивых генуэзцах, воздвигавших здесь, на челе горы, свои колоссальные крепостные сооружения. Думаю также о том, как однажды бурной зимней ночью разбилась о грудь старого

чудовища целая английская флотилия вместе с гордым щеголеватым кораблем «Black Prince» [1], который теперь покоится на морском дне, вот здесь, совсем близко около меня, со своими миллионами золотых слитков и сотнями жизней.

Старое чудовище в полусне щурит на меня свой маленький, острый, красный глаз. Оно представляется мне теперь старым-старым, забытым божеством, которое в этой черной тишине грезит своими тысячелетними снами. И чувство странной неловкости овладевает мною.

Раздаются замедленные, ленивые шаги ночного сторожа, и я различаю не только каждый удар его кованых, тяжелых рыбачьих сапогов о камни тротуара, но слышу также, как между двумя шагами он чиркает каблуками. Так ясны эти звуки среди ночной тиши, что мне кажется, будто я иду вместе с ним, хотя до него — я знаю наверное — более целой версты. Но вот он завернул куда-то вбок, в мощеный переулок, или, может быть, присел на скамейку: шаги его смолкли. Тишина. Мрак.

II

МАКРЕЛЬ

Идет осень. Вода холодеет. Пока ловится только маленькая рыба в мережки, в эти большие вазы из сетки, которые прямо с лодки сбрасываются на дно. Но вот раздается слух о том, что Юра Паратино оснастил свой баркас и отправил его на место между мысом Айя и Ласпи, туда, где стоит его макрельный завод.

Конечно, Юра Паратино — не германский император, не знаменитый бас, не модный писатель, не исполнительница цыганских романсов, но когда я думаю о том, каким весом и уважением окружено его имя на всем побережье Черного моря, — я с удовольствием и с гордостью вспоминаю его дружбу ко мне.

---

[1] «Черный принц» *(англ.)*.

Юра Паратино вот каков: это невысокий, крепкий, просоленный и просмоленный грек, лет сорока. У него бычачья шея, темный цвет лица, курчавые черные волосы, усы, бритый подбородок квадратной формы, с животным угибом посредине — подбородок, говорящий о страшной воле и большой жестокости, тонкие, твердые, энергично опускающиеся углами вниз губы. Нет ни одного человека среди рыбаков ловче, хитрее, сильнее и смелее Юры Паратино. Никто еще не мог перепить Юру, и никто не видал его пьяным. Никто не сравнится с Юрой удачливостью — даже сам знаменитый Федор из Олеиза.

Ни в ком так сильно не развито, как в нем, то специально морское рыбачье равнодушие к несправедливым ударам судьбы, которое так высоко ценится этими солеными людьми.

Когда Юре говорят о том, что буря порвала его снасти или что его баркас, наполненный доверха дорогой рыбой, захлестнуло волной и он пошел до дну, Юра только заметит вскользь:

— А туда его, к чертовой матери! — и тотчас же точно забудет об этом.

Про Юру рыбаки говорят так:

— Еще макрель только думает из Керчи идти сюда, а уже Юра знает, где поставить завод.

Завод — это сделанная из сети западня в десять сажен длиною и саженей пять в ширину. Подробности мало кому интересны. Достаточно только сказать, что рыба, идущая ночью большой массой вдоль берега, попадает благодаря наклону сети в эту западню и выбраться оттуда уже не может без помощи рыбаков, которые поднимают завод из воды и выпрастывают рыбу в свои баркасы. Важно только вовремя заметить тот момент, когда вода на поверхности завода начнет кипеть, как каша в котле. Если упустить этот момент, рыба прорвет сеть и уйдет.

И вот, когда таинственное предчувствие уведомило Юру о рыбьих намерениях, — вся Балаклава переживает несколько тревожных, томительно напряженных дней. Дежурные мальчики день и ночь следят с высоты гор за заводами, баркасы держатся наготове.

Из Севастополя приехали скупщики рыбы. Местный завод консервов приготовляет сараи для огромных партий.

Однажды ранним утром повсюду — по домам, по кофейным, по улицам — разносится, как молния, слух:

— Рыба пошла, рыба идет! Макрель зашла в заводы к Ивану Егоровичу, к Коте, к Христо, к Спиро и к Капитанаки. И уж конечно к Юре Паратино.

Все артели уходят на своих баркасах в море.

Остальные жители поголовно на берегу: старики, женщины, дети, и оба толстых трактирщика, и седой кофейщик Иван Адамович, и аптекарь, занятой человек, прибежавший впопыхах на минутку, и добродушный фельдшер Евсей Маркович, и оба местных доктора.

Особенно важно то обстоятельство, что первый баркас, пришедший в залив, продает свою добычу по самой дорогой цене, — таким образом для дожидающих на берегу соединяются вместе и интерес, и спорт, и самолюбие, и расчет.

Наконец в том месте, где горло бухты сужается за горами, показывается, круто огибая берег, первая лодка.

— Это Юра.

— Нет, Коля.

— Конечно, это Генали.

У рыбаков есть свой особенный шик. Когда улов особенно богат, надо не войти в залив, а прямо влететь на веслах, и трое гребцов мерно и часто, все, как один, напрягая спину и мышцы рук, нагнув сильно шеи, почти запрокидываясь назад, заставляют лодку быстрыми, короткими толчками мчаться по тихой глади залива. Атаман, лицом к ним, гребет стоя; он руководит направлением баркаса.

Конечно, это Юра Паратино!

До самых бортов лодка наполнена белой, серебряной рыбой, так что ноги гребцов лежат на ней вытянутыми прямо и попирают ее. Небрежно, на ходу, в то время когда гребцы почти еще не замедляют разгона лодки, Юра соскакивает на деревянную пристань.

Тотчас начинается торг со скупщиками.

— Тридцать! — говорит Юра и хлопает с размаху о ладонь длинной костлявой руки высокого грека.

Это значит, что он хочет отдать рыбу по тридцать рублей за тысячу.

— Пятнадцать! — кричит грек и в свою очередь, высвободив руку из-под низу, хлопает Юру по ладони.

— Двадцать восемь!

— Восемнадцать!

Хлоп-хлоп...

— Двадцать шесть!

— Двадцать!

— Двадцать пять! — говорит хрипло Юра. — И у меня там еще идет один баркас.

А в это время из-за горла бухты показывается еще один баркас, другой, третий, еще два сразу. Они стараются перегнать друг друга, потому что цены на рыбу все падают и падают. Через полчаса за тысячу уже платят пятнадцать рублей, через час десять и наконец пять и даже три рубля.

К вечеру вся Балаклава нестерпимо воняет рыбой. В каждом доме жарится или маринуется скумбрия. Широкие устья печей в булочных заставлены глиняной черепицей, на которой рыба жарится в собственном соку. Это называется: макрель на шкаре — самое изысканное кушанье местных гастрономов. И все кофейные и трактиры наполнены дымом и запахом жареной рыбы.

А Юра Паратино — самый широкий человек во всей Балаклаве — заходит в кофейную, где сгрудились в табачном дыму и рыбьем чаду все балаклавские рыбаки, и, покрывая общий гам, кричит повелительно кофейщику:

— Всем по чашке кофе!

Момент всеобщего молчания, изумления и восторга.

— С сахаром или без сахару? — спрашивает почтительно хозяин кофейни, огромный, черномазый Иван Юрьич.

Юра в продолжение одной секунды колеблется: чашка кофе стоит три копейки, а с сахаром пять... Но он чужд мелочности. Сегодня последний пайщик на его

баркасе заработал не меньше десяти рублей. И он бросает пренебрежительно:

— С сахаром. И музыку!..

Появляется музыка: кларнет и бубен. Они бубнят и дудят до самой поздней ночи однообразные, унылые татарские песни. На столах появляется молодое вино — розовое вино, пахнущее свежераздавленным виноградом: от него страшно скоро пьянеешь и на другой день болит голова.

А на пристани в это время до поздней ночи разгружаются последние баркасы. Присев на корточки в лодке, двое или трое греков быстро, с привычной ловкостью хватают правой рукой две, а левой три рыбы и швыряют их в корзину, ведя точный, скорый, ни на секунду не прекращающийся счет.

И на другой день еще приходят баркасы с моря.

Кажется, вся Балаклава переполнилась рыбой.

Ленивые, объевшиеся рыбой коты с распухнувшими животами валяются поперек тротуаров, и когда их толкнешь ногой, то они нехотя приоткрывают один глаз и опять засыпают. И домашние гуси, тоже сонные, качаются посредине залива, и из клювов у них торчат хвосты недоеденной рыбы.

В воздухе еще много дней стоит крепкий запах свежей рыбы и чадный запах жареной рыбы. И легкой, клейкой рыбьей чешуей осыпаны деревянные пристани, и камни мостовой, и руки и платья счастливых хозяек, и синие воды залива, лениво колышущегося под осенним солнцем.

III

ВОРОВСТВО

Вечер. Мы сидим в кофейне Ивана Юрьича, освещенной двумя висячими лампами «молния». Густо накурено. Все столики заняты. Кое-кто играет в домино, другие в карты, третьи пьют кофе, иные просто, так себе, сидят в тепле и свете, перекидываясь разговорами и замечаниями. Длинная, ленивая, уютная, приятная вечерняя скука овладела всей кофейной.

Понемногу мы затеваем довольно странную игру, которой увлекаются все рыбаки. Несмотря на скромность, должен сознаться, что честь изобретения этой игры принадлежит мне. Она состоит в том, что поочередно каждому из участников завязываются глаза платком, завязываются плотно, морским узлом, потом на голову ему накидывается куртка, и затем двое других игроков, взяв его под руки, водят по всем углам кофейни, несколько раз переворачивают на месте вокруг самого себя, выводят на двор, опять приводят в кофейню и опять водят его между столами, всячески стараясь запутать его. Когда, по общему мнению, испытуемый достаточно сбит с толку, его останавливают и спрашивают:

— Показывай, где север?

Каждый подвергается такому экзамену по три раза, и тот, у кого способность ориентироваться оказалась хуже, чем у других, ставит всем остальным по чашке кофе или соответствующее количество полубутылок молодого вина. Надо сказать, что в большинстве случаев проигрываю я. Но Юра Паратино показывает всегда на N с точностью магнитной стрелки. Этакий зверь!

Но вдруг я невольно оборачиваюсь назад и замечаю, что Христо Амбарзаки подзывает меня к себе глазами. Он не один, с ним сидит мой атаман и учитель Яни.

Я подхожу. Христо для виду требует домино, и в то время когда мы притворяемся, что играем, он, гремя костяшками, говорит вполголоса:

— Берите ваши дифаны и вместе с Яни приходите тихонько к пристани. Бухта вся полна кефалью, как банка маслинами. Это ее загнали свиньи.

Дифаны — это очень тонкие сети, в сажень вышиной, сажен шестьдесят длины. Они о трех полотнищах. Два крайние с широкими ячейками, среднее с узкими. Маленькая скумбрия пройдет сквозь широкие стены, но запутается во внутренних; наоборот, большая и крупная кефаль или лобан, который только стукнулся бы мордой о среднюю стену и повернулся бы назад, запутывается в широких наружных ячейках. Только у меня одного в Балаклаве есть такие сети.

Потихоньку, избегая встретиться с кем-либо, мы выносим вместе с Яни сети на берег. Ночь так темна, что мы с трудом различаем Христо, который ждет уже нас в лодке. Какое-то фырканье, хрюканье, тяжелые вздохи слышатся в заливе. Эти звуки производят дельфины, или морские свиньи, как их называют рыбаки. Многотысячную, громадную стаю рыбы они загнали в узкую бухту и теперь носятся по заливу, беспощадно пожирая ее на ходу.

То, что мы сейчас собираемся сделать, — без сомнения, преступление. По своеобразному старинному обычаю, позволяется ловить в бухте рыбу только на удочку и в мережки. Лишь однажды в год, и то не больше как в продолжение трех дней, ловят ее всей Балаклавой в общественные сети. Это — неписаный закон, своего рода историческое рыбачье табу.

Но ночь так черна, вздохи и хрюканье дельфинов так возбуждают страстное охотничье любопытство, что, подавив в себе невольный вздох раскаяния, я осторожно прыгаю в лодку, и в то время как Христо беззвучно гребет, я помогаю Яни приводить сети в порядок. Он перебирает нижний край, отягощенный большими свинцовыми грузилами, а я быстро и враз с ним передаю ему верхний край, оснащенный пробковыми поплавками.

Но чудесное, никогда не виданное зрелище вдруг очаровывает меня. Где-то невдалеке, у левого борта, раздается храпенье дельфина, и я внезапно вижу, как вокруг лодки и под лодкой со страшной быстротой проносится множество извилистых серебристых струек, похожих на следы тающего фейерверка. Это бежат сотни и тысячи испуганных рыб, спасающихся от преследования прожорливого хищника. Тут я замечаю, что все море горит огнями. На гребнях маленьких, чуть плещущих волн играют голубые драгоценные камни. В тех местах, где весла трогают воду, загораются волшебным блеском глубокие блестящие полосы. Я прикасаюсь к воде рукой, и когда вынимаю ее обратно, то горсть светящихся брильянтов падает вниз, и на моих пальцах долго горят нежные синеватые

фосфорические огоньки. Сегодня — одна из тех волшебных ночей, про которые рыбаки говорят:

— Море горит!..

Другой косяк рыбы со страшной быстротой проносится под лодкой, бороздя воду короткими серебряными стрелками. И вот я слышу фырканье дельфина совсем близко. Наконец вот и он! Он показывается с одной стороны лодки, исчезает на секунду под килем и тотчас же проносится дальше. Он идет глубоко под водой, но я с необыкновенной ясностью различаю весь его мощный бег и все его могучее тело, осеребренное игрой инфузорий, обведенное, точно контуром, миллиардом блесток, похожее на сияющий стеклянный бегущий скелет.

Христо гребет совершенно беззвучно, и Яни всего-навсего только один раз ударил свинцовыми грузилами о дерево. Мы перебрали уже всю сеть, и теперь можно начинать.

Мы подходим к противоположному берегу. Яни прочно устанавливается на носу, широко расставив ноги. Большой плоский камень, привязанный к веревке, тихо скользит у него из рук, чуть слышно плещет об воду и погружается на дно. Большой пробковый буек всплывает наверх, едва заметно чернея на поверхности залива. Теперь совершенно беззвучно мы описываем лодкой полукруг во всю длину нашей сети и опять причаливаем к берегу и бросаем другой буек. Мы внутри замкнутого полукруга.

Если бы мы не занимались браконьерством, а работали на открытом, свободном месте, то теперь мы начали бы *коладить,* или, вернее, шантажировать, то есть мы заставили бы шумом и плеском весел всю захваченную нашим полукругом рыбу кинуться в расставленные для нее сети, где она должна застрянуть головами и жабрами в ячейках. Но наше дело требует тайны, а поэтому мы только проезжаем от буйка до буйка, туда и обратно, два раза, причем Христо беззвучно бурлит веслом воду, заставляя ее вскипать прекрасными голубыми электрическими буграми. Потом мы возвращаемся к первому буйку. Яни по-прежнему осторожно вытягивает камень, служивший якорем, и

без малейшего стука опускает его на дно. Потом, стоя на носу, выставив вперед левую ногу и опершись на нее, он ритмическими движениями поднимает то одну, то другую руку, вытягивая вверх сеть. Наклонившись немного через борт, я вижу, как сеть бежит из воды, и каждая ячейка ее, каждая ниточка глубоко видны мне, точно восхитительное огненное плетение. С пальцев Яни стремятся вниз и падают маленькие дрожащие огоньки.

И я уже слышу, как мокро и тяжело шлепается большая живая рыба о дно лодки, как она жирно трепещет, ударяя хвостом о дерево. Мы постепенно приближаемся ко второму буйку и с прежними предосторожностями вытаскиваем его из воды.

Теперь моя очередь садиться на весла. Христо и Яни снова перебирают всю сеть и выпрастывают из ее ячеек кефаль. Христо не может сдержать себя и с счастливым сдавленным смехом кидает через голову Коли к моим ногам большую толстую серебряную кефаль.

— Вот так рыба! — шепчет он мне.

Яни тихо останавливает его.

Когда их работа кончена и мокрая сеть вновь лежит на носовой площадке баркаса, я вижу, что все дно застлано живой, еще шевелящейся рыбой. Но нам нужно торопиться. Мы делаем еще круг, еще и еще, хотя благоразумие давно уже велит нам вернуться в город. Наконец мы подходим к берегу в самом глухом месте. Яни приносит корзину, и с вкусным чмоканьем летят в нее охапки большой мясистой рыбы, от которой так свежо и возбуждающе пахнет.

А через десять минут мы возвращаемся обратно в кофейню один за другим. Каждый выдумывает какой-нибудь предлог для своего отсутствия. Но штаны и куртки у нас мокры, а у Яни запуталась в усах и бороде рыбья чешуя, и от нас еще идет запах моря и сырой рыбы. И Христо, который не может справиться с недавним охотничьим возбуждением, нет-нет, да и намекнет на наше предприятие.

— А я сейчас шел по набережной... Сколько свиней зашло в бухту. Ужас! — И метнет на нас лукавым горящим черным глазом.

Яни, который вместе с ним относил и прятал корзину, сидит около меня и едва слышно бормочет в чашку с кофе:

— Тысячи две, и все самые крупные. Я вам снес три десятка.

Это моя доля в общей добыче. Я потихоньку киваю головой. Но теперь мне немного совестно за мое недавнее преступление. Впрочем, я ловлю несколько чужих быстрых плутоватых взглядов. Кажется, что не мы одни занимались в эту ночь браконьерством!

IV

БЕЛУГА

Наступает зима. Как-то вечером пошел снег, и все стало среди ночи белым: набережная, лодки у берега, крыши домов, деревья. Только вода в заливе остается жутко черной и неспокойно плещется в этой белой тихой раме.

На всем Крымском побережье — в Анапе, Судаке, Керчи, Феодосии, Ялте, Балаклаве и Севастополе — рыбаки готовятся на белугу. Чистятся рыбачьи сапоги, огромные до бедер сапоги из конской кожи, весом по полупуду каждый, подновляются непромокаемые, крашенные желтой масляной краской плащи и кожаные штаны, штопаются паруса, вяжутся переметы.

Набожный рыбак Федор из Олеиза задолго до белужьей ловли теплит в своем шалаше перед образом Николая Угодника, Мир Ликийских чудотворца и покровителя всех моряков, восковые свечи и лампадки с лучшим оливковым маслом. Когда он поедет в море со своей артелью, состоящей из татар, морской святитель будет прибит на корме как руководитель и податель счастья. Об этом знают все крымские рыбаки, потому что это повторяется из года в год и потому еще, что за Федором установилась слава очень смелого и удачливого рыбалки.

И вот однажды, с первым попутным ветром, на исходе ночи, но еще в глубокой тьме, сотни лодок отплывают от Крымского полуострова под парусами в море.

Как красив момент отплытия! Сели все пятеро на кормовую часть баркаса. «С богом! Дай бог! С богом!» Падает вниз освобожденный парус и, похлопав нерешительно в воздухе, вдруг надувается, как выпуклое, острое, торчащее концом вверх белое птичье крыло. Лодка, вся наклонившись на один бок, плавно выносится из устья бухты в открытое море. Вода шипит и пенится за бортом и брызжет внутрь, а на самом борту, временами моча нижний край своей куртки в воде, сидит небрежно какой-нибудь молодой рыбак и с хвастливой небрежностью раскуривает верченую папиросу. Под кормовой решеткой хранится небольшой запас крепкой водки, немного хлеба, десяток копченых рыб и бочонок с водой.

Уплывают в открытое море за тридцать и более верст от берега. За этот длинный путь атаман и его помощник успевают изготовить снасть. А белужья снасть представляет собою вот что такое: вообразите себе, что по морскому дну, на глубине сорока сажен, лежит крепкая веревка в версту длиной, а к ней привязаны через каждые три-четыре аршина короткие саженные куски шпагата, а на концах этих концов наживлена на крючки мелкая рыбешка. Два плоских камня на обеих оконечностях главной веревки служат якорями, затопляющими ее, а два буйка, плавающих на этих якорях, на поверхности моря, указывают их положение. Буйки круглые, пробковые (сотня бутылочных пробок, обвернутых сеткой), с красными флажками наверху.

Помощник с непостижимой ловкостью и быстротой насаживает приманку на крючки, а атаман тщательно укладывает всю снасть в круглую корзину, вдоль ее стен, правильной спиралью, наживкой внутрь. В темноте, почти ощупью, вовсе не так легко исполнить эту кропотливую работу, как кажется с первого взгляда. Когда придет время опускать снасть в море, то один неудачно насаженный крючок может зацепиться за веревку и жестоко перепутать всю систему.

На рассвете приходят на место. У каждого атамана есть свои излюбленные счастливые пункты, и он их находит в открытом море, за десятки верст от берега,

так же легко, как мы находим коробку с перьями на своем письменном столе. Надо только стать таким образом, чтобы Полярная звезда очутилась как раз над колокольней монастыря св. Георгия, и двигаться, не нарушая этого направления, на восток до тех пор, пока не откроется Форосский маяк. У каждого атамана имеются свои тайные вехи в виде маяков, домов, крупных прибрежных камней, одиноких сосен на горах или звезд.

Определили место. Выбрасывают на веревке в море первый камень, устанавливают глубину, привязывают буек и от него идут на веслах вперед на всю длину перемета, который атаман с необычайной быстротой выматывает из корзины. Опускают второй камень, пускают на воду второй буек — и дело окончено. Возвращаются домой на веслах или, если ветер позволяет лавировать, под парусом. На другой день, или через день, идут опять в море и вытаскивают снасть. Если богу или случаю будет угодно, на крючьях окажется белуга, проглотившая приманку, — огромная остроносая рыба, вес которой достигает десяти — двадцати, а в редких случаях даже тридцати и более пудов.

Так-то вот и вышел однажды ночью из бухты Ваня Андруцаки на своем баркасе. По правде сказать, никто не ожидал добра от такого предприятия. Старый Андруцаки умер прошлой весной, а Ваня был слишком молод, и, по мнению опытных рыбаков, ему следовало бы еще года два побыть простым гребцом да еще год помощником атамана. Но он набрал свою артель из самой зеленой и самой отчаянной молодежи, сурово прикрикнул, как настоящий хозяин, на занывшую было старуху мать, изругал ворчливых стариков соседей гнусными матерными словами и вышел в море пьяный, с пьяной командой, стоя на корме со сбитой лихо на затылок барашковой шапкой, из-под которой буйно выбивались на загорелый лоб курчавые, черные, как у пуделя, волосы.

В эту ночь на море дул крепкий береговой и шел снег. Некоторые баркасы, выйдя из бухты, вскоре вернулись назад, потому что греческие рыбаки, несмотря на свою многовековую опытность, отличаются чрезвы-

чайным благоразумием, чтобы не сказать трусостью. «Погода не пускает», — говорили они.

Но Ваня Андруцаки возвратился домой около полудня с баркасом, наполненным самой крупной белугой, да, кроме того, еще приволок на буксире огромную рыбину, чудовище в двадцать пудов весом, которое артель долго добивала деревянными колотушками и веслами.

С этим великаном пришлось порядочно-таки помучиться. Про белугу рыбаки вообще говорят, что надо только подтянуть ее голову в уровень с бортом, а там уж рыба сама вскочит в лодку. Правда, иногда при этом она могучим всплеском хвоста сбивает в воду неосторожного ловца. Но бывают изредка при белужьей ловле и более серьезные моменты, грозящие настоящей опасностью для рыбаков. Так и случилось с Ваней Андруцаки.

Стоя на самом носу, который то взлетал на пенистые бугры широких волн, то стремительно падал в гладкие водяные зеленые ямы, Ваня размеренными движениями рук и спины выбирал из моря перемет. Пять белужонков, попавшихся с самого начала, почти один за другим, уже лежали неподвижно на дне баркаса, но потом ловля пошла хуже: сто или полтораста крючков подряд оказались пустыми, с нетронутой наживкой.

Артель молча гребла, не спуская глаз с двух точек на берегу, указанных атаманом. Помощник сидел у ног Вани, освобождая крючки от наживки и складывая веревку в корзину правильным бунтом. Вдруг одна из пойманных рыб судорожно встрепенулась.

— Бьет хвостом, поджидает подругу, — сказал молодой рыбак Павел, повторяя старую рыбачью примету.

И в ту же секунду Ваня Андруцаки почувствовал, что огромная живая тяжесть, вздрагивая и сопротивляясь, повисла у него на натянувшемся вкось перемете, в самой глубине моря. Когда же, позднее, наклонившись за борт, он увидел под водой и все длинное, серебряное, волнующееся, рябящее тело чудовища, он

не удержался и, обернувшись назад к артели, прошептал с сияющими от восторга глазами:

— Здоровая!.. Как бык!.. Пудов на сорок...

Этого уж никак не следовало делать! Спаси бог, будучи в море, предупреждать события или радоваться успеху, не дойдя до берега. И старая таинственная примета тотчас же оправдалась на Ване Андруцаки. Он уже видел не более как в полуаршине от поверхности воды острую, утлую, костистую морду и, сдерживая бурное трепетание сердца, уже готовился подвести ее к борту, как вдруг... могучий хвост рыбы плеснул сверх волны, и белуга стремительно понеслась вниз, увлекая за собою веревку и крючки.

Ваня не растерялся. Он крикнул рыбакам: «Табань!» — скверно и очень длинно выругался и принялся травить перемет вслед убегавшей рыбе. Крючки так и мелькали в воздухе из-под его рук, шлепаясь в воду. Помощник пособлял ему, выпрастывая снасть из корзины. Гребцы налегли на весла, стараясь ходом лодки опередить подводное движение рыбы. Это была страшно быстрая и точная работа, которая не всегда кончается благополучно. У помощника запуталось несколько крючков. Он крикнул Ване: «Стоп травить!» — и принялся распутывать снасть с той быстротой и тщательностью, которая в минуты опасности свойственна только морским людям. В эти несколько секунд перемет в руке Вани натянулся, как струна, и лодка скакала, точно бешеная, с волны на волну, увлекаемая ужасным бегом рыбы и подгоняемая вслед за ней усилиями гребцов.

«Трави!» — крикнул, наконец, помощник. Веревка с необычайной быстротой вновь побежала из ловких рук атамана, но вдруг лодку дернуло, и Ваня с глухим стоном выругался: медный крючок с размаха вонзился ему в мякоть ладони под мизинцем и засел там во всю глубину извива. И тут-то Ваня показал себя настоящим соленым рыбаком. Обмотав перемет вокруг пальцев раненой руки, он задержал на секунду бег веревки, а другой рукой достал нож и перерезал шпагат. Крючок крепко держался в руке своим жалом, но Ваня вырвал его с мясом и бросил в море. И хотя обе

его руки и веревка перемета сплошь окрасились кровью и борт лодки и вода в баркасе покраснели от его крови, он все-таки довел свою работу до конца и сам нанес первый оглушающий удар колотушкой по башке упрямой рыбе.

Его улов был первым белужьим уловом этой осени. Артель продала рыбу по очень высокой цене, так что на каждый пай пришлось почти до сорока рублей. По этому случаю было выпито страшное количество молодого вина, а под вечер весь экипаж «Георгия Победоносца» — так назывался Ванин баркас — отправился на двуконном фаэтоне с музыкой в Севастополь. Там храбрые балаклавские рыбаки вместе с флотскими матросами разнесли на мелкие кусочки фортепиано, двери, кровати, стулья и окна в публичном доме, потом передрались между собою и только к свету вернулись домой пьяные, в синяках, но с песнями. И только что вылезли из коляски, как тотчас же свалились в лодку, подняли парус и пошли в море забрасывать крючья.

С этого самого дня за Ваней Андруцаки установилась слава как за настоящим соленым атаманом.

V

ГОСПОДНЯ РЫБА

Апокрифическое сказание

Эту прелестную древнюю легенду рассказал мне в Балаклаве атаман рыбачьего баркаса Коля Константи, настоящий соленый грек, отличный моряк и большой пьяница.

Он в то время учил меня всем премудрым и странным вещам, составляющим рыбачью науку.

Он показывал мне, как вязать морские узлы и чинить прорванные сети, как наживлять крючки на белугу, забрасывать и промывать мережки, кидать наметку на камсу, выпрастывать кефаль из трехстенных сетей, жарить лобана на шкаре, отковыривать ножом петалиди, приросших к скале, и есть сырыми креветок, узнавать ночную погоду по дневному прибою, ставить парус, выбирать якорь и измерять глубину дна.

Он терпеливо объяснял мне разницу между направлением и свойствами ветров: леванти, греба-леванти, широкко, тремонтана, страшного бора, благоприятного морского и капризного берегового.

Ему же я обязан знанием рыбачьих обычаев и суеверий во время ловли: нельзя свистать на баркасе; плевать позволено только за борт; нельзя упоминать черта, хотя можно проклинать при неудаче: веру, могилу, гроб, душу, предков, глаза, печенки, селезенки и так далее; хорошо оставлять в снасти как будто нечаянно забытую рыбешку — это приносит счастие; спаси бог выбросить за борт что-нибудь съестное, когда баркас еще в море, но всего ужаснее, непростительнее и зловреднее — это спросить рыбака: «Куда?» За такой вопрос бьют.

От него я узнал о ядовитой рыбке дракус, похожей на мелкую скумбрию, и о том, как ее снимать с крючка, о свойстве морского ерша причинять нарывы уколом плавников, о страшном двойном хвосте электрического ската и о том, как искусно выедает морской краб устрицу, вставив сначала в ее створку маленький камешек.

Но немало также я слышал от Коли диковинных и таинственных морских рассказов, слышал в те сладкие, тихие ночные часы ранней осени, когда наш ялик нежно покачивался среди моря, вдали от невидимых берегов, а мы, вдвоем или втроем, при желтом свете ручного фонаря, не торопясь, попивали молодое розовое местное вино, пахнувшее свежераздавленным виноградом.

«Среди океана живет морской змей в версту длиною. Редко, не более раза в десять лет, он подымается со дна на поверхность и дышит. Он одинок. Прежде их было много, самцов и самок, но столько они делали зла мелкой рыбешке, что бог осудил их на вымирание, и теперь только один старый, тысячелетний змей-самец сиротливо доживает свои последние годы. Прежние моряки видели его — то здесь, то там — во всех странах света и во всех океанах.

Живет где-то среди моря, на безлюдном острове, в глубокой подводной пещере царь морских раков,

Когда он ударяет клешней о клешню, то на поверхности воды вскипает великое волнение.

Рыбы говорят между собой — это всякий рыбак знает. Они сообщают друг другу о разных опасностях и человеческих ловушках, и неопытный, неловкий рыбак может надолго испортить счастливое место, если выпустит из сетей рыбу»:

Слышал я также от Коли о Летучем Голландце, об этом вечном скитальце морей, с черными парусами и мертвым экипажем. Впрочем, эту страшную легенду знают и ей верят на всех морских побережьях Европы.

Но одно далекое предание, рассказанное им, особенно тронуло меня своей наивной рыбачьей простотой.

Однажды на заре, когда солнце еще не всходило, но небо было цвета апельсина и по морю бродили розовые туманы, я и Коля вытягивали сеть, поставленную с вечера поперек берега на скумбрию. Улов был совсем плохой. В ячейке сети запутались около сотни скумбрии, пять-шесть ершей, несколько десятков золотых толстых карасиков и очень много студенистой перламутровой медузы, похожей на огромные бесцветные шляпки грибов со множеством ножек.

Но попалась также одна очень странная, не виданная мною доселе рыбка. Она была овальной, плоской формы и уместилась бы свободно на женской ладони. Весь ее контур был окружен частыми, мелкими, прозрачными ворсинками. Маленькая голова, и на ней совсем не рыбьи глаза — черные, с золотыми ободками, необыкновенно подвижные. Тело ровного золотистого цвета. Всего же поразительнее были в этой рыбке два пятна, по одному с каждого бока, посредине, величиною с гривенник, но неправильной формы и чрезвычайно яркого небесно-голубого цвета, какого нет в распоряжении художника.

— Посмотрите, — сказал Коля, — вот господня рыба. Она редко попадается.

Мы поместили ее сначала в лодочный черпак, а потом, возвращаясь домой, я налил морской воды в

большой эмалированный таз и пустил туда господню рыбу. Она быстро заплавала по окружности таза, касаясь его стенок, и все в одном и том же направлении. Если ее трогали, она издавала чуть слышный, короткий, храпящий звук и усиливала беспрестанный бег. Черные глаза ее вращались, а от мерцающих бесчисленных ворсинок быстро дрожала и струилась вода.

Я хотел сохранить ее, чтобы отвезти живой в Севастополь, в аквариум биологической станции, но Коля сказал, махнув рукой:

— Не стоит и трудиться. Все равно не выживет. Это такая рыба. Если ее хоть на секунду вытащить из моря — ей уже не жить. Это господня рыба.

К вечеру она умерла. А ночью, сидя в ялике, далеко от берега, я вспомнил и спросил:

— Коля, а почему же эта рыба — господня?

— А вот почему, — ответил Коля с глубокой верой. — Старые греки у нас рассказывают так. Когда Иисус Христос, господь наш, воскрес на третий день после своего погребения, то никто ему не хотел верить. Видели много чудес от него при его жизни, но этому чуду не могли поверить и боялись.

Отказались от него ученики, отказались апостолы, отказались жены-мироносицы. Тогда приходит он к своей матери. А она в это время стояла у очага и жарила на сковородке рыбу, приготовляя обед себе и близким. Господь говорит ей:

— Здравствуй! Вот я, твой сын, воскресший, как было сказано в писании. Мир с тобою.

Но она задрожала и воскликнула в испуге:

— Если ты подлинно сын мой Иисус, сотвори чудо, чтобы я уверовала.

Улыбнулся господь, что она не верит ему, и сказал:

— Вот, я возьму рыбу, лежащую на огне, и она оживет. Поверишь ли ты мне тогда?

И едва он, прикоснувшись своими двумя пальцами к рыбе, поднял ее на воздух, как она затрепыхалась и ожила.

Тогда уверовала мать господа в чудо и радостно поклонилась сыну воскресшему. А на этой рыбе с тех пор так и остались два небесных пятна. Это следы господних пальцев.

Так рассказывал простой, немудрый рыбак наивное давнее сказание. Спустя же несколько дней я узнал, что у господней рыбы есть еще другое название — Зевсова рыба. Кто скажет: до какой глубины времен восходит тот апокриф?

VI

БОРА

О, милые простые люди, мужественные сердца, наивные первобытные души, крепкие тела, обвеянные соленым морским ветром, мозолистые руки, зоркие глаза, которые столько раз глядели в лицо смерти, в самые ее зрачки!

Третьи сутки дует бора. Бора — иначе норд-ост — это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни.

Ветер этот стращен своей неожиданностью: его невозможно предугадать — это самый капризный ветер на самом капризном из морей.

Старые рыбаки говорят, что единственное средство спастись от него — это «удирать в открытое море».

И бывают случаи, что бора уносит какой-нибудь четырехгребный баркас или голубую, разукрашенную серебряными звездами турецкую фелюгу через все Черное море, за триста пятьдесят верст, на Анатолийский берег.

Третьи сутки дует бора. Новолуние. Молодой месяц, как и всегда, рождается с большими мучениями и трудом. Опытные рыбаки не только не думают о том, чтобы пуститься в море, но даже вытащили свои баркасы подальше и понадежнее на берег.

Один лишь отчаянный Федор из Олеиза, который за много дней перед этим теплил свечу перед образом Николая Чудотворца, решился выйти, чтобы поднять белужью снасть.

Три раза со своей артелью, состоявшей исключительно из татар, отплывал он от берега и три раза возвращался обратно на веслах с большими усилиями, проклятиями и богохульствами, делая в час не более одной десятой морского узла. В бешенстве, которое может быть понятно только моряку, он срывал прикрепленный на носу образ Николая, Мир Ликийских чудотворца, швырял его на дно лодки, топтал ногами и мерзко ругался, а в это время его команда шапками и горстями вычерпывала воду, хлеставшую через борт.

В эти дни старые хитрые балаклавские листригоны сидели по кофейням, крутили самодельные папиросы, пили крепкий бобковый кофе с гущей, играли в домино, жаловались на то, что погода не пускает, и в уютном тепле, при свете висячих ламп, вспоминали древние легендарные случаи, наследие отцов и дедов, о том, как в таком-то и в таком-то году морской прибой достигал сотни саженей вверх и брызги от него долетали до самого подножия полуразрушенной генуэзской крепости.

Пропал без вести один баркас из Фороса, на котором работала артель пришлых русопетов, восьмеро каких-то белобрысых Иванов, приехавших откуда-то, не то с Ильменя, не то с Волги, искать удачи на Черном море. В кофейнях никто о них не пожалел и не потревожился. Почмокали языком, посмеялись и сказали презрительно и просто: «Тц... тц... тц... конечно,

дураки, разве можно в такую погоду? Известно — русские». В предутренний час темной ревущей ночи пошли они все, как камни, на дно в своих коневых сапогах до поясницы, в кожаных куртках, в крашеных желтых непромокаемых плащах.

Совсем другое дело было, когда перед борой вышел в море Ваня Андруцаки, наплевав на все предостережения и уговоры старых людей. Бог его знает, зачем он это сделал? Вернее всего из мальчишеского задора, из буйного молодого самолюбия, немножко под пьяную руку. А может быть, на него любовалась в эту минуту красногубая черноглазая гречанка?

Поднял парус, — а ветер уже и в то время был очень свежий, — и только его и видели! Со скоростью хорошего призового рысака вынеслась лодка из бухты, помаячила минут пять своим белым парусом в морской синеве, и сейчас же нельзя было разобрать, что там вдали белеет: парус или белые барашки, скакавшие с волны на волну?

А вернулся он домой только через трое суток...

Трое суток без сна, без еды и питья, днем и ночью, и опять днем и ночью, и еще сутки, в крошечной скорлупке, среди обезумевшего моря — и вокруг ни берега, ни паруса, ни маячного огня, ни пароходного дыма! А вернулся Ваня Андруцаки домой — и точно забыл обо всем, точно ничего с ним и не было, точно он съездил на мальпосте в Севастополь и купил там десяток папирос.

Были, правда, некоторые подробности, которые я с трудом выдавил из Ваниной памяти. Например, с Юрой Липиади случилось на исходе вторых суток нечто вроде истерического припадка, когда он начал вдруг ни с того ни с сего плакать и хохотать и совсем уже было выпрыгнул за борт, если бы Ваня Андруцаки вовремя не успел ударить его рулевым веслом по голове. Был также момент, когда артель, напуганная бешеным ходом лодки, захотела убрать парус, и Ване стоило, должно быть, больших усилий, чтобы сжать в кулак волю этих пяти человек и, перед дыханием смерти, заставить их подчиниться себе. Кое-что я узнал и о том, как кровь выступала у гребцов

из-под ногтей от непомерной работы. Но все это было рассказано мне отрывками, нехотя, вскользь. Да! Конечно, в эти трое суток напряженной, судорожной борьбы со смертью было много сказано и сделано такого, о чем артель «Георгия Победоносца» не расскажет никому, ни за какие блага, до конца дней своих!

В эти трое суток ни один человек не сомкнул глаз в Балаклаве, кроме толстого Петалиди, хозяина гостиницы «Париж». И все тревожно бродили по набережной, лазили на скалы, взбирались на генуэзскую крепость, которая высится своими двумя древними зубцами над городом, — все: старики, молодые, женщины и дети. Полетели во все концы света телеграммы: начальнику черноморских портов, местному архиерею, на маяки, на спасательные станции, морскому министру, министру путей сообщения, в Ялту, в Севастополь, в Константинополь и Одессу, греческому патриарху, губернатору и даже почему-то русскому консулу в Дамаске, который случайно оказался знакомым одному балаклавскому греку-аристократу, торгующему мукой и цементом.

Проснулась древняя, многовековая спайка между людьми, кровное товарищеское чувство, так мало заметное в будничные дни среди мелких расчетов и житейского сора, заговорили в душах тысячелетние голоса пра-пра-пращуров, которые задолго до времен Одиссея вместе отстаивались от боры в такие же дни и такие же ночи.

Никто не спал. Ночью развели огромный костер на верху горы, и все ходили по берегу с огнями, точно на пасху. Но никто не смеялся, не пел, и опустели все кофейни.

Ах, какой это был восхитительный момент, когда утром, часов около восьми, Юра Паратино, стоявший на верху скалы над Белыми камнями, прищурился, нагнулся вперед, вцепился своими зоркими глазами в пространство и вдруг крикнул:

— Есть! Идут!

Кроме Юры Паратино, никто не разглядел бы лодки в этой черно-синей морской дали, которая колыхалась тяжело и еще злобно, медленно утихая от не-

давнего гнева. Но прошло пять, десять минут, и уже любой мальчишка мог удостовериться в том, что «Георгий Победоносец» идет, лавируя под парусом, к бухте. Была большая радость, соединившая сотню людей в одно тело и в одну душу!

Перед бухтой они опустили парус и вошли на веслах, вошли, как стрела, весело напрягая последние силы, вошли, как входят рыбаки в залив после отличного улова белуги. Кругом плакали от счастья: матери, жены, невесты, сестры, братишки. Вы думаете, что хоть один рыбак из артели «Георгия Победоносца» размяк, расплакался, полез целоваться или рыдать на чьей-нибудь груди? Ничуть! Они все шестеро, еще мокрые, осипшие и обветренные, ввалились в кофейную Юры, потребовали вина, орали песни, заказали музыку и плясали, как сумасшедшие, оставляя на полу лужи воды. И только поздно вечером товарищи разнесли их, пьяных и усталых, по домам; и спали они без просыпу по двадцати часов каждый. А когда проснулись, то глядели на свою поездку в море ну вот так, как будто бы они съездили на мальпосте в Севастополь на полчаса, чуть-чуть кутнули там и вернулись домой.

VII

ВОДОЛАЗЫ

1

В балаклавскую бухту, узкогорлую, извилистую и длинную, кажется, со времен крымской кампании не заходил ни один пароход, кроме разве миноносок на маневрах. Да и что, по правде сказать, делать пароходам в этом глухом рыбачьем полупоселке-полугородке? Единственный груз — рыбу — скупают на месте перекупщики и везут на продажу за тринадцать верст, в Севастополь; из того же Севастополя приезжают сюда немногие дачники на мальпосте за пятьдесят копеек. Маленький, но отчаянной храбрости паровой катеришка «Герой», который ежедневно бегает между Ялтой и Алупкой, пыхтя, как зарьявшая собака,

и треплясь, точно в урагане, в самую легкую зыбь, пробовал было установить пассажирское сообщение и с Балаклавой. Но из этой попытки, повторенной раза три-четыре, ничего путного не вышло: только лишняя трата угля и времени. В каждый рейс «Герой» приходил пустым и возвращался пустым. А балаклавские греки, отдаленные потомки кровожадных гомеровских листригонов, встречали и провожали его, стоя на пристани и заложив руки в карманы штанов, меткими словечками, двусмысленными советами и язвительными пожеланиями.

Зато во время севастопольской осады голубая прелестная бухта Балаклавы вмещала в себе чуть ли не четверть всей союзной флотилии. От этой героической эпохи остались и до сих пор кое-какие достоверные следы: крутая дорога в балке Кефало-Вриси, проведенная английскими саперами, итальянское кладбище наверху балаклавских гор между виноградниками, да еще при плантаже земли под виноград время от времени откапывают короткие гипсовые и костяные трубочки, из которых более чем полвека тому назад курили табак союзные солдаты.

Но легенда цветет пышнее. До сих пор балаклавские греки убеждены, что только благодаря стойкости их собственного балаклавского батальона смог так долго продержаться Севастополь. Да! В старину населяли Балаклаву железные и гордые люди. Об их гордости устное предание удержало замечательный случай.

Не знаю, бывал ли когда-нибудь покойный император Николай I в Балаклаве. Думаю всячески, что во время крымской войны он вряд ли, за недостатком времени, заезжал туда. Однако живая история уверенно повествует о том, как на смотру, подъехав на белом коне к славному балаклавскому батальону, грозный государь, пораженный воинственным видом, огненными глазами и черными усищами балаклавцев, воскликнул громовым и радостным голосом:

— Здорово, ребята!

Но батальон молчал.

Царь повторил несколько раз свое приветствие,

все в более и более гневном тоне. То же молчание! Наконец совсем уже рассерженный, император наскакал на батальонного начальника и воскликнул своим ужасным голосом:

— Отчего же они, черт их побери, не отвечают? Кажется, я по-русски сказал: «Здорово, ребята!»

— Здесь нет ребяти, — ответил кротко начальник. — Здесь сё капитани.

Тогда Николай I рассмеялся — что же ему оставалось еще делать? — и вновь крикнул:

— Здравствуйте, капитаны!

И храбрые листригоны весело заорали в ответ:

— Ка́ли ме́ра (добрый день), ваше величество!

Так ли происходило это событие, или не так, и вообще происходило ли оно в действительности, судить трудно, за неимением веских и убедительных исторических данных. Но и до сих пор добрая треть отважных балаклавских жителей носит фамилию Капитанаки, и если вы встретите когда-нибудь грека с фамилией Капитанаки, будьте уверены, что он сам или его недалекие предки — родом из Балаклавы.

2

Но самыми яркими и соблазнительными цветами украшено сказание о затонувшей у Балаклавы английской эскадре. Темной зимней ночью несколько английских судов направлялись к балаклавской бухте, ища спасения от бури. Между ними был прекрасный трехмачтовый фрегат «Black Prince», везший деньги для уплаты жалованья союзным войскам. Шестьдесят миллионов рублей звонким английским золотом! Старикам даже и цифра известна с точностью.

Те же старики говорят, что таких ураганов теперь уже не бывает, как тот, что свирепствовал в эту страшную ночь! Громадные волны, ударяясь об отвесные скалы, всплескивали наверх до подножия Генуэзской башни — двадцать сажен высоты! — и омывали ее серые старые стены. Эскадра не сумела найти узкого входа в бухту или, может быть, найдя, не смогла

войти в него. Она вся разбилась об утесы и вместе с великолепным кораблем «Black Prince» и с английским золотом пошла ко дну около Белых камней, которые и теперь еще внушительно торчат из воды там, где узкое горло бухты расширяется к морю, с правой стороны, если выходишь из Балаклавы.

Теперешние пароходы совершают свои рейсы далеко от бухты, верстах в пятнадцати — двадцати. С генуэзской крепости едва различишь кажущийся неподвижным темный корпус парохода, длинный хвост серого тающего дымка и две мачты, стройно наклоненные назад. Зоркий рыбачий глаз, однако, почти безошибочно разбирает эти суда по каким-то приметам, не понятным нашему опыту и зрению. «Вот идет грузовой из Евпатории... Это Русского общества, а это Российский... это — Кошкинский... А это валяет по мертвой зыби «Пушкина» — его и в тихую погоду валяет...»

3

И вот однажды, совсем неожиданно, в бухту вошел огромный, старинной конструкции, необыкновенно грязный итальянский пароход «Genova»[1]. Случилось это поздним вечером, в ту пору осени, когда почти все курортные жильцы уже разъехались на север, но море еще настолько тепло, что настоящая рыбная ловля пока не начиналась, когда рыбаки не торопясь чинят сети и заготовляют крючки, играют в домино по кофейням, пьют молодое вино и вообще предаются временному легкому кейфу.

Вечер был тихий и темный, с большими спокойными звездами на небе и в спящей воде залива. Вдоль набережной зажигалась желтыми точками цепь фонарей. Закрывались светлые четырехугольники магазинов. Легкими черными силуэтами медленно двигались по улицам и по тротуару люди...

И вот, не знаю кто, кажется мальчишки, игравшие наверху у Генуэзской башни, принесли известие, что с моря завернул и идет к бухте какой-то пароход.

---

[1] «Генуя» *(итал.)*.

Через несколько минут все коренное мужское население было на набережной. Известно, что грек — всегда грек и, значит, прежде всего любопытен. Правда, в балаклавских греках чувствуется, кроме примеси позднейшей генуэзской крови, и еще какая-то таинственная, древняя, — почем знать, — может быть, даже скифская кровь — кровь первобытных обитателей этого разбойничьего и рыбачьего гнезда. Среди них увидишь много рослых, сильных и самоуверенных фигур; попадаются правильные, благородные лица; нередко встречаются блондины и даже голубоглазые; балаклавцы не жадны, не услужливы, держатся с достоинством, в море отважны, хотя и без нелепого риска, хорошие товарищи и крепко исполняют данное слово. Положительно — это особая исключительная порода греков, сохранившаяся главным образом потому, что их предки чуть не сотнями поколений родились, жили и умирали в своем городишке, заключая браки лишь между соседями. Однако надо сознаться, что греки-колонизаторы оставили в их душах самую свою типичную черту, которой они отличались еще при Перикле — любопытство и страсть к новостям.

Медленно, сначала показавшись лишь передовым крошечным огоньком из-за крутого загиба бухты, вплывал пароход в залив. Издали в густой теплой темноте ночи не было видно его очертаний, но высокие огни на мачтах, сигнальные огни на мостике и ряд круглых светящихся иллюминаторов вдоль борта позволяли догадываться о его размерах и формах. В виду сотен лодок и баркасов, стоявших вдоль набережной, он едва заметно подвигался к берегу, с той внимательной и громоздкой осторожностью, с какой большой и сильный человек проходит сквозь детскую комнату, заставленную хрупкими игрушками.

Рыбаки делали предположения. Многие из них плавали раньше на судах коммерческого, а чаще военного флота.

— Что ты мне будешь говорить? Разве я не вижу? Конечно, — грузовой Русского общества.

— Нет, это не русский пароход.

— Верно, испортилось что-нибудь в машине, зашел чиниться.

— Может быть, военное судно?

— Скажешь!

Один Коля Констанди, долго плававший на канонерской лодке по Черному и Средиземному морям, угадал верно, сказав, что пароход итальянский. И то угадал он это только тогда, когда пароход совсем близко, сажен на десять, подошел к берегу и можно было рассмотреть его облинявшие, облупленные борта, с грязными потеками из люков, и разношерстную команду на палубе.

С парохода взвился спиралью конец каната и, змеей развертываясь в воздухе, полетел на головы зрителей. Всем известно, что ловко забросить конец с судна и ловко поймать его на берегу — считается первым условием своеобразного морского шика. Молодой Апостолиди, не выпуская изо рта папироски, с таким видом, точно он сегодня проделывает это в сотый раз, поймал конец на лету и тут же небрежно, но уверенно замотал его вокруг одной из двух чугунных пушек, которые с незапамятных времен стоят на набережной, врытые стоймя в землю.

От парохода отошла лодка. Три итальянца выскочили из нее на берег и завозились около канатов. На одном из них был суконный берет, на другом — картуз с прямым четырехугольным козырьком, на третьем — какой-то вязаный колпак. Все они были маленькие крепыши, проворные, цепкие и ловкие, как обезьяны. Они бесцеремонно расталкивали плечами толпу, тараторили что-то на своем быстром, певучем и нежном генуэзском наречии и перекрикивались с пароходом. Все время на их загорелых лицах смеялись дружелюбно и фамильярно большие черные глаза и сверкали белые молодые зубы.

— Бона сера... итальяно... маринаро![1] — одобрительно сказал Коля.

— Oh! Buona sera, signore![2] — весело, разом отозвались итальянцы.

---

[1] Привет... итальянцы... моряки! *(итал.)*

[2] О! Привет, господин! *(итал.)*

Загремела с визгом якорная цепь. Забурлило и заклокотало что-то внутри парохода. Погасли огни в иллюминаторах. Через полчаса итальянских матросов спустили на берег.

Итальянцы — все как на подбор, низкорослые, чернолицые и молодые — оказались общительными и веселыми молодцами. С какой-то легкой, пленительной развязностью заигрывали они в этот вечер в пивных залах и в винных погребках с рыбаками. Но балаклавцы встретили их сухо и сдержанно. Может быть, они хотели дать понять этим чужим морякам, что заход иностранного судна в бухту вовсе был для них не в редкость, что это случается ежедневно, и, стало быть, нечего тут особенно удивляться и радоваться. Может быть, в них говорил маленький местный патриотизм?

И — ах! — нехорошо они в этот вечер подшутили над славными, веселыми итальянцами, когда те, в своей милой международной доверчивости, тыкали пальцами в хлеб, вино, сыр и в другие предметы и спрашивали их названия по-русски, скаля ласково свои чудные зубы. Таким словам научили хозяева своих гостей, что каждый раз потом, когда генуэзцы в магазине или на базаре пробовали объясняться по-русски, то приказчики падали от хохота на свои прилавки, а женщины стремглав бросались бежать куда попало, закрывая от стыда головы платками.

И в тот же вечер — бог весть каким путем, точно по невидимым электрическим проводам — облетел весь город слух, что итальянцы пришли нарочно для того, чтобы поднять затонувший фрегат «Black Prince» вместе с его золотом и что их работа продолжится целую зиму.

4

В успешность такого предприятия никто в Балаклаве не верил. Прежде всего, конечно, над морским кладом лежало таинственное заклятие. Замшелые, древние, белые, согбенные старцы рассказывали о том, что и прежде делались попытки добыть со дна английское золото; приезжали и сами англичане и какие-то

фантастические американцы, ухлопывали пропасть денег и уезжали из Балаклавы ни с чем. Да и что могли поделать какие-нибудь англичане или американцы, если даже легендарные, прежние, героические балаклавцы потерпели здесь неудачу? Само собой разумеется, что прежде и погоды были не такие, и уловы рыбы, и баркасы, и паруса, и люди были совсем не такие, как теперешняя мелюзга. Был некогда мифический Спиро. Он мог опуститься на любую глубину и пробыть под водой четверть часа. Так вот этот Спиро, зажав между ногами камень в три пуда весом, опускался у Белых камней на глубину сорока сажен, на дно, где покоятся останки затонувшей эскадры. И Спиро все видел: и корабль и золото, но взять оттуда с собой не мог... *не пускает.*

— Вот бы Сашка Комиссионер попробовал, — лукаво замечал кто-нибудь из слушателей. — Он у нас первый ныряльщик.

И все кругом смеялись, и более других смеялся во весь свой гордый, прекрасный рот сам Сашка Аргириди, или Сашка Комиссионер, как его называют.

Этот парень — голубоглазый красавец с твердым античным профилем — в сущности первый лентяй, плут и шут на всем крымском побережье. Его прозвали комиссионером за то, что иногда в разгаре сезона он возьмет и пришьет себе на ободок картуза пару золотых позументов и самовольно усядется на стуле где-нибудь поблизости гостиницы, прямо на улице. Случается, что к нему обратятся с вопросом какие-нибудь легкомысленные туристы, и тут уж им никак не отлепиться от Сашки. Он мыкает их по горам, по задворкам, по виноградникам, по кладбищам, врет им с невероятной дерзостью, забежит на минуту в чей-нибудь двор, наскоро разобьет в мелкие куски обломок старого печного горшка и потом, «как слонов», уговаривает ошалевших путешественников купить по случаю эти черепки — остаток древней греческой вазы, которая была сделана еще до рождества Христова... или сует им в нос обыкновенный овальный и тонкий голыш с провернутой вверху дыркой, из тех, что рыбаки употребляют как грузило для сетей, и уверяет, что ни

один греческий моряк не выйдет в море без такого талисмана, освященного у раки Николая Угодника и спасающего от бури.

Но самый лучший его номер — подводный. Катая простодушную публику по заливу и наслушавшись вдоволь, как она поет «Нелюдимо наше море» и «Вниз по матушке по Волге», он искусно и незаметно заводит речь о затонувшей эскадре, о сказочном Спиро и вообще о нырянии. Но четверть часа под водой — это даже самым доверчивым пассажирам кажется враньем, да еще при этом специально греческим враньем. Ну, две-три минуты это еще куда ни шло, это можно, пожалуй, допустить... но пятнадцать!.. Сашка задет за живое... Сашка обижен в своем национальном самолюбии... Сашка хмурится... Наконец, если ему не верят, он сам лично может доказать, и даже сейчас, сию минуту, что он, Сашка, нырнет и пробудет под водой ровно десять минут.

— Правда, это трудно, — говорит он не без мрачности. — Вечером у меня будет идти кровь из ушей и из глаз... Но я никому не позволю говорить, что Сашка Аргириди хвастун.

Его уговаривают, удерживают, но ничто уж теперь не помогает, раз человек оскорблен в своих лучших чувствах. Он быстро, сердито срывает с себя пиджак и панталоны, мгновенно раздевается, заставляя дам отворачиваться и заслоняться зонтиками, и — бух — с шумом и брызгами летит вниз головой в воду, не забыв, однако, предварительно одним углом глаза рассчитать расстояние до недалекой мужской купальни.

Сашка действительно прекрасный пловец и нырок. Бросившись на одну сторону лодки, он тотчас же глубоко в воде заворачивает под килем и по дну плывет прямехонько в купальню. И в то время, когда на лодке подымается общая тревога, взаимные упреки, аханье и всякая бестолочь, он сидит в купальне на ступеньке и торопливо докуривает чей-нибудь папиросный окурок. И таким же путем совершенно неожиданно Сашка выскакивает из воды у самой лодки, искусственно выпучив глаза и задыхаясь, к общему облегчению и восторгу.

Конечно, ему перепадает за эти фокусы кое-какая мелочишка. Но надо сказать, что руководит Сашкой в его проделках вовсе не алчность к деньгам, а мальчишеская, безумная, веселая проказливость.

5

Итальянцы ни от кого не скрывали цели своего приезда: они действительно пришли в Балаклаву с тем, чтобы попытаться исследовать место крушения и — если обстоятельства позволят — поднять со дна все наиболее ценное, — главным образом, конечно, легендарное золото. Всей экспедицией руководил инженер Джузеппе Рестуччи — изобретатель особого подводного аппарата, высокий пожилой молчаливый человек, всегда одетый в серое, с серым длинным лицом и почти седыми волосами, с бельмом на одном глазу, — в общем, гораздо больше похожий на англичанина, чем на итальянца. Он поселился в гостинице на набережной и по вечерам, когда к нему кое-кто приходил посидеть, гостеприимно угощал вином кианти и стихами своего любимого поэта Стекетти.

«Женская любовь, точно уголь, который, когда пламенеет, то жжется, а холодный — грязнит!»

И хотя он это все говорил по-итальянски, своим сладким и певучим генуэзским акцентом, но и без перевода смысл стихов был ясен благодаря его необыкновенно выразительным жестам: с таким видом внезапной боли он отдергивал руку, обожженную воображаемым огнем, — и с такой гримасой брезгливого отвращения он отбрасывал от себя холодный уголь.

Был еще на судне капитан и двое его младших помощников. Но самым замечательным лицом из экипажа был, конечно, водолаз — il palambaro — славный генуэзец, по имени Сальваторе Трама.

На его большом круглом темно-бронзовом лице, испещренном, точно от обжога порохом, черными крапинками, проступали синими змейками напряженные вены. Он был невысок ростом, но благодаря необычайному объему грудной клетки, ширине плеч и массив-

ности могучей шеи производил впечатление чрезмерно толстого человека. Когда он своей ленивой походкой, заложив руки в брючные карманы и широко расставляя короткие ноги, проходил серединой набережной улицы, то издали казался совсем одинаковых размеров как в высоту, так и в ширину.

Сальваторе Трама был приветливый, лениво-веселый, доверчивый человек, с наклонностью к апоплексическому удару. Странные, диковинные вещи рассказывал он иногда о своих подводных впечатлениях.

Однажды, во время работы в Бискайском заливе, ему пришлось опуститься на дно, на глубину более двадцати сажен. Внезапно он заметил, что на него среди зеленоватого подводного сумрака надвинулась сверху какая-то огромная, медленно плывущая тень. Потом тень остановилась. Сквозь круглое стекло водолазного шлема Сальваторе увидел, что над ним, в аршине над его головой, стоит, шевеля волнообразно краями своего круглого и плоского, как у камбалы, тела, гигантский электрический скат сажени в две диаметром, — вот в эту комнату! — как сказал Трама. Одного прикосновения его двойного хвоста к телу водолаза достаточно было бы для того, чтобы умертвить храброго Трама электрическим разрядом страшной силы. И эти две минуты ожидания, пока чудовище, точно раздумав, медленно поплыло дальше, колыхаясь извилисто своими тонкими боками, Трама считает самыми жуткими во всей своей тяжелой и опасной жизни.

Рассказывал он также о своих встречах под водой с мертвыми матросами, брошенными за борт с корабля. Вопреки тяжести, привязанной к их ногам, они, вследствие разложения тела, попадают неизбежно в полосу воды такой плотности, что не идут уже больше ко дну, но и не подымаются вверх, а, стоя, странствуют в воде, влекомые тихим течением, с ядром, висящим на ногах.

Еще передавал Трама о таинственном случае, приключившемся с другим водолазом, его родственником и учителем. Это был старый, крепкий, хладнокровный и отважный человек, обшаривший морское дно на

побережьях чуть ли не всего земного шара. Свое исключительное и опасное ремесло он любил всей душой, как, впрочем, любил его каждый настоящий водолаз.

Однажды этот человек, работая над прокладкой телеграфного подводного кабеля, должен был опуститься на дно, на сравнительно небольшую глубину. Но едва только он достиг ногами почвы и сигнализировал об этом наверх веревкой, как сейчас же на лодке уловили его новый тревожный сигнал: «Подымайте наверх! Нахожусь в опасности!»

Когда его поспешно вытащили и быстро отвинтили медный шлем от скафандра, то всех поразило выражение ужаса, исказившее его бледное лицо и заставившее побелеть его глаза.

Водолаза раздели, напоили коньяком, старались его успокоить. Он долго не мог выговорить ни слова, так сильно стучали его челюсти одна о другую. Наконец, придя в себя, он сказал:

— Баста! Больше никогда не опущусь. Я видел...

Но так до конца своих дней он никому не сказал, какое впечатление или какая галлюцинация так сильно потрясла его душу. Если об этом начинали разговаривать, он сердито замолкал и тотчас же покидал компанию. И в море он действительно больше не опускался ни одного раза...

6

Матросов на «Genova» было человек пятнадцать. Жили они все на пароходе, а на берег съезжали сравнительно редко. С балаклавскими рыбаками отношения у них так и остались отдаленными и вежливо холодными. Только изредка Коля Констанди бросал им добродушное приветствие:

— Бона джиорна, синьоры. Вино россо...[1]

Должно быть, очень скучно приходилось в Балаклаве этим молодым, веселым южным молодчикам, которые раньше побывали и в Рио-Жанейро, и на Мадагаскаре, и в Ирландии, и у берегов Африки, и во мно-

[1] Добрый день, господа. Красное вино... *(итал.)*

гих шумных портах европейского материка. В море — постоянная опасность и напряжение всех сил, а на суше — вино, женщины, песня, танцы и хорошая драка — вот жизнь настоящего матроса. А Балаклава всего-навсего маленький, тихонький уголок, узенькая щелочка голубого залива среди голых скал, облепленных несколькими десятками домишек. Вино здесь кислое и крепкое, а женщин и совсем нет для развлечения бравого матроса. Балаклавские жены и дочери ведут замкнутый и целомудренный образ жизни, позволяя себе только одно невинное развлечение — посудачить с соседками у фонтана в то время, когда их кувшины наполняются водою. Даже свои, близкие мужчины как-то избегают ходить в гости в знакомые семьи, а предпочитают видеться в кофейне или на пристани.

Однажды, впрочем, рыбаки оказали итальянцам небольшую услугу. При пароходе «Genova» был маленький паровой катер со старенькой, очень слабосильной машиной. Несколько матросов под командой помощника капитана вышли как-то в открытое море на этом катере. Но, как это часто бывает на Черном море, внезапно сорвавшийся бог весть откуда ветер подул от берега и стал уносить катер в море с постепенно возрастающей скоростью. Итальянцы долго не хотели сдаваться: около часа они боролись с ветром и волной, и, правда, страшно было в это время смотреть со скалы, как маленькая дымящаяся скорлупка то показывалась на белых гребнях, то совсем исчезала, точно проваливалась между волн. Катер не мог одолеть ветра, и его относило все дальше и дальше от берега. Наконец-то сверху, с генуэзской крепости, заметили белую тряпку, поднятую на дымовой трубе, — сигнал: «Терплю бедствие». Тотчас же два лучших балаклавских баркаса, «Слава России» и «Светлана», подняли паруса и вышли на помощь катеру.

Через два часа они привели его на буксире. Итальянцы были немного сконфужены и довольно принужденно шутили над своим положением. Шутили и рыбаки, но вид у них был все-таки покровительственный.

Иногда при ловле камбалы или белуги рыбакам случалось вытаскивать на крючке морского кота — тоже вид электрического ската. Прежде рыбак, соблюдая все меры предосторожности, отцеплял эту гадину от крючка и выбрасывал за борт. Но кто-то — должно быть, тот же знаток итальянского языка, Коля — пустил слух, что для итальянцев вообще морской кот составляет первое лакомство. И с тех пор часто, возвращаясь с ловли и проходя мимо парохода, какой-нибудь рыбак кричал:

— Эй, итальяно, синьоро! Вот вам на закуску!..

И круглый плоский скат летел темным кругом по воздуху и сочно шлепался о палубу. Итальянцы смеялись, показывая свои великолепные зубы, добродушно кивали головами и что-то бормотали по-своему. Почем знать, может быть они сами думали, что морской кот считается лучшим местным деликатесом, и не хотели обижать добрых балаклавцев отказом...

7

Недели через две по приезде итальянцы собрали и спустили на воду большой паром, на котором установили паровую и воздуходувные машины. Длинный кран лебедки, как гигантское удилище, наклонно воздвигался над паромом. В одно из воскресений Сальваторе Трама впервые спускался под воду в заливе. На нем был обыкновенный серый резиновый водолазный костюм, делавший его еще шире, чем обыкновенно, башмаки с свинцовыми подметками на ногах, железная манишка на груди, круглый медный шар, скрывавший голову. С полчаса он ходил по дну бухты, и путь его отмечался массой воздушных пузырьков, которые вскипали над ним на поверхности воды. А спустя неделю вся Балаклава узнала, что назавтра водолаз будет опускаться уже у самых Белых камней, на глубину сорока сажен. И когда на другой день маленький жалкий катер повел паром к выходу из бухты, то у Белых камней уже дожидались почти все рыбачьи баркасы, стоявшие в бухте.

Сущность изобретения господина Рестуччи именно в том и заключалась, чтобы дать возможность водолазу опускаться на такую глубину, на которой человека в обыкновенном скафандре сплющило бы страшным давлением воды. И, надо отдать справедливость балаклавцам, они не без волнения и во всяком случае с чувством настоящего мужественного уважения глядели на приготовления к спуску, которые совершались перед их глазами. Прежде всего паровой кран поднял и поставил стоймя странный футляр, отдаленно напоминавший человеческую фигуру, без головы и без рук, футляр, сделанный из толстой красной меди, покрытой снаружи голубой эмалью. Потом этот футляр раскрыли, как раскрыли бы гигантский портсигар, в который нужно поместить, точно сигару, человеческое тело. Сальваторе Трама, покуривая папиросу, спокойно глядел на эти приготовления, лениво посмеивался, изредка бросал небрежные замечания. Потом швырнул окурок за борт, с развальцем подошел к футляру и боком втиснулся в него. Над водолазом довольно долго возились, устанавливая всевозможные приспособления, и надо сказать, что когда все было окончено, то он представлял собою довольно-таки страшное зрелище. Снаружи свободными оставались только руки, все тело вместе с неподвижными ногами было заключено в сплошной голубой эмалевый гроб громадной тяжести; голубой огромный шар, с тремя стеклами — передним и двумя боковыми — и с электрическим фонарем на лбу, скрывал его голову; подъемный канат, каучуковая трубка для воздуха, сигнальная веревка, телефонная проволока и осветительный провод, казалось, опутывали весь снаряд и делали еще более необычайной и жуткой эту мертвую голубую массивную мумию с живыми человеческими руками.

Раздался сигнал паровой машины, послышался грохот цепей. Странный голубой предмет отделился от палубы парома, потом плавно, слегка закручиваясь по вертикальной оси, проплыл в воздухе и медленно, страшно медленно, стал опускаться за борт. Вот он коснулся поверхности воды, погрузился по колена, до пояса, по плечи... Вот скрылась голова, наконец

ничего не видно, кроме медленно ползущего вниз стального каната. Балаклавские рыбаки переглядываются и молча, с серьезным видом покачивают головами...

Инженер Рестуччи у телефонного аппарата. Время от времени он бросает короткие приказания машинисту, регулирующему ход каната. Кругом на лодках полная, глубокая тишина — слышен только свист машины, накачивающей воздух, погромыхивание шестерен, визг стального троса на блоке и отрывистые слова инженера. Все глаза устремлены на то место, где недавно исчезла уродливая шарообразная страшная голова.

Спуск продолжается мучительно долго. Больше часа. Но вот Рестуччи оживляется, несколько раз переспрашивает что-то в телефонную трубку и вдруг кидает короткую команду:

— Стоп!..

Теперь все зрители понимают, что водолаз дошел до дна, и все вздыхают, точно с облегчением. Самое страшное окончилось...

Втиснутый в металлический футляр, имея свободными только руки, Трама был лишен возможности передвигаться по дну собственными средствами. Он только приказывал по телефону, чтобы его перемещали вместе с паромом вперед, передвигали лебедкой в стороны, поднимали вверх и опускали. Не отрываясь от телефонной трубки, Рестуччи повторял его приказания спокойно и повелительно, и казалось, что паром, лебедка и все машины приводились в движение волей невидимого, таинственного подводного человека.

Через двадцать минут Сальваторе Трама дал сигнал к подниманию. Так же медленно его вытащили на поверхность, и когда он опять повис в воздухе, то производил странное впечатление какого-то грозного и беспомощного голубого животного, извлеченного чудом из морской бездны.

Установили аппарат на палубе. Матросы быстрыми привычными движениями сняли шлем и распаковали футляр. Трама вышел из него в поту, задыхаясь, с лицом почти черным от прилива крови. Видно было, что

он хотел улыбнуться, но у него вышла только страдальческая, измученная гримаса. Рыбаки в лодках почтительно молчали и только в знак удивления покачивали головами и, по греческому обычаю, значительно почмокивали языком.

Через час всей Балаклаве стало известно все, *что* видел водолаз на дне моря, у Белых камней. Большинство кораблей было так занесено илом и всяким сором, что не было надежды на их поднятие, а от трехмачтового фрегата с золотом, засосанного дном, торчит наружу только кусочек кормы с остатком медной позеленевшей надписи: ...ck Pr...

Трама рассказывал также, что вокруг затонувшей эскадры он видел множество оборванных рыбачьих якорей, и это известие умилило рыбаков, потому что каждому из них, наверное, хоть раз в жизни пришлось оставить здесь свой якорь, который заело в камнях и обломках...

8

Но и балаклавским рыбакам удалось однажды поразить итальянцев необыкновенным и в своем роде великолепным зрелищем. Это было 6 января, в день крещения господня, — день, который справляется в Балаклаве совсем особенным образом.

К этому времени итальянские водолазы уже окончательно убедились в бесплодности дальнейших работ по поднятию эскадры. Им оставалось всего лишь несколько дней до отплытия домой, в милую, родную, веселую Геную, и они торопливо приводили в порядок пароход, чистили и мыли палубу, разбирали машины.

Вид церковной процессии, духовенство в золотых ризах, хоругви, кресты и образа, церковное пение — все это привлекло их внимание, и они стояли вдоль борта, облокотившись на перила.

Духовенство взошло на помост деревянной пристани. Сзади густо теснились женщины, старики и дети, а молодежь в лодках на заливе тесным полукругом опоясала пристань.

Был солнечный, прозрачный и холодный день; выпавший за ночь снег нежно лежал на улицах, на крышах и на плешивых бурых горах, а вода в заливе синела, как аметист, и небо было голубое, праздничное, улыбающееся. Молодые рыбаки в лодках были одеты только для приличия в одно исподнее белье, иные же были голы до пояса. Все они дрожали от холода, ежились, потирали озябшие руки и груди. Стройно и необычно сладостно неслось пение хора по неподвижной глади воды.

«Во Иордане крещающуся...» — тонко и фальшиво запел священник, и высоко поднятый крест заблестел в его руках белым металлом... Наступил самый серьезный момент. Молодые рыбаки стояли каждый на носу своего баркаса, все полураздетые, наклоняясь вперед в нетерпеливом ожидании.

Во второй раз пропел священник, и хор подхватил стройно и радостно «Во Иордане». Наконец в третий раз поднялся крест над толпой и вдруг, брошенный рукой священника, полетел, описывая блестящую дугу в воздухе, и звонко упал в море.

В тот же момент со всех баркасов с плеском и криками ринулись в воду вниз головами десятки крепких, мускулистых тел. Прошло секунды три-четыре. Пустые лодки покачивались, кланяясь. Взбудораженная вода ходила взад и вперед... Потом одна за другой начали показываться над водою мотающиеся фыркающие головы, с волосами, падающими на глаза. Позднее других вынырнул с крестом в руке молодой Яни Липиади.

Веселые итальянцы не могли сохранить надлежащей серьезности при виде этого необыкновенного, освященного седой древностью, полуспортивного, полурелигиозного обряда. Они встретили победителя такими дружными аплодисментами, что даже добродушный батюшка укоризненно покачал головою:

— Нехорошо... И очень нехорошо. Что это им — театральное представление?..

Ослепительно блестел снег, ласково синела вода, золотом солнце обливало залив, горы и людей. И крепко, густо, могущественно пахло морем. Хорошо!

VIII

БЕШЕНОЕ ВИНО

В Балаклаве конец сентября просто очарователен. Вода в заливе похолодела; дни стоят ясные, тихие, с чудесной свежестью и крепким морским запахом по утрам, с синим безоблачным небом, уходящим бог знает в какую высоту, с золотом и пурпуром на деревьях, с безмолвными черными ночами. Курортные гости — шумные, больные, эгоистичные, праздные и вздорные — разъехались кто куда — на север, к себе по домам. Виноградный сезон окончился.

К этому-то сроку и поспевает бешеное вино.

Почти у каждого грека, славного капитана-листригона, есть хоть крошечный кусочек виноградника, — там, наверху в горах, в окрестностях итальянского кладбища, где скромным белым памятником увенчаны могилы нескольких сотен безвестных иноземных храбрецов. Виноградники запущены, одичали, разрослись, ягоды выродились, измельчали. Пять-шесть хозяев, правда, выводят и поддерживают дорогие сорта вроде «чаус», «шашля» или «Наполеон», продавая их за целебные курортной публике (впрочем, в Крыму в летний и осенний сезоны — все целебное: целебный виноград, целебные цыплята, целебные чадры, целебные туфли, кизиловые палки и раковины, продаваемые морщинистыми лукавыми татарами и важными, бронзовыми, грязными персами). Остальные владельцы ходят в свой виноградник — или, как здесь говорят, «в сад» — только два раза в год: в начале осени — для сбора ягод, а в конце — для обрезки, производимой самым варварским образом.

Теперь времена изменились: нравы пали, и люди обеднели, рыба ушла куда-то в Трапезонд, оскудела природа. Теперь потомки отважных листригонов, легендарных разбойников-рыболовов, катают за пятачок по заливу детей и нянек и живут сдачей своих домиков внаймы приезжим. Прежде виноград родился — вот какой! — величиною в детский кулак, и гроздья были по пуду весом, а нынче и поглядеть не на что — ягоды чуть-чуть побольше черной смородины, и нет в

них прежней силы. Так рассуждают между собой старики, сидя в спокойные осенние сумерки около своих побеленных оград, на каменных скамьях, вросших в течение столетий в землю. Но старый обычай все-таки сохранился до наших дней. Всякий, кто может, поодиночке или в складчину, жмут и давят виноград теми первобытными способами, к которым, вероятно, прибегал наш прародитель Ной или хитроумный Улисс, опоивший такого крепкого мужика, как Полифем. Давят прямо ногами, и когда давильщик выходит из чана, то его голые ноги выше колен кажутся вымазанными и забрызганными свежей кровью. И это делается под открытым небом в горах, среди древнего виноградника, обсаженного вокруг миндальными деревьями и трехстолетними грецкими орехами.

Часто я гляжу на это зрелище, и необычайная, волнующая мечта охватывает мою душу. Вот на этих самых горах три, четыре, а может и пять тысяч лет тому назад, под тем же высоким синим небом и под тем же милым красным солнцем справлялся всенародно великолепный праздник Вакха, и там, где теперь слышится гнусавый теноришка слабогрудого дачника, уныло скрипящий:

И на могилу приноси
Хоть трижды в день мне хризанте-е-мы, —

там раздавались безумно-радостные, божественно-пьяные возгласы:

Эвое! Эван! Эвое!

Ведь всего в четырнадцати верстах от Балаклавы грозно возвышаются из моря красно-коричневые острые обломки мыса Фиолент, на которых когда-то стоял храм богини, требовавшей себе человеческих жертв! Ах, какую странную, глубокую и сладкую власть имеют над нашим воображением эти опустелые, изуродованные места, где когда-то так радостно и легко жили люди, веселые, радостные, свободные и мудрые, как звери.

Но молодому вину не дают не только улежаться, а даже просто осесть.

Да его и добывается так мало, что оно не сто́ит настоящих забот. Оно и месяца не постоит в бочке, как его уже разливают в бутылки и несут в город. Оно еще бродит, оно еще не успело *опомниться,* как характерно выражаются виноделы: оно мутно и грязновато на свет, со слабым розовым или яблочным оттенком; но все равно пить его легко и приятно. Оно пахнет свежераздавленным виноградом и оставляет на зубах терпкую, кисловатую оскомину.

Зато оно замечательно по своим последствиям. Выпитое в большом количестве, молодое вино не хочет опомниться и в желудке и продолжает там таинственный процесс брожения, начатый еще в бочке. Оно заставляет людей танцевать, прыгать, болтать без удержу, кататься по земле, пробовать силу, подымать невероятные тяжести, целоваться, плакать, хохотать, врать чудовищные небылицы. У него есть и еще одно удивительное свойство, какое присуще и китайской водке ханджин: если на другой день после попойки выпить поутру стакан простой холодной воды, то молодое вино опять начинает бродить, бурлить и играть в желудке и в крови, а сумасбродное его действие возобновляется с прежней силой. Оттого-то и называют это молодое вино — «бешеным вином».

Балаклавцы — хитрый народ и к тому же наученный тысячелетним опытом: поутру они пьют вместо холодной воды то же самое бешеное вино. И все мужское коренное население Балаклавы ходит недели две подряд пьяное, разгульное, шатающееся, но благодушное и поющее. Кто их осудит за это, славных рыбаков? Позади — скучное лето с крикливыми, заносчивыми, требовательными дачниками, впереди — суровая зима, свирепые норд-осты, ловля белуги за тридцать — сорок верст от берега, то среди непроглядного тумана, то в бурю, когда смерть висит каждую минуту над головой и никто в баркасе не знает, куда их несут зыбь, течение и ветер!

По гостям, как и всегда в консервативной Балаклаве, ходят редко. Встречаются в кофейнях, в столовых и на открытом воздухе, за городом, где плоско и пестро начинается роскошная Байдарская долина.

Каждый рад похвастаться своим молодым вином, а если его и не хватит, то разве долго послать какого-нибудь бездомного мальчишку к себе на дом за новой порцией? Жена посердится, побранится, а все-таки пришлет две-три четвертных бутыли мутно-желтого или мутно-розового полупрозрачного вина.

Кончились запасы — идут, куда понесут ноги: на ближайший хутор, в деревню, в лимонадную лавочку на 9-ю или на 5-ю версту балаклавского шоссе. Сядут в кружок среди колючих ожинков кукурузы, хозяин вынесет вина прямо в большом расширяющемся кверху эмалированном ведре с железной дужкой, по которой ходит деревянная муфточка, — а ведро полно верхом. Пьют чашками, учтиво, с пожеланиями и непременно — чтобы все разом. Один подымает чашку и скажет: «стани-ясо», а другие отвечают: «си-ийя»..

Потом запоют. Греческих песен никто не знает: может быть, они давно позабыты, может быть, укромная, молчаливая балаклавская бухта никогда не располагала людей к пению. Поют русские южные рыбачьи песни, поют в унисон страшными каменными, деревянными, железными голосами, из которых каждый старается перекричать другого. Лица краснеют, рты широко раскрыты, жилы вздулись на вспотевших лбах.

Закипела в море пена —
Будет, братцы, перемена,
Братцы, перемена...
Зыб за зыбом часто ходит,
Чуть корабль мой не потонет,
Братцы, не потонет...
Капитан стоит на юте,
Старший боцман на шкафуте,
Братцы, на шкафу-те.

Выдумывают новые и новые предлоги для новой выпивки. Кто-то на днях купил сапоги, ужасные рыбачьи сапоги из конской кожи, весом по полпуду каждый и длиною до бедер. Как же не вспрыснуть и не обмочить такую обновку? И опять появляется на сцену синее эмалированное ведро, и опять поют песни, похожие на рев зимнего урагана в открытом море.

И вдруг растроганный собственник сапог воскликнет со слезами в голосе:

— Товарищи! Зачем мне эти сапоги?.. Зима еще далеко... Успеется... Давайте пропьем их...

А потом навернут на конец нитки катышок из воска и опускают его в круглую, точно обточенную дырку норы тарантула, дразня насекомое, пока оно не разозлится и не вцепится в воск и не завязит в нем лап. Тогда быстрым и ловким движением извлекают насекомое наверх, на траву. Так поймают двух крупных тарантулов и сведут их вместе, в днище какой-нибудь разбитой склянки. Нет ничего страшнее и азартнее зрелища той драки, которая начинается между этими ядовитыми, многоногими, огромными пауками. Летят прочь оторванные лапы, белая густая жидкость выступает каплями из пронзенных яйцевидных мягких туловищ. Оба паука стоят на задних ногах, обняв друг друга передними, и оба стараются ужалить противника ножницами своих челюстей в глаз или в голову. И драка эта оттого особенно жутка, что она непременно кончается тем, что один враг умерщвляет другого и мгновенно высасывает его, оставляя на земле жалкий, сморщенный чехол. А потомки кровожадных листригонов лежат звездой на животах, головами внутрь, ногами наружу, подперев подбородки ладонями, и глядят молча, если только не ставят пари. Боже мой! Сколько лет этому ужасному развлечению, этому самому жестокому из всех человеческих зрелищ!

А вечером мы опять в кофейной. По заливу плавают лодки с татарской музыкой: бубен и кларнет. Гнусаво, однообразно, бесконечно уныло всхлипывает незатейливый, но непередаваемый азиатский мотив... Как бешеный бьет и трепещется бубен. В темноте не видать лодок. Это кутят старики, верные старинным обычаям. Зато у нас в кофейной светло от ламп «молния», и двое музыкантов: итальянец — гармония и итальянка — мандолина — играют и поют сладкими, осипшими голосами:

O! Nino, Nino, Marianino.

Я сижу, ослабев от дымного чада, от крика, от пения, от молодого вина, которым меня потчуют со всех сторон. Голова моя горяча и, кажется, пухнет и гудит. Но в сердце у меня тихое умиление. С приятными слезами на глазах я мысленно твержу те слова, которые так часто заметишь у рыболовов на груди или на руке в виде татуировки:

«Боже, храни моряка».

ТЕЛЕГРАФИСТ

Зима. Поздняя ночь. Я сижу на казенном клеенчатом диване в телеграфной комнате захолустной пограничной станции. Мне дремлется. Тихо, точно в лесу. Я слышу, как шумит кровь у меня в ушах, а четкое постукивание аппарата напоминает мне о невидимом дятле, который где-то высоко надо мною упорно долбит сосновый ствол.

Напротив меня согнулся над желтым блестящим ясеневым столиком дежурный телеграфист Саша Врублевский. Тень, падающая от зеленого абажура лампы, разрезывает его лицо пополам: верх в тени, но тем ярче освещены кончик носа, крупные суровые губы и острый бритый подбородок, выходящий из отложного белого воротника.

С большим трудом я различаю глубокие глазные впадины и внутри их опущенные выпуклые веки, придающие всему лицу, так хорошо знакомому, некрасивому, милому, скуластому лицу, то выражение важного покоя, которое мы видим только у мертвых.

Саша Врублевский горбат. Я знаю только две породы горбатых людей. Одни — и это большинство — высокомерны, сладострастны, злобны, подозрительны, мстивы, скупы и жадны. Другие же, немногие, а в особенности Саша Врублевский, кажутся мне лучшими брильянтами в венце истинного христианства. Когда я беру в свои руки их слабые, нежные, чуткие и беспо-

мощные ручки, у меня в сердце такое чувство, точно ко мне ласкается больной ребенок. И когда я думаю о Сашиной душе, она мне представляется чем-то вроде большой прекрасной бабочки, — такой трепетной, робкой и нежной, что малейшее грубое прикосновение сомнет и оскорбит красоту ее крыльев. Он кроток, бессребреник, ко всему живому благожелателен и ни о ком ни разу не отозвался дурно. Иногда он говорит мне с ласковой, чуть-чуть укоризненной насмешкой:

— Несправедливые вы люди, господа писатели. Как только у вас в романе или повести появится телеграфист, — так непременно какой-то олух царя небесного, станционный хлыщ, что-то вроде интендантского писаря. Поет под гитару лакейские романсы, крутит усы и стреляет глазами в дам из первого класса. Ей-богу же, милочка, такой тип перевелся пятьдесят лет тому назад. Надо следить за жизнью. Вспомните-ка, как мы выдержали почтово-телеграфную забастовку, а ведь у нас большинство — многосемейные. Знаете, милочка, бедность-то везде плодуща, а жалованье наше — гроши. И если вышвырнут тебя из телеграфа с волчьим паспортом — куда пойдешь? Так-то, милочка. Мне сравнительно легко тогда было, я три языка знаю иностранных, в случае чего не пропал бы. А другие, милочка, прямо несли на это дело свои головы и потроха.

Никогда ему не изменяет его светлое, терпеливое, чуть прикрашенное мягкой улыбкой благодушие. Вот и сейчас: у него висит на ленте очень важная, срочная, едва ли не шифрованная телеграмма из-за границы, а он уже больше четверти часа никак не может ее отправить, и все из-за того, что главная передаточная станция занята с одной из промежуточных самым горячим флиртом. Телеграфист с передаточной загадал барышне с промежуточной какое-то слово, начинающееся на букву «л», и — такой насмешник! — стучит и стучит все одни и те же знаки:

· — ·· · — ·· · — ·· · — ··

Но барышня никак не может отгадать этого трудного слова. Она пробует «лампу, лошадь, лук, лагери, лимон, лихорадку».

— Лихорадка — похоже, но не то, — издевается передаточная станция.

«Лира, лава, лак, луна, лебедь», — мучается недогадливая барышня.

Тогда Врублевский, которому надоело ждать, считает нужным вмешаться.

— Барышня, подайте ему — «люблю» — и освободите линию: срочная.

— Подождут, — легкомысленно возражают с передаточной.

Но Врублевский делает развязному телеграфисту строгое замечание и через минуту, не глядя на ленту, уже ловит привычным слухом покаянный ответ:

— Извините, товарищ, но вы сами были молоды и понимаете без слов...

Я вижу, как легкая улыбка раздвигает усы над толстыми, освещенными губами Врублевского. Ему самому не больше двадцати шести лет, но все сослуживцы относятся к нему, как к старику.

— Вот так они целыми вечерами и романсуют, — говорил он, перебирая ленту, закрутившуюся кудрявыми завитками, — Что же, дай бог. Кажется, у них дело серьезное. Он — славный мальчик, и Катерина Сергеевна — хорошая, работящая девушка. Устроятся вместе на станции, и лучше не надо. И как это прекрасно, что женщине, наконец, начинают давать настоящую работу. А то ведь раньше им, бедняжкам, прямо деваться было некуда. Сиди и вымаливай у бога жениха. Когда еще девушкой — отец ворчит: «Хлеб только даром ешь. Хоть бы нашелся какой-нибудь болван, взял бы тебя, сокровище этакое». А вышла замуж — пеленки, тряпки, кухня, роды, стирка, детей кормить надо. И муж орет: «Дармоедка, обед невкусный; только деньги тратить умеешь да ходить круглый год брюхатой. Поди сбегай за пивом и за папиросами...» А уж если, милочка, заработок общий, — он уж так разговаривать не посмеет.

Саша умолкает и, поймав начало телеграммы, начинает сосредоточенно ее выстукивать. Лицо его с опущенными веками неподвижно, и только пальцы его правой руки едва заметно, но быстро и точно вздраги-

вают на клавише. Мной опять овладевает дремота, и опять я в тихом мутно-зеленом лесу, и опять где-то далеко старается над деревом неугомонный дятел. В это время я думаю о многих странных вещах. О том, что весь земной шар перекрещен, как настоящими нервами, телеграфными линиями и что вот сидит передо мной нервный узел — милый Саша Врублевский, безвестный служитель механического прогресса. Добру или злу он служит, счастию или несчастию будущего человечества? Телеграф был первым важным практическим применением таинственной силы электричества. Гораздо позднее появились телефоны, электрические лампы и кухни, трамваи, беспроволочный телеграф, автомобили, аэропланы. Но человечество идет вперед, все быстрее с каждым годом, все стремительнее с каждым шагом. Вчера мы услышали об удивительных лучах, пронизывающих насквозь человеческое тело, а почти сегодня открыт радий с его удивительными свойствами. Человек уже подчинил себе силу водопадов и ветер, — без сомнения он скоро заставит работать на себя морской прибой, солнечный свет, облака и лунное притяжение. Он внедрится в глубь земли и извлечет оттуда новые металлы, еще более могущественные и загадочные, чем радий, и обратит их в рабство. Завтра или послезавтра, — я в этом уверен, — я буду из Петербурга разговаривать с моим другом, живущим в Одессе, и в то же время видеть его лицо, улыбку, жесты. Очень близко время, когда расстояния в пятьсот — тысячу верст будут покрываться за один час; путешествие из Европы в Америку станет простой предобеденной прогулкой, пространство почти исчезнет, и время помчится бешеным карьером. Но я с ужасом думаю об огромных городах будущего, в особенности когда воображаю себе их вечера. На небе сияют разноцветные плакаты торговых фирм, высоко в воздухе снуют ярко освещенные летучие корабли, над домами, сотрясая их, проносятся с грохотом и ревом поезда, по улицам сплошными реками, звеня, рыча и блестя огромными фонарями, несутся трамваи и автомобили; вертящиеся вывески кинематографов слепят глаза, и магазинные витрины льют огненные потоки.

Ах, этот ужасный мир будущего — мир машин, горячечной торопливости, нервного зуда, вечного напряжения ума, воли и души! Не несет ли он с собой повального безумия, всеобщего дикого бунта, или, что еще хуже, преждевременной дряхлости, внезапной усталости и расслабления? Или — почем знать? — может быть, у людей выработаются новые инстинкты и чувства, произойдет необходимое перерождение нервов и мозга, и жизнь станет для всех удобной, красивой и легкой? Нет, милый Саша Врублевский, никто нам не ответит на эти вопросы, хотя ты сам, вот сейчас, сидя за телеграфным аппаратом, бессознательно куешь будущее счастье или несчастье человечества.

Но тут я замечаю, что Врублевский уже с минуту что-то говорит мне. Я стряхиваю с себя ленивое оцепенение, встаю и присаживаюсь за столик. Теперь мне совсем не видно лица моего приятеля, — между нами лампа и аппарат, — но моя рука лежит так близко около его руки, что я ощущаю исходящий из нее теплый ровный ток.

— Это вышло точь-в-точь, как бывает в водевилях, — говорит он своим нервным, высоким, чуть хриплым, очень приятным голосом. — Она была влюблена по уши в моего товарища Деспот-Зинович-Братошинского, а я был влюблен в нее. Деспот же, городской лев и донжуан, порхал только с цветка на цветок и обедал и ужинал по крайней мере в десяти семействах, где были барышни-невесты. Однако он был чудесный парень, широкий и добрый человек. Его раздавил поезд, когда он был начальником станции Волчьей. Я об ее любви ничего не знал... Нет, это, пожалуй, неверно... Я... как бы выразиться... я в этом отношении точно заклеил воском свои глаза и уши. И вот она сидит за пианино, а я около нее, сбоку. Она берет, не глядя на клавиши, какие-то аккорды, слегка повернув ко мне опущенную голову, и говорит об одном человеке, которого она любит, несмотря на его недостатки; говорит, что она скорее умрет, чем обнаружит перед ним свое чувство, что этот человек с ней исключительно любезен и внимателен, но что она не знает его мыслей и намерений, — может быть, он

только играет сердцем бедной девушки, и так далее в том же роде. Я же, идиот, нахожусь в полной уверенности, что иносказательная речь идет обо мне, и с жаром уверяю ее, что, наоборот, «он» любит ее больше жизни, родины, чести и прочее. Он готов на все жертвы, и все в этом роде. Что касается недостатков, то к недостаткам привыкают, и так далее... Тогда она вся розовеет каким-то чудесным розовым сиянием, ресницы у нее влажны, и она шепчет едва слышно: «Благодарю вас, вы навсегда останетесь моим лучшим другом, но только, ради бога, ни одного слова ему, Деспоту». Я раскрываю рот, молчу несколько секунд, наконец, заикаясь и точно свалившись с луны, спрашиваю: «Почему же именно... ему... Деспоту?» Тогда она пристально вглядывается в мои глаза, мы сразу понимаем друг друга, и она внезапно разражается громким, долгим-долгим хохотом... Что ж, конечно, смешно, совсем как в водевиле. Но я хотел в эту ночь отравиться... Не отравился, а напился в клубе, как свинья, первый и единственный раз в жизни. А на следующий день я подал прошение о переводе сюда...

Он замолкает и прислушивается к стуку аппарата. Но зовут не его, и он продолжает:

— В другой раз была настоящая, не водевильная, а большая, нежная любовь с обеих сторон. Это случилось, когда я ездил позапрошлым летом в отпуск к себе в Житомир. Была лунная ночь с соловьями, с ароматами сирени и белой акации, с далекой музыкой из городского сада. Мы ходили по саду, — сад у них громадный, плодовый, — и я держал ее руку в моей. Она первая сказала мне, что любит меня и никого никогда не полюбит, кроме меня. Она говорила, что любит меня таким, как я есть, и что больше всего любит мою душу и... там разные милые, сладкие, волшебные слова. И вот мы вышли на открытое место, на площадку для гигантских шагов. Луна светила нам в спину, и на утоптанной гладкой земле легли две резкие тени: одна — длинная, стройная, с прелестной, немного склоненной набок головкой, с высокой шеей, с тонкой талией, а другая — моя... Ну, вот... Тогда я закрыл лицо

руками, забормотал что-то и убежал... Да, убежал, не прощаясь...

Полгода спустя она вышла замуж, а нынче утром я получил от нее письмо. Она счастлива, у нее сынишка, я, конечно, ее лучший друг на свете, и больше всего в жизни ей хочется, чтобы я крестил у нее ребенка. Она извиняется за то, что разбила мое сердце. Ну, это уж глупости. Я рад за нее, очень рад. Дай бог ей счастья... Если ей хорошо, то и я счастлив. Она дала мне хоть иллюзию, хоть призрак любви, и это истинно царский, неоплатный подарок... Потому что нет ничего более святого и прекрасного в мире, чем женская любовь.

Мы молчим с минуту. Потом я прощаюсь и ухожу. Мне идти далеко, через все местечко, версты три. Глубокая тишина, калоши мои скрипят по свежему снегу громко, на всю вселенную. На небе ни облачка, и страшные звезды необычайно ярко шевелятся и дрожат в своей бездонной высоте. Я гляжу вверх, думаю о горбатом телеграфисте. Тонкая, нежная печаль обволакивает мое сердце, и мне кажется, что звезды вдруг начинают расплываться в большие серебряные пятна.

НАЧАЛЬНИЦА ТЯГИ

Самый правдоподобный святочный рассказ

Этот рассказ, который я сейчас попробую передать, был как-то рассказан в небольшом обществе одним знаменитым адвокатом. Имя его, конечно, известно всей грамотной России. По некоторым причинам я, однако, не могу и не хочу назвать его фамилии, но вот его приблизительный портрет: высокий рост, низкий и очень широкий лоб, как у Рубинштейна; бритое, точно у актера, лицо, но ни за актера, ни за лакея его никто не осмелился бы принять; седеющая грива, львиная голова, настоящий рот оратора, — рупор, самой природой как будто бы созданный для страстных, потрясающих слов.

Среди нашего разговора он вдруг расхохотался. Так искренно расхохотался, как даже старые люди смеются своим юношеским воспоминаниям.

— Ну, конечно, господа, — сказал он, — так пародировать святочные рассказы, как мы сейчас делаем, можно до бесконечности. Не устанешь смеяться... А вот я вам сейчас, если позволите, расскажу, как мы однажды втроем... нет, виноват, вчетвером... нет, даже и не вчетвером, а впятером встречали рождество... Уверяю вас, что это будет гораздо фантастичнее всех

святочных рассказов. Видите ли: жизнь в своей простоте гораздо неправдоподобнее самого изощренного вымысла...

Мы трое были приглашены на елку к владельцу меднопрокатного завода Щекину, в окрестностях Сиверской. Наутро нам обещали облаву на лисиц и на волков с обкладчиками-костромичами, а если бы не удалось, то простую охоту с гончими. В этом приглашении было много соблазнительного. Елку предполагали устроить в лесу, — настоящую живую елку, но только с электрическим освещением. Кроме того, там была целая орава очаровательных детишек — милых, свободных, ничем не стесненных, — таких, с которыми себя чувствуешь в сто раз лучше, чем со взрослыми, и сам, незаметно для себя, становишься мальчуганом двенадцати лет. А еще, кроме того, у Щекиных в эти дни собиралось все, что только бывало в Петербурге талантливого и интересного.

А мы трое были: ваш покорный слуга, тогда помощник присяжного поверенного, один начинающий бас — теперь он мировая известность — и третий, ныне покойник, — он умер четыре года тому назад — или, вернее, не умер, а его съела служебная карьера.

Ехали мы в самом блаженном, в самом радужном настроении. Накупили конфет, тортов, волшебных фонарей, фейерверков, лыж, микроскопов, коньков и прочей дряни. Были похожи на дачных мужей. Но настроение наше начало портиться уже на вокзале. Огромная толпища стояла у всех дверей, ведущих на платформу, — едва-едва ее сдерживали железнодорожные сторожа. И уже чувствовалась между этими людьми та беспричинная взаимная ненависть, которую можно наблюдать только в церквах, на пароходах и на железной дороге.

По второму звонку все это стадо ринулось на дебаркадер. Опасаясь за наши покупки, мы вышли последними. Мы прошли весь поезд насквозь, от хвоста до головы. Мест не было. В третьем классе нас встретили сравнительно спокойно какие-то добродушные мужички, даже потеснились, чтобы дать нам место. Но было совсем стыдно злоупотреблять их гостеприим-

ством. Они и так сидели друг у друга на головах. Во втором классе было почти то же самое, но уж с оттенком недружелюбия. Например: один чиновник ехал явно по бесплатному билету; я попробовал намекнуть ему, что железнодорожный устав строго требует, чтобы лица, едущие по бесплатному билету, уступали свои мѐста пассажирам по первому требованию. Но он почему-то назвал меня нахалом и дураком и сказал: «Вы сами не знаете, с кем имеете дело». Я подумал, что это переодетый министр, и мы перешли в первый класс.

Тут нам сразу повезло. Конечно, все купе были закрыты, как это и всегда бывает, но случайно одна дверка отворилась, и один из нас, именно третий товарищ, успел просунуть руку в створку, помешав двери захлопнуться. Оказывается, в купе сидела дама, так лет тридцати — тридцати двух, прехорошенькая, но в ту секунду очень озлобленная и похожая на пороховую бочку, под которую только что подложили фитиль.

— Куда вы лезете, разве вы не видите, что это купе занято?

Ах, боже мой, все мы хорошо знаем, как нелепо, нетактично и жестоко ведут себя дамы, а особенно чиновные, в первых двух классах поездов и пароходов. Они занимают вдвоем полвагона с надписью: «Дамское отделение», в то время когда в следующей половине мужчины стиснуты, как сардины в нераскупоренной коробке. Но попробуйте попросить у них гостеприимства для больного старика или утомленного дорогой шестилетнего мальчика, — сейчас же крики, скандал, «полное право» и так далее. Однако такая же дама способна влезть со своими баулами, картонками, зонтиками и всякой дрянью в соседнее «мужское отделение», стеснить всех своим присутствием, заявить: «Я, знаете, не переношу дамского общества», и завести на целую ночь утомительную трескотню, с визгами, игривым хохотом, ахами, ломаньем и кокетством, от которых наутро чувствуешь себя разбитым гораздо больше, чем тряской и бессонницей. В сопровождении бонны, кормилицы и четырех орущих чад она входит в купе, где вы сидите тихонько, с послушным, скромным ребенком, останавливается на пороге и с отвраще-

нием фыркает: «Фу! И здесь каких-то детей напихали!» Словом, все это и многое другое мы прекрасно изучили и были уверены, что никакие меры кротости, увещевания и логика не помогут, но, как и всегда, в пятисотый раз пробовали тронуть сердитую даму.

Федор Иванович приложил руку к сердцу и на самой обольстительной ноте своего изумительного голоса сказал:

— Прелестная синьора... нам только три станции... если прикажете, мы будем сидеть у ваших ног.

Это оперное вступление нас и погубило. Почем знать, если бы он был один?.. Может, она и смилостивилась бы. Но нас было трое. И, вероятно, поэтому фитиль достиг своей цели, и бочка разорвалась. Откровенно говоря, я никогда не слышал ни раньше, ни позже такой ругани. В продолжение двух минут она успела нас назвать: железнодорожными ворами, безбилетными зайцами, убийцами, которые в своих гнусных целях прибегают к хлороформу, и даже... простите, барыня... поставщиками живого товара в Константинополь.

Потом, в своем гневе, она закричала:

— Кондуктор!

Но разве мог прийти ей на помощь кондуктор? Вероятно, в эту минуту он с трудом прокладывал себе дорогу в самом заднем вагоне по человеческим головам.

Тогда, ошеломленный ее бурным натиском, я позволил себе робко спросить:

— Сударыня, вы едете одни... Может быть, вы знаете случайно, кому принадлежат вот эти вещи: четыре картонки, два чемодана, плетеная корзина, деревянная лошадь почти в натуральную величину, вот эти горшки с гиацинтами, игрушечные ружья, барабаны и сабли, этот порт-плед, наконец этот торт и банки с вареньем?

— Не знаю, — сухо ответила она и отвернулась к окну.

— Сударыня, — продолжал я тоном рабской мольбы, — вы сами видите, что мы нагружены, как верблюды. Мы падаем с ног от усталости... Мы не обеспокоим вас долго своим присутствием. Всего лишь три станции... Не позволите ли вы положить эти чужие

вещи наверх, в сетки? Ну, хотя бы из христианского милосердия.

— Не позволю... — ответила дама.

— Но ведь все равно вещи не ваши. Не так ли? Если бы мы сами попробовали их переместить.

Опять на нас повернулось красное, пылающее лицо.

— Ого! Попробуйте. Попробуйте только! Да вы знаете, с кем имеете дело? Нахалы! Вы сами не знаете, к кому пристаете. Я — начальница тяги! Я вас в двадцать четыре часа...

Мы не дослушали. Мы вышли в коридор для небольшого совещания. К нам присоединился какой-то милый, чистенький, маленький, серебряный старичок в золотых очках. Он все время был свидетелем наших перекоров. Он-то нам и дал один очень простой, но ехидный совет.

Когда поезд стал замедлять ход перед второй станцией и дама начала суетиться, мы торжественно вошли в купе. Старичок злорадно шел за нами.

— Итак, сударыня, вы все-таки подтверждаете, что эти вещи вам не принадлежат? — спросил третий, умерший.

— Дурак! Я вам сказала, что эти вещи не мои.

— Позвольте узнать, — а чьи? — спросил старичок голосом малиновки.

— Не твое дело.

В это время поезд остановился. Вбежали носильщики. Дама велела одному из них, — она даже назвала его Семеном, — взять вещи.

Ну, уж тут мы горячо вступились за чужую собственность! Мы все четверо были свидетелями того, что вещи принадлежат вовсе не даме, а какой-то забывчивой пассажирке. Конечно, это дело нас не касается, но принципиально и так далее. Вчетвером мы проследовали в жандармскую контору. Дама извивалась, как уж, но мы ее взяли в настоящие тиски. Она говорила «Да! Вещи мои!» Тогда мы отвечали: «Не угодно ли вам заплатить за все места, которые вы занимали? Железной дороге убыток, а мы, как честные люди, этого не можем допустить». Тогда она кричала: «Нет, эти вещи не мои! А вы — хулиганы!» Тогда мы говорили: «Су-

дарыня, вы на наших глазах хотели присвоить эти вещи». — «Повторяю же вам, болваны, что это мои собственные вещи... а вы обращались с беззащитной женщиной, как свиньи!» Но тут уже выступал ядовитый старичок, пел соловьем и в качестве беспристрастного свидетеля удостоверял наше истинно джентльменское поведение, а также и то, что мы два часа с лишком стояли на ногах (воображаю, как ему в его долгой жизни насолили дамы первых двух классов!).

Кончилось тем, что она растерялась и заплакала. Ну, тут уж и мы размякли. Дали ей воды, бас проводил ее до извозчика, и дурацкий протокол был очень легко и быстро уничтожен. Один только старичок покачал укоризненно на каждого из нас головою и безмолвно испарился в темноте.

Но когда мы опять сошлись втроем на платформе и поглядели на часы, то убедились в том, что если и поспеем к Щекиным, то только к девяти часам утра. Это уже выходило за пределы нашей шутки. Стали расспрашивать у сторожа, какая здесь лучшая гостиница, то есть где меньше клопов.

И вдруг слышим знакомый, но уже теперь славный, теплый голос:

— Господа, куда вы собираетесь?

Оглядываемся. Смотрим — наша дама. И совсем новое лицо: милое русское лицо.

— Если вы не побрезгуете, поедемте ко мне на елку... Вы на меня не сердитесь... я все-таки женщина... А с этими железными дорогами просто голову растеряешь.

Скажу по правде, никогда мне не было так весело, как в этот вечер. Даже фейерверки, против обыкновения, горели чудесно. И ребята там попались чудесные. А с Анной Федоровной мы и до сих пор закадычные друзья.

Он нагнулся, чтобы его глазам не мешала тень, и спросил:

— Правда, Анна Федоровна?

Густой смеющийся голос из темноты ответил:

— Бесстыдник. Язык у вас, у адвокатов, так уж подвешен, что не можете не переврать!..

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Пахнет весной. Даже в большом каменном городе слышится этот трепетный, волнующий запах тающего снега, красных древесных почек и размякающей земли. По уличным стокам вдоль тротуаров бегут коричневые стремительные ручьи, неся с собою пух и щепки и отражая в себе по-весеннему прозрачно-голубое небо. И где-то во дворах старинных деревянных домов без умолку поют очнувшиеся от зимы петухи.

Околоточный надзиратель Ветчина пришел домой поздним вечером. Всю ночь он провел в участке на ночном дежурстве, принимая пьяных окровавленных гуляк, проституток и воришек, выслушивал их лживые, бессмысленные, путаные, подлые показания, перемешанные со слезами, божбой, криками, земными поклонами и руганью, писал протоколы, приказывал обыскивать, и нередко, озлобленный этим непрерывным пьяным бредом, удрученный бессонницей, раздраженный тесным воротником мундира, он сам выкрикивал страшным голосом дикие угрозы и колотил кулаком по столу.

А днем он должен был еще обходить не в очередь, в виде наказания, наложенного полицеймейстером, свои посты и торчать в лакированных сапогах и белых перчатках посередине самого людного перекрестка.

Спать ему приходилось только урывками, минутками, не раздеваясь, корчась на жестком и узком клеенчатом диване или сидя за столом, опустив голову на сложенные руки.

Даже и теперь, хотя он, придя домой, переоделся и умылся, от него пахнет улицей, навозом и тем отвратительным запахом ретирадного места, карболки и скверного табаку, которым пропитаны все помещения участка.

Он сидит один в маленькой столовой и вяло ест невкусный разогретый обед. Жены нет дома. Она отправилась сегодня к жене помощника пристава, чтобы вместе с нею идти в оперетку на бесплатные места. Сын гимназист за стеною зубрит вслух французские слова. Мысли околоточного текут скучно и тяжело. Собачья служба. Ночи без сна. Омерзительные сцены в участке. Наряды на дежурство не в очередь. Нервы, как разбитое фортепиано. Вечные приступы беспричинной злобы, от которой точно захлебываешься, трясешься всем телом и так бледнеешь, что чувствуешь, как холодеет лицо и мгновенно высыхают губы. Общество сторонится. Приходится вести знакомство только между своими, а там вечный разговор о службе, о нарядах, о грабежах, о сыскной полиции, а в промежутках — винт и выпивка. Жалованье — гроши. Поневоле берешь праздничные или вымогаешь провизией. Другим легче. У других все-таки хоть в семье наладилось что-то вроде уюта и спокойного отдыха. У Ветчины и этого нет... Жена дома ходит неряхой, распустехой, но для гостей и для театра шьет дорогие платья, поглощающие все жалованье. Ни семья, ни кухня, ни служба мужа, ни ученье сына ее не интересуют. Придешь со службы усталый, весь разломанный, точно коночная лошадь, а жены нет дома, или она в старом капоте валяется часами на диване с переводным романом в руках и с коробкой шоколада рядом, на стуле. Была она когда-то институткой, тоненькой, наивной девочкой, верившей, что французские булки растут на деревьях и что у каждого человека стоят сзади два ангела, справа белый, а слева черный. Теперь она растолстела

и огрубела, хотя все еще красива грузной и яркой красотой тридцатипятилетней женщины; она перестала верить в булки и в двух ангелов, но каждый день кричит мужу, что он испортил ее жизнь и теперь пусть достает деньги где хочет и как хочет.

Испортил жизнь! Это еще вопрос, кто кому испортил. Благодаря ее глупой, корыстной и скандальной связи с инженером, строившим полковые казармы, Ветчину, по приговору общества офицеров, попросили уйти из пехотного полка, в котором он служил. Куда было идти, кроме полиции, если у человека нет ни влиятельной родни, ни денег? И мужа она давно не любит. Если он порою разнежничается или попробует пожаловаться на тернии полицейской службы, она, не отрываясь от книжки, тянет брезгливо: «Ах, да оставьте вы меня, ради бога, в покое. Минуты от вас нет свободной». И под предлогом каких-то вечных женских болезней, утомления или того, что от мужа всегда пахнет участком и конюшней, она уже давно изгнала Ветчину из спальни в кабинет, где ему стелют на оттоманке.

И всегда у нее увлечения. О жизни в полку — нечего говорить. Потом студент, Колин репетитор. Он, Ветчина, только хлопал тогда глазами, ревнуя, мучась и сам стараясь не верить своим подозрениям. Теперь-то он хорошо знает о прошлом, потому что ту же самую игру томными глазами, те же длинные рукопожатия, те же самые нервные, вибрирующие интонации в голосе он наблюдает сейчас между Верой и помощником пристава бароном фон Эссе.

Что поделаешь? Надо терпеть. Фон Эссе перешел в полицию из гвардии, теперешняя должность только для вида, через год он будет приставом, а года через два полицеймейстером в большом торговом университетском городе, а там, почем знать, и градоначальником. Связи у него громадные, и, конечно, он потянет за собою Ветчину. Ну что же, и будем терпеть, ослепнем, оглохнем на время. И все это ради него, ради милого Коленьки. Куда же пойдешь из полиции? И пусть ему, Ветчине, служить тяжело, оскорбительно и противно,

пусть от ревности и злобы у него ходят в глазах радужные круги и скрипят зубы. Все перетерпим. Но зато Коля вырастет настоящим человеком, а Ветчина пробьет ему своим телом и своей душой широкую дорогу в жизнь. Коля трудолюбив, замкнут, серьезен, горд и знает цену деньгам. Без денег разве человек — человек? Коля будет доктором с громадной практикой или знаменитым адвокатом, из тех, что загребают стотысячные куши и ездят в собственных экипажах. Никого нет у Ветчины, кроме обожаемого Коли, — никого: ни жены, ни родни, ни дружбы, ни увлечений, ни мелких страстишек, и ради Коли он пойдет на все: нужно будет убить — убьет, прикажут истязать кого-нибудь — будет истязать, с усердием пойдет на подлость и на предательство, проглотит молча жгучее оскорбление... Он и Коля. Больше никого нет на свете. Ко всему остальному живущему сердце Ветчины ожесточилось и окаменело.

— Коля, иди чай пить! — кричит околоточный надзиратель.

Коля, волоча ноги, приходит с учебником. Отец и сын очень похожи друг на друга. Оба они длинноногие, длинноносые и угрюмые, у обоих худые белые лица в веснушках и светлые, жидкие, мягкие волосы. Между ними — глубокая, нежная, но в то же время серьезная и молчаливая привязанность.

Коля пьет чай и с сухарем во рту рассказывает об уроках и гимназии. Говорит деловито и толково, как взрослый, голос у него по-мальчишески басистый с неожиданными петухами. Ветчина слушает и из хлебных крошек вырисовывает на скатерти звездочки и орнаменты. В комнате жарко от лампы и самовара. В открытую форточку тянет вкрадчивый пьяный весенний воздух. Сердце надзирателя мякнет и улыбается.

— Ничего, ничего, Коляшка, потерпи, — говорит он, глядя на сына запавшими, усталыми глазами и улыбаясь печально-нежной улыбкой. — Потерпи немножко. Вот выдержишь экзамены и будешь вольный казак. А я к тому времени получу двухмесячный отпуск, и мы

с тобой вдвоем дернем куда-нибудь на лоно природы. Возьмем ружья, кодак, удочки и айда по способу пешего хождения.

— Не отпустят тебя, папа, — слабо возражает мальчик.

— Ну, как же так не отпустят? Четыре года я не пользовался отпуском. Да мне уж и помощник пристава дал слово...

— Денег нет свободных...

— Деньги — это пустое, мой милый.

— Положим, у меня от уроков накопилось тридцать четыре рубля, — начинает сдаваться Коля.

— Вот видишь! Считай еще мои наградные на пасху.

— Мама отнимет...

— Ничего. Половину мы с тобой отстоим. Да ты не бойся, достанем как-нибудь. Наконец не все же нас судьба будет по темени кокать. Может быть, в мае наш билет и выиграет каким-нибудь чудом. Другие же выигрывают? Наконец отчего бы мне и не получить командировку в Финляндию для изучения полицейского дела? В этом году будут посылать туда, и мне барон фон Эссе почти обещал это дело устроить.

— Ах, папа, в Финляндию бы! — восклицает мальчик, и его зеленые, маленькие, всегда хмурые глаза расширяются и сияют. — Я читал на днях описание. Как чудесно! Шлюзы, водопады, озера...

— А леса-то, леса какие там... Поохотимся, брат Коля, лососину половим. Ты вот что, милый, поди-ка принеси карту России, карандаш и бумагу. А я достану путеводитель!

И через несколько минут они сидят под лампой, коленями на стульях, низко и тесно склонившись над картой. Весенний ветер, этот вечный друг и соблазнитель бродяг, цыган, странников и путешественников, врывается в открытую форточку и своим свежим, пряным, глубоким дыханием кружит им головы. Все забыто: бедность, унижения, тягость службы, недоброжелательство Колиных товарищей, изводящих его службою отца и смешною фамилией... Теперь обе души —

изъеденная жизнью, испакощенная, попранная душа полицейского и скрытная, уже озлобленная, засыхающая душа мальчика — раскрылись и цветут. Путешествие по карте, разукрашенное бедной фантазией, так живо и увлекательно!

— Из Выборга по Сайменскому каналу, по шлюзам, — говорит Ветчина, отмечая путь красным карандашом. — Потом Сайменское озеро. Вокруг — погляди на карту — все зеленое — это леса, леса. Сан-Михель, Куопио... Оттуда по железной дороге до Каяны, а оттуда опять озерами и рекой до Улеаборга. Оттуда в Торнео пароходом... Граница Швеции. Огромный порт... Океанские корабли... Дешевизна поразительная, потому что нет пошлины... Накупим всякой всячины... А потом — знаешь куда?

— Куда? — спрашивал Коля охрипшим от волнения голосом.

— Из Торнео мы с тобой повернем на восток и вот, видишь, Кемь? Так мы с тобой до Кеми пешком. Через горы, мимо озера... Как его?.. не разберешь... Озеро Мансельское, между Топозеро и озеро Кунто прямо к Белому морю, к Онежской губе. А оттуда в Соловецкий монастырь, поклонимся святым угодникам Зосиме и Савватию, затем Архангельск и — домой.

— Пешком до Кеми? — переспрашивает Коля и глотает от восторга слюну. — Через лес, через болото? С ружьями?

— А что же, мы с тобою разве не мужчины? Конечно, пешком. Питаться будем дичью, рыбой... Там, я тебе скажу, дичи — видимо-невидимо. Так и кишит!.. Хлеб вот только... Но, знаешь, эти чухны, хоть они и сволочь и бунтуют там чего-то постоянно, но они замечательно гостеприимны. Хлебом мы будем запасаться от жилья до жилья. А ночевать в лесу! Подожди-ка, возьми бумагу. Сейчас мы с тобой все это рассчитаем. Начнем с чего? Начнем с двух бурок — тебе и мне. Мне большую, тебе поменьше. Пиши. Все запишем. Самое необходимое и кому что нести.

Он диктует, а мальчик записывает на аккуратно разграфленном листике.

Предметы	Вес	
	Папе.	Мне.
Бурки	6 ф.	4 ф.
Непромокайки	4 »	3 »
Белье	3 »	2 »
Котелок варить пищу .	2 »	— »
Патронташ	2 »	$1^1/_2$
Патронов с дробью и пулями	6 »	4 »
Ранцы	2 »	$1^1/_2$
Топор рубить сучья для костра	2 »	— »
Табак, спички .	2 »	— »
Чай	— »	1 »
Сахар.	2 »	— »
Мелочи, компас, часы, соль и пр.	— »	1 »
Ружья . . .	7 »	6 »
Итого	38 ф.	24 ф.

Во время составления списка оба великодушничают и любовно перекоряются. Коля хочет нести поклажу поровну. Но отец настаивает на том, что ему, как более сильному и привычному, следует взять груз несколько потяжелее. Список много раз проверяют. Наконец кажется, что взято все необходимое. Коля рассчитывает циркулем по масштабной линейке расстояние. От Торнео до озера Кунто около трехсот пятидесяти верст. Считая в день по семнадцать верст, — сущий пустяк для привычного пешехода, — они в двадцать дней пройдут это расстояние. Озеро Кунто, длиною сто двадцать верст. Его надо проплыть на парусной лодке. Если считать по десять верст в час, то за один длинный летний день можно пройти все озеро в длину. А там рукой подать до реки Кеми...

— Только вот комаров там очень много... Беда, — озабоченно кивает головой надзиратель.

Но Коля недаром читал описание Финляндии.

— Местные жители, — замечает он важно, — имеют обыкновение защищаться от комариных укусов тем, что замазывают глиной шею и лицо, оставляя незакрытыми только глаза и дыхание.

— И гвоздичное масло хорошо помогает, — вспоминает отец.

— Да, и масло. А на ночлегах мы будем разводить костры и жечь хвою. Душистый дым. Они не любят этого.

И обоим рисуется белая, тихая ночь в лесу. Над головами меж кустов пахучего можжевельника протянуты, на случай дождя, резиновые плащи, на земле разостланы бурки с изголовьями из молодых ветвей. Горит яркий костер, и в котелке, подвешенном на треножнике, булькает вода, в которой варится дикая утка или глухарь. Грезятся ранние туманные и розовые утра на берегу никому не известной лесной речонки, плеск большой рыбы в озере, туго натянутая леса удочки...

Бьет одиннадцать. У отца и Коли тяжелеют и слипаются глаза, и они с трудом отрываются от волшебного путешествия к северным лесам. Обоих, несмотря на возбуждение, томит невольная зевота. Прощаются они смягченные, ласковые, с теплыми, доверчивыми глазами.

Поздно ночью возвращается домой Вера Ивановна. На цыпочках проходит она через комнату мужа и с отвращением слышит его бред: «Вот так рыба! Десять фунтов!»

От madame Ветчины пахнет духами Coeur de Jeanette и шампанским. Фон Эссе провожал ее домой из театра. По дороге они заехали на полчаса в кабинет ресторана «Версаль» и очень весело провели время. Полураздетая, стоя перед зеркалом, она прижимает руки к груди, делает сама себе страстные глаза и шепчет: «М-мил-лый».

Коля во сне плавает по озерам и пробирается сквозь лесные чащи. Подымается из берлоги потревоженный медведь. Красная пасть раскрыта, сверкают страшные зубы, маленькие глаза злобно блестят. Ба-ах! — гремит по лесу выстрел. Это Коля стрелял, и медведь всей своей громадной массой падает к его ногам.

Крепко спят путешественники. Завтра ждут их всегдашние будни: Ветчину — служба, привычное озлобление, ругань и брань, ежеминутное ожидание от сослуживцев какого-нибудь пакостного подвоха и — что всего хуже — преувеличенно ласковое обращение и

дружески покровительственный тон фон Эссе, а Колю — утомительная зубрежка и презрительное отчуждение товарищеского кружка. И только вечером они с отцом опять отправятся в очаровательное странствование по карте, куда-нибудь на Кавказ, или на Урал за золотом, или в Сибирь за пушным зверем, или в Тибет вместе с географической экспедицией. Эти фантастические путешествия составляют единственную, большую и чистую радость в их усталой, скучной, вымороченной жизни.

ЖИДКОЕ СОЛНЦЕ

Я, Генри Диббль, приступаю к правдивому изложению некоторых важных и необыкновенных событий моей жизни с большой осторожностью и вполне естественной робостью. Многое из того, что я нахожу необходимым записать, без сомнения вызовет у будущего читателя моих записок удивление, сомнение и даже недоверие. К этому я уже давно приготовился и нахожу заранее такое отношение к моим воспоминаниям вполне возможным и логичным. Да и надо признаться, — мне самому часто кажется, что годы, проведенные мною частью в путешествиях, частью на высоте шести тысяч футов на вершине вулкана Каямбэ в южно-американской республике Эквадор, не прошли в реальной действительной жизни, а были лишь странным фантастическим сном или бредом мгновенного, потрясающего безумия.

Но отсутствие четырех пальцев на левой руке, но периодически повторяющиеся головные боли и то поражение зрения, которое называется в простонародье «куриной слепотой», каждый раз своей фактической неоспоримостью вновь заставляют меня верить в то, что я был на самом деле свидетелем самых удивительных вещей в мире. Наконец вовсе уж не бред, и не сон, и не заблуждение те четыреста фунтов стерлингов, что я получаю аккуратно по три раза в год из конторы

«Э. Найдстон и сын», Реджент-стрит, 451. Это — пенсия, которую мне великодушно оставил мой учитель и патрон, один из величайших людей во всей человеческой истории, погибший при страшном крушении мексиканской шкуны «Гонзалес».

Я окончил математический факультет по отделу физики и химии в Королевском университете в тысяча... Вот, кстати, и опять новое и всегдашнее напоминание о пережитых мною приключениях. Кроме того, что каким-то блоком или цепью мне отхватило во время катастрофы пальцы левой руки, кроме поражения зрительных нервов и прочего, я, падая в море, получил, не знаю, в какой момент и каким образом, жестокий удар в правую верхнюю часть темени. Этот удар почти не оставил внешних следов, но странно отразился на моей психике: именно на памяти. Я прекрасно припоминаю и восстановляю воображением слова, лица, местность, звуки и порядок событий, но для меня навеки умерли все цифры и имена собственные, номера домов и телефонов и историческая хронология; выпали бесследно все годы, месяцы и числа, отмечающие этапы моей собственной жизни, улетучились все научные формулы, хотя любую я могу очень легко вывести из простейших последовательным путем, исчезли фамилии и имена всех, кого я знал и знаю, и это обстоятельство для меня очень мучительно. К сожалению, я не вел тогда дневника, но две-три уцелевшие записные книжки и кое-какие старые письма помогают мне до известной степени ориентироваться.

Словом, я окончил курс и получил звание магистра физики за два, три, четыре года, а может быть даже и за пять лет до начала XX столетия. Как раз к этому времени разорился и умер муж моей старшей сестры Мод, фермер из Норфолька, который нередко поддерживал меня во время моего студенчества материально, а главное — нравственно. Он твердо верил, что я останусь для продолжения ученой карьеры при одном из английских университетов и со временем воссияю яркой звездой просвещения, от которой падет луч славы и на его

скромное семейство. Это был здоровый, крепкий весельчак, сильный, как бык, не дурак выпить, спеть куплет и побоксировать, — совсем молодчина в духе доброй, старой, веселой Англии. Он умер от апоплексического удара, ночью, объевшись за ужином четвертью беркширской баранины, которую он заправил крепкой соей, бутылкой виски и двумя галлонами шотландского светлого пива.

Его предсказания и пожелания не исполнились. Я не попал в комплект будущих ученых. Еще больше: мне не посчастливилось даже достать место преподавателя или тутора в каком-нибудь из лицеев или в средней школе: я попал в какую-то заколдованную, неумолимую, свирепую, равнодушную, длительную полосу неудачи. Ах, кто, кроме редких баловней судьбы, не знает и не нес на своих плечах этого безрассудного, нелепого, слепого ожесточения судьбы? Но меня она била чересчур упорно.

Ни на заводах, ни в технических конторах — нигде я не мог и не умел пристроиться. Большей частью я приходил слишком поздно: место уже бывало занято.

Во многих случаях мне почти сразу приходилось убеждаться, что я вхожу в соприкосновение с темной, подозрительной компанией. Еще чаще мне ничего не платили за мой двух-, трехмесячный труд и выбрасывали на улицу, как котенка. Нельзя сказать, чтобы я был особенно нерешителен, застенчив, ненаходчив или, наоборот, обидчив, самолюбив и строптив. Нет, просто обстоятельства жизни складывались против меня.

Но я был прежде всего англичанином и уважал себя, как джентльмена, представителя величайшей нации в мире. Мысль о самоубийстве в этот ужасный период жизни никогда не приходила мне в голову. Я боролся против несправедливости рока с холодным, трезвым упорством и с твердой верой в то, что никогда, никогда англичанин не будет рабом. И судьба, наконец, сдалась перед моим англосаксонским мужеством.

Я жил тогда в самом грязнейшем из грязных переулков Бетналь Грина, в забытом богом Ист Энде и ютился за ситцевой перегородкой у портового рабочего, носильщика угля. За квартиру я платил ему четыре

шиллинга в месяц и, кроме того, должен был помогать стряпать его жене, учить читать и писать трех его старших детей, а также мыть кухню и черную лестницу. Хозяева всегда радушно приглашали меня обедать, но я не решался обременять их нищенский бюджет. Я обедал напротив, в мрачном подвале, и, бог ведает, сколько кошачьих, собачьих и конских существований лежат невольно на моей мрачной совести. Но за эту естественную деликатность мастер Джон Джонсон, мой хозяин, платил мне большим вниманием: когда в доках Ист Энда случалось много работы и не хватало рук, а цена на них поднималась страшно высоко, он всегда умудрялся устраивать меня на не особенно тяжелую разгрузку или нагрузку, где я шутя мог зарабатывать восемь — десять шиллингов в сутки. Жаль только, что этот прекрасный добрый и религиозный человек по субботам аккуратно напивался, как язычник, и имел в эти дни большую склонность к боксу.

Кроме обязательных кухонных занятий и случайной работы в порту, я перепробовал множество смешных, тяжелых и оригинальных профессий. Помогал стричь пуделей и обрезать хвосты фокстерьерам, торговал в колбасной лавке во время отсутствия ее владельца, приводил в порядок запущенные библиотеки, считал выручку в скаковых кассах, давал урывками уроки математики, психологии, фехтования, богословия и даже танцев, переписывал скучнейшие доклады и идиотские повести, нанимался смотреть за извозчичьими лошадьми, пока кучера ели в трактире ветчину и пили пиво; иногда, одетый в униформу, скатывал ковры в цирке и выравнивал граблями тырсу манежа во время антрактов, служил сандвичем, а иногда выступал на состязаниях в боксе, в разряде среднего веса, переводил с немецкого языка на английский и, наоборот, писал надгробные эпитафии, и мало ли чего я еще не делал! По совести говоря, благодаря моей неистощимой энергии и умеренности я не особенно нуждался. У меня был желудок, как у верблюда, сто пятьдесят английских фунтов весу без одежды, здоровые кулаки, крепкий сон и большая бодрость духа. Я так приспособился к бедности и к необходимым лишениям, что мог не только

посылать время от времени кое-какие гроши моей младшей сестре Эсфири, которую бросил в Дублине с двумя детьми муж ирландец, актер, пьяница, лгун, бродяга и развратник, — но и следить напряженно за наукой и общественной жизнью, читал газеты и ученые журналы, покупал у букинистов книги, абонировался в библиотеке. В эту пору мне даже удалось сделать два незначительных изобретения: очень дешевый прибор, механически предупреждающий паровозного машиниста в тумане или в снежную бурю о закрытом семафоре, и особую, почти неистощимую паяльную лампу, дававшую водородный пламень. Надо сказать, что не я воспользовался плодами моих изобретений — ими воспользовались другие. Но я оставался верен науке, как средневековый рыцарь своей даме, и никогда не переставал верить, что настанет миг, когда возлюбленная призовет меня к себе светлой улыбкой.

Эта улыбка озарила меня самым неожиданным и прозаическим образом. В одно осеннее туманное утро мой хозяин, добрый мастер Джонсон, побежал в лавку напротив за кипятком для чая и за молоком для детей. Вернулся он с сияющим лицом, с запахом виски изо рта и с газетой в руках. Он сунул мне под нос газету, еще сырую и пахнувшую типографской краской, и, указывая на место, отчеркнутое краем грязного ногтя, воскликнул:

— Поглядите-ка, старик. Пусть я не разберу антрацита от кокса, если эти строки не для вас, парень.

Я прочитал не без интереса следующее (приблизительно) объявление:

«Стряпчие «Э. Найдстон и сын», Реджент-стрит, 451, ищут человека для путешествия к экватору, до места, где ему придется остаться не менее трех лет для научных занятий. Условия: возраст от 22-х до 30 лет, англичанин, безукоризненно здоровый, неболтливый, смелый, трезвый и выносливый, знающий один, а лучше два европейских языка (французский и немецкий), несомненно холостой и по возможности без больших фамильных или иных связей на родине. Первоначальное

жалованье 400 фунтов стерлингов в год. Желательно университетское образование, в частности же больше шансов на получение службы имеет джентльмен, знающий теоретически и практически химию и физику. Являться ежедневно от 9 до 10 часов». Я потому так твердо цитирую это объявление, что в моих немногих бумагах сохранился до сих пор его текст, хотя и очень небрежно записанный и смытый морской водою.

— Тебе природа дала длинные ноги, сынок, и хорошие легкие, — сказал Джонсон, одобрительно хлопнув меня по спине. — Разводи же машину и давай полный ход. Теперь там, наверно, набралось молодых джентльменов безупречного здоровья и честного поведения гораздо больше, чем их бывает на розыгрыше Дэрби. Анна, сделай ему сандвичи с мясом и вареньем. Почем знать, может быть, ему придется ждать очереди часов пять. Ну, желаю успеха, мой друг. Вперед, храбрая Англия!

На Реджент-стрит я попал как раз в обрез. И я мысленно поблагодарил природу за свой хороший шаговой аппарат. Отворяя мне дверь, слуга сказал с небрежной фамильярностью: «Ваше счастье, мистер. Вы как раз захватили последний номер». И тотчас же укрепил на дверях, снаружи, роковой анонс: «Прием по объявлению окончен».

В полутемной, тесной и достаточно грязной приемной — таковы почти все приемные этих волшебников из Сити, ворочающих миллионными делами, — дожидалось человек десять, пришедших раньше. Они сидели вдоль стен на деревянных, потемневших, засаленных и блестевших от времени скамьях, над которыми, на высоте человеческих затылков, старые обои хранили грязную широкую полосу. Боже мой, какой жалкий сброд, голодный, оборванный, загнанный в конец нуждою, больной и забитый, собрался здесь, как на выставку уродов. Невольно мое сердце защемило от жалости и оскорбленного самолюбия. Землистые лица, косые и злобно-ревнивые, подозрительные взгляды исподлобья, трясущиеся руки, лохмотья, запах нищеты, скверного табака и давнишнего алкоголя. Иные из этих молодых джентльменов не достигли еще семнадцатилетнего воз-

раста, а другим давно перевалило за пятьдесят. Один за другим они бледными тенями проскальзывали в кабинет и возвращались оттуда с видом утопленников, только что вытащенных из воды. Мне как-то болезненно стыдно было сознавать себя бесконечно более здоровым и сильным, чем все они взятые вместе.

Наконец дошла очередь до меня. Кто-то приотворил изнутри кабинетную дверь и, невидимый за нею, крикнул отрывисто и брезгливо, кислым голосом:

— Номер восемнадцатый и, слава аллаху, последний!

Я вошел в кабинет почти такой же запущенный, как и приемная, с тою только разницей, что он украшался облупленной клеенчатой мебелью: двумя стульями, диваном и двумя креслами, в которых сидели два пожилых господина, по-видимому, одинакового, небольшого роста, но старший из них, в длинном рабочем вестоне[1], был худ, смугл, желтолиц и суров с виду, а другой, одетый в новенький с шелковыми отворотами сюртук, наоборот, был румян, пухл, голубоглаз и сидел, небрежно развалившись и положив нога на ногу.

Я назвал себя и сделал неглубокий, но довольно почтительный поклон. Затем, видя, что мне не предлагают места, я сел было на диван.

— Подождите, — сказал смуглый. — Сначала снимите ваш пиджак и жилет. Вот доктор, он вас выслушает.

Я вспомнил тот пункт объявления, где говорилось о безукоризненном здоровье, и молча скинул с себя верхнюю одежду. Румяный толстяк лениво выпростался из кресла и, обняв меня, прилип ухом к моей груди.

— Наконец-то хоть один в чистом белье, — сказал он небрежно.

Он прослушал мои легкие и сердце, постучал пальцами по спине и грудной клетке, потом посадил меня и проверил коленные рефлексы и, наконец, сказал лениво:

— Здоров, как живая рыба. Немного недоедал в последнее время. Это пустяки, вопрос двух недель хорошего питания. Даже, к его счастью, я не заметил у

[1] Пиджаке (от *франц.* veston).

него никаких следов обычного у молодежи переутомления от спорта. Словом, мистер Найдстон, я передаю вам джентльмена, как удачный, почти совершенный образчик здоровой англосаксонской расы. Я думаю, что я вам более не нужен?

— Вы свободны, доктор, — сказал стряпчий. — Но вы, конечно, позволите известить вас завтра утром, если мне понадобится ваша компетентная помощь?

— О мистер Найдстон, я всегда к вашим услугам.

Когда мы остались одни, стряпчий уселся против меня и внимательно взглянул мне в переносицу. У него были маленькие зоркие глаза, цвета кофейных зерен, и совсем желтые белки. Когда он глядел пристально, то казалось, что из его крошечных синих зрачков время от времени выскакивают тоненькие, острые, блестящие иголочки.

— Поговорим, — сказал он отрывисто. — Ваше имя, фамилия, происхождение, место рождения?

Я отвечал ему в таком же сухом и кратком тоне.

— Образование?

— Королевский университет.

— Специальность?

— Математический факультет. В частности, физика.

— Иностранные языки?

— Немецким владею довольно свободно. По-французски понимаю, когда говорят раздельно, не торопясь, могу и сам слепить десятка четыре необходимых фраз, читаю без затруднения.

— Родственники и их социальное положение?

— Это разве вам не безразлично, мистер Найдстон?

— Мне? Совершенно все равно. Я действую в интересах третьего лица.

Я рассказал ему сжато о положении моих двух сестер. Он во время моего доклада внимательно разглядывал свои ногти, потом бросил в меня две иглы из своих глаз и спросил:

— Пьете? И сколько?

— Иногда во время обеда полпинты пива.

— Холост?

— Да, сэр.

— Собираетесь сделать эту глупость? Жениться?

— О нет.
— Мимолетная любовь?
— Нет, сэр.
— Гм... Чем теперь занимаетесь?

Я и на этот вопрос ответил коротко и правдиво, опустив ради экономии времени пять или шесть моих случайных профессий.

— Так, — сказал он, когда я окончил. — Нуждаетесь сейчас в деньгах?

— Нет. Я сыт и одет. Всегда нахожу работу. Слежу по возможности за наукой. Верю твердо, что рано или поздно выплыву.

— Не хотите ли денег вперед? В задаток?

— Нет, это не в моих правилах. Брать деньги ни с того ни с сего... Да мы еще не покончили.

— Правила ваши не дурны. Очень может быть, что мы и сойдемся с вами. Запишите вот здесь ваш адрес. Я вас извещу. И, вероятно, очень скоро. Доброго пути.

— Простите, мистер Найдстон, — возразил я. — Я только что отвечал вам с полной искренностью на все ваши вопросы, порою даже несколько щекотливые. Надеюсь, вы и мне позволите задать вам один вопрос?

— Прошу вас.
— Цель поездки?
— Эге! Разве вам не все равно?
— Предположим, что нет.
— Цель чисто научная.
— Этого мало.

— Мало? — вдруг закричал на меня мистер Найдстон, и из его кофейных глаз посыпались снопы иголок. — Мало? Да неужели у вас хватает дерзости предполагать, что фирма «Найдстон и сын», существующая уже полтораста лет и пользующаяся уважением всей коммерческой и деловой Англии, может вам предложить что-нибудь бесчестное или просто компрометирующее вас? Или что мы возьмемся за какое-нибудь дело, не имея в руках верных гарантий его безусловной законности?

— О сэр, я не сомневаюсь, — возразил я сконфуженно.

— Хорошо, — прервал он, мгновенно успокаиваясь, точно бурное море, в которое вылили несколько тонн масла. — Но видите ли, во-первых, я связан условием не сообщать вам существенных подробностей до тех пор, пока вы не сядете на пароход, отходящий от Соутгэмптона...

— Куда? — спросил я быстро.

— Пока этого я не могу сказать вам. А во-вторых, цель вашей поездки (если она вообще состоится) для меня самого не совсем ясна.

— Странно, — сказал я.

— Удивительно странно, — охотно подхватил стряпчий. — И даже, если угодно, я вам скажу больше: это фантастично, грандиозно, неслыханно, великолепно и смело до безумия!

Теперь была моя очередь сказать «гм», и я это сделал с некоторою осторожностью.

— Подождите, — воскликнул с внезапной горячностью мистер Найдстон. — Вы молоды. Я старше вас лет на двадцать пять — тридцать. Вы уже многим великим завоеваниям человеческого гения совершенно не удивляетесь. Но если бы мне в ваши годы кто-нибудь предсказал, что я сам буду заниматься по вечерам при свете невидимого электричества, текущего по проволоке, или что я буду разговаривать с моим знакомым за восемьдесят миль расстояния, что я увижу на полотне экрана двигающиеся, смеющиеся, нарисованные образы людей, что можно телеграфировать без проволоки, и так далее и так далее, — то я бы поставил свою честь, свободу, карьеру против одной пинты плохого лондонского пива за то, что со мной говорит сумасшедший.

— Значит, дело заключается в каком-нибудь новейшем изобретении или величайшем открытии?

— Если хотите, — да. Но, прошу вас, не глядите на меня с недоверием или подозрением. Ну, что вы сказали бы, например, если бы к вашей молодой энергии, силе и знаниям обратился великий ученый, который, положим, работает над проблемой — из простых элементов, входящих в воздух, составить вкусное, питательное и съедобное, почти бесплатное вещество? Если бы вам предложили работать ради будущего устроения и укра-

шения земли? Посвятить свое творчество и душевную мощь счастию будущих поколений? Что вы сказали бы? Да вот вам живой пример. Поглядите в окно.

Я невольно привстал, повинуясь его властному резкому жесту, и посмотрел в мутные стекла. Там, на улицах, висел от неба до земли густой, как грязная вата, черно-ржаво-серый туман. И в нем едва-едва намечались мутно-желтые расплывчатые пятна фонарей. Это было в одиннадцать часов дня.

— Да, да, поглядите, — произнес мистер Найдстон, — поглядите внимательно. Теперь предположите, что гениальный самоотверженный человек зовет вас на великое дело оздоровления и украшения земли. Он говорит вам, что все, что есть на земле, зависит от ума, воли и рук человека. Он говорит, что если бог в своем справедливом гневе отвернулся от человечества, то человеческий необъятный ум сам придет себе на помощь. Этот человек скажет вам, что туманы, болезни, крайности климатов, ветры, извержения вулканов — все подвержено влиянию и контролю человеческой воли, что, наконец, можно сделать земной шар настоящим раем и продлить его существование на несколько сотен тысяч лет. Что вы сказали бы этому человеку?

— Но что, если тот, кто предлагает мне эту радужную мечту, сам ошибается? Если я окажусь невольной игрушкой в руках мономана? Капризного безумца?

Мистер Найдстон встал и, протягивая мне руку в знак прощания, сказал твердо:

— Нет. На борту парохода, месяца через два-три (если, понятно, мы сговоримся), я скажу вам имя этого ученого и смысл его великой задачи, и вы снимете вашу шляпу в знак величайшего благоговения пред человеком и идеей. Но я, к сожалению, профан, мистер Диббль. Я только стряпчий — хранитель и представитель чужих интересов.

После этого приема я почти не сомневался в том, что судьбе, наконец, надоело мое неизменное созерцание ее непреклонной спины и что она решилась показать мне свое таинственное лицо. Поэтому в тот же

вечер я устроил на остаток моих скудных сбережений неслыханно роскошное пиршество, которое состояло из вареного окорока, пунша, пломпудинга и горячего шоколада и в котором принимала участие, кроме меня, почтенная чета старых Джонсонов и, не помню, — человек шесть или семь Джонсонов младших. Левое плечо у меня совсем посинело и отвисло от дружеских шлепков доброго хозяина, сидевшего рядом со мною, слева.

И я не ошибся. На другой день вечером я получил телеграмму: «Жду завтра в полдень, Реджент-стрит, 451. Найдстон».

Я пришел к нему секунда в секунду в назначенное время. Его не было в конторе, но слуга предупредительно проводил меня в небольшой кабинет ресторана, помещавшегося за углом, шагах в двухстах. Мистер Найдстон был один. Ничто в нем сначала не напоминало того экспансивного и даже, пожалуй, поэтично настроенного человека, который так горячо говорил мне третьего дня о счастье будущих поколений. Нет. Это опять был тот сухой и немногоречивый стряпчий, который при первой встрече со мной в то утро повелительно приказал мне раздеться и потом допрашивал меня, как следователь.

— Здравствуйте, садитесь, — сказал он, указывая на стул. — Сейчас время моего завтрака, и у меня самый свободный час. Я хотя и зовусь Найдстон и сын, но сам — холостой и одинокий человек. Итак, — есть? Пить?

Я поблагодарил и спросил чаю с поджаренным хлебом. Мистер Найдстон неторопливо ел, пил маленькими глотками старый портвейн и молча время от времени пронзал меня сверкающими иглами своих глаз. Наконец он вытер губы, бросил салфетку на стол и спросил:

— Итак, согласны?

— Купить кота в мешке? — спросил я в свою очередь.

— Нет, — воскликнул он громко и сердито. — Прежние условия остаются in statu quo [1]. Перед отправ-

[1] В прежнем положении *(лат.)*.

лением на юг вы получите все наиболее полные сведения, какие я только смогу и сумею вам сообщить. Если они не удовлетворят вас, то вы с своей стороны можете не подписывать контракт, а я плачу вам некоторое вознаграждение за то время, которое вы потеряли в праздных разговорах со мной.

Я внимательно поглядел на него. В это мгновенье он весь был занят тем, что старался, обняв правой рукой кисть левой, раздавить два ореха. Острые иглы глаз были скрыты занавесками век. И тут я, точно в каком-то озарении, вдруг увидел в лице этого человека всю его душу — странную душу формалиста и игрока, узкого специалиста и необычайно широкую натуру, раба своих конторских профессиональных привычек и в то же время тайного искателя приключений, сутягу, готового засадить за два пенни своего противника в долговое отделение, и в то же время чудака, способного пожертвовать все свое состояние, накопленное десятками лет каторжного труда, ради призрака прекрасной идеи. Эта мысль промелькнула у меня быстро, как молния, и Найдстон тотчас же, как будто наши души соединил какой-то незримый ток, открыл свои глаза, крепким усилием раздавил в мелкие куски орехи и улыбнулся мне ясной, детской, почти проказливой улыбкой.

— В конце концов вы мало чем рискуете, дорогой мистер Диббль. Прежде чем вы отправитесь на юг, я дам вам несколько поручений на континент. Эти поручения не требуют от вас большой затраты научного багажа, но потребуют большой механической аккуратности, точности и предусмотрительности. Это займет у вас на крайний случай месяца два, — может быть, неделей больше или меньше. Вы должны будете принять в разных местах Европы несколько очень дорогих и очень хрупких стекол, а также несколько чрезвычайно тонких и чувствительных физических инструментов. Их упаковку, доставку на железную дорогу, транзит морем и железной дорогой я целиком вверю вашей наблюдательности, ловкости и умению. Согласитесь с тем, что какому-нибудь пьяному матросу или носильщику ничего не стоит сбросить в люк ящик и разбить вдребезги

маленькое двояковыпуклое стеклышко, над которым десятки людей работали десятки лет...

«Обсерватория! — радостно подумал я. — Конечно, это обсерватория! Какое счастие! Наконец-то я поймал тебя за хвост, неуловимая судьба».

Но я уже видел, что он понял мою мысль, а глаза его сделались еще веселее.

— Не будем говорить об оплате этого вашего первоначального труда. В мелочах мы, понятно, с вами сговоримся, это я вижу по вас, но, — и он вдруг совсем уж беззаботно, по-мальчишески расхохотался, — но мне хочется обратить ваше внимание на очень курьезную вещь. Смотрите, через мои руки прошло тысяч около десяти, двадцати чрезвычайно интересных дел. Из них некоторые на громадные суммы. Несколько раз я попадался впросак, и это несмотря на всю нашу утонченную казуистическую точность и аккуратность. И вот, представьте себе, каждый раз, когда я отбрасывал в сторону все ухищрения ремесла и глядел человеку ясно и просто в глаза, как я сейчас гляжу на вас, я никогда не впадал в ошибку и не раскаивался. Итак?

Его глаза были ясны, тверды, доверчивы и ласковы. В эту секунду этот маленький, смуглый, сморщенный, желтолицый человек точно взял руками мою душу и покорил ее.

— Хорошо, — сказал я. — Я вам верю. С этой минуты я в вашем распоряжении.

— О, зачем так скоро, — возразил добродушно мистер Найдстон. — У нас впереди пропасть времени. Мы еще успеем с вами выпить бутылку кларета. — Он надавил кнопку висячего звонка. — Затем вы устроитесь со своими вещами и со всеми личными делишками, и сегодня же, в восемь часов вечера, вы ко времени отлива должны быть на борту парохода «Лев и Магдалина», куда я вам привезу ваш точный маршрут, чеки на различные банки и деньги для ваших собственных расходов. Милый юноша, пью за ваше здоровье и за ваши успехи. Ах, если бы вы знали, — вдруг воскликнул он с неожиданным энтузиазмом, — если бы вы знали, как я вам завидую, дорогой мистер Диббль!

Чтобы немножко и совсем невинно польстить ему, я возразил почти искренно:

— Зачем же дело стало, дорогой мистер Найдстон? Клянусь, что душой вы так же молоды, как и я.

Смуглый стряпчий опустил свой тонко очерченный, длинный нос в стакан с кларетом, помолчал немного и вдруг сказал с искренним вздохом:

— Эх, мой милый! Контора, существующая чуть ли не со времен Плантагенетов, честь фирмы, предки, десятки тысяч уз, связывающих меня с клиентами, сотрудниками, друзьями и врагами... всего я и не перечислю... Значит, больше никаких сомнений?

— Нет.

— Итак, чокнемся и споем: «Roule Britannia!» [1]

И мы чокнулись и запели — я, почти мальчишка, вчерашний бродяга, и этот сухой деловой человек, вливший из мрака своей грязной конторы на судьбы европейских держав и капиталов, — запели самыми невероятными и фальшивыми голосами в мире:

Правь, Британия,
Правь через волны,
Никогда, никогда, никогда
Англичанин не будет рабом!

Вошел слуга и, обращаясь почтительно к мистеру Найдстону, сказал:

— Простите меня, я с истинным наслаждением слушал ваше пение. Ничего более прекрасного я не слышал даже в Королевской опере, но рядом с вами, за стеной, собрание клуба любителей французской средневековой музыки. Может быть, я не так назвал собрание джентльменов... но у всех у них очень капризный музыкальный слух.

— Вы правы, — кротко ответил стряпчий, — и потому прошу вас принять на память этот маленький круглый желтый предмет с изображением нашего доброго короля.

---

[1] «Правь, Британия!» *(англ.)*

Вот краткий список тех городов и мастерских, которые я посетил с тех пор, как впервые переплыл канал. Выписываю их целиком из своей записной книжки: Пражмовский в Париже и инструментальная фирма Репсольдов в Гамбурге, Цейсс, братья Шотт и Сляттф в Иене; в Мюнхене Фраунгоферский и оптический институт Уитшнейдера и там же Мерц; Шик в Берлине, Беннех и Вассерман там же. И там же неподалеку, в Потсдаме, чудесное отделение фабрики Пражмовского, работающего в сотрудничестве с весьма обязательным и просвещенным доктором Э. Гартнак.

Маршруты, составленные мистером Найдстоном, были необычайно точны, вплоть до указаний времени пересадок и адресов недорогих, но комфортабельных английских отелей. Он делал маршрут собственноручно. Но и тут сказалась его странная, способная на всякие неожиданности натура. На углу одной из страниц его угловатым твердым почерком, карандашом, была записана краткая сентенция: «Если бы Чанс и компания были настоящими англичанами, то они не забросили бы своего дела и нам не приходилось бы ездить за стеклами и инструментами к французам и немецким шнурбартбинтхалтерам» [1].

Скажу по правде, не хвастаясь, что всюду я держал себя с надлежащим весом и достоинством, потому что много раз, в критические минуты, в моих ушах раздавался ужасный козлиный голос мистера Найдстона: «Никогда англичанин не будет рабом».

Впрочем, надо сказать, что я не мог пожаловаться на недостаток внимания и предупредительности ко мне со стороны ученых оптиков и знаменитых инструменталистов. Мои рекомендательные письма, подписанные какими-то крупными, черными, совершенно неразборчивыми каракулями и скрепленные внизу четким автографом мистера Найдстона, служили в моих руках подобием волшебной палочки, открывавшей мне все двери и сердца. С неослабным глубоким интересом наблюдал я за приготовлением и шлифовкой выпуклых и вогнутых стекол и за выделкой тончайших остроумных и

---

[1] Наусникам (от *нем.* Schnurbartbindhalter).

прекрасных инструментов, сверкавших медью и сталью, сиявших всеми своими винтами, трубами и нарезами. Когда мне впервые показали в одной из самых знаменитых мастерских мира почти законченный пятидесятидюймовый рефрактор, который нуждался всего лишь в каких-нибудь годах двух-трех окончательной шлифовки, — у меня остановилось сердце и захватило дыхание от восторга и умиления перед мощью человеческого ума.

Но меня чрезвычайно смущало то настойчивое любопытство, с которым все эти серьезные, ученые люди старались, поочередно, по секрету друг от друга, проникнуть в тайные замыслы моего, неведомого мне самому, патрона. Иногда тонко и искусно, иногда с грубой неловкостью они старались выпытать у меня подробности и цель моей поездки, адреса фирм, с которыми мы имеем дело, характер и назначение наших заказов в других мастерских и т. д. и т. д. Но, во-первых, я твердо помнил очень серьезное предостережение мистера Найдстона насчет болтливости, а во-вторых, что я мог бы им ответить, если бы даже добросовестно согласился на это? Я сам ничего не знал и бродил ощупью, точно ночью в незнакомом лесу. Я принимал, сверяясь с чертежами и вычислениями, какие-то странные, чечевицеобразные стекла, металлические трубы и трубочки, нониусы, мельчайшие микрометрические винты, миниатюрные поршневые цилиндры, обтюраторы, тяжелые, стеклянные, странной формы, колбы, манометры, гидравлические прессы, множество совершенно мне непонятных, доселе не виданных мною электрических приборов, несколько сильных луп, три хронометра и два водолазных скафандра со шлемами. Одно лишь становилось мне все более ясным: загадочное предприятие, которому я служил, ничего не имело общего с постройкой обсерватории, а по виду принимаемых мною предметов я даже и приблизительно не мог догадаться о цели, которой они были предназначены служить. Я только с напряженным вниманием следил за их тщательной упаковкой, изобретая постоянно хитроумные способы, предохраняющие от тряски, поломки и погнутия.

От назойливых расспросов я отделывался тем, что внезапно умолкал и, не произнося ни звука, начинал глядеть каменными глазами в самую переносицу любопытного. Но однажды мне поневоле пришлось прибегнуть к весьма убедительному красноречию: толстый, наглый, самоуверенный пруссак осмелился предложить мне взятку в двести тысяч германских марок за то, чтобы я выдал ему тайну нашего предприятия. Это случилось в Берлине, в моей отельной комнате, расположенной в четвертом этаже. Я коротко и строго заметил этому жирному, наглому животному, что он разговаривает с английским джентльменом. Но он заржал, как настоящий першерон[1], хлопнул меня фамильярно по плечу и воскликнул:

— Э, бросьте, мой милейший, эти штучки. Мы прекрасно понимаем их цену и значение. Вы находите, что я предложил вам мало? Но ведь мы можем, как умные и деловитые люди, сойтись на...

Его пошлый тон и грубый жест совсем не понравились мне. Я распахнул огромное окно моей комнаты и, указывая вниз, на мостовую, сказал твердо:

— Еще одно слово — и вам для того, чтобы убраться отсюда, не надо будет прибегать к помощи лифта. Ну, раз, два...

Он встал, побледневший, струсивший и разъяренный, хрипло выругался на своем картавом берлинском жаргоне и, уходя, так хлопнул дверью, что пол моей комнаты задрожал и все предметы на столе запрыгали.

Последняя моя остановка на континенте была в Амстердаме. Там я должен был вручить рекомендательные письма двум владельцам двух всемирно известных гранильных фабрик — Маасу и Даниэльсу. Это были умные, вежливые, важные и недоверчивые евреи. Когда я посетил их поочередно, то Даниэльс первым делом спросил меня лукаво: «Конечно, вы имеете поручение также и к господину Маасу?» А Маас, только что прочитав адресованное ему письмо, сказал пытливо: «Несомненно, вы уже виделись с господином Даниэльсом?»

---

[1] Порода лошадей (от *франц.* percheron).

Оба они проявили в сношениях со мною крайнюю осторожность и подозрительность, долго совещались между собою, посылали куда-то простые и шифрованные телеграммы, наводили точнейшие и подробнейшие сведения о моей личности и так далее. В день моего отъезда они оба явились ко мне. В их словах и движениях чувствовалась какая-то библейская торжественность.

— Извините нас, молодой человек, и не сочтите за знак недоверия то, что мы вам сейчас сообщим, — сказал старший из них и более важный — Даниэльс. — На линии Амстердам — Лондон все пароходы обыкновенно кишмя кишат международными ворами самых высших марок. Правда, мы держим в строжайшем секрете исполнение вашего почтенного заказа, но кто же может ручаться за то, что один или двое из этих пронырливых, умных, порою даже почти гениальных международных рыцарей индустрии не ухитрились проникнуть в нашу тайну? Поэтому мы считаем далеко не лишним окружить вас незримой, но верной охраной из опытных полицейских агентов. Вы, пожалуй, даже и не заметите их. Вы сами знаете, что осторожность никогда не помешает. Согласитесь, что и вашим доверителям и нам будет гораздо спокойнее, ежели то, что вы повезете, будет во все время пути под надежным, зорким и неусыпным надзором? Ведь здесь дело идет не о кожаном портсигаре, а о двух вещах, которые стоят в сложности около миллиона трехсот тысяч франков и которым нет ничего подобного на всем земном шаре, а пожалуй, и во всей вселенной.

Я самым искренним и любезным тоном поспешил уверить почтенного бриллиантщика о моем полнейшем согласии с его мудрыми и дальновидными словами. По-видимому, эта доверчивость еще более расположила его ко мне, и он спросил пониженным голосом, в котором я уловил какую-то благоговейную дрожь:

— Не хотите ли теперь взглянуть на них?

— Если это удобно и возможно для вас, то пожалуйста, — сказал я, с трудом скрывая свое любопытство и недоумение.

Оба еврея, почти одновременно, с видом священнодействующих жрецов, вынули из боковых карманов своих длинных сюртуков два небольших футляра, — Даниэльс дубовый, а Маас красный сафьяновый; осторожно отворили золотые застежки и подняли крышки. Оба ящичка внутри были выложены белым бархатом и сначала показались мне пустыми. Только, нагнувшись совсем низко над ними и внимательно приглядевшись, я заметил две круглые выпуклые стеклянные, совершенно бесцветные чечевицы такой необычайной чистоты и прозрачности, что они казались бы совсем незаметными, если бы не тонкие, круглые, геометрически правильные очертания их окружности.

— Удивительная работа! — воскликнул я, восхищенный. — Вероятно, вам очень долго пришлось трудиться над этими стеклами?

— Молодой человек! — произнес Даниэльс испуганным шепотом. — Это не стекла, а два брильянта. Один, вышедший из моей мастерской, весит тридцать с половиною каратов, а брильянт господина Мааса целых семьдесят четыре.

Я был так поражен, что даже потерял свою обычную хладнокровную сдержанность.

— Брильянты? Брильянты, принявшие сферическую поверхность? Но ведь это чудо, о котором мне ни разу не приходилось ни читать, ни слышать. Ведь ничего подобного до сих пор не было достигнуто человеком!

— Я и говорил вам, что эти вещи единственные в мире, — важно подтвердил ювелир, — но меня, простите, немного озадачивает ваше изумление. Неужели это новость для вас? Неужели вы в самом деле никогда не слыхали о них?

— Ни разу в жизни. Ведь вы сами знаете, что предприятие, которому я служу, держится в строжайшем секрете. Не только я, но и мистер Найдстон не посвящен в его подробности. Я знаю только то, что в разных местах Европы я принял части и приборы для какого-то грандиозного сооружения, в цели и смысле которого я сам — ученый по образованию — пока ровно ничего не понимаю.

Даниэльс пристально взглянул мне в глаза своими спокойными, умными глазами табачного цвета, и его библейское лицо омрачилось.

— Да... это так, — сказал он медленно и задумчиво после небольшого молчания. — По-видимому, вам известно не более, чем нам, но я сейчас только заглянул вам в душу и чувствую, что все равно, если бы вы были в курсе дела, вы, конечно, не поделились бы с нами вашими сведениями?

— Я связан словом, господин Даниэльс, — возразил я по возможности мягко.

— Да, это так... это так. Не думайте, молодой человек, что вы явились сюда, в наш город каналов и брильянтов, совершенным незнакомцем.

Еврей усмехнулся тонкой улыбкой.

— Мы знаем даже подробности о том, как вы в Берлине предложили одному известному коммерции советнику совершить воздушный полет из вашего окна.

— Неужели это могло быть кому-нибудь известно, кроме нас двоих? — удивился я. — Ну, и болтун же этот немецкий боров.

Лицо еврея сделалось загадочным. Он медленно и многозначительно провел рукой по своей длинной бороде.

— Представьте себе, немец никому не говорил о своем позоре. Но мы узнали об этом происшествии на другой день. Что делать! Нам, у которых в блиндированных несгораемых подвалах сохраняются свои и чужие драгоценности, иногда на многие сотни миллионов франков, приходится иметь свою собственную полицию. Да. А через три дня о вашем поступке узнал и мистер Найдстон.

— Этого еще недоставало! — воскликнул я в смущении.

— Вы здесь ничего не потеряли, молодой англичанин. Скорее выиграли. Знаете, как отозвался о вас мистер Найдстон, когда узнал о берлинском случае? Он сказал: «Я заранее был уверен, что этот славный малый Диббль иначе и не мог бы поступить». И я с своей стороны могу только поздравить мистера Найдстона и его главного доверителя с тем, что их интересы

попали в такие верные руки. Хотя... хотя... Хотя все это разрушает мои некоторые соображения, планы и надежды...

— Да, — подтвердил немногословный Маас.

— Да, — повторил тихо библейский Даниэльс, и снова лицо его заволоклось грустью. — Нам привезли эти брильянты почти в том же самом виде, в каком вы их теперь рассматриваете, но их поверхности, только что вынутые из матриц, были грубы и неровны. Мы отшлифовали их так терпеливо и любовно, как не сделали бы этого по заказу любого императора в мире. Вернее сказать, что лучше невозможно было сделать. Но мне, старику, старому профессионалу и одному из лучших знатоков камней на свете, — мне уже давно не дает покоя проклятый вопрос: кто мог придать алмазу такую форму. И притом взгляните, — вот вам лупа, — ни трещинки, ни пятнышка, ни пузырька внутри. До какой, однако, температуры были доведены эти цари камней и какому чудовищному давлению они потом подвергались. И я, — вздохнул грустно Даниэльс, — и я должен признаться, что очень сильно рассчитывал на ваш приезд и вашу откровенность.

— Простите, мне очень жаль, что я не в состоянии...

— Оставьте. Я знаю. Ну, желаем вам счастливого пути.

Вечером мой пароход отошел от Амстердама. Посланные со мной агенты вели себя так умело, что я действительно мог подозревать в любом пассажире мою охрану и в то же время не подозревать никого. Но когда к полуночи мне захотелось спать и я спустился в занятую мною каюту, то, к своему удивлению, нашел там бородатого, широкоплечего незнакомца, которого я раньше не видел на палубе. Он расположился не на запасной койке, а прямо на полу, у дверей, подостлав под себя пальто, положив под голову надувную резиновую подушку и покрывшись пледом. Не без сдерживаемого гнева я заметил ему, что вся каюта, со всеми местами и со всем кубическим содержанием воздуха, принадлежит мне. Но он возразил мне спокойно и на хорошем английском языке:

— Не волнуйтесь, сэр. Моя обязанность — провести эту ночь около вас на положении верного дога. Кстати, вот вам письмо и пакетик от господина Даниэльса.

Старый еврей писал коротко и любезно:

«Не откажите мне в маленьком удовольствии: примите на память о нашей встрече прилагаемое кольцо. В нем нет большой ценности, но это амулет, предостерегающий от морской опасности. Надпись на нем древняя, едва ли не на языке вымерших инков.

Даниэльс».

В пакетике было кольцо с небольшим плоским рубином, на поверхности которого были вырезаны диковинные знаки.

А мой «дог» запер каюту на ключ, положил около себя револьвер и, по-видимому, мгновенно заснул.

— Благодарю вас, дорогой мистер Диббль, — говорил мне через день мистер Найдстон, крепко пожимая мою руку. — Вы прекрасно справились со всеми поручениями, порою довольно сложными, сэкономили много времени и вдобавок держали себя с надлежащим достоинством. Теперь в продолжение недели отдыхайте и развлекайтесь, как хотите. В воскресенье утром мы с вами пообедаем и выедем в Соутгэмптон, а утром в понедельник вы уже будете плыть через океан на борту великолепного парохода «Южный крест». Кстати, не забудьте зайти к моему клерку и получить ваше двухмесячное жалованье и суточные деньги, а я за эти дни пересмотрю и вновь упакую накрепко весь ваш багаж. Опасно доверяться чужим рукам, а в деле упаковки деликатных вещей вряд ли во всем Лондоне найдется мне хоть один соперник.

В воскресенье я распростился с милым мистером Джоном Джонсоном и его многочисленной семьей и уехал, сопровождаемый общими теплыми напутствиями. А в понедельник утром мы с мистером Найдстоном сидели в роскошной кают-компании гигантского парохода «Южный крест» в ожидании отплытия и пили

кофе. По океану разгуливал довольно свежий ветер, и зеленые волны с белыми пенными гребнями бились о крепкие круглые стекла иллюминаторов.

— Я должен вас предупредить, мой милый, что вы поедете не один, — говорил мистер Найдстон. — С вами вместе отправляется некий мистер де Мон де Рик. Он по образованию электротехник и механик, за ним несколько лет безукоризненной практики, и я слышал о нем самые лестные отзывы, как о работнике. Мне лично этот парень не по сердцу, но очень может быть, что в данном случае во мне говорит ошибочная беспричинная антипатия, попросту — старческий каприз. Его отец был французом, принявшим английское подданство, а мать ирландка, но в нем самом, в его жилах, очень много крови от галльского петуха. Он фат, красавец в шаблонном виде, страшно занят собой и своей наружностью и вечно трется около женских юбок. Его выбирал не я. Я только повиновался инструкциям, данным мне лордом Чальсбери, вашим будущим руководителем и наставником. Де Мон де Рик приедет минут через двадцать — двадцать пять с утренним поездом из Кардифа, и мы с вами успеем поговорить. Во всяком случае, советую вам войти с ним в ровные, хорошие отношения. Как-никак, а ведь вам придется прожить три-четыре года бок о бок черт знает в какой пустыне, на экваторе, на самой макушке потухшего вулкана Каямбэ, где вас, белых людей, будет всего пять-шесть человек, остальные же негры, метисы, индейцы и другой сброд. Вас, может, пугает такая невеселая перспектива? Помните — вы совершенно свободны. Мы сию минуту можем разорвать подписанный вами контракт и вместе возвратиться с одиннадцатичасовым поездом обратно в Лондон. И поверьте, это ничуть не уменьшит моего уважения и расположения к вам.

— Нет, дорогой мистер Найдстон, я уже на Каямбэ, — возразил я смеясь. — Я положительно стосковался по регулярному, в особенности научному, труду, и когда думаю о нем, то облизываюсь, как голодный оборванец из Уайтчэпля перед колбасной лавкой. Надеюсь, что у меня будет достаточно интересной работы,

чтобы я не скучал и не погрязнул в мелких дрязгах и личных ссорах.

— О да, мой дорогой, у вас будет много прекрасной и возвышенной по своей идее работы. Теперь наступила пора быть мне с вами откровенным, и я передам вам то немногое, что мне известно. Лорд Чальсбери вот уже девять лет трудится над неимоверным по своей грандиозности предприятием. Он во что бы то ни стало решил достигнуть возможности сгустить материю солнечных лучей в газ, и даже еще больше — сжать этот газ при страшно низкой температуре и колоссальном давлении до жидкого состояния. Если ему бог поможет довести до конца свой план, то его открытие будет прямо неизмеримо велико по своим результатам...

— Неизмеримо! — повторил я тихо, подавленный и восхищенный словами мистера Найдстона.

— Вот и все, что я знаю, — произнес стряпчий. — Нет, знаю еще из личного письма лорда Чальсбери ко мне, что теперь он более, чем когда-либо, близок к счастливому окончанию своего труда и менее, чем когда-либо, сомневается в близком разрешении своей задачи. Я должен сказать вам, дорогой друг, что лорд Чальсбери — это одно из величайших светил науки, один из гениальнейших вдохновенных умов. Кроме того, он истинный аристократ по рождению и духу, бескорыстный и самоотверженный друг человечества, терпеливый и любезный учитель, очаровательный собеседник и верный друг. И, кроме того, он человек такой обаятельной душевной красоты, которая притягивает к нему все сердца... Но вот подымается по сходне и ваш спутник, — вдруг круто оборвал свою восторженную речь мистер Найдстон. — Возьмите же себе этот конверт. Там ваши пароходные билеты, точный дальнейший маршрут и деньги. Вам придется плыть дней шестнадцать — восемнадцать. На другой же день вами овладеет фиолетовая тоска. На этот случай я приобрел и оставил у вас в каюте штук тридцать кое-каких книжек. Да еще среди вашего багажа вы найдете чемодан с запасом теплой одежды и обуви. Вы сами не подумали заранее о том, что вам придется

жить в такой горной полосе, где лежит вечный снег. Я старался выбрать вещи по вашей мерке, но так как боялся сделать ошибку, то предпочел более широкие, чем узкие. Там же среди ваших мелочей вы найдете небольшой ящик со средствами против морской болезни. По правде, я в них не верю, но на всякий случай... Кстати, вас укачивает в море?

— Да, но не особенно мучительно. Впрочем, у меня есть талисман против всех опасностей на море.

Я показал ему рубин, подарок Даниэльса. Он внимательно рассмотрел, покачал головой и сказал задумчиво

— Я где-то видел подобный же камень и, кажется, с совершенно одинаковой надписью. Но вот я вижу, что француз заметил нас и идет прямо сюда. От души желаю вам, дорогой Диббль, счастливого плавания, бодрости и здоровья... Здравствуйте, мистер де Мон де Рик. Познакомьтесь, господа. Мистер Диббль, мистер де Мон де Рик — будущие коллеги и сотрудники.

Мне самому тоже не особенно понравился этот франт. Он был высокого роста, худощав, изнежен и выхолен, но в то же время в его фигуре и движениях чувствовалась какая-то грациозная, ленивая и гибкая сила, подобная той, какую мы замечаем у больших хищников кошачьей породы. Скорее всего он походил наружностью на левантинца, со своими прекрасными, влажными темными глазами и блестящими черными небольшими усами, коротко подстриженными над красным ртом античного рисунка. Мы перебросились несколькими незначительными любезными фразами. Но в это время прозвонили наверху и заревела, сотрясая палубу своим густым мощным голосом, сигнальная труба.

— Ну, теперь прощайте, господа, — сказал мистер Найдстон, — от души желаю, чтобы вы сделались друзьями. Привет лорду Чальсбери. Желаю во время переезда через океан счастливой погоды. До свидания.

Он живо спустился по сходне с парохода, сел в дожидавшийся его на пристани кеб, сделал рукой в нашу сторону последний ласковый знак и, уже не оборачиваясь, скрылся из наших глаз. Не знаю сам почему,

но меня на несколько минут охватила тихая нежная грусть, как будто бы вместе с этим исчезнувшим человеком я потерял верную, дружескую опору и моральную поддержку.

Я ничего не могу припомнить значительного из дней нашего океанского перехода. Скажу только, что эти семнадцать дней тянулись для меня, как сто семьдесят лет, но были так однообразны и скучны, что теперь издали представляются мне одним бесконечно длинным днем.

С де Мон де Риком мы встречались по нескольку раз в день за столом в кают-компании. Близких отношений между нами так и не завязалось. Он был холодно вежлив со мною, я тоже платил ему равнодушной предупредительностью, но все время я чувствовал, что его совершенно не интересует ни моя духовная личность, ни личность кого бы то ни было на свете. Зато, когда у нас случайно заходила речь о наших ученых специальностях, он прямо поражал и увлекал меня своими знаниями, смелостью и оригинальностью гипотез и, главное, удивительно точным, живописным изложением мысли.

Я пробовал читать книги, оставленные мне мистером Найдстоном. Большинство их были узко научные сочинения, заключавшие в себе теорию света и оптических стекол, наблюдения над высокими и низкими температурами и описания опытов над сгущением и разжижением газов. Было также несколько томов описаний замечательных путешествий и две-три книжки об экваториальных странах Южной Америки. Но читать было трудно, потому что все время дул сильный ветер и пароход качало длинными скользящими размахами. Все пассажиры отдали дань морской болезни, кроме де Мон де Рика, который, несмотря на свой длинный рост и изнеженный вид, держался до конца крепко, как старый опытный моряк.

Наконец-то мы прибыли в Аспинваль (он же Колон), на севере Панамского перешейка. Когда я вышел на берег, то ноги у меня были тяжелы и никак не хотели подчиняться моей воле. Согласно инструкциям мистера Найдстона мы сами лично должны были следить

за перевозкой нашего багажа на вокзал железной дороги и за установкой его в багажных вагонах. Самые нежные, чувствительные инструменты мы взяли с собою в купе. Драгоценные шлифованные брильянты были, конечно, при мне, но я — теперь мне стыдно в этом сознаться — не только не показал их моему спутнику, но даже не упомянул о них ни слова.

Дальнейший наш путь был утомителен и вследствие этого мало интересен. По железной дороге от Аспинваля до Панамы, от Панамы двухдневный переход на старом, зыбком пароходе «Гонзалес» до бухты Гваякиль, оттуда на лошадях и опять по железной дороге до г. Квито. В Квито, следуя указаниям мистера Найдстона, мы разыскали гостиницу «Эквадор» и там нашли ожидавший нас караван при проводниках и погонщиках. Мы переночевали в гостинице, а ранним утром, со свежими силами, тронулись в путь, в горы. Что за умные, добрые, прелестные животные — эти мулы. Позванивая бубенчиками, мерно покачивая головами, украшенными розетками и султанами, осторожно ставя на камень узкой неровной дорожки свои длинные стаканчиками копыта, они спокойно идут по самому краю обрыва над такой крутизной, что невольно зажмуриваешь глаза и хватаешься за луку высокого седла.

К пяти часам вечера мы вступили в снежную полосу. Дорога расширилась и стала ровной. Видно было, что над ней трудились культурные люди. Крутые завороты были повсюду обнесены невысокими каменными перилами.

В шестом часу, когда мы прошли небольшой туннель, пред нашими глазами вдруг открылось жилье: несколько белых одноэтажных домов, над которыми гордо возвышался белый купол, похожий на куполы византийских церквей и обсерваторий. Еще дальше торчали в небо железные и кирпичные трубы. Через четверть часа мы уж были на месте.

Из дверей одного дома, который был выше и просторнее других, вышел нам навстречу высокий сухощавый старик с длинной, безукоризненно белой боро-

дой. Он назвал себя лордом Чальсбери и с непринужденной ласковостью поздоровался с нами. Трудно было сказать по внешнему виду, сколько ему лет: пятьдесят или семьдесят пять. Его большие, немного выпуклые голубые глаза, настоящие глаза породистого англичанина, были юношески ясны, блестящи и зорки. Пожатие его руки было мужественно, тепло и откровенно, а высокий обширный лоб отличался изящно очерченными и благородными линиями. И когда, любуясь его тонким прекрасным лицом, я отвечал на его пожатие, — в моей голове вдруг мгновенно и ярко мелькнула мысль, что где-то очень давно я видел физиономию этого человека и неоднократно слышал его фамилию.

— Я бесконечно рад вашему приезду, — говорил лорд Чальсбери, поднимаясь с нами на ступеньки крыльца. — Хорошо ли вы доехали? Как поживает мой добрый друг Найдстон? Не правда ли, замечательный человек? Впрочем, вы, господа, расскажете мне все за обедом. Идите освежиться и привести себя в порядок. Вот наш метрдотель, почтенный Самбо, — указал он на рослого старого негра, встретившего нас в передней. — Он покажет вам ваши комнаты. Ровно в семь мы обедаем, об остальном распределении времени вам расскажет Самбо.

Почтенный Самбо весьма любезно, но без всякой тени рабской искательности, проводил нас к небольшому дому рядом. Каждому из нас были приготовлены по три комнаты, — простые, но в то же время както особенно уютные, светлые, веселые. Помещения наши были разделены каменной стеной, и на каждое приходился отдельный ход. Это обстоятельство почему-то мне было приятно.

С неописуемым наслаждением погрузился я в огромную мраморную ванну (на пароходе благодаря качке я был лишен этого удовольствия, а в гостиницах Аспинваля, Панамы и Квито ванны не внушили бы своей чистотой доверия даже моему другу Джону Джонсону). И во все время, пока я нежился в теплой воде, брал холодный душ, брился и потом одевался с особою тщательностью, меня не переставала преследовать мысль: почему мне так знакомо лицо лорда Чальсбери? И что

такое, почти сказочное, как мне казалось, я давно-давно слышал о нем? Временами где-то в затаенном углу моего сознания скользило неясное предчувствие, что вот-вот сейчас я вспомню, но оно тотчас же исчезало, подобно тому как сбегает легкий след дыхания с поверхности полированной стали.

Из окон моего кабинета был виден весь этот оригинальный поселок с пятью или шестью домами, с конюшнями и оранжереями, с низкими закопченными машинными зданиями, с массой воздушных проводов, с вагонетками, влекомыми по узким рельсам бойкими выхоленными мулами, с паровыми кранами, переносившими высоко и плавно по воздуху железные чаны, беспрерывно наполняемые из ряда штабелей каменным углем и горючим сланцем. Там и сям сновали рабочие, большинство из них полуголые, несмотря на температуру —5°, которую показывал термометр, привинченный снаружи моего окна, и почти все разных цветов: белого, желтого, бронзового, кофейного и блестяще-черного.

Я смотрел и думал: какая же, однако, пламенная воля и какое колоссальное богатство могли обратить бесплодную вершину потухшего вулкана в настоящее культурное место, в завод, мастерскую и лабораторию, поднять на высоту вечных снегов камни, деревья и железо, провести воду, построить дома и машины, завести драгоценные физические инструменты, из которых только две привезенные мною чечевицы стоят миллион триста тысяч франков, нанять десятки рабочих, пригласить дорого стоящих помощников... Опять в моем воображении четко встал образ лорда Чальсбери и вдруг — стоп! — внезапный свет озарил мою память. Я очень точно вспомнил, как пятнадцать лет тому назад, когда я был еще зеленым учеником лицея, все газеты в течение целого месяца трубили на разные лады о необычайном таинственном исчезновении лорда Чальсбери, пэра Англии, единственного представителя древнейшего рода, знаменитого ученого и миллионера. Повсюду печатались его портреты и комментировались причины этого странного события. Одни объясняли его убийством лорда Чальсбери, другие тем, что он попал

под влияние злодея-гипнотизера, для преступных целей заставившего лорда уехать из Англии, скрыв свои следы; третьи предполагали, что лорд находится в руках бандитов, держащих его в плену в расчете на громадный выкуп, четвертые, и наиболее догадливые, уверяли, что ученым секретно предпринята экспедиция к Северному полюсу.

Вскоре стало известным, что до своего исчезновения лорд Чальсбери очень выгодно ликвидировал и обратил в деньги, очевидно, руководимый чьим-то тонким дальновидным финансовым умом, все свои земли, леса, парки, фермы, угольные и каолиновые копи, дворцы, картины и коллекции. Но куда девались эти огромные суммы, никому не было известно. Также с его исчезновением пропали, неизвестно куда, знаменитые фамильные алмазы рода Чальсбери, алмазы, которыми по справедливости могла гордиться вся Англия. Никакие розыски полиции и добровольных сыщиков не осветили этого странного дела. Через два месяца пресса и общество забыли о нем, поглощенные другими животрепещущими интересами. Только ученые журналы, посвятившие много страниц памяти пропавшего лорда, долго еще перечисляли с проникновенным вниманием и благоговейной почтительностью его великие заслуги перед наукой в областях, касающихся света и теплоты, в частности расширения и сгущения газов, термостатики, термометрии и термодинамики, преломления световых лучей, теории оптических стекол и фосфоресценции.

Извне раздался протяжный, заунывный звон гонга. И почти тотчас же в мою дверь постучался и вошел маленький, веселый, ловкий, как обезьяна, мальчик-негритенок и, кланяясь мне, с дружелюбной улыбкой доложил:

— Мистер, я назначен лордом в ваше распоряжение. Не угодно ли вам, сэр, отправиться к обеду?

В моей гостиной на столе в фарфоровой вазе стоял небольшой изящный букет цветов. Я выбрал гардению и продел ее в петлицу смокинга. Но одновременно со

мною вышел из своих дверей мистер де Мон де Рик. В петлице его фрака скромно красовалась ромашка. Какое-то смутное чувство недовольства шевельнулось во мне. И, должно быть, в то давнее время во мне много еще было юношеской, мелочной вздорности, потому что я очень утешился тем, что встретивший нас в гостиной лорд Чальсбери был не во фраке, а, подобно мне, в смокинге.

— Сейчас выйдет леди Чальсбери, — сказал он, посмотрев на часы. — Я предлагаю вам, джентльмены, собираться для обеда у меня. Во время обеда и после него у нас всегда найдутся два-три часа свободного времени для разговора о деле и безделье. Кстати, здесь же к вашим услугам есть библиотека, кегельбан и бильярд с курильной. Ими, как и всем, что я имею, прошу вас пользоваться по вашему усмотрению. Что же касается утреннего завтрака и ленча, то в этом отношении предоставлю вам полную свободу. Впрочем, то же относится и к обеду. Но я знаю, как ценно и плодотворно для молодых англичан дамское общество и потому... — Он встал и указал на дверь, через которую в эту минуту входила стройная, молодая, золотоволосая дама в сопровождении другой особы женского пола, плоскогрудой и желтой, одетой во все черное. — Потому, леди Чальсбери, я имею честь и удовольствие представить вам моих будущих сотрудников и, надеюсь, друзей мистера Диббль и мистера де Мон де Рик.

— Мисс Соутни, — обратился он к увядшей спутнице своей жены (она потом оказалась дальней родственницей и компаньонкой леди Чальсбери), — это мистер Диббль, а это мистер де Мон де Рик. Прошу не отказать им в вашей любезности и внимании.

За обедом, одинаково простым и изысканным, лорд Чальсбери оказался самым радушным хозяином и прекрасным собеседником. Он с живостью расспрашивал нас о политике, о последних газетных и научных новостях, о здоровье и жизни того или другого крупного общественного деятеля. Впрочем, как это ни странно, он оказался в этих предметах гораздо осведомленнее нас обоих. Кроме того, надо сказать, что его погреб оказался выше всяких похвал.

Я изредка, украдкой, быстро поглядывал на леди Чальсбери. Она почти не принимала участия в разговоре и только изредка медленно поднимала темные ресницы в сторону говорившего. Она была на много, даже очень на много лет моложе своего мужа. Странной, нездоровой красотой было красиво ее бледное, не тронутое экваториальным загаром лицо, в рамке густых золотых волос, с темными, глубокими, серьезными, почти печальными глазами. И вся она своей наружностью, своей стройной, очень тонкой фигурой в белом газе, нежными белыми руками с длинными узкими пальцами напоминала какой-то редкий, прекрасный, а может быть, и ядовитый экзотический цветок, выращенный без света, во влажной темной теплице.

Но я также заметил во время обеда, что и де Мон де Рик, сидевший напротив меня, часто останавливал на хозяйке ласковый и значительный взгляд своих прекрасных глаз, взгляд, задерживавшийся, может быть, только на полсекунды дольше, чем это требуется приличием. Все мне в нем становилось более и более неприятным: изнеженная выхоленность лица и рук, томные и сладкие, какие-то обволакивающие глаза, самоуверенность поз, движений, интонаций. На мой мужской взгляд он казался противным, но я и тогда ни на минуту не сомневался в том, что в нем совокупились черты и качества настоящего, призванного от рождения, жестокого и неразборчивого в средствах покорителя женских душ.

После обеда, когда все перешли в гостиную и мистер де Мон де Рик попросил позволения пойти курить, я передал лорду Чальсбери футляр с брильянтами и сказал:

— Это от Мааса и Даниэльса из Амстердама.

— Вы везли их при себе?

— Да, сэр.

— И прекрасно сделали. Эти два камушка для меня дороже всей моей лаборатории.

Он ушёл в свой кабинет и вернулся оттуда с восьмисильной лупой. Долго и внимательно рассматривал он брильянты на свет электрической лампы и, нако-

нец, укладывая их обратно в футляр, сказал довольным тоном, хотя без всякого волнения:

— Шлифовка прямо безукоризненна. Она идеально точна. Сегодня вечером я проверю инструментами размеры чечевиц и кривизну их поверхностей. Завтра же утром, мистер Диббль, мы закрепим их на место. До десяти часов я займусь с вашим товарищем, мистером де Мон де Риком, покажу ему все его будущее хозяйство, а в десять прошу вас ждать меня у себя дома. Я зайду за вами. Ах, дорогой мистер Диббль, я предчувствую, как мы с вами дружно двинем вперед одно из самых величайших дел, когда-либо предпринятых величайшим существом — Homo sapiens [1].

Когда он говорил, то глаза его горели голубым огнем, а руки ласково поглаживали крышку футляра. А жена пристально смотрела на него глубоким, темным, бездонным взором.

На другой день, ровно в десять часов, у моей двери раздался звонок, и шустрый негритенок, кланяясь до земли, впустил лорда Чальсбери.

— Вы готовы. Я очень рад, — сказал патрон, здороваясь со мной. — Вчера я пересмотрел привезенные вами вещи, и они все оказались в блестящем порядке. Благодарю вас за внимание и заботу.

— Три четверти этой чести, если не больше, сэр, по совести, принадлежат мистеру Найдстону.

— Да, это прекрасный человек и верный друг, — заметил со светлой улыбкой лорд. — А теперь, если вас ничто не задерживает, может быть, мы с вами пройдем в лабораторию?

Лабораторией оказалось массивное, круглое, похожее на башню, белое здание, увенчанное тем самым куполом, который вчера первый бросился мне в глаза по выходе из туннеля.

Не раздеваясь, прошли мы сквозь маленькую переднюю, слабо освещенную одной электрической лампочкой, и затем очутились в совершенной темноте. Но

---

[1] Мыслящим человеком (*лат.*).

лорд Чальсбери щелкнул где-то вблизи меня электрическим выключателем, и яркий свет мгновенно залил огромную, совершенно круглую залу с поднимавшимся над нею правильным сферическим куполом сажен семи или восьми высотою. Посредине залы возвышалось нечто похожее на небольшую стеклянную комнату, вроде тех изолирующих врачебный персонал комнат, что недавно стали устраивать в университетских медицинских клиниках, посреди операционных зал, на случай тяжких и сложных операций, требующих особенно строгой чистоты и полной дезинфекции воздуха. От этой стеклянной камеры, занятой странными, невиданными мною приборами, поднимались вверх три солидных медных цилиндра. На высоте около двух человеческих ростов каждый из этих цилиндров как бы разветвлялся на три, более широкого диаметра, трубы; те в свою очередь тоже утраивались, а верхние концы последних медных, массивных труб упирались вплотную в самый верх, в выгнутую стену купола. Множество манометров, рычагов, круглых и прямых стальных рукояток, вентилей, изолированных проволок и гидравлических прессов довершали обстановку этой необыкновенной, совсем ошеломившей меня лаборатории. Крутые винтовые лестницы, железные столбы и стропила, воздушные узкие с тонкими поручнями мостки, переброшенные здесь и там высоко вверху, электрические висячие фонари, множество спускавшихся вниз толстых гуттаперчевых шлангов и длинных медных трубочек — все это переплеталось между собою, утомляло глаз и производило впечатление хаоса.

Точно угадав мое настроение, лорд Чальсбери заговорил спокойно:

— Когда человек впервые увидит незнакомый механизм, вроде механизма часов или швейной машины, он сначала опускает руки перед их сложностью. Когда я первый раз увидел разобранный на части велосипед, то мне казалось, что никакой самый мудрый механик в мире не сможет его собрать. А через неделю я его сам собирал и разбирал, удивляясь простоте его конструкции. Будьте же добры, терпеливо выслушайте мои объяснения. Если чего-нибудь не схватите сразу, не

стесняйтесь предлагать мне сколько угодно вопросов. Это для меня будет только приятно.

Итак, в крыше здания проделано двадцать семь близко расположенных друг к другу отверстий. А в эти отверстия вставлены цилиндры, которые вы видите на самом верху, выходящие на воздух двояковыпуклыми стеклами громадной собирательной силы и великолепной прозрачности. Теперь, наверно, вы и сами понимаете идею? Мы собираем солнечные лучи в фокусы и затем благодаря целому ряду зеркал и оптических стекол, сделанных по моим чертежам и вычислениям, проводим их, то собирая, то рассеивая, через всю систему труб, пока самые нижние трубы не вольют концентрированную струю солнца вот сюда, под изолированный колпак, в самый узкий и прочный цилиндр из ванадиевой стали, в котором двигается целая система поршней, снабженных затворами, наподобие фотографических, абсолютно не пропускающих света, когда они закрыты. Наконец к свободному концу этого главного внутреннего защищенного цилиндра я герметически привинчиваю приемник в виде колбы, в горлышке которой также имеются несколько затворов. Когда мне понадобится, я прекращаю действие затворов, затем изнутри, механически, ввожу в горлышко колбы винтовую втулку и свинчиваю весь приемник с конца цилиндра, и вот у меня готово превосходное хранилище солнечной сгущенной эманации.

— Значит, Гук, и Эйлер, и Юнг?..

— Да, — прервал меня лорд Чальсбери, — и они, и Френель, и Коши, и Малюс, и Гюйгенс, и даже великий Араго — все они ошибались, рассматривая явление света как одно из состояний мирового эфира. И это я докажу вам через десять минут самым наглядным образом. Правыми все-таки оказались мудрый старый Декарт и гений из гениев, божественный Ньютон. Труды Био и Брюстера в этом направлении лишь поддержали и укрепили меня в изысканиях, но гораздо позднее, чем я их начал. Да! Теперь для меня ясно, а скоро и для вас будет несомненным, что солнечный свет есть плотный поток страшно малых, упругих тел, вроде мячиков, которые со страшной силой и энергией

несутся в пространство, пронизывая в своем стремлении массу мирового эфира... Впрочем, о теории после. Теперь я, для того чтобы быть последовательным, покажу вам манипуляции, которые вы должны будете производить ежедневно. Выйдем наружу.

Мы вышли из лаборатории, поднялись по винтовой лестнице почти на вершину купола и очутились на легкой сквозной галерее, обвивавшей спиралью в полтора оборота всю сферическую крышу.

— Вам не надо трудиться открывать поочередно все крышки, предохраняющие нежные стекла от пыли, снега, града и птиц, — сказал лорд Чальсбери. — Тем более что это, пожалуй, не под силу даже и атлету. Просто вы поворачиваете к себе этот рычаг, и все двадцать семь обтюраторов поворачиваются своими гуттаперчевыми кольцами в соответствующих кругообразных пазах в сторону, обратную движению часовой стрелки, словом так, как отвинчивают все винты. Теперь крышки стекол освобождены от давления. Вы нажимаете вот эту небольшую ножную педаль. Глядите!

Кляк! И двадцать семь крышек, металлически щелкнув, мгновенно раскрылись внаружу, открыв засверкавшие на солнце стекла.

— Каждое утро вы, мистер Диббль, — продолжал ученый, — должны будете открывать чечевицы и тщательно чистой замшей вытирать их. Поглядите, как это делается.

И он, точно привычный рабочий, ловко, внимательно, почти любовно протер все стекла кусками замши, которую достал из бокового кармана, завернутой в папиросную бумагу.

— Теперь пойдемте вниз, — продолжал он, — я вам покажу ваши дальнейшие обязанности.

Внизу в лаборатории он продолжал свои объяснения:

— Затем вы должны «поймать солнце». Для этого вы ежедневно в полдень проверяете вот эти два хронометра по солнцу. Кстати, они вчера мною уже проверены. Способ вам, конечно, известен. Узнайте, который теперь час. Определите среднее время: десять часов тридцать одна минута десять секунд. Вот три кри-

вых рычага: большой — часовой, средний — минутный, малый — секундный. Глядите: поворачиваю большой круг до тех пор, пока стрелка индикатора не покажет десяти часов. Готово. Ставлю средний рычаг немного вперед, с запасом на тридцать шесть минут. Есть. Перевожу малый — это моя личная фантазия — еще на пятьдесят секунд. Теперь вставляю вот этот штепсель в гнездо. Вы слышите, как внизу под вами шипят и скрежещут шестерни. Это приходит в движение часовой завод, который заставляет всю лабораторию, вместе с ее куполом, инструментами, стеклами и с нами обоими, следовать неуклонно за движением солнца. Смотрите на хронометр, мы приближаемся к десяти часам тридцати минутам. Еще пять секунд. Дошли. Слышите, как звук часового завода изменился? Это вступают в ход минутные шестерни. Еще несколько секунд... Внимание! Момент! Теперь новый звук, тонко и отчетливо отбивающий секунды. Конец. Солнце поймано. Но дело далеко не кончено. По своей громоздкости и вполне понятной грубости, этот часовой завод не может быть особенно точным. Поэтому как можно чаще заглядывайте на этот циферблат, указывающий его ход. Здесь часы, минуты, секунды; вот регулятор — вперед, назад. А по хронометрам, чрезвычайно точным, вы уравниваете как можно чаще все круговое движение мастерской с точностью до десятой доли секунды.

Теперь солнце уже поймано нами. Но это не все. Свет должен проникать непременно сквозь безвоздушное пространство, иначе он нагреет и расплавит все наши приборы. А в замкнутых оболочках, откуда выкачан весь воздух, свет находится почти в том же холодном состоянии, в каком он проходит через бесконечные междупланетные области, вне земной атмосферы. Поэтому: присмотритесь, — вот кнопка электромагнитной катушки. В каждом из цилиндров есть притертая втулка, и около каждой из них — стальная полоса, обмотанная проволокой. Раз. Я нажимаю на кнопку и ввожу ток. Все полосы мгновенно намагничены, и втулки вышли из своих гнезд. Теперь пускаю этим медным рычагом в действие воздушный высасывающий насос, рукава от которого, как вы видите, проведены к

каждому из цилиндров. Мельчайшая пыль, микроскопические соринки выкачиваются вместе с воздухом. Присматривайте за манометром F, на нем есть красная черта, предел давления. Прислушивайтесь к акустической трубе, ведущей вниз в насосный аппарат. Вот шипение прекратилось. Манометр переходит за красную черту. Размыкайте ток вторичным нажиманием на ту же кнопку. Стальные полосы размагничены. Втулки, повинуясь всасывающей силе пустоты, плотно втискиваются в конусообразные гнезда. Теперь свет проходит сквозь почти абсолютную пустоту. Для точности нашей работы и этого мало. Мы обращаем всю нашу лабораторию в безвоздушный колокол. Поэтому со временем мы будем работать в водолазных скафандрах. Нам подают воздух извне по гуттаперчевым трубам и регулярно выводят его наружу отработанным. А из самой лаборатории воздух все время выкачивается мощными насосами. Понимаете ли? Вы будете в положении водолаза, с той только разницей, что у вас на спине находится баллон с сгущенным воздухом: в случае какой-нибудь катастрофы, порчи машины, разрыва подающих шлангов и мало ли чего еще — вы нажимаете на маленький клапан в шлеме, и дыхание вам обеспечено на четверть часа. Надо лишь не теряться, и вы выходите из лаборатории свежий и цветущий, как дижонская роза.

Теперь нам остается еще проверить наиболее точным образом установку труб. Каждая из них связана с другой очень прочно, но в местах их тройных соединений допущена некоторая, незначительная, в два-три миллиметра, поворотливость и возможность уклона. Таких пунктов тринадцать, и вы должны их все контролировать раза три в день сверху донизу. Поэтому пройдемте наверх.

Мы поднялись по узким ступенькам и по гибким мосткам к самому верху купола. Учитель впереди, легкой юношеской походкой, а я сзади, не без труда, от непривычки. У соединения первых трех труб он указал мне небольшую крышку, которую он отвинтил одним поворотом руки и откинул так, что она в пружинных защелках приняла строго вертикальное положение.

Дно ее представляло из себя крепкое серебряное, превосходно отшлифованное зеркало с вырезанными по окружности делениями и цифрами. Три параллельные ярко золотые полосы, тонкие, как телескопические паутинки, почти соприкасающиеся одна с другой, пересекали гладкую поверхность зеркальца.

— Это — маленький колодезь, через который мы будем тайно следить за течением света. Три полосы — это три отблеска от трех внутренних зеркал. Соедините их в одну. Нет, сделайте это сами. Вот здесь вы видите три микрометрических винта для управления изменением положения чечевиц. Вот очень сильная лупа. Соедините все три световые полосы в одну, но так, чтобы общий луч пришелся на 0. Это пустая работа. Вы скоро приучитесь исполнять ее в одну минуту.

Действительно, механизм оказался очень послушным, и минуты через три я, едва прикасаясь к нежным винтам, соединил световые полосы в одну резкую черту, на которую было почти больно смотреть, и ввел ее в тонкую насечку под нулем. Потом я закрыл крышку и завинтил ее. Следующие двенадцать контрольных колодцев я проверял уже один, без помощи лорда Чальсбери. Дело шло у меня успешнее с каждым разом. Но уже на втором этаже лаборатории у меня от яркого света так заболели глаза, что слезы невольно покатились по лицу.

— Наденьте консервы. Вот они, — сказал патрон, протягивая мне футляр.

Но от последнего цилиндра, для проверки положения которого мы вошли в изолированную камеру, я должен был отказаться. Глаза не терпели больше.

— Возьмите более темные очки, — сказал лорд Чальсбери, — у меня их заготовлено до десяти номеров. Сегодня мы заключим в главный цилиндр привезенные вами вчера чечевицы, и тогда наблюдение станет втрое затруднительнее. Хорошо. Так. Теперь я пускаю в ход внутренние поршни. Открываю кран гидравлического насоса системы Натерера. Открываю другой кран с жидкой углекислотой. Теперь внутри цилиндра температура — сто пятьдесят градусов и давление равно двадцати атмосферам; первое показывает ма-

нометр, а второе термометр Витковского, усовершенствованный мной. В цилиндре сейчас происходит следующее: свет проходит сквозь него по вертикальной оси плотной, ослепительно яркой струей, приблизительно в карандаш толщиною. Поршень, приводимый в движение электрическим током, раскрывает и закрывает свой внутренний затвор в одну стотысячную секунды, то есть почти в один момент. Поршень посылает свет дальше, сквозь небольшую, очень выпуклую чечевицу. Из последней световая струя выходит еще более плотной, более тонкой и более яркой. Таких поршней и таких чечевиц в цилиндре пять. Под давлением последнего, самого маленького и самого прочного поршня, тонкая, как иголка, струя света вонзается в приемник, проходя последовательно через три его затвора, или, вернее, шлюза.

— Вот основа моего собирателя жидкого солнца, — сказал торжественно учитель. — И чтобы устранить в вас всякую тень сомнения, мы сейчас произведем опыт. Нажмите кнопку А. Это вы прекратили ход поршня. Подымите вверх этот медный рычаг. Теперь закрылись наружные крышки собирательных стекол в куполе здания. Поверните вправо до отказа красный вентиль и опустите вниз рукоятку С. Прекращено давление и приток углекислоты. Остается завинтить изнутри колбу. Это достигается десятью поворотами маленького круглого рычажка. Все кончено, дорогой мой; следите теперь за тем, как я отвинчиваю приемник от цилиндра. Вот он у меня в руках. В нем не более двадцати фунтов. Его внутренние затворы изолируются микрометрическими винтами снаружи. Я открываю во всю ширину отверстия первый, самый большой затвор. Затем средний. Последний я отворю всего на диаметр величиною в половину микрона. Но прежде пойдите и закройте выключатель электрического освещения.

Я повиновался, и в зале наступила непроницаемая темнота.

— Внимание! — услышал я из другого конца лаборатории голос лорда Чальсбери. — Открываю!

Необычайный золотистый свет, нежный, рассеянный, точно призрачный, вдруг разлился по зале, мягко,

но четко осветив ее стены, и блестящие приборы, и фигуру самого учителя. В тот же момент я почувствовал на лице и на руках нечто вроде теплого дыхания. Явление это продолжалось не более секунды, секунды с половиной. Потом густая мгла скрыла от меня все предметы.

— Дайте свет! — крикнул лорд Чальсбери, и я опять увидел его, выходящего из дверей стеклянного колпака. Лицо его было бледно и дышало отражением счастья и гордости.

— Это только первые шаги, первые ученические попытки, первые семена, — говорил он возбужденно. — Это еще не солнце, сгущенное в газ, а всего лишь уплотненная невесомая материя. Я целыми месяцами нагнетал солнце в мои хранилища, но ни одно из них не стало́ тяжелее кончика человеческого волоса. Вы видели этот чудесный, ровный, ласкающий свет. Верите вы теперь в мою задачу?

— Да, — ответил я горячо, с глубоким убеждением. — Верю и преклоняюсь перед величием человеческого гения.

— Но мы с вами пойдем дальше. Еще дальше! Мы доведем температуру внутри цилиндра до минус двести семьдесят пять градусов, до абсолютного нуля. Мы возвысим гидравлическое давление до тысячи, двадцати, тридца́ти тысяч атмосфер. Мы заменим наши восьмидюймовые верхние лучесобиратели могучими пятидесятидюймовыми. Мы расплавим по найденному мною способу фунты, пуды алмазов, сплавим их в чечевицы нужной нам кривизны и вставим в наши светопроводные трубы!.. Может быть, я не доживу до того времени, когда люди сожмут солнечные лучи до жидкого состояния, но я верю и чувствую, что сгущу их до плотности газа. Мне бы только увидеть, что стрелка электрических часов подвинулась хоть на один миллиметр влево, — и я буду безмерно счастлив.

Однако время бежит. Пойдем завтракать, а перед обедом займемся установкой новых алмазных чечевиц. С завтрашнего дня начнем втягиваться в работу. Одну неделю вы будете при мне в качестве обыкновенного рабочего, в качестве простого, послушного исполнителя.

Через неделю мы поменяемся ролями. На третью неделю я вам дам помощника, которого вы при мне научите всем приемам с аппаратами. Потом я представлю вам полную свободу. Я верю вам, — сказал он живо, с очаровательной, прелестной улыбкой и протянул мне руку.

Мне очень памятен остался вечер этого дня и обед у лорда Чальсбери. Леди была в красном шелковом платье, и ее красный рот на бледном, немного усталом лице рдел, как пурпуровый цветок, как раскаленный уголь. Де Мон де Рик, с которым я впервые за этот день увиделся за столом, был свеж, красив и изящен, как никогда ни прежде, ни потом, между тем как я чувствовал себя утомленным и переполненным сверху донизу наплывом нынешних впечатлений. Я подумал было сначала, что ему выпала на сегодня привычная, нетрудная, наблюдательная работа. Но, однако, не я, а леди Чальсбери первая обратила внимание на то, что левая рука электротехника перевязана выше кисти марлевым бинтом. Де Мон де Рик очень скромно рассказал о том, как сполз с вала слишком слабо натянутый приводный ремень и как, падая, он оцарапал руку с наружной стороны. Вообще он в этот вечер владел разговором, но владел очень мило, с большой тактичностью. Он рассказывал о своих путешествиях в Абиссинию, где разыскивал золото в горных долинах на границе Сахары, об охоте на львов, о последних Ипсомских скачках, о лисьих охотах на севере Англии, о вошедшем тогда в моду писателе Оскаре Уайльде, с которым он был лично знаком. У него в разговоре была одна удивительная и, вероятно, слишком редкая черта, какой я, кажется, не встречал никогда у других. Рассказывая, он был чрезвычайно эпичен: он никогда не говорил ни о себе, ни от себя. Но каким-то загадочным путем его личность, оставаясь на заднем плане, все время освещалась то нежными, то героическими полутонами.

Теперь он глядел на леди Чальсбери гораздо реже, чем она на него. Он лишь изредка скользил по ней

ласково-томными, из-под длинных спущенных ресниц, глазами. Но она почти не отрывала от него своих темных серьезно-загадочных глаз. Ее взгляд следил за движением его рук и головы, за его ртом и глазами. Странно! Она в этот вечер напомнила мне детскую игру: в чаше с водой плавает жестяная рыбка или уточка с железом во рту и безвольно, покорно тянется за магнитной палочкой, влекущей ее издали. Часто я с тревожным вниманием следил за выражением лица хозяина. Но он был безмятежно весел и спокоен.

После обеда, когда де Мон де Рик отпросился курить, леди Чальсбери сама первая предложила ему сыграть партию на бильярде. Они ушли, а мы с хозяином перебрались в кабинет.

— Давайте сыграем в шахматы, — сказал он. — Вы играете?

— Неважно, но всегда с удовольствием.

— И знаете что еще? Давайте выпьемте какого-нибудь веселого ароматного вина.

Он нажал кнопку звонка.

— По какому-нибудь поводу? — спросил я.

— Вы угадали. Потому, что мне кажется, что я нашел в вашей особе моего помощника, и если будет угодно судьбе, то и продолжателя моего дела!

— О, сэр!

— Погодите. Какой напиток вы больше всего предпочитаете?

— Мне, право, стыдно сознаться, что я ни в одном из них ничего не понимаю.

— Хорошо, в таком случае я назову вам четыре напитка, которые я люблю, и пятый, который я ненавижу. Бордосские вина, портвейн, шотландский эль и вода. А не терплю я шампанского. Итак, выпьем шато-ля-роз. Почтенный Самбо, — приказал он безмолвно дожидавшемуся метрдотелю, — итак, бутылку шато-ля-роз.

Играл лорд Чальсбери, к моему удивлению, почти плохо. Я быстро сделал шах и мат его королю. После первой партии мы бросили играть и опять говорили о моих утренних впечатлениях.

— Послушайте, дорогой Диббль, — сказал лорд Чальсбери, кладя на кисть моей руки свою маленькую, горячую, энергичную руку. — И я и вы, конечно, много раз слыхали о том, что настоящее правильное мнение о человеке создается в наших сердцах исключительно по первому взгляду. Это, по-моему, глубочайшая неправда. Множество раз мне приходилось видеть людей с лицами каторжников, шулеров или профессиональных лжесвидетелей, — кстати, вы увидите через несколько дней вашего помощника, — и они потом оказывались честными, верными в дружбе, внимательными и вежливыми джентльменами. С другой же стороны, очень нередко, обаятельное, украшенное сединами и цветущее старческим румянцем, благодушное лицо и благочестивая речь скрывали за собой, как оказывалось впоследствии, такого негодяя, что перед ним любой лондонский хулиган являлся скромной овечкой с розовым бантиком на шее. Вот теперь я и прошу вас, если можете, помогите мне разобраться в моем затруднении. Мистер де Мон де Рик до сих пор ни на иоту не посвящен в смысл и значение моих научных изысканий. Он по своей матери приходится мне дальним родственником. Мистер Найдстон, который знает его с детства, однажды сообщил мне, что де Мон де Рик находится в чрезвычайно тяжелом (только не в материальном смысле) положении. Я тотчас же предложил ему место у меня, и он за него ухватился с такой радостью, которая ясно свидетельствовала об его крайнем положении. Я кое-что слыхал о нем, но слухам и сплетням не верю. На меня лично он произвел такое впечатление, как будто не произвел совсем никакого впечатления. Может быть, я вижу первого такого человека, как он. Но мне почему-то кажется, что я видал таких уже миллионы. Я сегодня следил за ним на деле. По-моему, он ловок, знающ, находчив и работящ. Кроме того, он хорошо воспитан, умеет держать себя в любом, как мне кажется, обществе, притом энергичен и умен. Но в одном отношении какое-то странное колебание овладевает мной. Скажите мне откровенно, милый мистер Диббль, ваше мнение о нем.

Этот неожиданный и неделикатный вопрос покоробил и смутил меня; по правде сказать, я совсем не ожидал его.

— Но, право, я не знаю, сэр. Я, вероятно, знаком с ним меньше, чем вы и мистер Найдстон. Я увидал его впервые на борту парохода «Южный крест», а во время пути мы чрезвычайно редко соприкасались и разговаривали. Да и надо сказать, что меня мучила качка в продолжение всего перехода. Однако из немногих встреч и разговоров я вынес о нем приблизительно такое же впечатление, как и вы, сэр: знание, находчивость, энергия, красноречие, большая начитанность и... несколько странная, но, может быть, чрезвычайно редкая смесь сердечного хладнокровия с пылкостью головного воображения.

— Так, мистер Диббль, так. Прекрасно. Почтенный мистер Самбо, принесите еще бутылку вина, и затем вы свободны. Так. Иной характеристики я от вас почти и не ожидал. Но я еще раз возвращаюсь к моему затруднению: открыть ли ему, или не открыть все то, чему вы сегодня были свидетелем и слушателем? Представьте, что пройдет два года или год, а даже, может быть, и меньше, и вот ему, денди, красавцу, любимцу женщин, вдруг надоест пребывание на этом чертовском вулкане. По-моему, в этом случае он не прибегнет ко мне за благословением и разрешением. Он простонапросто в одно прекрасное утро уложит свои вещи и уедет. Что я останусь без помощника, и очень дорогого помощника, — это вопрос второстепенный, но я не ручаюсь, что он, приехав в Старый Свет, не окажется болтуном, может быть, даже совершенно случайным болтуном.

— О, неужели вы этого боитесь, сэр?

— Говорю вам искренно — боюсь! Я боюсь шума, рекламы, нашествия интервьюеров. Я боюсь того, что какой-нибудь влиятельный, но бездарный ученый рецензент и обозреватель, основывающий свою известность на постоянном хулении новых идей и смелых начинаний, повернет в глазах публики мою идею, как праздный вымысел, как бред сумасшедшего. Наконец я еще больше боюсь того, что какой-нибудь голодный

выскочка, жадный неудачник, бездарный недоучка схватит мою мысль нюхом на лету, заявит, как это бывало уже тысячи раз, о случайном совпадении открытий и унизит, опошлит и затопчет в грязь то, что я родил в муках и восторге. Надеюсь, что вы понимаете меня, мистер Диббль?

— Совершенно, сэр.

— Если это будет так, то я и мое дело погибли. Впрочем, что значит маленькое «я» в сравнении с идеей? Я твердо уверен в том, что в первый вечер, когда в одной из громадных лондонских аудиторий я прикажу погасить электричество и ослеплю десять тысяч избранной публики потоками солнечного света, от которого раскроются цветы и защебечут птицы, — в тот вечер я приобрету миллиард для моего дела. Но пустяк, случайность, незначительная ошибка, как я вам уже говорил, способны роковым образом умертвить самое бескорыстное и самое великое дело. Итак, я спрашиваю ваше мнение, довериться ли мистеру де Мон де Рику, или оставить его в фальшивом и уклончивом неведении. Это дилемма, из которой я не могу сам выйти без посторонней помощи. В первом случае возможность всемирного скандала и краха, а во втором — верный путь к возбуждению в человеке благодаря недоверию чувств озлобления и мести. Итак, мистер Диббль?..

Мне напрашивался на язык простой ответ: «Отправьте завтра же этого Нарцисса со всем почетом ко всем чертям, и вы сразу успокоитесь». Теперь я глубоко жалею, что дурацкая деликатность помешала мне подать этот совет. Вместо того чтобы так поступить, я напустил на себя холодную корректность и ответил:

— Надеюсь, сэр, что вы не рассердитесь на меня за то, что я не возьмусь быть судьей в таком сложном деле?

Лорд Чальсбери пристально поглядел на меня, печально покачал головой и сказал с невеселой усмешкой:

— Давайте допьем вино и пройдемте в бильярдную. Я хочу выкурить сигару.

В бильярдной мы увидали следующую картину. Де Мон де Рик стоял, опершись локтями на бильярд, и что-то оживленно рассказывал, а леди Чальсбери, прислонившись к облицовке камина, громко смеялась. Это меня гораздо более поразило, чем если бы я увидал ее плачущей. Лорд Чальсбери заинтересовался причиной смеха, и когда де Мон де Рик повторил свой рассказ об одном тщеславном снобе, который из желания прослыть оригиналом завел себе ручного леопарда и потом три часа сидел на чердаке от страха перед животным, мой патрон громко, совсем по-детски, рассмеялся...

Все в мире самым странным образом сцепляется.

В этом вечере также неисповедимыми путями сошлись вступление, завязка и трагическая развязка наших существований.

Первые два дня моего пребывания в Каямбэ для меня памятны до мелочей, но остальное чем ближе к концу, тем туманнее. С тем большим основанием я теперь прибегаю к помощи моей записной книжки. В ней морская вода выела первые и последние страницы, а частью и середину. Но кое-что я могу, хотя и с большим трудом, восстановить. Итак:

11 декабря. Сегодня мы ездили с лордом Чальсбери в Квито верхом на мулах за медными гальванизированными проводами. Случайно зашел разговор о материальной обеспеченности нашего дела (причиной его вовсе не было мое праздное любопытство). Лорд Чальсбери, который уже давно, как мне кажется, дарит меня своим доверием, вдруг быстро повернулся на седле лицом ко мне и спросил неожиданно:

— Ведь вы знаете мистера Найдстона?

— Конечно, сэр.

— Не правда ли, прекрасный человек?

— Превосходный.

— И не правда ли, в деловом смысле сухой и немного формалист?

— Да, сэр. Но также и со способностью к большому душевному подъему и даже к пафосу.

— Вы наблюдательны, мистер Диббль, — ответил учитель. — Да, так знайте же, что этот чудак вот уже в продолжение пятнадцати лет упорно, как магометанин в свою Каабу, верит в меня и мою идею. Подумайте только, он лондонский стряпчий. Он не только ничего не берет с меня за мои поручения, но недавно предложил мне распоряжаться его собственным капиталом, в случае надобности, как я захочу. А я глубоко уверен в том, что он не единственный чудак в старой Англии. Поэтому будем бодры.

12 декабря. В первый раз лорд Чальсбери обратил мое внимание на силу, которая приводит в движение часовой механизм, вращающий лабораторию по солнцу. Это наивно, просто и остроумно. По склону кратера потухшего вулкана скользит вдоль крутых, почти отвесных, рельс базальтовый окованный монолит в две тысячи пудов весом, на стальном тросе в мужскую ляжку толщиной. Эта тяжесть приводит в движение механизм. Ее работы хватает ровно на восемь часов, а рано утром старый слепой мул поднимает эту часовую гирю при помощи другого троса и системы блоков опять наверх без всякого усилия для себя.

20 декабря. Сегодня мы долго сидели с лордом Чальсбери после обеда в оранжерее среди одурманивающего запаха нарциссов, померанцев и тубероз. За последнее время патрон очень осунулся, и глаза его как будто начали терять свой прекрасный юношеский блеск. Объясняю это переутомлением, потому что мы в эти дни очень много работаем. Я уверен, что он *ни о чем* не догадывается. Он вдруг, странно поворачивая, по своему обыкновению, разговор, заговорил:

— Наша с вами работа самая бескорыстная и честная на свете. Ведь думать о счастии своих детей или внуков так вполне естественно и так эгоистично. Но мы с вами думаем о жизни и счастии человечества таких отдаленных времен будущего, в которых не будут знать не только о нас, но и наших поэтах, королях и завоевателях, о нашем языке и религии, об очертаниях и даже названиях наших стран. «Не ближнему, а дальнему», не так ли сказал ваш теперешний любимый философ? В этом бескорыстном, чистом служении отдаленному

грядущему я почерпаю свою гордую уверенность и силы.

3 января. Ездил сегодня в Квито принимать пришедшие из Лондона заказы. С мистером де Мон де Риком отношения становятся холодными, почти враждебными.

Февраль. Мы сегодня закончили работу по заключению всех наших труб в футляры с понижающими температуру растворами. Лед-соль дает —21°, твердая углекислота плюс эфир — минус 80°, кислород — 118°, испарение углекислоты —130°, атмосферическое давление мы способны, кажется, развить до бесконечности.

Апрель. Мой помощник продолжает не на шутку интересовать меня. Он, кажется, какой-то славянин. Не то русский, не то поляк и, кажется, анархист. Он интеллигент, хорошо говорит по-английски, но, кажется, предпочитает не говорить ни на каком языке, а молчать. Вот его наружность: он высок, худ, сутуловат в плечах; волосы прямые и длинные и так падают на лицо, что лоб имеет форму трапеции, суженной кверху; нос, вздернутый кверху, с огромными, открытыми, волосатыми, но очень нервными ноздрями. А глаза у него ясные, серые, до безумия дерзкие. Он слышит и понимает все, что мы говорим о счастии будущих поколений, и часто усмехается добродушно-презрительной улыбкой, которая напоминает мне выражение лица большого старого бульдога, наблюдавшего развозившихся той-терьеров. Но к учителю он относится — это я не только знаю, но чувствую всей душой — с безграничным обожанием. Совсем наоборот поступает мой коллега де Мон де Рик. Он часто говорит учителю об идее жидкого солнца с таким неестественным восторгом, что я вчуже краснею от стыда и боюсь, не насмехается ли электротехник над патроном. Но он ничуть не интересуется им, как человеком, и самым неприличным образом и именно в присутствии его жены пренебрегает его положением мужа и хозяина дома, хотя это у него выходит, вероятно, против расчета и здравого смысла, под влиянием исказившейся воли, а может быть, и ревности.

Май. Да здравствуют три талантливых поляка — Врублевский, Ольшевский и Витковский и завершивший их опыты Дэвар. Сегодня мы, обратив гелий в жидкое состояние и мгновенно уменьшив давление, довели температуру в главном цилиндре до —272°, и стрелка электрических весов впервые подвинулась не на один, а на *целых пять миллиметров*. Безмолвно, в одиночестве, я становлюсь пред вами на колени, дорогой мой наставник и учитель.

26 июня. По-видимому, де Мон де Рик поверил в жидкое солнце, и теперь — уже без слащавого заигрывания и наигранного восхищения. По крайней мере сегодня за обедом он отличился удивительной фразой. Он сказал, что, по его мнению, жидкому солнцу предстоит громадная будущность в качестве взрывчатого вещества или приспособления для мин и огнестрельных ружей.

Я возразил, правда, довольно грубо, на немецком языке:

— Так говорит прусский лейтенант.

Но лорд Чальсбери возразил кратко и примирительно:

— Мы мечтаем не о разрушении, а о созидании.

27 июня. Пишу впопыхах, и руки у меня дрожат. Вчера ночью я задержался в лаборатории до двух часов. Была спешная работа по установке охладителей. Я возвращался к себе. Очень ярко светил месяц. На мне были теплые сапоги из тюленьей кожи, и шаги мои по обледенелой дорожке не издавали никакого звука. Дорога у меня шла все время в тени. Почти у самых моих дверей я остановился, потому что услышал голоса.

— Зайдите же, дорогая Мери, ради бога, зайдите ко мне хоть на минуту. Почему вы каждый раз боитесь этого? И каждый раз убеждаетесь, что ваши страхи напрасны?

Я тотчас же увидал их обоих при ярком, южном свете луны. Он обнимал ее за талию, а ее голова покорно лежала на его плече. О, как они оба были прекрасны в это мгновение!

— Но ваш товарищ... — робко произнесла леди Чальсбери.

— Какой же он мне товарищ? — беспечно рассмеялся де Мон де Рик. — Это только скучный и сентиментальный сурок, который каждый день аккуратно ложится спать в десять часов, чтобы проснуться в шесть. Мисс Мери, идемте, умоляю вас.

И оба они, не размыкая объятий, взошли на крыльцо, освещенное голубым сиянием луны, и скрылись за дверью.

28 июня, вечером. Сегодня утром я пришел к мистеру де Мон де Рику, не принял его протянутой руки, не сел на указанный им стул и сказал ему спокойно:

— Сэр, я должен высказать вам свое мнение о вас. Я полагаю, сэр, что в том месте, где мы должны бы были с вами работать радостно и самоотверженно на пользу человечества, вы ведете себя самым недостойным и бесстыдным образом. Вчера в два часа ночи я видел, как вы вошли к себе домой.

— Вы подглядывали, негодяй? — закричал де Мон де Рик, и глаза его заблестели фиолетовым огнем, как у кошки ночью.

— Нет, я сам очутился в наиболее неприятном положении, какое только может придумать воображение. Я не выдал своего присутствия единственно из-за того, чтобы не причинить страданий не вам, а другому человеку. И это тем более дает мне право сказать вам теперь один на один, что вы, сэр, настоящий подлец и гадина.

— Вы заплатите мне за это кровью, с оружием в руках, — крикнул де Мон де Рик, вскакивая и разрывая ворот своей сорочки.

— Нет, — твердо ответил я. — Во-первых, у нас к этому нет повода, кроме того, что я назвал вас подлецом, но без свидетелей, а второе, вот что: я нахожусь при деле огромной, мировой важности и не считаю возможным уйти от него из-за вашей дурацкой пули, пока дело не дойдет до конца. В-третьих, не проще ли вам сейчас же, захватив лишь необходимый багаж, сесть на первого попавшегося мула, спуститься вниз, в

Квито, а затем прежней дорогой вернуться в гостеприимную Англию? Или и там вы украли чью-нибудь честь или чьи-нибудь деньги, господин подлец?

Он прыгнул к столу и судорожно схватил с него хлыст из гиппопотамовой кожи.

— Я изобью вас, как собаку! — заревел он.

Тогда во мне проснулась старая боксерская школа. Не давая ему опомниться, я обманул его левой рукой, а кулаком правой нанес быстрый удар в нижнюю челюсть между ухом и подбородком. Он завыл, завертелся, как волчок, и из носу у него хлынула черная кровь.

Я вышел.

29 июня. — Отчего я сегодня не видел целый день мистера де Мон де Рика? — вдруг спросил лорд Чальсбери.

— Кажется, ему нездоровится, — ответил я, внимательно глядя в землю.

Мы сидели с ним на северном склоне вулкана. Было девять часов вечера, луна еще не всходила. Около нас стояли два негра носильщика и мой таинственный помощник Петр. На спокойной темной синеве неба едва рисовались тонкие линии электрических проводов, установленных нами за сегодняшний день. А на большом возвышении, сооруженном из камня, покоился приемник № 6, прочно укрепленный среди базальтовых глыб и готовый каждую секунду привести в движение затворы.

— Приготовьте шнур, — приказал лорд Чальсбери, — прокатите катушку вниз, я слишком устал и взволнован, поддержите меня, помогите мне спуститься. Вот здесь как будто хорошо. И мы не рискуем ослепнуть. Подумайте, дорогой Диббль, подумайте, милый мой мальчик, сейчас мы с вами, во имя славы и радости будущего человечества, озарим весь мир солнечным светом, сгущенным в газ. Allo! Зажгите стопин.

Быстро побежала вверх огненная змея пороховой нитки и скрылась вверху над нами, за краем глубокого уступа, под которым мы сидели. Мой напряженный слух уловил мгновенное щелканье соединившихся контактов и пронзительный визг моторов. По нашим расчетам, солнечный газ должен был выходить из кювета,

рядом последовательных взрывов, приблизительно около шести тысяч в секунду. И в тот же момент над нами взошло ослепительное солнце, навстречу которому зашелестели внизу деревья, зарозовели облака, засверкали дальние крыши и окна домов города Квито и громким криком разразились наши домашние петухи в поселке.

А когда свет так же мгновенно погас, как и загорелся, учитель щелкнул секундомером, посветил на него карманным электрическим фонариком и сказал:

— Время горения одна минута одиннадцать секунд. Это настоящая победа, мистер Диббль. Ручаюсь вам, что через год мы наполним громадные резервуары жидким и густым, как ртуть, золотым солнцем и заставим его светить нам, греть нас и еще приводить в движение все наши машины.

А когда мы вернулись около полуночи домой, то мы узнали, что за наше отсутствие леди Чальсбери и мистер де Мон де Рик еще засветло, тотчас же после нашего ухода, пошли как будто для прогулки, а потом на заранее оседланных мулах спустились вниз, в Квито.

Лорд Чальсбери и тут остался верен себе. Он сказал без горечи, но с печалью и страданием:

— Ах, зачем они не сказали мне об этом? Зачем ложь? Разве я не видел, что они любят друг друга? Я не стал бы им мешать.

Тут кончаются мои записки, впрочем, так попорченные водою, что я восстановил их лишь с большим трудом и не совсем ручаюсь за их точность. Да и в дальнейшем я не ручаюсь за свою память. Ведь это и всегда так бывает: чем ближе к развязке, тем путаннее воспоминания.

Около двадцати пяти дней мы напряженно работали в лаборатории, наполняя все новые и новые кюветы золотым солнечным газом. За это время мы успели придумать остроумные регуляторы к нашим солнцеприемникам. Мы снабдили каждый из них часовым механизмом и таким же простым указателем времени, как

у будильника. Перемещая известным образом указатели трех циферблатов, мы достигли возможности получить свет через любой промежуток времени, растянуть время его горения и его интенсивность от слабого получасового мерцания до мгновенного взрыва — все зависело от часового завода. Мы работали без увлечения, точно нехотя, но надо сказать, что этот период был самым плодотворным за все время моего пребывания на Каямбэ. Но все это окончилось внезапно, фантастично и страшно.

Однажды, в начале августа, ко мне в лабораторию зашел лорд Чальсбери, еще более усталый и постаревший, чем в предыдущие дни; он сказал мне с брезгливым спокойствием:

— Милый друг, я чувствую, что близится моя смерть, и во мне проснулись старые предрассудки. Хочу умереть и быть похороненным в Англии. Оставляю вам немного денег, все дома, машины, землю и мастерские. Денег вам хватит, соразмерно с теми расходами, которые я имел, года на два-три. Вы моложе и энергичнее меня, и, может быть, у вас что-нибудь выйдет. Милый наш друг мистер Найдстон поддержит вас с радостью в любую минуту. Подумайте же хорошенько.

Этот человек давно стал мне дороже отца, матери, брата, жены или сестры. И поэтому я ответил ему с глубоким убеждением:

— Дорогой сэр, я не оставлю вас ни на одну секунду.

Он обнял меня и поцеловал в лоб.

На другой день он созвал всех служащих и, заплатив каждому из них двухгодовое жалованье, сказал, что дело его на Каямбэ пришло к концу и что всем им он приказывает сегодня же спуститься с Каямбэ вниз, в долины.

Они ушли веселые, неблагодарные, предвкушавшие сладкую близость пьянства и разврата в бесчисленных притонах, которыми кишит город Квито. Один лишь мой помощник, молчаливый славянин,— не то албанец,

не то сибиряк, — долго не хотел уходить от своего хозяина. «Я останусь при вас до моей или вашей смерти», — сказал он. Но лорд Чальсбери поглядел на него убедительно, почти строго, и сказал:

— Я еду в Европу, мистер Петр.

— Все равно, и я с вами.

— Но ведь вы знаете, что вам грозит там, мистер Петр.

— Знаю. Веревка. И, однако, все равно я не покину вас. Я все время в душе смеялся над вашими сентиментальными заботами о счастии людей миллионных столетий, но никому не говорил об этом, но, узнавши близко вас самого, я также узнал, что чем ничтожнее человечество, тем ценнее человек, и поэтому я привязался к вам, как старый, бездомный, озлобленный, голодный, шелудивый пес к первой руке, приласкавшей его искренно. И поэтому же я остаюсь при вас. Баста.

Я с изумлением и с восторгом глядел на этого человека, которого я раньше считал окончательно не способным на какие-нибудь возвышенные чувства. Но учитель сказал ему мягко и повелительно:

— Нет, вы уйдете. И сейчас же. Мне дорога ваша дружба, мне дорога ваша неутомимая работа. Но я еду умирать к себе на родину. И ваши возможные страдания только отяготят мой уход из мира. Будьте мужчиной, Петр. Возьмите деньги, обнимите меня на прощание, и расстанемся.

Я видел, как они обнялись и как суровый Петр несколько раз горячо поцеловал руку лорда Чальсбери, а потом бросился прочь от нас, не оборачиваясь назад, почти бегом, и скрылся за ближайшими зданиями.

Я поглядел на учителя: он, закрыв лицо руками, плакал...

Через три дня мы шли на знакомом мне пароходе «Гонзалес» из Гваякиля в Панаму. Море было неспокойно, но ветер дул попутный, и в подмогу слабосильной машине капитан распорядился поставить паруса. Мы с лордом Чальсбери все время не покидали каюты. Его состояние внушало мне серьезные опасе-

ния, и временами я даже думал, что он мешается в уме. Я глядел на него с беспомощной жалостью. Особенно поражало меня то, что через каждые две-три фразы он непременно возвращался мыслями к оставленному им на Каямбэ кювету № 21б и каждый раз, вспоминая о нем, твердил, стискивая руки: «Неужели я забыл, ах, неужели я мог забыть?» Но потом речь его становилась опять печальной и возвышенной.

— Не думайте, — говорил он, — что маленькая личная драма заставила меня сойти с того пути трудов, упорных изысканий и вдохновений, который я терпеливо прокладывал в течение всей моей сознательной жизни. Но обстоятельства дали толчок моим размышлениям. За последнее время я многое передумал и переоценил, но только в иной плоскости, чем раньше. Если бы вы знали, как тяжело в шестьдесят пять лет перестраивать свое мировоззрение. Я понял, вернее, почувствовал, что не стоит будущее человечество ни забот о нем, ни нашей самоотверженной работы. Вырождаясь с каждым годом, оно становится все более дряблым, растленным и жестокосердым. Общество подпадает власти самого жестокого деспота в мире — капитала. Тресты, играя в своих публичных притонах на мясе, хлебе, керосине, сахаре, создают поколения сказочных полишинелей-миллиардеров и рядом миллионы голодных оборванцев, воров и убийц. И так будет вечно. И моя идея продлить солнечную жизнь земли станет достоянием кучки негодяев, которые будут править ею или употреблять мое жидкое солнце на пушечные снаряды и бомбы безумной силы... Нет, не хочу этого... Ах, боже мой, этот кювет! Ах, неужели я забыл! Неужели! — вдруг воскликнул лорд Чальсбери, хватаясь за голову.

— Что вас так тревожит, дорогой учитель? — спросил я.

— Видите ли, милый Генри... Я опасаюсь того, что сделал маленькую, но, может, очень роковую...

Больше я ничего не слышал. На востоке вдруг вспыхнуло огромное, как вселенная, золотое, огненное пламя. И небо и море точно потонули на мгновение в нестерпимом сиянии. Тотчас же вслед за этим оглуши-

тельный гром и какой-то горячий вихрь свалил меня на палубу.

Я потерял сознание и пришел в себя, только услышав над собою голос учителя.

— Что? — спрашивал лорд Чальсбери. — Вас ослепило?

— Да, я ничего не вижу, кроме радужных кругов перед глазами. Ведь это катастрофа, профессор? Зачем вы сделали или допустили это? И разве вы не предвидели этого?

Но он мягко положил мне на плечо свою маленькую прекрасную белую руку и сказал глубоким нежным голосом (и от этого прикосновения и от этого уверенного тона его слов я сразу стал спокоен):

— Неужели вы не верите мне? Подождите, зажмурьте крепко глаза и закройте их ладонью правой руки и держите так, пока я не перестану говорить или пока у вас не пройдет в глазах световое мелькание, потом, прежде чем открыть глаза, наденьте очки, которые я вам сейчас сую в левую руку. Это очень сильные консервы. Слушайте, мне казалось, что вы успели узнать меня гораздо лучше за это короткое время, чем знали меня самые близкие люди. Уже ради только вас, моего настоящего друга, я не взял бы на свою совесть такого жестокого и бесцельного опыта, который грозит смертью нескольким десяткам тысяч людей. Да и то сказать; чего стоит существование этих развратных негров, пьяных индейцев и вырождающихся испанцев? Образуйся сейчас на месте республики Эквадор с ее сплетнями, торгашеством и революциями сплошная дыра в преисподнюю, от этого ни на грош ни потеряют ни наука, ни искусство, ни история. Немножко жаль моих умных, терпеливых, милых мулов. Правда, скажу вам по совести, я ни на секунду не задумался бы принести в жертву торжеству идеи и вас и вместе с вами миллион самых ценных человеческих жизней, если бы только я был убежден в правоте этой идеи, но ведь всего три минуты тому назад я вам говорил о том, что я окончательно разуверился в способности грядущего человечества к счастью, любви и самопожертвованию. Неужели вы можете подумать, что я стал бы

мстить маленькому кусочку человечества за мою громадную философскую ошибку? Но вот чего я себе не прощаю: это чисто технической ошибки, ошибки рядового привычного работника. Я в данном случае похож на мастера, который стоял двадцать лет около сложной машины, а через двадцать лет и один день вдруг взгрустнул о своих личных семейных делах, забыл о деле, перестал слушать ритм, и вот сорвался приводный ремень и своим страшным размахом убил несколько муравьев-рабочих. Видите ли, меня все время мучила мысль о том, что я по рассеянности, приключившейся со мной первый раз за все эти двадцать лет, забыл остановить часовой завод у кювета № 21 *б* и поставил его нечаянно на полный взрыв. И это сознание все время, точно во сне, преследовало меня на пароходе. Так и оказалось. Кювет взорвало, и от детонации взорвались и другие хранилища. Опять моя ошибка. Прежде чем хранить в таком громадном запасе жидкое солнце, мне нужно было бы раньше, хотя бы с риском для собственной жизни, проделать в малых размерах опыты над взрывчатыми качествами сгущенного света. Теперь оглянитесь сюда, — и он мягко, но настойчиво повернул мою голову на восток. — Отнимите руку и теперь медленно, медленно откройте глаза.

В один момент с необычайной яркостью, как это, говорят, бывает в предсмертные минуты, я увидел полыхавшее на востоке, то сжимавшееся, то разжимавшееся, точно дышащее зарево, накрененный борт парохода, волны, хлеставшие через перила; мрачно-кровавое море и тускло-пурпуровые тучи на небе и прекрасное спокойное лицо, все в седых шелковистых сединах, с глазами, сиявшими, как скорбные звезды. Удушливый жаркий ветер дул с берега.

— Пожар? — спросил я вяло, точно во сне, и обернулся к югу. Там, над вершиной Каямбэ, стоял густой дымный огонь, который прорезывали быстрые молнии.

— Нет, это извержение нашего доброго старого вулкана. Взрыв жидкого солнца разбудил и его. Согласитесь, все-таки черт знает какая сила! И подумать только, что все это напрасно.

Я ничего не понимал. У меня кружилась голова. И вот я услышал около себя странный голос, одновременно нежный, как у матери, и повелительный, как у деспота:

— Сядьте на этот корабельный бунт и повинуйтесь слепо всему, что я вам прикажу. Вот вам спасательный круг, наденьте его сейчас же на себя, завяжите крепко под мышками, но не стесняйте дыхания; вот вам фляжка с коньяком, спрячьте ее в левый боковой карман вместе с тремя плитками шоколада, вот вам пергаментный конверт с деньгами и письмами. Сейчас «Гонзалес» будет опрокинута таким страшным валом, который вряд ли видало человечество со времен потопа. Лягте вдоль правого борта. Так. Обвейтесь руками и ногами о поручни. Хорошо. Голова у вас за железным щитом. Это поможет, чтобы вас не оглушило ударом. Когда вы почувствуете, что вал обрушился на палубу, постарайтесь задержать дыхание секунд на двадцать, затем бросайтесь вправо, и да благословит вас бог! Это все, что я могу вам пожелать и посоветовать. А затем еще, если вам суждено умереть так рано и так нелепо... То мне хотелось бы услышать, что вы мне прощаете. Понимаете ли, другому я не сказал бы этого, но я знаю, что вы англичанин и настоящий джентльмен.

Его слова, исполненные хладнокровия и достоинства, вернули мне самообладание. Я нашел в себе достаточно силы, чтобы, пожимая ему крепко руку, ответить спокойно:

— Верьте, дорогой учитель, что никакие радости жизни не изменили бы мне тех прекрасных часов, которые я провел под вашим мудрым руководством. Я бы хотел только спросить, почему вы сами о себе не заботитесь?

Я до сих пор ясно помню его, прислонившегося к ящику с запасным компасом, помню, как ветер трепал его одежду и седую бороду, такую страшную на красном фоне вулканического извержения. Тут же я на секунду с удивлением заметил, что уже не было нестерпимо горячего ветра с берега, наоборот — с запада

дул порывистый, холодный ураган, и судно наше почти лежало на боку.

— Э! — воскликнул небрежно лорд Чальсбери и устало махнул рукой. — Мне нечего терять. Я одинок во всем этом мире. У меня есть единственная привязанность — это вы, но и вас я подвергаю смертельной опасности, из которой вам выкарабкаться — только один шанс на миллион. У меня есть богатство, но, право, я не знаю, что с ним делать, разве только, — и голос его зазвучал печальной и кроткой насмешкой, — разве только раздать его неимущим Норфолькского графства и расплодить лишнюю банду тунеядцев и попрошаек. У меня есть знания, но вы сами видите, что они потерпели крах. У меня есть энергия, но уже теперь я не смог бы найти для нее приложения. О нет, дорогой друг, я не самоубийца; если в эту ночь мне не суждено погибнуть, я употреблю мой остаток жизни на то, чтобы скромно возделывать спаржу, артишоки и дыни на каком-нибудь маленьком клочке земли, где-нибудь подальше от Лондона. А если смерть, — он снял шляпу, и странно было мне видеть его развевающиеся волосы, мечущуюся бороду и ласковые, печальные глаза и слышать его голос, звучавший, как органный хорал. — А если смерть, то с покорностью предаю мое тело и мой дух вечному богу, который да простит мне заблуждения моего слабого человеческого ума.

— Аминь, — сказал я.

Он повернулся спиной к ветру и закурил сигару. Четким, фантастическим, великолепным видением рисовалась его черная фигура на фоне багряного неба. До меня долетел тонкий запах прекрасной гаванны.

— Готовьтесь. Еще останется минута, две. Не трусите?

— Нет... Но экипаж, пассажиры!..

— Я во время вашего обморока предупредил их. Впрочем, на всем судне нет ни одного трезвого человека и ни одного спасательного пояса. За вас я не боюсь, у вас на руке надет талисман. У меня, представьте, был такой же, но я его потерял. Эй! держитесь!.. Генри!..

Я обернулся к востоку и обомлел от смертельного ужаса. На наш скорлупу-пароход быстро двигался от берега огромный вал с Эйфелеву башню высотой, весь черный, с розово-белым, пенистым гребнем наверху. Что-то заревело, задрожало... и точно весь мир обрушился на палубу.

Я опять потерял сознание и пришел в себя через несколько часов в небольшой рыбачьей барке, спасшей меня. Моя изуродованная левая рука была грубо перевязана тряпкой, а голова замотана какими-то лохмотьями. Через месяц, поправившись от ран и душевных потрясений, я уже плыл обратно в Англию.

История моих странных приключений окончена. Мне остается только прибавить, что я теперь скромно живу в самой тихой части Лондона и ни в чем не нуждаюсь благодаря щедрой доброте покойного лорда Чальсбери. Я много занимаюсь наукой и даю частные уроки. Каждое воскресенье мы с милым мистером Найдстоном обедаем поочередно друг у друга. Нас связывают самые тесные дружеские узы, и наш первый тост всегда бывает в честь и память великого лорда Чальсбери.

Г Диббль.

P. S. Все имена собственные в моем рассказе не настоящие, а нарочно изобретены мною.

Г. Д.

ТРАВКА

Ах, это старая история и, надо сказать, довольно скучная история.

Конечно, читателям незаметно. Читатель спокойно, как верблюд, переваривает в желудке пасхальный окорок или рождественского гуся и, для перехода от бодрствования к сладкому сну, читает сверху донизу свою привычную газету до тех пор, пока дрёма не заведет ему глаз. Ему легко.

Ничто не тревожит его воображения, ничто не смущает его совести, никто не залезает под благовидным предлогом ему в карман.

В газете порок наказан, добродетель торжествует, сапожный подмастерье нашел благодаря родимому пятнышку своих родителей, мальчик, замерзавший на улице, отогрет попечительными руками, блудная жена вернулась домой (она исхудала и в черном платье) прямо в объятия мужа (пасхальный колокол — бум!..), который проливает слезы.

Но вы, читатели, подумали ли вы хотя раз о тех мучениях, которые испытывает человек, пишущий эти прекрасные добродетельные рассказы!..

Ведь, во-первых, все темы уже исчерпаны, пародии на темы надоели, пародии на пародии отсылают в «Момус»... Подумайте: что тут изобретешь?..

У меня есть друг беллетрист, из средних, который не гонится ни за успехом, ни за модой, ни за деньгами...

И вот как-то на страстной неделе, не помню — в среду, четверг или пятницу, вечером, попили мы с ним чайку, поговорили о том, о сем, коснулись содержания сегодняшних газет, но я уже видел, что мой приятель чем-то удручен или взволнован.

Очень осторожно, стараясь не задеть его авторского самолюбия, я довел его до того, что он рассказал мне следующее:

— Понимаете? Можно с ума сойти! Приезжает ко мне редактор. Подумайте, сам редактор! И что всего хуже — мой настоящий, хороший друг...

— Ради бога, пасхальный рассказ!

Я ему оказываю самое широкое гостеприимство, справляюсь о здоровье его детей, предсказываю его газете громадную будущность, — стараюсь занять его внимание пустяками; понятно, цель моя была отвлечь его от настойчивых просьб о пасхальном рассказе.

Но неизбежное — неизбежно: он возвращается к тому, за чем он приехал.

— Ради бога, рассказ!

Я кротко и убедительно верчу пуговицу его пиджака и самым нежным голосом говорю ему:

— Дорогой мой... милый!.. Ты сам писатель и не хуже меня знаешь, что все пасхальные темы уже использованы.

— Хоть что-нибудь... — тянет он уныло.

— Ей-богу, ничего!..

— Ну, хоть что-нибудь!.. Хоть на старенькую темку строк триста — четыреста!..

Нет, от него не отвязаться. Обмакиваю перо в чернильницу и говорю сквозь сжатые зубы:

— Давай тему!

— Тему? Но это для тебя пустяки!..

— Давай хоть заглавие!.. Помоги же, черт тебя побери!..

— Ну, заглавие — это пустяк!.. Например: «Она вернулась».

— К черту!..

— «Яйцо сосватало».

— К черту!..
— «Весенние иллюзии».
— К черту!..
— «Скворцы прилетели».
— Мимо!..
— «Когда раскрываются почки».
— К черту!.. Милый мой, разве сам не видишь, что все это — опаскуженные темы.. И потом: что это за безвкусие делать заглавие рассказа из существительного и глагола? «О чем пела ласточка»... «Когда мы мертвые проснемся»... А в особенности для ходкой газеты. Дай мне простое и выразительное заглавие из одного существительного!..
— Из существительного?..
— Да, из существительного.
— Например... «Чернильница»?!
— Стара штучка! Использовал Пушкин: «К моей чернильнице».
— Ну, хорошо. «Лампа».
— Друг мой, — говорю я кротко, — только очень близорукие люди выбирают для примеров и сравнений предметы, стоящие возле них!..
Это задевает его за живое, и он сыплет как из мешка:
— «Будка», «Кипарис», «Пале-Рояль», «Ландыш», «Черт в ступе». Не нравится? Ну, наконец, «Травка»?..
— Ага, «Травка»?.. Стоп!.. Это уже нечто весеннее и на пасху хорошо. Давай-ка подумаем серьезно о травке!..
И мы думаем.
— Конечно, это очень приятно, такая зелененькая, нежная травка... точно гимназистка приготовительного класса! Надо любить все: зверей, птиц, растения, в этом — красота жизни! Но черт побери: какой сюжет я отсюда выдавлю?! Ведь всякий рассказ должен быть начат, продолжен и закончен, а я просто говорю: травка зеленая! Ведь читатель пошлет опровержение в редакцию!
У приятеля лицо вытягивается. Я говорю ему самым нежным голосом:

— Подожди... не отчаивайся! Травок много, возьмем «Кресс-салат»...

— «Кресс-салат»? — повторяет он уныло, как деревянный попугай.

— Да, «Кресс-салат»! — кричу я, уже охваченный творчеством, тем вдохновением, о котором так много говорят провинциальные читатели. — Представь себе безногого бедняка, который вдруг снял потный валенок, унавозил его, посыпал землицей и бросил зерна... И вот к пасхе у него всходит прекрасная зеленая травка, которую он может срезать и, приготовив под соусом, скушать после пасхальной заутрени! Разве это не трогательно?

— Ты смеешься надо мною! Это подло! Как я явлюсь к издателю без твоего рассказа?

— Ну, хорошо... давай дальше! Собаки лечатся травками...

— Извини, пожалуйста, это уже относится к области ветеринарии!

— Представь себе вкусную душистую травку, которую едят на Кавказе в духанах. Отсюда легко перейти к Зелим-хану! Понимаешь? Ест он барашка с травкой... вспоминает свой мирный аул, слезы текут по его щекам, изборожденным старыми боевыми ранами... И вдруг он говорит пленному полицейскому офицеру, отпуская его на волю: «Иды... кушай травкам... будет тебе пасхам!» Чего ты еще хочешь, черт тебя побрал бы?! Ну, вот: «Олень копытом разбивает лед, пока не найдет прошлогодней травы... бедные олешки!» Ну, как я выпутаюсь, черт побери, из этого Нарымского края! Нужно будет ввести политического ссыльного, но ведь цензура...

— Цензура!.. — промолвил редактор печально.

Потом он немножко помолчал, вздохнул, взял шляпу и стал уходить.

Но вдруг он остановился и обернулся ко мне.

— Заважничал... модернист!.. — бурчал он, открывая дверь. — По-моему, это с твоей стороны свинство! Ты несомненно издеваешься над искусством. Травка... травка... травка... травка!.. А по-моему, надо подходить к вопросу проще...

Я догнал его уже в передней, когда он, рассерженный, всовывал свои ноги в калоши и надевал шляпу.

— Надо писать серьезно... — говорил он. — Конечно, я не обладаю даром, как ты, и наитием... Но если бы я писал, я написал бы просто. Помнишь, как мы с тобой, — тебе было одиннадцать лет, а мне десять, — как мы ели с тобой просвирки и какие-то маленькие пупырушки на огороде детской больницы?

— Конечно, помню! Дикое растение!

— А помнишь молочай?

— Ах, ну, конечно, помню! Такой сочный стебель с белым молоком.

— А свербигус? Или свербига, как мы ее называли?

— Дикая редька?

— Да, дикая редька!.. Но как она была вкусна с солью и хлебом!

— А помнишь: желтые цветы акации, которыми мы набивали полные с верхом фуражки и ели, как лошади овес из торбы?

— А конский щавель?

Мы оба замолчали.

И вдруг пред нами ярко и живо пронеслись наша опозоренная казенным учебным заведением нежность... пансион... фребелевская система... придирки классных наставников... взаимное шпионство... поруганное детство...

— А помнишь, — сказал он и вдруг заплакал, — а помнишь зеленый, рыхлый забор? Если по нему провести ногтями, следы остаются... Возле него растут лопухи и глухая крапива... Там всегда тень и сырость. И по лопухам ползают какие-то необыкновенно золотые, или, вернее сказать, бронзовые жуки. И красные с черными пятнами коровки, которые сплелись целыми гирляндами.

— А помнишь еще: вдруг скользнет луч, заиграет роса на листьях?.. Как густо пахнет зеленью! Не отойдешь от этого московского забора! Точно брильянты, горят капли росы... Длинный, тонкий, белый червяк, выворачивая землю, выползает наружу... Конечно, он прекрасен, потому что мы насаживали его на согну-

тую булавку и бросали в уличную лужу, веря, что поймаем рыбу! Ну, скажи: разве можно это написать? Тогда мы глядели ясными, простыми глазами, и мир доверчиво открывался для нас: звери, птицы, цветы... И если мы что-нибудь любим и чувствуем, то это только жалкое отражение детских впечатлений.

— Так, стало быть, рассказа не будет? — спросил редактор.

— Нет, я постараюсь что-нибудь слепить. А впрочем... Ну разве все то, о чем мы говорили, — не рассказ? Такой в конце концов наивный, простой и ласковый?..

Редактор обнял меня и поцеловал.

— Какой ты... — сказал он, но не докончил, глаза его увлажнились, и он, быстро повернувшись, ушел, сопровождаемый веселым лаем Сарашки и Бернара, моих милых друзей — сенбернарских песиков, — которым теперь обоим по пяти месяцев...

ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ

Я теперь не сумею даже припомнить, какое дело или какой каприз судьбы забросили меня на целую зиму в этот маленький северный русский городишко, о котором учебники географии говорят кратко: «уездный город такой-то», не приводя о нем никаких дальнейших сведений. Очень недавно провели близ него железную дорогу из Петербурга на Архангельск, но это событие совсем не отразилось на жизни города. Со станции в город можно добраться только глубокой зимою, когда замерзают непролазные болота, да и то приходится ехать девяносто верст среди ухабов и метелей, слыша нередко дикий волчий вой и по часам не видя признака человеческого жилья. А главное, из города нечего везти в столицу, и некому и незачем туда ехать.

Так и живет городишко в сонном безмолвии, в мирной неизвестности без ввоза и вывоза, без добывающей и обрабатывающей промышленности, без памятников знаменитым согражданам, со своими шестнадцатью церквами на пять тысяч населения, с дощатыми тротуарами, со свиньями, коровами и курами на улице, с неизбежным пыльным бульваром на берегу извилистой несудоходной и безрыбной речонки Ворожи, — живет зимою заваленный снежными сугробами, летом утопающий в грязи, весь окруженный болотистым, корявым и низкорослым лесом.

Ничего здесь нет для ума и для сердца: ни гимназии, ни библиотеки, ни театра, ни живых картин, ни концертов, ни лекций с волшебным фонарем. Самые плохие бродячие цирки и масленичные балаганы обегают этот город, и даже невзыскательный петрушка проходил через него последний раз шесть лет тому назад, о чем до сих пор жители вспоминают с умилением.

Раз в неделю, по субботам, бывает в городке базар. Съезжаются из окрестных диких деревнюшек полтора десятка мужиков с картофелем, сеном и дровами, но и они, кажется, ничего не продают и не покупают, а торчат весь день около казенки, похлопывая себя по плечам руками, одетыми в кожаные желтые рукавицы об одном пальце. А возвращаясь пьяные ночью домой, часто замерзают по дороге, к немалой прибыли городского врача.

Здешние мещане — народ богобоязненный, суровый и подозрительный. Чем они занимаются и чем живут — уму непостижимо. Летом еще кое-кто из них копошится около реки, сгоняя лес плотами вниз по течению, но зимнее их существование таинственно. Встают они поздно, позднее солнца, и целый день глазеют из окон на улицу, отпечатывая на стеклах белыми пятнами сплющенные носы и разляпанные губы. Обедают, по-православному, в полдень, и после обеда спят. А в семь часов вечера уже все ворота заперты на тяжелые железные засовы, и каждый хозяин собственноручно спускает с цепи старого, злого, лохматого и седомордого, осиплого от лая кобеля. И храпят до утра в жарких, грязных перинах, среди гор подушек, под мирным сиянием цветных лампадок. И дико орут во сне от страшных кошмаров и, проснувшись, долго чешутся и чавкают, творя нарочитую молитву против домового.

Про самих себя обыватели говорят так: в нашем городе дома каменные, а сердца железные. Старожилы же из грамотных не без гордости уверяют, что именно с их города Николай Васильевич Гоголь списал своего «Ревизора». «Покойный папашка Прохор Сергеича самолично видел Николая Васильевича, когда они проезжали через город». Здесь все зовут и знают людей

только по именам и отчествам. Если скажешь извозчику: «К Чурбанову (местный Мюр-Мерилиз) гривенник», — он сразу остолбенеет и, точно внезапно проснувшись, спросит: «Чего?» — «К Чурбанову, в лавку, гривенник». — «А-а! К Порфир Алексеичу. Пожалуйте, купец, садитесь».

Здесь есть городские ряды — длинный деревянный сарай на Соборной площади, со множеством неосвещенных, грязных клетушек, похожих на темные норы, из которых всегда пахнет крысами, кумачом, дублеными овчинами, керосином и душистым перцем. В огромных волчьих шубах и прямых теплых картузах, седобородые, тучные и важные, сидят лавочники, все эти жестокие Модесты Никанорычи и Доремидонты Никифорычи, снаружи своих лавок, на крылечках, тянут из блюдечка жидкий чай и играют в шашки, в поддавки. На случайного покупателя они глядят как на заклятого врага: «Эй, мальчик, отпусти этому». Покупку ему не подают, а швыряют на прилавок, не завернувши, и каждую серебряную, золотую или бумажную монету так долго пробуют на ощупь, на свет, на звон и даже на зуб и притом так пронзительно и ехидно на тебя смотрят, что невольно думаешь: «А ведь сейчас позовет, подлец, полицию».

Зимою, по праздникам, после обеда, этак ближе к вечеру, на главной Дворянской улице происходит купеческое катанье. Вереницей, один за другим, плывут серые в яблоках огромные пряничные жеребцы, сотрясаясь ожирелыми мясами, екая на всю улицу селезенками и громко гогоча. А в маленьких санках сидят торжественно, как буддийские изваяния, в праздничных шубах купец и купчиха — такие объемистые, что их зады наполовину свешиваются с сиденья и по левую и по правую сторону. Иногда же, нарушая это чинное движение, вдруг пронесется галопом по улице, свистя и гикая, купеческий сын Ноздрунов, в нарядной кучерской поддевке, с боярской шапкой набекрень, краса купеческой молодежи, победитель девичьих сердец.

Живет здесь малая кучка интеллигентов, но все они вскоре по прибытии в город поразительно быстро опускаются, много пьют, играют в карты, не отходя от

стола по двое суток, сплетничают, живут с чужими женами и с горничными, ничего не читают и ничем не интересуются. Почта из Петербурга приходит иногда через семь дней, иногда через двадцать, а иногда и совсем не приходит, потому что везут ее длинным кружным путем, сначала на юг, на Москву, потом на восток, на Рыбинск, на пароходе, а зимою на лошадях и, наконец, тащат ее опять на север, двести верст по лесам, болотам, косогорам и дырявым мостам, пьяные, сонные, голодные, оборванные мерзлые ямщики.

В городе получаются в складчину несколько газет: «Новое время», «Свет», «Петербургская газета» и одни «Биржевые ведомости», или, как здесь их зовут, «Биржевик». Раньше и «Биржевик» выписывался в двух экземплярах, но однажды начальник городского училища очень резко заявил учителю географии и историку Кипайтулову, что «одно из двух — либо служить во вверенном мне училище, либо предаваться чтению революционных газет где-нибудь в другом месте»...

Вот в этом-то городке, в конце января, непогожим метелистым вечером я сидел за письменным столом в гостинице «Орел», или по-тамошнему «Тараканья щель», где я был единственным постояльцем. Из окон дуло, в ночной трубе завывал то басом, то визгливым сопрано разгулявшийся ветер. Унылым колеблющимся пламенем светила тоненькая, оплывщая с одного бока свеча. Я сумрачно глядел на огонь, а с бревенчатых стен меня созерцали, важно шевеля усищами, рыжие, серьезные, неподвижные тараканы. Окаянная, мертвая, зеленая скука обволокла паутиной мой мозг и парализовала тело. Что было делать до ночи? Книг со мною не было, а те нумера газет, в которые были завернуты мои вещи и дорожная провизия, я прочитал столько раз, что заучил их наизусть.

И я грустно размышлял, как мне поступить: пойти ли в клуб, или послать к кому-нибудь из моих случайных знакомых за книжкой, хотя бы за специально медицинской к городскому врачу, или за уставом о нало-

жении наказаний к мировому судье, или к лесничему за руководством по дендрологии.

Но кто же не знает этих захолустных городских клубов, или иначе гражданских собраний? Обшарпанные обои, висящие лохмотьями; зеркала и олеографии, засиженные мухами, заплеванный пол; по всем комнатам запах кислого теста, сырости нежилого дома и карболки из клозета. В зале два стола заняты преферансом, и тут же рядом, на маленьких столиках, водка и закуска, так, чтобы удобно было, держа одной рукой карты, другой потянуться в миску за огурцом. Игроки держат карты под столом или в горсточке, прикрывая их обеими ладонями, но и это не помогает, потому что ежеминутно раздаются возгласы: «Прошу вас, Сысой Петрович, вы уж, пожалуйста, глазенапа не запускайте-с».

В бильярдной письмоводитель земского начальника играет в пирамидку с маркером огромными, иззубренными временем, громыхающими на ходу шарами, дует со своим партнером водку и сыплет специальными бильярдными поговорками. В передней, под лампой с граненым рефлектором, сидя на стуле, сложив руки на животе и широко разинув рот, сладко храпит услужающий мальчик. В буфете упиваются кавказским коньяком два акцизных надзирателя, ветеринар, помощник пристава и агроном, пьют на «ты», обнимаются, целуются мокрыми мохнатыми ртами, поливая друг другу шеи и сюртуки вином, поют вразброд «Не осенний мелкий дождичек» и при этом каждый дирижирует, а к одиннадцати часам двое из них непременно подерутся и натаскают друг у друга из головы кучу волос.

«Нет, — решил я, — пошлю лучше к городскому врачу за книжкой».

Но как раз в эту минуту в номер вошел босой коридорный мальчуган Федька с запиской от самого доктора, который в дружески веселом духе просил меня к себе на вечерок, то есть на чашку чая и на маленький домашний винтишко, уверяя, что будут только свои, что у них вообще все попросту, без церемоний, что регалий, лент и фраков можно не надевать и, наконец, что супругой доктора получена от мамаши из

Белозерска замечательных достоинств семга, из которой и будет сооружен пирог. «Sic! — восклицал шутник доктор в приписке, — и теща на что-нибудь полезна!»

Я быстро умылся, переоделся и пошел к милейшему Петру Власовичу. Теперь уже не ветер, а свирепый ураган носился со страшной силой по улицам, гоня перед собой тучи снежной крупы, больно хлеставшей в лицо и слепившей глаза. Я человек, как и большинство современных людей, почти неверующий, но мне много пришлось изъездить по проселочным зимним путям, и потому в такие вечера и в такую погоду я мысленно молюсь: «Господи, спаси и сохрани того, кто теперь потерял дорогу и кружится в поле или в лесу со смертельным страхом в душе».

Вечер у доктора был именно такой, какими бывают эти семейные вечерки повсюду в провинциальной России, от Обдорска до Крыжополя и от Лодейного поля до Темрюка. Сначала поили тепленьким чаем с домашним печеньем, с вонючим ромом и малиновым вареньем, мелкие косточки от которого так назойливо вязнут в зубах. Дамы сидели на одном конце стола и с фальшивым оживлением, кокетливо выпевая концы фраз в нос, говорили о дороговизне съестных припасов и дров, о развращенности прислуги, о платьях и вышивках, о способах солки огурцов и шинкования капусты. Когда они прихлебывали чай из своих чашек, то каждая непременно самым противоестественным образом оттопыривала в сторону мизинец правой руки, что, как известно, считается признаком светского тона и грациозной изнеженности.

Мужчины сгрудились на другом конце. Здесь разговор шел о службе, о суровом и непочтительном к дворянству губернаторе, о политике, главным же образом пересказывали друг другу содержание сегодняшних газет, всеми ими уже прочитанных. И смешно и трогательно было слушать, как они проникновенно и прозорливо толковали о событиях, происходивших месяц-полтора тому назад, и горячились по поводу новостей, давно уже забытых всеми на свете. Право, выходило так, точно все мы живем не на земле, а на Марсе

или на Венере, или на другой какой-нибудь планете, куда видимые земные дела достигают через огромные промежутки времени в целые недели, месяцы и годы.

Затем, по заведенному издревле обычаю, хозяин сказал:

— А знаете ли что, господа? Оставим-ка этот лабиринт и сядем в винт. Алексей Николаевич, Евгений Евгеньевич, не угодно ли карточку?

И тотчас же кто-то отозвался фразой тысячелетней давности:

— В самом деле, зачем терять драгоценное время?

Неиграющих оказалось только трое: лесничий Иван Иванович Турченко, я и старая толстая дама, очень почтенного и добродушного вида, но совершенно глухая, — мамаша земского начальника. Хозяин долго уговаривал нас устроиться выходящими и, наконец, с видом лицемерного соболезнования, решился оставить нас в покое. Правда, он несколько раз, в те минуты, когда была не его очередь сдавать, торопливо забегал к нам и, потирая руки, спрашивал: «Ну, что? Как вы здесь? Не очень соскучились? Может быть, вам прислать сюда винца или пива?.. Нехорошо. Кто не пьет, не играет и не курит, — тот подозрительный элемент в обществе. А что же вы вашу даму не занимаете?»

Мы пробовали ее занимать. Заговорили сначала о погоде и о санном пути. Толстая дама кротко улыбнулась нам и ответила, что, правда, она, когда была помоложе, то играла в мушку, или, по-нынешнему, рамс, но теперь забыла и даже в фигурах плохо разбирается. Потом я проревел ей над ухом что-то о здоровье ее внучат, она ласково закивала головой и сказала участливо: «Да, да, да, бывает, бывает, у меня у самой к дождю поясницу ломит», — и достала из мешочка какое-то вязанье. Мы не рискнули больше приставать к доброй старушке.

У доктора был прекрасный, огромный диван, обитый нежной желтой кожей, в котором так удобно было развалиться. Мы с Турченко никогда не скучали, оставаясь вместе. Нас тесно связывали три вещи: лес, охота и любовь к литературе. Мне уже приходилось бывать с ним раз пятнадцать на медвежьих, лисьих и

волчьих облавах и на охотах с гончими. Он был прекрасным стрелком и однажды при мне свалил рысь с верхушки дерева выстрелом из штуцера на расстоянии более трехсот шагов. Но охотился он только на зверя, да еще на зайцев, на которых даже ставил капканы, потому что от души ненавидел этих вредителей молодых лесных насаждений. Затаенной и, конечно, недостижимой его мечтой была охота на тигра. Он собрал даже целую библиотеку об этом благородном спорте. На птицу он никогда не охотился и сурово запретил у себя в лесу всякую весеннюю охоту. «Мне в моем хозяйстве птица — первый помощник», — говорил он серьезно. За такую чрезмерную строгость его недолюбливали.

Это был крепкий, маленький, смуглолицый желчный холостяк, с горячими и насмешливыми черными глазами, с сильной проседью в черных растрепанных волосах. Он был совсем одинок, настоящий бобыль, растерявший давно всех родственников и друзей детства, и в нем до сих пор еще сохранилось очень много тех безалаберных и прекрасных, грубых и товарищеских качеств, по которым так нетрудно узнать бывшего студента лесного, ныне упраздненного, факультета знаменитой когда-то Петровской академии, что процветала в сельце Петровско-Разумовском под Москвой.

Он очень редко показывался в уездном свете, потому что три четверти жизни проводил в лесу. Лес был его настоящею семьею и, кажется, единственной страстной привязанностью к жизни. В городе над ним за глаза посмеивались и считали чудаком. Имея полную и бесконтрольную возможность подторговывать в свою пользу лесными делянками, отводимыми на сруб, он жил только на свое полуторастарублевое жалованье, жалованье — поистине нищенское, если принять во внимание ту культурную, ответственную и глубоко важную работу, которую самоотверженно нес на своих плечах целые двадцать лет этот удивительный Иван Иванович. Право, только среди чинов лесного корпуса, в этом распрозабытом из всех забытых ведомств, да еще среди земских врачей, загнанных, как почтовые клячи,

мне и приходилось встречать этих чудаков, фанатиков дела и бессребреников.

Много лет тому назад Турченко подал в военное министерство докладную записку о том, что в случае оборонительной войны лесники благодаря прекрасному знанию местности могут очень пригодиться армии как разведчики и как проводники партизанских отрядов, и потому предложил комплектовать местную стражу из людей, окончивших специальные шестимесячные курсы. Ему, конечно, как водится, ничего не ответили. Тогда он, на собственный риск и на совесть, обучил практически всех своих лесников компасной и глазомерной съемке, разведочной службе, устройству засек и волчьих ям, системе военных донесений, сигнализации флажками и огнем и многим другим основам партизанской войны. Ежегодно он устраивал подчиненным состязания в стрельбе и выдавал призы из своего скудного кармана. На службе он завел дисциплину, более суровую, чем морская, хотя в то же время был кумом и посаженым отцом у всех лесников.

Под его надзором и охраной было двадцать семь тысяч десятин казенного леса, да еще, по просьбе миллионеров братьев Солодаевых, он присматривал за их громадными, прекрасно сохраненными лесами в южной части уезда. Но и этого ему было мало: он самовольно взял под свое покровительство и все окрестные, смежные и чересполосные крестьянские леса. Совершая для крестьян за гроши, а чаще безвозмездно разные межевые работы и лесообходные съемки, он собирал сходы, говорил горячо и просто о великом значении в сельском хозяйстве больших лесных площадей и заклинал крестьян беречь лес пуще глаза. Мужики его слушали внимательно, сочувственно кивали бородами, вздыхали, как на проповеди деревенского попа, и поддакивали: «Это ты верно.... что и говорить... правда ваша, господин лесницын... Мы что? Мы мужики, люди темные...»

Но уж давно известно, что самые прекрасные и полезные истины, исходящие из уст господина лесницына, господина агронома и других интеллигентных

радетелей, представляют для деревни лишь простое сотрясение воздуха.

На другой же день добрые поселяне пускали в лес скот, объедавший дочиста молодняк, драли лыко с нежных, неокрепших деревьев, валили для какого-нибудь забора или оконницы строевые ели, просверливали стволы берез для вытяжки весеннего сока на квас, курили в сухостойном лесу и бросали спички на серый высохший мох, вспыхивающий, как порох, оставляли непогашенными костры, а мальчишки-пастушонки, те бессмысленно поджигали у сосен дупла и трещины, переполненные смолою, поджигали только для того, чтобы посмотреть, каким веселым, бурливым пламенем горит янтарная смола.

Он упрашивал сельских учителей внедрять ученикам уважение и любовь к лесу, подбивал их вместе с деревенскими батюшками, — и, конечно, бесплодно, — устраивать праздники лесонасаждения, приставал к исправникам, земским начальникам и мировым судьям по поводу хищнических порубок, а на земских собраниях так надоел всем своими пылкими речами о защите лесов, что его перестали слушать. «Ну, понес философ свой обычный вздор», — говорили земцы и уходили курить, оставляя Турченку разглагольствовать, подобно проповеднику Беде, перед пустыми стульями.

Но ничто не могло сломить энергии этого упрямого хохла, пришедшегося не по шерсти сонному городишке. Он, по собственному почину, укреплял кустарником речные берега, сажал хвойные деревья на песчаных пустырях и облеснял овраги. На эту тему мы и говорили с ним, свернувшись на обширном докторском диване.

— В оврагах у меня теперь столько нанесло снегу, что лошадь уйдет с дугой. А я радуюсь, как ребенок. В семь лет я поднял весеннюю высоту воды в нашей поганой Ворожe на четыре с половиной фута. Ах, если бы мне да рабочие руки! Если бы мне дали большую неограниченную власть над здешними лесами. Через несколько лет я бы сделал Мологу судоходной до самых истоков и поднял бы повсюду в районе урожайность хлебов на пятьдесят процентов. Клянусь госпо-

дом богом, в двадцать лет можно сделать Днепр и Волгу самыми полноводными реками в мире, — и это будет стоить копейки! Можно увлажнить лесными посадками и оросить арыками самые безводные губернии. Только сажайте лес. Берегите лес. Осушайте болота, но с толком...

— А что же ваше министерство смотрит? — спросил я лукаво.

— Наше министерство — это министерство непротивления злу, — ответил Турченко с горечью. — Всем все равно. Когда я еду по железной дороге и вижу сотни поездов, нагруженных лесом, вижу на станциях необозримые штабели дров, — мне просто плакать хочется. И сделай я сейчас доступными для плотов наши лесные речонки — все эти Звани, Ижины, Холменки, Ворожи, — знаете ли, что будет? Через два года уезд станет голым местом. Помещики моментально сплавят весь лес в Петербург и за границу. Честное слово, у меня иногда руки опускаются и голова трещит. В моей власти самое живое, самое прекрасное, самое плодотворное дело, и я связан, я ничего не смею предпринять, я никем не понят, я смешон, я беспокойный человек. Надоело. Тяжело. Посмотрите, что их всех интересует: поесть, поспать, выпить, поиграть в винтишко. Ничего не любят: ни родины, ни службы, ни людей, — любят только своих сопливых ребятишек. Никого ничем не разбудишь, не заинтересуешь. Кругом пошлость. Знаешь наперед, кто что скажет при любом обстоятельстве. Все оскудели умами, чувствами, даже простыми человеческими словами...

Мы замолчали. Из гостиной с четырех столов доносились до нас возгласы играющих:

«Скажу, пожалуй, малю-у-усенькие трефишки».

«Подробности письмом, Евграф Платоныч».

«Пять без козырей?»

«Подвинчиваете?»

«Наше дело-с».

«Рискнем... Малютка, шлем нося».

«Ваша игра. Мы в кусты».

«Да-а, куплено. Ни одного человеческого лица. Так и будет, как купили».

«Игра высокого давления».

«Что? Стала она призадумывать себя?»

«Васиїль Львович, больше четверти часа думать не полагается. Захаживайте».

«Ваше превосходительство, карты поближе к орденам. Я вашего валета бубен вижу».

«А вы не глядите...»

«Не могу, с детства такая привычка, если кто веером карты держит».

«Не угодно ли вам сей финик раскусить?»

Турченко нагнулся ко мне, улыбаясь, и сказал:

— Сейчас кто-нибудь скажет: «Не ходи одна, ходи с маменькой», а другой заметит: «Верно, как в аптеке».

«Какие же вы мне черви показывали? Валет сам третей с фосками? Это поддержка, по-вашему?»

«Я думал...»

«Думал индейский петух, да и тот подох от задумчивости».

«А вы зачем своего туза засолили? Мариновать его думаете?»

«Не с чего, так с бубен!»

«А что вы думаете об этой прекрасной даме?»

«А мы ее козырем».

«Правильно, — одобрил густым баритоном соборный священник, — не ходи одна, ходи с провожатым».

«Позвольте, позвольте, да вы, кажется, давеча козыря не давали?»

«Оставьте, батенька... Ребенка пришлите, не обсчитаем... У нас верно, как в палате мер и весов».

— Слушайте, Иван Иванович, — обратился я к лесничему, — не удрать ли нам? Знаете, по-английски, не прощаясь.

— Что вы, что вы, дорогой мой. Уйти без ужина, да еще не прощаясь. Худшего оскорбления для хозяина трудно придумать. Вовек вам не забудут. Прослывете невежей и зазнайкой.

Но толстый Петр Власович, еще больше разбухший и сизо побагровевший от жары, долгого сиденья и счастливой игры, уже встал от карт и говорил, обходя игроков:

— Господа, господа... Пирог стынет, и жена сердится. Господа, последняя партия.

Гости выходили из-за столов и, в веселом предвкушении выпивки и закуски, шумно толпились во всех дверях. Еще не утихали карточные разговоры: «Как же это вы, благодетель, меня не поняли? Я вам, кажется, ясно, как палец, сказал по первой руке бубны. У вас дама, десятка — сам-четверт». — «Вы, моя прелесть, обязаны были меня поддержать. А лезете на без козырей! Вы думаете, я ваших тузов не знал?» — «Да позвольте же, мне не дали разговориться, вот они как взвинтили». — «А вы — рвите у них. На то и винт. Трусы в карты не играют»...

Наконец хозяйка произнесла:

— Господа, милости прошу закусить.

Все потянулись в столовую, со смешком, с шуточками, возбужденно потирая руки. Стали рассаживаться.

— Мужья и жены врозь, — командовал весельчак хозяин. — Они и дома друг другу надоели.

И при помощи жены он так перетасовал гостей, что парочки, склонные к флирту или соединенные давнишней, всему городу известной связью, очутились вместе. Эта милая предупредительность всегда принята на семейных вечерах, и потому нередко, нагнувшись за упавшей салфеткой, одинокий наблюдатель увидит под столом переплетенные ноги, а также руки, лежащие на чужих коленях.

Пили очень много — мужчины «простую», «слезу», «государственную», дамы — рябиновку; пили за закуской, за пирогом, зайцем и телятиной. С самого начала ужина закурили, а после пирога стало шумно и дымно, и в воздухе замелькали руки с ножами и вилками.

Говорили о закусках и разных удивительных блюдах с видом заслуженных гастрономов. Потом об охоте, о замечательных собаках, о легендарных лошадях, о протодьяконах, о певицах, о театре и, наконец, о современной литературе.

Театр и литература — это неизбежные коньки всех русских обедов, ужинов, журфиксов и файф-о'клоков. Ведь каждый обыватель когда-нибудь да играл на

любительском спектакле, а в золотые дни студенчества неистовствовал на галерке в столичном театре. Точно так же каждый в свое время писал в гимназии сочинение на тему «Сравнительный очерк воспитания по «Домострою» и по «Евгению Онегину», и кто же не писал в детстве стихов и не сотрудничал в ученических газетах? Какая дама не говорит с очаровательной улыбкой: «Представьте, я вчера ночью написала огромное письмо моей кузине — шестнадцать почтовых листов кругом и мелко-мелко, как бисер. И это, вообразите, в какой-нибудь час, без единой помарки! Замечательно интересное письмо. Я нарочно попрошу Надю прислать мне его и прочту вам. На меня как будто нашло вдохновение. Как-то странно горела голова, дрожали руки, и перо точно само бегало по бумаге». И какая из провинциальных дам и девиц не доверяла вам для чтения вслух, вдвоем, своих классных дневников, поминутно вырывая у вас тетрадку и восклицая, что здесь нельзя читать?

Говорить, ходить по сцене и писать — всем кажется таким легким, пустячным делом, что эти два, самые доступные, по-видимому, своею простотой, но поэтому и самые труднейшие, сложные и мучительные из искусств — театр и художественная литература — находят повсеместно самых суровых и придирчивых судей, самых строптивых и пренебрежительных критиков, самых злобных и наглых хулителей.

Мы с Турченко сидели на конце стола и только слушали со скукой и раздражением этот беспорядочный, самоуверенный, крикливый разговор, поминутно сбивавшийся на клевету и сплетню, на подсматривание в чужие спальни. Лицо у Турченко было усталое и точно побурело изжелта.

— Нездоровится? — спросил я тихо.

Он поморщился.

— Нет... так... уж очень надоело... Все одно и то же долбят... дятлы.

Мировой судья, помещавшийся по правую руку от хозяйки, отличался очень длинными ногами и необыкновенно коротким туловищем. Поэтому, когда он сидел, то над столом, подобно музейным бюстам, возвы-

шались только его голова и половина груди, а концы его пышной раздвоенной бороды нередко окунались в соус. Пережевывая кусок зайца в сметанном соусе, он говорил с вескими паузами, как человек, привыкший к общему вниманию, и убедительно подчеркивал слова движениями вилки, зажатой в кулак:

— Не понимаю теперешних писателей... Извините. Хочу понять и не могу... отказываюсь. Либо балаган, либо порнография... Какое-то издевательство над публикой... Ты, мол, заплати мне рубль-целковый своих кровных денег, а я за это тебе покажу срамную ерунду.

— Ужас, ужас, что пишут! — простонала, схватившись за виски, жена акцизного надзирателя, уездная Мессалина, не обходившая вниманием даже своих кучеров. — Я всегда мою руки с *одеколоном* после их книг. И подумать, что такая литература попадает в руки нашим детям!

— Совершенно верно! — воскликнул судья и утонул бакенбардами в красной капусте. — А главное, при чем здесь творчество? вдохновение? ну, этот, как его... полет мысли? Так ведь и я напишу... так каждый из нас напишет... так мой письмоводитель настряпает, на что уж идиот совершеннейший. Возьми перетасуй всех ближних и дальних родственников, как колоду карт, и выбрасывай попарно. Брат влюбляется в сестру, внук соблазняет собственного дедушку... Или вдруг безумная любовь к ангорской кошке, или к дворникову сапогу... Ерунда и чепуха!

— А все это революция паршивая виновата, — сказал земский начальник, человек с необыкновенно узким лбом и длинным лицом, которого за наружность еще в полку прозвали кобылячьей головой. — Студенты учиться не хотят, рабочие бунтуют, повсеместно разврат. Брак не признают. «Любовь должна быть свободна». Вот вам и свободная любовь.

— А главное — жиды! — прохрипел с трудом седоусый, задыхающийся от астмы, помещик Дудукин.

— И масоны, — добавил твердо исправник, выслужившийся из городовых, миролюбивый взяточник, игрок и хлебосол, собственноручно подававший губернатору калоши при его проезде.

— Масоны не знаю, а жиды знаю, — сердито уперся Дудукин. — У них кагал. У них: один пролез — другого потащил. Непременно подписываются русскими фамилиями, и нарочно про Россию мерзости пишут, чтобы дескри... дескри... дескрити... ну, как его!.. словом, чтобы замарать честь русского народа.

А судья продолжал долбить свое, разводя руками с зажатыми в них вилкой и ножом и опрокидывая бородой рюмку:

— Не понимаю и не понимаю. Выверты какие-то... Вдруг ни с того ни с сего «О, закрой свои бледные ноги». Это что же такое, я вас спрашиваю? Что сей сон значит? Ну, хорошо, и я возьму и напишу: «Ах, спрячь твой красный нос!» и точка. И все. Чем же хуже, я вас спрашиваю?

— Или еще: в небеса запустил ананасом, — поддержал кто-то.

— Да-с, именно ананасом, — рассердился судья. — А вот я на днях прочитал у самого ихнего модного: «Летает буревестник, черной молнии подобный». Как? Почему? Где же это, позвольте спросить, бывает черная молния? Кто из нас видел молнию черного цвета? Чушь!

Я заметил, что при последних словах Турченко быстро поднял голову. Я оглянулся на него. Его лицо осветилось странной улыбкой — иронической и вызывающей. Казалось, что он хочет что-то возразить. Но он промолчал, дрогнул сухими скулами и опустил глаза.

— А главное, о чем пишут? — вдруг заволновался, точно мгновенно вскипевшее молоко, молчаливый страховой агент. — Там — символ символом, это их дело, но мне вовсе не интересно читать про пьяных босяков, про воришек, про... извините, барыни, про разных там проституток и прочее...

— Про повешенных тоже, — подсказал акцизный надзиратель, — и про анархистов, и еще про палачей.

— Верно, — одобрил судья. — Точно у них нет других тем. Писали же раньше... Пушкин писал, Толстой, Аксаков, Лермонтов. Красота! Какой язык! «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, светят звезды...» Эх, черт, какой язык был, какой слог!

— Удивительно! — сказал инспектор народных училищ, блестя умиленными глазками из-под золотых очков и потряхивая острой рыженькой бородкой. — Поразительно! А Гоголь! Божественный Гоголь! Помните у него...

И вдруг он загудел глухим, могильным, завывающим голосом и вслед за ним также затянул нараспев земский начальник:

— «Чу-уден Дне-епр при ти-ихой пого-о-де, когда вольно и пла-авно...» Ну, где найдешь еще такую красоту и музыку слов!..

Соборный священник сжал свою окладистую сивую бороду в кулак, прошел по ней до самого конца и сказал, упирая на «о».

— Из духовных были также почтенные писатели: Левитов, Лесков, Помяловский. Особенно последний. Обличал, но с любовью... хо-хо-хо... вселенская смазь... на воздусях... Но о духовном пении так писал, что и до сей поры, читая, невольно прольешь слезу.

— Да, наша русская литература, — вздохнул инспектор, — пала! А раньше-то? А Тургенев? А? «Как хороши, как свежи были розы». Теперь так уж не напишут.

— Куда! — прохрипел дворянин Дудукин. — Прежде дворяне писали, а теперь пошел разночинец.

Робкий начальник почтовой конторы вдруг зашепелявил:

— Однако теперь они какие деньги-то гребут! Ай-ай-ай... страшно вымолвить... Мне племянник студент летом рассказывал. Рубль за строку, говорит. Как новая строка — рубль. Например: «В комнату вошел граф» — рубль. Или просто с новой строки «да» — и рубль. По полтиннику за букву. Или даже еще больше. Скажем, героя романа спрашивают: «Кто отец этого прелестного ребенка?» А он коротко отвечает с гордостью: «Я». И пожалуйте: рубль в кармане.

Вставка начальника почтовой конторы точно открыла шлюз вонючему болоту сплетни. Со всех сторон посыпались самые достоверные сведения о жизни и заработках писателей. Такой-то купил на Волге старинное княжеское имение в четыре тысячи десятин с

усадьбою и дворцом. Другой женился на дочери нефтепромышленника и взял четыре миллиона приданого. Третий пишет всегда пьяным и выпивает в день четверть водки, а закусывает только пастилой. Четвертый отбил жену своего лучшего друга, а двое декадентов, те просто по взаимному уговору поменялись женами. Кучка модернистов составила тесный содомский кружок, известный всему Петербургу, а один знаменитый поэт странствует по Азии и Америке с целым гаремом, состоящим из женщин всех наций и цветов.

Теперь говорили все разом, и ничего нельзя было разобрать. Ужин подходил к концу. В недопитых рюмках и в тарелках с недоеденным лимонным желе торчали окурки. Гости наливались пивом и вином. Священник разлил на скатерть красное вино и старался засыпать лужу солью, чтобы не было пятна, а хозяйка уговаривала его с милой улыбкой, кривившей правую половину ее рта вверх, а левую вниз:

— Да оставьте, батюшка, зачем вам затруднять себя? Это отмоется.

Между дамами, подпившими рябиновки и наливки, уже несколько раз промелькнули неизбежные шпильки и намеки. Исправничиха похвалила жену страхового агента за то, что она с большим вкусом освежила свое прошлогоднее платье — «совсем и узнать нельзя». Страховиха ответила с нежной улыбкой, что она, к сожалению, не может по два раза в год выписывать себе новые платья из Новгорода, что они с мужем — люди хотя бедные, но честные, и что им неоткудова брать взяток. «Ах, взятки — это ужасная пошлость! — охотно согласилась исправничиха. — И вообще на свете много гадости, а вот еще бывает, что некоторых замужних дам поддерживают чужие мужчины». Это замечание перебила уже акцизная надзирательница и заговорила что-то о губернаторских калошах. В воздухе назревала буря, и уже висел над головами обычный трагический возглас: «Моей ноги не будет больше в этом доме!» — но находчивая хозяйка быстро предупредила катастрофу, встав из-за стола со словами:

— Прошу извинить, господа. Больше ничего нету.

Поднялась суматоха. Дамы с пылкой стремительностью целовали хозяйку, мужчины жирными губами лобызали у нее руку и тискали руку доктора. Большая часть гостей вышла в гостиную к картам, но несколько человек осталось в столовой допивать коньяк и пиво. Через несколько минут они запели фальшиво и в унисон «Не осенний мелкий дождичек», и каждый обеими руками управлял хором. Этим промежутком мы с лесничим воспользовались и ушли, как нас ни задерживал добрейший Петр Власович.

Ветер к ночи совсем утих, и чистое, безлунное, синее небо играло серебряными ресницами ярких звезд. Было призрачно светло от того голубоватого фосфорического сияния, которое всегда излучает из себя свежий, только что улегшийся снег.

Лесничий шел со мной рядом и что-то бормотал про себя. Я давно уже знал за ним эту его привычку разговаривать с самим собою, свойственную многим людям, живущим в безмолвии, — рыбакам, лесничим, ночным караульщикам, а также тем, которые перенесли долголетнее одиночное заключение, — и я перестал обращать на эту привычку внимание.

— Да, да, да... — бросал он отрывисто из воротника шубы. — Глупо... Да... Гм... Глупо, глупо... И грубо... Гм...

На мосту через Ворожу горел фонарь. С всегдашним странным чувством немного волнующей, приятной бережности ступал я на ровный, прекрасный, ничем не запятнанный снег, мягко, упруго и скрипуче подававшийся под ногою. Вдруг Турченко остановился около фонаря и обернулся ко мне.

— Глупо! — сказал он громко и решительно. — Поверьте мне, милый мой, — продолжал он, слегка прикасаясь к моему рукаву, — поверьте, не режим правительства, не скудость земли, не наша бедность и темнота виноваты в том, что мы, русские, плетемся в хвосте всего мира. А все это сонная, ленивая, ко всему равнодушная, ничего не любящая, ничего не знающая провинция, все равно — служащая, дворянская, купе-

ческая или мещанская. Посмотрите на них, на сегодняшних. Сколько апломба, сколько презрения ко всему, что вне их куриного кругозора! Так, походя, и развешивают ярлыки: «Ерунда, чепуха, вздор, дурак...» Попугаи! И главное, — он, видите ли, этого и этого не понимает, и, стало быть, это уже плохо и смешно. Так ведь он дифференциального исчисления не понимает — значит, и оно чепуха? И Пушкина не понимали. И Чехова недавно не понимали. Говорили о его «Степи»: что за чушь — овечьи мысли! Да разве овцы думают? «Цветы улыбались мне в тишине, спросонок...» Ерунда! Разве цветы когда-нибудь смеются! И нынче ведь тоже. «Я, говорит, сам так напишу...»

— А насчет черной молнии? — спросил я.

— Да, да... «Где же это бывает черная молния?» Премилый человек этот судья, но что он видел в своей жизни? Он — школьный и кабинетный продукт... А я вам скажу, что я сам, собственными глазами, видел черную молнию и даже раз десять подряд. Это было страшно.

— Вот как, — молвил я недоверчиво.

— Именно так. Я с детства в лесу, на реке, в поле. Я видел и слышал поразительные вещи, о которых не люблю рассказывать, потому что все равно не поверят. Я, например, наблюдал не только любовные хороводы журавлей, где все они пляшут и поют огромным кругом, а парочка танцует посредине, — я видел их суд над слабым перед осенним отлетом. Я мальчишкой-реалистом, живучи в Полесье, видел град с большой мужской кулак величиною, гладкими ледышками, но не круглой формы, а в виде как бы шляпки молодого белого гриба, и плоская сторонка слоистая. В пять минут этот град разбил все окна в большом помещичьем доме, оголил все тополи и липы в саду, а в поле убил насмерть множество мелкого скота и двух подпасков. Глубокой зимою, в день ужасного мессинского землетрясения, утром, я был с гончими у себя на Бильдине. И вот часов в десять — одиннадцать на совершенно безоблачном небе вдруг расцвела радуга. Она обоими концами касалась горизонта, была необыкновенно ярка и имела в ширину

градусов сорок пять, а в высоту двадцать — двадцать пять. Под ней, такой же яркой, изгибалась другая радуга, но несколько слабее цветом, а дальше третья, четвертая, пятая, и все бледнее и бледнее — какой-то сказочный семицветный коридор. Это продолжалось минут пятнадцать. Потом радуги растаяли, набежали мгновенно бог знает откуда тучи и повалил сплошной снежище.

Я видел лесные пожары. Я видел, как ураган валил пятисаженный сухостой. Да, я был тогда в лесу с объездчиком, лесниками и рабочими, и на моих глазах сотни громадных деревьев валились, как спички. Тогда объездчик Нелидкин стал на колени и снял шапку. И все сделали то же самое. И я. Он читал «Отче наш», и мы крестились, но мы не слышали его голоса из-за треска падающих деревьев и ломающихся сучьев. Вот, что я видел в своей жизни. Но также я видел и черную молнию, и это было ужаснее всего. Постойте, — перебил Турченко себя, — мы у моего дома. Зайдем ко мне. Михеевна будет ругаться, но ничего. Я вас за это угощу третьегодняшним квасом. Сегодня, благословясь, почнем.

Михеевна, старая суровая служанка лесничего, и его чудный яблочный квас были известны всему городу. Старуха приняла нас строго и долго ворчала, бродя со свечой по комнатам и лазая по шкафам: «Непутевые, полуночники, мало им дня, по ночам бродят, добрым людям спать не дают». Но квас был выше всех похвал. Он бродил долго сначала в дубовой бочке на хмеле и на дрожжах, с изюмом, коньяком и каким-то ликером, потом отстаивался три года в бутылках и теперь был крепок, играл, как шампанское, и весело и холодно сушил во рту, немного пьянил и в то же время освежал.

— Вот как это было, — говорил Турченко, расхаживая в заячьей курточке по своему кабинету, увешанному картинами с изображением тигров. — Я студентом приехал на каникулы в самую глушь Тверской губернии к своему двоюродному брату Николаю — к Коке, — так мы его называли. Он был когда-то блестящим молодым человеком, с лицейским образова-

нием, с большими связями и великолепной карьерой впереди, и прекрасно танцевал на настоящих светских балах, обожал актрис из французской оперетки и новодеревенских цыганок, пил шампанское, по его словам, как крокодил, и был душой общества. Но в один миг, буквально вмиг, все Кокино благополучие рухнуло. Однажды утром он проснулся и с ужасом убедился в том, что всю правую сторону его тела разбил паралич. Из самолюбия и из гордости он обрек себя на добровольное изгнание и поселился в деревне.

Но он вовсе не утратил ясности и бодрости духа и с легкой иронией называл себя велосипедистом, потому что принужден был передвигаться, сидя в трехколесном кресле, которое сзади катил его слуга Яков. Он много ел и пил, много спал, писал на пишущей машинке пресмешные нецензурные письма в стихах и часто менял деревенских любовниц, которым давал громкие имена королевских фавориток, вроде Лавальер, Монтеспан и Помпадур.

Однажды, заряжая или разряжая браунинг, с которым Кока никогда не расставался, он прострелил своему Якову ногу. По счастию, пуля попала очень удачно, пройдя сквозь мякоть ляжки и пробив, кроме того, две двери навылет. Это событие почему-то тесно сдружило барина и слугу. Они положительно не могли жить друг без друга, хотя и ссорились нередко: Кока, рассердясь, тыкал метко Якову в живот костылем, а Яков тогда сбегал на несколько часов из дому и не являлся на зов, оставляя Коку в беспомощном состоянии.

Яков был в душе прекрасный охотник: неутомимый, несмотря на свою хромоту, с хорошей памятью местности, с большим знанием тех неуловимых причин, по которым угадываешь качество и количество дичи. Мы с ним часто ходили на простую мужицкую, очень трудную охоту, то есть без собаки, а с подкраду, требующую большого внимания и терпения. Надо сказать, что Кока неохотно отпускал со мною Якова, — без него он был, как без своих единственных руки и ноги. Поэтому, чтобы выпросить Якова, приходилось прибегать к хитростям. Ничто так не располагало Коку,

к великодушию, как расспросы о его прежней веселой жизни, когда он считался львом гостиных и милым завсегдатаем шикарных ресторанов.

И так однажды, заведя эту Кокину шарманку и нальстив ему без всякой меры, я умудрился похитить Якова на целую неделю. Пошли мы с ним в дальнюю деревущку Бурцево, где у Коки были лесные участки и славные болотца. Бурцевский мужик Иван, он же и Кокин лесник, говорил, что на Высоком, в Раменье и на Блинове развелось столько глухарей, тетерок, рябчиков, бекасов, дупелей и уток, что просто видимо-невидимо. «Хоть палкой бей, хоть шапкой накрывай».

Мы долго собирались, поздно вышли и пришли в Бурцево к вечерней заре. Ивана не было, он, оказывается, ушел к свояку в Окунево, где праздновали престол. Приняла нас его жена Авдотья, худая пучеглазая баба, похожая лицом на рыбу, и такая веснушчатая, что белая кожа только лишь кое-где редкими проблесками проступала на ее щеках сквозь коричневую маску.

В избе было душно, жужжало множество мух и пахло чем-то противно кислым. В зыбке верещал без умолка ребенок. Авдотья захлопотала.

— Мой-то еще, не знаю, — вернется, не вернется ли. Больно ладное пиво варят в Окуневе. А где пиво — там и Иван. Да вы погодите, кормильцы, я вас своим пивом напою. На спаса варила... Не гораздо густо пиво-то, доливали мы его, а вкусное было да сладкое.

Она подняла за кольцо тяжелую крышку подвала, спустилась туда и через минуту вылезла с большим ковшом домашнего пива. Пока она разливала нам его, я спросил, указав на кричавшего младенца:

— Сколько месяцев ребенку-то?

— Ме-ся-цев? — удивилась баба. — Что ты, кормилец, господь с тобой. Только вчера вечером ро́дила. Какой там месяцев? Вчера ровно в это время ро́дила. Кушайте, кормильцы, не знаю, как звать-то вас... Вчера только ро́дила. Вот как.

Я невольно сказал:

— Вот так фунт.

Но Яков заметил равнодушно и презрительно:

— Это им нипочем. Они привычны. Им — как чихнуть.

Иван все не приходил, должно быть загулял. Пиво было теплое, и в нем плавали мухи. На стены, ради невиданных гостей, сползались из всех углов тараканы. Мы поглядели, посидели и пошли спать в сарай на сено. Не люблю я спать на болотном сене. Сучки какие-то и толстые стебли прут в спину, голова затекает, в носу крутит от мелкой сенной пыли, нельзя курить. Долго я не мог заснуть и все прислушивался к ночным звукам: коровы и лошади где-то сильно и тяжело вздыхали, переступали ногами, ворочались и время от времени тяжело и густо шлепали, перепела кричали в далеких росистых овсах, скрипел своим деревянным скрипом неутомимый дергач.

Заснул я перед зарей, а встали мы очень поздно, в девять часов. Было уже жарко. День обещал быть знойным. Небо простиралось бледное, томное, изнемогающее, похожее цветом на голубой выцветший и вылинявший шелк.

Ивана все еще не было. Мы пошли одни. Сельцо — вернее, выселки — Бурцево состояло всего из трех дворов и расположилось на вершине большого холма, по отлогостям которого спускались пашни и поля. А подножие холма упиралось в болото, растянувшееся бог знает на сколько сот, может быть даже тысяч, десятин. Верстах в трех вдали виднелся волнистый синий хребет — сосновый лес на островке Высоком, куда вела узкая извилистая непроезжая тропинка. Вся же остальная окрестность была сплошь покрыта мелким кустарником, среди которого там и сям блестели на солнце, точно капли разбросанной ртути, изгибы местных болотистых речонок: Тристенки, Холменки и Звани.

Тяжелый нам выдался день. Парило невыносимо, и через час мы были так мокры от пота, что хоть выжимай. Надоедливая микроскопическая мошкара вилась кучами над головой, залезала в глаза, в нос, в уши и доводила до бессильного бешенства, когда с яростью хлопаешь себя по щекам, размазывая насекомых по лицу, как кашу.

Много раз мы с Яковом теряли друг друга в густом, местами непроходимом кустарнике. Один раз сучок задел за собачку моего ружья, и оно нежданно выстрелило. От мгновенного испуга и от громкого выстрела у меня тотчас же разболелась голова и так и не переставала болеть целый день, до вечера. Сапоги промокли, в них хлюпала вода, и отяжелевшие, усталые ноги каждую секунду спотыкались о кочки. Кровь тяжело билась под черепом, который мне казался огромным, точно разбухшим, и я чувствовал больно каждый удар сердца.

Приходилось то и дело переходить речонки вброд или по лавам, которые представляют из себя не что иное, как два или три тонких деревца, связанных лыком или прутьями, переброшенных поперек реки и укрепленных несколькими парами шатких кольев, вколоченных в дно. Но всего неприятнее были переходы по открытым местам, совсем голубым от бесчисленных незабудок, от которых так остро, травянисто и приторно пахло. Здесь почва ходила и зыбилась под ногами, а из-под ног, хлюпая, била фонтанчиками черная вонючая вода.

Мы заблудились и лишь далеко за полдень добрались до Высокого. Небо теперь было все в тяжелых, неподвижных, пухлых облаках. Мы поели холодного мяса с хлебом, напились воды, пахнувшей ржавчиной и болотным газом, потом развели из можжевельника ароматный костер от комаров и — сам уж не знаю, как это случилось, — заснули внезапным тяжелым сном.

Я первый проснулся. Все вокруг страшно, грозно и жутко потемнело, а зелень болотного кустарника качалась и отливала серой сталью. Все небо обложили громоздкие лиловые и фиолетовые тучи с разорванными серыми краями. Начинал вдали глухо ворчать гром. Я заторопился.

— Ну, Яков, домой. Дай бог добраться. Ходу!

Но, сойдя с острова, возвышавшегося среди болота, мы тотчас же заблудились и стали без толку бродить зигзагами по кустарнику, отступая в сторону от рек, обходя трясины и густые чащобы, теряя друг друга, спеша, путаясь и сердясь.

Стало уже совсем темно, и гром рокотал еще далеко, но уже не затихая ни на мгновение, когда Яков, шедший впереди и казавшийся мне издали темным, длинным, неясным, шатающимся столбом, вдруг крикнул:

— Есть дорога!

Да, это была узкая, болотная дорога, кое-где укрепленная поперек хворостом, со следами лошадиного помета. И к нашей радости, мы тотчас услыхали невдалеке стук телеги. Быстро-быстро, совсем заметно для глаза, надвигалась тьма. Только на западе, низко над землей, рдела узкая длинная кровавая полоса, отороченная сверху тесьмой из расплавленного золота.

Подъехала телега. В ней сидело двое: баба правила, дергая локтями и вытянув прямо перед собою ноги, как умеют сидеть только деревенские женщины, а старик, немного хмельной, дремал позади. Он проснулся, когда испугавшаяся нас лошадь стала храпеть, артачиться и боком лезть в болото. Мы стали расспрашивать старика про дорогу на Бурцево. Но он тянул и мямлил:

— На Бурцево вам, милые? А вы сами-то чьи будете?

— Ничьи. Из Демцына. От Николая Всеволодыча.

— Знаем, знаем. Только вы, милые, не туда идете. Вам надо податься сейчас во-он куда, прямо на восход. Прямо по стрелябии. Вы что же, рендатели будете в Демцыне?

— Нет, я проезжий, родич демцынского барина.

— А, так, так, так... Сродственник, значит? До Бурцева вам эвона прямо куда. Так прямо по стрелябии и вдаряйте. С охотой, значит, ходили?..

Но мы не успели ответить. Из кустов послышалось пугливое коканье, хлопанье мощных крыльев, и шагах в десяти от нас с шумом поднялся большой тетеревиный выводок, чернея на алой полосе зари. Мы с Яковом почти одновременно выстрелили, не целясь, раз за разом из обоих стволов и, конечно, промахнулись. А телега уже мчалась от нас, прыгая и кося боками на ухабах. Напрасно мы бежали за ней, крича старику остановиться. Он без шапки, стоя на-

хлестывал кнутом лошаденку, длинный, тощий, несуразный, и, со страхом оборачиваясь назад, кричал что-то злым шамкающим голосом.

Опять мы остались одни. Я предложил было не оставлять дороги, но Яков убедил меня в том, что до Бурцева два шага, а что стариковская дорога ведет в Ченцово, до которого еще добрых пятнадцать верст, — и я согласился с ним. И опять мы полезли в черное, сырое болото. Сходя с дороги, я обернулся назад. Красной полосы уже не было на небе, точно ее задернули занавесом; и мне вдруг сделалось грустно и тоскливо. Не стало больше видно ничего: ни туч, ни кустарника, ни Якова, шедшего со мною рядом, — была одна мокрая, густая тьма. Сверкнула первая молния — наверху загрохотало и оборвалось сухим треском, за ней другая, третья. Потом пошло и пошло без перерыва.

Это была одна из тех ужасных гроз, которые разражаются иногда над большими низменностями. Небо не вспыхивало от молний, а точно все сияло их трепетным голубым, синим и ярко-белым блеском. И гром не смолкал ни на мгновение. Казалось, что там наверху идет какая-то бесовская игра в кегли высотою до неба. С глухим рокотом катились там неимоверной величины шары, все ближе, все громче, и вдруг — тррах-та-та-трах — падали разом исполинские кегли.

И вот я увидал черную молнию. Я видел, как от молнии колыхало на востоке небо, не потухая, а все время то развертываясь, то сжимаясь, и вдруг на этом колеблющемся огнями голубом небе я с необычайной ясностью увидел мгновенную и ослепительно черную молнию. И тотчас же вместе с ней страшный удар грома точно разорвал пополам небо и землю и бросил меня вниз, на кочки. Очнувшись, я услышал сзади себя дрожащий, слабый голос Якова.

— Барин, что же это, господи... Погибнем, царица небесная... Молния... черная... господи, господи...

Я приказал ему сурово, собрав всю последнюю силу воли:

— Вставай. Идем. Не ночевать же здесь.

О, что это была за ужасная ночь! Эти черные молнии наводили на меня необъяснимый животный страх.

Я до сих пор не могу понять причины этого явления: была ли здесь ошибка нашего зрения, напряженного беспрестанной игрой молнии по всему небу, имело ли особое значение случайное расположение туч, или свойства этой проклятой болотной котловины? Но иногда я чувствовал, что теряю с каждой секундой разум и самообладание. Мне, помню, все хотелось закричать диким, пронзительным голосом, по-заячьи. И я все шел вперед, лепеча богу, точно перепуганный ребенок, несвязные, нелепые молитвы: «Миленький бог, добрый, хороший бог, спаси меня, прости меня. Я никогда не буду». И тут же, зацепившись за кочку, летел локтем в жидкую грязь и остервенело ругался самыми скверными словами.

Вдруг я услышал невдалеке голос Якова, страшный, захлебывающийся голос, от которого я задрожал:

— Барин, утопаю... Спасите, Христа ради... Тону... А-а-а!..

Я кинулся к нему на слух и при непереносимом ослепительном свете черной молнии увидел не его, а лишь его голову и туловище, торчащие из трясины. Никогда не забуду этих выпученных, омертвелых от безумного ужаса глаз. Я никогда бы не поверил, что у человека глаза могут стать такими белыми, огромными и чудовищно страшными.

Я протянул ему ствол ружья, держась сам одной рукой за приклад, а другой за несколько зажатых вместе ветвей ближнего куста. Мне было не под силу вытянуть его. «Ложись! Ползи!» — закричал я с отчаянием. И он тоже ответил мне высоким звериным визгом, который я с ужасом буду вспоминать до самой смерти. Он не мог выбраться. Я слышал, как он шлепал руками по грязи, при блеске молний я видел его голову все ниже и ниже у своих ног и эти глаза... глаза... Я не мог оторваться от них...

Под конец он уже перестал кричать и только дышал часто-часто. И когда опять разверзла небо черная молния, ничего не было видно на поверхности болота.

Как я шел по колеблющимся, булькающим, вонючим трясинам, как залезал по пояс в речонки, как, наконец, добрел до стога и как меня под утро нашел

услышавший мои выстрелы бурцевский Иван, не стоит и говорить...

Турченко несколько минут молчал, низко склонившись над своим стаканом и ероша волосы. Потом вдруг быстро поднял голову и выпрямился. Его широко раскрытые глаза были гневны.

— То, что я сейчас рассказал, — крикнул он, — было не случайным анекдотом по поводу дурацкого слова обывателя. Вы сами видели сегодня болото, вонючую человеческую трясину! Но черная молния! Черная молния! Где же она? Ах! Когда же она засверкает?

Он медленно закрыл глаза, а через минуту уставшим голосом сказал ласково:

— Извините, дорогой мой, за многословие. Ну, давайте выпьем бутылочку моего сидра.

АНАФЕМА

— Отец дьякон, полно тебе свечи жечь, не напасешься, — сказала дьяконица. — Время вставать.

Эта маленькая, худенькая, желтолицая женщина, бывшая епархиалка, обращалась со своим мужем чрезвычайно строго. Когда она была еще в институте, там господствовало мнение, что мужчины — подлецы, обманщики и тираны, с которыми надо быть жестокими. Но протодьякон вовсе не казался тираном. Он совершенно искренно боялся своей немного истеричной, немного припадочной дьяконицы. Детей у них не было, дьяконица оказалась бесплодной. В дьяконе же было около девяти с половиной пудов чистого веса, грудная клетка — точно корпус автомобиля, страшный голос, и при этом та нежная снисходительность, которая свойственна только чрезвычайно сильным людям по отношению к слабым.

Приходилось протодьякону очень долго устраивать голос. Это противное, мучительно-длительное занятие, конечно, знакомо всем, кому случалось петь публично: смазывать горло, полоскать его раствором борной кислоты, дышать паром. Еще лежа в постели, отец Олимпий пробовал голос.

— Via... кмм!.. Via-a-a!.. Аллилуия, аллилуия... Обаче... кмм!.. Ма-ма... Мам-ма...

«Не звучит голос», — подумал он. — Вла-ды-ко-бла-го-сло-ви-и-и... Км...

Совершенно так же, как знаменитые певцы, он был подвержен мнительности. Известно, что актеры бледнеют и крестятся перед выходом на сцену. Отец Олимпий, вступая в храм, крестился по чину и по обычаю. Но нередко, творя крестное знамение, он также бледнел от волнения и думал: «Ах, не сорваться бы!» Однако только один он во всем городе, а может быть, и во всей России, мог бы заставить в тоне ре-фис-ля звучать старинный, темный, с золотом и мозаичными травками старинный собор. Он один умел наполнить своим мощным звериным голосом все закоулки старого здания и заставить дрожать и звенеть в тон хрустальные стекляшки на паникадилах.

Жеманная, кислая дьяконица принесла ему жидкого чаю с лимоном и, как всегда по воскресеньям,— стакан водки. Олимпий еще раз попробовал голос:

— Ми... ми... фа... Ми-ро-но-сицы... Эй, мать,— крикнул он в другую комнату дьяконице,— дай мне ре на фисгармонии.

Жена протянула длинную, унылую ноту.

— Км... км... колеснице-гонителю фараону... Нет, конечно, спал голос. Да и черт подсунул мне этого писателя, как его?

Отец Олимпий был большой любитель чтения, читал много и без разбора, а фамилиями авторов редко интересовался. Семинарское образование, основанное главным образом на зубрежке, на читке «устава», на необходимых цитатах из отцов церкви, развило его память до необыкновенных размеров. Для того чтобы заучить наизусть целую страницу из таких сложных писателей-казуистов, как Блаженный Августин, Тертуллиан, Ориген Адамантовый, Василий Великий и Иоанн Златоуст, ему достаточно было только пробежать глазами строки, чтобы их запомнить наизусть. Книгами снабжал его студент из Вифанской академии Смирнов, и как раз перед этой ночью он принес ему прелестную повесть о том, как на Кавказе жили солдаты, казаки, чеченцы, как убивали друг друга, пили вино, женились и охотились на зверей.

Это чтение взбудоражило стихийную протодьяконскую душу. Три раза подряд прочитал он повесть и

часто во время чтения плакал и смеялся от восторга, сжимал кулаки и ворочался с боку на бок своим огромным телом. Конечно, лучше бы ему было быть охотником, воином, рыболовом, пахарем, а вовсе не духовным лицом.

В собор он всегда приходил немного позднее, чем полагалось. Так же, как знаменитый баритон в театр. Проходя в южные двери алтаря, он в последний раз, откашливаясь, попробовал голос: «Км, км... звучит в ре, — подумал он. — А этот подлец непременно задаст в до диэз. Все равно, я переведу хор на свой тон».

В нем проснулась настоящая гордость любимца публики, баловня всего города, на которого даже мальчишки собирались глазеть с таким же благоговением, с каким они смотрят в раскрытую пасть медного геликона в военном оркестре на бульваре.

Вошел архиепископ и торжественно был водворен на свое место. Митра у него была надета немного на левый бок. Два иподиакона стояли по бокам с кадилами и в такт бряцали ими. Священство в светлых праздничных ризах окружало архиерейское место. Два священника вынесли из алтаря иконы спасителя и богородицы и положили их на аналой.

Собор был на южный образец, и в нем, наподобие католических церквей, была устроена дубовая резная кафедра, прилепившаяся в углу храма, с винтовым ходом вверх.

Медленно, ощупывая ступеньку за ступенькой и бережно трогая руками дубовые поручни — он всегда боялся, как бы не сломать чего-нибудь по нечаянности, — поднялся протодьякон на кафедру, откашлялся, потянул из носа в рот, плюнул через барьер, ущипнул камертон, перешел от до к ре, и начал:

— Благослови, преосвященнейший владыко.

«Нет, подлец-регент, — подумал он, — ты при владыке не посмеешь перевести мне тон». С удовольствием он в эту минуту почувствовал, что его голос звучит гораздо лучше, чем обыкновенно, переходит свободно

из тона в тон и сотрясает мягкими глубокими вздохами весь воздух собора.

Шел чин православия в первую неделю великого поста. Пока отцу Олимпию было немного работы. Чтец бубнил неразборчиво псалмы, гнусавил дьякон из академиков — будущий профессор гомилетики.

Протодьякон время от времени рычал: «Вонмем»... «Господу помолимся». Стоял он на своем возвышении, огромный, в золотом парчовом негнувшемся стихаре, с черными с сединой волосами, похожими на львиную гриву, и время от времени постоянно пробовал голос. Церковь была вся набита какими-то слезливыми старушонками и седобородыми толстопузыми старичками, похожими не то на рыбных торговцев, не то на ростовщиков.

«Странно, — вдруг подумал Олимпий, — отчего это у всех женщин лица, если глядеть в профиль, похожи либо на рыбью морду, либо на куриную голову... Вот и дьяконица тоже...»

Однако профессиональная привычка заставляла его все время следить за службой по требнику XVII столетия. Псаломщик кончил молитву: «Всевышний боже, владыко и создателю всея твари». Наконец — аминь.

Началось утверждение православия.

«Кто бог велий, яко бог наш; ты еси бог, творяй чудеса един».

Распев был крюковой, не особенно ясный. Вообще последование в неделю православия и чин анафематствования можно видоизменять как угодно. Уже того достаточно, что святая церковь знает анафематствования, написанные по специальным поводам: проклятие Ивашке Мазепе, Стеньке Разину, еретикам: Арию, иконоборцам, протопопу Аввакуму и так далее, и так далее.

Но с протодьяконом случилось сегодня что-то странное, чего с ним еще никогда не бывало. Правда, его немного развезло от той водки, которую ему утром поднесла жена.

Почему-то его мысли никак не могли отвязаться от той повести, которую он читал в прошедшую ночь, и постоянно в его уме, с необычайной яркостью, всплы-

вали простые, прелестные и бесконечно увлекательные образы. Но, безошибочно следуя привычке, он уже окончил символ веры, сказал «аминь» и по древнему ключевому распеву возгласил: «Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди».

Архиепископ был большой формалист, педант и капризник. Он никогда не позволял пропускать ни одного текста ни из канона преблаженного отца и пастыря Андрея Критского, ни из чина погребения, ни из других служб. И отец Олимпий, равнодушно сотрясая своим львиным ревом собор и заставляя тонким дребезжащим звуком звенеть стеклышки на люстрах, проклял, анафемствовал и отлучил от церкви: иконоборцев, всех древних еретиков, начиная с Ария, всех держащихся учения Итала, немонаха Нила, Константина-Булгариса и Ириника, Варлаама и Акиндина, Геронтия и Исаака Аргира, проклял обидящих церковь, магометан, богомолов, жидовствующих, проклял хулящих праздник благовещения, корчемников, обижающих вдов и сирот, русских раскольников, бунтовщиков и изменников: Гришку Отрепьева, Тимошку Акундинова, Стеньку Разина, Ивашку Мазепу, Емельку Пугачева, а также всех принимающих учение, противное православной вере.

Потом пошли проклятия категорические: не приемлющим благодати искупления, отмещущим все таинства святые, отвергающим соборы святых отцов и их предания.

«Помышляющим, яко православнии государи возводятся на престолы не по особливому от них божию благоволению, и при помазании дарования святаго духа к прохождению великого сего звания в них не изливаются, и тако дерзающим противу их на бунт и измену. Ругающим и хулящим святые иконы». И на каждый его возглас хор уныло отвечал ему нежными, стонущими, ангельскими голосами: «Анафема».

Давно в толпе истерически всхлипывали женщины.

Протодьякон подходил уже к концу, как к нему на кафедру взобрался псаломщик с краткой запиской от отца протоиерея: по распоряжению преосвященней-

шего владыки анафемствовать болярина Льва Толстого. «См. требник, гл. л.» — было приписано в записке.

От долгого чтения у отца Олимпия уже болело горло. Однако он откашлялся и опять начал: «Благослови, преосвященнейший владыко». Скорее он не расслышал, а угадал слабое бормотание старенького архиерея:

«Протодиаконство твое да благословит господь бог наш, анафемствовати богохульника и отступника от веры Христовой, блядословно отвергающего святые тайны господни болярина Льва Толстого. Во имя отца, и сына, и святаго духа».

И вдруг Олимпий почувствовал, что волосы у него на голове топорщатся в разные стороны и стали тяжелыми и жесткими, точно из стальной проволоки. И в тот же момент с необыкновенной ясностью всплыли прекрасные слова вчерашней повести:

«...Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые вились над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него.

— Дура, дура! — заговорил он. — Куда летишь? Дура! Дура! — Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек.

— Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много, — приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить. — Сама себя губишь, а я тебя жалею».

«Боже мой, кого это я проклинаю? — думал в ужасе дьякон. — Неужели его? Ведь я же всю ночь проплакал от радости, от умиления, от нежности».

Но, покорный тысячелетней привычке, он ронял ужасные, потрясающие слова проклятия, и они падали в толпу, точно удары огромного медного колокола...

...Бывший поп Никита и чернцы Сергий, Савватий да Савватий же, Дорофей и Гавриил... святые церковные таинства хулят, а покаяться и покориться истинной церкви не хощут; все за такое богопротивное дело да будут прокляти...

Он подождал немного, пока в воздухе не устоится его голос. Теперь он был красен и весь в поту. По

обеим сторонам горла у него вздулись артерии, каждая в палец толщиной.

«А то раз сидел на воде, смотрю — зыбка сверху плывет. Вовсе целая, только край отломан. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой-то черт: взял за ножки да об угол! Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили, и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить».

...Хотя искусити дух господень по Симону волхву и по Ананию и Сапфире, яко пес возвращаяся на свои блевотины, да будут дни его мали и зли, и молитва его да будет в грех, и диавол да станет в десных его и да изыдет осужден, в роде едином да погибнет имя его, и да истребится от земли память его... И да приидет проклятство и анафема не точию сугубо и трегубо, но многогубо... Да будут ему каиново трясение, гиезиево прокажение, иудино удавление, Симона волхва погибель, ариево тресновение, Анании и Сапфири внезапное издохновение... да будет отлучен и анафемствован и по смерти не прощен, и тело его да не рассыплется и земля его да не приимет, и да будет часть его в геенне вечной и мучен будет день и нощь...

Но четкая память все дальше и дальше подсказывала ему прекрасные слова:

«Все бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше живет и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что бог дал, то и лопает. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что все одна фальшь».

Протодьякон вдруг остановился и с треском захлопнул древний требник. Там дальше шли еще более ужасные слова проклятий, те слова, которые, наряду с чином исповедания мирских человек, мог выдумать только узкий ум иноков первых веков христианства.

Лицо его стало синим, почти черным, пальцы судорожно схватились за перила кафедры. На один момент ему казалось, что он упадет в обморок. Но он спра-

вился. И напрягая всю мощь своего громадного голоса, он начал торжественно:

— Земной нашей радости, украшению и цвету жизни, воистину Христа соратнику и слуге, болярину Льву...

Он замолчал на секунду. А в переполненной народом церкви в это время не раздавалось ни кашля, ни шепота, ни шарканья ног. Был тот ужасный момент тишины, когда многосотенная толпа молчит, подчиняясь одной воле, охваченная одним чувством. И вот глаза протодьякона наполнились слезами и сразу покраснели, и лицо его на момент сделалось столь прекрасным, как прекрасным может быть человеческое лицо в экстазе вдохновения. Он еще раз откашлянулся, попробовал мысленно переход в два полутона и вдруг, наполнив своим сверхъестественным голосом громадный собор, заревел:

— ...Многая ле-е-е-та-а-а-а.

И вместо того чтобы по обряду анафемствования опустить свечу вниз, он высоко поднял ее вверх.

Теперь напрасно регент шипел на своих мальчуганов, колотил их камертоном по головам, зажимал им рты. Радостно, точно серебряные звуки архангельских труб, они кричали на всю церковь: «Многая, многая, многая лета».

На кафедру к отцу Олимпию уже взобрались: отец настоятель, отец благочинный, консисторский чиновник, псаломщик и встревоженная дьяконица.

— Оставьте меня... Оставьте в покое, — сказал отец Олимпий гневным, свистящим шепотом и пренебрежительно отстранил рукой отца благочинного. — Я сорвал себе голос, но это во славу божию и его... Отойдите!

Он снял в алтаре свои парчовые одежды, с умилением поцеловал, прощаясь, орарь, перекрестился на запрестольный образ и сошел в храм. Он шел, возвышаясь целой головой над народом, большой, величественный и печальный, и люди невольно, со странной боязнью, расступались перед ним, образуя широкую дорогу. Точно каменный, прошел он мимо архиерей-

ского места, даже не покосившись туда взглядом, и вышел на паперть.

Только в церковном сквере догнала его маленькая дьяконица и, плача и дергая его за рукав рясы, залепетала:

— Что же ты это наделал, дурак окаянный!.. Наглотался с утра водки, нечестивый пьяница. Ведь еще счастье будет, если тебя только в монастырь упекут нужники чистить, бугай ты черкасский. Сколько мне порогов обить теперь из-за тебя, ирода, придется. Убоище глупое! Заел мою жизнь!

— Все равно, — прошипел, глядя в землю, дьякон. — Пойду кирпичи грузить, в стрелочники пойду, в катали, в дворники, а сан все равно сложу с себя. Завтра же. Не хочу больше. Не желаю. Душа не терпит. Верую истинно, по символу веры, во Христа и в апостольскую церковь. Но злобы не приемлю. «Все бог сделал на радость человеку», — вдруг произнес он знакомые прекрасные слова.

— Дурак ты! Верзило! — закричала дьяконица. — Скажите — на радость! Я тебя в сумасшедший дом засажу, порадуешься там!.. Я пойду к губернатору, до самого царя дойду... Допился до белой горячки, бревно дубовое.

Тогда отец Олимпий остановился, повернулся к ней и, расширяя большие воловьи гневные глаза, произнес тяжело и сурово:

— Ну?!

И дьяконица впервые робко замолкла, отошла от мужа, закрыла лицо носовым платком и заплакала.

А он пошел дальше, необъятно огромный, черный и величественный, как монумент.

СЛОНОВЬЯ ПРОГУЛКА

Слону Зембо было около двухсот девяноста лет, может быть, немного больше, может быть, немного меньше. Во всяком случае, он лишь изредка в дремоте по утрам вспоминал, как его ловили в Индии, как его перевозили на пароходе, по железным дорогам и в громадных железных клетках на колесах; как у Гагенбека в Гамбурге его приучали к тому, чтобы кончиком хобота брать хлеб из рук человека, подымать с земли мелкие монеты и сажать осторожно к себе на спину сторожа, и как, наконец, опять морем и сухопутьем привезли его сюда, на окраину просторной, холодной Москвы и поместили в сарае за железную решетку, напротив слонихи, шагах в двадцати от ее решетки. Самка Нелли, которая была моложе его лет на пятьдесят — семьдесят пять, была вывезена из Замбези, но она сдохла от тяжелого климата, а может быть, и от невнимательного ухода. Прожила она в заключении около пятидесяти лет, видясь раз в год весною со своим мужем, но приплода у них не было, потому что в неволе слоны никогда не размножаются. Ее после смерти вскрывал знаменитый профессор зоологии Смирнов. Он нашел у нее около сорока пяти болезней: апендицит, энфизему легких, суставный ревматизм, склероз артерий, тяжелое повреждение позвонков спинного хребта, почечный нефрит, аневризм сердца и так далее.

Надо сказать, что людей, особенно после смерти Нелли, Зембо не любил. Нередко в булках, которые ему давали, попадались булавки, гвозди, шпильки и осколки стекла; праздные шалопаи пугали его внезапно раскрытыми зонтиками, дули ему нюхательным табаком в глаза. Очень часто жалкий чиновник, водя в праздник свою жену, детей, свояченицу и племянницу по зоологическому саду, отличался пред ними храбростью: щелкал бедного Зембо ногтем по концу хобота или совал ему в ноздри зажженную сигару, но благополучно и поспешно отступал, когда Зембо высовывал из загородки свой хобот, которым он мог бы убить не только человека, но и льва. Как часто без нужды и смысла бывает человек жесток к животным!

Однако исполинская, великодушная слоновья натура Зембо не выходила из равновесия. Он лишь запоминал со свойственной слонам остротой памяти своих мучителей, прекращал с ними всякое знакомство и никогда в присутствии их не тянулся хоботом за решетку.

Зато были у него и настоящие друзья, особенно из детей. Их он принимал радостно, трубил им навстречу, разевал широко свой смешной треугольный мохнатый рот и дул им в лицо из ноздрей своим теплым, сильным, приятным сенным дыханием.

Он был бесконечно кроток и вежлив ко всему маленькому: к насекомым, к зверькам. Кто-то однажды догадался пустить к нему в клетку кроликов, которые не замедлили расплодиться в несметном количестве. Эти маленькие грызуны крали у него траву, зерно, хлеб и сено, грязнили его питьевую воду и часто, взбираясь своими цепкими лапками на его ноги, щекотали громадного Зембо до судорог. Однажды они до такой степени расщекотали его самое чувствительное место под коленом правой ноги, что он сделал ею нечаянное неловкое движение и наступил на кролика. Вместо милого, резвого белого зверька осталось на земле круглое красное пятно и в нем немного волос. И слон двое суток волновался, беспокойно трубил и фыркал, пока служащий не замыл пятно из пожарной трубы.

Привязан был он к маленькой тумбочке небольшой цепью. Ухаживал за ним татарин Мемет Камафутдинов, и они были настоящие друзья.

Но вот как-то ему пришло в голову прогуляться. В Москве наступила весна. Расцвели в зоологическом саду на лужайках желтые одуванчики, золотые лютики, синяя вероника. В это время во всем зоологическом саду был беспорядок. Хорьки, львы, орлы, барсуки, дикобразы, куницы, пумы — все жаждали свободы и страстно метались в своих клетках. Запахло землей, березовым листом и травами.

И тогда-то, жадно принюхиваясь несколько дней к воздуху, Зембо вдруг догадался, что цепь на его задней правой ноге совсем его не связывает. Он потянул ногу и разрушил сразу все человеческое сооружение. Разорвал цепь, опрокинул тумбочку, к которой был привязан, разбил головой клетку и ушел.

Он обошел вокруг весь зоологический сад победной, торжествующей походкой. И все время высоко поднятый хобот Зембо трубил радостную песню, понятную каждому животному: «Празднуйте, веселитесь, играйте друг с другом, славьте песнями и плясками весну!» И в ответ ему взволнованно рычали львы, клектали орлы, гоготали и свистели в гнездах птицы, мычали буйволы и грациозные, нежные лани, дрожа, провожали его влажными глазами.

Медленно, вежливо вышло это огромное животное из зверинца и прошло в открытые двери, стараясь никого не раздавить. В это время цвела сирень, ее нежный, сладкий запах делал людей и животных как пьяными. Но мудрого Зембо не покидала привычная кроткая осторожность. Он деликатно перешагнул через целую компанию красных в черных крапинках букашек, связавшихся цепью по дорожке, не тронув из них ни одной, а столкнувшись в воротах сада с барышней кассиршей, учтиво дал ей дорогу и в знак приветствия так сильно дохнул ей в лицо, что совсем сбил и растрепал ее модную прическу.

Слону хотелось только размяться. Он подошел к будке городового (а в то время в Москве еще были на площадях будки для городовых, отчего и сами горо-

довые прозывались будочниками). Из открытой форточки уютно и мирно пахло хлебом, чаем, махоркой и вином. Добродушно, со свойственной ему привычной ловкостью, он просунул хобот в форточку, взял со стола теплый филипповский калач и проглотил его.

Дальше его приключения мало достоверны. Утверждают, что на Тверском бульваре от него бежали гурьбой студенты, говорят, что он взвалил себе на спину маленькую девочку, и она от радости хохотала, говорят, что, искусно обвивши хоботом какого-то гимназиста-приготовишку, он посадил его на самый верх липы к его необузданному восторгу, говорят, что он хоботом вырвал с корнем молодое деревцо, сделав из него себе опахало... Может быть — это все правда, а может быть — неправда, за истину я ручаться не могу.

Но уже о необыкновенном путешествии слона было дано знать полиции.

Тверская часть примчалась в полном составе. Бедного Зембо, который никому не делал зла, начали поливать из брандспойта. Он этому очень обрадовался, потому что всегда любил купанье. С искренней радостью он поворачивался то левым, то правым боком, и его маленькие глаза ласково щурились. «Чудесная погода, отличный воздух и... какой славный душ!» — добродушно ворчал Зембо, свивая и развивая свой хобот.

Но все гуще и гуще собиралась около него толпа, и Зембо уже начал чувствовать смутное беспокойство. Вдруг выступил господин в черном сюртуке и блестящей черной шляпе. Зембо давно его знал и благоволил к нему за ласковое отношение: это был директор зоологического сада. В руках он держал такую большую булку, какой слон еще никогда не видывал, и от нее чертовски вкусно пахло душистым перцем и крепким ромом.

— О-о-ого, Зембо, — вкрадчиво приговаривал директор и совал ему на вытянутой руке большой кусок лакомства. Слон, наконец, решился попробовать и, отправив булку в рот, признательно закивал головой; «необыкновенно вкусная штука, — сказал он, — я ничего подобного не ел в жизни». Но за вторым куском ему пришлось пройти шагов тридцать, за третьим —

перейти через улицу, а четвертым его заманили в какой-то длинный узкий проход без окошек и без дверей. И тут он еще не успел прийти в себя от изумления, как почувствовал, что его хобот, шея и все четыре ноги были уже обхвачены, скручены и связаны стальными и пеньковыми канатами. Он рухнул на землю. Пять пар бесившихся, вспененных лошадей выволокли его из тупика опять на мостовую. Сотни людей и десятки лошадей заставили его подняться, и, весь скованный, обессиленный, он покорно вернулся в свою тюрьму. Только теперь железная решетка была вдвое толще, и уж не одна, а две массивных якорных цепи привязывали его за одну переднюю и за одну заднюю ногу.

С этого дня кротость, великодушие, вежливость совсем покинули громадную душу слона, и в ней жили только гнев и мщение. Теперь он поистине стал страшен. Его маленькие кровавые глаза горели бешенством. Днем и ночью, почти не переставая, он ревел, и к этим крикам негодующего царя в молчании и с ужасом прислушивался весь зверинец. Публику уже перестали пускать в сарай, потому что вид людей приводил Зембо еще в большую ярость. Один Мемет Камафутдинов отваживался входить к нему, чтобы переменить воду и дать нового корма. Но дружба между ними окончилась. Слон только презрительно терпел татарина; на все его нежные, трогательные и убедительные разговоры он отвечал отрывистым и почти враждебным криком: «Уйди, сделал свое дело и уйди, не хочу тебя: ты тоже человек!»

С каждым днем его ярость росла. Ничто не помогало, ни холодные души, ни мешки со льдом на затылок, ни бром, примешиваемый к питью. Однажды, в жаркий полдень, слону удалось, наконец, расшатать и вырвать из стены огромное кольцо, прикреплявшее цепью его заднюю ногу. Испуганный татарин побежал доложить об этом по начальству, и через несколько минут перед решеткой собралась густая толпа народу. Слон, обвившись хоботом вокруг железных брусьев и, передав свое исполинское тело на левый бок, делал неимоверные усилия, чтобы вырвать из стены второе

кольцо, удерживавшее его правую ногу. Его тотчас же окатили из рукава холодной водой: это на минуту укротило его свирепость. Он оставил в покое решетку и, насторбучив свои аршинные уши, внимательно и злобно глядел на людей.

— Другого средства я не вижу, — сказал дежурный ветеринар и тотчас же очень ловко проделал в французской булке маленькую дырочку и быстро указательным пальцем вытащил из нее почти весь мякиш. Потом он всыпал в отверстие около четверти фунта цианистого кали, заделал дырку и полил булку патокой с вином.

— Ну, бедный Мемет, — сказал директор, — знаю, что тебе нелегко, а ничего не поделаешь. Иди, угости слона в последний раз.

— Вашам приасходительствам! Она, даст бог, будет здоров. Зачем? — говорит Мемет, и по его сморщенному, старушечьему бритому лицу покатились слезы.

— Иди, иди. Нечего миндальничать.

Слон не сразу взял булку. Он долго недоверчиво обнюхивал, но все-таки взял. Кругом защелкали кодаки и затрещал кинематограф. Минуты с четыре Зембо стоял неподвижно, точно изумляясь чему-то, потом вдруг издал резкий крик отчаяния, боли и смерти.

Он долго неустойчиво качался, передавая свой громадный вес с передних ног на задние. И вдруг повалился на левый бок, увлекая в своем падении цепь от передней ноги и вырванное из стены тяжелое кольцо с полуаршинным болтом.

Тем и кончилась его прогулка.

КАПИТАН

— Благодарю вас, господин. Если вы позволите... я не пью пива... Стакан рому, — это так... Ну вот, я и продолжаю. Вы спрашиваете, как я попал на корабль «Утренняя звезда»? Да очень просто! Чего только не предпримешь, когда тебе двадцать четыре года, а ты холост и свободен, как ветер? В то время я околачивался в Новороссийске. Прекрасна бухта, только не осенью, когда там свирепствует норд-ост — по-местному, бора. Тут-то я и попал на этот несчастный барк, у которого было два фока, две грот-мачты и, конечно, бизань — пять мачт. Это было огромное старое судно, чуть ли не допотопного типа, видевшее очень многое на своем веку. Оно могло вобрать в свои огромные внутренности около пятнадцати тысяч тонн груза и несло на себе парусов приблизительно около двух тысяч квадратных аршин. Должен откровенно сказать, что призвания к морскому делу у меня никакого не было, а просто меня повлекла проказливость и молодая любовь к приключениям.

Команда собралась на барке чрезвычайно пестрая: несколько греков, два итальянца, чех, два турка, негр — остальных я теперь уже не могу вспомнить, и человек пятнадцать русских. Начальство состояло из капитана, двух штурманов и боцмана. Боцман мне казался самой замечательной фигурой на корабле. Это

был краснорожий, маленький, но чрезвычайно широкоплечий человек с бритыми усами и с бородой, растущей как будто из горла. Ноги он всегда держал раскорякою, от постоянного хождения по палубе. В том случае, когда обижали команду, он стоял за нее, как родной отец, а в других случаях, в наших личных матросских делах, он был истинным деспотом. До сих пор я помню первый урок, который он преподал мне в управлении бегучим такелажем. Это было в Средиземном море, где нас всех страшно закачало. Совершенно измученный, я отдаю долг природе, перегнувшись с большими усилиями через поручни борта, — а вы, может быть, сами знаете, как тяжело мутит новичков? И вдруг слышу за своей спиной суровый окрик, вроде, например, такого:

— Эй! Марс-фалы лиселя подтянуть! Потравить шкоты!

Клянусь богом!.. Благодарю вас, господин, если уж вы так любезны, то вместо пива еще один небольшой стакан рому... Клянусь богом, что я ничего не понял из его приказания, но когда боцман меня ударил сзади концом веревки, чуть-чуть выше ног и чуть-чуть ниже спины, то я, как встрепанный, взобрался на ванты и сделал что-то такое, что, вероятно, теперь для меня физически невозможно. Повторяю вам, молодость и находчивость крепко отстаивают свою жизнь. Когда же я спустился вниз, то боцман добродушно сказал мне:

— Надо крепить не бабьим узлом, а морским, — и тут же показал мне, как делается морской узел: сначала в правую сторону, а потом в левую.

Затем он хлестнул меня по плечам этой же самой веревкой с узлом, — удовольствие не из приятных, — и сказал:

— Из тебя может быть толк, мальчишка, — и вдруг почему-то перевел по-английски: — little scout.

Это обращение на английском языке удивило меня еще более, чем отеческое внушение, потому что имя и фамилия боцмана были — Иван Карпяго. Впрочем, надо сказать, что на «Утренней звезде» все мы ругались и богохульствовали на всевозможных языках,

хотя всегда и неизменно соблюдали одно правило: не обижать Николая угодника, чудотворца мирликийского.

Был очень интересным человеком и капитан, преждевременно поседелый, лет сорока, человек железной энергии. (Впоследствии он спас своей находчивостью и несокрушимой волей жизнь и судну и всем нам, тридцати человекам кóманды.) На ненаблюдательного человека он, пожалуй, мог произвести впечатление лентяя. В то время, когда наше плавание шло благополучно, он полусидел, полулежал на юте в своем излюбленном плетеном кресле-качалке, пил замороженное белое вино и время от времени бросал своему огромному сенбернару «Prego» (по-итальянски — «прошу») куски льда, которые пес ловил и глотал с жадностью. Говорил и бранился капитан, кажется, на всех человеческих языках, но так как состав команды был наполовину русским, он предпочитал командовать большею частью по-русски.

В Новороссийске работа у нас была легкая. Там на горе стоит зерновый элеватор, этажей в двенадцать высоты, а из самого верхнего этажа, по наклонному желобу, чуть ли не в версту длиною, льется беспрерывным золотым потоком тяжелое, полновесное зерно, вливается к нам прямо в трюм и заполняет весь корабль, заставляя его постепенно погружаться в воду. Нам приходилось только разравнивать лопатами его тяжелые груды, причем мы утопали в зерне по самые колени и чихали от пыли.

Наконец, когда барк принял столько груза, сколько он мог вместить, и даже, кажется, немножко более, потому что он осел в воду ниже ватер-линии, мы тронулись в путь. По правде сказать, величественное зрелище представляет из себя пятимачтовый парусник, когда все его паруса выпуклы и напружены. А ты, стоя на рее, с гордостью сознаешь, что тобой любуются с других судов старые специалисты.

Плавание наше до Ливерпуля было совсем благополучно. Правда, в Бискайке нас сильно потрепало, хотя мы и шли с уменьшенными парусами. Дело в том, что, несмотря на брезенты, покрывавшие зерно,

оно тяжело перекатывалось в трюме с боку на бок и валяло «Утреннюю звезду». Но это продолжалось не более суток, а через два дня мы уже были в Ливерпуле.

Благодарю! За ваше здоровье, сэр! Вы, может быть, знаете, а если не знаете, то, конечно, поверите мне, что самое необузданное существо — это матрос с парусника, добравшийся, наконец, до берега и спущенный на него с корабля в большом порту! Узенькие улицы... налево и направо бары... женщины всех национальностей и повсюду тайные притоны для игры, любви и драки. Тут-то я и закрутился. Четверо суток совершенно выпали из моей жизни и представляются мне теперь каким-то черным пятном, провалом в неизвестность. Словом, проснувшись на барке, на матросской койке, я с удивлением услышал знакомый плеск моря о деревянные борты судна, беготню и крики команды, а когда вылез на палубу, то с ужасом убедился, что я нахожусь на той же «Утренней звезде». Во мне проснулась гордость свободного человека, и я пошел объясняться к старшему штурману. Тот отослал меня к капитану. Этот хладнокровный человек сунул мне под самый нос контракт, в котором значилось, что я обязался служить на «Утренней звезде» ровно три года и что получил в задаток двадцать фунтов стерлингов. Я отлично знал, что во всех карманах моего платья нет ни одного пенса, но на всякий случай, во имя человеческих прав, попробовал сделать капитану довольно грубое замечание. Однако я не успел его докончить, потому что уже лежал на палубе и выплевывал изо рта верхние передние зубы. Вот посмотрите, господин, где они раньше были.

Когда я поднялся на ноги, капитан, совсем не потерявший своего обычного спокойного вида, сказал мне:

— Болван! Мы уже в расстоянии ста миль от Англии. Тебе не нужно было напиваться как свинье до того, чтобы забыть о контракте! А если ты еще позволишь себе разговаривать, я просто-напросто прикажу выбросить тебя за борт с твоими фунтами стерлингов. Понял?

Конечно, я понял как нельзя лучше. И даже вспомнил в эту минуту лицо креолки, которая в кабачке поила меня чем-то густым, терпким и сладким, от чего я, должно быть, и впал в беспамятство.

Шли мы опять Средиземным морем и через Суэцкий канал в Индийский океан. Груз у нас теперь был железный: земледельческие машины, веялки, жатвенницы, паровые плуги и так далее. Весь этот груз мы должны были доставить в Австралию, в Мельбурн.

Ах, не беспокойтесь, господин, — у меня есть ром, и мне этого достаточно. Вы спрашиваете, что было дальше? Дальше вышли большие неприятности. В Индийском океане между, так приблизительно, седьмым и девятым градусом мы попали в штиль. Вы сами понимаете, что при безветрии парусное судно совершенно беззащитно. И мы две недели простояли на одном месте, в полосе, где не было даже течения. Тут пошло несчастье за несчастьем. Живой скот, который мы забрали с собою, весь переоколел от какой-то странной болезни: не то чумы, не то ящура, не то оспы. Капитан приказал всех животных выбросить за борт, на съедение акулам. Потом от страшной тропической жары у нас загнила и испортилась пресная вода. Мы пробовали ее кипятить, но из этого ничего путного не выходило. Вскоре вышел не только хлеб, но и сухари. Тогда на обед нам стали давать какую-то вонючую болтушку из воды и консервов. Мы, русская матросня, называли это кушанье бурдой, а еще бурдымагой. Ах, если бы вы знали, господин, какая это зверская штука стоять среди моря, не видеть берегов, бездействовать, прислушиваться к урчанию в собственном расстроенном желудке и вдобавок так париться под лучами тропического солнца, что даже уж и пот не выступает из тела. Все мы разнервничались до последней степени. Как взбесившиеся от жары собаки, ходили мы друг вокруг друга, рычали, оскаливали зубы, все чаще и чаще слышались между нами злые, оскорбительные слова:

— Goddam thou! (Проклятье!)

— Thou are man of forest! (Ты дикарь!)

— Porca Madonna putana! (Совсем невозможное для перевода итальянское ругательство.)

— Тебе не быть моряком, а играть в цигу!

— Ты не стоишь того, что ты ешь!

Вдобавок надо еще сказать, что вместе с нами шел из Ливерпуля в качестве кока какой-то поляк, который столько же понимал в кулинарном искусстве, сколько бегемот в модных танцах. Я, кажется, не ошибусь, если скажу, что он был раньше политическим преступником, может быть анархистом. Гордый, высокомерный, молчаливый и, судя по лицу, несомненно интеллигентный человек. Однажды, в порыве бессознательного, стихийного раздражения, которое охватило нас всех, как эпидемия, младший штурман ударил его по лицу. В ту же ночь кем-то было разбито стекло компаса и вырвана бесследно магнитная стрелка. Мы, команда, конечно, знали, кто это сделал, но молчали из особого чувства товарищества, — товарищества, которое можно вполне понять и оценить только на море. А надо сказать, что запасного компаса не оказалось, потому что более запущенного судового хозяйства, чем на барке «Утренняя звезда», не было, кажется, нигде в мире, во всем торговом флоте.

Как раз через день после этого случая паруса затрепетали и надулись. Приятно было вдыхать в себя освежевший ветер, и все мы как-то подобрели и размякли. Однако из всех нас, бывших на судне, вероятно, только капитан Юд и боцман Иван Карпяго понимали кое-что в том, что нам предстояло дальше. После штиля почти всегда начинается циклон, в который мы и попали, — если не в самый центр, то во всяком случае очень близко к нему. Сгрудились тучи, подул ураган, и мы понеслись куда-то во мрак и неизвестность, точно нас сзади гнали тысячи дьяволов. Если я вам попробую рассказать об этом шабаше моря, ветра, дождя и громыхания на небе, то вы не поверите. Ну, представьте себе волны вышиною с восьмиэтажный дом или вообразите себе ледяные горы, на которые то поднимаешься, то опускаешься, как на салазках. Волны обхватывают палубу и сбивают людей с ног, точно это не люди-богочеловеки, а мусор и

щепки. После шести часов огромных усилий мы остались только с двумя мачтами — средним гротом и бизанью. Остальные три сломало ураганом, и мы с нечеловеческими усилиями едва смогли их обрубить топорами и выбросить за борта, которые они исковеркали своим падением. Кроме того, у нас ударом волны сорвало руль. В трюме оказалась пробоина, под которую с неимоверной трудностью подвели пластырь.

Ах! Клянусь вам богом, даже до сих пор, когда во время бессонницы я вспоминаю эту ужасную ночь, я весь покрываюсь холодным потом от страха...

Вместо того чтобы надеть чистые рубашки и приготовиться к смерти, мы разбили камбуз и вылакали весь ром, находившийся в бочонках. Давнишнее озлобление, испуг, отчаяние, опьянение превратили нас в зверей. Не помню кто — думаю, что тот же поляк, наш повар, первый подал злостную мысль, и вот мы, почти вся команда, загнали боцмана Карпягу на бак и приказали ему свистать сигнал:

— Все наверх! Капитана за борт кидать!

Сопротивляться велению команды, да еще торгового судна, да еще парусника, вряд ли отважится даже самый непреклонный боцман, и он засвистал в свою боцманскую трубку.

Все мы разъяренной толпой, пьяные, возбужденные, испуганные близостью смерти, с ругательствами почти на всех языках Европы выскочили на палубу. Капитан стоял на своем мостике. Казалось, он совсем не потерял своего обычного хладнокровия, но все мы, увидев у него в руке большой кольтовский револьвер, остановились на две или на три минуты и только лаяли на него, как трусливые псы.

Он крикнул на нас сверху вниз:

— Пьяная сволочь! Трусы! Двенадцать человек из вас я убью наверняка, а остальные будут завтра же повешены мною на ноках. — И тут же, почти не целясь, он выстрелил, и наш таинственный кок упал на доски палубы с пробитым насквозь черепом. И почти в тот же момент — точно смерть этого человека была умиротворительной жертвой — кто-то из команды радостно воскликнул:

— Земля, с левого борта!!

Благодарю вас, будьте здоровы. Но только оказалось, что это вовсе не земля, а длинный коралловый бар, на который нас несло с ужасающей скоростью. И через несколько мгновений мы увидели огромные гребни белой пены, перекатывающейся через рифы, и услышали грозный рев морского прибоя.

Тут я остро и мучительно почувствовал, как смерть заглянула мне в глаза своими пустыми глазницами. Но тут-то капитан и показал себя человеком громадной власти, знания, находчивости и необычайной красоты. Он вдруг закричал голосом, который заглушил даже рев бурунов:

— Живо пошел все по вантам! Поворот на фордевинд!!!

И почти мгновенно, точно толкнутые чудесной волей этого человека, мы уже рассыпались по двум оставшимся мачтам, готовые сделать этот опаснейший из маневров, какие только бывают в практике мореходства.

И, правда, мы его сделали, только слегка черкнув килем по мелководью. Ах! Если бы вы знали, как нас валяли тогда волны и ветер! Поистине, должно быть, Николай угодник сжалился над нашими грешными телами и грязными душами!

Через четверть часа, а может быть, и через полчаса — в эти моменты борьбы со смертью разве можно расчислить время? — мы опять повернулись спиною к ветру и прежним бешеным ходом понеслись бог знает куда. И надо сказать, что гений капитана и его колоссальное счастье помогли нам. Мы с бешеной скоростью попали на громадную волну, перескочили через сравнительно глубокое место и очутились в тихом, почти спокойном водном пространстве достаточной глубины. И почти тотчас же засияли нам навстречу огни какого-то селения. Потом оказалось, что это был остров Гальмагера (Джимоло)...

Мы спокойно спустили якорь и стали покорно зализывать раны, нанесенные морем «Утренней звезде». У всех нас, вероятно, было то же ощущение, как у меня: стыд перед капитаном и вечная благодарность

ему. Все это случилось как раз в ночь под рождество, а мы чувствовали себя как висельники.

Утром капитан поручил начальство над судном старшему помощнику и съехал на берег. Должно быть, он не был уверен в том, насколько глубока бухта. Но мы думали совсем иное, и не один из нас в часы долгого мучительного ожидания облюбовал себе нок, на котором ему скоро придется болтаться. Тут же мы узнали от штурмана, что капитан сам в продолжение нашего бедствия под тропиками питался той же бурдымагой, как и мы, и пил такую же гнилую воду. Повторяю, что хорошего мы для себя ничего не ожидали. И вот представьте себе наше удивление. Вдали показывается шлюпка. Все мы следим за нею и за ее ходом с громадным напряжением. Морские глаза зоркие. Издали замечаем, что капитана на ней нет. Очевидно, он остался в городе. Но шлюпка подходит все ближе и ближе. И вдруг мы раскрываем рты от изумления: со шлюпки доносится какой-то странный визг, всхлипывание и рычание. Короче сказать, вскоре мы убедились в том, что это взвизгивают две огромных свиньи, у которых связаны передние и задние ноги. Что руководило великодушным сердцем капитана, я до сих пор понять не могу. Кроме свиней, в шлюпке оказалось пуда три прекрасного кукурузного хлеба, два пуда баранины, пять битых гусей, бочонок свежей прохладной воды, два бочонка прекрасного английского пива и неведомо откуда добытый пломпудинг.

Когда наверх по трапу взобрался Иван Карпяго, не то веселый, не то строгий, но, кажется, чего-то уже хвативший спиртного в городе, мы кинулись к нему с расспросами:

— Что капитан? Как капитан? Что говорил?

Он ответил нам, самодовольно разглаживая бороду, которую он носил под англичанина:

— Капитан поздравляет вас с рождеством, посылает вам провизию, а также пива и рому, чтобы вы опохмелились после вчерашнего.

Мы не могли поднять глаз друг на друга. Уж, право, лучше было бы болтаться на ноке, чем быть подавленным величием души этого человека.

Замечательно, что во все время, пока мы чинились, а потом сдавали наши земледельческие машины в Мельбурне и пока шли обратно в Ливерпуль, приняв громадный груз живых баранов, он никому не вспомнил прежней ссоры. Но зато вряд ли на каком-нибудь судне когда-нибудь испытывали люди такое беспредельное обожание, как мы к нашему капитану. Не было, мне кажется, ни одного из матросов, который по первому его жесту без всякого колебания не прыгнул бы за борт. И вот, появись он теперь между нами и прикажи мне сделать геройский поступок или преступление, — я не задумаюсь ни на одну секунду исполнить его волю.

А он все время, как будто ни в чем не бывало, лежал на своем кресле-качалке, пил белое вино и кидал куски льда своему сенбернару «Prego».

ВИННАЯ БОЧКА

В тот год ялтинский сезон был особенно многолюден и роскошен. Впрочем, надо сказать, что в Ялте существует не один сезон, а целых три: ситцевый, шелковый и бархатный. Ситцевый — самый продолжительный, самый неинтересный и самый тихий. Делают его обыкновенно приезжие студенты, курсистки, средней руки чиновники и главным образом больные. Они не ездят верхом, не пьют шампанского, не кокетничают с проводниками, селятся где-нибудь над Ялтой: в Аутке, в Ай-Василе или Дерикое, или в татарских деревушках, и главная их слабость — посылать домой, на Север, открытки с видами Ялты, с восторженными описаниями красот Крыма. На огромных неуклюжих дилижансах «Бебеш» они ездят осматривать окрестности: Лесничество, Уч-Кош, Ай-Петри, Учан-су, Симеиз, Суук-су, Гурзуф, Алупку и другие. Местные жители, татары, у которых главное занятие — высасывать кровь из туристов, смотрят на эту публику свысока и обращаются с нею грубо и пренебрежительно.

Само собою разумеется, что шелковый сезон — более нарядный и богатый. Публику этого сезона составляют: купечество выше чем среднего разбора, провинциальное дворянство, чиновники покрупнее и так далее. Тут уже жизнь разматывается пошире: многие ездят в горы верхом, но перед тем, как заказать лошадь, довольно-таки долго торгуются. В городском

курзале начинаются балы, а в парке по вечерам играет прекрасный струнный оркестр. Номера в гостиницах почти все заняты, и цены на все нужное и ненужное возрастают вдвое или втрое.

Но бархатный сезон! Это — золотые дни для Ялты, да, пожалуй, и для всего крымского побережья. Он продолжается не более месяца и обыкновенно совпадает с последней неделей великого поста, с пасхой и Фоминой неделей. Одни приезжают для того, чтобы избавиться от печальной необходимости делать визиты; другие в качестве молодоженов, совершающих свадебную поездку; а третьи — их большинство — потому, что это модно, что в это время собирается в Ялте все знатное и богатое, что можно блеснуть туалетами и красотой, завязать выгодные знакомства. Природы, конечно, никто не замечает. А надо сказать, что именно в это раннее весеннее время Крым, весь в бело-розовой рамке цветущих яблонь, миндаля, груш, персиков и абрикосов, еще не пыльный, не зловонный, освеженный волшебным морским воздухом, — поистине прекрасен.

В это время уже не торгуются с татарами, а просто нанимают верховых лошадей и проводника на весь сезон. О ценах никогда не спрашивают. Заказывают заранее по телеграфу несколько комнат в самых шикарных отелях и сыплют золото горстями налево и направо с такой милой бесцеремонностью, точно играют морскими гальками.

Вот в один из этих бархатных сезонов, о котором благодаря его блеску старожилы вспоминают чуть ли не до сих пор, приехал в Ялту Игнатий Игнатьевич Лешедко, товарищ прокурора из Петербурга, молодой человек, со связями, стоящий уже «на виду» (несмотря на свою молодость, он успел «зафиксировать» тридцать шесть смертных приговоров) и не особенно стесняющийся денежными средствами. По какой-то счастливой случайности ему удалось занять номер в самой шикарной гостинице — «Россия», — правда, на самом верху, но марка отеля чего-нибудь да стоит!

Быстро завязались знакомства. Так быстро, как это бывает только в Ялте: два-три человека, с которыми он

встречался в обществе, хотя и мимоходом, один миллионер-золотопромышленник, которого Лешедко прошлой зимой обвинял, — и, надо сказать, совсем неудачно, — знаменитый певец, который хотя при первой встрече и не узнал прокурора, но сделал вид, что очень обрадован, и с милой актерской улыбкой, крепко пожимая руку Лешедко, пропел:

— Ка-ак же, ка-ак же, батенька! Еще бы не узнать. Рад, чрезвычайно рад увидеть вас. Ну, что новенького? Простите, ради бога: забыл имя и отчество. Ах, да! Ну, конечно, Игнатий Игнатьевич. Я сам хотел так сказать, но, знаете, боязнь переврать как-нибудь... неудобно, неприятно.

Были также в Ялте две шикарные петербургские кокотки, знакомые прокурору по Медведю, Аквариуму и Эрнесту, Манька Кудлашка и Надька Драма. Но с ними он не считал нужным раскланиваться, хотя при встрече всегда боязливо отводил вбок глаза или начинал пристально рассматривать магазинные витрины. Когда же ему приходилось во время случайных встреч быть в присутствии знакомой дамы, он весь замирал и холодел от ужаса. В самом деле, что стоит этим отчаянным существам вдруг крикнуть ему вслед:

— Здравствуй, Игнашка! Стыдно не узнавать своих друзей! Вспомни, как ты не заплатил Зинке проигранные на пари сто рублей!

А главным образом потому, что в это время он был заинтересован прелестной женщиной, баронессой Менцендорф, вдовой тридцати лет, пышной красавицей, взбалмошной, капризной и ребячливой. Была ли это любовь, — трудно сказать. В душу современных молодых людей, а в особенности товарищей прокурора, делающих большую, видную карьеру, не влезешь. Вернее всего предположить, что была здесь отчасти чувственность, отчасти самолюбивое удовольствие показываться повсюду в обществе блестящей светской женщины, которая своими туалетами от Пакена, именем, эффектной красотой и пленительной, грациозной эксцентричностью завоевала высокое звание царицы сезона, отчасти, — кто знает? — и миллионы прекрасной баронессы имели какую-нибудь притягательную силу.

Ежедневно составлялись пикники, кавалькады, поездки верхом или в легоньких колясках-плетенках. Лешедко чувствовал, что на него глядят благосклонно, и между ним и баронессой уже как будто наклевывался отдаленный, невинный флирт. Казалось, судьба явно улыбалась ему, но три вещи смущали прокурора.

Первое — это то, что он плохо сидел на лошади. Стоя на земле, он был не только корректен, но, пожалуй, даже красив: хорошего роста, стройный, в синих тугих рейтузах, в форменной фуражке, в белоснежном коротком кителе, почти открывавшем его зад, с пенсне на носу, со стеком в руке, которым непринужденно похлопывал себя по лакированным сапогам, со своим выхоленным лицом породистого щенка. Но на лошади он окончательно проигрывал свои внешние достоинства. Еще когда лошадь шла шагом, ему удавалось принять, в подражание знакомым офицерам гвардейской кавалерии, натянутую, но сравнительно приличную посадку. Но когда кавалькада пускалась рысью или галопом, то душа прокурора уходила в пятки, шапка съезжала на затылок, локти болтались, как у деревенских мальчишек, которые скачут в ночное на неоседланных клячах, ноги то уходили по самые каблуки в стремена, то совсем выскакивали из стремян, и приходилось поневоле хвататься за гриву. «Черт возьми! — думал он в эти тяжелые минуты. — Что за глупость скакать как ошалелые! Спешить нам некуда — над нами не каплет. Положительно глупая затея!»

Неприятнее всего было то, что баронесса Анна Владимировна бесцеремонно и громко смеялась над его «своеобразной», как она говорила, манерой ездить. Правда, она же на балах выбирала постоянным кавалером Лешедко, который, надо отдать ему справедливость, танцевал непринужденно, с большой легкостью и держался чрезвычайно изящно.

Вторая неприятность заключалась в том, что ему никогда не удавалось остаться наедине с прелестной баронессой. Она всегда была окружена молодежью, пожилыми людьми и даже превосходительными старцами, и все это были сливки ялтинских гостей. Как ни

старался Лешедко урвать хоть несколько минут тайного и пылкого разговора с Анной Владимировной — этого ему никогда не удавалось. А третья беда, самая главная, состояла в том, что свита баронессы, рабски послушная ее фантазиям и причудам, вела безумно широкий образ жизни, и за ними поневоле приходилось Лешедко тянуться с таким усердием, что, казалось, вот-вот лопнут жилы или кости выйдут из суставов. А сезон между тем крепчал и крепчал, и цена на все поднималась с такой же быстротой, как ртуть в градуснике, который держат над горящей лампой.

«Нет, — размышлял порою Лешедко по утрам, когда пил кофе, просматривал ресторанные счета и занимался отделкою своих ногтей. — Нет, черт возьми! Я иду неправильным путем. Необходимо сделать что-нибудь смелое, героическое, необыкновенное, что всегда так покоряет мечтательное сердце женщины! Но что? Что?»

Однажды утром прибежал снизу мальчишка-комми, в коричневой куртке, сплошь усеянной сверху донизу золотыми пуговицами.

— Вам записка от баронессы.

Это случилось в первый раз, что Анна Владимировна написала ему. С некоторым волнением он разорвал длинный конверт с вензелем на левом верхнем углу, потянул в себя, нервно раздувая ноздри, странный волнующий аромат, которым благоухал сложенный вдвое листок бристольского картона с золотым обрезом, и прочитал следующее:

«Зайдите ко мне на минутку. У меня есть для вас очень интересное предложение».

В гостиной у Анны Владимировны он застал еще одного посетителя, и тотчас же радость его души померкла. Это был самый популярнейший человек во всей Ялте, Яков Сергеевич Калинович, очень удачливый врач, а также прекрасный беллетрист старинной, немного тенденциозной, но благородной школы. Кроме того, это был неутомимый пешеход. Как только у него вырывалось несколько свободных дней, он пускался в

путь, шагая такими огромными шагами, что за ним, пожалуй, не угналась бы почтовая лошадь, и на ходу он все время разговаривал сам с собой: «Да. Нет. Глупо. Да. Неправильно. К черту!» И бил при этом палкой по встречным камням.

Благодаря этой страсти к путешествиям он всех знал, и его все знали. На всем крымском побережье, от Судака до Балаклавы, все уважали его как знающего врача, любили как честного и душевного писателя, и кто только не передразнивал его манеру заикаться при страстных идейных спорах и при этом вытягивать подбородок из воротника и вылезать руками из манжет.

Он сидел на низеньком мягком пуфе, причем колени его длинных пешеходных ног упирались ему чуть не в подбородок. Поздоровавшись с Лешедко, с которым он был знаком уже давно, доктор Калинович продолжал начатую речь:

— Значит, вы согласны? Так не будем же откладывать дела в дальний ящик. Почему делать завтра то, что можно сделать сегодня? Кста-ати, я приглашен именно на сегодня. Конечно, вы всегда можете по-по-поехать и сами. Вас, без сомнения, примет все виноделие с распростертыми объятиями и примет, стоя на коленях. Я, если позволите, с удовольствием буду вам сопу-путствовать. Но сегодня совсем исключительное дело. Мне как-то удалось вылечить жену заведующего погребом от довольно тяжелой болезни. С тех пор этот немец раз уже двадцать упрашивал меня поехать в его погреба и осмотреть их. Он все соблазнял меня каким-то необыкновенным вином, оставшимся еще от того времени, когда массандрские винные погреба не принадлежали правительству, а составляли частную собственность. От того времени осталось всего лишь несколько десятков очаровательнейших вин. И в склад-ах виноделия так и называют эту коллекцию «Воронцовский музей». Выпить такого вина считает за громадную честь самый избалованный дегустатор. Да и помимо того, мы увидим очень много интересного. Ну что же, согласны, восхитительная?

Через час большое общество, кто верхом, кто в экипажах, мчалось по массандрской дороге, поднимая клубы мелкой белой горячей пыли. Дорога шла все время в гору, обрамленная с обеих сторон сплошной изгородью крымских «каменных» дубов, опутанных плющом. В скором времени прибыли в Массандру и въехали в широкий двор виноделия. Их встретили почти все служащие там чиновники удельного ведомства. Популярность Якова Сергеевича и обаятельность баронессы сделали то, что все они наперерыв старались показать компании все, что есть в Массандре достопримечательного: тоннель, проходящий чуть ли не за версту в глубь горы, где температура зимой и летом стоит одинаковая, не колеблясь даже на сотую градуса, полтора миллиона бутылок разных вин, уже вполне готовых для продажи. Они стоят по обеим сторонам тоннеля в виде массивных, бесконечных призм, бочки для купажа, имеющие в себе более тысячи ведер, с днищами в два человеческих роста вышиной. Потом показали им весь сложный процесс мытья бутылок, наполнения, закупоривания, запечатывания, вплоть до наклейки ярлыка; все это быстро, бесшумно, с непостижимой механической ловкостью исполнялось многими десятками работников и работниц, одетых в одинаковые тиковые полосатые передники. Но, однако, в погребе было сыро и холодно, и баронесса, одетая весьма легко, в полупрозрачное кружевное платье, первая поежилась плечами и попросилась наверх, на солнце.

Тотчас же была устроена дегустация, то есть проба вин, которая всегда происходит в передней комнате погреба. Там стояла приятная прохлада, и южное солнце ласково и весело вторгалось сквозь открытые широкие двустворные двери. Все уселись вокруг длинного стола. Он вместо скатерти был покрыт сплошным толстым стеклом. Сначала гостям дали расписаться в огромной посетительской книге, потом началось то священнодействие, которое называется дегустацией. Надо сказать, что это развлечение принадлежит к числу самых тяжелых и для непривычного человека гибельных. Сначала подавали легкое белое вино,

потом легкое красное, и не одного типа, а нескольких, затем красное тяжелое и белое крепкое. Потом в таком же порядке следовали вина ароматные, вина типа марсалы, портвейн, херес всевозможных наименований, Asti Spumante, мускатное, и в заключение ликерные: Lacryma Christi и розовая наливка. У всех в скором времени закружились головы, а главный рабочий (купер), по указанию начальства, таскал все новые и новые бутылки. Ужаснее всего было то, что к этой чудовищной смеси не подавалось никаких закусок. Хотя бы сыр или орехи! Истинные виноделы презирают эти вещи и называют их пренебрежительно «бисквитами для пьяниц». Закружились головы даже у самих хозяев, из которых каждый, конечно, считал себя тонким знатоком вин, и заплелись языки. Они щеголяли перед посетительницами, и уж, конечно, главным образом перед Анной Владимировной, самыми удивительными, самыми непонятными характеристиками вин:

— Это вино кулантное. Это вино не успело еще опомниться. Это — вкусовое, а то — больше питьевое. Строптивое винишко, но ничего — обыграется. Лафит немножко бесхарактерный, брыкливое вино, обещающее, буржуазное, горьковатое, типа лоз St.-Estèphe, и так далее.

В заключение, по таинственному знаку, сделанному старшим виноделом, рабочий отправился куда-то на несколько минут и вернулся с корзинкой, в которой, точно любимый ребенок, покоилась пыльная бутылка. И в самом деле, человек, принесший вино, был похож по-настоящему на старую, заботливую, влюбленную в младенца няньку — так осторожно и плавно он шел, стараясь не делать туловищем ни одного лишнего движения, так благоговейно держал он корзину на полупротянутых вперед руках.

Вино поставили в декантер (род станка, который механически, от вращения рукоятки, опускает горлышко бутылки и подымает ее низ для того, чтобы не взболтать и не замутить драгоценную жидкость).

— Да, мои господа, — сказал торжественно главный винодел, а кстати, его фамилия была Келлер, —

это вино шестьдесят третьего года. Приготовьте ваше внимание.

Но тут произошло нечто невероятное и почти ужасное. Милый, добродушный доктор Калинович вдруг вспомнил те далекие времена, когда он, еще будучи в Москве студентом, пировал в «Праге» и был знаменит тем между товарищами, что безошибочно определял на свет добротность и свежесть пива. Он вдруг выхватил драгоценную бутылку из декантера, схватил ее за горлышко, перевернул вверх дном и стал разглядывать ее на свет с видом знатока. Виноделы, все как один, закричали от ужаса и негодования: старший рабочий, по-тамошнему купер, застонал, побледнел и закрыл лицо руками. Казалось, он вот-вот упадет в обморок. Но дело все-таки кое-как уладилось. Купера попросили принести новую бутылку, а разболтанную отправить на место, чтобы она там полежала еще лет десять. Вторая бутылка была разлита благополучно, так же как и третья. Вино было совсем светлое, точно в стакане воды раздавили одну или две ягодки малины. Да и пахло оно малиной. Но действие его было смертоносное. Когда кончили четвертую бутылку, то никого из всей компании, кроме впившихся виноделов да Анны Владимировны, не было трезвого. Впрочем, это слишком мягкое выражение. Вернее сказать, что все были совершенно пьяны, и больше всех прокурор. В это-то несчастное время внимание баронессы привлекла одна из виденных ею раньше тысячеведерных бочек. Бочка была пуста, и внизу ее днища зияло тьмой правильное квадратное отверстие, шести вершков в высоту и шести в ширину. Баронесса наклонилась к нему и крикнула в бочку:

— У-у! У-у-у!

И глухой рев, такой, каким, должно быть, ревели на заре человечества диплодоки или ихтиозавры, ответил ей из бочки.

— Скажите, господа, для чего эта дырка? — спросила баронесса.

Виноделы тотчас же услужливо объяснили ей, что сквозь это отверстие пролезает человек, когда является необходимость вычистить бочку изнутри,

потому что на внутренних стенках отлагаются осадки слоем до трех вершков.

— Но это же невозможно! — вскричала баронесса. — Я убеждена, что двенадцатилетний мальчик не пролезет в эту щель.

— Нет, отчего же? Трофимов, — крикнул он какому-то рабочему, — полезай!

Долговязый рыжий малый, вовсе уж не худощаво сложенный, неловко вышел вперед, снял пиджачишко и остался в короткой синей рубашке, подпоясанной ремнем, снял ремень, потом нагнулся к дверке, вытянул вперед правую руку и тесно прижал к ней голову и таким образом боком стал протискивать в отверстие сначала руку с головой, потом правое плечо, потом левое плечо с ребрами и так, подобно ужу, минуты в полторы был уже в бочке, а через минуту он вернулся обратно.

Баронесса дала ему золотой и сказала с удивлением:

— Клянусь богом, я бы никогда этому не поверила, господа!

— Э-тя уд-дивительно, — сказал князь Абашидзе, старинный, безнадежный поклонник баронессы.

— Конечно, никто из вас этого, господа, не сделает, — продолжала баронесса. — Хотите, я обещаю поцелуй тому, кто сделает то же самое?

Лешедко мгновенно сорвался с места, причем его порядком-таки мотнуло в сторону.

— Это сделаю я! — И он с размаху ударил себя в грудь.

— Ах, боже мой! Но ваш новый, прекрасный белоснежный китель!

— Это пустяки! Впрочем, может быть, дамы позволят мне снять его?

И вот, оставшись без кителя, прокурор так же, как и рабочий, встал на колени перед отверстием, так же тесно прижал голову к вытянутой руке и начал протискиваться в бочку. Вероятно, у пьяных есть какой-то особенный бог, который им помогает. Минут через десять он уже вполз до поясницы так, что остались видны только его ноги. Он дрыгнул ими судорожно раз

двадцать и исчез из глаз публики. Сначала из бочки ничего не было слышно. Потом раздалось какое-то мрачное, глухое рычание, которое нельзя было слышать без страха. Потом к этим нечеловеческим звукам присоединился топот, как будто по мостовой проезжала артиллерия. Баронесса с любопытством приникла ухом к лазейке и сказала с удивлением:

— Знаете что, господа? Он поет кэк-уок и пляшет. Allo! Allo! Игнатий Игнатьевич! Хорошо вам там, во чреве кита?

— Бу-у-у! — пронеслось из бочки.

Лицо старшего винодела вдруг сделалось серьезным.

— Однако, знаете, господа! Пора, пожалуй, прекратить эту шутку. Лучше выпить десять бутылок вина, чем надышаться этими спиртными испарениями. Ведь там, кроме винного угара, нет ни одного клочка свежего воздуха.

Он подошел к отверстию и крикнул:

— Послушайте, как вас? Ваше благородие! Однако вылезайте! Как бы с вами чего худого не случилось. Нам придется отвечать. Приз свой вы заслужили, ну и довольно. Да вылезайте же, черт вас возьми! Или я прикажу вас вывести насильно!

Из квадратной лазейки показалось бледное, вспотевшее лицо Лешедки. Пенсне на носу уже не было, а глаза смотрели мутно, раскосо и бессмысленно... А ртом он ловил воздух, как судак, извлеченный из воды. Язык его бормотал что-то бессмысленное, не имеющее ничего общего с звуками человеческой речи.

— Да слушайте же, несчастный человек! Вытяните вперед руку, прижмите к ней поближе голову. Теперь протискивайтесь!

Прокурор, которому еще говорил инстинкт, попробовал это сделать, но застрял теменем в отверстии, — и ни взад ни вперед! С большим усилием винодел и купер, наконец, вытащили его до шеи, но дальше они не могли ничего поделать. Воротничок, галстук, великолепные, шитые золотом подтяжки мешали ему двинуться хоть на дюйм вперед.

— Ай! Черт!.. Вы мне руку оторвете! — закричал жалобно прокурор.

— В таком случае нам остается только одно, — посоветовал кто-то многоопытный и сообразительный, — пусть рабочий влезет в бочку и попробует его протиснуть сзади.

— Эй, вы, Диоген! Ступайте назад. Трофимов! Полезай в бочку и помоги барину выбраться.

Рабочий с прежней быстротой и ловкой неуклюжестью исчез в лазейке. Вскоре опять на свет божий показалась плачевная физиономия, с помутившимися от страха и опьянения глазами и с красной ссадиной поперек лба. По-прежнему купер и винодел потянули его за руку и за голову. Истязуемый прокурор истерически визжал. По-видимому, он совсем лишился дара человеческой речи. Да и сказывалось ужасное опьянение винными испарениями. Он настолько ослабел и размяк, что не только ничем не мог помочь усилиям своих спасателей, но, наоборот, тормозил их.

— Тащи его назад, Трофимов! — в бешенстве закричал винодел. — Тащи назад сейчас же! Да дергай же, тебе говорят!

В третий раз скрылся прокурор в глубокой мгле бочки. Винодел крикнул в окошечко:

— Раздевай его! Слышишь! Что?! Да говори же ясней!.. Ну да, раздевай совсем догола!

И вот из темного квадрата, точно в силу какого-то волшебства, полетели галстук, воротник, панталоны, лакированные сапоги...

— Я предложил бы дамам удалиться, — посоветовал кто-то из посетителей.

Те послушались и вышли на свежий воздух. Зрелище становилось страшным. Вслед за ними вышли и дамские кавалеры. Когда виноделы, рабочие и доктор остались одни, то они перестали церемониться с телом бедного Лешедко. Но и раздетый буквально догола, он ни за что не хотел вылезать из бочки.

— Господа, — сказал серьезным тоном доктор. — Я не позволю в моем присутствии мучить человека. Будьте осторожнее.

— Стойте! — закричал купер. — Я придумал: смажем мы его машинным маслом. Грищенко! Беги ко мне на квартиру, принеси машинное масло. Да живо! Смотри, как бы наш барин не окочурился в самом деле.

Принесши масло, сунули его в лазейку Трофимову, и долго было слышно из бочки чье-то кряхтение, чьи-то взвизгивания и шлепки по голому телу. Наконец в четвертый раз показалась из бочки голова прокурора, еще более беспомощного, чем раньше. Но машинное масло и дружный натиск трех раздраженных этой нелепой историей людей сделали свое дело. Вытащенный до поясницы, прокурор выскочил из бочки, точно пробка из бутылки с теплым шампанским.

Ах, если бы многочисленные преступники, которых прокурор в свое время закатал на каторгу и в арестантские роты, видели его в эту минуту! Они прониклись бы к нему жалостью. Еле стоявший на ногах, голый, весь блестящий от масла, весь в ссадинах и кровоподтеках, с головой, беспомощно склоненной на правый бок, пахнущий нефтью, он в эту минуту был поистине достоин сожаления. Даже виноделы почувствовали к нему сострадание. Они быстро достали откуда-то простыни, мохнатые полотенца и половики, вытерли и высушили бедное, израненное тело прокурора, заботливо одели его, смыв с костюма винные пятна, и бережно снесли до экипажа. Оказалось, вся компания, кроме доктора, уехала, оставив друзьям, однако, на всякий случай экипаж. Ввалившийся в него прокурор тотчас же заснул в материнских объятиях Якова Сергеевича и так и не просыпался до самой Ялты.

А наутро, весь разбитый, со страшной головной болью, терзаемый жгучим стыдом и муками похмелья, он собрал свои вещи, расплатился и сел на первый попавшийся пароход, который отходил...

Впрочем, не все ли равно теперь было товарищу прокурора Лешедко, куда отходил его пароход?

В МЕДВЕЖЬЕМ УГЛУ

Когда он рассказывал мне эту историю, — а рассказывал он ее не раз, — я не узнавал моего электрического капитана (капитаном его называли не без основания за то, что он был отставным капитаном, уволенным из полка для пользы службы, а электрическим — потому, что он занимал какую-то мелкую должность в конторе общества электрического освещения). Его глаза, обыкновенно мутные и уклончивые, делались ясными и твердыми. Его всегда сиплый голос старинного алкоголика звучал вдруг такими нежными, глубокими тонами, каких я никогда не ожидал от него услышать, и весь он на эти несколько минут как будто бы проникался внутренним сиянием, делающим человека, даже совсем низко павшего, прекрасным.

— Это случилось так. Три батальона нашего полка стояли в самом омерзительном из грязных губернских городов юго-западного края, а один из батальонов поочередно посылали на осень, зиму и весну на пограничную черту, за шестьдесят верст от штаба полка. Батальон, вы сами понимаете... это — четыреста человек солдат и пятнадцать офицеров, включая сюда батальонного командира и трех подпрапорщиков. Конечно, за долгую зиму мы все уже успели друг с другом пересcориться. Это явление наблюдается и в тюрьмах, и в долгих пароходных рейсах, и в больших

семьях, и вообще всюду, где люди осуждены на вынужденное длительное, скучное сожительство. Выходили фамильные ссоры, сплетни, обидные недоразумения, проще — то, что называется в провинции, на севере — «контрами», на востоке — «козьими потягушками», а на юго-западе — «суспициями». Местные жители — католики и меннониты — или чуждались нас, или мы сами, храня свое офицерское достоинство, считали неудобным входить с ними в близкое знакомство. Местная же аристократия, преимущественно польские графы, совсем не обращали на нас внимания, на наши визиты отвечали оскорбительно учтивыми трехминутными визитами и затем забывали о нашем существовании. Что же мудреного, что мы, молодые офицеры, коротали длинные зимние вечера в гостях поочередно друг у друга, пили в ужасающем количестве омерзительную водку, взятую в кредит из еврейских шинков, закусывали ее микроскопическим кусочком сала поджаренного и под аккомпанемент вдребезги разбитой гитары пели старинные, давно забытые миром куплеты...

...Когда случится нам заехать
На грязный постоялый двор,
То, не садясь еще обедать,
Мы к рюмке обращаем взор.
Тогда мы все люли-люли
Готовы петь крамбамбули.
Крам-бам-бим-бамбули,
Крам-бам-були.

Когда мне изменяет дева,
Недолго я о том грущу;
В порыве яростного гнева
Я пробку в потолок пущу.
Тогда мы все люли, люли...

А то еще пели мы и нежные песни. Вот, например...

Тут капитан вдруг расчувствовался, всхлипнул от слез и запел самым, вероятно, фальшивым голосом на свете:

Пче-олка злата-ая,
Что-о ты шумишь?..
Все вкруг летая,
Про-очь не летишь...

Ну да ладно... не в этом дело. Я увлекся воспоминаниями. И вот, знаете, наступили рождественские праздники, и все офицеры нашего батальона, начиная от командира и кончая самым беспардонным тридцатипятилетним фендриком, потянулись в город. Женатые к женам и детям — согласитесь, они ведь не могли с собою брать их в гнусное местечко, где все дома — мазанки из глины и коровьего помета и где нет ни одного врача на случай болезни. Холостые задолго еще перед рождеством мечтали о балах в гражданском клубе и в офицерском собрании, о ярко освещенных теплых залах, о музыке, о танцах, о прелестных женских и девичьих лицах, телах и улыбках, а кое-кто и о зеленом столике, за которым можно прометать банк и оставить всех партнеров без единой копейки. Соблазн взять отпуск на рождество был так велик, что младшие офицеры решили бросить между собою жребий: кому ехать, кому оставаться в местечке по долгу службы. Но я сказал, что без всякого жребия с удовольствием останусь здесь. Этому удивились. Тогда я пояснил, что думаю воспользоваться несколькими свободными днями для того, чтобы без помехи подзубрить тактику, французский язык и уставы. Я в то время готовился в академию генерального штаба, поэтому мне охотно поверили и оставили меня в покое, с эгоистичной поспешностью и с фальшивыми сожалениями.

Теперь, говоря высоким штилем, «бросая ретроспективный взгляд» на мое прошлое, я понять не могу, что их всех так влекло в эту грязную губернскую трущобу, в сравнении с которой какой-нибудь Конотоп или какая-нибудь Чухлома кажутся столичными европейскими городами: однообразность жизни? бледность воображения? скука? тоска по людям?.. Нет, нет, я не смею осуждать их, спаси меня бог! Я только издали гляжу на вещи и события.

На весь батальон нас осталось только двое офицеров: командир седьмой роты Плисов и я, безусый субалтерн. Но Плисов давно уже лежал в постели, снедаемый последними натисками жестокой чахотки, и таким образом я очутился фактически властителем над жизнью и

смертью четырехсот человек солдат, а также и всего местного населения.

Не будь одного обстоятельства, о котором я сейчас скажу, я бы не отказал себе в удовольствии поставить солдатам несколько ведер водки, раздать им боевые патроны, объявить по телеграфу войну соседнему государству и вторгнуться в его пределы, подобно Ермаку, чтобы потом положить новую завоеванную землю к подножию монаршего престола. Но меня увлекла совсем другая мысль. Нежная и беспокойная. Дело в том, что у командира пятой роты, у которого я был под начальством, у капитана Терехова, была жена... Нет, вернее, не жена... Видите ли, у нее был где-то законный муж, и они жили просто так... свободно... не в особенно пылкой любви благодаря долговременной связи, но в прочной дружбе и взаимном самоуважении. Была она этакая маленькая, но крепкая, великолепно сложенная женщина, с огромными серыми глазами, с крошечными прелестными ручками и ножками, страстная, живая насмешница, с открытым и пылким характером, остроумная, участливая к чужой беде — словом, очаровательная женщина и чудесный товарищ.

Конечно, вы из моих слов уже понимаете, что я был в нее влюблен со всем бешеным неистовством двадцатидвухлетнего подпоручика. Я почти каждый день старался посещать их, пользуясь для этого всякими поводами: служебными, дружескими и иными. Она бывала со мной неизменно кокетлива, ласкова, предупредительна и дружелюбно насмешлива. Впрочем, иногда я замечал в ее серых глазах, в самых синих зрачках какие-то желтые топазовые искры, не то сердитые, не то вопрошающие. Я стеснялся, робел, прятал руки под стол, не зная, куда их девать, а по ночам нарочно ходил мимо ее окна раз по двадцати туда и обратно и шептал вслух какие-то дурацкие монологи. О, сколько раз я хотел ей сказать: «Обожаемая Анна Петровна, единственная радость моей жизни, моя первая и последняя любовь, если бы вы знали, как я вас люблю!» Но трусость или застенчивость, а может и просто тогдашнее незнание женского сердца мешали мне сделать это.

И вот на рождестве как раз представился удобный случай. Ее сердечный друг капитан Терехов не устоял перед соблазном доброго винта, с присыпкой винтящимися коронками и тройными штрафами, перед хорошим ужином с выпивкой, с песнями и с полковыми сплетнями. Он уехал в резиденцию полкового штаба, сказав десяток лицемерных слов и оставив жену на несколько дней одинокой, скучающей на попечение двух денщиков.

Анна Петровна, вероятно, с удовольствием поехала бы вместе с ним потанцевать, повеселиться, поужинать, но вы сами знаете офицерское общество... оно чопорно даже в Царевококшайске. Незаконный брак! Помилуйте!

Поэтому не удивительно, что вечером двадцать шестого декабря я получил от Анны Петровны записку приблизительно такого содержания:

«Отчего вы меня не навестите? Я безумно скучаю. Мне уже надоело раскладывать пасьянсы. Придите поболтать и сыграть партию в пикет. А я вас за это угощу запеканкой».

Конечно, я понесся к ней со скоростью бешеной кошки. Я только и ждал этого приглашения... И вот... уютная комната, мягкий свет висячей лампы из-под домодельного абажура, шуточная игра в карты, невинное, хотя немного высокомерное кокетство, сладкое густое вино. Душа моя блаженствует и мурлычет, точно кот на завалинке... но вдруг входит тереховский денщик и докладывает:

— Так что, ваше благородие, до вашего благородия пришел денщик его высокоблагородия капитана Плисова. Их послали барыня. Барыня говóрит, что их высокоблагородие чи дуже заболели, чи умерли.

Плисовский денщик подтвердил то же самое.

— Ротный лежит и не подает голоса. Обе барыни, и старая и молодая, боятся войти. И я сам спугался, аж подколенки трясутся.

— Почему не сбегал к доктору Бергеру? (У нас при батальоне своего военного доктора не было, а на все местечко существовал всего лишь один врач Бергер, старик семидесяти лет.)

— Бегал, ваше благородие. Евонная прислуга только и сказала, что после девяти часов вечера доктор никого не принимает.

Ах, черт! Надо было одеваться и идти. Но меня остановила Анна Петровна:

— Подождите немножко. Я тоже с вами. Я, может быть, буду чем-нибудь полезна.

Мы пошли. Я вел ее под руку. Было градусов восемнадцать — двадцать мороза и притом сильный ветер. Дорога к Плисовым шла все время в гору. Я должен был прилагать много усилий, чтобы удержать себя и мою спутницу от падения.

Первое, что я увидел в квартире Плисовых, — это его жену и тещу, которые, трясясь от ужаса, забились в какой-то чулан или кладовку около кухни. Мадам Плисова была высокая костлявая женщина, в пенсне, с маленьким лицом мартышки, полковая Мессалина, через любвеобильное сердце которой прошли все молодые, вновь назначенные в полк подпоручики, в том числе год тому назад и я... А мамаша, ну представьте себе мартышку вчетверо старее, злую и важную. Младшая из них (надо сказать, что она у нас была в полку самая страстная театральная любительница) кинулась ко мне и, трагически ломая себе руки, закатывая к небу глаза и хрустя пальцами, вскричала:

— Ради бога! О, ради самого создателя. Только вы один и можете нам помочь! Мы не могли достать врача.

— В Одессе к твоим услугам была бы тысяча врачей, — сказала басом и в нос мамаша.

— Мы не могли... Я вас прошу и заклинаю всем, что вам дорого... Войдите и посмотрите, что с ним! Мы слабые женщины и растерялись от ужаса!

Я попросил Анну Петровну успокоить, насколько это в ее силах, слабых женщин и вышел в другую комнату. На узенькой, холостой постели, прикрытый до пояса одеялом, лежал капитан. Голова его покоилась высоко на трех подушках. Глаза были открыты, но неподвижны и глядели с жуткой пристальностью. Из левого угла рта вытекла и запеклась на шее и на белой ночной рубашке вначале узкая, а потом все более и более широкая красная струя крови. Я положил руку ему на лоб. Но так

как на улице было холодно, а я шел к Плисовым без перчаток, то не мог уловить разницу между температурой его тела и моих пальцев. Тогда я попросил, чтобы мне дали возможность согреть руки. Для меня открыли заслонку печки. Однако тут же я вспомнил, что надо в этих случаях пощупать пульс. Увы! Пульс и температура с убедительностью сказали мне, что душа капитана покинула его бренное тело.

Вдова и теща тотчас же, точно по команде, подняли громкий вопль. Бог весть откуда-то, точно из-под земли, явились в комнаты две грязные толстые и чуть ли не пьяные старухи. Они с привычной ловкостью раздели капитана догола, и я сам помог им положить его на пол. С цирковой быстротой они намылили труп мыльной мочалкой, окатили водой, вытерли простынями и одели в чистое нижнее белье. Ах, никогда я не забуду этого ужасного желтого тела, этих ног и рук, подобных членам скелета, обтянутого желтой кожей, этих ребер, выпирающих наружу, как у дохлой лошади.

Старухи справились с брюками сравнительно легко. И мундир они надели на него благополучно, но застегнуть крючки им никак не удавалось. Пришлось опять мне прийти к ним на помощь. Ну-ка, попробуйте когда-нибудь застегивать покойника на крючки мундира, и вы узнаете, что это за штука! Я ничего не мог поделать с этим упрямцем. Тогда я сказал мысленно сам себе: «Милый Гермоген! Неизбежно придется надавить ногой ему на живот. Но, очевидно, у него скопились в желудке газы. Поэтому будь готов к тому, мой ангел, что покойник неожиданно может рявкнуть. Итак, держи себя в руках».

И правда, когда я с громадными усилиями, надавив коленом на живот покойника, застегивал последнюю петлю мундира, труп капитана вдруг зарычал. Мне казалось, что я вот-вот упаду в обморок. Но в это время вошла Анна Петровна, спокойно закрыла глаза покойнику и положила на них два медных пятака.

Мои обязанности были окончены. Я должен был проводить Анну Петровну домой. Во всю дорогу мы ничего не говорили. Когда мы остановились у дверей ее дома, она сказала:

— Зайдите на минутку ко мне. Я вам предложу стакан вина. Мне, право, жутко остаться сейчас одной.

Самые серьезные моменты в жизни как-то туго запоминаются. Смутно помню, что я стоял, прислонившись к теплой печке и грея об нее озябшие руки, — мне казалось, что на них запечатлелся холод умершего человеческого тела. Анна Петровна ходила взад и вперед по комнате, зябко кутаясь в оренбургский платок.

— Смерть! какая гадость: жил человек, мыслил, страдал, надеялся, любил, ревновал. И вдруг ничего от него не остается, кроме падали! Что за ужасный закон! И всего страшнее — его неизбежность.

Она вдруг подошла ко мне близко, совсем близко. Руки ее были опущены вдоль тела. Ее ресницы трепетали, и губы полуоткрылись над прекрасными неправильного строения зубами. Мне казалось, что я чувствую тепло, исходящее от ее тела, и слышу аромат ее волос и кожи. Потом... неожиданным быстрым движением она обвила свои руки вокруг моей шеи и прижалась к моим губам своими жаркими открытыми губами...

А потом, уже под утро, провожая меня до передней со свечой в руках, она сказала мне в то время, когда я надевал пальто и калоши:

— Мой милый... Запомните твердо: наша ночь была первой и должна остаться последней. Это был праздник, победа жизни над смертью. Прошу вас, не бывайте у нас больше. Великих моментов нельзя повторять, как и нельзя передразнивать вдохновение. Сначала, я знаю, вам будет тяжело и обидно, но когда вы станете старше и мудрее, вы поймете, как я сейчас глубоко права.

И вот, в то время, когда я целовал ее руку, она нежно и холодно, по-матерински, поцеловала меня в лоб.

Наутро я посетил моего покойного товарища. Он лежал уже в гробу. Над ним тщетно старались выжать слезы вдова и теща. А его лицо улыбалось улыбкой какого-то неземного блаженства... Ну, что ж! Я с вами откровенен... мне стыдно и страшно было вспоминать, что вчера я почти ту же безвольную, спокойную и блаженную улыбку видал на губах Анны Петровны, когда она подошла ко мне так близко, близко, вплотную...

СВЯТАЯ ЛОЖЬ

Иван Иванович Семенюта — вовсе не дурной человек. Он трезв, усерден, набожен, не пьет, не курит, не чувствует влечения ни к картам, ни к женщинам. Но он — самый типичный из неудачников. На всем его существе лежит роковая черта какой-то растерянной робости, и, должно быть, именно за эту черту его постоянно бьет то по лбу, то по затылку жестокая судьба, которая, как известно, подобно капризной женщине, любит и слушается людей только властных и решительных. Еще в школьные годы Семенюта всегда бывал козлищем отпущения за целый класс. Бывало, во время урока нажует какой-нибудь сорванец большой лист бумаги, сделает из него лепешку и ловким броском шлепнет ею в величественную лысину француза. А Семенюту как раз в этот момент угораздит отогнать муху со лба. И красный от гнева француз кричит:

— О! Земнют, скверный мальчишка! Au mur! К стеньи!

И бедного, ни в чем не повинного Семенюту во время перемены волокут к инспектору, который трясет седой козлиной бородой, блестит сквозь золотые очки злыми серыми глазами и равномерно тюкает Семенюту по темени старым, окаменелым пальцем.

— Ученичок развращенный! Ар-ха-ро-вец... Позорище заведения!.. У-бо-и-ще!.. Ос-то-лоп!..

И потом заканчивал деловым холодным тоном:

— После обеда в карцер на трое суток. До рождества без отпуска (заведение было закрытое), а если еще повторится, то выдерем и вышвырнем из училища.

Затем звонкий щелчок в лоб и грозное: «Пшол! Коз-ли-ще!»

И так было постоянно. Разбивали ли рогатками стекла в квартире инспектора, производили ли набег на соседние огороды, — всегда в критический момент молодые разбойники успевали разбежаться и скрыться, а скромный, тихий Семенюта, не принимавший никакого участия в проделке, оказывался роковым образом непременно поблизости к месту преступления. И опять его тащили на расправу, опять ритмические возгласы:

— У-бо-и-ще!.. Ар-ха-ро-вец!.. Ос-то-лоп!..

Так он с трудом добрался до шестого класса. Если его не выгнали еще раньше из училища с волчьим паспортом, то больше потому, что его мать, жалкая и убогая старушка, жившая в казенном вдовьем доме, тащилась через весь город к инспектору, к директору или к училищному священнику, бросалась перед ними в землю, обнимала их ноги, мочила их колени обильными материнскими слезами, моля за сына:

— Не губите мальчика. Ей-богу, он у меня очень послушный и ласковый. Только он робкий очень и запуганный. Вот другие сорванцы его и обижают. Уж лучше посеките его.

Семенюту довольно часто и основательно секли, но это испытанное средство плохо помогало ему. После двух неудачных попыток проникнуть в седьмой класс его все-таки исключили, хотя, снисходя к слезам его матери, дали ему аттестат об окончании шести классов.

Путем многих жертв и унижений мать кое-как сколотила небольшую сумму на штатское платье для сына. Пиджачная тройка, зеленое пальто «полудемисезон», заплатанные сапоги и котелок были куплены на толкучке, у торговцев «вручную». Белье же для него мать пошила из своих юбок и сорочек.

Оставалось искать место. Но место «не выходило» — таково уж было вечное счастье Семенюты. Хотя

надо сказать, что целый год он с необыкновенным рвением бегал с утра до вечера по всем улицам громадного города в поисках какой-нибудь крошечной должности. Обедал он и ужинал во вдовьем доме: мать, возвращаясь из общей столовой, тайком приносила ему половину своей скудной порции. Труднее было с ночлегом, так как вдовы помещались в общих палатах, по пяти-шести в каждой. Но мать поклонилась псаломщику, поклонилась и кастелянше, и те милостиво позволили Семенюте спать у них на общей кухне на двух табуретках и деревянном стуле, сдвинутых вместе.

Наконец-то через год с лишком нашлось место писца в казенной палате на двадцать три рубля и одиннадцать с четвертью копеек в месяц. Добыл его для Семенюты частный поверенный, Ювеналий Евпсихиевич Антонов, знавший его мать во времена ее молодости и достатка.

Семенюта со всем усердием и неутомимостью, которые ему были свойственны, влег в лямку тяжелой, скучной службы. Он первый приходил в палату и последний уходил из нее, а иногда приходил заниматься даже по вечерам, так как за сущие гроши он исполнял срочную работу товарищей. Остальные писцы относились к нему холодно: немного свысока, немного пренебрежительно. Он не заводил знакомств, не играл на бильярде и не разгуливал на бульваре со знакомыми барышнями во время музыки. «Анахорет сирийский», — решили про него.

Семенюта был счастлив: скромная комнатка, вроде скворечника, на самом чердаке, обед за двадцать копеек в греческой столовой, свой чай и сахар. Теперь он не только мог изредка баловать мать то яблочком, то десятком карамель, то коробкой халвы, но к концу года даже завел себе довольно приличный костюмчик и прочные скрипучие ботинки. Начальство, по-видимому, оценило его усердие. На другой год службы он получил должность журналиста и прибавку в пять рублей к жалованью, а к концу второго года он уже числился штатным и стал изредка откладывать коечто в сберегательную кассу. Но тут-то среди аркад-

ского благополучия судьба и явила ему свой свирепый образ.

Однажды Семенюта прозанимался в канцелярии до самой глубокой ночи. Кроме того, его ждала на квартире спешная частная работа по переписке. Он лег спать лишь в пятом часу утра, а проснулся, по обыкновению, в семь, усталый, разбитый, бледный, с синими кругами под глазами, с красными ресницами и опухшими веками. На этот раз он явился в управление не раньше всех, как всегда, но одним из последних.

Он не успел еще сесть на свое место и разложить перед собой бумаги, как вдруг смутно почувствовал в душе какое-то странное чувство, тревожное и жуткое. Одни из товарищей глядели на него искоса, с неприязнью, другие — с мимолетным любопытством, третьи опускали глаза и отворачивались, когда встречались с его глазами. Он ничего не понимал, но сердце у него замерло от холодной боли.

Тревога его росла с каждой минутой. В одиннадцать часов, как обыкновенно, раздался громкий звонок, возвещающий прибытие директора. Семенюта вздрогнул и с этого момента не переставал дрожать мелкой лихорадочной дрожью. И он, пожалуй, совсем даже не удивился, а лишь покачнулся, как вол под обухом, когда секретарь, нагнувшись над его столом, сказал строго, вполголоса: «Его превосходительство требует вас к себе в кабинет». Он встал и свинцовыми шагами, точно в кошмаре, поплелся через всю канцелярию, провожаемый длинными взглядами всех сослуживцев.

Он никогда не был в этом святилище, и оно так поразило его своими огромными размерами, грандиозной мебелью в строгом, ледяном стиле, массивными малиновыми портьерами, что он не сразу заметил маленького директора, сидевшего за роскошным письменным столом, точно воробей на большом блюде.

— Подойдите, Семенюта, — сказал директор, после того как Семенюта низко поклонился. — Скажите, зачем вы это сделали?

— Что, ваше превосходительство?

— Вы сами лучше меня знаете, что. Зачем вы взломали ящик от экзекуторского стола и похитили

оттуда гербовые марки и деньги? Не извольте отпираться. Нам все известно.

— Я... ваше превосходительство... Я... Я... Я, ей-богу...

Начальник, очень либеральный, сдержанный и гуманный человек, профессор университета по финансовому праву, вдруг гневно стукнул по столу кулаком:

— Не смейте божиться. Прошлой ночью вы здесь оставались один. Оставались до часу. Кроме вас, во всем управлении был только сторож Анкудин, но он служит здесь больше сорока лет, и я скорее готов подумать на самого себя, чем на него. Итак, признайтесь, и я отпущу вас со службы, не причинив вам никакого вреда.

Ноги у Семенюты так сильно затряслись, что он невольно опустился на колени.

— Ваше... Ей-богу, честное слово... ваше... Пускай меня матерь божия, Николай-угодник, если я... ваше превосходительство!

— Встаньте, — брезгливо сказал начальник, подбирая ноги под стул. — Разве я не вижу по вашему лицу и по вашим глазам, что вы провели ночь в вертепе. Я ведь знаю, что у вас после растраты или *кражи* (начальник жестоко подчеркнул это слово), что у вас первым делом — трактир или публичный дом. Не желая порочить репутацию моего учреждения, я не дам знать полиции, но помните, что, если кто-нибудь обратится ко мне за справками о вас, я хорошего ничего не скажу. Ступайте.

И он надавил кнопку электрического звонка.

Вот уже три года как Семенюта живет дикой, болезненной и страшной жизнью. Он ютится в полутемном подвале, где снимает самый темный, сырой и холодный угол. В другом углу живет Михеевна, торговка, которая закупает у рыбаков корзинками мелкую рыбку-уклейку, делает из нее котлеты и продает на базаре по копейке за штуку. В третьем, более светлом, углу целый день стучит, сидя на липке, молоточком сапожник Иван Николаевич, по будням мягкий, ласковый,

веселый человек, а по праздникам забияка и драчун, который живет со множеством ребятишек и с вечно беременной женой. Наконец в четвертом углу с утра до вечера грохочет огромным деревянным катком прачка Ильинишна, хозяйка подвала, женщина сварливого характера и пьяница.

Чем существует Семенюта,—он и сам не скажет толком. Он учит грамоте старших ребятишек сапожника, Кольку и Верку, за что получает по утрам чай вприкуску, с черным хлебом. Он пишет прошения в ресторанах и пивных, а также по утрам в почтамте адресует конверты и составляет письма для безграмотных, дает урок в купеческой семье, где-то на краю города, за три рубля в месяц. Изредка наклевывается переписка. Главное же его занятие — это бегать по городу в поисках за местом. Однако внешность его никому не внушает доверия. Он не брит, не стрижен, волосы торчат у него на голове, точно взъерошенное сено, бледное лицо опухло нездоровой подвальной одутловатостью, сапоги просят каши. Он еще не пьяница, но начинает попивать.

Но есть четыре дня в году, когда он старается встряхнуться и сбросить с себя запущенный вид. Это на Новый год, на пасху, на троицу и на тринадцатое августа.

Накануне этих дней он путем многих усилий и унижений достает пятнадцать копеек, — пять копеек на баню, пять на цирюльника, практикующего в таком же подвале, без вывески, и пять копеек на плитку шоколода или на апельсин. Потом он отправляется к одному из двух прежних товарищей, которых хотя и стесняют его визиты, но которые все-таки принимают его с острой и брезгливой жалостью в сердце. Их фамилии: одного — Пшонкин, а другого — Масса. Боясь надоесть, Семенюта чередует свои визиты.

Он пьет предложенный ему стакан чаю, кряхтит, вздыхает и печально, по-старчески покачивает головой.

— Что? Плохо, брат Семенюта? — спрашивает Масса.

— На бога жаловаться грех, а плохо, плохо, Николай Степанович.

— А ты не делал бы, чего не полагается.

— Николай Степанович... видит бог... не я... как перед истинным, — не я.

— Ну, ну, будет, будет, не плачь. Я ведь в шутку. Я тебе верю. С кем не бывает несчастья? А тебе, Семенюта, не нужно ли денег? Четвертачок я могу.

— Нет, нет, Николай Степанович, денег мне не надо, да и не возьму я их, а вот, если уж вы так великодушны, одолжите пиджачок на два часика. Какой позатрепаннее. Не откажите, роднуша, не откажите, голуба. Вы не беспокойтесь, я вчера в баньке был. Чистый.

— Чудак ты, Семенюта. Для чего тебе костюм? Вот уже третий год подряд ты у меня берешь напрокат пиджаки. Зачем тебе?

— Дело такое, Николай Степанович. Тетка у меня... старушка. Вдруг умрет, а я единственный наследник. Надо же показаться, поздравить. Деньги не бог весть какие, но все-таки пятьсот рублей... Это не Макара в спину целовать.

— Ну, ну, бери, бери, бог с тобой.

И вот, начистив до зеркального блеска сапоги, замазав в них дыры чернилами, тщательно обрезав снизу брюк бахрому, надев бумажный воротничок с манишкой и красный галстук, которые обыкновенно хранятся у него целый год завернутые в газетную бумагу, Семенюта тянется через весь город во вдовий дом с визитом к матери. В теплой, по-казенному величественной передней красуется, как монумент, в своей красной с черными орлами ливрее толстый седой швейцар Никита, который знал Семенюту еще с пятилетнего возраста. Но швейцар смотрит на Семенюту свысока и даже не отвечает на его приветствие.

— Здравствуй, Никитушка. Ну, как здоровье?

Гордый Никита молчит, точно окаменев.

— Как здоровье мамаши? — спрашивает робко обескураженный Семенюта, вешая пальто на вешалку.

Швейцар заявляет:

— А что ей сделается. Старуха крепкая. Поскрипи-ит.

Семенюта обыкновенно норовит попасть к вечеру, когда не так заметны недостатки его костюма. Неслышным шагом проходит он сквозь ряды огромных сводчатых палат, стены которых выкрашены спокойной зеленой краской, мимо белоснежных постелей со взбитыми перинами и горами подушек, мимо старушек, которые с любопытством провожают его взглядом поверх очков. Знакомые с младенчества запахи, — запах травы пачули, мятного куренья, воска и мастики от паркета и еще какой-то странный, неопределенный, цвелый запах чистой, опрятной старости, запах земли, — все эти запахи бросаются в голову Семенюте и сжимают его сердце тонкой и острой жалостью.

Вот, наконец, палата, где живет его мать. Шесть высоченных постелей обращены головами к стенам, ногами внутрь, и около каждой кровати — казенный шкафчик, украшенный старыми портретами в рамках, оклеенных ракушками. В центре комнаты с потолка низко спущена на блоке огромная лампа, освещающая стол, за которым три старушки играют в нескончаемый преферанс, а две другие тут же вяжут какое-то вязанье и изредка вмешиваются со страстью в разбор сделанной игры. О, как все это болезненно знакомо Семенюте!

— Конкордия Сергеевна, к вам пришли.

— Никак Ванечка?

Мать быстро встает, подымая очки на лоб. Клубок шерсти падает на пол и катится, распутывая петли вязанья.

— Ванёчек! Милый! Ждала, ждала, думала, так и не дождусь моего ясного сокола. Ну, идем, идем. И во сне тебя сегодня видела.

Она ведет его дрожащей рукой к своей постели, где около окна стоит ее собственный отдельный столик, постилает скатерть, зажигает восковой церковный огарочек, достает из шкафчика чайник, чашки, чайницу и сахарницу и все время хлопочет, хлопочет, и ее старые, иссохшие, узловатые руки трясутся.

Проходит мимо степенная старая горничная, «покоевая девушка», лет пятидесяти, в синем форменном платье и белом переднике.

— Домнушка! — говорит немного искательно Конкордия Сергеевна. — Принеси-ка нам, мать моя, немножечко кипяточку. Видишь, Ва́нюшка ко мне в гости приехал.

Домна низко, но с достоинством, по-старинному, по-московски, кланяется Семенюте.

— Здравствуйте, батюшка Иван Иванович. Давненько не бывали. И мамаша-то все об вас скучают. Сейчас, барыня, принесу, сию минуту-с.

Пока Домна ходит за кипятком, мать и сын молчат и быстрыми, пронзительными взглядами точно ощупывают души друг друга. Да, только расставаясь на долгое время, уловишь в любимом лице те черты разрушения и увядания, которые не переставая наносит беспощадное время и которые так незаметны при ежедневной совместной жизни.

— Вид у тебя неважный, Ва́нёк, — говорит старушка и сухой жесткой рукой гладит руку сына, лежащую на столе. — Побледнел ты, усталый какой-то.

— Что поделаешь, маман! Служба. Я теперь, можно сказать, на виду. Мелкая сошка, а вся канцелярия на мне. Работаю буквально с утра до вечера. Как вол. Согласитесь, маман, надо же карьеру делать?

— Не утомляйся уж очень-то, Ванюша.

— Ничего, маман, я двужильный. Зато на пасху получу коллежского, и прибавку, и наградные. Тогда кончено ваше здешнее прозябание. Сниму квартирку и перевезу вас к себе. И будет у нас не житье, а рай. Я на службу, вы — хозяйка.

Из глаз старухи показываются слезы умиления и расползаются в складках глубоких морщин.

— Дай-то бог, дай-то бог, Ваничёк. Только бы бог тебе послал здоровья и терпенья. Вид-то у тебя...

— Ничего. Выдержим, маман!

Этот робкий, забитый жизнью человек всегда во время коротких и редких визитов к матери держится развязного, независимого тона, бессознательно подражая тем светским «прикомандированным» шалопаям, которых он в прежнее время видел в канцелярии. Отсюда и дурацкое слово «маман». Он всегда звал мать и теперь мысленно называет «мамой», «мамусенькой»,

«мамочкой», и всегда на «ты». Но в названии «маман» есть что-то такое беспечное и аристократическое. И в те же минуты, глядя на измученное, опавшее, покоробленное лицо матери, он испытывает одновременно страх, нежность, стыд и жалость.

Домна приносит кипяток, ставит его со своим истовым поклоном на стол и плавно уходит.

Конкордия Сергеевна заваривает чай. Мимо их столика то и дело шмыгают по делу и без дела древние, любопытные, с мышиными глазками старушонки, сами похожие на серых мышей. Все они помнят Семеннюту с той поры, когда ему было пять лет. Они останавливаются, всплескивают руками, качают головой и изумляются:

— Господи! Ванечка! И не узнать совсем, — какой большой стал. А я ведь вас вон этаким, этаким помню. Отчаянный был мальчик — герой. Так вас все и звали: генерал Скобелев. Меня все дразнил «Перпетуя Измегуевна», а покойницу Гололобову, Надежду Федоровну, — «серенькая бабушка с хвостиком». Как теперь помню.

Конкордия Сергеевна бесцеремонно машет на нее кистью руки.

— И спасибо... Тут у нас с сыном важный один разговор. Спасибо. Идите, идите.

— Как у нас дела, маман? — спрашивает Семенюта, прихлебывая чай внакладку.

— Что ж. Мое дело старческое. Давно пора бы туда... Вот с дочками плохо. Ты-то, слава богу, на дороге, на виду, а им туго приходится. Катюшин муж совсем от дому отбился. Играет, пьет, каждый день на квартиру пьяный приходит. Бьет Катеньку. С железной дороги его, кажется, скоро прогонят, а Катенька опять беременна. Только одно и умеет, подлец.

— Да уж, маман, правда ваша, — подлец.

— Тсс... тише... Не говори так вслух... — шепчет мать. — Здесь у нас все подслушивают, а потом пойдут сплетничать. Да. А у Зоиньки... уж, право, не знаю, хуже ли, лучше ли? Ее Стасенька и добрый и ласковый... Ну, да они все, поляки, ласые, а вот насчет

бабья — сущий кобель, прости господи. Все деньги на них, бесстыдник, сорит. Катается на лихачах, подарки там разные... А Зоя, дурища, до сих пор влюблена, как кошка! Не понимаю, что за глупость! На днях нашла у него в письменном столе, — ключ подобрала, — нашла карточки, которые он снимал со своих Дульциней в самом таком виде... знаешь... без ничего. Ну, Зоя и отравилась опиумом... Едва откачали. Да, впрочем, что я тебе все неприятное да неприятное. Расскажи лучше о себе что-нибудь. Только тсс... потише — здесь и стены имеют уши.

Семенюта призывает на помощь все свое вдохновение и начинает врать развязно и небрежно. Правда, иногда он противоречит тому, что говорил в прошлый визит. Все равно, он этого не замечает. Замечает мать, но она молчит. Только ее старческие глаза становятся все печальнее и пытливее.

Служба идет прекрасно. Начальство ценит Семенюту, товарищи любят. Правда, Трактатов и Преображенский завидуют и интригуют. Но куда же им! У них ни знаний, ни соображения. И какое же образование: один выгнан из семинарии, а другой — просто хулиган. А под Семенюту комар носу не подточит. Он изучил все тайны канцелярщины досконально. Столоначальник с ним за руку. На днях пригласил к себе на ужин. Танцевали. Дочь столоначальника, Любочка, подошла к нему с другой барышней. «Что хотите: розу или ландыш?» — «Ландыш!» Она вся так и покраснела. А потом спрашивает: «Почему вы узнали, что это я?» — «Мне подсказало сердце».

— Жениться бы тебе, Ванечка.

— Подождите. Рано еще, маман. Дайте обрасти перьями. А хороша. Абсолютно хороша.

— Ах, проказник!

— Тьфу, тьфу, не сглазить бы. Дела идут пока порядочно, нельзя похаять. Начальник на днях, проходя, похлопал по плечу и сказал одобрительно: «Старайтесь, молодой человек, старайтесь. Я слежу за вами и всегда буду вам поддержкой. И вообще имею вас в виду».

И он говорит, говорит без конца, разжигаясь собственной фантазией, положив легкомысленно ногу на ногу, крутя усы и щуря глаза, а мать смотрит ему в рот, завороженная волшебной сказкой. Но вот звонит вдали, все приближаясь, звонок. Входит Домна с колокольчиком. «Барыни, ужинать».

— Ты подожди меня, — шепчет мать. — Хочу еще на тебя поглядеть.

Через двадцать минут она возвращается. В руках у нее тарелочка, на которой лежит кусок соленой севрюжинки, или студень, или винегрет с селедкой и несколько кусков вкусного черного хлеба.

— Покушай, Ванечка, покушай, — ласково упрашивает мать. — Не побрезгуй нашим вдовьим кушаньем! Ты маленьким очень любил севрюжинку.

— Маман, помилуйте, сыт по горло, куда мне. Обедали сегодня в «Праге», чествовали экзекутора. Кстати, маман, я вам оттуда апельсинчик захватил. Пожалуйте...

Но он, однако, съедает принесенное блюдо со зверским аппетитом и не замечает, как по морщинистым щекам материнского лица растекаются, точно узкие горные ручьи, тихие слезы.

Наступает время, когда надо уходить. Мать хочет проводить сына в переднюю, но он помнит о своем обтрепанном пальто невозможного вида и отклоняет эту любезность.

— Ну, что, в самом деле, маман. Дальние проводы — лишние слезы. И простудитесь вы еще, чего доброго. Смотрите же, берегите себя!

В передней гордый Никита смотрит с невыразимым подавляющим величием на то, как Семенюта торопливо надевает ветхое пальтишко и как он насовывает на голову полуразвалившуюся шапку.

— Так-то, Никитушка, — говорит ласково Семенюта. — Жить еще можно... Не надо только отчаиваться... Эх, надо бы тебе было гривенничек дать, да нету у меня мелочи.

— Да будет вам, — пренебрежительно роняет швейцар. — Я знаю, у вас всё крупные. Идите уж, идите. Настудите мне швейцарскую.

Когда же судьба покажет Семенюте не свирепое, а милостивое лицо? И покажет ли? Я думаю — да.

Что стоит ей, взбалмошной и непостоянной красавице, взять и назло всем своим любимцам нежно приласкать самого последнего раба?

И вот старый, честный сторож Анкудин, расхворавшись и почувствовав приближение смерти, шлет к начальнику казенной палаты своего внука Гришку:

— Так и скажи его превосходительству: Анкудин-де собрался умирать и перед кончиной хочет открыть его превосходительству один очень важный секрет.

Приедет генерал в Анкудинову казенную подвальную квартирёшку. Тогда, собрав последние силы, сползет с кровати Анкудин и упадет в ноги перед генералом:

— Ваше превосходительство, совесть меня замучила... Умираю я... Хочу с души грех снять... Деньги-то эти самые, и марки... Это ведь я украл... Попутал меня лукавый... Простите, Христа ради, что невинного человека оплел, а деньги и марки — вот они здесь... В комоде, в верхнем правом ящичке.

На другой же день пошлет начальник Пшонкова или Массу за Семенютой, выведет его рука об руку перед всей канцелярией и скажет все про Анкудина, и про украденные деньги и марки, и про страдание злосчастного Семенюты, и попросит у него публично прощения, и пожмет ему руку, и, растроганный до слез, облобызает его.

И будет жить Семенюта вместе с мамашей еще очень долго в тихом, скромном и теплом уюте. Но никогда старушка не намекнет сыну на то, что она знала об его обмане, а он никогда не проговорится о том, что он знал, что она знает. Это острое место всегда будет осторожно обходиться. Святая ложь — это такой трепетный и стыдливый цветок, который увядает от прикосновения.

А ведь и в самом деле, бывают же в жизни чудеса! Или только в пасхальных рассказах?

ЗАПЕЧАТАННЫЕ МЛАДЕНЦЫ

Куда только не совала меня судьба. Я был последовательно офицером, землемером, грузчиком арбузов, подносчиком кирпичей, продавцом в Москве, на Мясницкой, в одной технической конторе тех принадлежностей домашнего обихода, которые очень необходимы, но о которых вслух не принято говорить. Был лесным объездчиком, нагружал и выгружал мебель во время осеннего и весеннего дачных сезонов, ездил передовым в цирке, занимался гнусным актерским ремеслом, но никогда я не представлял себе, что придется быть еще и псаломщиком.

А случилось это вот как. Мой приятель инженер попросил меня поехать к нему, на север Полесья, в деревню Казимирку, где у него было около двух тысяч десятин. Почему-то ему взбрела в голову мысль о том, чтобы развить там табаководство. А в то время я был человек свободный, независимый, легкомысленный и подвижной. Поэтому, нагрузив чемодан семенами махорки-серебрянки и несколькими десятками брошюр, я отважно двинулся на это сомнительное предприятие.

Должен заранее сознаться, что из моих сельскохозяйственных предприятий ничего не вышло. Часть табака увяла от чрезмерно теплого лета, другую часть разворовали крестьяне, а третья и последняя погибла во время лесного пожара.

В этой деревне был древний костел и в нем за престолом образ божьей матери, писанный, по преданию, евангелистом Лукою, а в ста шагах расстояния находилась церковь, деревянная, с зеленой высокой крышей, со стенами, крашенными сверху вниз белыми и розовыми полосами. Настоятелем православной церкви числился таинственный отец Анатолий. Но его паства никогда его не видела. Деревня Казимирка считалась приписной в количестве других шести-семи деревень и сел, в которых были престолы.

Всякий, кто бывал на юге или юго-западе России, тот знает, какой заботой, вниманием, я даже более скажу, обожанием, окружала католическая паства своих священников. Лучшая, редкая дичь — ксендзу. Столетний карп или лещ — тоже пану пробощу, великолепные домотканые полотенца с прелестными народными узорами — ему же, весною черешни, летом земляника, осенью яблоки, грибы, сметана, сливки, а на рождество поросята, гуси и утки. О других дарах я не буду говорить, чтобы не показаться сплетником. Конечно, бедные полещуки вместо своей заколоченной православной церкви начали ходить в костел. Надо же было им удовлетворить свои религиозные потребности. Кстати, там музыка, благоговейная тишина, торжественность богослужения, великолепный ритуал.

Ксендз был очень тактичный человек. Он избегал какого бы то ни было воздействия на чужое стадо, но не препятствовал ему обращаться к богу как ему выгоднее и удобнее. И вот, кажется, на это обратили внимание в епархии. Во всяком случае, в деревню Казимирку был наряжен отец Анатолий, со строгим предписанием во что бы то ни стало положить конец католическому засилью. Он приехал не один, а вместе с псаломщиком, который столько же понимал в церковном уставе, сколько, как говорится, сазан в библии. А церковный устав — это тяжелая ответственная вещь. Все эти задостойники, стихири на стиховне, тропари, ирмосы, песнопения дню, числу и месяцу, передвижение пасхалии, апостол на каждый день и евангелие — представляют из себя такую скомканную и

совсем не четко определенную науку, в которой распутаться может только редкий специалист.

По моему мнению, отец Анатолий знал гораздо меньше, чем псаломщик, или, может быть, знал, но забыл, но зато он был хорошим патриотом и отважным человеком. Посетив однажды костел и внимательно просмотрев службу ксендза Антония Бурбы, он для привлечения своего стада православной церкви решился ввести у себя в храме католический обиход. Когда он проносил святые дары во время преждеосвященной обедни с жертвенника на алтарь, то впереди его, пятясь задом, в серой двухцветной свитке, наполовину черной, наполовину серой, пятился, почти на четвереньках, церковный староста крестьянин и все время звонил в колокольчик. Возглас к евангелию он читал на мотив Secula Seculorum [1] и говорил проповеди на малороссийском языке.

Неизбежно было, что я познакомился с ними обоими, и с отцом Анатолием и его псаломщиком. Кроме них, был в Казимирке только едва-едва грамотный человек, продавец в казенной винной лавке, с которым я уже успел давно поссориться.

Итак, мы втроем, священник, псаломщик и я, собирались каждый вечер то у них, то у меня и часами играли в преферанс по двухтысячной, с рефетами и двойной курочкой. Тут-то они меня и привлекли к священнодействию. Надо сказать, что я очень люблю церковное пение и довольно основательно знаю его, поэтому соблазнить меня было очень легко. За две недели до масленицы я уже был постоянным певцом на правом клиросе, и мы с псаломщиком, — помню прекрасно его лицо: маленький, черный, узколобый, с отвисшей нижней губой, но никак не могу вспомнить его имени, отчества и фамилии, — мы с ним каждое воскресенье распевали все, что нам взбредало на ум или попадалось под руку. Во всяком случае, должен сказать, что церковным уставом я овладел в эти несколько недель гораздо точнее, чем он за весь свой семинарский искус.

Первую неделю великого поста мы провели кое-как, с грехом пополам, но все-таки сравнительно благопо-

---

[1] Веки вечные (*лат.*).

лучно. Но вот однажды приходит ко мне мой псаломщик и первым делом спрашивает:

— Дадите ли вы мне честное слово, что все, что я вам скажу, останется между нами?

Я ему ответил:

— Вы меня связываете чересчур тесным обязательством. Если моя совесть позволит мне не рассказать никому, то, конечно, я не расскажу никому: я не из болтливых. А если мне придется сказать, то скажу. И вообще я не люблю себя стеснять никакими условиями. Вы сами понимаете, что покупать кота в мешке...

— Ну, ладно! Идет, — живо возразил он. — Я не буду с вами уговариваться наперед, а скажу все откровенно. Видите ли, мне хочется в этом месяце держать экзамен в юнкерское училище, чтобы потом сдать экзамен на подпрапорщика и на офицера. Я хочу попросить у отца Анатолия отпуск, но не хочу ему сказать, зачем я уезжаю. Если мне удастся выдержать экзамен, я напишу ему письмо с прошением, а если не удастся, я вернусь сюда обратно, и место псаломщика все-таки останется за мною. А вы на это время останетесь вместо меня, тем более что под моим руководством вы настолько привыкли к службе, что она вас совсем не затруднит. Вы понимаете меня?

Конечно, я понял его, поморщился, но согласился с ним. В тот же день отец Анатолий благословил его поехать отдать последнее целование усопшей матери, а псаломщик передал мне несколько десятков книг в старинных телячьих переплетах, издание времен Екатерины Второй и Павла Первого.

Однако я не рассчитал своих сил. Страшно тяжела была первая неделя, когда мы служили ежедневно. Начинали мы служение с пяти часов утра, отламывали всенощное бдение, великое и малое повечерие, заутреню, раннюю обедню и позднюю обедню, а в промежутках исповедовали и причащали человек по двести в сутки. Кончали мы служение часов около двух или трех пополудни. Вторая и третья недели были сравнительно легче — были заняты только среды, пятницы и воскресенья. Но к четвертой опять повалили исповедники, и я совсем выбился из сил и лишился последних остатков

моего голоса. Вместо того чтобы петь, я скрипел и шипел, точно расстроенный граммофон. Пятая неделя опять дала маленький роздых, но на шестой и седьмой неделе я просто потерял голову. Коварный псаломщик точно в воду канул. Он меня не извещал ни одним звуком о своей судьбе. А отец Анатолий становился все настойчивее и настойчивее. Почем знать, может быть, он что-нибудь пронюхал о нашем таинственном договоре с псаломщиком. Помню отлично, что в один из этих дней я лег спать в три с половиной часа утра, — всю ночь я играл в польский банчок с графом Ворцелем, и вот в середине пятого часа утра ко мне приходит церковный староста, в смазных сапогах, в разноцветной свитке, с густо намазанными волосами.

— Идыть швитко до церкви. Батюшка вас требует.

Я мгновенно вспомнил о том, как он обтирал причастникам губы шелковым платом и как при этом орал на них, точно на базаре. Припомнил, как он толкал в шею бестолковых баб, наглухо закутанных в толстые шерстяные платки, как он перевирал имена причастников, вспомнил многое другое. Кончилось все это тем, что он со значительной скоростью выскочил за двери, и мой башмак попал вряд ли на дюйм выше, чем в то место, где пришлась бы его голова.

Успокоенный и облегченный, я погрузился было в сладкий утренний сон. Но дверь опять открылась, и вошел отец Анатолий. Он был уже одет, с золотою цепью вокруг шеи, с золотым крестом на груди и выправлял обеими руками волосы из-под воротника.

— Нет, нет! Я и слушать не хочу, — говорил он, — никаких оправданий!.. Одевайтесь! Вот вам брюки. Вот пиджак. Вот сапоги. Где другой сапог? Ах, вот он где. Шевелитесь, молодой человек, шевелитесь! Постарайтесь во имя храма божьего, не ленитесь. Нам осталось совсем немного.

Понятно: ряса, крест, убедительный вид бодрого и верующего человека — все это заставило меня быстро одеться и привести себя в порядок. Таким-то образом я и запрягся на страстную седьмицу, на пасхальную неделю, на Фомину и на всю цветную триодь.

Для того чтобы сказать, как я измучился за это время, достаточно того, что под светлое Христово воскресение я без отдыха читал и пел от семи часов вечера до одиннадцати часов следующего дня.

Но конец наших отношений был самым удивительным и, по правде сказать, неожиданным как для него, так и для меня. На Фоминой неделе отец Анатолий, ласковый, расчесанный, намасленный, зашел ко мне и попросил меня поехать с ним вместе запечатать младенцев. Сначала я его не понял и даже, признаюсь, немного испугался, но он объяснил мне, что запечатание младенцев заключается в следующем. За время его отсутствия из приписанных к нему сел были большие детские эпидемии: дифтерит, корь, скарлатина и другие. Доехать до этих сел не было возможности из-за громадных сугробов, а потом ростепели. Теперь дорога установилась и обсохла, и надо было ехать делать последнее священническое благословение детям, погребенным без церковного напутствия.

Это путешествие у нас заняло три дня. Мы приезжали в село или в деревню, где нас встречали колокольным звоном из каплиц, и затем шли на кладбище. Детские свежие незапечатанные могилки очень легко было узнать, потому что на каждой из них вдоль была растянута полоса домотканого холста, а на ней пара крашенных в синий цвет яиц и пятьдесят копеек медью или серебром. Священник подходил к могилке и начинал торопливо:

— Благословен бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков!

— А-м-минь, — подтягивал я ему.

— Благочестивейш... самодержавнейш... велик...

— Господи поми-луй!

— Успокой, господи, душу усопшего раба... младенца... Как звать?

— Грипой, батюшка, — с низким поклоном говорила какая-нибудь почерневшая от лет, невзгод и голодухи баба.

— ...Грипа и учини его в раи, иде же все праведники упокояются!

А я:

— Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!

Таким образом, безмятежно и быстро мы похоронили раба божиего Юрка и младенца Языкантия, и только с одной предпоследней могилой, притаившейся где-то в уголке кладбища, у нас вышло маленькое недоразумение. Холст на ней лежал какой-то подержанный, сделанный, вероятно, лет пятнадцать тому назад, а то просто выкроенный из старой нижней юбки, но ни полтинника, ни яиц на нем не было. Отец Анатолий рассердился, покраснел, как спелый томат, и так закричал на бабу, что она кинулась от него бегом. Через десять минут она вернулась с сорока копейками, и мы благополучно спели панихиду и запечатали рабу божию отроковицу Сирениду — настоящее имя ее знает, вероятно, всеведующий господь. Однако краем глаза я видел, как эта женщина, прежде чем запечатать свою умершую дочку, валялась в ногах деревенского старосты и целовала его сапоги.

В последнем по очереди селе отца Анатолия вдруг осенила вдохновенная мысль. Он заявил, что хочет служить молебен о плодородии будущего года. Я попробовал было указать ему на требник и сказать, что существуют молебны «о еже впасти в кладезь чему нечистому», «о еже избавитися от колдовства и волшебства, от нашествия иноплеменников и междоусобной брани» и так далее. Но он меня остановил вдруг с такой сухостью, которой я даже от него не ожидал:

— Делайте, что вам приказано, и не заставляйте меня прибегать к крайним мерам!

Я без лишних объяснений понял, какие это крайние меры. Просто отец Анатолий возьмет и уедет, а я останусь без лошадей, и идти мне придется шестьдесят верст пешком. Мне пришлось смириться. Священник занял самую большую избу во всей деревне и велел немедленно собраться туда всем хозяевам, и чтобы каждый из них непременно принес с собою стакан меду, пяток яиц и большой медный корец ячменя. Все это было беспрекословно исполнено. Два громадных восьмипудовых мешка были наполнены хлебом. Полная кадушка благоуханного меда была накрыта свежими молодыми

липовыми листьями, и в ивовой плетеной корзинке горою лежали свежие весенние яйца.

Ну, уж какой молебен мы отслужили в этой избе — за это ответит на Страшном суде Христовом грешная душа отца Анатолия. Это было какое-то попури из церковных песнопений — великопостных, похоронных, молебственных и других. Достаточно того сказать, что мне все время казалось, что я богохульствую...

После молебна хозяин, пожилой, степенный мужик, откупорил четвертную бутыль с водкой, налил себе стакан, сказал: «Пью до батюшки», выпил и, еще не закусывая, налил второй стакан и протянул отцу Анатолию. Священнослужитель взял наполненный стакан, обернулся ко мне и сказал:

— Пью до... — Он, кажется, хотел сказать «до тебя», но в последний момент одумался и сказал: — до вас.

Я проделал ту же церемонию по отношению к хозяйке, которая долго стеснялась, но все-таки выпила и вытерла губы верхом ладони.

Не совсем твердо помню, как и кто нас доставил в Казимирку. Знаю только, что на другой день отец Анатолий написал мне записку с настоятельной просьбой уплатить ему половину разъездных расходов. Но меня уже в то время потянуло в дальнейшие странствия, и потому я разорвал его письмо, бросил обрывки бумаги в лицо церковному старосте и закричал на него:

— Передай, болван, отцу Анатолию, что сегодня я пишу на него жалобу патриарху Сиракузскому!

— Кому?

— Си-ра-куз-ско-му!

ПРИЛОЖЕНИЯ

НАТАШКА

В церквах только что отошли заутрени. В теплом, неподвижном, весеннем воздухе стоял, неумолкая, радостный «красный» звон. Там и сям по тротуару двигались группами и поодиночке темные человеческие силуэты. У многих в руках были зажженные свечки. Порою колеблющееся пламя, заботливо прикрываемое рукою от ветра, вдруг освещало на мгновенье чьи-нибудь усы и смеющиеся белые зубы или старое женское лицо с губами, сосредоточенно сжатыми в ниточку. И в этом необычном ночном движении, и в возбужденном звоне колоколов, и в неопределенном запахе близкой весны, и в прозрачной, неподвижной темноте ночи чувствовалось особенно ясно вечно живущее и разлитое по всему миру сознание торжества жизни над смертию.

Два приятеля, учитель местной гимназии Остахович и военный доктор Лобачев, вместе вышли из церкви. Из года в год в продолжение шести лет холостой доктор разговлялся в семействе Остахович, с которым его связывали и детские гимназические воспоминания и взаимное тяготение несходственных натур. Экспансивный, жизнерадостный и убежденный в высоте своего призвания учитель издавна привык относиться с насмешливой и, может быть, отчасти жалостливою заботливостью к своему другу — скептику, меланхолику, нервному, ребенку в практических мелочах жизни.

Они шли через городской сад. Здесь, в густой темной мгле, под навесом чутко дремлющих столетних лип и вязов, вдали от шума уличных панелей, казалось, ничто не мешало скрытой,

но могучей творческой работе весны. Странный шепот, неясные шорохи доносились порой из неподвижной чащи. Может быть, их производили свежие соки, жадно всасываемые зеленеющими ветвями? Может быть, это лопались тяжелые, набрякшие почки?

— Какой милый! какой радостный праздник! Вот уж именно светлый праздник, — говорит Остахович, приятно взволнованный и красотой ночи, и необычным бодрствованием, и тем, что он сейчас увидит шумный восторг своих детишек в уютной «собственной» квартирке.

— Ты обрати внимание, Вася, как бы ни очерствила человека жизнь со всеми ее гадостями, а в душе у него все-таки непременно останется какая-то нежность к этому празднику. Сейчас всплывет в памяти детство, крошечная пасха с игрушечным куличом, огни в церкви, весна, материнская ласка... Удивительное дело — вот я теперь припоминаю свои тогдашние ощущения — самый праздник как-то мало приносил наслаждения, уж очень много зараз сменялось впечатлений, трудно в них было разобраться. Но с каким лихорадочным нетерпением я его всегда ожидал! И какой грустной сладостью окрашивались потом воспоминания о нем!..

— Нет, у меня было тяжелое, нехорошее детство, — ответил задумчиво Лобачев. — Господь с ним, я не хочу и говорить о нем. Но сегодня у меня действительно не выходит из головы одно пасхальное воспоминание. Не знаю как на посторонний взгляд, а мне оно кажется трогательным...

Я тогда только что приехал в Петербург. Ни родных, ни знакомых, ни протекции у меня не было. Бегал я по четвертаковым урокам, обедал в греческих кухмистерских за гривенник, вообще, как выражаются газеты, «боролся с суровой действительностью».

Жил я на Песках, в меблированных комнатах, в номере десятом. Там все мы у хозяев и у прислуги значились под номерами, и даже сами так к этому привыкли, что и друг друга заочно называли не именами и фамилиями, а номерами комнат. Собственно нас, постоянных жильцов, так сказать аборигенов меблированных комнат, было пятеро. Во-первых, номер третий. Он был когда-то очень богатым человеком, но проигрался в карты. Каждый день часов в десять вечера он уходил в какие-то никому не ведомые игорные притоны и возвращался оттуда лишь утром, на заре, почти всегда мрачный и проигравшийся. Игра служила для него вовсе не возможностью легкой наживы,

а упорной страстью, рядом сильных жгучих ощущений. Как и все игроки по влечению, он в душе презирал деньги и не дорожил ими. Под суровой, несколько лохматой внешностью несообщительного бобыля у него таилось широкое и мягкое сердце. В трудные минуты жизни он нередко, движимый сострадательным чувством, приходил к соседним «номерам» и делил с ними последнюю ассигнацию. И он делал это так деликатно, как умеют только делать бедняки по отношению к беднякам.

В номере четвертом жил поэт, жалкое болезненное существо, с вечно удивленным взглядом под очками и с блуждающей, растерянной улыбкой на бескровных губах. Он питался либиховским экстрактом, и стихи его не принимала ни одна редакция. Разговор его был цветист, но однообразен и скучен, с обилием латинских выражений, вроде «modus vivendi», «homo homini lupus»[1] и прочее. К тому же, разговаривая, он чересчур близко наклонял свое лицо к лицу собеседника и брызгал слюной.

В седьмом номере обитал старообрядец, приказчик какого-то рыбного магазина, известный у нас, кроме своего номера, еще под кличкою «Рыжий», длинный малый с красной бородкой клином и с наклонностью к утонченно светскому обращению. С ним я виделся очень редко: разве зайдет когда попросить книжку. А читать он любил преимущественно произведения с убийствами и с возвышенными поступками. Я ему дал однажды Тургенева, но он возвратил мне его назад с такой аттестацией: «Уж очень по-обыкновенному... совсем даже не занятно». По праздникам к нему приходили какие-то серые личности, с которыми Рыжий напивался и потом пел козлиным голосом и древним распевом божественные песни.

Номер десятый занимал я, а в одиннадцатом жила девица Наташка. Я ее видал только изредка и то мельком, когда она проходила по коридору, шурша туго накрахмаленными юбками и распространяя вокруг себя крепкий запах пачули: обыкновенное русское лицо — белое, круглое, с ласковыми серыми глазами и с бровями, подведенными в виде тонких черных дуг... Несмотря на свою профессию, она держала себя весьма скромно, по крайней мере дома; вероятно, у нее, как и у многих особ ее звания, было бессознательное, но ничем не угасимое стремление к «своему очагу», который бы являлся мирным контрастом с ресторанными скандалами и маскарадным цинизмом и

---

[1] «Образ жизни», «человек человеку волк».

шумом улицы. Должно быть, потому-то Наташка у себя никого и не принимала, хотя, надо все-таки быть справедливым, она чрезвычайно редко ночевала дома. Что касается до нас, остальных жильцов, то мы молча и презрительно игнорировали эту жертву общественного темперамента.

Кроме перечисленных пяти номеров, появлялись изредка в нашем вертепе и случайные обитатели. Но иные, придя вечером, уходили рано утром, торопливою походкой и сохраняя на лице виноватое выражение, другие жили по месяцу, не больше; потом их «выдворяла через суд» полиция за буйство или неплатеж денег. Так мы и жили все пятеро, никому не нужные, никому не интересные пролетарии. Иногда мы заходили друг к другу (исключая, конечно, Наташки) посидеть, покурить, выпить чашку чаю. Дальше наши отношения не шли.

В субботу под светлое Христово воскресенье я вернулся в свой номер, обойдя бесцельно две, три церкви. Мне было грустно. Я только что видел так много картин, говоривших о прелестях семейного очага, так много радостных лиц, обменивавшихся приветливыми интимными улыбками!

В дверь моего номера постучались, и я услышал голос поэта:

— Можно войти?

— Пожалуйста, пожалуйста!

Мы натянуто поцеловались и поговарили о том, как много было народа в церквах, потом уселись друг против друга и молча задымили папиросы. Вслед за поэтом пришел Рыжий, за ним игрок... Каждый из них тоже в свою очередь сказал о том, как сегодня тесно в церквах. И все мы сидели молча, не расходясь, хотя уже было довольно поздно, точно чего-то ожидая или обманывая себя иллюзией необыкновенного, праздничного настроения.

Вдруг в дверях появился наш «коридорный» Ванька, плутоватое и разбитное дитя петербургских номеров. Его впервые по случаю праздника вымытая рожа с напомаженными и потому торчащими врозь волосами сияла...

— Барышня из одиннадцатого номера просит вас к себе разговеться, — сказал он, делая глазами увеселительные гримасы по направлению одиннадцатого номера.

— Кого просит? — спросил я с недоумением.

— И вас, и четвертый, и седьмой, и третий.

Мы переглянулись. У всех в глазах мелькнуло что-то смяг-

ченное, доброе. Но я чувствовал, что наш общий ответ зависит от того мнения, которое будет высказано первым, и что он одинаково может выразиться в форме оскорбленного достоинства и в форме немедленного согласия.

Наконец игрок, в котором в сущности было гораздо более человеческого, чем во всех нас, сказал нерешительно:

— А что же, господа, в самом деле?.. Ведь такой большой праздник... Пойти, что ли?

— Отчего же не пойти? — отозвался Рыжий. — И друг друга обымем, рцем: братие, — прибавил он цитату в качестве знатока «божественного».

— Действительно, господа, что нам за дело до ее «curiculum vitae»? [1] — сказал поэт.

Мы пошли в одиннадцатый номер. Обычная обстановка, широкая кровать, покрытая плюшевым одеялом, на ней подушки в наволочках с прошивками, комод с фотографическими карточками и широкими бомбоньерками, розовые занавески на окнах, в углу образ и перед ним лампадка зеленого стекла...

Наташка встретила нас, красная от волнения, еще не уверенная в искренности нашего визита. Мы довольно церемонно представились, причем Рыжий, конечно, превзошел нас в галантности обращения.

— Прошу вас, господа, разговеться чем бог послал, — сказала Наташка, указывая на стол, где стояла маленькая, рассевшаяся пасха, кривобокий кулич, десяток красных яиц и бутылка «сантуринского вина».

Мы сели. Сначала разговор не клеился, но потом, когда Рыжий вспомнил, что у него в номере осталась половина копченого сала, а игрок принес из своего номера водки, все мы понемногу оправились. Поэт, опьяневший от одной рюмки «сантуринского», встал с пустым стаканом в руке и произнес речь, в которой говорил о значении светлого праздника и о мнимом различии социальных положений. Этой запутанной и уснащенной цитатами речи не только бедная Наташка, но даже и мы с игроком не могли понять при всем желании. Рыжий ее понял, но, вероятно, чересчур по-своему, потому что по ее окончании он обратился к поэту:

— Очень хорошо! Прекрасно! А вот вы и умный и образованный человек, а я вас одним словом оконфузить могу.

---

[1] Жизнеописание *(лат.)*.

— Каким же это словом? — спросил надменно поэт.

— А вот таким-с.

— Ну да каким же именно?

— А ну, скажите-ка, как по древнему читается Христос воскресе?

— Гм... Вот еще что спросили... Не знаю. А как же?

— Вот видите. — И Рыжий запел своим козлиным голосом: — Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи, и гробным живот дарова.

Наташка ничего не говорила и только подкладывала нам на тарелки кулича и пасхи. И лицо у нее было такое светлое, до странного светлое, точно оно извнутри освещалось каким-то ровным и теплым сиянием. Положительно, она была прекрасна в эти немногие мгновения!

Около часу мы стали прощаться. Я уходил последним. Вдруг Наташка остановила меня за руку. Я удивленно обернулся назад и увидел, что ее глаза полны слез.

— Голубчик, спасибо вам, — сказала она, крепко сжимая мою руку. — Спасибо за то, что... за то, что...

Бедная! Она не могла выразить всего, что говорило ее сердце. Но я понял ее. Она благодарила за то, что мы признали в ней человека, так же равного перед богом, как и все люди, за то, что мы фарисейски не отвернулись от ее трапезы, и за то, что ни один из нас *инстинктивно* в ее комнате не вышел из границ того приличия, с которым он обращался бы к жене, сестре и матери.

Бедная Наташка! Сжимая мою руку, она хотела поднести ее к губам. Но я не позволил ей этого. Я обнял ее за шею и, растроганный, умиленный, поцеловал ее трижды в губы... Что ж... Это было ведь слишком давно. Теперь сознаться не совестно, что всплакнули мы оба с Наташкой. Знаете, тяжело иногда жить сиротою на белом свете.

Голос Лобачева дрогнул, он отвернулся в сторону, но тотчас же овладел собою и сказал:

— Ну, вот мы почитай что и пришли. Заругает нас Анна Филипповна, что мы так опоздали.

УБИЙЦЫ

Новогодний рассказ

Батальон полковника Реджинальда Блэквуда шел форсированным маршем на соединение с главным отрядом, стянувшимся к Миддельбургу. Это движение, среди враждебной страны, вдоль фронта неприятельских войск, под самым носом у зорких боэрских аванпостов, отличалось невероятными трудностями, и только обаяние железной воли полковника Блэквуда удерживало солдат от прямого возмущения. Идти приходилось по пятидесяти верст в сутки, увязая в глинистой почве, размытой дождем, и ожидая каждую минуту появления в тылу или с флангов неприятельских разъездов. Уже четвертый день люди не варили горячей пищи, довольствуясь черствыми галетами, размоченными в затхлой воде болотистых речонок. Спали под открытым небом, причем не только разводить костры, но даже курить было запрещено под страхом неумолимого полевого суда. Изнурительные лихорадки и страшная дизентерия свирепствовали в отряде. Солдаты, исхудалые, небритые, оборванные, больные и голодные, шатались на ходу от усталости.

Батальон не мог обременять себя пленными, и потому всех подозрительных людей, захваченных по дороге, немедленно расстреливали. Полковник Блэквуд не ошибся в своем психологическом расчете, когда отдал это жестокое приказание. Он знал, что постепенно нараставшая озлобленность солдат находит некоторое удовлетворение в кровавых расправах над беззащитными поселянами,

Вечером тридцать первого декабря отряд остановился на ночлег тремя часами раньше обыкновенного в опустевшей, полуразрушенной ферме. До Миддельбурга оставалось двадцать пять верст, и полковник рассчитывал прийти туда завтра к полудню. Он почти был уверен, что под Миддельбургом его батальону придется принять участие в серьезном продолжительном бое, и потому хотел, чтобы люди хоть немного отдохнули, обсушились и подкрепили силы. Увеличив обычный сторожевой наряд и выслав далеко за линию передовых постов самых опытных и надежных разведчиков, он разрешил развести огни во внутренних постройках фермы. Вместе с тем он отдал распоряжение заколоть на ужин солдатам захваченного еще утром по дороге вола...

Черная беззвездная ночь с проливным дождем и пронзительным ветром незаметно и быстро надвинулась над фермой. Полковник Реджинальд Блэквуд сидел один в просторной, чисто выбеленной столовой фермы, перед огромным камином, в котором ярко пылали доски разломленного забора. Поставив ноги на каминную решетку и разложив на своих худых, согнутых под острым углом ногах карту генерального штаба, он внимательно изучал глазами пространство между фермой и Миддельбургом. При трепещущем красном свете огня его лицо с высоким лбом, изборожденным частыми и глубокими морщинами, с длинными седыми усами и с широким сабельным шрамом во всю левую щеку казалось еще более суровым, чем всегда.

Полковник так углубился в рассматривание карты, что не заметил, как в комнату вошел капитан Свенсон, вернувшийся с аванпостов. С клеенчатого плаща капитана ручьями сбегала дождевая вода, образуя на каменном плитяном полу большие лужи. Постояв несколько минут и убедившись, что полковник не обращает на него внимания, Свенсон решился осторожно откашляться.

— Это вы, капитан? — повернул голову через плечо полковник Блэквуд. — Что нового?

— Все благополучно, господин полковник. Я лично проверил посты и распорядился, чтобы по случаю темноты и ненастной погоды патрули высылались как можно чаще.

— Прекрасно. Пропуск сообщен?

— Сообщен, господин полковник... Кроме того, господин полковник, я хотел спросить, что вы прикажете делать с теми тремя пленными, которые сегодня утром...

— Расстрелять на рассвете, — резко оборвал Блэквуд, не давая капитану договорить. — Вам незачем было даже спрашивать меня об этом, капитан.

— Может быть, господин полковник сделает исключение для старика? — осмелился робко возразить Свенсон. — Право, в нем есть что-то такое... — Капитан замялся, не умея найти выражение. — Что-то такое трагическое... если хотите, даже необыкновенное... Я уверен, что солдаты не будут недовольны, если вы его оставите в живых... — И, обернувшись с тревожным видом назад, капитан добавил почти шепотом: — Даю вам честное слово, господин полковник, они к нему чувствуют... о, не боязнь, конечно... но... но какое-то странное, суеверное почтение...

Седые косматые брови Блэквуда сошлись вместе, придав лицу его нетерпеливое и грозное выражение, и капитан вдруг сразу замолчал, точно съежился под тяжелым взглядом холодных, бесцветных, ястребиных глаз своего начальника.

— Вы слышали мое приказание, капитан? — произнес полковник спокойно-надменным и жестоким тоном. — Если у вас нет ничего больше сообщить мне, я не удерживаю вас.

Поклонившись по-военному, капитан пошел из столовой. Но на пороге он остановился и сказал с вежливостью светского человека и официальностью подчиненного:

— Поздравляю вас с наступающим Новым годом, господин полковник. Позвольте принести вам мои пожелания всего лучшего.

— Благодарю вас, капитан, — сухо кивнул головой Блэквуд. — Не забудьте распорядиться, чтобы люди тщательнее осмотрели свои ружья.

Оставшись один, полковник, не раздеваясь и не отстегивая шпаги, бросился на охапку соломы, постланную ему прямо на полу, у стены, против камина. Лицо его сразу изменилось, точно еще больше постарело, коротко остриженная седая голова упала низко на грудь, а властные глаза потухли, полузакрылись с усталым, болезненным выражением. Блэквуд уже целую неделю страдал мучительной болотной лихорадкой и только благодаря сверхъестественным усилиям своей могучей воли переламывал болезнь, изумляя солдат неутомимостью, спокойствием и нечеловеческой энергией. Никому в отряде не было известно, что по ночам он метался в жестоких пароксизмах, то пылая невыносимым жаром, то трясясь в ледяном ознобе, тя-

жело бредя, забываясь только на мгновения в уродливом, фантастическом кошмаре...

Полковник Блэквуд лежал на соломе, глядя, как перебегают синие огоньки в потухающем камине, и чувствуя, как к нему медленно подкрадывается, туманя голову и расслабляя тело, привычный приступ малярии. Мысли его странным образом были прикованы к пойманному утром старику, о котором только что докладывал капитан Свенсон. Капитан говорил правду: в старике действительно было что-то необыкновенное, какое-то величественное равнодушие к жизни, вместе с кротостью и глубокой печалью. Подобных людей, похожих — и то в очень слабой степени — на этого старика, полковник видел там, в центральной Индии, во время одной из фантастических, почти сказочных экспедиций внутрь страны, среди таинственных, нищенствующих факиров, которые, как уверяли туземцы, живут на свете по несколько сот лет. Когда сегодня привели к Блэквуду этих трех человек и Блэквуд беспощадно объяснил им при помощи цинично-красноречивого жеста, что с ними будет поступлено, как со шпионами, то лица двух других сразу побледнели и исказились смертельным ужасом, а старик только усмехнулся с каким-то странным выражением усталости, равнодушия, горечи и даже... даже как будто бы тихого, снисходительного сострадания к самому грозному полковнику.

«Если он принадлежит к отряду мятежников, — размышлял полковник, закрывая воспаленные глаза и чувствуя, как мимо его глаз плывет какая-то мягкая, бездонная тьма, — то, без сомнения, он занимает там важный пост, и я поступлю очень благоразумно, приказав его расстрелять. Ну, а если старик ни в чем не виноват? Тем хуже для него. Не могу же я отрывать для присмотра за ним двух человек, в особенности ввиду завтрашнего боя. Наконец, почему же он должен избегнуть участи *тех* пятнадцати, которых мы оставили позади? Нет, это было бы несправедливостью по отношению к прежним».

Полковник медленно открыл глаза, и вдруг его точно подбросило мгновенно на жалком ложе.

Перед камином, на той же самой скамейке, с которой только что встал полковник Блэквуд, сидел, понурившись, опершись ладонями о колена, в спокойной и грустно-задумчивой позе, приговоренный к смерти старик.

Как и все офицеры британской армии, побывавшие в индийских походах, Блэквуд не только верил в сверхъестественное,

а даже неоднократно испытывал на себе его близкое присутствие. Но отступить в страхе даже перед самым таинственным нематериальным явлением полковник счел бы таким же позором, как бегство перед неприятелем или унизительную мольбу о пощаде. Выхватив быстрым, привычным движением револьвер из кожаного чехла, он взвел курок, направил его дуло в голову незнакомца и закричал своим металлическим голосом:

— Если вы шевельнетесь, черт вас возьми, я уложу вас на месте.

Старик медленно повернул голову. По его губам скользнула та же самая тихая и скорбная улыбка, которая так врезалась полковнику в память с сегодняшнего утра.

— Не бойтесь, Реджинальд Блэквуд. Я пришел к вам без дурного намерения, — произнес старик. — Попробуйте хоть до утра воздержаться от убийства.

Голос у загадочного гостя был такой же странный, как и его улыбка: ровный, однотонный и как будто бы без всякого тембра. Давным-давно, еще в раннем детстве, Блэквуд нередко слышал, оставаясь один в комнате, за своею спиной такие голоса без цвета и выражения, зовущие его по имени. Повинуясь непонятному влиянию этой улыбки и этого голоса, полковник опустил револьвер на пол и опять прилег на солому, опершись головой на локоть и не сводя глаз с темной фигуры незнакомца. Несколько минут в комнате стояла тяжелая, жуткая тишина: только походный хронометр Блэквуда торопливо отбивал секунды да перегоревшие уголья в камине падали вниз со слабым, но звонким металлическим хрустением.

— Скажи мне, Реджинальд Блэквуд, — начал, наконец, старик, — что ответишь ты — не судьям, не начальству, даже не королеве, а своей совести, если она у тебя спросит: зачем пошел ты на эту ужасную, отвратительную и несправедливую войну?..

Блэквуд насмешливо пожал плечами.

— Однако у тебя, старина, довольно непринужденный тон для человека, которого через четыре часа расстреляют у первого дерева. Впрочем, поговорим, пожалуй. Это все-таки занимательней, чем метаться без сна в лихорадке... Итак, что я отвечу своей совести? Я отвечу ей, во-первых, что я солдат и мое дело повиноваться без всяких размышлений. Во-вторых, я природный британец, и пусть всему миру станет известным, что тот, кто осмелится восстать против могущества великой Англии,

будет раздавлен под ее пятою, как червь, и даже самая могила его сравняется с землей...

— О Реджинальд Блэквуд, сколько дикой и кровожадной гордости в твоих словах, — с грустной укоризной возразил старик. — И сколько неправды! Ты смотришь на предмет, приблизив его к самым глазам, и видишь одни лишь мелкие его подробности, но отойди от него дальше, и он представится тебе в своем настоящем виде. Неужели ты думаешь, что твоя великая Англия бессмертна? Бессмертна только потому, что солнце, как вы хвастливо говорите, никогда не закатывается над ее владениями? Но разве не то же самое говорили и думали когда-то персы, и македоняне, и гордый Рим, охвативший весь мир своими железными когтями, и дикие полчища гуннов, нахлынувших на Европу, и могущественная Испания, владевшая тремя частями света? Спроси у истории, куда девалась их необъятная власть? А я тебе скажу, что и до них, за тысячи веков, были великие государства, более сильные, гордые и культурные, чем твое отечество. Но жизнь, которая сильнее народов и древнее памятников, смела их со своего таинственного пути, не оставив от них ни следа, ни воспоминания.

— Это пустяки, — возразил слабеющим языком полковник, опускаясь на солому. — История идет своим течением, и не нам поправлять ее или указывать ей дорогу.

Старик беззвучно рассмеялся.

— Не уподобляйся той африканской птице, которая прячет голову в песок, когда ее преследуют охотники... Верь мне, пройдет сто лет, и дети твоих детей будут стыдиться своего предка — Реджинальда Блэквуда — профессионального палача и убийцы.

— Сильно сказано, старина. Да, и я слыхал об этих бреднях восторженных мечтателей, которые собираются переделать мечи на плуги... Ха, ха, ха... Воображаю себе это царство золотушных неврастеников и рахитических идиотов! Нет! только война выковывает атлетические тела и железные характеры. Впрочем... — полковник сжал руками свои пылающие виски, силясь что-то припомнить, — впрочем, это все не важно... О чем я хотел тебя спросить? Ах, да!.. Почему-то мне кажется, что ты не будешь говорить неправды. Ты уроженец Трансвааля?

— Нет, — покачал головой старик.

— Но все-таки ты родился в Африке?

— Нет.

— Значит, ты европеец? француз? еврей? русский? немец?

— Нет, нет...

Блэквуд в раздражении ударил кулаком о пол.

— Да кто же ты наконец? И почему, черт возьми, мне так страшно знакомо твое лицо? Видались мы когда-нибудь с тобой?

Старик еще больше понурился и долго сидел, не говоря ни слова. Наконец он заговорил точно в раздумье:

— Да, мы встречались с тобой, Реджинальд Блэквуд, но ты никогда не видал меня. Помнишь, как во время чумы ты повесил в одно утро пятьдесят девять сипаев? В этот день я был в двух шагах около тебя, но ты не видал меня.

— Да... правда... пятьдесят девять, — прошептал Блэквуд, чувствуя, как им овладевает нестерпимый жар. — Но это.. были.. мятежники...

— Я был очевидцем жестоких подвигов твоего отца под Севастополем и твоего деда при Трафальгаре, — продолжал своим беззвучным голосом старик. — На моих глазах пролилось столько крови, что ею можно было бы затопить весь земной шар. Я был с Наполеоном на полях Аустерлица, Фридланда, Иены и Бородина. Я видел чернь, которая рукоплескала Сансону, когда он показывал с подмостков гильотины окровавленную голову Людовика. При мне в ночь святого Варфоломея правоверные католики с молитвою на устах избивали жен и детей гугенотов. В толпе беснующихся фанатиков я созерцал, как святые отцы инквизиторы жгли на кострах еретиков, как во славу божию сдирали они с них кожу и как заливали им рот расплавленным свинцом... Я шел во след за полчищами Атиллы, Чингисхана и Солимана Великолепного, которые означали свой путь горами, сложенными из человеческих черепов. Вместе с буйной римской толпой я присутствовал в цирке при том, как травили псами зашитых в звериные шкуры христиан и как в мраморных бассейнах кормили мурен телами пленных рабов... Я видел безумные кровавые оргии Нерона и слышал плач иудеев у разрушенных стен Иерусалима...

— Ты кошмар... ты бред моего больного воображения. Отойди от меня, — с трудом прошептал Блэквуд запекшимися губами.

Старик поднялся со скамейки. Его сгорбленная фигура точно выросла в одно мгновение, так что волосы его головы

касались потолка. И он опять заговорил медленно, однотонно и грозно.

— Я видел, как впервые пролилась кровь человека. Были на земле два брата. Один — ласковый, нежный, трудолюбивый и сострадательный. Другой — старший — был горд, жесток и завистлив. Однажды они оба приносили, по обычаю отцов, жертву своему богу: младший плоды земные, а старший мясо изловленных им зверей. Но старший питал в сердце злобу к своему брату, и дым от его жертвенника стлался по земле, между тем как дым от жертвенника младшего прямым столбом подымался к небу. Тогда переполнилась душа старшего давнишнею завистью и злобой. И произошло на земле первое убийство...

— Ах, отойди, оставь меня, — шептал Блэквуд, метаясь на своем жестком ложе. Но таинственный старик продолжал свою речь:

— Да, я видел, как его глаза расширились от ужаса смерти и как его скорченные пальцы судорожно царапали мокрый от крови песок. И когда он, вздрогнув в последний раз, вытянулся на земле холодный, неподвижный и бледный, то нестерпимый страх овладел убийцей. Он бежал, пряча лицо свое, в лесную чащу и лежал там, дрожа всем телом, до самого вечера, до тех пор, пока не услышал голос разгневанного бога: «Каин, где брат твой Авель?»

— Уйди, не мучай меня, — с трудом шевелил губами Блэквуд.

— Объятый трепетом, я отвечал господу: «Разве я сторож брату моему?» Тогда проклял меня господь вечным проклятием. «Оставайся в живых, братоубийца, — изрек мне его страшный голос, — оставайся в живых до тех пор, пока стоит созданный мною мир. Броди бездомным скитальцем во всех веках, народах и странах, и пусть твои глаза ничего не видят, кроме пролитой тобою крови, и пусть твои уши ничего не слышат, кроме предсмертных стонов, в которых ты всегда будешь узнавать последний стон твоего брата Авеля».

Старик замолчал на минуту, и когда он заговорил, то каждое его слово падало на грудь Блэквуда, как тяжелый камень.

— О господи, справедлив и неумолим твой суд! Уже многие столетия и десятки столетий странствую я по земле, напрасно ожидая смерти. Высшая, беспощадная сила влечет меня туда, где умирают на полях сражений окровавленные, изуродо-

ванные люди, где плачут матери, произнося проклятие мне — первому братоубийце на свете... И нет предела моим страданиям, потому что каждый раз, когда я вижу истекающего кровью человека, я снова вижу моего брата Авеля, распростертого на земле и хватающего помертвелыми пальцами песок... И тщетно хочу я крикнуть людям: «Проснитесь, проснитесь, проснитесь...»

— Проснитесь, господин полковник, проснитесь, — твердил над ухом Блэквуда настойчивый голос капитана Свенсона. — Отряд уже приготовился к выступлению.

Полковник быстро поднялся на ноги, мгновенно овладев, по привычке, своей железной натурой. Уголья в камине давно потухли, а в окно столовой уже глядел бледный свет занимающегося дня.

— А что же... пленные? — спросил Блэквуд с дрожью в голосе.

— Ваше приказание исполнено, господин полковник, — наклонил голову капитан. — Десять минут назад.

— А старик? старик?

— Тоже.

Полковник, точно сразу обессилев, опустился на скамью. Свенсон стоял около него навытяжку, ожидая приказаний.

— Капитан, вы примете вместо меня начальство над отрядом, — заговорил, наконец, Блэквуд слабым, разбитым голосом. — Я должен вам сознаться, что я... что меня... совершенно измучила эта проклятая лихорадка... И может быть, — он попробовал усмехнуться, но улыбка у него вышла какой-то болезненной и напряженной, — может быть, мне придется скоро и совсем уйти на покой, капитан.

Ничему не удивлявшийся Свенсон приложил руку к козырьку своего полотняного шлема и ответил спокойно:

— Слушаю, господин полковник.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий том вошли произведения, написанные А. И. Куприным в 1905—1914 годах. Среди них — такие широко известные вещи, как «Штабс-капитан Рыбников», «Гранатовый браслет», «Гамбринус», «Листригоны», «Изумруд», «Река жизни», которые принадлежат к замечательным достижениям художника и определяют главное направление его деятельности в этот период.

В отличие от тех писателей «знаньевцев», которые после поражения революции 1905 года смыкались с декадентством (Андреев, Чириков, Юшкевич, Айзман), Куприн в лучших произведениях этой поры сохранял верность жизненной правде, критическое отношение к действительности, глубокую человечность и демократизм. Продолжало совершенствоваться его искусство мастера психологической новеллы, талантливого бытописателя, знатока русской народной речи. В литературно-общественной борьбе этих лет Куприн оставался на позициях критического реализма.

Однако в обстановке наступившей реакции, а затем и нового общественного подъема творческое развитие Куприна шло противоречиво. В 1905—1914 годы он продолжает создавать произведения, направленные против самодержавно-бюрократических порядков, проникнутые демократическими идеалами, сочувствием освободительной борьбе. Но в них уже нет напряженных поисков социальной правды, отличавших раннюю повесть «Молох», нет той силы отрицания всего старого строя, которая сделала «Поединок» событием не только в художественной, но и в общественной жизни России эпохи 1905 года. Вместе с тем в ряде произведений послереволюционного десятилетия Куприн обнаруживал непонимание исторических событий, поддавался умонастроениям реакции.

В открывающем том рассказе «Штабс-капитан Рыбников», произведении замечательном по мастерству психологического анализа, правдиво воссоздана атмосфера «дней Цусимы», трагического и позорного конца русско-японской войны. Орудующий среди бела дня в столице японский шпион — «вещественное доказательство» разложения и паники, охвативших правящие круги. Сатирически заострена в рассказе «Свадьба» характеристика офицера-черносотенца, похожего на армейских бурбонов «Поединка». Чиновник, мечтающий о всероссийской порке, и злобствующий педагог-реакционер высмеяны в «Механическом правосудии» и «Исполинах». Сказки «О Думе» и «О конституции» обличают дарованные царским манифестом фальшивые свободы, антинародный парламент.

«Исполины», «Механическое правосудие», «Сказки» написаны пером сотрудника сатирических журналов 1905 года; в них Куприн использует в целях политического обличения пародию, гротеск, аллегорию, эзопов язык. Примечательны оптимистические концовки этих рассказов: наказан погромщик в «Свадьбе», бессилен в своей ненависти к исполинам русской литературы ретроградный педагог, а чиновник, придумавший механическую розгу для учащихся, солдат и бастующих рабочих, сам становится жертвой своего изобретения.

Отзвуками революции полон и яркий рассказ «Гамбринус», в котором, говоря о мужестве и стойкости маленького человека, ставшего жертвой черносотенного террора, Куприн впечатляюще отразил политическую обстановку 1904—1906 годов, недолгие «ликующие дни свободы» и наступление реакции с казнями и погромами.

О растлевающем влиянии контрреволюционного террора на человеческую психику, о «свободолюбивых душах, навсегда обезображенных, затоптанных в грязь мерзостью произвола и насилия», рассказал Куприн в «Реке жизни». На фоне написанных сочной реалистической кистью картин мещанского бытия здесь развертывается драма участника революционного кружка, совершившего вынужденное предательство. Осуждение предательства как страшного зла, которое «заживо умерщвляет человека», звучит и в аллегорическом рассказе «Демир-Кая», политическое значение которого отмечал В. В. Воровский.

Но искренний и сильный протест против «липкого кошмара» реакции нередко переходил у Куприна в абстрактно-гуманистическое осуждение любого насилия. В рассказе «Бред» изображение

расправы карательного отряда с национально-освободительным движением в Западном крае становится поводом для отвлеченных рассуждений о недопустимости всякого убийства. И патриотические подвиги героев Бородина или Севастополя и казнь Людовика XVI революционным народом оказываются в представлении героя рассказа столь же преступным кровопролитием, как библейское братоубийство Каина.

В рассказе «Убийца» искренний протест против контрреволюционного террора сочетается с сентиментальными надеждами героя на то, что палачей революции когда-нибудь постигнет моральная кара, тяжкие угрызения совести.

Возникшие у Куприна в годы реакции идейные сомнения, мысли о тщетности освободительной борьбы, неверие в социализм не были изжиты им и в последующий период. Еще в фантастическом рассказе «Тост», в котором воспеты герои 1905 года, погибшие «за свободную жизнь грядущего человечества», и нарисована яркая картина этой новой жизни, прозвучала нота разочарования в целях революции — люди 2906 года тоскуют о досоциалистической эпохе в стеклянных дворцах нового мира. А в «Королевском парке» Куприн, вслед за Леонидом Андреевым, приходит к мысли о неизбежности стихийного бунта масс против «докучных» социалистических порядков. Высказанное устами Назанского в «Поединке» анархо-индивидуалистическое понимание свободы сплелось здесь с ложными представлениями (в духе реакционных идей Достоевского) о рабской природе человека и его разрушительных инстинктах. В новелле «Искушение» проводится мысль о неодолимой власти над людьми слепых иррациональных сил, о непознаваемости законов бытия.

Переплетение верных социальных прогнозов, острой критики современной империалистической системы с настроениями исторического фатализма сказалось в фантастической повести «Жидкое солнце». Герой ее, крупный английский ученый, открывший новый источник энергии, разочаровывается в служении человечеству и губит свое изобретение, чтобы оно не попало в руки «самого жестокого деспота в мире — капитала». Верно почувствовав огромную политическую роль науки в будущем и неизбежность ее кризиса в условиях капиталистического строя, когда великие открытия становятся средством разрушительных захватнических войн, Куприн все же завершил повесть мрачным выводом о незыблемости буржуазного порядка.

Пессимизмом окрашены также размышления о судьбах интеллигенции в рассказе «Попрыгунья-стрекоза». Рассказ полон предчувствием сурового, хотя и справедливого суда, от которого не уйти «празднoболтающей» интеллигенции, оставшейся безучастной к народной судьбе. Жалкой, опустившейся, не нужной народу и не верящей в народ выглядит интеллигенция и в рассказе «Мелюзга». С большой психологической убедительностью показано здесь духовное прозябание, одичание сельских интеллигентов в условиях «идиотизма деревенской жизни».

Лишь однажды создал Куприн образ интеллигента-патриота, деятельного преобразователя жизни. В рассказе «Черная молния» лесничий Турченко, вдохновленный идеей украшения земли, мечтающий о неограниченной власти человека над природой, напоминает героев Чехова. Чеховское влияние сказалось здесь и в изображении судьбы героя, томящегося в обывательском болоте, обреченного на мелкое культурничество, и в том страстном ожидании очистительной бури, «черной молнии» революции, которым проникнут рассказ.

Воздействие литературы эпохи реакции на творчество Куприна и преодоление этого влияния особенно ощутимо на примере трех новелл о любви, созданных в эти годы. А. М. Горький рассматривал повесть «Суламифь», написанную по мотивам библейской «Песни песней», как симптом бегства Куприна от действительности; он отрицательно отнесся к этому произведению, в котором любовь воспевается как единственная непреходящая ценность. Перенасыщенность экзотикой, стилизаторство, пряная эротика сближали повесть с модернистским искусством.

В последовавшем за «Суламифью» рассказе «Морская болезнь» эротическая тема была дана в тонах крайнего натурализма. Справедливое возмущение Горького вызвало то, что автор «Морской болезни» приписал отсталые и пошлые взгляды социал-демократу. Однако это произведение, решительно осужденное передовой критикой, осталось единственной данью Куприна модным в годы реакции «вопросам пола». Написанный через три года рассказ «Гранатовый браслет», самая «целомудренная», по определению Куприна, его вещь, противостоял беллетристике арцыбашевского толка и был оценен Горьким как симптом нового подъема русской литературы. Традиционный сюжет о маленьком чиновнике и женщине светского общества Куприн раз-

вернул в поэму о безответной любви, возвышенной, бескорыстной, самозабвенной. Как и во многих ранних произведениях Куприна, обладателем душевных богатств, красоты чувства здесь выступает бедняк, противопоставленный бездушной знати.

Характерно, что образ положительного героя Куприна и на данном этапе остается прежним. Это или маленький человек с его пассивными добродетелями («Гранатовый браслет», «Телеграфист», «Святая ложь»), или отверженный, сохранивший черты человечности («По-семейному»), или отважный сын природы, познавший «прелесть ежедневного риска» («Листригоны»). Куприн не видел подлинно героических характеров, которые формировала освободительная борьба, поэтому он с таким увлечением воспевал «естественного» человека в его мужественном поединке с природой. Жизнь черноморских рыбаков в цикле рассказов «Листригоны» овеяна романтикой подвига, а образы их наделены легендарными, эпическими чертами.

Воспевание примитивного, «естественного» бытия прозвучало и в таких на первый взгляд различных произведениях, как «Изумруд» и «Анафема». Оба эти рассказа навеяны творчеством Л. Толстого. В «Изумруде», посвященном памяти толстовского «Холстомера», Куприн стремился воспроизвести «психику» животного, его «переживания». Как и в «Холстомере», здесь есть социальный подтекст: буржуазное общество с его конкуренцией, борьбой низких страстей калечит все естественное, живое, прекрасное. Тема «Анафемы» — обаяние толстовского искусства, его огромное воздействие на здоровую неиспорченную человеческую душу. Куприн прославил здесь наиболее близкое ему произведение Л. Толстого — повесть «Казаки» с ее поэзией жизни далекого от цивилизации, «младенчествующего» народа.

Не все рассказы, собранные в данном томе, равноценны по своим качествам. Наряду с произведениями, ставшими образцами реалистической прозы, умножившими художественное богатство нашей литературы, Куприн печатал в эти годы много поверхностных, чисто развлекательных новелл, анекдотов, шуток. Некоторые вещи этих лет были подсказаны ошибочными и путаными представлениями Куприна о современных ему событиях. Тем не менее и они включены в настоящий том, ибо дают представление о сложном, противоречивом пути, которым шел после 1905 года один из талантливейших русских писателей.

ШТАБС-КАПИТАН РЫБНИКОВ

Впервые — в журнале «Мир божий», 1906, № 1.

Рассказ был написан осенью 1905 года в Балаклаве.

При подготовке третьего тома рассказов в издании «Мира божьего» (Спб., 1907) Куприн снял в первой главе журнального текста после слов: «...очень близком сердцу штабс-капитана» (стр. 8), следующие строки: «Словом, поведение штабс-капитана Рыбникова все более и более оправдывало меткое замечание одного блестящего морского адъютанта об его ненормальности. Вероятно, поэтому-то штабс-капитан и позабыл послать в Иркутск те деньги, которые у него так настоятельно требовали». В финале рассказа, после слов Рыбникова «...я сломал себе ногу» следовало: «Щавинский никогда не узнал конца этой истории. Через несколько дней, когда вернулась с дачи его жена, он рассказал ей очень красочно и трогательно об японском шпионе.

— Ах, как жаль, что меня не было, — сказала актриса. Тогда Щавинский вспомнил об автографе штабс-капитана и рассказал об этом жене. Она засуетилась.

— Пойдем, милый, посмотрим.

— Неловко, — замялся Щавинский, — я ведь дал слово посмотреть только через три месяца...

— Ну вот еще, глупости! — рассердилась жена. — Какие это слова. И, главное, кому слово — японскому шпиону.

Они вместе вынули кнопки, сняли четвертушку белой бумаги и прочли слова, написанные тонким, четким, изящным почерком:

«Хоть ты Иванов седьмой, а все-таки дурак».

— Ну, и ничего нет остроумного, — сказала актриса. — Чепуха какая-то!

Но Щавинский вдруг с необычной яркостью вспомнил лицо, голос, движения штабс-капитана Рыбникова и сказал со вздохом:

— А все-таки, это — самый удивительный и непонятный для меня человек, какого только я видал в своей жизни».

Подготавливая рассказ для третьего тома Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс, Куприн в пятой главе (где идет речь о посетителях публичных домов) после слов «штатские, военные...» (стр. 36) снял слова «...и переодетые попы».

А. М. Горький относил «Штабс-капитана Рыбникова» к числу лучших произведений Куприна. В 1919 году он включил рассказ в проспект «Серии русских писателей» библиотеки «Жизнь мира»; в 1928 году — в редакционный план Госиздата по выпуску русских классиков; в 1935 году — в план издательства «Academia» (Архив А. М. Горького; «Советское искусство», 1936, № 29, 23 июня). Сам Куприн считал рассказ своим лучшим произведением (С. Я. Беседа с А. И. Куприным, «Одесские новости», 1909, № 7934, 8 октября).

Рассказ публиковался за рубежом на чешском, английском, французском, итальянском, венгерском языках.

Стр. 5 *...разгром русского флота у острова Цусима.* — В морском сражении у острова Цусима в Корейском проливе 14—15 мая 1905 года русская эскадра была разгромлена японским флотом.

Стр. 6. *...под Ляояном.* — Имеется в виду одно из крупнейших сражений русско-японской войны, происшедшее 17—21 августа 1904 года в районе города Ляояна.

...при Мукденском отступлении. — Тяжелые бои в районе города Мукдена 6—25 февраля 1905 года завершились отступлением русских войск.

Стр. 11. *«Хоть ты, говорит — Иванов седьмой, а все-таки дурак!»* — неточная цитата из рассказа А. П. Чехова «Жалобная книга» (1884).

Стр. 25. *...камперов угол его лица.* — Голландский анатом XVIII века Петр Кампер (1722—1789) использовал для определения характерных особенностей профиля головы так называемый лицевой угол.

ТОСТ

Впервые — под названием «Рассказ А. И. Куприна» в сатирическом журнале «Сигналы», 1906, 18 января, выпуск 2, с посвящением Скитальцу (С. Г. Петрову).

Под заглавием «Тост» рассказ напечатан в журнале «Пробуждение», 1907, № 28.

В. В. Воровский считал рассказ характерным для воззрений Куприна, склонного возвеличивать «самопожертвование отдельных героев, не замечая работы... безыменных средних величин...» «Воспроизводить картины новой социальной борьбы, совершаю-

щейся на глазах у Куприна, мешает ему... — писал Воровский, — то, что его аполитическая психология *чужда* жизни тех слоев народа, которые выносят на своих плечах эту грандиозную борьбу и мостят своими телами путь к тому счастливому состоянию 2906 года, о котором с такой любовью говорит Куприн» (В. В. Воровский, Литературно-критические статьи, М. 1956, стр. 285—286).

УБИЙЦА

Впервые — под названием «Убийцы» в журнале «Освободительное движение», 1906, № 1.

В шестой том Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс, рассказ вошел под названием «Убийца».

Журнальный текст рассказа начинался вступлением, которое было снято автором при включении рассказа в третий том рассказов в издании «Мир божий»: «Посредине кабинета стояла лампа на высокой и тонкой металлической ножке. Темно-красный шелковый абажур, похожий на венец шатра, скрывал огонь и бросал свет книзу на пестрый персидский ковер. В светлом круге были отчетливо видны только ноги людей, сидевших на диване и в креслах, но лиц не было видно, и тех, которые говорили, приходилось узнавать по голосам».

РЕКА ЖИЗНИ

Впервые — в журнале «Мир божий», 1906, № 8.

Рассказ был написан летом 1906 года в Даниловском.

2 июля 1906 года М. К. Куприна писала Ф. Д. Батюшкову:

«Александр Иванович кончил для М⟨ира⟩ б⟨ожьего⟩ и второй рассказ, спешно переписывает оба, чтобы скорее уехать. Этот рассказ «Жизнь» мне нравится больше...». 16 июля 1906 года она сообщала тому же адресату: «Одновременно посылаю рассказ «Река жизни», заглавие несколько пышное, но рассказ удачен... Александр Иванович просит скорее набрать и выслать корректуры для правки» (ИРЛИ).

Первоначальным наброском к рассказу можно считать ран-

ний очерк «Квартирная хозяйка» (1895) из цикла «Киевские типы» (т. 1).

Редактируя для Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс, журнальный текст рассказа, Куприн внес отдельные исправления, вызванные изменением политической обстановки в условиях наступившей реакции. Так, в письме студента слова: «В теперешнее великое, огненное время...» — были заменены словами: «В теперешнее страшное бредовое время» (стр. 74). Вместо слов об «орлятах» революции: «Пусть-ка кто-нибудь удержит их полет!» — Куприн вставил фразу: «Как недолог, но как чудесен и героичен был их полет к пылающему солнцу свободы!» (стр. 75). В письме студента были изъяты также следующие строки: «Я положительно уверен, что теперешний гимназист-шестиклассник в присутствии всех монархов и всех полицмейстеров Европы в любой тронной зале твердо, толково и даже, пожалуй, несколько дерзко заявит о требовании своей партии. Он, правда, чуть-чуть смешон, этот скороспелый гимназист, но в нем уже растет...».

В. В. Воровский писал по поводу рассказа «Река жизни»:

«Кого редко встретите вы в произведениях Куприна, так это типичного русского интеллигента, фигурирующего обычно — в той или другой обстановке — у всех наших писателей. Есть, впрочем, один рассказ, в котором в пошлую, грязную мелко-мещанскую среду Куприн умышленно, ради контраста, вставил одинокую фигуру такого интеллигента. Это жилец в номерах в рассказе «Река жизни». Безвольный, дряблый русский интеллигент нарисован здесь в чисто чеховских тонах... на этого «размагниченного интеллигента» повеяло «новыми молодыми словами, буйными мечтами, свободными, пламенными мыслями». Но, увы, они оказались ему не под силу... И, поняв весь ужас своего положения и полную невозможность переродиться, он решает покончить расчеты с жизнью» (В. В. Воровский, Литературно-критические статьи, М. 1956, стр. 282).

Великий русский физиолог И. П. Павлов высоко оценивал психологическое мастерство рассказа. В беседе с А. М. Горьким он говорил: «Понравился мне рассказ Куприна, «Река жизни» называется, что ли. Я тогда много думал о рефлексе цели, о рефлексе свободы. Куприн хорошо описал самоубийство студента, которого заела совесть. По оставленному самоубийцей письму было ясно, что он сделался жертвой рефлекса рабства... Понимай он это хорошо, он, во-первых, справедливее бы осудил себя,

а, во-вторых, мог бы систематическими мерами развить в себе успешное задерживание, подавление этого рефлекса» (Архив А. М. Горького).

Рассказ был издан за рубежом на сербском и английском языках.

ОБИДА

Впервые — в газете «Страна», 1906, №№ 163 и 169, 17 и 24 сентября.

Рассказ написан был летом 1906 года в усадьбе Даниловское, Новгородской губернии (письма М. К. Куприной Ф. Д. Батюшкову 2 и 13 июля 1906 г. и от конца сентября 1906 г. ИРЛИ).

Редактируя текст для третьего тома своих рассказов, изд. «Мира божьего», Куприн снял ряд деталей в начале рассказа, значительно сократил описания внешности воров и дополнил конец, начиная со слов: «Адвокаты расходились из театра...» и кончая словами: «...он быстро вышел на улицу».

В. В. Воровский в статье о творчестве Куприна писал: «Возьмите, например, его рассказ «Обида», в котором профессиональные воры просят не смешивать их с погромщиками. В основу взято «истинное происшествие». Автор описывает его, руководясь чисто художественными мотивами — и в то же время весь рассказ проникнут боевым настроением 1905 года, с характерным для этого времени ростом чувства человеческого достоинства, уважением к общественному мнению, нравственным оздоровлением всей атмосферы, которое дала революция. Автор ни словом не заикается об оценке происходящего, а между тем его симпатии всем ясны» (В. В. Воровский, Литературно-критические статьи, М. 1956, стр. 278).

Стр. 84. *...как поет Джиральдони в прологе из «Паяцев».* — Итальянский певец Эугенио Джиральдони (1871—1924), один из лучших исполнителей партии Тонио в опере «Паяцы» итальянского композитора Руджеро Леонковалло (1858—1919), не раз гастролировал в России. Куприн мог встречаться с Джиральдони в Одессе, в начале девятисотых годов, у редактора газеты «Одесские новости» П. Т. Герцо-Виноградского (Л. Никулин, Об одном очерке А. И. Куприна, «Огонек», 1957, № 34).

...парадокс Прудона: «Собственность — это воровство»... — высказан французским социологом Пьером-Жозефом Прудоном (1809—1865) в его книге «Что такое собственность?» (1840, русск. перевод — 1907).

Стр. 93. *«Похождения Рокамболя»* — цикл авантюрных романов французского писателя Пьера-Алексиса Понсона дю Террайля (1829—1871).

ДЕМИР-КАЯ

Впервые — в журнале «Современный мир», 1906, № 12.

В. В. Воровский относил рассказ «Демир-Кая» к тем произведениям Куприна, где «прорывается активное отношение к политическим вопросам», хотя это отношение «облечено в расплывчатую художественную форму» (В. В. Воровский, Литературно-критические статьи, М. 1956, стр. 277).

Рассказ печатался по тексту сборника: А. И. Куприн, Храбрые беглецы, Париж, б. г.

Стр. 99. *Наргиле* — восточный курительный прибор.

Стр. 100. *Вилайет* — единица территориально-административного деления в Турции.

НА ГЛУХАРЕЙ

Впервые — в четвертом томе собрания сочинений изд. «Московского книгоиздательства».

Рассказ был написан в Крыму осенью 1906 года.

23 сентября 1906 года М. К. Куприна сообщала из Алушты Ф. Д. Батюшкову: «Александр Иванович... обещает, что через неделю, ко времени моего отъезда отсюда, даст мне с собой «Глухарей» для первой книги «Современного мира» (ИРЛИ). Однако в журнале рассказ не был напечатан.

КАК Я БЫЛ АКТЕРОМ

Впервые — в журнале «Театр и искусство», 1906, № 52 (юбилейный), 22 декабря.

Рассказ был начат Куприным в Даниловском в июле 1906 года и закончен в Гельсингфорсе в ноябре 1906 года (письмо М. К. Куприной Ф. Д. Батюшкову 13 июля 1906 г., письмо А. И. Куприна Ф. Д. Батюшкову, ноябрь 1906 г. ИРЛИ).

Изображенный в рассказе «город С» — Сумы, Полтавской губернии, где весной — осенью 1898 года Куприн служил в местном театре актером «на выходах». «Среда, в которой я тогда играл, — рассказывал он впоследствии, — была до невероятности некультурная, и все вместе взятое наложило безусловно свой отпечаток на мое отношение к театру...» (С. Фрид, У А. И. Куприна, «Биржевые ведомости», вечерний выпуск, 1913, № 13764, 21 сентября). «Возьмите средний театр и его репертуар: сегодня «Нож моей жены», завтра «Смерть Иоанна Грозного», послезавтра «Вопросительный знак» и затем Шекспир... Разве это театр?» («А. И. Куприн в Москве», «Раннее утро», 1910, № 46, 26 февраля).

А. П. Чехов ценил актерские способности Куприна и советовал ему поступить в труппу Художественного театра. В декабре 1901 года Куприн сообщал Чехову, что он не решился держать экзамен из-за большого наплыва желающих (Отдел рукописей Гос. библиотеки им. В. И. Ленина). В переписке Куприна и в прессе есть упоминание о том, что для любительских спектаклей он готовил роли Хлестакова в «Ревизоре» Н. Гоголя, Астрова в «Дяде Ване» и Ломова в «Предложении» А. Чехова, повара в «Плодах просвещения» Л. Толстого, пса в «Шантеклере» Э. Ростана и др.

Стр. 117. *...приносят обедать точно Ивану Александровичу Хлестакову: «Хозяин сказал, что это в последний раз...»* — Имеется в виду диалог Хлестакова с трактирным слугой из II действия комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1835).

Стр. 118. *...трагедию Гуцкова «Уриэль Акоста».* — См. т. 1, стр. 583.

Стр. 119. *...монолог Пимена* — из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» (1825).

Стр. 120. *...играл Макарку в любительском спектакле.* — Куприн, будучи юнкером, играл эту роль в пьесе Д. Мансфельда и С. Рассохина «Не спросясь броду, не суйся в воду» (см. роман «Юнкера», т. 6).

Стр. 121. *Кута* — род одежды.

Стр. 126. *...из отряда Марка Великолепного. — Марк Виниций* — римский полководец, персонаж романа польского писателя Генрика Сенкевича (1846—1916) «Quo vadis» («Камо грядеши», 1894—1896) о борьбе языческого Рима против первых христиан.

Стр. 131. *Тигеллин* (ум. в 69 г. н. э.) — временщик римского императора Клавдия Нерона (37—68); здесь — персонаж романа Г. Сенкевича «Камо грядеши».

И диким зверем завывал

Широкоплечий трагик. — Строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Прекрасная партия» (1852).

Стр. 136. *...насвисти, пожалуйста, этот вчерашний мотив из «Паяцев».* — Данный эпизод был рассказан Куприным в начале девятисотых годов А. П. Чехову; частично приведен в очерке Куприна «Памяти Чехова» (т. 6).

Стр. 137. *Чарский, Любский.* — *Чарский* (Чистяков) Владимир Васильевич (ум. 1910), *Любский* Анатолий Клавдиевич — актеры-трагики, популярные в русской провинции в конце XIX — начале XX веков.

Иванов-Козельский Митрофан Трофимович (1850—1898) — трагический актер, много игравший в провинции.

Стр. 138. *«Смерть Иоанна Грозного»* (1866) — первая часть драматической трилогии А. К. Толстого (1817—1875): «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис».

«Измаил», сочинение господина Бухарина — лжепатриотическая пьеса М. Н. Бухарина (1845—1910), ставилась на русской провинциальной сцене в конце XIX века.

Стр. 139. *«Принцесса Греза»* — пьеса французского драматурга Э. Ростана (1868—1918).

Стр. 145. *...чувствовал себя Цезарем.* — Гай Юлий *Цезарь* (100—44 гг. до н. э.) — римский император и полководец; здесь — в значении «победитель».

БРЕД

Впервые — в альманахе «Шиповник», 1907, книга 1.

«Бред» является переработкой более раннего произведения А. Куприна — рассказа «Убийцы», опубликованного в газете «Одесские новости», 1901, № 5172, 1 января (см. Приложения). Написанный на тему событий шедшей в то время англо-бурской войны рассказ «Убийцы» был проникнут протестом против несправедливых войн и сочувствием национально-освободительной борьбе буров с английскими захватчиками, хотя Куприн и не избежал здесь абстрактно-гуманистических рассуждений о вреде всякого кровопролития.

В рассказе «Бред» автор сохранил фабулу и композицию рассказа «Убийцы», отдельные его эпизоды (лихорадочный бред офицера, монолог старого повстанца, расстрел заложников), но

перенес действие рассказа в современную ему Россию и тем самым придал произведению совершенно иную историческую и политическую окраску.

Стр. 153. *...под Севастополем...* — Имеется в виду героическая оборона русскими войсками Севастополя в 1854—1855 годах против объединенных сил Турции, Англии и Франции во время Крымской войны (1853—1856).

...после взятия Измаила. — Речь идет о взятии турецкой крепости Измаил русской армией под командованием А. В. Суворова и М. И. Кутузова 11 декабря 1790 года во время русско-турецкой войны 1787—1791 годов.

...с Наполеоном на полях Аустерлица, Фридланда, Иены и Бородина. — Сражение русской армии с войсками французского императора Наполеона при местечке Аустерлиц (Моравия) произошло 20 ноября 1805 года; битва русских войск с наполеоновской армией в районе города Фридланда (Восточная Пруссия) состоялась 2 июня 1807 года; большое сражение при городе Иене (Тюрингия) между наполеоновской и прусско-саксонской армиями имело место 14 октября 1806 года. Сражение при селе Бородино близ Можайска между русской армией и войсками Наполеона — одно из крупнейших в мировой истории — произошло 26 августа 1812 года.

...рукоплескала Сансону, когда он показывал... окровавленную голову Людовика. — *Сансон* Шарль-Анри — палач, гильотинировавший 21 января 1793 года французского короля Людовика XVI Бурбона (род. 1754), осужденного во время великой французской революции Конвентом за измену нации.

...в ночь святого Варфоломея правоверные католики с молитвой на устах избивали жен и детей гугенотов. — «Варфоломеевская ночь» — организованная в Париже 24 августа 1572 года матерью короля Франции Карла IX Екатериной Медичи (1519 — 1589) и католической партией массовая резня гугенотов — приверженцев протестантской (кальвинистской) религии, сторонников ограничения королевской власти.

...вслед за полчищами Аттилы, Чингисхана и Солимана Великолепного. — *Аттила* (ум. в 453 г.) — вождь племенного союза гуннов, совершавших опустошительные набеги на территории Римской империи, Ирана и др. *Чингисхан* (Темучин, ок. 1155—1227) — основатель Монгольской империи, покоривший народы Северного Китая, бассейна Аральского моря и др. *Солиман Велико-*

лепный — Сулейман I Кануни (1494—1566) — турецкий султан, завоевавший в многочисленных войнах ряд государств Центральной и Юго-Восточной Европы, Закавказья, Ближнего Востока.

...кормили мурен. — *Мурена* — крупная хищная рыба из семейства угрей.

Нерон — см. примечание к стр. 131.

...плач иудеев у разрушенных стен Иерусалима. — Во время Иудейской войны 66—73 годов, начатой народными массами римской провинции Иудеи против владычества Рима, полководец Тит Флавий (39—81), сын римского императора Веспасиана, в 70 году разрушил столицу Иудеи Иерусалим, перебив и обратив в рабство его жителей.

ГАМБРИНУС

Впервые — в журнале «Современный мир», 1907, № 2.

Куприн писал рассказ в Гатчине в декабре 1906 года (письмо Ф. Д. Батюшкову от 5 декабря 1906 г. ИРЛИ).

Журнальный текст рассказа почти не подвергался правке. Отметим лишь два случая исправлений, сделанных Куприным при подготовке рассказа для четвертого тома собрания сочинений, изд. «Московского книгоиздательства»: в четвертой главе, в описании посетителей «Гамбринуса», были сняты слова о свойственной ворам скупости; в восьмой главе в характеристике Митьки Гундосого после слов «сутенер и сыщик» было добавлено «крещеный еврей» (стр. 180).

Л. Н. Толстой находил язык рассказа «прекрасным», читал его вслух своей семье (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., том 58, стр. 468).

Рассказ неоднократно издавался за рубежом в переводах на польский, финский, французский, английский языки.

Стр. 158. *...пароходы Добровольного флота* — торговые суда, приобретенные Россией за границей на средства населения, добровольный сбор которых был начат в Москве в 1878 году, накануне русско-турецкой войны. Пароходы Добровольного флота ходили в то время на линиях Одесса — Дальний Восток и Одесса — Петербург.

Стр. 159. *Анатолийские кочермы* — распространенные в Анатолии (азиатской части Турции) большие одномачтовые палубные лодки.

Трапезондские фелюги — беспалубные одномачтовые промысловые парусные суда из турецкого порта Трапезунд (Трабзон).

Стр. 160. *Наргиле...* — см. примечание к стр. 99.

Штосс и баккара — азартные карточные игры.

Стр. 168. *...как Орфей, усмирявший волны.* — Герой древнегреческого мифа поэт Орфей очаровывал своей игрой на лире диких животных, заставлял сходить с места деревья и скалы. Во время путешествия Орфея с аргонавтами в Колхиду морской шум стихал при звуках его лиры.

Стр. 171. *Во время войны англичан с бурами...* — Речь идет о войне 1899—1902 годов, начатой Великобританией с целью захвата южно-африканских республик Оранжевой и Трансвааля и закончившейся колонизацией последних, несмотря на героическую партизанскую борьбу бурского народа.

...франко-русские торжества. — Речь идет о празднествах по случаю приезда в Россию в 1902 году президента французской республики Э. Лубе и десятилетия франко-русского военно-политического союза.

...великая японская война. — Имеется в виду русско-японская война 1904—1905 годов.

Стр. 172. *«Куропаткин-марш»* — марш в честь генерала А. Н. Куропаткина (1848—1925), командовавшего сухопутной армией России во время русско-японской войны до марта 1905 года.

Стр. 175. *Под Вафангоу* — в сражении при маньчжурском городе Вафангоу 1—2 июня 1904 года.

Стр. 183. *Окарина* — духовой музыкальный инструмент, род флейты.

СЛОН

Впервые — в детском журнале «Тропинка», 1907, № 2.

Печатается по тексту сборника: А. И. Куприн, Рассказы для детей, Париж, 1921.

Известен ряд зарубежных изданий рассказа на английском, французском, чешском, немецком языках.

О ДУМЕ

Впервые — в иллюстрированном приложении к газете «Русь», 1907, № 12, 20 марта.

В собрания сочинений и сборники не включался.

О КОНСТИТУЦИИ

Впервые — в иллюстрированном приложении к газете «Русь», 1907, № 13, 30 марта.

В собрания сочинений и сборники не включался.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ

Впервые — в сатирическом журнале «Серый волк», 1907, № 3, 22 июля.

В журнале «Серый волк» были перепутаны страницы рассказа. Текст, начинающийся словами: «Оратор широко простер руку...» — до слов: «Достаточно бросить в урну любой предмет...» (стр. 201—203), был помещен после слов: «Мы опустим в урну все имеющиеся у нас предметы» (стр. 205).

В последующих изданиях эта ошибка была исправлена.

Стр. 199. *Еще апостол сказал: ему же урок — урок, ему же лоза — лоза...* — Куприн варьирует здесь строки из послания апостола Павла к римлянам: «...кому страх, страх, кому честь, честь...»

«Домострой» — составленный в России в XV, а затем в XVI веке обработанный приближенным Ивана IV («Грозного», 1530—1584) протопопом Сильвестром подробный свод правил общественного и житейского поведения, закреплявший косные черты в семейно-бытовом укладе.

Стр. 200. *Вспомним... Гоголя, сказавшего устами простого, немудрящего крепостного слуги: мужика надо драть, потому что мужик балуется...* — Имеются в виду слова кучера Селифана из III главы I части романа Н. В. Гоголя «Мертвые души»: «Почему ж не посечь, коли за дело, на то воля господская. Оно нужно посечь, потому что мужик балуется...»

Стр. 206. *...великий Гутенберг. — Гутенберг* Иоганн (1400—1468) — немецкий изобретатель, создатель европейского способа книгопечатания подвижными литерами.

ИСПОЛИНЫ

Опубликовано в журнале «Весь мир», 1912, № 12, март.

Рассказ был написан не позднее середины июля 1907 года и вместе с рассказом «Механическое правосудие» передан газете «Русь» для издаваемого при ней сатирического журнала «Серый волк», но напечатан там не был (письмо В. Ф. Боцяновского Э. М. Ротштейну, 5 июля 1939 г.).

Стр. 211. *...и Думу, и отруба, и волость, и всяческие свободы.* — Созыв Государственной думы, указ реакционного царского министра П. А. Столыпина о выделении крестьян из общины на отруба (хутора), право «самоуправления», предоставленное деревенской волости, были политическими маневрами правительства в целях борьбы с революционным движением. Герой Куприна, ретроградный чиновник, называет эти акты «свободами».

Стр. 212. *Ницше* Фридрих (1844—1900) — немецкий реакционный философ, проповедник буржуазного индивидуализма.

Стр. 213. *Вот вы, молодой человек!* — Имеется в виду А. С. Пушкин.

А вы, господин офицер? — Речь идет о М. Ю. Лермонтове.

Стр. 214. *Он похвалил Тургенева... но упрекнул его любовью к иноземке.* — Речь идет об отношениях И. С. Тургенева и французской певицы Полины Виардо-Гарсиа (1821—1910).

Пожалел об инженерной карьере Достоевского, но одобрил за полячишек... — Ф. М. Достоевский окончил в 1843 году Петербургское военное инженерное училище. Купринский чиновник одобряет имевшие место в ряде произведений Достоевского шовинистические выпады против поляков.

Так-то вы, господин губернатор? — В 1858—1861 годах М. Е. Салтыков-Щедрин, о котором идет здесь речь, служил вице-губернатором в Рязани и Твери.

ИЗУМРУД

Впервые — в альманахе «Шиповник», 1907, книга 3.

Куприн писал рассказ в августе – сентябре 1907 года в Даниловском (письмо Ф. Д. Батюшкову 23 сентября 1907 г. ИРЛИ). 1 октября он сообщал писателю В. А. Тихонову. «...кончаю вот

рассказик про беговую лошадку, которую зовут «Изумруд» (ЦГАЛИ).

В основе рассказа лежит действительный эпизод, разыгравшийся в начале девятисотых годов в Москве с беговым жеребцом «Рассветом», которого отравил конкурирующий с его владельцем коннозаводчик (Н. Д. Телешов, Записки писателя, М. 1952, стр. 45).

А. М. Горький, объясняя писателю А. В. Перегудову, что примитивной психике героя его произведения должно быть свойственно мышление не в словах, а в образах, приводил в пример «Изумруд», противопоставляя в этом отношении рассказ Куприна «Холстомеру» Л. Н. Толстого (М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 30, стр. 50).

Стр. 215. *Посвящаю памяти несравненного пегого рысака Холстомера.* — Имеется в виду повесть Л. Н. Толстого «Холстомер» (1863).

МЕЛЮЗГА

Впервые — в журнале «Современный мир», 1907, № 12.

Рассказ был написан не позднее середины ноября 1907 года. 17 ноября Куприн читал его в Петербургском литературном обществе («Биржевые ведомости», утренний выпуск, 1907, № 10209, 18 ноября).

А. М. Горький ввел этот рассказ в проспект «Серии русских писателей» библиотеки «Жизнь мира» (Пг. 1919).

Стр. 238. *Владимир Красное Солнышко* — герой русских былин Киевского цикла, прототипом его считают Киевского князя Владимира Святославича (ум. 1015 г.).

СУЛАМИФЬ

Впервые — в альманахе «Земля», 1908, сборник первый, с посвящением И. А. Бунину.

Над повестью Куприн работал осенью 1907 года. 26 сентября он писал Ф. Д. Батюшкову, что закончил собирание материалов для «Суламифи» (ИРЛИ). 1 октября 1907 года, сообщая В. А. Тихонову о завершении рассказа «Изумруд», Куприн писал: «Теперь роюсь в библии, Ренане, Веселовском и Пыляеве, по-

тому что пишу не то историческую поэму, не то легенду ...о любви Соломона к Суламифи, дщ⟨ер⟩и Надавля, прекрасной, как завесы Соломона, как шатры Кидарские. Что выйдет — не видно, но задумано много яркой страсти, голого тела и другого. «Аромат ноздрей твоих, как запах яблок. Не уклоняй очей твоих от меня, ибо они волнуют меня». И все в таком роде. Знаешь ли ты, что у Соломона был кубок из цельного великолепного изумруда. Этот кубок впоследствии хранился как il sacro catino (священная чаша. — *И. К.*) в соборе св. Лаврентия в Генуе. Если тебе что-нибудь понадобится о драгоценных камнях, о древнем туалете и косметике, о роскоши Египта и Тира — обращайся в мою аптечку» (ЦГАЛИ). В письме к Ф. Д. Батюшкову от 8 октября Куприн сообщал, что объем повести составит больше двух листов (ИРЛИ).

А. М. Горький отнесся к повести резко отрицательно (Письма к К. П. Пятницкому от 17 февраля и 4 марта 1908 года. — М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29, стр. 54—55 и 57). Говоря об острой нужде общества «в простой, яркой, здоровой литературе», он писал: «Мои бывшие товарищи: Андреевы, Куприны, Чириковы — это люди, за которых до отчаяния стыдно мне. «Семь повешенных»! «Суламифь!..» (там же, стр. 77). Беседуя в 1908 году с писателем С. Ауслендером о современной литературе, Горький говорил: «Возврат к старому это очень хорошо. Только не всем. Куприн, например, хороший бытописец, но совсем незачем было ему трогать «Песню песней» — это и без него хорошо. А Соломон его смахивает все же на ломового извозчика» (С. Ауслендер, Кукольное царство. — «Золотое руно», 1908, № 6, стр. 72—73).

В. В. Воровский иначе относился к этому произведению. В статье о Куприне он писал, что «Суламифь» — «гимн женской красоте и молодости» (В. В. Воровский, Литературно-критические статьи, М. 1956, стр. 275).

«Суламифь» неоднократно издавалась за рубежом в переводах на чешский, румынский, французский, каталонский, итальянский, финский языки.

Печатается по тексту сборника: А. И. Куприн, Суламифь, Париж, 1921.

Стр. 260. *«Песнь песней»* — см. т. 2, стр. 587.

Соломон (X в. до н. э.) — древнееврейский царь, сын Давида, одного из основателей иудейского государства. Соломону

приписывалось свыше тысячи лирических произведений, в том числе «Песнь песней», сборники поучений и афоризмов.

...от Исмара до Персеполя. — *Исмар* — город во Фракии, древней стране на северном побережье Эгейского моря; *Персеполь* — город в древней Персии.

В 480 году по исшествии Израиля... — По библейскому мифу, евреи до завоевания Палестины находились в Египте, откуда ушли из-за преследования фараонов.

...предпринял царь сооружение великого храма... — Храм в столице Палестины Иерусалиме, одно из крупных сооружений древнего мира, был выстроен финикийскими зодчими в царствование Соломона, около середины X века до н. э.

Стр. 261. *...пирамид Хефрена, Хуфу и Микерина в Гизехе.* — Пирамиды древнеегипетских фараонов Хефрена, Хеопса и Микерина в городе Гизе (близ Каира), построенные в 3-м тысячелетии до н. э., наиболее величественные сооружения древности.

...созданы были зодчим Хирамом-Авием из Сидона... — *Хирам* — упоминаемый в библии мастер литья и чеканки, сделавший колонны и утварь для храма Соломона; *Сидон* (Сайда) — город и средиземноморский порт древней Финикии, крупный центр торговли и ремесел.

...дерево певговое, ситтим. — *Певг* — ценная порода хвойного дерева; *ситтим* — дерево из семейства акации.

Виссон — тонкая льняная ткань.

...шестьдесят сиклей. — *Сикль* — распространенная на древнем Востоке мера веса для благородных металлов; впоследствии мелкая монета.

...Тирскому царю Хираму. — *Тир* (Сур) — древнефиникийский город и порт на восточном побережье Средиземного моря, с X века до н. э. важный центр торговли, наук и ремесел. *Хирам I* (969—936 гг. до н. э.) — правитель Тира и Сидона, совершал походы на Кипр, в Африку, вел торговлю с Аравией, Египтом, Иудеей.

...дворец в Милло — в укрепленной части Иерусалима, в цитадели.

Царица Савская — царица древней страны Савы, находившейся предположительно в Южной Аравии.

Стр. 262. *...ходивший по Чермному морю* — то есть по Красному морю.

...на шестьсот шестьдесят талантов в год. — *Талант* — наи-

более крупная античная мера веса, распространенная первоначально у финикийцев и вавилонян.

...из страны Офир — область в Южной Аравии (по другой версии — в западной Индии), откуда, согласно библейской легенде, корабельщики царя Хирама тирского привезли 420 талантов золота Соломону для постройки храма.

...ассурские и калахские ковры — из древнеассирийских городов Ашшура и Калаха (Кальху).

...царя Тиглат-Пилеазара. — *Тиглатпаласcар* — имя нескольких ассирийских царей; здесь, по-видимому, идет речь о втором царе этой династии, современнике Соломона.

Ниневия — город в древней Ассирии на левом берегу реки Тигр.

Нимруд — город и храм близ Ниневии.

Ха-туар — город в северо-восточной части Древнего Египта.

...из Пунта, близ Баб-Эль-Мандеба. — Пунт — древнеегипетское название одной из стран в Восточной Африке на побережье Аденского залива; *Баб-Эль-Мандеб* — пролив между Красным морем и Индийским океаном.

Сикимора — дерево из семейства тутовых.

Кедронский поток — ручей в Кедронской (Кидронской) долине к северо-востоку от Иерусалима.

...тридцать коров... муки. — *Кор* — древнееврейская мера для жидких и сыпучих тел.

Бат — древняя мера для жидких и сыпучих тел.

Стр. 263. *Баальбек* — город в древней Сирии.

Стр. 264. *Саронская долина* — расположенная в южной части средиземноморского побережья Палестины плодородная низменность.

...с высоты темных скал Аэрмона. — *Ермон* (Гермон) — горный хребет на севере Палестины.

Стр. 265. *Астерикс* — редкий вид рубина и сапфира, дающий преломление лучей света в форме звезды.

...Иосафат, сын Ахилуда — упоминаемый в библии Иосафат бен-Ахилуд, главный визирь (канцлер) и историограф царя Давида, описавший его военные походы.

Стр. 266. *...Библоса, Акры... Борсиппы.* — *Библос* (Библ) — один из трех главных центров древней Финикии; *Акра* (Акко) — город и порт в Южной Финикии; *Борсиппа* — древний город в окрестностях Вавилона.

...был он мудрее и Ефана Езрахитянина и Емана, и Хилколы и Додры, сыновей Махола — имена легендарных ученых из библейской «Книги Царств».

Стр. 267. *...из Абидоса, Саиса и Мемфиса.* — *Абидос* — древнеегипетский город на западном берегу реки Нил; *Саис* — древний город в Нижнем Египте; *Мемфис* — столица древнего Египта.

...тайны волхвов, мистагогов, и эпоптов... — то есть мудрецов, прорицателей.

...Ваал-Либанон. — *Ваал* — имя одного из древневосточных богов, культ которого был распространен в Финикии, Сирии и Палестине со 2-го тысячелетия до н. э. до 7 века н. э. Первоначально считался божеством определенной местности, позднее — богом солнца, грозы, плодородия.

Астарта — греческое наименование верховной богини древних семитов-язычников. Центром культа Астарты, богини любви, материнства, плодородия, был финикийский город Сидон.

...Изиде и Озирису... зачавшим... бога Гора. — *Изида* (Исида, Исет) — наиболее чтимая богиня древнего Египта; по одному из мифов, Изида — сестра и жена *Озириса* (Осириса), бога воды и растительности, умирающего осенью и воскресающего весной. Популярные в древности мистерии в честь Озириса изображали оплакивание его Изидой и сцены его воскрешения.

...мрачной Кибеле.—*Кибела* (Цибела) — фригийская богиня, почитавшаяся в Малой Азии как олицетворение матери-природы.

...построил... капище Хамосу... — *Хамос* (Камош) — один из богов моавитян.

Стр. 268. *Екклезиаст* — проповедник (греч.) — автор одной из книг библии, созданной около III века до н. э., в которой поэтически выражены настроения пессимизма, разочарования в жизни, философского скепсиса. Книга Екклезиаста неосновательно приписывалась Соломону.

...от капища Молоха — см. т. 2, стр. 569.

Стр. 269. *Себах* (Себек) — древнеегипетский бог воды, земли, небесных сил; изображался с головой крокодила, почитался на севере Египта, в городе Файюме.

Стр. 273. *...в колеснице Аминодавовой.* — Речь идет о колеснице, на которой, согласно библейской легенде, древнееврейская святыня («Ковчег завета») была перевезена из дома жреца Аминодава в святилище на горе Сион.

Стр. 275. *...через Кедрон по мосту выше Силоама.* — *Кедрон* — см. Кедронский ручей (стр. 762); *Силоам* — пруд близ Иерусалима.

Стр. 276. *...в зале дома Ливанского* — во дворце Соломона, выстроенном из ливанских кедров.

...из бериллов. — К группе бериллов относятся драгоценные камни аквамарин, гелиодор, ростерит, изумруд и др.

Стр. 277. *Иоав, Адония и Семея* — братья Соломона, убитые по его приказу за то, что они притязали на престол.

...на расстоянии тридцати парасангов. — *Парсанг* — принятая на древнем Востоке мера длины.

Стр. 281. *Иегова* (Ягве) — одно из имен бога иудеев в Ветхом завете.

Стр. 282. *Иаффа,* Яффа (Иопия) — главный торговый центр и порт Палестины.

...земли Неффалимовой. — Согласно библейскому преданию, племя Невфалимово поселилось в верхней Галилее (часть Палестины), близ Тира и Сидона.

Стр. 291. *Эфод* (ефод) — накидка с наплечьями из драгоценных камней, надеваемая во время богослужения.

Анфракс (антракс) — разновидность камня граната.

...камень Шамир — древнееврейское название корунда и алмаза.

Стр. 292. *Смарагд* (греч.) — изумруд.

Стр. 293. *Кошачий глаз* — полупрозрачный, с зеленовато-золотым отливом камень халцедон.

Вериллий — берилл.

Онихий — очевидно, оникс (сардоникс).

Яспис — египетская яшма.

Черный ласточкин камень — темный агат, который, по древнему поверью, встречается в гнездах ласточек.

Орлиный камень — древнее название пустотелых овальных железняков.

Заберзат — полудрагоценный камень желто-зеленого цвета.

Стр. 294. *Мареотис* — местность нижнего Египта, район виноделия.

Стр. 300. *Наос* — святилище, где помещалась статуя божества.

Стр. 301. *Сикера* — хлебный напиток вроде пива.

Стр. 302. *Гипостильная зала* — зала с колоннами, поддерживающими потолок.

Стр. 303. *Обсидиан* — род темного гранита.

Тимпаны и систры — древнеегипетские музыкальные ударные инструменты.

Стр. 309. *Авимелех* — имя нескольких библейских царей; здесь — человек царской крови.

Стр. 313. *...о чудесах Вакрамадитья.* — «Тридцать два рассказа о троне Викрамадитьи» — древние индийские сказания о подвигах царя Викрамы — содержат ряд сюжетов, близких ветхозаветной истории Соломона (например, «Суды Соломона»).

Стр. 315. *...вышитый золотыми скарабеями.* — *Скарабей* — изображение в виде жука древнеегипетского бога солнца Хепера.

МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Впервые — в альманахе «Жизнь», 1908, № 1.

А. М. Горький резко осудил рассказ, который не случайно появился в альманахе, созданном реакционным писателем Арцыбашевым, как он сам признавал в письме к Д. Айзману, в противовес «запыленному» «Знанию» (ИРЛИ). Горький протестовал и против грубого натурализма «Морской болезни» и против принижения выведенных в рассказе социал-демократов. В статье «Разрушение личности» (1908), говоря о характерном для буржуазной литературы периода реакции «упадке социальной этики», А. М. Горький писал: «И даже Куприн, не желая отставать от товарищей-писателей, предал социал-демократку на изнасилование пароходной прислуге, а мужа ее, эсдека, изобразил пошляком» (М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24, стр. 63—64). 17(30) апреля 1908 года Горький писал К. П. Пятницкому, возмущаясь «Морской болезнью» и рассказом «Ученик»: «Я решительно против... литературы, «услужающей» обывателю-мещанину, который желает и требует, чтобы Куприны, Андреевы и прочие талантливые люди закидали и засыпали вчерашний день всяким хламом, чтобы они избавили обывателя от страха пред завтрашним днем» (там же, т. 29, стр. 63 и 64).

В. В. Воровский также видел в рассказе уступку вкусам литературного мещанства. В статье «Литературная елка», сравнивая современную беллетристику с елочной бутафорией, которая нужна обывателю «для скрашивания буден своего духа», он писал: «Разве не золочением гнилых орехов занимается умный,

даровитый художник Куприн, когда пишет свою «Морскую болезнь» — для кого, для чего? Для разукрашения сегодняшней елки»? (В. В. Воровский, Литературно-критические статьи, М. 1956, стр. 415).

В. Г. Короленко, говоря о повышенном внимании современной литературы к «вопросам пола», отмечал: «Дело... в перспективе, в чувстве меры, в равновесии между психологией и физиологией любви. Нужна именно психология, а физиология лишь в необходимой, минимальной степени. К сожалению, в нашей литературе, как, например, в пресловутом «Санине» и даже порой у такого истинного художника, как Куприн, физиология выпячивается до порнографии... Физиология любви не дело художественной литературы... Конечно, провести резкую черту между психологией и физиологией в этой области — дело нелегкое. Но это именно задача художника, задача художественно-целомудренного отношения к теме. Я думаю, можно говорить *обо всем, но не по-всякому*» (письмо В. Г. Короленко Л. П. Декатовой (26 мая 1916 г.). См. сборник «В. Г. Короленко о литературе», М. 1957, стр. 607—608).

Подготавливая рассказ для собрания сочинений «Московского книгоиздательства» (1908), а затем для Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс, Куприн снял ряд натуралистических деталей (письмо Куприна Л. Е. Розинеру, 1912, ЦГАЛИ).

Стр. 330. *...тут «Владимир» пошел ко дну, когда его «Колумбия» саданула...* — См. т. 1, стр. 578.

УЧЕНИК

Впервые — в XXI сборнике товарищества «Знание» за 1908 год.

Рассказ был закончен не позднее 18 марта 1908 года и тогда же передан К. П. Пятницкому для очередного сборника «Знания» (К. П. Пятницкий, Тетрадь рукописей за 1907—1908 гг. Архив А. М. Горького).

А. М. Горький отрицательно отнесся к публикации рассказа в «Знании». «Ученик» написан слабо, небрежно и по теме своей — анекдотичен... — писал он К. П. Пятницкому 17(30) апреля

1908 года, — я такого рассказа в «Знании» не напечатал бы» (М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29, стр. 63—64). С тех пор Куприн в «Знании» больше не печатался.

Рассказ печатается по тексту сборника: А. И. Куприн, Суламифь, Париж, 1921.

Стр. 349. *«Кто нас венчал»* — начальные строки дуэта Заффи и Баринкая из оперетты Иоганна Штрауса (1825—1899) «Цыганский барон» (1885); русский текст М. Г. Ярона.

Стр. 356. *Плеоназм* — сочетание слов, близких друг другу по значению.

Стр. 357. *Не вытерпел — зажглося ретивое? — спросил стихом из Лермонтова старый шулер.* — Слова Казарина из I действия драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад» (1835—1836).

СВАДЬБА

Впервые — в сборнике «Зарницы», 1908, № 1, (апрель).

По выходе сборника «Зарницы» Петербургский цензурный комитет постановил «возбудить судебное преследование» против Куприна. «В рассказе «Свадьба», — писал цензор, — в самом отталкивающем виде представлен русский офицер в его отношениях к местному еврейскому населению. Офицер и все его товарищи по гарнизону изображены с такою мрачной окраской типов, что характеристика их, начерченная автором, является оскорбительною для русского офицерства, а отношение офицеров к евреям, переходящее все границы порядочности и приличия, может возбуждать вражду между отдельными частями населения в черте еврейской оседлости» (Дело Санкт-Петербургского цензурного комитета, 1908, № 61, л. 5; Дело канцелярии Главного управления по делам печати, 1908, № 170, л. 2—7. ЛОЦИА).

И. А. Бунин в статье о Куприне писал: «Свадьба»... — рассказ очень жестокий, отдающий злым шаржем, но и блестящий» (Ив. Бунин, Перечитывая Куприна, «Современные записки» (Париж), 1938, № 67).

Стр. 360. *«Не спросясь броду, не суйся в воду»* — см. примечание к стр. 120.

Стр. 363. *...военные рассказы Лавра Короленки.* — Короленко Лавр Григорьевич (1822—1886) — военный беллетрист.

Стр. 368. *Реверс* — имущественное обеспечение, требовавшееся по положению 1898 года от офицеров, вступавших в брак ранее двадцативосьмилетнего возраста.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Впервые — в журнале «Весна», 1908, № 2, август.

А. М. Горький был возмущен тем, что Куприн отдал свой рассказ журналу «Весна», бульварному изданию, выходившему под девизом: «В политике — вне партий, в литературе — вне кружков, в искусстве — вне направления». «Скандалят наши литераторы! — писал он в сентябре 1908 года заведующему конторой «Знания» С. П. Боголюбову. — Гадость какая эта «Весна»! И — прикрыта именами Андреева, Куприна. Грустно и тяжко» (Архив А. М. Горького).

Стр. 378. *Биоскоп* — раннее название кинематографа.

Фотофон — прибор для передачи звука на расстояние при помощи световых лучей.

БЕДНЫЙ ПРИНЦ

Впервые — в «Петербургской газете», 1910, № 1, 1 января.

Рассказ был написан в Даниловском 19 декабря 1909 года (авторская дата в первой публикации).

Рассказ печатается по тексту сборника: А. И. Куприн, Рассказы для детей, Париж, 1921.

Стр. 386. *Вертеп* — народный переносный кукольный театр.

...поют колядки и рождественские кантики. — *Колядки* — народные обрядовые песни, исполняемые во время колядования — распространенного в южной России обряда хождения по домам под рождество и Новый год с поздравлениями, христославством и песнями для сбора денег, пищи и подарков; *кантики* — хвалебные песни.

ПО-СЕМЕЙНОМУ

Впервые — в газете «Утро России», 1910, № 126, 18 апреля.

Рассказ был написан в Одессе 5 апреля 1910 года (авторская дата на рукописи. ЦГАЛИ).

Первая редакция рассказа была опубликована под заглавием «Наташка» в 1897 году в № 7 литературного приложения к киевской газете «Жизнь и искусство» (см. Приложения).

В 1910 году Куприн снова вернулся к этому произведению. Сохранив сюжетную основу, он развил характеристики действующих лиц, ввел новые персонажи (в частности, колоритный образ одного из жильцов, инженера-неудачника Буткевича), устранил фигуры рассказчика — учителя Остаховича и его друга, доктора Лобачева, снял пространное обрамление в духе традиционного «пасхального» рассказа, изменил место действия, насытил повествование бытовыми и психологическими деталями, обогатил и персонифицировал язык. Значительно углубил Куприн и образ героини рассказа, проститутки Наташки (во второй редакции — Зоя), дав индивидуализированный характер женщины из народа, сохранившей любовь к людям, поэтичность, достоинство.

Новая редакция рассказа была включена Куприным в седьмой том собрания сочинений, изд. «Московского книгоиздательства».

Известен положительный отзыв Л. Н. Толстого о рассказе, высказанный им в беседе с писателем Л. Н. Андреевым вскоре после опубликования этого произведения:

«О Куприне Лев Николаевич беседовал с большим интересом и удовольствием; сам разыскал номер «Утра России», в котором был напечатан рассказ Куприна «По-семейному»... сам же вслух и прочел его, и только к концу остановился и сказал, обращаясь к Ольге Львовне: «Кажется, очень чувствителен конец, а я теперь слаб стал, — прочти ты» («Леонид Андреев у Л. Н. Толстого», «Утро России», 1910, № 134, 29 апреля).

Стр. 393. *Дендрология* — отрасль ботаники, изучающая древесные растения и кустарники.

Возьмите, пгошу вас, с полки Элизе Геклю.— Реклю Жан-Жак-Элизе (1830—1905) — французский географ и социолог, автор широко известных трудов: «Новая всемирная география. Земля и люди» (19 тт.) и «Человек и земля» (6 тт.).

Стр. 396. *В Братстве, где она отстояла заутрёню.* — Имеется в виду Братский Богоявленский монастырь в Киеве на Подоле.

ЛЕНОЧКА

Впервые — в газете «Одесские новости», 1910, № 8094, 18 апреля.

Рассказ был написан в Одессе, по-видимому, в начале апреля 1910 года (письмо Куприна Ф. Д. Батюшкову 20 апреля 1910 г. ИРЛИ).

В письме к редактору «Русского слова» (конец марта — начало апреля) Куприн обещал дать рассказ для пасхального номера газеты. Но уже в следующем письме из Одессы тому же адресату он сообщал, что вместо обещанного рассказа пришлет другой: «Сидел и писал для вас «Леночку», но пришли из редакции («Одесских новостей». — *И. К.*) и сказали, что они боятся печатать сданный им мной неделю назад пасхальный рассказ «Они будут». Боятся, так как их очень любит Толмачев (одесский градоначальник. — *И. К.*), а во-вторых, потому, что Толмачев очень любит меня (пять дней назад отказал мне в выдаче заграничного паспорта, несмотря на полный порядок в полицейских и иных справках). Поэтому переменил рассказы, отдал им «Леночку», а вам посылаю «Они будут» в гранках» (Отдел рукописей Гос. библиотеки им. В. И. Ленина).

Рассказ содержит ряд автобиографических эпизодов. В деревне Жмакино, Сердобского уезда, Пензенской губернии Куприн летом 1886 года гостил в семье своего товарища по кадетскому корпусу А. Н. Владимирова. Прототип Леночки — сестра Владимирова, Софья Николаевна. В 1901 году Куприн встретился с С. Н. Владимировой в деревне Пановке Пензенской губернии (А. Храбровицкий, Куприн и Пензенский край, «Сталинское знамя» (Пенза), 1948, № 169, 25 августа).

Стр. 400. *Стихарь* — нижнее облачение священника и архиерея и верхнее облачение дьякона при богослужении.

ИСКУШЕНИЕ

Впервые — в газете «Русское слово», 1910, № 90, 21 апреля.

Рассказ был написан, по-видимому, в начале апреля 1910 года: в письме к Ф. Д. Батюшкову от 20 апреля 1910 года Куприн упоминал «Искушение» среди произведений, написанных им недавно в Одессе (ИРЛИ). В письме к редактору газеты «Русское

слово» Ф. И. Благову (начало апреля), обещая прислать пасхальный рассказ, Куприн писал: «Сегодня послал Вам рассказ «Искушение»...» и просил дать корректуру (Отдел рукописей Гос. библиотеки им. В. И. Ленина).

Редактируя рассказ для шестого тома Полного собрания сочинений; изд. т-ва А. Ф. Маркс, Куприн добавил в конце рассказа после слов: «...что их ждало завтра!» — слова: «Разочарование? Утомление? Скука? Может быть, ненависть?»

Стр. 414. *Генерал Скобелев.* — См. т. 2, стр. 586.

Поликратов перстень. — В основе предания о перстне Поликрата, приводимого древнегреческим историком Геродотом (484—425 до н. э.), лежит мысль о непрочности земного счастья и о неизбежности кары, которую боги готовят чрезмерно счастливым людям. Эта тема была использована Фридрихом Шиллером (1759—1805) в одноименной балладе (1797).

Стр. 418. *Моисей Мурин* (325—400) — атаман разбойников, ушедший на покаяние в монастырь; причислялся православной церковью к «лику святых».

ПОПРЫГУНЬЯ-СТРЕКОЗА

Впервые — в газете «Русское слово», 1910, № 298, 25 декабря.

В рассказе отразились воспоминания Куприна о елке в сельском Никифоровском двухклассном училище, которую он посетил в декабре 1906 года, живя в Даниловском (В. Ф. Боцяновский, Послесловие к публикации очерка А. Куприна «События в Севастополе», «Резец», 1939, № 15—16, стр. 26).

Стр. 423. *...немец-меннонит.* — Члены религиозной секты меннонитов (названа по имени основавшего ее в XVI веке голландского священника Симонса Менно) переселились в Россию из Германии в конце XVIII века и основали колонии в Крыму, на Волге, на Кавказе.

Стр. 424. *...но весь ее чудесный эльзевир обглодан мышами.* — *Эльзевиры* — семья голландских книгопечатников, переплетчиков и книгопродавцев, издавших в XVI—XVII веках свыше полутора тысяч томов, отличавшихся высокими полиграфическими достоинствами. Для них был изобретен особый изящный шрифт, также названный «эльзевиром»; здесь — в значении «переплет».

...увлекался Вагнером и играл призыв Тристана к Изольде. — Имеется в виду музыкальная драма немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813—1883) «Тристан и Изольда» (поставлена в 1865 г.).

Стр. 426. *«Я из лесу вышел, был сильный мороз...»* — из стихотворения Н. А. Некрасова «Крестьянские дети» (1861).

Стр. 427. *«Демьянова уха»* — басня И. А. Крылова (1769—1844).

«Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела...» — строка из басни И. А. Крылова «Стрекоза и муравей» (1808).

Стр. 428. *Стоешник* — возможно, содержатель постоялого двора (от слова «стойня» — в псковском говоре — привал, стоянка).

ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ

Впервые — в альманахе «Земля», 1911, кн. 6, с посвящением литератору В. С. Клёстову и с воспроизведенной в эпиграфе первой нотной строкой из Largo Apassionato второй сонаты Бетховена (соч. 2).

Куприн работал над рассказом осенью 1910 года в Одессе. 26 сентября 1910 года он сообщал В. С. Клёстову: «На днях я пошлю Блюму (Блюменфельду, сотруднику «Московского книгоиздательства». — *И. К.*) небольшой, в лист с небольшим, рассказ под названием «Гранатовый браслет» (ИРЛИ). Однако произведение разрослось, и работа над ним заняла около трех месяцев. 15 октября 1910 года Куприн писал Ф. Д. Батюшкову: «Сегодня занят тем, что полирую рассказ «Гранатовый браслет». Это — помнишь? — печальная история маленького телеграфного чиновника П. П. Желтикова, который был так безнадежно, трогательно и самоотверженно влюблен в жену Любимова (Д. Н. — теперь губернатор в Вильне). Пока только придумал эпиграф: «Van-Beethoven, op. 2, № 2 Largo Apassionato». Лицо у него, застрелившегося (она ему велела даже не пробовать ее видеть) — важное, глубокое, озаренное той таинственной мудростью, которую постигают только мертвые... Но трудно... и почему-то в охотку не пишется» (ИРЛИ). О трудностях работы над рассказом свидетельствует и следующее письмо тому же адресату: «Теперь я пишу «Браслет», но плохо дается. Главная причина — мое невежество в музыке... Да и светский тон!» (письмо

Ф. Д. Батюшкову 21 ноября 1910 года. ИРЛИ). В начале декабря рассказ еще не был закончен; 3 декабря Куприн писал Ф. Д. Батюшкову о том, что не хотел бы «комкать «Браслет», эту «очень милую» для него вещь (ИРЛИ).

Из переписки Куприна и мемуаров известны прототипы героев рассказа: Желтков — мелкий телеграфный чиновник П. П. Желтиков, князь Василий Шеин — член Государственного совета Д. Н. Любимов, княгиня Вера Шеина — его жена Людмила Ивановна, урожденная Туган-Барановская, ее сестра Анна Николаевна Фриессе — сестра Любимовой, Елена Ивановна Нитте, брат княгини Шеиной — чиновник Государственной канцелярии Николай Иванович Туган-Барановский.

Вторую сонату Бетховена Куприн часто слушал в семье одесского врача Л. Я. Майзельса; в дарственной надписи на книге «Гранатовый браслет», сделанной весной 1911 года, Куприн благодарил его жену за то, что она «растолковала ему шесть тактов Бетховена» (Н. Л. Инсарова, А. И. Куприн. Рукопись).

Прочитав рассказ, А. М. Горький с похвалой отозвался о нем в письме Е. К. Малиновской в марте 1911 года: «А какая превосходная вещь «Гранатовый браслет» Куприна и «Дерябин» («Пристав Дерябин». — *И. К.*) Ценского! Чудесно. И я — рад, я — с праздником! Начинается хорошая литература!» (Архив А. М. Горького).

Рассказ выдержал ряд изданий на французском, немецком, английском, шведском, польском, болгарском, финском языках.

Зарубежная критика, отмечая тонкий психологизм рассказа, приветствовала его как «порыв свежего ветра», в котором нуждается современная русская беллетристика, «перенасыщенная эротизмом в духе Арцыбашева» (L. Vernon, La vie littéraire en Russie, «La Revue», 1911, № 14, 15 juillet, p. 243).

Стр. 442. *...начиная с польской войны...* — По-видимому, речь идет о подавлении царскими войсками польского национально-освободительного движения 1863—1864 годов.

...во время польского мятежа... — См. предыд. примечание.

В войну 1877—1879 годов. — Речь идет о русско-турецкой войне 1877—1878 годов, в которой Россия выступила против Турции за предоставление автономии славянскому населению Болгарии, Боснии и Герцеговины.

...на Шипке. — Русские войска и болгарские ополченцы ге-

роически обороняли перевал Шипку от турок во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

...при последней атаке Плевны. — Имеется в виду третья атака русских войск на укрепленный турецкой армией болгарский город Плевен 30—31 августа 1877 года.

Радецкий и Скобелев. — *Радецкий* Федор Федорович (1820—1890) — русский генерал, командовал корпусом в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, участвовал в обороне Шипки. *Скобелев* — см. т. 2, стр. 586.

КОРОЛЕВСКИЙ ПАРК

Впервые — в журнале «Современный мир», 1911, № 3.

Замысел рассказа возник, по-видимому, в 1907 году, когда Куприн переводил стихотворение Беранже «Предсказания Нострадама» (Полн. собр. соч., изд. А. Ф. Маркс, т. 7). В ноябре 1908 года Куприн сообщил корреспонденту газеты «Биржевые ведомости» о намерении издать повесть «Короли в изгнании» и кратко обозначил ее сюжет («Биржевые ведомости», вечерний выпуск, 1908, № 10801, 8 ноября).

Высказанные в «Королевском парке» надежды на добровольный отказ правителей от власти, критика социализма как «докучного общественного режима», против которого неминуемо вспыхнет анархический бунт масс, вызвали резкую отповедь на страницах большевистской газеты «Правда». В статье «Между делом» М. Ольминский писал: «Года полтора назад напечатан... рассказ «Королевский парк», где Куприн издевается над рабочими идеалами, изображая будто бы картину жизни через 600 лет.

Рабочие, как известно, добиваются сокращения рабочего дня, — это одно из их главных требований. Куприн пишет, что добились даже не 8-часового, а 4-часового рабочего дня, и добавляет: «По правде сказать, все это было довольно скучно».

А затем, по рассказу Куприна, от скуки «все человечество в каком-то радостно-пьяном безумии бросилось на путь войны, крови, заговоров, разврата и жестокого, неслыханного деспотизма и... обратило в прах и пепел все великие завоевания мировой культуры». Как видите, возражения Куприна против короткого рабочего дня те же, что и у любого купца или фабри-

канта: дай, дескать, волю рабочим и приказчикам, так они все перепьются со скуки и насмерть передерутся... Куприн не смог стать выше пошлостей, которые твердит самый заурядный буржуй» (А. Витимский (М. Ольминский), «Между делом (Арцыбашев и Куприн)», «Правда», 1912, № 106, 1 сентября; также в статье: А. Витимский (М. Ольминский), «По поводу одного рассказа (О рассказе Н. Тасина «Гришка-социал-демократ)», «Правда труда», 1913, № 6, 17 сентября).

Стр. 486. *Синодик* — поминальный список; здесь — перечень.

ЛИСТРИГОНЫ

Над циклом рассказов, впоследствии объединенных общим заглавием «Листригоны», Куприн работал в 1907—1911 годах.

Впервые напечатано: «Господня рыба» (V рассказ цикла) — в газете «Одесские новости», 1907, № 7213, 22 апреля; «Тишина» (I), «Макрель» (II) — под общим заглавием «Балаклава» — в газете «Межа», 1908, № 2, 27 октября; «Воровство» (III), «Белуга» (IV) — под общим заглавием «Листригоны» в «Новом журнале для всех», 1908, № 1, ноябрь; «Бора» (VI) — в «Новом журнале для всех», 1909, № 4, февраль; «Водолазы» (VII) — в «Новом журнале для всех» 1910, № 15, январь; «Бешеное вино» (VIII) — в «Новом журнале для всех», 1911, № 29, март.

Полностью «Листригоны» вошли в пятый том Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс.

Первоначально Куприн хотел закончить цикл рассказом «Водолазы», о чем писал Ф. Д. Батюшкову из Даниловского 10 декабря 1909 года (ИРЛИ). Но в 1911 году он добавил еще один — «Бешеное вино».

В «Листригонах» отразились эпизоды дружеского общения писателя с черноморскими рыбаками-греками из крымского городка Балаклавы, в котором Куприн подолгу жил начиная с 1904 года. Герои рассказов — реальные люди; Куприн не изменил даже их имен. О Коле Констанди, Юре Капитанаки и других «листригонах» он писал в автобиографическом рассказе «Гусеница» (т. 5) и в ряде произведений эмигрантского периода. «Писать о России по зрительной памяти я не могу, — говорил Куприн в 1926 году в Париже. — Когда-то я жил тем, о чем писал.

О балаклавских рабочих (рыбаках. — *И. К.*) писал и жил их жизнью, с ними сроднился» («Куприн в Париже», «Красная газета», вечерний выпуск, 1926, № 4, 5 января).

«Листригоны» издавались за рубежом на английском, чешском, финском языках.

Стр. 490. *...стих Гомера об узкогорлой черноморской бухте, в которой Одиссей видел кровожадных листригонов.* — Имеются в виду 81—130 стихи из 10 книги приписываемой легендарному древнегреческому поэту Гомеру поэмы «Одиссея» (около VIII в. до н. э.): «Прибыли мы к многовратному граду в стране лестригонов Ламосу... В славную пристань вошли мы: ее образуют утесы, круто с обеих сторон поднимаясь...» *Листригоны* — лестригоны *(греч.)* — сказочный народ великанов-людоедов.

...о... генуэзцах, воздвигавших здесь... свои колоссальные крепостные сооружения. — В середине XIV века купцы-колонизаторы из итальянского города Генуи захватили Балаклаву и воздвигли там крепость-замок.

Стр. 503. *Бунт* — моток, связка.

Стр. 511. *Мальпост* — почтовая карета.

Стр. 513. *...со времен Крымской кампании.* — Имеется в виду Крымская война 1853—1856 годов.

Зарьявшая собака. — См. т. 1, стр. 575.

Стр. 517. *Перикл* (ок. 490—429 до н. э.) — политический деятель древней Греции; осуществил ряд демократических преобразований в стране.

Стр. 522. *Стеккетти* Лоренцо — псевдоним итальянского поэта Гверрини Олиндо (1845—1916). В 1910-е годы Куприн опубликовал переводы ряда стихотворений Стеккетти (Собр. соч. изд. «Московского книгоиздательства», т. IX).

Стр. 532. *И на могилу приноси*
Хоть трижды в день мне хризанте-е-мы... — строка из романса Радошевского «Хризантемы».

ТЕЛЕГРАФИСТ

Впервые — во «Всеобщем журнале», 1911, № 12, ноябрь.

В автобиографическом рассказе «Неизъяснимое» (1915), вспоминая о своем пребывании в пехотном полку в начале девяностых годов, Куприн упоминал о встречах с местным телеграфистом Сашей Врублевским.

НАЧАЛЬНИЦА ТЯГИ

Впервые — в «Петербургской газете», 1911, № 354, 25 декабря.

Стр. 547. *Федор Иванович.* — По-видимому, речь идет о знаменитом русском певце Федоре Ивановиче Шаляпине (1873—1938), с которым Куприн был хорошо знаком.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Впервые — в газете «Речь», 1912, № 83, 25 марта.

ЖИДКОЕ СОЛНЦЕ

Впервые — с посвящением А. А. Смирнову в альманахе «Жатва», выпуск IV за 1912 год (вышел в 1913 году).

Печатается по сборнику: А. И. Куприн, Купол св. Исаакия Далматского, Рига, 1928.

Куприн начал работу над повестью осенью 1911 года и завершил ее в конце 1912 года. В письме от 10 декабря 1911 года он просил Ф. Д. Батюшкова сообщить ряд сведений по физике: «...1) температура межпланетного пространства, 2) какую самую низкую температуру удалось получить лабораторным путем и какую еще можно получить, исходя из теории, 3) при помощи чего? 4) то же о высшей температуре, 5) то же о наибольшем давлении. NB. Все это мне нужно для сгущения газов в жидкости (об Ольчевском, Девьери я знаю); 6) какие газы легче водорода были сгущены, в каком виде и как? 7) что делается с содержимым мешка газа, сгущенного до жидкого состояния, если это содержимое вылить на стол, на плиту, на снег, на ладонь, 8) какой материал самый огнестойкий — добытый уже искусственно и возможный теоретически? 9) температура солнца? Все это необходимо вот для чего. Я хочу попытаться сгустить — конечно в рассказе — солнечный луч до газообразного состояния, а потом — до жидкого. Вероятно, такая мысль ерунда, но мне нужно внешнее правдоподобие» (ИРЛИ).

Стр. 561. *Бетналь-Грин, Ист-Энд* — районы рабочих кварталов в восточной части Лондона.

Стр. 562. *Тырса* — смесь опилок и песка, которой посыпают цирковой манеж.

...служил сандвичем.— Сандвичмен — человек-реклама, который носит щиты с объявлениями на спине и на груди (от англ. sandwich — бутерброд).

Стр. 564. *Дерби* — популярный в Англии вид конного спорта — скачки для лошадей-трехлеток, организованные впервые лордом Дерби в XVIII веке.

Стр. 573. *...со времен Плантагенетов. — Плантагенеты* — английская королевская династия, представители которой правили страной с 1154 по 1399 год.

Стр. 575. *Рефрактор* — телескоп, в котором изображения небесных светил создаются путем преломления лучей света в линзовом объективе.

Нониус — приспособление для отсчета долей деления какого-либо масштаба.

Обтюратор — в оптике — затвор, перекрывающий световой поток в различных аппаратах.

Стр. 582. *Уайтчепль* — квартал в восточной части Лондона, населенный иммигрантской, преимущественно еврейской, беднотой.

Стр. 594. *...из ванадиевой стали...* — сталь с примесью твердого металла ванадия, применяемая для изготовления режущих и других инструментов.

Гук Роберт (1635—1703) — английский физик и изобретатель, установил постоянные точки термометра — таяния льда и кипения воды, усовершенствовал и сконструировал ряд приборов.

Эйлер Леонард (1707—1783) — немецкий математик, физик, астроном; среди его многочисленных сочинений — работы по оптике, расчеты оптических приборов.

Юнг Томас (1773—1829) — английский физик, автор известных работ по волновой теории света.

Френель Огюстен-Жан (1788—1827) — французский физик, один из основателей волновой теории света.

Коши Огюстен-Луи (1789—1857) — французский математик; в трудах по оптике дал математическую разработку теории света Френеля.

Малюс Этьенн-Луи (1775—1812) — французский физик, открыл закон поляризации света.

Гюйгенс Христиан (1629—1695) — голландский физик, математик, астроном, один из основателей волновой теории света; усовершенствовал телескоп.

Араго Доминик-Франсуа (1786—1853) — французский физик, математик, астроном. По его указаниям были сделаны первые фотографические снимки солнца и определена скорость света.

Декарт Рене (1596—1650) — французский философ, математик, физик. Один из трудов Декарта посвящен оптике, проблемам преломления света.

Ньютон Исаак (1642—1727) — английский физик, астроном, механик, математик; открыл закон всемирного тяготения. Среди его трудов есть ряд работ по оптике, теории света и цвета. В 1668 и 1671 годах сконструировал два зеркальных (отражательных) телескопа.

Био Жан-Батист (1775—1862) — французский физик и астроном, работавший над изучением физических свойств газов.

Брюстер Давид (1781—1868) — английский физик, исследовал поляризацию света через отражение, изобрел линзы для маяков, стереоскоп.

Стр. 599. *Витковский* Август-Виктор (1854—1913) — польский физик, работавший в области термодинамики и метеорологии.

Стр. 601. *Оскар Уайльд* (1856—1900) — английский писатель.

Стр. 607. *...как магометанин в свою Каабу.* — *Кааба* — мечеть в городе Мекке (Аравия), почитающаяся мусульманами священной, ибо там, по преданию, родился пророк Магомет. В храме Каабы находится священный «Черный камень», по поверью принесенный ангелом с неба Адаму.

«Не ближнему, а дальнему», не так ли сказал ваш теперешний любимый философ? — Неточная цитата из книги немецкого философа Ницше (см. примечание к стр. 212) «Так говорил Заратустра» (1883—1891).

Стр. 609. *Врублевский, Ольшевский... и завершивший их опыты Дэвар.* — *Вроблевский* Жигмунт-Флоренций (1848—1888) и *Ольшевский* Станислав (1846—1915) — польские физики, работавшие по сжижению газов и впервые получившие в 1883 году жидкий кислород. *Дэвар* — Дьюар Джемс (1842—1923), английский физик и химик, получивший жидкий и твердый водород.

ТРАВКА

Впервые — в VIII томе Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс.

Рассказ, судя по содержанию, был написан в 1912 году.

Стр. 621. *«Момус»* — юмористический журнал, выходил в Москве в 1912 году.

Стр. 625. *...наша опозоренная казенным учебным заведением нежность... пансион...* — Имеется в виду Разумовский благотворительный сиротский пансион на Гороховом поле в Москве, где Куприн воспитывался на средства Московского опекунского совета с 1877 по 1880 год.

ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ

Впервые — в сборнике: А. Куприн, Новые рассказы. СПб. 1913.

Рассказ был закончен не позднее середины ноября 1912 года в Гельсингфорсе. «Кончил небольшой рассказец «Черная молния», но озаглавил его «Вечерок», ибо утонул в предисловии, описывающем банчок у доктора», — писал Куприн Ф. Д. Батюшкову 16 ноября 1912 года (ИРЛИ). Описанный в рассказе «вечерок» — встреча Нового — 1907 — года у врача Рябкова в г. Устюжне, Новгородской губернии, куда Куприн приезжал из Даниловского. Первое сообщение о рассказе появилось в печати в конце 1907 года («Русские ведомости», 1907, № 271, 27 ноября). Но тогда рассказ не был написан.

Есть основание предполагать, что «Черная молния» является частью неосуществленного цикла произведений Куприна о русской провинции, задуманного им в 1907—1909 годы. Упоминание об этом замысле содержится в письме к Ф. Д. Батюшкову из Одессы (датировано адресатом 2 октября 1909 года): «Я собираюсь написать о Д⟨аниловском⟩ такой же цикл, как и «Листригоны» (ИРЛИ). Возможно, что Куприн предполагал дать этому циклу название «Уездный город»; в письме к М. К. Куприной (ноябрь 1909 года) он подтвердил появившееся в прессе сообщение о его работе над произведением «Уездный город» для журнала «Современный мир» (ИРЛИ).

Редактируя в 1913 году рассказ для десятого тома собрания сочинений в «Московском книгоиздательстве», Куприн снял в финале рассказа слова: «Так-то вот, дорогой мой... такая-то бывает черная молния», а вместо них ввел новый конец (со слов «Турченко несколько минут молчал...» до слов «Извините, дорогой мой, за многословие», стр. 655), значительно усиливший общественное звучание рассказа.

Рассказ печатается по тексту сборника: А. И. Куприн, Купол св. Исаакия Далматского, Рига, 1928.

Стр. 629. *Мюр-Мерилиз* — название (по фамилиям владельцев) универсального магазина в дореволюционной Москве.

Стр. 630. *«Новое время»* — см. т. 3, стр. 557.

«Свет» — буржуазно-националистическая газета, выходившая в Петербурге с 1882 по 1917 год.

«Петербургская газета» — газета бульварного типа, выходила с 1867 по 1917 год.

«Биржевые ведомости» — буржуазная газета, выходившая в Петербурге с 1880 по 1917 год.

Стр. 631. *Дендрология* — см. примечание к стр. 393.

«Не осенний мелкий дождичек» — песня, написанная в 1828 году русским поэтом А. А. Дельвигом (1798—1831) и положенная на музыку М. И. Глинкой (1804—1857).

Стр. 633. *...в мушку или... рамс* — старинная карточная игра.

Стр. 640. *...по «Домострою»* — см. примечание к стр. 199.

Стр. 641. *Мессалина* — см. т. 1, стр. 583.

Стр. 642. *«О, закрой свои бледные ноги»* — однострочное стихотворение поэта В. Я. Брюсова (1873—1924).

...в небеса запустил ананасом... — строки из стихотворения поэта А. Белого (Б. Н. Бугаева; 1880—1934) «На горах» из цикла «Золото в лазури» (1904).

«Летает буревестник, черной молнии подобный». — Неточно цитируется строка из «Песни о буревестнике» (1901) А. М. Горького.

«Тиха украинская ночь, прозрачно небо, светят звезды...» — Неточно цитируются строки из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828).

Стр. 648. *Ла Вальер, Монтеспан и Помпадур* — графиня *Ла Вальер* Франсуаза-Луиза (1644—1710) и маркиза *Монтеспан*

Франсуаза-Атанаис (1641—1707) — фаворитки Людовика XIV, маркиза *Помпадур* Антуанетта (1721—1764), — фаворитка Людовика XV.

АНАФЕМА

Впервые — в журнале «Аргус», 1913, № 2, 7 февраля, и в газете «Одесские новости», 1913, № 8945, 10 февраля.

Рассказ был закончен в январе 1913 года в Гатчине.

Вскоре после выхода рассказ был запрещен цензурой; тираж журнала по постановлению Петербургского окружного суда был сожжен. В том же году Куприн включил рассказ в десятый том собрания сочинений, изд. «Московского книгоиздательства». По недосмотру московского цензора Истомина, не знавшего о постановлении Петербургского окружного суда, десятый том был выпущен в свет, но вскоре конфискован по приказу московского градоначальника.

Готовя рассказ для десятого тома собрания сочинений, Куприн усилил его обличительный тон (в журнальном тексте дьякон, провозгласивший «многая лета болярину Льву», слеп от перенапряжения голосовых связок и уходил из церкви «спотыкаясь, беспомощный, точно уменьшившийся в росте наполовину...»).

Рассказ с незначительными стилистическими исправлениями был опубликован Куприным в 1920 году в сборнике «Звезда Соломона» (Гельсингфорс), по тексту которого он печатается в настоящем издании. В примечании Куприн писал: «Рассказ «Анафема» появился в X томе сочинений автора незадолго перед революцией и был причиной того, что этот том был немедленно запрещен к продаже и в порядке конфискации изъят из всех книжных магазинов. В последующих изданиях X тома печаталось на одной из страниц лишь заглавие, а под ним до низа страницы линии из точек. Таким образом, печатаемый в настоящем издании, этот рассказ появляется как бы впервые».

Прототип отца Олимпия — протодьякон Гатчинского собора Амвросий, у которого Куприн видел том сочинений Л. Н. Толстого (Н. Вержбицкий, Встречи с Куприным, «Звезда», 1957, № 5).

«Казаки» Л. Н. Толстого были одним из самых любимых произведений Куприна. «А я на днях опять (в 100-й раз) перечитал «Казаки» Толстого и нахожу, что вот она, истинная красота,

меткость, величие, юмор, пафос, сияние», — писал он 8 октября 1910 года Ф. Д. Батюшкову (ИРЛИ). О том же писал он и вскоре после смерти Л. Н. Толстого: «Старик умер — это тяжело... но... в тот самый момент... я как раз перечитывал «Казаки» и плакал от умиления и благодарности» (письмо Ф. Д. Батюшкову 21 ноября 1910 г. ИРЛИ).

Стр. 656. *Епархиалка* — воспитанница женского духовного училища.

Стр. 657. *Блаженный Августин* (354—430) — богослов и философ, один из основоположников христианской религиозной догматики, фанатический сторонник теократии — главенства церковной власти над светской.

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (между 150 и 160—222) — ранний христианский писатель и философ; отрицал научное познание мира, проповедовал необходимость слепой веры.

Ориген Адамантовый (ок. 185—254) — религиозный писатель и философ эпохи раннего христианства. Подвергался преследованиям со стороны церковников за попытку примирить античную философию с догматами христианской религии. Был прозван «Адамантовым» (адамант — алмаз) за твердость в убеждениях.

Василий Великий Кесарийский (329—379) — христианский проповедник и богослов.

Иоанн Златоуст (ок. 347—407) — деятель христианской церкви, красноречивый проповедник; обличал паразитизм знати, за что терпел гонения светских и церковных властей.

...прелестную повесть. — Имеется в виду повесть Л. Н. Толстого «Казаки».

Стр. 659. *...шел чин православия...* — *Чин* — порядок богослужения. В первую великопостную неделю в кафедральных соборах проводилось торжественное богослужение в честь православных икон, во время которого возглашалась анафема «еретикам», вечная память «почившим в вере» и многая лета «православным живым».

Гомилетика — часть богословия, изучавшая церковное красноречие.

Стихарь — см. примечание к стр. 400.

...распев был крюковой. — До введения в конце XVI века нотной записи в России было принято безлинейное или «крюко-

вое» обозначение звуков. Крюковой распев — древнерусское церковное пение, читанное по крюковой записи.

...чин анафематствования — церковная процедура «отлучения».

Ивашка Мазепа. — Мазепа Иван Степанович (1644—1709) — гетман Украины, изменил Петру, перейдя на сторону шведского короля Карла XII, вместе с которым бежал после Полтавской битвы 1709 года в Турцию.

Стенька Разин. — Разин Степан Тимофеевич (ум. 1671) — донской казак, вождь одного из крупнейших в России крестьянских восстаний 1667—1671 годов.

Арий — александрийский священник Арий (ум. 336), отрицавший божественность Христа, был отлучен от церкви Вселенским Никейским собором 325 года.

Иконоборцы — участники движения, отрицавшего поклонение иконам. Было распространено в Византии в VIII—IX веках.

Протопоп Аввакум — Аввакум Петрович (ок. 1620—1682) — основатель русского старообрядчества. За выступление против церковных нововведений патриарха Никона и организацию раскола был предан церковному суду и сожжен.

Стр. 660. *...по древнему ключевому распеву.* — Русское церковное пение, читанное по ключевой линейной записи, сменило крюковой распев (см. выше).

...из канона... Андрея Критского. — Андрей, архиепископ о. Крита (жил во 2-й половине VII — начале VIII вв.) — византийский проповедник и религиозный поэт, причисленный православной церковью к «лику святых». Написанный им «Великий покаянный канон» — собрание двухсотпятидесяти песнопений — читался в церквах во время великого поста.

...державшихся учения Итала... — Итал Иоанн (жил во 2-й половине XI — начале XII вв.) — византийский философ и богослов, пропагандировал античную философию, отвергал почитание икон, божественность Христа. В результате преследований церкви отрекся от своего учения.

...немонаха Нила, Константина Булгариса и Ириника... — К составленному византийской церковью в IX веке официальному синодику (списку) еретиков, предаваемых анафеме за отклонение от церковной догмы, в XII веке были добавлены имена монаха Нила, митрополита Константина и некоего Иоанна Ириника.

...Варлаама и Акиндина, Геронтия и Исаака Аргира... — *Варлаам* — калабрийский монах, переселившийся в XIV веке в Византию, богослов и философ-рационалист, друг поэтов итальянского Возрождения Петрарки (1304—1374) и Боккаччо (1313—1375). Отвергал церковную идею «божественного откровения», увлекался античной философией, обличал византийское монашество. Вместе со своим сторонником Акиндином был предан анафеме на нескольких церковных соборах. *Исаак Аргир* — приверженец «варлаамитской» ереси, отлученный от церкви в XIV веке.

...проклял обидящих церковь... богомолов, жидовствующих... хулящих праздник благовещения, корчемников, обижающих вдов и сирот... — Все эти группы еретиков упоминаются в русских рукописных добавлениях XVI—XVII веков к официальному византийскому синодику чина православия. *Богомолы* — богомилы, болгарские еретики X века, признававшие наличие в мире двух борющихся божественных сил, обличавшие паразитизм монашества и знати; *жидовствующие* — представители новгородской ереси XV века, отрицавшие бессмертие души, церковные таинства, иконы; *корчемники* — виновные в тайном изготовлении и продаже вина и табака.

...Гришку Отрепьева. — *Григорий Отрепьев* (ум. 1606) — монах Чудова монастыря в Москве, выступивший под именем сына Ивана IV, царевича Димитрия, как ставленник польско-шляхетской интервенции начала XVII века.

...Тимошку Анкудинова. — *Тимофей Анкудинов* — живший в XVII веке подьячий-самозванец, выдававший себя за сына царя Василия Шуйского и казненный в Москве.

...Емельку Пугачева. — *Пугачев* Емельян Иванович (ок. 1742—1775) — вождь крупнейшего крестьянского восстания в России в XVIII веке.

Стр. 662. *Симон-волхв* — проповедник-еретик, живший, по преданию, в Палестине в III веке и объявивший себя триединым богом.

Ананий и Сапфира — супруги-христиане, пораженные, по преданию, внезапной смертью за то, что утаили часть денег, предназначенных для помощи апостолам.

Стр. 663. *Орарь* — часть облачения дьякона, надеваемого во время богослужения.

СЛОНОВЬЯ ПРОГУЛКА

Впервые — в сборнике «Летучие альманахи», 1913, выпуск 5.

Печатается по сборнику: А. И. Куприн, Храбрые беглецы, Париж, б. г., в текст которого А. Куприн внес отдельные добавления. Так, например, после слов «высовывал из загородки свой хобот, которым он мог бы убить не только человека, но и льва» (стр. 666) добавлено: «Как часто без нужды и смысла бывает человек жесток к животным!»

Стр. 665. *...у Гагенбека в Гамбурге.* — *Гагенбек* Карл (1844—1913) — основатель зоологического парка в Штеллингене (близ Гамбурга).

...профессор зоологии Смирнов. — По-видимому, Смирнов Нестор Александрович (1878—1942) — известный русский зоолог, автор ряда трудов о морских и наземных млекопитающих.

КАПИТАН

Впервые — в журнале «Новая жизнь», 1914, № 1.

Стр. 672. *...в управлении бегучим такелажем.* — *Такелаж* — общее наименование всех снастей корабля, служащих для постановки парусов, подъема и спуска тяжестей и др. Бегучий такелаж (подвижный — в отличие от стоячего, неподвижного) — не закрепленный наглухо.

Стр. 678. *Коралловый бар* — гряда коралловых отложений.

Остров Гальмагера (Джимоло) — остров Джилоло (Джайлоло) или Хальмахера — крупнейший в группе Молуккских островов Малайского архипелага в Тихом океане.

ВИННАЯ БОЧКА

Впервые — с подзаголовком «Гротеск» и с посвящением С. Я. Елпатьевскому — в газете «Русское слово», 1914, № 45, 23 февраля.

В МЕДВЕЖЬЕМ УГЛУ

Впервые — в журнале «Пробуждение», 1914, № 5, 1 марта.

Стр. 695. *Меннониты* — см. примечание к стр. 423.

...Когда случится нам заехать... — Неточно цитируется старинная немецкая студенческая песня, известная в переводе поэта Н. М. Языкова (1803—1846).

Пчо-олка злата-ая,

Что-о ты шумишь? — Неточно цитируются строки из стихотворения Г. Р. Державина (1743—1816) «Пчела» (1796).

Стр. 697. *...подобно Ермаку.— Ермак Тимофеевич* (ум. 1584) — казачий атаман; его поход в 1581 году в Сибирь подготовил падение Сибирского ханства и присоединение Сибири к русскому государству.

Стр. 699. *Мессалина* — см. т. 1, стр. 583.

СВЯТАЯ ЛОЖЬ

Впервые — в газете «Русское слово», 1914, № 80, 6 апреля.

В рассказе отразились воспоминания Куприна о пребывании в Московском Вдовьем доме на Кудринской площади, где после смерти отца Куприн прожил вместе с матерью, Любовью Александровной, с 1873 по 1877 год.

Стр. 704. *...должность журналиста.* — Имеется в виду чиновник, ведущий канцелярские журналы.

...среди аркадского благополучия. — *Аркадия* — плодородная область в центральной части Греции; в переносном значении «аркадский» — райский, счастливый.

Стр. 711. *Генерал Скобелев* — см. т. 2, стр. 586.

Стр. 712. *...со своих Дульцинеей.* — *Дульцинея* — героиня романа испанского писателя Мигеля Сервантеса де Сааведра (1547—1616) «Дон-Кихот» (1605—1615); здесь — в значении возлюбленная, дама сердца.

Стр. 713. *Экзекутор* (лат.) — исполнитель, чиновник, ведавший хозяйственными делами.

ЗАПЕЧАТАННЫЕ МЛАДЕНЦЫ

Впервые — в одиннадцатом томе собрания сочинений, изд. «Московского книгоиздательства», 1915.

В автобиографической заметке Куприн упоминает о том, что после ухода из полка служил в середине девяностых годов некоторое время псаломщиком в сельской церкви («Огонек», 1913, № 20, 19 мая). О том же писал Куприн 16 марта 1913 года критику А. А. Измайлову (ИРЛИ).

Стр. 716. *Задостойники* — церковное песнопение, исполняемое в определенные праздники.

...стихири на стиховне. — *Стихиры* — церковные хвалебные песнопения в честь праздника или святого. Стихиры стиховны вечерние — те, которые пели в конце вечерни.

Тропари — краткие церковные песнопения, прославляющие бога и святых.

Ирмосы — см. т. 3, стр. 564.

...передвижение пасхалии — точнее — передвижение праздника пасхи. *Пасхалия* — вычисления, с помощью которых определялись сроки праздников пасхального цикла.

Стр. 719. *Седьмица* — церковная неделя.

Цветная триодь — церковные службы в пасхальную и последующую недели.

Стр. 720. *...из каплиц* — из католических часовен.

Стр. 722. *...патриарху Сиракузскому.* — Грозя пожаловаться патриарху сиракузскому (которого никогда не существовало), герой рассказа прибег к мистификации.

СОДЕРЖАНИЕ

Штабс-капитан Рыбников 5
Тост 46
Убийца 51
Река жизни 57
Обида. *Истинное происшествие* 80
Демир-Кая. *Восточная легенда* 98
На глухарей 102
Как я был актером 115
Бред 147
Гамбринус 156
Слон 184
Сказочки: 195
I. О Думе 195
II. О конституции 196
Механическое правосудие 198
Исполины 210
Изумруд 215
Мелюзга 232
Суламифь 260
Морская болезнь 318
Ученик 345
Свадьба 359
Последнее слово 376
Бедный принц 383
По-семейному 392
Леночка 399

Искушение 412
Попрыгунья-стрекоза 423
Гранатовый браслет 430
Королевский парк. *Фантазия* 481
Листригоны 488
Телеграфист 537
Начальница тяги. *Самый правдоподобный святочный рассказ* 544
Путешественники 550
Жидкое солнце 559
Травка 621
Черная молния 627
Анафема 656
Слоновья прогулка 665
Капитан 671
Винная бочка 681
В медвежьем углу 694
Святая ложь 702
Запечатанные младенцы 715
Приложения
Наташка 724
Убийцы. *Новогодний рассказ* 730
Примечания 741